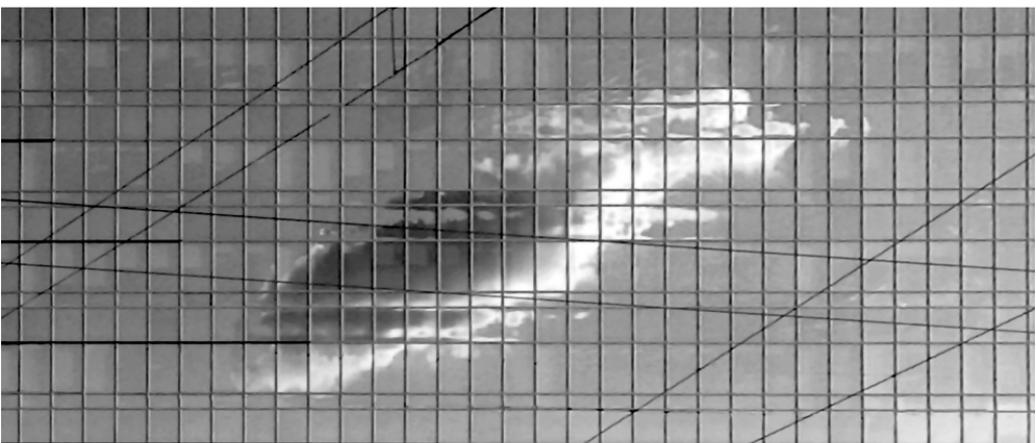


БОЛЬШАЯ
ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

ОСТАНОВЛЕННЫЙ
МИР



Москва
2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М17

Художественное оформление серии
Алексея Дурасова

Макушинский, Алексей.

М17 Остановленный мир / Алексей Макушинский. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 800 с.

ISBN 978-5-04-091926-0

Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии... Четвертый роман Алексея Макушинского, продолжающий его предыдущие книги, показывает автора с неожиданной стороны. Мир останавливается – в медитации, в фотокадре – и затем опять приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные поиски. Но приходят ли они к какому-нибудь итогу, и если да, то к какому? Полный дзен-буддистских загадок и парадоксов, этот роман сам по себе парадокс и загадка.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-091926-0

© Макушинский А., 2018
© Оформление. 000 «Издательство «Э», 2018

Время течет из настоящего в прошлое.

Доген Дзендзи

Предуведомление

Все персонажи этой книги (включая автора) вымышлены; все совпадения с реальными (что бы сие ни означало) людьми случайны. Для удобства чтения в конце книги помещен маленький словарь буддистских (или, скажем, родственных буддистским) имен и понятий, встречающихся в тексте. Сегодня счастливый день.

Часть первая,

где больше всего говорится
обо мне самом

О нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я...

Тютчев

Всеобщая связь вещей

Все как-то связано в мире, но мы не знаем, конечно, как. Мы чувствуем, что все как-то связано в мире, что все со всем соотносится, одно отзывается в другом и перекликается с третьим — слова, и поступки, и события, и воспоминанья, и то, что было, и то, чего не было, — но эта связь ускользает от нас, манит нас, не дается нам в руки. Вот-вот, нам кажется, мы поймем — поймаем! — самое для нас важное, то, что нам так нужно — всего нужнее! — понять, поймать, ухватить; а все же (как, бывает, во сне догоняешь и догоняешь кого-то: он поворачивает за угол — и ты поворачиваешь за угол; он в переулок — и ты в переулок; но там лишь влажная мгла, мерцание фонарей...) — все же это *вот-вот* так никогда и не превращается в окончательное, однократное *вот*, разрешающее наши сомнения, наши мучения.

Вейль-на-Рейне

Так думал я по дороге в Вейль-на-Рейне, крошечный городишко в нижнем левом углу немецкой карты, на самой границе Германии со Швейцарией и с Францией; городишко, примечательный этим своим положением на стыке трех стран, примечательный еще кое-чем — пешеходно-велосипедным

Алексей Макушинский

мостом, например, соединяющим Францию и Германию на зависть и на виду у Швейцарии; великолепным, арочным, велосипедно-пешеходным мостом, возведенным в 2006 году по проекту австрийского, в Париже живущего архитектора Дитмара Фейхтингера инженерным бюро «Леонгард, Андрэ и партнеры» (бюро, которое после войны основал Фриц Леонгард, знаменитый инженер, построивший, среди прочего, первую в мире бетонную телебашню — штуттгартскую; потом телебашню франкфуртскую; приложивший руку и к созданию Останкинской). Был вечер, когда я добрался до места моего назначения; шел мелкий, тихий, почти по-летнему теплый, осенний дождик; и с немецкого, и с французского берегов, с пришвартованных возле моста пароходов доносились пьяный гогот, пьяные крики. Стальная арка заливчатской дугою выгнута над собственно мостом (тем, по которому едут велосипеды, идут пешеходы), причем высшая точка этой дуги находится не посередине, но ближе к французскому берегу, на месте, если я правильно увидел и понял, золотого сечения, что, конечно, и придает всей конструкции ее спокойную элегантность; дождевые тонкие струи стальным блеском отсвечивали, попадая в лучи прожектора, установленного на одном из ребер моста и направленного почему-то в швейцарскую сторону; отсвечивая, становились стрелами; становились подвижной стеною посланных с неба стрел. Французский берег казался еще темнее, пустее немецкого; идти по нему было некуда; были только далекие, редкие огни по эту и по ту сторону Рейна, потерянные в пространстве; и огни береговые, ближние, дробившиеся в черной воде; был сонный плеск этой черной воды, к которому я долго прислушивался, прежде чем перейти обратно на немецкую сторону, возвратиться в гостиницу. Гостиница, где я заранее забронировал номер, оказалась громадной, у грохочущей автострады,

одной из тех беспробудных в своей анонимности громадных гостиниц (с вихрясто-морскими пейзажами на грязно-желтых стенах гулких горестных коридоров и этими особенно ненавистными мне плечиками в затхло-пахучих шкафах; плечиками, или распялками, как в моем детстве их называли, надетыми не на обычный, соприродный человечеству крюк, а на мерзкий тоненький штырь, вставляемый в особую прорезь на исподе крыши затхло-пахучего шкафа — чтобы забывчивый или жадный до чужого добра путешественник не прихватил с собой гостиничную грошовую собственность); одной из тех издалека, марсианским светом, светящихся многоэтажных гостиниц, куда автобусами завозят туристские галдящие группы, чтобы они там погоготали у стойки бара, выдыхались в климатизированных комнатах, смели, умяли и слопали все великолепные ветчины, и все кровавые, и менее кровавые, и просто кровавые колбасы, и все сорта сыра, и вообще весь раблезианский завтрак, расставленный на шведском столе, и отправились дальше, в ту абстрактную даль, в которую всегда едут такие группы, неизвестно куда, непонятно зачем; с трудом изъяснявшаяся по-немецки, из Албании или Румынии завезенная косоглазая девушка, выдавшая мне ключ от номера, попросила меня не спускаться к завтраку до половины девятого, до тех пор, покуда все автобусы, все туристы не уедут в свое никуда. Кровать была широкая, плохая, бугристая. Кондиционер свиристел и стремился надуть мне в ухо простуду. Выключить его было нельзя, потому что нельзя было оставить открытым окно; автострадный грохот обрушивался на меня всякий раз, когда я это окно открывал. Я спал все-таки совсем неплохо в ту ночь, к собственному своему удивлению; и уже заканчивал наутро поедание ветчин, колбас и омлета, когда по мобильному телефону позвонила мне моя старинная франкфуртская приятельница, скажем так,

Алексей Макушинский

Тина Р., спросившая меня, не знаю ли я, где Виктор, наш общий, так скажем, приятель, где он и что с ним, поскольку он, Виктор, не подает о себе вестей, на ее звонки не отвечает и она вдруг начала беспокоиться. Я думал, что вы расстались, сказал я. Они расстались, но она все равно беспокоится. Я не знал ни где Виктор, ни что с ним. Я ответил, что я сам сейчас в Вейле-на-Рейне, как раз заканчиваю поедание раблезианского завтрака и отправляюсь осматривать разнообразные здания, построенные фирмой «Витра» на своей территории, ради чего, собственно, сюда и приехал, поскольку, как она, Тина, может быть, слышала, фирма «Витра», вообще-то занимающаяся изготовлением модельной мебели в частности, и в первую очередь стульев, устроила на своей территории что-то вроде игровой площадки для современной архитектуры, представленной такими замечательными, дорогими сердцу любого архитектурного *фрика* именами, как Фрэнк Гери, Заха Хадид, Ричард Фуллер... Ты, значит, ничего не слышал о Викторе? — Нет, ничего. — Она бывала в «Витре», — сообщила после недолгой паузы Тина, — даже делала там фотографии для одного журнала, давно это было. Ей надо убежать; она желает мне приятной поездки. Жаль, сказал я, что мы не можем провести этот день вместе, пофотографировать вместе. У тебя хоть штатив-то с собой? — спросила она на это. Штатив, — сказал я, — у меня всегда с собою; всегда лежит в багажнике, дожидаясь своей минуты.

«Витра»

Как-то все связано в мире, каким-то образом все со всем соотносится. Я чувствовал, удивляясь себе, ничем не оправданную и ни на чем не основанную ответственность за этого Виктора М., десять, нет, уже двенадцать лет назад учившегося у меня в Эйхштеттском Католическом университете;

и вовсе не потому чувствовал ответственность за него, что десять и двенадцать лет назад он посещал мои семинары по русской истории, сдавал экзамены и писал курсовые работы, но потому что это я, не кто-нибудь, в свое время познакомил его, причем совершенно случайно, в электричке, по дороге из Кронберга во Франкфурт, с только что позвонившей мне Тиной, я же дал ему и адрес буддистского центра в Нижней Баварии, то есть, думал я, подъезжая к «Витре», невольно оказался причиной неких, в его жизни, похоже, важнейших событий и отношений, притом что сам я не так уж с ним и часто встречался и никакой особенной роли в моей собственной жизни он никогда не играл, до сих пор не играет. Ему вообще свойственно исчезать, думал я; он, конечно, найдется... Еще я думал о том, что вот, увы, роман, все последнее время меня занимавший — «Пароход в Аргентину», — роман, посвященный, среди прочего, вполне удивительным, намекающим на какие-то скрытые от глаз смыслы и соразмерности эпизодам из жизни великого русско-балтийско-аргентинско-французского архитектора Александра Николаевича Воскобойникова, более известного просвещенному человечеству под своим галлицизированным именем *Alexandre Vosco*, — что роман этот, к моему счастью и несчастью, закончился, что он, в общем, дописан, доделан и что еще я езжу, по инерции, по Европе в поисках архитектурных впечатлений, источников вдохновения, но что уже нужно — не выдумывать (выдумать их нельзя, как бы ни хотелось их выдумать) другую историю, других персонажей, — нужно просто ждать (и неизвестно еще, как долго ждать), чтобы они сами во мне появились, склублились, обрели черты, и ожили, и заговорили со мной и друг с другом. Почти не было машин на стоянке; был туман, понемногу и нехотя поднимающийся над зелеными скатами окружающих холмов. Я набрал номер

Алексей Макушинский

Викторова мобильного; он не ответил. Чуть-чуть, помнится, болела у меня голова, да и живот не радовался пантагрюэ-левым яствам... Пишущий человек в одиночестве никогда не бывает, говорит Поль Валери. Подозреваю, что и люди, ничего не пишущие, в одиночестве бывают довольно редко. Одиночество обращает нас к тому, что есть, к настоящему. А настоящее трудно, настоящее требует усилий. Куда как проще предаваться фантазиям, воображать себе будущее, воображать себя в будущем... Я показывал призрачному кому-то эти замечательные здания, собранные фирмой «Витра» на клочке прирейнской, еще германской, почти швейцарской земли; так показывал их кому-то, как если бы я уже знал их, уже бывал здесь (хотя был здесь впервые), как если бы то *сейчас*, в котором я осматривал их один, уже отодвинулось в прошлое, а наступило в самом деле будущее, легкое будущее, в котором я и показывал их кому-то — не вообще кому-то, но (так мне помнится, хотя уверенности у меня нет: статисты наших мечтаний взаимозаменяемы, призрачны и прозрачны), — именно этому Виктору, Виктору М., которому только что пытался я дозвониться (потому, наверное, и показывал ему все это, что пытался дозвониться ему, значит, думал о нем) и которого при этой воображаемой прогулке с ним по территории фирмы «Витра» в Вейле-на-Рейне я никак не представлял себе, поскольку мое внимание было в первую очередь сосредоточено на том, что я видел вокруг, но которого я теперь, вспоминая и сочиняя, вижу довольно отчетливо, как (вновь скажу) если бы он и вправду шел в тот день со мной рядом (в той брезентовой, ложноохотничьей и подлинно пижонской темно-зеленой куртке Varbouc, в которой ходил он все последние франкфуртские годы, и в вязаной бордовой шапочке с помпончиком, не просто дисгармонизировавшей с курткой от Varbouc, но словно издевавшейся над этой курткой и еще

над чем-то, над кем-то; шапочке, в свою очередь, служившей предметом Тининых, поначалу совсем, затем все менее беззлобных издевательств; ему же, Виктору, служившей для прикрытия буддистской синевы его голого черепа, после исчезновения тех очень русских, прямо каких-то рязанских — при том, что он был чисто питерского, еврейско-чухонского, как выражался сам, происхождения — кудрей, которыми так забавно и трогательно тряс он в эпоху нашего с ним первого, эйхштеттского, знакомства...) — как если бы он и вправду шел в тот день рядом со мною, от стоянки к так называемому «Витра-Хаусу», предназначенному для продажи продуктов фирмы (стульев, столов и диванов, ламп, торшеров и стульев снова, стульев еще раз) и построенному базельским архитектурным бюро «Герцог и де Мерон» (славным, среди прочих своих достижений, тем, что спроектировало к чемпионату 2006 года мюнхенский, на всю округу светящийся стадион) в виде поставленных друг на друга под неожиданными углами продолговатых, без окон, но с застекленными прозрачными торцами домов (так скомпонованных, что получается здание сновидческое, с завитками лестниц, сводами переходов) — домов намеренно обыкновенных, какими дети рисуют их (с торца глядячи: квадрат и над ним треугольник), домов (я насчитал их двенадцать), напомнивших мне (что тут же я и сказал моему бесплотному спутнику) какие-то дачные домики, так называемые «финские домики» моего детства, совсем не такие новые, не такие шикарные, но такие же продолговатые, с такими же треугольными крышами, домики, понятное дело, стоявшие не друг на дружке, но мирно и просто, на соседних участках, за облезло-зеленым штакетником бесчисленных подмосковных заборов. Все ведь связано в жизни, хоть мы и не знаем как... Мы чувствуем эту связь, говорил я сам себе и кому-то (Виктору или не Виктору), иногда, в

Алексей Макушинский

наши лучшие мгновения чувствуем ее очень остро — и сами не понимаем, что нам с ней делать, и потому идем просто дальше, от «Витра-Хауса» к небольшому, безумному, разлетающемуся в разные стороны Музею дизайна Фрэнка Гери, где быстро обходим неинтересную выставку каких-то, опять же, лампочек, ламп и торшеров и покупаем билет на ближайшую экскурсию, позволяющую проникнуть на территорию собственно фирмы, посмотреть другие достопримечательности.

Гете, диалоги с тенями

Мне казалось в молодости, что эта склонность нашего ума к диалогам с тенями есть его роковой изъян, род болезни, то ли моей особенной и личной, то ли какой-то общечеловеческой болезни, до сих пор не описанной; и я только диву давался, почему о ней не кричат на всех углах и во всех переулках; велико же было мое изумление и велика моя радость, когда я прочитал в «Поэзии и правде», что и самому Гете было свойственно вести в уме (*im Geiste*) долгие разговоры со своими знакомыми (которые весьма и весьма удивились бы, расскажи им кто-нибудь, что он, Гете, вызывает их духи и призраки для идеальной беседы). Из этих бесед вырос «Вертер»; монологи автора превратились в письма героя... В «Вертере» ответы отсутствуют; наши внутренние собеседники, как правило, неразговорчивы. Это мы говорим перед покорной публикой, иногда говорим вразумительно, вдохновенно, сами удивляясь, может быть, необыкновенным мыслям, приходящим нам в голову, иногда нисколько не вразумительно, не в силах остановиться, повторяя одно и то же, теряя нить своих разглагольствований, да и сами теряясь в неподвластных нам, мерзко взвихренных словах и речах.

Бетон, приближение

Воображаемый Виктор исчез, когда экскурсия началась. Уже не я показывал в мечтах о будущем эти здания, шедевры (совсем-шедевры или все-таки-не-совсем-шедевры) современной архитектуры, но мне показывали их наяву, в настоящем. В настоящем и наяву показывала их мне и рассказывала о них (по-английски; немецкой экскурсии пришлось бы ждать часа полтора) белокурая, стройная и вообще прелестная девушка в цветастой юбке, черных, вылезавших из-под юбки рейтузах, черной же майке под белую курточкой; девушка, так хорошо, с таким легким, таким едва уловимым славянским акцентом говорившая по-английски, что я только под конец экскурсии признал в ней соотечественницу; уже мы полюбовались музеем Фрэнка Гери и герцог-де-мероновским «Витра-Хаусом» в других ракурсах и с другой стороны, уже постояли возле крошечной заправочной станции Жана Пруве, уже прошли мимо кирпичного, плоского и словно намеренно никакого фабричного здания, которое на месте похожего и когда-то сгоревшего построил не менее всех прочих знаменитый португальский архитектор Альваро Сиза Вьейра, уже осмотрели со всех сторон, изнутри и снаружи, пресловутую пожарную часть (едва ли, с туристической точки зрения, не главный аттракцион «Витры»), тоже, как и более поздний музей Фрэнка Гери, во все стороны разлетающаяся, из тупых и острых углов, косых плоскостей, изгибов, изломов составленную пожарную часть (никаких пожарных в ней давно уже нет), в 1993 году возведенную здесь Захой Хадид (Захой Хадид, которой до этого самого 1993 года нигде ничего не давали строить, полагая ее в сущности сумасшедшей); уже мы прошли и осмотрели все это, уже постояли и возле идеально белого, идеально круглого, нереально большого производственного цеха — совсем недавнего создания

Алексей Макушинский

японского архитектурного бюро SANAA, уже пошли к последнему зданию, неподвижному и молчащему, как все они, — зданию, однако, которое в своем неподвижном молчании сказало мне больше и произвело в душе моей движение сильнейшее, чем все остальные, — к построенному тоже в 1993-м году японским, опять-таки, архитектором Тадао Андо так называемому конференц-центру, или конференц-павильону, павильону для конференций (Konferenzpavillion), — уже пошли мы к нему, когда я, наконец, решился спросить нашу водительницу, все еще по-английски, откуда она, собственно, родом. Большие, очень красные цветы на ее юбке перекликались с красными бусами на черной майке и красными же носками, вылезавшими из-под черных рейтуз; родом она оказалась из Харькова. Отрадно все-таки, когда дама всерьез продумывает свой туалет. Вы видите это здание? — спросила она меня по-русски, затем, вспомнив, что она на работе, по-английски всех прочих (признаться, не запомнившихся мне) участников экскурсии. Do you see this building? Нет, вы не видите этого здания, you don't see it, объявила она с интонацией почти торжествующей, указывая на вишневые, уже чуть тронутые желтизной деревья, стоявшие каждое само по себе, как если бы они были одновременно деревьями и статуями деревьев, на коротко и гладко постриженной, еще совсем зеленой лужайке; указывая широким и тоже торжествующим взмахом руки на бетонную стену за ними. Редкие узенькие желтые листики, осыпавшиеся с деревьев, отчетливо и тоже, подумал я, с какой-то почти скульптурной отъединенностью друг от друга выделялись на гладкой траве. Уже туман давно поднялся, но солнца не было; не было, впрочем, и облаков; была лишь смутно светящаяся пелена почти белого неба. Бетон стены, к которой шли мы, казался издали, и оказался на ощупь, тоже гладким, серым, нежным, не очень

холодным; мое первое прикосновение к знаменитому та-дао-андовскому бетону; знаменитому, среди прочего, тем, рассказывала нам прелестная харьковчанка, что опалубка, применяемая для его изготовления, одного размера с традиционными японскими татами, то есть матами из тростника и соломы, которыми застилается пол в японских домах (и не только застилается ими пол, но и размер комнаты измеряется количеством татами, лежащих на полу: обычная комната в шесть татами, к примеру; большая комната в двенадцать татами...), так что бетонная стена,неважно, внутренняя или внешняя, оказывается поделенной на прямоугольники (длинные стороны которых всегда в два раза больше коротких) с шестью, как правило, углублениями от опалубки. Сделать такую опалубку и соответственно такой бетон здесь, в Германии, было очень непросто, рассказала нам наша водительница, поскольку здесь другие стандарты, другие нравы, обычаи, навыки бытия... Между тем открылось нам само здание, наполовину утопленное в ландшафт, с отчасти стеклянными стенами (тоже поделенными на продолговатые прямоугольники, длинные стороны коих расположены, впрочем, вертикально, как если бы намекали они, но совсем тихо намекали, на готические, вверх уходящие витражи; единственная вертикаль в этой очень горизонтальной, очень плоской архитектуре...), с внутренними, в ландшафт и землю утопленными двориками, с разнонаправленной гармонией все тех же татамно-бетонных, под неожиданными углами смыкающихся, расходящихся снова стен; продуманными перемещениями света, передвижениями теней по бетонным поверхностям; здание, которое разбудило меня. Я не спал и до этого. Я смотрел внимательно, фотографировал очень усердно, давно простившись с воображаемым Виктором, пребывая в своем *сейчас*, в своем настоящем. Все-таки я почувствовал толчок

Алексей Макушинский

пробуждения, как только прелестная харьковчанка подвела нас к конференц-павильону, и продолжал себя чувствовать разбуженным, пробужденным, блуждая вдоль этих стен, по этим дворикам, сидя за длинным столом в зале для, собственно, конференций, откуда за отчасти соборными стеклами снова видны были скульптурные вишневые деревья, зеленая трава лужайки, светящееся белое небо. Оно было, это здание, а вместе с тем его не было. Оно впервые, всякий раз, возникало, вот сейчас, из зеленой лужайки, белого неба, светящейся пустоты. Пробуждение возвращает нас к нам самим, оставляет нас в одиночестве. Я смотрел на этот бетон и был счастлив. Это было ощущение телесное. Счастье всегда телесно. Я подумал, что дзен-буддистская тема, так долго звучавшая в моей жизни, потом отступившая на второй, на третий план, никуда не ушла, что она здесь и я всегда могу к ней опять обратиться. Уже пару лет, кажется, как я почти перестал *сидеть* в том особенном смысле, который придают этому слову в буддизме, то есть заниматься тем, что в буддизме называется *дза-дзеном* — сидячим дзеном и что так неточно и плохо передается словом *медитация* (отчего мы в дальнейшем употреблять его по возможности и не будем). Еще я подумал, что хотел бы снова начать *сидеть*, начать *сидеть* вот сейчас, прямо здесь. Я даже сложил руки, покуда (в обычном, отнюдь не дзенском смысле) сидели мы в кожаных черных креслах (неудобных и загогулистых) в зале для конференций и харьковская прелестница продолжала рассказывать нам о Тадао Андо и особенностях его, как она выражалась (в соответствии, надо полагать, с общепринятой классификацией), архитектурного минимализма, — потихоньку, чтобы никто не видел, сложил руки в традиционную дзенскую *мудру*, ладонями кверху (левая ладонь на правой, и большие пальцы касаются кончиками друг друга, образуя прямую линию) и,

сложив так руки, принялся, как много лет подряд это делал, как делал это в дзен-буддистском монастыре, считать свои выдохи, от одного до десяти — и снова от одного до десяти. Все связано в мире, все в мире со всем соотносится. И то, что мне позвонила Тина именно в этот день, именно в этот день спросила меня о Викторе (которого последний раз я видел, если память не подводит меня, весной), это тоже (думал я, считая выдохи, по ту сторону счета) одно из тех восхитительных совпадений, которые всегда так занимали меня, которые, случаясь с нами, всякий раз и радуют нас, и пугают, и даруют нам веселое чувство общности с чем-то, но мы не знаем и никогда не узнаем, с чем именно... Так жаль мне было расставаться с этим зданием, этим (или таковым оно казалось мне) зримым, бетонным воплощением дзен-буддистской пустоты и свободы, что, пообедав в ресторане в составленном из дачных домиков герцог-де-мероном «Витра-Хаусе», я не нашел в себе сил поехать просто домой, не-домой, в то случайное место под Франкфуртом, где я тогда жил, куда возвращался всегда с неохотой, но еще часа полтора с не покидавшим меня ощущением покоя и счастья бродил по доступной простым посетителям, без всякой экскурсии, уже по-осеннему мокрой, чуть-чуть проседавшей, с легким хлюпом пружинившей под ногами лужайке возле тадао-андовского конференц-павильона, в разных ракурсах фотографируя, теперь уже со штативом, разбегание его плоских, в ландшафт утопленных стен; в сумерках добрался до Базеля; и поскольку цены там оказались вполне швейцарские, для простых граждан Евросоюза почти оскорбительные, возвратился опять на германскую сторону и, поленившись искать что-нибудь новое, в конце концов в ту же гостиницу, где ночевал накануне и где другая рыженькая, но тоже — клянусь! — косоглазая — один глаз смотрел на меня, другой на пыльную пальму — албан-

Алексей Макушинский

ка-румынка, плохо говорившая по-немецки, помучив компьютер, понажимав на разные, мне показалось, случайные клавиши, объявила, что номер, где я ночевал накануне, свободен и, если я хочу, я могу получить его.

Трамвай, кладбище, Д.Т. Судзуки

Мне было двадцать два года, когда я начал читать дзен-буддистские книги; вспоминаю теперь — так отчетливо, как если бы он тоже был зданием, которое можно обойти со всех сторон, снять в разных ракурсах — очень серенький, очень блеклый, с мелким дождичком, петербургский (тогда еще, если угодно, ленинградский) денек (время действия: май, начало мая, предположим, 2 мая 1982 года) и как я стоял на остановке — где-то на Петроградской стороне — в ожидании трамвая, тогда ходившего, с тех пор переставшего, наверное, ходить, в сторону Черной речки и за Черную речку (в смысле за станцию метро «Черная речка»), трамвая (упорно не появлявшегося), на котором я собирался доехать до Серафимовского кладбища, где похоронены мои дедушка, бабушка и няня, где много позже, вечность спустя, мне предстояло похоронить мою маму, о чем, конечно, я и не задумывался в тот майский мокрый денек. Еще вся жизнь была повернута в будущее; но *такого* будущего, *настоящего будущего* (да простится мне каламбур) я и представить себе не пытался; ужаснулся бы, если бы вдруг представил его себе. Будущее, в которое повернута была жизнь, было, как оно и естественно для двадцати двух лет, будущим мифологическим, будущим мечты и надежды; тем *легким будущим*, в котором мы так охотно воображаем себя, в котором все всегда удастся, в котором голова не болит, да и обжорство не оборачивается изжогой... Оно тоже, впрочем, на той трамвайной остановке

отсутствовало; никаких призрачных разговоров ни с какими бесплотными собеседниками я не вел; ничего никому не рассказывал, не доказывал; ни перед кем не пытался покрасоваться. Я вдруг совпал с самим собой, со своим настоящим (дождем, улицей, булыжником между трамвайными рельсами). Накануне или в тот же день утром у друзей, пускавших меня ночевать, когда я приезжал (что часто делал) из Москвы в Петербург (писать «Ленинград» все же противно), впервые попало мне переведенное на русский язык неведомым адептом (наверное, с ошибками) и размноженное с классической самиздатовской блеклостью на подпольном ксероксе одно из бесчисленных сочинений Д.Т. Судзуки — даже не знаю теперь, какое именно: «Введение в дзен-буддизм», или «Основы дзен-буддизма», или «Эссе о дзен-буддизме»; как бы ни называлось оно, что-то, опять же классическое, некая убедительная простота и освященная традицией ясность видятся мне в этом — не мною, но за меня сделанном — выборе; знакомство с дзен-буддизмом с чтения Судзуки и должно начинаться; в XX веке в Европе, в Америке и даже за железным занавесом знакомство с дзен-буддизмом ни с чего иного, похоже, начаться и не могло. Не помню, где именно, на какой улице это было, но помню, что улица, по-питерски широкая и прямая, с одной стороны упиралась в громадный доходный дом, неопределенно-бурого, в памяти (или забвении) стершегося цвета, из-за которого (дома), обогнув его, и должен был выехать, упорно не выезжал мой трамвай, с другой же — уходила к каким-то деревьям, смутной, бледной и первой листвой зеленеющим в памяти и забвенье, к какой-то воде за ними (может быть, к Карповке, может быть, к Кронверкскому проливу). Был жестяной, проржавевший по краям козырек над парадным ближайшего к остановке дома, козырек, под которым я и прятался от дождя, то почти кончавшегося, то

Алексей Макушинский

опять принимавшегося сыпать из низких и рваных туч. Что такое Будда? — Старая половая тряпка... Я ем, когда голоден, я сплю, когда устал. — Чем же ты отличаешься от обыкновенных людей? — Я *правда* ем, когда я голоден, я *правда* сплю, когда я устал... В тот день, значит, прочитал я свои первые *коаны*, первые парадоксы, неразрешимые загадки, которые вовсе и не надеялся когда-нибудь разрешить, которые нравились мне сами по себе, просто так. А все ведь вообще *просто так*. Я вот стою здесь, потому что жду трамвая; но я могу и не садиться в этот трамвай; никто не принуждает меня. На самом деле я *просто так* здесь стою... Было огромное чувство освобождения от чего-то, что до сих пор томило и теснило меня, от каких-то пут и скреп моей юности, которых я и сам, может быть, дотоле не сознавал, и вместе с тем (как мне уже приходилось писать) чувство какой-то новой связи со всем, что окружало меня в этот миг, в этот день — с этим дождем, этими каплями, падавшими с навеса, с трамвайными рельсами, рваными тучами и мокрой брусчаткой, каких-то новых отношений, в которые, удивляясь, вступал я с вещами и временем. Было, скажу иначе, очень острое, печально-радостное, по сути своей музыкальное ощущение вот этого *сейчас*, вот этого настоящего мгновения времени, в котором я находился, которое держало меня. Я был в нем и был в нем свободен. А это и было одно из тех особенных, лучших наших мгновений, которые могут длиться довольно долго (полчаса, час...) и которые, выпадая из жизни, столь многое, случается, изменяют в самой этой жизни, что мы вновь и вновь вспоминаем их и через десять лет, и через двадцать, и через тридцать. Трамвай пришел; мгновенье закончилось. Все мгновенья заканчиваются. Не закончилось то, что тогда началось. И даже этот трамвай еще видится, еще помнится мне теперь (в отличие от стольких других трамваев, на кото-

рых потом случилось мне в жизни кататься), трамвай, шатавшийся, звеневший и скрежетавший, как все русские трамваи в то время, с еще (или так мне помнится) деревянными обшарпанными сиденьями и широкими косыми полосами дождя, бежавшими по его стеклам. Я не знал, где сходить. Исчезнувшая из памяти женщина, у которой спросил я, где Серафимовское кладбище, не ответила ничего. Ответил пожилой дяденька, в плаще и галстуке, с лицом настолько питерским и, значит, старорежимным, что хочется назвать его пожилым господином, при очевидной невозможности такого определения в рабоче-крестьянском контексте 1982 года. Сходите, сходите, молодой человек, уже сейчас Серафимовское, проговорил он с чуть-чуть, мне помнится, удивленной интонацией. Я сошел и мимо квадратных домиков (они и теперь там), мимо редких, с редкими мокрыми листиками, взвихренных ветром березок дошел до железнодорожного переезда, перед которым безмолвные, в платочках, старушки (они тоже все еще там) продавали кладбищенские цветочки, веночки; прошел мимо памятника погибшим в блокаду; мимо чудной, деревянной и деревенской церкви Серафима Саровского, уже выискивая глазами ту огромную, совсем не белую, от старости заскорузлую березу, по которой всегда находил и нахожу до сих пор нужную мне могилу, большой серый камень, гладкий с одной и утесисто-неотесанный с другой стороны. Все как-то связано в мире (хоть мы и не знаем, как именно); все в мире взаимодействует. А в то же время мир распадается для нас на отдельные, по внешней видимости и по нашему ощущению друг с другом не связанные миры; мы переходим из одного строя чувств и мыслей в другой строй мыслей и чувств внезапно (как ошалевшая страна в эпоху революционных потрясений). Дзен в тот первый день, когда я узнал о нем, звучал для меня как счастливая, радостная,

Алексей Макушинский

даже веселая, пожалуй, мелодия, совсем неожиданная посреди уже почти привычной серости и мрачности мира; я был пленен парадоксами; пленен возможностью так — с такой иронией, с таким вызовом, с такой беззаботностью, такой бесшабашностью — говорить и думать о вещах важнейших, о надежде и безнадежности, о смысле, бессмысленности и смерти; послать к черту взрослую угрюмую жизнь с ее постылой серьезностью... Ничего общего не имели эти новые чувства, новые мысли с той печалью, тем сознанием невозвратимости, непоправимости всех потерь, которое охватывало (и охватывает) меня всякий раз, когда я стою на этой могиле, перед этим серым камнем с его (тогда) тремя именами (с тех пор прибавились новые; вернее, прибавились сперва временные таблички; затем другой камень, похожий), с именем моей бабушки (Елизаветы Иродионовны Макушинской), датами ее жизни (1898—1972). Десять лет прошло тогда с ее смерти; вечность прошла теперь. Всякий раз, когда я стоял (и стою) здесь, на этом кладбище, под этим всегда низким и тоже, как земля вокруг, плоским небом — небом, самая плоскость которого говорит о близости моря, залива, большой воды — о том же говорит, конечно, и ветер, — всякий (или почти всякий) раз я так сильно и безоглядно думал о моей бабушке, здесь похороненной, что начинал вдруг чувствовать краешком души ее живое присутствие, как если бы она обращалась ко мне откуда-то, — не из этого камня, и не из этой березы, и даже не из этого низкого неба, но совсем из другого — здесь рядом, но все же совсем другого, — в пространстве не находимого места, безместного места, беспространственного пространства, — обращалась ко мне с внезапной, тихой, немислимой, в языке и словах не нуждавшейся вестью, которую и пытался я поймать, понять, разгадать.

Преувеличенные глаза

Возвращаться в тот же номер, тот же отель было глупостью; не самой страшной, конечно, из сделанных в жизни глупостей, думал я, ворочаясь на бугристой кровати в приавтострадной гостинице в Вейле-на-Рейне, где я заснул — и сразу проснулся, и потом уже не мог заснуть до утра. Я лежал, прислушиваясь к свиристению кондиционера (который в итоге пришлось мне выключить — так нагло дул он мне в ухо); прислушиваясь к равномерно-неравномерному, вдруг взрывавшемуся, затем затихавшему, потом продолжавшемуся на одной ноте шуму автострады за плотным двойным окном; следя за проникавшими в комнату сквозь узкие прорезы штор, пробегавшими по стенам и потолку быстрыми, внезапными отблесками автомобильных фар, бросаемыми на этот потолок, эти стены явно не теми машинами, что всю ночь проносились по автостраде, но другими, непонятно какими, кружившими вокруг отеля, в пространстве ночи, по неведомым путям и дорогам; потом опять закрывал глаза, опять пытался заснуть. Я чувствовал это ночное пространство вокруг меня и гостиницы; сознавал — тоже, в сущности, чувствовал — проходящие рядом границы (между Францией и Швейцарией, Швейцарией и Германией); сознавал и чувствовал — видел, внутренним зрением — текущую рядом реку, здесь еще не очень широкую, но уже готовую пересечь пол-Европы; чувствовал, сознавал и видел, короче, эту Европу вокруг меня, Европу, за годы моих странствий (моих *Wanderjahre*) изъезженную вдоль и поперек, и с востока на запад, и с юга на север, но все же таящую за каждым третьим углом и каждым вторым поворотом что-то новое, еще неизданное, — так ее видел и чувствовал, как если бы она была одновременно самой собой и своей собственной картой, — картой, по которой легко я двигался, пересекая границы и

Алексей Макушинский

реки, на восток и на запад, на восток скорей, чем на запад (и чем дальше на восток, тем дальше и глубже во времени), от Базеля сначала на север, во Фрейбург, с которым так много связано в моей жизни, первый германский город, в котором я (в 1988 году) оказался, и дальше через Шварцвальд по горным и безумным дорогам, вьющимся серпантинам, мимо темного озера с комическим названием Титизее и еще дальше, к Боденскому озеру, в Констанц, и оттуда на пароме, по мерцающей в памяти водной глади, на фоне сияющих, тоже в памяти, снежных вершин — в Мерсбург, где на широкой террасе местного замка стояла некогда Аннета Дросте-Гюльсгоф, замечательная поэтесса, глядя, как бушуют и беснуются волны под нею, отдаваясь ветру, распустив волосы и мечтая, в какие приключения пустилась бы, будь она мужчиной, а не женщиной, обреченной только стоять и смотреть... и дальше уже прямой дорогой на Мюнхен, центр всей моей жизни, и от Мюнхена, к примеру, на север, в Эйхштетт, этот крошечный, в долине реки Альтмюль спрятавшийся городишко с крепостью на одном из холмов, резиденциями епископа, зимней и летней, и университетом, единственным в Германии католическим, — городишко, где я впервые оказался осенью 1992 года (через десять — с половиною — лет, следовательно, после того трамвая, того косога дождя), откуда сбежал в 1996-м, куда был вынужден возвратиться в 2001-м, получив там (в помянутом университете) работу, и где познакомился с Виктором М., в июне или июле того же 2001 года, в конце, во всяком случае, летнего семестра 2001 года, поскольку он, Виктор, появился там в конце этого летнего семестра в обществе других, из России, Казахстана, Болгарии или Черногории, периодически прибывавших в эйхштеттскую католическую идиллию соискателей двухгодичной стипендии так называемой Германской Службы Академического Обмена (DAAD),

которых (соискателей) мы (сотрудники) должны были допрашивать на предмет наличия или отсутствия у них элементарных исторических знаний, чтобы при наличии таковых они могли начать учебу со следующего (в данном случае зимнего) семестра (то есть с середины октября все того же 2001 года), в противном же случае отправиться восвояси; почему и каким образом попал в это общество Виктор, я, ворочаясь на кровати, не знал; теперь знаю. Я лежал и ворочался, уже почти не пытаюсь заснуть, но пытаюсь представить себе этого Виктора М., до которого накануне (или еще не совсем накануне... был тот час бессонной ночи, когда *сегодня* понемногу превращается во *вчера*) не сумел дозвониться, представить его себе таким, каким впервые увидел, с его тогдашними русско-рязанскими кудрями, которых самих по себе, наверное, было бы недостаточно, чтобы я сразу его запомнил, — точно так же, как я не запомнил (не смог бы вспомнить теперь) почти никого из других соискателей этой стипендии, проходивших предо мною в разные годы (помню одну болгарку с кровавыми ногтями, такими длинными и так ярко накрашенными, что казались не ногтями, но когтями, когтями какого-то мифологического существа, только что вонзавшего их в чью-то истерзанную невинную плоть; ее тоже, впрочем, помню не только из-за этих когтей и ногтей, но и по тому еще, как трогательно пыталась она увильнуть от ответа на наш, опять-таки, вполне невинный вопрос о роли ее родной Болгарии в Первой мировой войне; чем больше она виляла и чем хитрее увиливала, тем яснее становилось нам, что она вообще ничего не знает о Первой мировой войне, то есть вообще ничего, то есть даже не совсем уверена, что была такая война, а уж кто с кем, почему и когда воевал — все это лежало так далеко за пределами ее духовных горизонтов, как если бы речь шла о каких-нибудь войнах в средневековом

Алексей Макушинский

Китае, средневековой Японии; мы, конечно, никакой стипендии ей не дали). Вопросы о Первой мировой войне вызывали почему-то панику у большинства претендентов; еще большую панику вызывал наш классический вопрос о различиях между режимами авторитарными и тоталитарными, хотя, уж по крайней мере, аспиранты из Восточной Европы должны были бы знать толк и в том, и в другом. Не помню уже, смог ли Виктор сказать что-то внятное на эти волнующие темы, вообще (еще раз) не запомнил бы его, вероятно, несмотря на рязанские кудри, если бы не его безумные, осмысленные, невыносимые, страдальческие глаза — и не его заикание, резко, хотя для него и мучительно, выделявшее его из общей массы соискателей стипендий, искателей приключений, как оно и всегда выделяло его, признавался он мне впоследствии, из любой группы и массы, любой компании, на любой вечеринке... Он краснел, когда заикался; причем заикался, говоря по-русски, сильнее и мучительней, чем по-немецки (как если бы переход на чужой язык, которым в ту пору владел он весьма приблизительно, избавлял его от каких-то давних печалей); кудри его тряслись и вздрагивали при этом. Ему было тогда, если я ничего не путаю, года двадцать три, может быть, двадцать четыре; глаза его уже и в ту далекую пору удерживали, если не прямо приковывали к себе взгляд собеседника, даже экзаменатора, пытавшегося выведать у него что-нибудь о тоталитарных и авторитарных режимах; глаза осмысленные, все-таки сумасшедшие, страдальческие, особенно когда он заикался, и словно преувеличенные (как бывает на старых фотографиях или в старом кино: глаза Мозжухина, думал я, следя за потолочными отсветами, или глаза Зиновьевой-Аннибал на том известном снимке, где она полулежит на кушетке рядом с Вячеславом Ивановым и кажется его, Вячеслава Иванова, и крупнее, и мужественней).

Убежать от себя

Я снова увидел его (то есть, разумеется, Виктора) лишь в октябре, в начале зимнего семестра 2001—2002 года, причем, если память, опять-таки, меня не подводит, на берегу местной речки — Альтмюля, — вдоль которой он бежал в спортивных трусиках и спортивной же майке с ляжками — костюм, хотя еще совсем тепло было, уже не очень соответствовавший сезону, зато позволявший оценить его атлетическое сложение, его широкую грудь и сильные, стройные ноги; он улыбнулся извиняющейся улыбкой, слегка, похоже, стыдясь своего наряда, своей наготы. Он сказал, что на днях прилетел из Петербурга и что собирается посещать мои семинары («Бесы и генезис русской революции», еще что-то о земщине и опричнине); да, ответил он на мой вопрос, он бегаёт каждый день, иногда подолгу, уже много лет (я подумал, что *много лет* в его возрасте звучит довольно смешно), бежал дома и не видит причин не бегать здесь, добавил он, показывая на окружавшие нас голые холмы, как если бы эти холмы каким-то образом оправдывали и объясняли его бег, вообще имели какое-то отношение к этому бегу. Они же, казалось мне, ни к кому и ни к чему отношения не имели, эти голые холмы вдоль Альтмюля; холмы, начинавшиеся — точнее, открывавшиеся в своей наготе, пустоте, — стоило пройти (или, например, пробежать) от университета каких-нибудь пятьсот метров; холмы, с там и сям разбросанными по ним серыми валунами, камнями, в которых виделось мне что-то кельтское — я встречал такие в Ирландии, — что-то мифологическое, друидическое, по ту сторону обжитого мира, бесконечно далекое не только от современности, но — от всякого времени. От себя, впрочем, не убежишь (от с-с-с-себя, впрочем, не у-у-у... не убежишь...), еще он добавил — тут же, по своему обыкновению, покраснев, улыбнувшись смущенно и криво, улыбкой

Алексей Макушинский

человека, стремящегося показать, что сказанное им — шутка, что не в шутку он не произнес бы подобный трюизм, или стремящегося обратить в шутку трюизм, произнесенный всерьез или хоть отчасти всерьез. Грудь его еще поднималась и опускалась от бега; рязанские кудри прилипали к мокрому лбу; преувеличенные глаза окатывали меня своим безумным и осмысленным светом. А хотели бы убежать? — спросил я, тоже как будто в шутку (не совсем всерьез, не совсем не всерьез). Н-не знаю. Иногда хотел бы, ответил он, да, очень хотел бы — и побежал дальше, побежал быстро, едва ли даже попрощавшись со мною, убегая если не от себя, то от своих же слов и собственного смущенья. Холмы и камни смотрели ему вслед все с тем же мифологическим равнодушием; очень ясно, в осеннем распахнутом небе, в той стороне, куда бежал он, виднелись очертания эйхштеттской крепости, с ее зубцами и стенами, нависавшей и нависающей над городком; вода в быстрой речке легко и нежно шелестела длиннолиственными ветками к ней склонившихся ветел.

Холмы, ангары, конная армия

Ужасно одиночество в большом, еще ужаснее одиночество в маленьком городе. А это был городок примечательный: с провалами в доисторическое, дочеловеческое, в мир разнообразных фоссилий и завитков, улиток и раковин, чуть ли не следов птеродактиля, извлекаемых из окружающих каменоломен, сберегаемых в местном музее, и с провалами в историю, в Средневековье раннее и позднее, в эпоху первых епископов, пришедших из Англии в своем невообразимом VIII веке, со своими невообразимыми именами (Виллибальд, Вунибальд и сестра их Вальпурга) крестить грубых германцев. Я все-таки убегал оттуда как мог и когда мог (тоже и в свою очередь, убегая, наверное, от себя); убегал оттуда, в частности и даже

в первую очередь во Франкфурт, еще не подозревая, как много будет в моей жизни впоследствии связано с этим отнюдь не выпавшим из времени городом. У меня была подруга во Франкфурте. Ее звали Викой, эту франкфуртскую подругу, то есть звали ее в строгом смысле совсем не Викой, но Габриэлой — имя, которое так не нравилось мне, как и ей самой, до сих пор называвшей себя, понятное дело, Габи, что я просто-напросто переименовал ее, и она сама себя переименовала, в конце концов, в Вику, воспользовавшись вторым из данных ей при крещении имен (у нее их было в общей сложности три — Габриэла Виктория Моника). И не только сходствовало это ее второе, с моим появлением сделавшееся первым, имя с Виктором, но (поскольку все со всем в мире связано...) в ней самой, этой вскоре из моей жизни исчезнувшей и выпавшей Вике, виделось (или теперь мне видится) некое (в разрезе глаз, в складке губ) сходство с Тиной, хотя она была много моложе Тины и много стройнее, — с Тиной, у которой (поскольку мир состоит из сплошных переключек...) имени, в свою очередь, путались, двоились, троились, о чем она, между прочим, сообщила мне при моем с ней (случайном) знакомстве осенью (опять осенью), но уже 2004 года, в поезде, по дороге во Франкфурт. Я ехал всякий раз с пересадкою в Нюрнберге, то есть добирался до Нюрнберга на местном маленьком поезде, не спешившем выбраться из захолустья; в Нюрнберге садился в большой скоростной поезд, Intercity Express (ICE), за два часа (изредка испуская драконий шип, разбойничий свист) долетавший до Франкфурта, с остановкою в Вюрцбурге. Были — и есть по-прежнему в таких поездах — просто кресла (два по одну и два по другую сторону от прохода) и есть кресла, разделенные столиком, глядящие друг на друга; вот за таким столиком, в кресле у прохода, я и сидел; напротив, у окна, сидела Тина. До сих пор не знаю,

Алексей Макушинский

откуда она в тот день ехала; не помню, села ли, как и я, в Нюрнберге или уже сидела в поезде, когда я вошел в вагон; вижу ее сразу с сэндвичем в руках, раблезианских размеров сэндвичем, который и поела она едва ли не в течение всего перегона до Вюрцбурга. Я таких сэндвичей на своем жизненном пути еще не встречал. То был безумной длины батон с продольным разрезом, в который уложено было все, на что хватило кулинарной фантазии торговавшего бутербродами турка, араба ли, на нюрнбергском или другом каком-то вокзале — куски в чем-то очень восточном, остро-пахучем обжаренной куриной — или, может быть, индюшачьей — грудинки, сыр и брынза, помидоры и огурцы, салат всех сортов — обычный, широколистный, а также французский — с мелкими, а также итальянский — с длинными узкими листиками, наконец, маслины и шампиньоны, артишоки, пеперони и каперсы; удержать всю конструкцию одной рукой было, наверное, трудно, пожалуй, что и вообще невозможно — при совершении надкуса в особенности (говоря по-зоценковски); сжимавшиеся при совершении одного половинки норовили вытолкнуть наружу что-нибудь из его, сэндвича, сумасшедшего содержимого — маслинку ли, каперс, кусочек ли курятины, индюшатины; Тина, держа сэндвич в левой руке и придерживая правой, ухитрялась, отдадим ей должное, не выронить ничего; только хлебные крошки падали на ее гигантскую грудь. Как все фотографы и большинство толстых женщин, она всегда носила (и носит) черное; белые крошки запутывались в ворсинках ее мохерового мягкого джемпера; выделялись слишком отчетливо, чтобы можно было оставить их там дожидаться конца процедуры. Отставляя от себя сэндвич в левой вытянутой руке, она очень осторожно, очень тщательно снимала с себя крошки двумя пальцами правой, выковыривая и вырывая их из ворсинок нежно лакирован-

ными розовыми ногтями. Все это выглядело так, как будто она сидит и щиплет себя за гигантскую грудь. Сэндвич исчезал очень медленно, неуклонно сокращаясь, но еще долго сохраняя свою безудержную длину — так долго, что казалось, это не кончится никогда; исчезал при этом словно сам по себе, без всяких усилий с Тининой стороны; Тина, отдадим ей, опять-таки, должное, ухитрялась поглощать его так, что не только не падало ничего, кроме крошек, ни на столик, ни на гигантскую грудь, но почти незаметно было, что она жует и проглатывает все это — этот сыр, эту брынзу; явно думала она о чем-то постороннем, приятном, не меньшее удовольствие получая от своих мыслей, чем от маслин и жареной курицы; в лице ее было то спокойствие, какое бывает в лице у человека хорошо выспавшегося, ничем не болеющего, никуда не спешащего, никаких бед не ждущего... Чем дольше это длилось, тем трудней мне было удержаться от счастливого смеха. Она, похоже, угадывала мои неприличные мысли, даже их одобряла; усмехнулась в ответ мне коротким, все понимающим, прощающим все смешком. И она справилась со своей задачей; выщипала последние крошки. Вот так-то, произнесла она не без вызова, комкая кулек и салфетки, все, что осталось от побежденного бутерброда. Тут поезд вдруг прекратил свое драконье стремленье к неведомому, испустил один, последний, самый разбойничий свист — и очутился, очнулся в чистом поле под Вюрцбургом. Был осенний солнечный день, как будто все тот же; вечный германский осенний день, с этой легкой и прозрачною дымкой в воздухе, погружающей мир в свою собственную стихию, свое собственное свечение; придающей одновременно отчетливые и мягкие, ясные и все же чуть-чуть смещенные очертания вещам и предметам — деревьям (вновь ветлам), полоскавшим длиннолистые ветви в местном ручье; дальним холмам, несколько

Алексей Макушинский

не друидическим, просто положим и золотым, шафрановым и червленым, и на полпути к ним, еще в долине — белым плоским промышленным зданиям, очень обыкновенным, но тоже, заодно со всеми прочими подробностями ландшафта, преобразенным этой дымкой, этим свечением. Неподвижность картины соответствовала неподвижности поезда. Все замерло, по крайней мере снаружи. Внутри было движение, перемены пассажирам, недовольных задержкою; появление проводника, ничего никому не сумевшего объяснить; шелест газет, мерзкий щебет музыки в чьих-то наушниках; наглый голос, с явным удовольствием поведавший вагону и миру, что кто-то, небось, опять на рельсы бросился — все время они бросаются; наконец сообщение зашипевшего громкоговорителя, что по техническим-де причинам мы здесь вынуждены стоять, и сколько еще простои, неизвестно, но как только станет известно, он, громкоговоритель, всем и тут же непременно расскажет; Тина, ни малейшего внимания не обращая на все это, пристально, словно стараясь разглядеть там что-то до сих пор незамеченное, смотрела в неподвижность снаружи. Но ничего там не было, кроме светящейся дымки, ручья и ветел, проселочной дороги и зеленой травы, бурно-белых промышленных плоскостей, золотых и рыжих холмов. Никто не ехал и не шел по дороге. Откуда вдруг появились на ней всадники, я не помню или не понял. Сначала появились два всадника — или две всадницы, было не разобрать — на казавшихся огромными лошадях, две всадницы (или два всадника) в пестрых продолговатых шлемах и ярких светящихся жилетах вроде тех, что носят дорожные рабочие, дабы не наехал на них никакой сумасбродный водитель; один всадник в желтом, другая всадница в красном жилете. Так медленно и так, за окнами поезда, беззвучно ехали они по дороге, что казались частью этой законной солнечной

неподвижности, не разрушали, но дополняли ее. Когда появилось еще два всадника (или две всадницы), Тина, приподнявшись, изогнувшись и вытянувшись, достала с полки, которая тянется в таких поездах вдоль всего вагона, большую, рыжую, кожаную, потертую, на длинной лямке и с блестящими застежками сумку, поставила ее перед собою на столик, извлекла из нее фотоаппарат, сделала быстрый снимок — за окном была уже кавалькада из шести, восьми, десяти, все больше становилось их, всадников, — затем достала один объектив, положила его рядом с сумкой, подумала, достала другой, дико длинный, почти такой же длинный, каким был только что в руках ее сэндвич, принялась прилаживать его к аппарату. Опять мне трудно было удержаться от смеха, опять, показалось мне, угадала она и одобрила мои неприличные мысли; усмехнулась всепрощающим коротким смешком. Сквозь солнечный и неподвижный ландшафт так же молча и медленно двигалась разноцветная армия, то ли шедшая на приступ промышленных зданий, то ли собравшаяся покорять золотые холмы. Только Тина, долго крутившая колесики своего аппарата, кружки объектива, собралась сделать снимок, как поезд дернулся, зашипел и поплыл. Ну вот, не успела произнести Тина, глядя прямо на меня, смеясь, играя глазами. Теперь уже нетрудно было заговорить, даже трудно было не заговорить с ней. Никаких всадников за окном больше не было: пошли туннели, тьма и грохот этих туннелей, потом узкие, темные, извилистые долины, сосны на склонах, подступавшие вплотную к железной дороге. Мало что помню из нашего тогдашнего разговора; помню, что она пригласила меня на выставку ее фотографий через неделю, в одном из франкфуртских банков. Красивой она не показалась мне, несмотря на роскошные ее формы; некрашенные в тот день (или так мне помнится) негустые русые волосы, сзади собранные

Алексей Макушинский

в пучок, слишком туго обтягивали ее круглую голову, как-то вая, круглая, туго обтянутая, слишком маленькой выглядела на ее полной шее, над ее плечами и бюстом, как будто по недосмотру не ту голову, чью-то чужую, приставили к туловищу; слишком узкими были и губы, изгибавшиеся, даже как-то (я подумал) змеившиеся по лицу между щек, над первым и вторым подбородком. А смешок был прелестный, все испукавший; глаза тоже смеялись, светились. Лицо, главное, было открытое; широкое и большое; повернутое к миру; готовое к слезам и смеху; готовое превратиться в трагическую маску или комическую; не превращавшееся ни в какую; не застывавшее; остававшееся живым, потому, конечно, и беззащитным. В немцах (и в немках) бывает что-то мертвое (думал я, лежа на своей гостиничной бугристой кровати), как если бы они не позволяли себе вполне быть живыми, боялись быть живыми, боялись жизни вокруг. Это внешняя оболочка, как правило, броня и панцирь, неизвестно зачем на себя надеваемый. В Тине не было этого; никогда не было этого; она себя не отгораживала от мира. Я спросил ее, происходит ли ее имя от Кристины, Беттины или Мартины (или, может быть, добавил я, Валентины); она ответила, что нет, ни от какой не Беттины, ни от какой не Кристины и уж тем более не от Валентины, мы не в Италии (и не, я добавил, в России), что она Тина просто, то есть не просто Тина, поскольку есть у нее и другие два имени, но все всегда называли, называют ее просто, все-таки, Тиной. Какие другие? — спросил я. Она их не любит. И не скажет мне? Скажет, конечно. Ее зовут Тина Ирмгард Адельгейд. Какая прелесть, как мне нравятся эти древние германские имена. Какая романтика, какая экзотика... Для нас, объявила Тина, с тем скучно-суровым видом, с каким потомки древних германцев повторяют прописные истины, преподанные им в школе, для нас все это слишком тесно свя-

зано с самыми мрачными эпизодами нашей истории. Ее так назвали в честь разных родственниц и теток. Только Тину ее мама и папа придумали сами. А как зовут их самих? Ее маму и папу? Маму зовут Эдельтрауд, отца зовут Винфрид, все с тем же скучно-суровым видом произнесла Тина, удивленная моей смелостью. Какая экзотика, какая романтика... А ведь русские тоже чудят с именами, поди разберись в них. Вот в романах, случается, героя называют сперва так, затем вдруг иначе, героиню сначала эдак, потом еще как-нибудь. Я попробовал, без большого успеха, объяснить ей разницу между Алексеем Анатольевичем и Алешкой; ни того, ни другого, ни *Aleksej Anatoljewitsch*, ни *Aljoschka*, выговорить она не смогла; смеялась громко, на манер многих немцев, грудным, гулким смехом. За окном появились уже небоскребы, вдали и все сразу, как обычно они появляются, когда ты подъезжаешь к Франкфурту (на машине или на поезде), весь этот лес небоскребов, лесок небоскребов, потому, я думаю, столь фантастический, что небоскребов немного и стоят они рядом друг с другом, так что, подъезжая к Франкфурту (на поезде, на машине), ты видишь вовсе не большой город, с его небоскребами, но вообще никакого города ты не видишь, а видишь именно лес, лесок, рощицу небоскребов, вдруг вырастающих на равнине, сверкающих на солнце, сквозь осеннюю дымку, благословенно равнодушных к окружающей их и нас плоской жизни. Всякий раз восхищает меня это зрелище, откуда бы и когда бы ни подъезжал я к Франкфурту, на машине или на поезде. Но как не думать, глядя на сверкающие вдали небоскребы, что они потому стоят здесь, что стоявшее некогда на том же месте обращено было в пепел и прах? Самой своей новизною, своим сверканием и блеском напоминают они о войне и бомбежках, о развалинах и руинах, о том мире, который был, которого нет. Мы и живем на развалинах исчезнув-

Алексей Макушинский

шего, погибшего, и наша новая архитектура (которой, бывает, так восхищаемся, которой, бывает тоже, бывает чаще, так ужасаемся мы) лишь прикрывает, не в силах прикрыть ее, всегда готовую разверзнуться за всем стеклянным сверканием, бетонным блеском, безмерную, нисколько не буддистскую пустоту.

Кипарис во дворе

Почти стихли машины за окнами, автострада, наконец, опустела, опустели и неведомые другие дороги, отсвет фар не бегал по потолку и по стенам. Я все-таки заснуть уже не надеялся, но лежа на бугристой, с течением времени все более бугристой кровати (как если бы бугры ее росли под мною), вспоминая мое знакомство с Виктором, с Тиной, думал, что и то, и другое (другое в особенности) должно быть когда-то где-то описано, не должно быть потеряно, что просто обидно было бы не использовать в каком-нибудь сочинении тот сэндвич, тех всадников, и тут же, забывая о них, заснуть уже не надеясь, вспоминал иное, давнее, связанное пусть не всегда мне понятной связью с увиденным накануне, с моими мыслями о дзене и Викторе, об архитектуре и о войне; и по-прежнему ощущая пространство вокруг гостиницы, кровати и комнаты, двигался, как по карте, чем дальше на восток, тем глубже в прошлое, в то совсем глубокое прошлое, в котором я и представить не мог себе никакого (я думал) католического университета в баварской провинции (какой католический университет! какая Бавария! дорогой Леонид Ильич доживает последние дни, Андропов Юрий Владимирович скоро покажет нам бабушку Лигачева; а мы и не смотрим на кумачовые их портреты, нам плевать на все это, мы читаем Судзуки и живем своей жизнью), никакого, ни скоростно-

го, ни просто поезда из Нюрнберга во Франкфурт, но в котором был скорей уж один из бесчисленных ночных поездов моей русской молодости, Красная стрела, или не-Красная не-стрела, — тот, от всех других (бесчисленных и бессонных) поездов моей молодости (с их душными купе, их чаем в стаканах с подстаканниками, пустотой и тайной неведомых станций, которые видишь с верхней полки, перегнувшись, отодвинув плотную штору, тайною этих будок, шлагбаумов, чьих-то вдруг голосов, чьих-то шагов по платформе, мерцания мокрого асфальта под одиноким, качающимся на ветру фонарем...) — от всех этих поездов уже неотличимый теперь поезд, на котором в невообразимую весну 1982 года (после моих трамвайных, кладбищенских, дзенских переживаний) я возвратился из Ленинграда в Москву, где, впрочем, пробыл недолго, уже в июне отправившись (на очередном таком поезде, ночном и бессонном) в курляндскую деревню у моря (маленькую — теперь, говорят, разросшуюся, за дюной спрятанную деревню у моря), где бóльшая часть (летняя часть; я, впрочем, иногда и зимою бывал там) моей молодости, собственно, и прошла. Все же этот май 1982-го, между возвращением из Ленинграда и отъездом в Ригу, вспоминается мне теперь, из тридцатилетнего фантастического отдаления, как отдельное, счастливое время — счастливый весенний месяц со скульптурно-снежными, тоже счастливыми, облаками в высоких окнах Библиотеки иностранной литературы на Котельнической набережной, куда я ходил едва ли не каждый день — вдохновенно, по своему обыкновению, прогуливая занятия в (ненавистном мне) институте, в котором я тогда еще учился (доучивался), — читать дальше Д.Т. Судзуки (о существовании *другого* Судзуки, Сюрю Судзуки, я не подозревал), читать Алана Воттса (или Ваттса, или Уотса; Alan Watts, транскрибируйте, как хотите), читать любопытнейшую

Алексей Макушинский

книгу R.H. Blyth, *Zen in English Literature and Oriental Classics*, читать еще всякие, не менее сумасшедшие, сочинения; и читая их, делая выписки (как жаль, что не сохранились они), узнавал имена и понятия, которые с тех пор и сопровождают меня всю жизнь, то отступая на задний план, то вновь выходя на передний; узнавал о Бодхидхарме, первом дзенском патриархе, в конце V века принесшем дзен-буддизм из Индии в Китай, Бодхидхарме, который, если верить легенде, просидел девять лет, глядя в голую стену, покуда не обрел просветление (что бы сие ни значило), когда же появился в Китае, то сам будто бы (благочестивый) император спросил его, в чем суть буддистского учения, на что тот ответил (так, по крайней мере, передает этот ответ Вильгельм Гундерт в самом, наверное, известном переводе «Би Янь Лу», см. ниже, на какой бы то ни было европейский язык): *Ничего святого, открытый простор* (*offene Weite, nichts vom Heilig*); и как же нравился мне этот *открытый простор*, в котором ничего святого нет, никаким богам поклоняться не нужно, но есть только свобода, огромный воздух, огромный ветер свободы — и какое-нибудь легкое облачко, плывущее по лазоревому чистому небу... Кто же тот, кто стоит сейчас передо мною? — спросил на это ошарашенный император. Я не знаю, был ответ. И я не знал, кто я такой, и понимал, что никто не знает, кто он такой, а ведь все вокруг притворяются, все делают вид, что они — то-то или то-то, такие-то и такие-то, а я видел, что все они обманывают себя и других, а на самом деле есть только одно огромное неведение, ничего святого, открытый простор... Сей примечательный диалог составляет содержание самого первого коана в знаменитом, только что мной упомянутом сборнике «Би Янь Лу», по-японски «Гекиганроку», в русском переводе называемом «Записи лазурной скалы», или «Скрижали лазурной скалы» — сбор-

нике из целых ста таких коанов, коротких парадоксальных историй, не поддающихся рациональному решению загадок, восходящих, как правило, к какому-то легендарному или историческому разговору, обмену вопросами и ответами (*мондо*) между двумя, тоже более или менее легендарными, более или менее историческими персонажами буддистского средневековья, какими-нибудь двумя китайскими монахами, учеником, например, и учителем, в восьмом, девятом или десятом фантастическом веке. Этих сборников несколько, узнавал я из своих книг в Библиотеке иностранной литературы, в мае 1982 года, тоже вполне фантастического; самые известные из них «Би Янь Лу» и «Ву Мэнь Гуань», «Мумонкан» японски, в русском переводе «Застава без ворот», или «Бездверная дверь», сборник, составленный неким Мумоном в начале тринадцатого, если я правильно понял, столетия из, опять-таки, знаменитых диалогов, историй и анекдотов предшествующих эпох, которые (диалоги и анекдоты) снабдил он своими комментариями и сопроводил подобающими стихами; нынешние издатели, интерпретаторы и переводчики прибавляют к ним, как правило, еще и комментарии собственные, комментарии к комментариям и дополнения к дополнениям; самый первый и уже самый-самый знаменитый коан в этом сборнике (более знаменитого коана вообще, наверное, нет) — это (как уже догадался читатель) история о собаке и «природе Будды». Обладает ли собака природой Будды? — спросил ученик у Дзёсю (по-китайски Чжао-чжоу, жившего будто бы с 778-го по 897 год, то есть целых сто двадцать лет). Му, ответил тот (или, по-китайски, ву); нет, не имеет, не обладает. А по учению самого Шакьямуни все обладает этой «природой Будды»: и собаки, и кошки, и деревья, и придорожные камни, и травы, и лопухи, и репейник; все, в принципе, «хорошо весьма», все уже просветлено и ни в каком до-

Алексей Макушинский

полнительном просветлении не нуждается. Будда и есть, собственно, тот, кто это осознал и осуществил (осознал и тем самым осуществил; осознал не одним лишь сознанием, но всем своим существом); почему (учит дзен) столь уж почтительно относиться к нему и не нужно, при случае можно назвать его «старой половой тряпкой» или «тремя фунтами льна» (восемнадцатый коан в «Мумонкане»), и как же (опять-таки) нравилась мне эта свобода от пиетета и ханжества, от всякого ладана и всяких возведенных горе очей... «Встретишь Будду — убей Будду, встретишь патриарха — убей патриарха», — говаривал Линь-цзы (Риндзай по-японски; IX век; точных дат не нашел я), тоже один из важнейших (и, как видим, остроумнейших) персонажей в истории дзен-буддизма. Убей Будду в себе; не поклоняйся идолам. Не в Будде дело; ты сам, в конце концов, Будда... Все-таки Чжаочжоу ответил на вопрос о собаке: *нет, не имеет*, природой Будды не обладает, и потому ответил так, или так я понимал это (в малую меру моего понимания), что истина, или, если угодно, «природа Будды», лежит по ту сторону всяких слов, и, значит, всякого «да», всякого «нет», что о ней сказать ничего нельзя, можно только указать на нее, намекнуть на нее, ткнуть в нее лицом (чужим) или пальцем (своим), ударить адепта палкой по голове, чтобы он уже увидел, наконец, то, что следует увидеть ему. Дзен, узнавал я, сидя в читальном зале Библиотеки иностранной литературы, склоняясь над Судзуки или поднимая голову к весенним облакам за высокими окнами, стараясь не слушать шелест чужих страниц, шепот девушек и шиканье стариков, — дзен, узнавал я, и предполагает передачу учения без всяких священных писаний и непосредственное указание на истину в сердце ученика. Сердце ученика было учению открыто, и всему, что читал он, еще он в ту пору верил. Мой любимый коан (тридцать седьмой в

«Мумонкане») тоже был (как и все они) таким непосредственным указанием на истину, и участвовал в нем все тот же Чжао-чжоу (по-японски, соответственно, Дзёсю). Опять является к нему безымянный ученик, чтобы задать свой «дзенский вопрос». В чем смысл прихода патриарха с Запада? — Кипарис во дворе. Какой смысл был патриарху (то есть Бодхидхарме, основателю дзена) приходить в Китай с Запада (то есть из Индии) и основывать здесь у нас, в любимом Китае нашем, свою школу дзен (по-китайски, собственно, *чань*)? — спрашивает ученик, взыскующий смысла и истины. То есть какой смысл всего этого, всего этого дзена, или чаня? есть во всем этом какой-нибудь смысл? — Кипарис во дворе, отвечает Чжао-чжоу. *A cypress-tree in the yard...* Смысл есть, смысла нет, кипарис во дворе. И так (еще раз) нравился мне этот кипарис во дворе, что я почти как заклинание повторял эти три слова по-русски и по-английски, возвращаясь, к примеру, домой, идучи из библиотеки вдоль Яузы или выходя на бульвар, чтобы дойти до метро, воображая себе, как Чжао-чжоу еще не двадцатилетней, но уже старческой рукою показывает удивленному адепту этот в синее небо врастающий кипарис, который так же обладает и так же не обладает природой Будды, как любая собака, и так же раскрывает или не раскрывает смысл дзена, как те облака и те весенние вязы, на которые сам смотрел я по дороге к метро. Они тоже еще почти не пыльной листвою вращались в воздух, в пустое пространство; небо над ними бледнело, из синего понемногу делалось сизым; над дальними крышами намечались розовые легкие полосы, быстрые росчерки, каллиграфические упражненья заката. Молодость вообще невнимательна. Все же иначе, лучше (чуть-чуть лучше), чем раньше, я видел (начал видеть) мир в ту весну и, сидя на бульваре на лавочке, закуривая (странно вспомнить теперь) очередную

Алексей Макушинский

сигарету (извлеченную из очередной пачки «Столичных», очередной пачки «Явы»), смотрел как никогда прежде на эти дзенские иероглифы неба или, опуская голову, с таким острым ощущением своего собственного присутствия в настоящем, вот сейчас и вот здесь, по ту (или эту?) сторону слов, какого (ощущения) у меня до той поры не бывало, следил за ободранными голубями, глухо, по своему обыкновению, гулькавшими, бродившими вперевалку, вытягивая и вновь втягивая глупые головы, в поисках съестного чего-нибудь, в пыли аллеи, между скамеек, или за двумя тетеньками на скамейке напротив, одна из которых (я ее почему-то запомнил), толстая, в песочном плащике и пестрой косынке, во все продолжение возбужденного разговора с другой (худой и забытой) тетенькой, не замечая, конечно, что она делает, приминала пяткою задник тупоносой туфли, примяв же, начинала исправлять содеянное, тяжело заваливаясь набок, выпрямляя пальцем и всей рукою разглаживая злосчастный задник, после чего опять принималась приминать его пяткою... Это дзенское недоверие к словам казалось мне родственным, как ни странно, поэзии — не в том смысле (думал я, отрываясь от теток, отправляясь дальше к метро), что поэзия тоже указывает на что-то или намекает на что-то, лежащее вне ее, но скорее в том (думал я, о тетках и туфлях забыв уже окончательно), что при всех намеках, при всех указаниях, стихи парадоксальным образом не стремятся *говорить о чем-то*, но стремятся *быть чем-то*, быть *самой вещью* и потому, возникая из слов, оставаясь словами, не доверяют словам — по крайней мере, таким словам, какими мы пользуемся в нашей обычной речи, обыденной жизни, пользуемся и в наших рассуждениях, построениях и умствованиях, словам приблизительно, то есть всего лишь приближающимся к искомому, к тому, что есть на самом деле, вот здесь, вот сейчас: к вязам на

московском бульваре и кипарису в китайском дворе. А значит, думал я, нужны слова окончательные, всегда неожиданные. Но где их найти, откуда их взять, я не знал, и приготовленный для входа в метро пятак медленно и как-то мерзко согревался у меня в кулаке.

Павел Двигубский

Мне хотелось поговорить обо всем этом с кем-нибудь, но говорить об этом, по крайней мере в Москве, было не с кем. Несколько раз в ту весну после дзенских посиделок в Библиотеке иностранной литературы встречался я с моим незабвенным (теперь, увы, покойным) другом Павлом Двигубским, которому посвятил я одну из предыдущих книг («Город в долине»), так что нет, наверное, смысла рассказывать о нем здесь подробнее, и всякий раз, так мне помнится, мы шли с ним в соседнее с библиотекой кино «Иллюзион», где тогда показывали фильмы, каких больше нигде не показывали, куда было попасть невозможно, как если бы билетов в это кино вообще не существовало в природе, и куда он, Павел Двигубский, умел попадать благодаря еще школьным знакомствам и связям; насмотревшись Пазолини, насладившись Антониони, шли, теперь уже вдвоем, обычным маршрутом: по Покровскому бульвару и мимо Чистых прудов, столь огромную роль сыгравших и в его, и в моей жизни, и дальше, все так же по бульвару, к той станции метро, которая тогда называлась «Кировской», или еще дальше, к Сретенке, по бульвару вниз — к Трубной; и как ни пытался я рассказать ему о своих дзенских открытиях, о коанах и мондо, о Чжао-чжоу и Линь-цзы с его призывом убить патриарха при встрече, и о самом патриархе, вернее самих патриархах, о Бодхидхарме, пришедшем с Запада, кипарис во дворе, и о не менее важном

Алексей Макушинский

в истории дзена Патриархе Шестом, о его «Алтарной сутре», которую еще не читал я, потому что не мог раздобыть, но о которой знал уже, что читать ее необходимо и без чтения ее жить нельзя, — как ни пытался я рассказать ему обо всем этом, очень скоро я понял, что говорить с ним об этих вещах невозможно, не нужно (а можно и нужно говорить с ним о том, что интересовало его, Двигубского, на его территории, о Гражданской войне, об Елецкой республике 1918 года, о наступлении Деникина на Москву...), и такой же крах потерпели мои попытки заговорить о Первом и Шестом патриархе со всеми прочими моими друзьями, или приятелями, или просто знакомыми; выяснилось, что говорить об этом невозможно вообще ни с кем или возможно только с тем, кого коснулось дуновение того же духа, того же ветра, той же всепроникающей пустоты. Остальные или смеются, или скучают, и если смеются, то смеются или над тобой, что нестрашно, или, что противнее, над самими историями, над собакой, природой Будды и старой половой тряпкой, но так смеются, как если бы это были просто шутки и шуточки, не имеющие отношения ни к моей, ни к их жизни.

Велосипедное лето

Он быстро пролетел, этот май в Москве, дзенский май; наступило, ему вослед, прекрасное легкое лето в спрятавшейся за своими дюнами курляндской деревне, куда я ездил в юности каждый год; одно из счастливейших *лет* моей жизни; дзенское лето 1982 года, особенно запомнившееся мне долгими велосипедными поездками по тогда еще очень пустынным дорогам и каким-то даже для Балтики необыкновенным сиянием, громождением облаков. Еще и предположить я не мог, что так сильно будет занимать меня прошлое этих мест,

что предстоит мне изучать историю этой Курляндии, историю, в частности и в особенности, гражданской войны в Курляндии, историю балтийского ландесвера, в марте 1919 года изгнавшего отсюда большевиков и в мае взявшего Ригу, что граф фон дер Гольц, главнокомандующий всех германских сил в Прибалтике, и светлейший князь Анатолий Павлович Ливен, создатель и командующий русского отряда при ландесвере, и барон Мантейфель-Сцеге, погибший при освобождении Риги, — что все эти люди, герои исторической драмы, о которой и о которых в то дзенское лето — я и не слыхивал, сделаются для меня со временем — совсем по-другому, но все же не менее важными персонажами (жизни и прозы), чем Бодхидхарма, и Чжао-чжоу, и Шестой патриарх, и патриарх, скажем, Третий (автор будто бы самого раннего, самого древнего дзенского текста); в отличие от только что помянутого моего друга, Двигубского, я не интересовался историей; не знал будущего (никто не знает) и не думал (как с тех пор привык и научился думать) о прошлом; лишь настоящее меня привлекало; это легкое, летучее, хвойное, облачное, балтийское настоящее, в котором я ехал на скрипучем советском велосипеде, по шоссе, повторяющем линию берега, или по шоссе, от берега и от моря уводящем к хуторам, холмам и лугам, в уже окончательную глушь и заброшенность, или ранним утром поднимался по песчаной, в сосновых длинных иглах и с выступавшими из песка красноватыми корнями тропинке на дюну и, глядя на море сверху, оказывался на одной высоте с горизонтом, откуда бежал к берегу стальной безудержный блеск. Сбежав, в свою очередь, на берег, я сам бросался в ледяные искры, чтобы проплыть, согреваясь, согреться не в силах, десять взмахов в одну, десять в другую сторону. И потом впереди был долгий, еще почти как в детстве свободный день (любой день так же долог, как все твое детство, сказал кто-

Алексей Макушинский

то из дзенских учителей...), и сидя снова в дюнах, снова у моря, или на внешней деревянной лестнице того домика, где я снимал комнату, поглядывая, подняв голову от страницы или тетради, на очередные, всегда царственные балтийские облака, их перемещения по небу и над кронами окружающих деревьев, я перечитывал дзенские записи, сделанные весной в Библиотеке иностранной литературы и с тех пор, увы, потерявшиеся, или писал свой как раз и по счастью сохранившийся у меня дневник, где тоже, как вот сейчас я вижу, не раз говорится о Бодхидхарме, или читал что-нибудь, с дзеном не связанное никак, например в то лето впервые «Поэзию и правду», в которой, среди прочего, потрясло меня — так, как только в юности потрясает и переворачивает нас что-то, впервые прочитанное, — то место, где Гете рассказывает о своей привычке вести воображаемые разговоры со знакомыми, которые не только весьма и весьма удивились бы, если б провели, что он вызывает их призраки для идеальной беседы, но многие из которых, возможно, и не явились бы к нему для беседы всамделишной. Всего удивительнее, пишет Гете, что он никогда не выбирал для этой цели своих близких друзей, но всегда лишь тех, с кем виделся редко, кто жил далеко... Я и сам готов был вести с кем угодно, живущим далеко или близко, даже и вовсе уже не живущим, воображаемый разговор, как теперь веду его с Виктором, или с Тиной, или с Бобом Р., на этих страницах еще не появившимся, или с Павлом Двигубским, или с Александром Николаевичем Воскобойниковым (Александром Воско), или с другими персонажами моей жизни и моих книг, но то, что прокручивалось у меня в голове, казалось мне недостойным ни меня самого, ни этих, пусть призрачных, но подлинных собеседников, казалось сумятицею и смутой случайных, докучливых мыслей, мыслей, которые мне и мыслями-то называть было жалко,

которые, казалось мне, в своей случайной смутности и смутной случайности не дорастали, не дотягивали до собственно мыслей, не сознавали себя и мне самому сознать себя не давали, отрывая меня от того чистого настоящего, того *здесь-и-сейчас*, к которому я прежде всего и стремился. Овладеть своими мыслями, я думал (и записывал в дневнике), — значит овладеть своей жизнью. Овладеть ни тем, ни другим я не мог. Овладеть не мог, но мог отстраниться. Не мог остановить поток своих мыслей (не-мыслей и недо-мыслей...), но мог со стороны посмотреть на него, как с дощатого мостика или с гнилых мостков на тот ручей, отделявший деревню от дюн, в котором с полнейшей экологической беззаботностью и местные жители, и приезжие интеллигенты имели обыкновение полоскать свои свежевыстиранные трусы и рубашки; приезжие интеллигенты, ясное дело, ни в чем неповинный ручей этот прозвали речкой-вонючкой. Вместе с рубашками и трусами полоскались в нем травы на дне; разрывае-мые рябью, полоскались лица стиральщиков, покрасневшие от холода руки стиральщиц, местных нимф, залетных Нарциссов; в неизменном великолепии полоскались в нем облака. Не просто облака полоскались в речке-вонючке, но и стиральный порошок, вымываемый из очередной рубашки, очередных трусиков, уплывал по течению белым, прозрачным, ядовитым, взрывчатым облачком; рубашка вздымалась, надувалась, тоже пыталась поплыть; рукава ее вытягивались, как будто водяной, еще лучше русалка, на волшебный миг в нее облачалась, в нее облачался. Я был тем, кто смотрел на все это в исчезающем, непреходящем, счастливом *сейчас*; и тем, кто смотрел на свои же по-прежнему путанные и смутные, обращенные или не обращенные к какому-нибудь случайному собеседнику мысли; я научился не совпадать с ними более.

Алексей Макушинский

Иронический Петербург

Это было так, как если бы я вдруг нашел в себе ту точку — тот мостик и те мостки, — с которых только и можно было посмотреть на происходящее — проходящее — у меня в голове и сознании, не участвуя в нем, не уплывая вместе с мыльной, мутной водою, оставаясь на берегу, присутствуя в настоящем; и чем чаще случались со мною такие мгновения, тем чище было у меня на душе (в голове и сознании), хотя я уже догадывался (и оказался прав), что когда это облачно-велосипедное лето закончится, ослабеет и обретенная мной отстраненность, способность к отсутствующему присутствию (так скажем). Я надеялся лишь, что совсем ее не утрачу. Лето закончилось, и я вернулся в Москву и осенью оказался вновь в Ленинграде, и не только потому оказался там, что в Москве мне не с кем было, а в Ленинграде было с кем поговорить о Шестом патриархе, но потому что я вообще всю свою молодость только и делал, что убегал из Москвы (и в конце концов убежал из нее навсегда), и потому еще, что нужно мне было (или казалось, что нужно) дожидаться у подъезда или провожать после концерта домой одну довольно равнодушную ко мне даму; а все-таки удивительно (думал я, ворочаясь на кровати), что если и были в моей жизни какие-то дзенские знакомства, то в Ленинграде (по-тогдашнему), и только в нем, то есть буквально ни с одним человеком в Москве не мог я говорить обо всем этом, или обмениваться дзенскими книгами, или хоть поминать в разговоре любимые имена и названия — Бодхидхарму ли, Ланкаватару ли сутру, — зато мог проделывать все это, если хотел, сразу и по отдельности с несколькими очень разными (в ту ночь, когда я лежал в гостинице, в Вейле-на-Рейне, и не мог, и уже не надеялся заснуть, впервые за много лет всплывшими в памя-

ти) персонажами, с которыми судьба и карма сводили меня в начале и середине восьмидесятых годов, во второй, в ту пору много больше, чем первая, любимой мною столице, куда, как уже говорилось, на красных и не-красных, стрелах и не-стрелах, ездил я если не каждые выходные, то раз в месяц или в два месяца, на все праздники и на почти всех каникулах (и как если бы прохладная ироничность дзена чем-то была созвучна надменно-печальной ироничности петербуржцев, столь непонятной и трудной для москвичей).

Громоподобное молчание Будды

Среди каковых персонажей первым появился некий Геннадий, хотя как именно появился он, кто меня с ним познакомил, этого я не могу и в Вейле-на-Рейне, нет, не мог вспомнить. Ему благодаря, во всяком случае, познакомился я затем и с другими персонажами моей ленинградской отрывочной жизни, моих приездов, отъездов... Геннадий этот жил на Невском проспекте, ни много ни мало, в генеральской квартире своих родителей, которых ни разу я, кажется мне, и не видел, только слышал их голоса, их шаги в недоступных мне, но, судя по всему, ликующе-парадных, лакированно-паркетных просторах; голоса и шаги их подступали, бывало, вплотную к той продолговатой, отнюдь не парадной комнате, где мы сидели с Геннадием, как грохот бури, жалобы ветра подступают (в плохом кино) к одинокому маяку (маяку бесплодной учености, светившему на весь Невский проспект), куда Геннадий не выходил из комнаты, громко шипя, что ему *опять мешают*; буря и ветер смолкали (словно кто-то вдруг выключал звук), сменяясь ровным и мирным шумом Невского под окном. Что касается имени, то имя не подходило пер-

Алексей Макушинский

сонажу до такой оглушительной степени, что тоже казалось атрибутом какой-то дурной комедии, бездарной инсценировки; все же чуть лучше подходило ему, чем, скажем, Гена, отчего Геной его никогда никто и не называл, но все звали Геннадием, обычно делая, для пущей торжественности, легкую паузу, скользкую синкопу между двумя «н»: Ген-надий, и еще чуть-чуть растягивая «а»: Ген-наадий, так что имя окончательно распалось на две части, причем первая звучала какой-то экзотической приставкой вроде шотландского «мак» или армянского «тер», а вторая отзывалась то ли чем-то ориентальным (Саади), то ли чем-то эстонским (Сааремаа). Ничего эстонского в нем не было, а вот восточное что-то было, что-то слишком сладкое, сахарное в глазах и повадке, кошачье в движениях, в темных, всегда как будто прилизанных волосах; своими сладкими глазами оглаживал он собеседника, рассуждая о Бхагават-гите, о Фоме Аквинском, Фоме Кемпийском, о Лао-цзы и Джуан-цзы, о Шанкаре, Шакьямуни, Шпенглере, Штейнере, Кьеркегоре, о Гуссерле и о Гейдеггере (по-советски называемом Хайдеггер), о втором законе термодинамики и разных прочих мадхьямиках; с таким смаком и вкусом выговаривал он эти слова, имена, как будто шоколадные конфеты облизывал. Получалось так, что он знает все иностранные языки и читал все книги на свете. Ни разу не удалось мне выудить (или вынудить) из него признание, что не читал он «Критики чистого разума», хотя из разговора ясно было, что не читал, или что не знает он по-албански, по-венгерски, по-тайски... Но про буддизм вообще, и дзен-буддизм в частности, кое-что знал он, кое-какие книжки, английские и самиздатовские, у него водились, водились и немецкие, которыми, случалось, и ссужал он меня, хотя я в ту давнюю пору по-немецки читал еще плохо. Все, помнится, говорил он о каком-то

громоподобном молчании Будды, более или менее, отдадим ему должное, в шутку; стоило хотя бы краткой паузе возникнуть в просвещенной нашей беседе, облизывании шоколадных конфет, как тут же объявлял он, что вот оно, громоподобное-то молчание Будды, и как я ни допытывался у него, откуда цитата, толку не мог добиться, всякий раз называл он другой, но всегда знаменитый текст (то Ланкаватара-, то Праджня-парамита-сутру, то вообще Дхаммападу) и всякий раз с таким видом, с таким поднятием благородных бровей над сахарными глазами, как будто стыдно ему становилось разговаривать с неучем, ничего этого не читавшим, а ежели и читавшим, то как? каким позорнейшим образом ухитрившимся не заметить громоподобного-то молчанья?

Basso continuo

Лучше обстояло дело с Четырьмя Благородными Истинами и Восьмеричным Путем, на который (которые) Ген-наадий тоже имел обыкновение ссылаться, которые любил толковать. И то, и другое относится к азам любого буддизма, дзена, не дзена ли, так что мне уж не приходилось добиваться от него объяснений. Ген-наадий, впрочем, любил суждения неожиданные, сравнения рискованные. Первая Благородная Истина, провозглашенная Буддой Шакьямуни, заключается, как известно, в том, что жизнь — это страдание (*дукха*). Но правильно ли переводят санскритское *дукха* именно словом *страдание*? Нет, по его скромному мнению, неправильно, говорил Ген-наадий, сахарными глазами оглаживая собеседника (меня или еще кого-нибудь, если кто-нибудь при нашей просвещенной беседе присутствовал); это санскритское слово, а уж он-то, Ген-наадий, знает толк в санскритских словах,

Алексей Макушинский

скорее следует переводить как *беспокойная неудовлетворенность* или, наоборот, как *неудовлетворенное беспокойство*, и это мнение разделяют с ним (получалось, что не он разделяет, но с ним разделяют) известнейшие буддологи, санскритологи (он называл с тех пор забытые мной имена), потому что именно неудовлетворенность — это, если будет ему позволено воспользоваться столь откровенно шопенгауэрианским сравнением (с небрежной элегантностью, легким мановением руки и в намеренно придаточном предложении замечал Ген-наадий) — это генерал-бас, *basso continuo* нашей жизни, сопровождающее все наши поступки, мысли, состояния и настроения. Страдание, конечно, тоже в нашей жизни присутствует, кто ж станет отрицать столь очевидное обстоятельство? — говорил Ген-наадий, сахарными глазами оглядывая свою узкую комнату, словно в поисках кого-нибудь, кто стал бы отрицать обстоятельство столь очевидное. Но в жизни ведь бывают и радости, бывают всякие удовольствия, развлечения и наслаждения... Тут голос Ген-наадиев становился презрителен. Но и самые бурные удовольствия не удовлетворяют нас в полной мере. Беспокойная неудовлетворенность — генерал-бас нашей жизни, то, что присутствует всегда, даже в радости, даже в счастье, с сокрушенным видом, но все так же облизывая свои шоколаднейшие конфеты, говорил Ген-наадий. Всегда чего-то недостает нам, всегда испытываем мы нужду и нехватку. Как в барочной музыке, где ни гармония, ни полифония без *basso continuo*, как известно мне и всем, не обходятся, так в любой жизненной мелодии, говорил Ген-наадий, наслаждаясь своими сравнениями, различим этот нижний тон недовольства. Только в мечтах... или вот, действительно, в музыке счастье бывает полным.

Неоплатоники, суфии, мейстер Экхард

Ген-наадий разбирался, разумеется, в музыке, как во всем разбирался, причем не только теоретически. По крайней мере утверждал он, что играет на рояле, не просто так себе играет, а целыми часами играет на большом, едва ли не концертном рояле, стоявшем у них в генеральской гостиной, каждый Божий день начинает с исполнения Баховой фуги, а завершает Моцартовой сонатой, но как ни пытался я услышать в его исполнении хоть сонату, хоть фугу, все мои попытки терпели заранее предсказуемый крах: всегда как-то так получалось, что у них гости, что рояль расстроен, да и Ген-наадий не в настроении, что он сегодня четыре часа играл и на клавиши уже не в силах смотреть, уже у него руки болят, и пальцы болят, и голова болит, и вообще все болит. Зато о basso continuo, искусстве фуги и законах полифонии готов он был разглагольствовать сколько угодно, с явным, сахарным наслаждением, нисколько, по видимости, не омраченным той роковой неудовлетворенностью, которая, по его же словам, образует генерал-бас нашей жизни. А в основе неудовлетворенности, с не меньшим и ничем не омраченным наслаждением говорил Ген-наадий, в основе ее лежат жажда, влечение, желание обладать чем-либо, получить что-либо, то есть воля, вечно алчная и всегда голодная воля, пожирающая все вокруг и, если угодно, себя же саму, с явным наслаждением и как бы симпатией к этой себя саму пожирающей воле говорил Ген-наадий, продолжая облизыванье конфет. Неуспокоенное недовольство, говорил Ген-наадий, и в основе оно го волящая воля — вот как, по его скромному и скромнейшему мнению, следует переводить Первую и Вторую Благородную Истину (а только об этих двух он, мне кажется, и говорил; ни

Алексей Макушинский

о Третьей Истине, гласящей, что избавление возможно, ни о Четвертой, сообщающей о путях, к нему ведущих, не упоминал ни разу; избавление не интересовало его...); себя самую пожирающая воля (говорил Ген-наадий, оглаживая глазами комнату, облизывая конфеты), которую Шопенгауэр, как мне и всем известно, положил в основание своей системы, отождествив ее с кантовскою вещью-в-себе. Тут-то я и подловил его на блаженном незнании Канта, попробовав (и мы не льком шиты) вернуть что-то про трансцендентальную диалектику. Бог с ним, с Кантом-то, говорил Ген-наадий, уклоняясь от компрометирующей его темы, теряя сахар в глазах, с Кантом — Бог с ним, а важно, что, вот, Шопенгауэр, Шопенгауэр вообще молодец, Шопенгауэр — это первая попытка, или одна из первых попыток, привить восточную мысль к западной, и этим он замечателен, хотя не следует, конечно, о нет, ни в коем случае не следует и не должно забывать о Гете, разглагольствовал Ген-наадий (с упреком на меня гляючи, как если бы я только тем и занимался, что забывал о Гете); о Гете, авторе «Западно-восточного дивана», где ничего буддистского еще нет, он не спорит, но где зато есть суфизм, мусульманская мистика, если я знаю, что он имеет в виду (я знал, но смутно), а мистика всех религий, культур и конфессий имеет общие отличительные черты, позволяющие (я забыл, кому позволяющие) в своих знаменитых работах (я забыл, каких именно) сравнивать мейстера Экхарда с Шанкарой, суфиев с неоплатониками и Ангелуса Силезиуса с великими дзенскими учителями. Что же до Шопенгауэра, то шопенгауэровское увлечение Востоком вырастает из эпохи Гете, эпохи немецкого романтизма, и не зря уже братья Шлегели, а с ними и Шлейермахер, начали учить санскрит, в котором и он, Ген-наадий, знает толк — еще бы не знать ему толк в санскрите? Я же никакого санскритского толку

добиться не мог от Ген-наадия, на все мои робкие вопросы отвечал он обиженным взглядом, потерей сахара в темневших глазах, зато о немецких романтиках поговорить любил, не меньше чем о *basso continuo*, причем, по мере возможности, не о тех романтиках, о которых обыкновенно говорят в таких случаях, не о Новалисе, не о Тике, уж тем более не о Гофмане, но о романтиках, простым смертным, вроде меня самого, знакомых, как правило, понаслышке, например и в особенности о Фридрихе Рюккерт, на которого он все снова и снова сворачивал. Новалис, конечно, Новалисом, а вот Фридрих Рюккерт... А что Фридрих Рюккерт? А то Фридрих Рюккерт, говорил Ген-наадий (рокоча этим *Фридрих*, треща этим *Рюккерт*, как если бы *Фридрих* был одной, а *Рюккерт* другой конфетой, набитой крепчайшими орехами, склеенными карамелью и медом, вроде того *грильяжа в шоколаде*, который мы героически грызли в детстве, не боясь сломать себе зубы, как не боялся этого и Ген-наадий, перекачивая во рту каждое из этих четырех «р», смакуя, раскалывая, высасывая сладость из каждого...), а то Фридрих Рюккерт, что Фридрих Рюккерт переводил, например, Джалаладдина Руми, великого суфия, вдохновлявшего уже Гете в его «Западно-восточном диване», о котором, как и о самом Гете, не следует, ох не следует забывать, глаголил Ген-наадий, по-кошачьи потягиваясь, — и не просто переводил он, то есть Фридрих Рюккерт, Джалаладдина Руми, великого суфия, великого мистика, но он так переводил его на немецкий, как его уже никто, никогда не переводил ни на один европейский язык, в чем он, Ген-наадий, имел случай убедиться, посвятив несколько тихих и незабвенных для него дней в Публичной библиотеке сличению всех имеющихся там переводов.

Алексей Макушинский

Темный деспот, красное дерево

Тут я сдался и объявил, что верю ему во всем. Я ему во всем не верил; ни в чем ему, пожалуй, не верил; а все же это именно он, Ген-наадий, прочитал мне те строки из Джала-ладдина (в самом деле) Руми в переводе Фридриха (действительно) Рюккерта, которые мне так часто суждено было впоследствии вспоминать, повторять про себя в разные эпохи и в разных обстоятельствах жизни, которые так много значили потом и для Виктора, вообще-то стихов не читавшего, после того как я процитировал их в разговоре с ним, в Эйхштетте, вечность спустя. Это великие стихи, без сомнения, и я помню (вот это помню точно), как я шел по Невскому, и затем свернул на Большую Морскую и вышел к Исаакию, и прошел под аркой на Галерной (где наши тени, разумеется, навсегда...), и свернул на Английскую набережную, и посмотрел на рябчатую свинцовую гладь Невы, и по бесконечному мосту перешел на Васильевский остров, и куда шел, выходил, смотрел и сворачивал, все повторял про себя, на ветру, что там, где пробуждается любовь, умирает я, темный деспот. *Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt das Ich, der dunkele Despot...* Вот и пускай оно умрет, это я, пусть он умрет, этот деспот, дай умереть ему в ночи, и вздохни свободно на утренней заре. *Du laß ihn sterben in der Nacht und atme frei im Morgenrot...* Опять был, как же иначе, серенький петербургский денек; низко, над свинцовой и рябчатой гладью летели рваные облака; дворцы Английской набережной, когда я смотрел на них с другого берега, уже казались крошечными, готовыми навеки пропасть, навсегда потеряться под этим плоским небом, в этой продуманной, геометрической, себя саму сознающей бескрайности. На Васильевском жил в ту пору другой, куда

более симпатичный мне персонаж моей петербургско-буддистской жизни, так называемый Васька (в созвучии с островом...), или Васька-буддист, персонаж, с которым познакомил меня Ген-наадий, и причем, вот это тоже я помню точно, познакомил меня в гостях у некоей дамы (ее имени вспомнить я не могу), дамы (как я теперь понимаю) еще молодой, тогда совсем немолодой для меня (когда нам самим двадцать три или двадцать четыре, для нас что тридцать пять, что пятьдесят, все едино), богатенькой (по советским меркам), собиравшей антиквариат, увлекавшейся, как бы уж заодно с антиквариатом, йогой, ламами, экстрасенсами, Гурджиевым, Рерихом, какой-то Шамбалой, какими-то мантрами... одной из тех *сделанных женщин*, каких я немало видел потом в разных странах и городах, из тех богатеньких (они почему-то всегда богатенькие) *сделанных женщин*, все слова, и жесты, и движения (и улыбки, и взгляды) которых озарены изнутри светом самолюбования, сознанием собственного благополучия, собственной избранности и причастности к чему-то возвышенному, чему-то особенному (*темный деспот* никогда не умирает и не умрет в таких женщинах; он-то и светит в них, сквозь них своим *темным светом*...). Квартира ее (на Петроградской стороне) являла собой род бессмысленного музея с хрустальными, понятное дело, люстрами и темными картинами в золоченых рамах, а вот каким образом из своей коммуналки на Васильевском попал туда Васька-буддист, я не знал и не знаю. *Мы* любим красное дерево, сказала дама, приветствуя в моем лице московского гостя, хорошо продуманным жестом тонкой руки обводя обстановку. Кто эти *мы*, она не объяснила. У московского гостя (чем он потом немало гордился) хватило выдержки ответить, что *мы* предпочитаем карельскую березу. *Мы* с Васькой-буддистом, во всяком случае, вышли оттуда вдвоем, долго, поняв друг друга, отплевыв-

Алексей Макушинский

вались и смеялись, и я точно ни разу, кажется и он ни разу, не бывал потом у любительницы красного дерева, предоставив дружить с ней Ген-наадию (родственные души рано или поздно находят друг друга).

Толстовский нос на гоголевском лице

Как Ген-наадия все всегда называли Ген-наадием, так Ваську-буддиста все всегда называли Васькой-буддистом, как если бы это *буддист* было частью его имени (оно же было частью судьбы), но, разумеется, лишь за глаза называли его так, в лицо говорили *Вася*, с нежностью и почти с придыханием, впрочем, не без иронии (имя ведь само по себе смешное, да и персонаж был смешной; смешной и трогательный сразу, как это нередко бывает). Он был довольно длинный, этот Васька-буддист, с длинными гладкими русо-рыжими волосами, перевязанными, случалось, кожаной ленточкой, и с совершенно неуместным на его узком длинном лице широким, толстым, почти толстовским (очень трогательным, очень смешным), на ветру и на холоде бурно красневшим носом; имел (скорее неприятную) привычку брезгливыми длинными пальцами снимать с себя что-то, с плеча и с груди, со свитера и с рубашки — невидимый волос, незримую паутинку; ходил всегда в потертых, бахромчатых на концах штанин джинсах, застиранных и заплатаанных, его единственных, обожаемых им. Был, короче, *хипарь*, говоря языком (поганой, прекрасной, погибшей) эпохи, из тех *хипарей*, которых милиция забирает при случае просто так, без всякого повода: негоже, в самом деле, человеку с таким лицом, такой прической, в таких тертых джинсах разгуливать по нашим социалистическим улицам. Жил он в чудовищной коммуналке на одной

из дальних линий Васильевского острова, и чем, собственно, занимался, помимо своего буддизма, я так и не понял или не помню, работал, может быть, истопником или дворником, как в то прекрасное, поганое время делали многие. Добравшись по коридору до его комнаты, уже старался я оттуда не выходить; выходить бывал вынужден; и вот навсегда остался в памяти, верней, тут же, как только я вызываю его, всплывает в памяти крюк, запиравший дверь в отхожее место, крюк прямо живодерский и пыточный (то ли теперь преувеличенный памятью, вообще охотно меняющей пропорции вещей и событий, то ли и вправду такой огромный, каких я больше не видывал), когда-то рыжий, блестяще-белый на исподе загиба, там, где соприкасался он с не менее гипертрофированной скобою, вбитой в косяк, мерзко и резко скрипевшей при тугом западении, затем высвобождении крюка. Все это правда было, тридцать лет назад, в Ленинграде, на одной из дальних линий Васильевского острова, не помню уже какой именно: эта вонючая уборная в утробном конце коридора; эта скоба, этот крюк и этот бачок в поднебесье, с его, тоже рыжею, бесконечною цепью, по которой, сливаясь с ее звеньями и подделываясь под них, медленно, неотвратно, в своем собственном кошмарном сне, вверх и вниз ползали, иногда замирали, затем опять ползли ржавые тараканы. Кошмар заканчивался, когда возвращался я в Васькину комнату. Увеличенная (не памятью, но печатью) фотография Д.Т. Судзуки, висевшая на стене возле книжной полки, всякий раз бросалась мне в глаза, на глаза, словно приветствуя мое возвращение в чистый и лучший мир; замечательная, с тех пор не раз в разных книгах встречавшаяся мне фотография с взвихренными бровями, готовыми улететь за край кадра: левая, черная, бровь уже улетает, правая, седая и смятая, еще медлит над стеклышком безоправных очков — слишком совре-

Алексей Макушинский

менных, слишком модных, почти *пижонских* на этом старом азиатском лице; полагаю, что не я один, но и Васька-буддист, и другие его гости чувствовали символичность этого сочетания западной новизны с восточной архаикой. Оно повернуто в три четверти к зрителю и заполняет собою почти весь кадр, это азиатское архаическое лицо в пижонских очках, в старческих складках, с глазами, тоже подобными складкам, такими узкими, что непонятно, как вообще могут они смотреть (а между тем видно, что они смотрят, спокойно и пристально, себя не показывая, души и мыслей не выдавая), лицо значительное, очень недоброе.

Шестой патриарх, обожаемый нами

Кроме книг по буддизму и так называемой научной фантастики, Васька-буддист ничего, по-моему, не читал. О буддизме читал он все, что мог раздобыть; не только читал он все это, но и ходил в какую-то, тоже, видимо, полуподпольную, полуподвальную группу учить японский язык и еще в какую-то другую, полуподвальную и полуподпольную, учить китайский, и я помню исписанные иероглифами (которые таким образом старался он, похоже, запомнить) школьные тетрадки у него на столе (те советские школьные тетрадки с клятвами пионера и заветами Ильича на обороте обложки), и развешанные по стенам листы с его, Васькиными, упражнениями в каллиграфии, среди которых всегда бывал *дзенский круг*, символ всеединства, или пустоты, или чего хотите (символ, по словам Вячеслава Иванова, только тогда символ, когда он темен и многолик...) — упражнениями, не очень уклончивыми, самому Ваське не приносившими, наверное, радости, так что он менял их от одного моего посещения к другому... Ге-

роем Васькиным был Шестой патриарх (638—713), которого поминал он так же охотно и часто, как Ген-наадий пресловутое громоподобное молчание Будды, кстати и не совсем кстати цитируя или, скорей, пересказывая «Алтарную сутру» («Сутру помоста Шестого патриарха», как еще называют ее; запись патриарховых поучений, сделанная одним из его адептов; ученые спорят, кем именно), уж не знаю, в каком переводе им читанную, в каком-нибудь, наверное, самодельном (я же купил ее по-французски, в конце восьмидесятых, когда железный занавес прохудился, в Париже); Шестой — и кстати, последний (почему-то после него никаких уже не было патриархов) — патриарх школы дзен (точней чань), которого русские авторы, опустив глаза, именуют Хуэй-нэнь, хотя правильная, похоже, транскрипция ни в каком «э» не нуждается, и который поначалу (как рассказывается в той же «Алтарной сутре») вовсе не был никаким патриархом, а был бедным мальчиком, безотцовщиной, помогавшим старушке-матери (легенды сентиментальны) торговать дровами на рынке; дровами торгуя, услышал он однажды монаха, вслух читавшего другой священный текст — «Алмазную сутру», и как только услышал, сразу снискал просветление (что бы сие ни значило), снискав же оное, отправился к Пятому патриарху, Хунь-женю, жившему на севере Китая в окружении целой тысячи перед ним благоговевших монахов. В монастыре мальчонку приняли плохо; отправили (как в легендах оно и бывает) на задний двор колоть все те же дрова, отмывать рис и мусор выносить на помойку. Опускаю пленительные подробности его пребывания среди негостеприимных монахов, его тайные встречи с Пятым патриархом, понявшим, разумеется, сразу, какие духовные силы таятся в презренном простолудине; перехожу к эпизоду важнейшему, предмету Васькиных восторгов в моей далекой молодости, столь не схожей

Алексей Макушинский

с молодостью Хуэй-нэня. Дело было, получается, так. Призвав к себе учеников, патриарх предложил им написать по стихотворению, в котором они показать должны были, как понимают они Высшую Мудрость, Природу Будды, или как бы еще ни попытались мы назвать эти неназываемые вещи; тому из них, в чьих стихах увидит он Истинное Понимание Истинной Природы, объявил патриарх, тому и передаст он свое патриаршество, рясу и чашу как символы оного. Ученики, однако, писать стихи отказались — не потому что не верили в свои поэтические возможности, а потому что во всем полагались на старшего монаха, Шень-сю по имени, в котором привыкли видеть будущего преемника Хунь-женя, то есть грядущего Шестого патриарха; к чему стараться, решили монахи (лентяи...), если Шень-сю все равно даст правильный ответ и получит благословение? Но и Шень-сю сомневался в своих силах, отдадим ему должное; его сомнения, передаваемые сутрой от первого лица, с античной непосредственностью, поражают меня теперь, когда я перечитываю бессмертный текст, своей аналитической тонкостью, психологической глубиной. Если я не напишу стихотворения, рассуждает Шень-сю, то как сможет патриарх оценить степень достигнутого мною понимания истины? Но зачем это нужно? Если я стремлюсь к обретению дхармы, тогда я действую из чистых побуждений, тогда все в порядке, но если я всего лишь мечтаю о патриаршестве, тогда дело плохо, тогда я ничем не отличаюсь от обыкновенных людей, привязанных к этому дольному, иллюзорному миру, тогда я, в сущности, самозванец и узурпатор. Но, опять-таки, если я не вручу своих стихов патриарху, я лишаюсь всякого шанса на стяжание дхармы... То есть он сам себя не знает, этот Шень-сю; он открывает в себе разных персонажей; он видит противоречия в своих мотивах и действиях, как видит их любой теперешний человек, если он

не совсем уже ослеплен привязанностью к дольному миру. Стихотворение все же было написано; вручить его патриарху совестливый Шень-сю никак не решался. Между тем (и вот эта деталь всегда казалась мне особенно прелестной в своей случайности, своем, значит, правдоподобии) в монастыре как раз велись (скажем так) декоративно-фресковые работы; придворный художник, присланный самим в то время правившим императором Поднебесной, расписывал стены сценами из сутр, из жизни предыдущих патриархов. Вот на этой-то для фресковой росписи приготовленной стене глухой ночью, втайне от всех, и написал сомневающийся Шень-сю свое четверостишие (которое я записываю теперь, не разбивая на отдельные строки, чтобы уж не прерывать плавного течения моей прозы): «Наше тело — это дерево Бодхи, а наша душа (или наш ум) подобна (подобен) ясному зеркалу. Без конца мы вытираем его, чтобы ни одна пылинка на нем не осела». Дерево Бодхи, да будет известно читателю, — это то легендарное дерево, под которым сам Будда Шакьямуни достиг своего просветления (что бы сие, еще и еще раз, ни значило); «дерево Бодхи» в буддистской логике — это и есть Просветление, или Высшая Мудрость, или Природа Будды, или Называйте-Как-Хотите...; переводы же, как переводы всех китайских и японских текстов, весьма сильно разнятся: в некоторых упоминается не только зеркало, но и какая-то подставка для зеркала; в других утверждение (мы вытираем) заменяется призывом (вытирайте, мол, зеркало, или подставку, потщательнее, чтобы ни одна не осквернила их, к примеру, пылинка...) — все это, я думаю, не так уж и важно. Важно, что было дальше. Дальше была комедия в дзенском стиле, разыгранная мудрым, Пятым, осторожным патриархом, Хунь-женем. Прежде всего извинился он перед придворным художником за то, что тот, бедняга, такое долгое совершил путешествие,

Алексей Макушинский

причем зазря и впустую, потому что эту стену теперь уже расписывать ему не придется, во-первых, потому что формы и феномены вообще иллюзорны, во-вторых же и главное, потому что лучше оставить на стене такие замечательные, путь к спасению открывающие стихи, чтобы все люди, монахи и не-монахи, могли их читать, заучивать наизусть в благоговейном молчании. Перед надписью воскурjali ладан; сам же автор призван был к патриарху для тайной ночной беседы, в которой и услышал то, что, наверное, с самого начала ожидал услышать — что нет в его стихах ни Высшей Мудрости, ни понимания Природы Будды, ни даже Называйте-Как-Хотите; что он стоит на их пороге, возможно; но сам порог только предстоит ему перейти. Пускай попробует сочинить еще что-нибудь... Хуэй-нэнь тем временем (простолюдин, презренный и просветленный) продолжал на кухне заниматься рисом, мыть его, колоть и дробить; какой-то мальчик в его присутствии прочитал строки Шень-сю, повергшие весь монастырь в восхищение. Сразу понял герой наш, что стихи так себе; стихата, а не стихи; сочинил в ответ свои собственные; поскольку грамоте был не обучен, попросил кого-то тоже их написать на стене. Строки его были вот какие (переводы, опять же, разнятся): «Нет никакого дерева Бодхи (в других переводах: у Просветления нет дерева), ясное зеркало нигде не стоит (или: у зеркала нет подставки); поскольку изначально ничего не существует, где же может осесть пыль?» Восторгу прочитавших это монахов (как и нашему с Васькой-буддистом восторгу) границ и пределов не было; все-таки Хунь-жень, осторожный и мудрый, стер сапогом надпись, боясь, что завистники, дружки и поклонники отвергнутого Шень-сю навредят его, Хунь-женя, истинному, уже им избранному преемнику (из чего мы делаем важнейший для нас вывод, что дзен и в те легендарные времена не свободен был

от земных страстей, тяжелых и темных...); в тайном и опять же ночном разговоре объявил Хуэй-нэня Шестым патриархом, передав ему свою рясу и чашу для сбора милостыни как символы этого самого патриаршества и повелев бежать в ту же ночь на юг, вон из монастыря, прочь от завистников, соперников и врагов.

Свобода — сейчас

А ведь если не стирать пыль с зеркала, то зеркало так и будет в пыли. Все же нам нравилось — и как нравилось! — только второе стихотворение, ответ Хуэй-нэня, призыв к мгновенной свободе, мгновенный переход и перевод разговора в другое измерение, в другую, парадоксальную плоскость. Никакого зеркала нет, и пыли нет, и тряпки нет, чтобы стирать ее, и стирать, значит, нечего, не с чего (незачем, некому, нечем...), я свободен, и ты свободен, и на хуэй советскую власть. Дзен и был для нас призывом к свободе; ничем другим, пожалуй, и не был... Еще, по-моему, и в голову не приходило нам, или только в голову приходило, но в душу не заходило к нам, что если пыли нет, зеркала нет, то и нас самих нет. Как же нет? Вот мы; вот мы сидим у Васьки-буддиста, в коммунальной комнате, под незримым взглядом взвизгивающего Д.Т. Судзуки, попивая чай из каких-то случайных чашек, еще без намека на чайную церемонию, японскую или китайскую (чайные церемонии начнутся позже, вместе, кажется мне, с перестройкой), и я вновь, в который раз говорю Ваське, что парадоксы неразрешимы, что делать ничего нельзя и не делать тоже нельзя, стирать пыль нельзя, но нельзя и не стирать ее с зеркала. Можно стремиться к политической свободе, но невозможно, в сущности, стремиться к свободе внутренней. Стремление к свободе отрицает ее саму.

Алексей Макушинский

Стремление к свободе превращает ее в некую цель. А свобода не есть цель. Свобода есть выход из того мира, в котором вообще могут быть какие-то цели. Свобода бесцельна. Свобода всегда — сейчас и всегда — уже. Уже есть, уже дана, уже здесь... Неужели вправду я говорил так Ваське-буддисту каким-нибудь желтым питерским днем, в восемьдесят, к примеру, третьем, в восемьдесят четвертом (орвелловском) году? Конечно, я говорил так, я думал об этом постоянно, прощаясь с Васькой и по дороге к нему, и на Васильевском острове, и на Английской набережной, и на площади у Исаакиевского собора. Мы выросли... мы тогда еще даже жили, хотя он клонился уже к концу, этот мир, но все-таки: мы жили и выросли в мире задач и целей, в мире, повернутом в будущее, в мире, где все всегда и с самого детства что-то должны были делать ради еще чего-то, чего еще не было, что было обещано, чего никогда не будет. Мы не верили никаким обещаниям; мы им с самого начала и с самого детского сада не верили; и это великое счастье наше, что мы не верили им с детского сада, что не пришлось нам и утрачивать веру, разочаровываться и пересматривать основы мировоззрения (как пришлось это делать столь многим, родившимся на пятнадцать или на двадцать лет раньше нас). Мир, однако, в котором мы жили и который нам так не нравился, оставался миром, обращенным и повернутым в будущее; мир, по привычке и старой памяти, предлагал нам волевое усилие как решение всех проблем, спасение от всех бед. Но мы и в это уже не верили; мы читали и слышали о даосском не-деянии, которое ничего не делает и ничего не оставляет незавершенным; читали и Догена Дзендзи, основателя японского дзена и школы Сото (одной из двух важнейших школ дзен-буддизма), и если его самого еще не читали (взять было негде, да и понять его трудно), то читали о нем в наших книгах (у Судзуки еще раз и у Алана

Вотса опять-таки), знали, следовательно, что впервые сядущийся на подушку уже просветлен, что просветление не где-то там, в будущем, но что оно — вот, сейчас и здесь, здесь и сейчас, и что поэтому стремящийся к нему никогда его не достигнет. Но ведь и не говорит же Доген, что раз так, то и на подушку садиться не надо (совсем наоборот, как впоследствии выяснилось, в дзен-буддизме школы Сото *сидят* еще больше, дольше и упорнее, чем в другой школе, школе Риндзай). Ничего делать нельзя, но и ничего не делать нельзя, и значит, как-то нужно делать, не делая. Но как это — не делая, делать, — мы не знали, а потому ничего и не делали. Мы читали наши чудные дзенские книжки, учили, по крайней мере, Васька учил, в одном подвале японский, а в другом подвале китайский, рисовали, я тоже пробовал рисовать черной тушью иероглифы и круги, но на этом все и заканчивалось. Нам важен был только призыв к свободе — сейчас и здесь, вот здесь, вот сейчас, — но что свобода сама по себе может требовать усилий, что даром она не дается — эта простая мысль не то что не приходила нам в голову, но и в душу не заходила, и даже в головах не задерживалась. Ну в самом деле (еще и еще раз), если свобода требует усилий, значит, она снова превращается в цель, значит, она уже не сейчас и не здесь, значит, ее уже нет, вообще нет. Она должна даваться даром и возникать сама собою, без всяких усилий. Но даром она не давалась, сама собою не возникала или возникала, давалась лишь на внезапные, краткие, благословенные мгновения — на набережной, на сильном ветру, когда шел я к Ваське или от Васьки, в бесконечный, по-питерски, вечер, и невозможно-низкое, полярно-яркое солнце стояло и стояло над городом, и в стеклянном слепящем свете все искрилось, все полыхало; расплавленным оловом полыхала крутая пена перед моторной лодкой, маленькой и счастливой, потерявшей

Алексей Макушинский

в блестящей безмерности; полыхали дворцы; горели, пылали редкие лица прохожих, сметаемых ветром с моста; и хотя, уж кажется, большего нет несходства, чем между курляндской речкой-вонючкой и петербургской имперской рекою, почти так же, как на те порошковые облачка, те рукава русалочьих рубашек, пытавшихся уплыть по течению — но с еще более повелительным, несомненным и непреклонным ощущением силы, восторга, ярости и ясности настоящего, — смотрел я на все это ледяное, стальное, этот катер, этих обезумевших чаек и так же, не совпадая с ними, на собственные мысли, не-мысли, которых, впрочем, почти и не было во мне, у меня, как будто этот безудержный ветер просто вынес, вымел их из моей головы... Все же это чистое присутствие в настоящем (лейтмотив моей молодости) давалось мне хотя и вправду даром, но безотрадно редко, а в остальное время была, как всегда, как у всех, более или менее случайная жизнь с ее смутными мыслями и страстями, с ее не подвластными нам самим чувствами, ее нам вообще неподвластностью, ее к нам безразличием, ее печалью, ее тоской, ее редкими радостями, и той *беспокойной неудовлетворенностью*, которую пристрастный к неожиданным сравнениям Ген-наадей провозглашал генерал-басом, basso continuo человеческого существования. Парадокс по-прежнему не разрешался; а вот (тоже несложная) мысль о том, что он так никогда и не разрешится, что умом его не понять и аршином уж тем более не измерить и что решать его нужно совсем иначе — сидя, например, в позе так называемого лотоса, или полулотоса, или уж как получится, на черной подушке, преодолевая боль в ногах, временами, как все дзен-буддисты знают, невыносимую, следя за своим дыханием и пытаясь ни о чем не думать, позволяя мыслям пройти, как облака проходят по чистому и пустому небу (метод, тоже не гарантирующий решения, но

какой-то метод, какой-то, для кого-то возможный, путь...) — эта очень несложная мысль и правда, теперь мне кажется, не приходила нам ни в душу, ни в голову; просто неоткуда было прийти ей.

Дзен на Юпитере, дзен на Луне

А почти ничего и не пишут о дза-дзене, сидячей медитации, ни Алэн (Алан) Ватс (Уотс, Вотс), ни Д.Т. Судзуки, так сильно и не знаю, благотворно ли, повлиявшие на первоначальное восприятие дзена в Европе, в Америке, даже еще на восприятие дзена в Америке и в Европе в пятидесятые-шестидесятые годы, в эпоху битников и хиппи — эпоху, в которой в начале восьмидесятых мы как будто застряли, в наших московских квартирах, в наших питерских подвалах и коммуналках, за железным занавесом, в советском, ненавистном нам, захолустье. Где-то, мы понимали, есть живой дзен, где-то в Японии, где-то, хотя мы не очень и задумывались об этом, в Америке, но все это было для нас как дзен на Луне и дзен на Юпитере, и никаких сведений о дзенских группах, сангхах в Америке и в Европе у нас просто не было, даже и предположить не могли мы, что уже давным-давно существуют по всему миру разнообразные дзенские центры — сан-францисский дзенский центр, к примеру, основанный еще в начале шестидесятых годов Сюрю Судзуки (*другим* Судзуки, которого не следует путать с Судзуки Д.Т.; Судзуки, я так понимаю, в Японии, как в России Кузнецовых и в Германии Мейеров), монахом школы Сото и автором одной из лучших, наверное, дзен-буддистских книг XX века «Сознание дзен — сознание начинающего», переведенной, кажется, на все языки этого иллюзорного мира (после краха Совдепии,

Алексей Макушинский

как недавно выяснил я, и на русский); ничего не слышали мы ни об этом центре, ни о монастыре в Тассахаре, в глухих калифорнийских горах, к югу от Сан-Франциско, основанном в середине шестидесятых все тем же Сюнрю Судзуки; поскольку же ничего не слышали обо всем этом, то и не спрашивали себя, что, собственно, делают во всех этих центрах, группах, сангхах и монастырях; а там не просто читают разные книжки, и забавляются дзенскими парадоксами, и пробуют свои силы в каллиграфии или, как это делал один наш общий с Васькой приятель, в благородном искусстве игры на японской флейте сякухати, но именно дза-дзен (дза-дзен и еще раз дза-дзен...) там стоит в абсолютной, непререкаемой главе угла, в чем, опять же, впоследствии, лет примерно через пятнадцать, мне на собственном (для спины и ног мучительном) опыте пришлось убедиться.

Голубые горы, похотливый шофер

Дзен был недоступен и далек, другие формы буддизма были ближе (не в духовном, но в пространственном смысле); помню вечер, когда я застал у Васьки (к нему, как в те годы это водилось, запросто можно было прийти без звонка) некую (кажется) Аню, некоего (точно) Диму и как они все втроем, перебивая друг друга, рассказывали мне о своей поездке в Бурятию прошлым летом, с кучей очаровательных приключений, незабвенных подробностей и попутчиков. Дима занимался фотографией (именно — фотографией!), а также игрой на, как только что было сказано, японской флейте сякухати; жил в Парголове, так что ехать к нему приходилось на электричке (с Балтийского вокзала; я потом бывал у него пару раз, с разными людьми, в разные годы); длинноволос был не менее Васьки-буддиста; был, что с мужчинами редко случается, зеленоглаз; и если не сплошь и напроць зеле-

ноглаз, то все же, или так мне помнится, зеленые огоньки и зеленые искорки нет-нет, а вдруг мелькали в его глазах, то серых, то вдруг почти голубых. Все это я теперь придумываю, быть может; а вот на флейте сякухати, это точно, играл он; причем, казалось мне, играл замечательно, хотя мне не с чем было игру его сравнивать, и Ваське-буддисту тоже, наверное, не с чем; все равно, всякий раз, когда мы ее слышали, игра его производила на нас обоих впечатление сильнейшее. Он долго примеривался к флейте губами, шевелил ими, прежде чем заиграть, и когда начинал играть наконец, то получался один-единственный, одинокий и очень долгий звук, глухой и сухой, понемногу и не сменяясь никаким другим, вторым звуком, затихавший и замиравший, создавая вокруг себя свою собственную, почти зримую тишину. Что до Ани, то от Ани, к стыду моему, остались в памяти только мелкие прыщики у нее на лбу и на шее... Чтобы прикоснуться к бурятским буддистским источникам, надо было неделю тащиться до Улан-Удэ в плацкартном вагоне (на купе денег не было, да и билетов, наверное, не купить), затем на попутных грузовиках добираться до какого-то Иволгинского дацана, и это ужасно было весело, хотя мощно татуированный водитель последнего грузовика и попробовал (что уж скрывать теперь истину?) умчаться в эротические дали вдвоем с Аней, не дожидаясь Васьки и Димы, когда они остановились (по нужде, прямо скажем) в (желто-красной, с голубым сиянием гор на горизонте) степи, но те не растерялись, запрыгнули в кузов, так что никаких эротических далей не досталось водиле, и жить в дацане им было негде, ночевать пришлось в соседнем поселке, в условиях с гигиенической точки зрения довольно сомнительных, но все-таки было весело, и на обратном пути оказались они на Байкале, и, фотографируя Байкал и берега его с лодки, на которой решили они покататься, Дима-фото-

Алексей Макушинский

граф (он честно признает это, а что скрывать, если вот два свидетеля?) ухитрился упасть в ледяную колючую воду — просто вдруг покачнулся и плюхнулся со скользкой кормы, но выплыл, иначе бы не сидел сейчас здесь, не пил чай, и даже свой драгоценный фотоаппарат успел, падая, бросить в Васькины руки, и если я хочу, я могу поехать на другой год вместе с ними, они собираются ехать на целый месяц, и я сразу решил никогда и ни в коем случае ни в какое Улан-Удэ, ни в какой поселок Иволгино ни в каком плацкартном вагоне не ездить, и потом, я помню, долго повторял про себя, возвращаясь от Васьки-буддиста пешком по набережной мимо университета, глядя — в который раз — на серую рябь Невы, Исаакий, дворцы на другом берегу и рваные тучи над ними, — долго, как своего рода мантру, уж если угодно, повторял про себя, что есть — *есть иволги в лесах и гласных долготы*, и что я слышу — *я слышу иволги всегда печальный голос, и лета пышного приветствую ущерб*, и думал, тоже помню отчетливо, что Бодхидхарма не Бодхидхарма, Шестой патриарх или не Шестой патриарх, а вот эти строки мне всякого буддизма важней, всякого дацана нужней.

Гейдеггер и девицы

По этой набережной, сперва по ее дальней части, напротив Адмиралтейских верфей, глядя на краны, глядя на корабли, приближаясь затем к Петербургу парадному, глядя, значит, опять на Исаакий, на Зимний дворец, шли мы однажды с Ген-наадием, в тот единственный, по-моему, вечер, очень весенний, когда вместе оказались у Васьки-буддиста, в Васькиной, где Ген-наадий ни разу, наверное, и не бывал до тех пор, коммуналке; визит, никому не принесший радости: ни гостям, ни хозяину. Присутствовали все те же, или так мне помнится (так мне помнилось и так вспоминалось, в гости-

нице и в Вейле-на-Рейне): тот же Дима-фотограф (со своей сякухати), та же (со своими мелкими прыщиками) Аня, еще какие-то буддийствовавшие, или полубуддийствовавшие девицы — девицы, которые, когда я старался вспомнить их тридцать лет спустя, перекатываясь с бугра на бугор, как будто и сами пытались, помогая мне, выступить из окружавшей меня темноты, из промелька и путаницы отсветов, пробежавших по потолку и по стенам, со своими именами (Марина, кажется, и Нина, возможно), своими чертами и обликом (чей-то бюст, чьи-то бусы). Ген-наадий, облизывая конфеты (самые шоколадные), рассуждал о дзене и Гейдеггере (по-советски называя его, разумеется, Хайдеггер). Гейдеггер в ту достопамятную эпоху был явлением мифологическим, объектом обожания, возвышавшего душу адепта, предметом патетического преклонения, помогавшим преодолеть невзгоды подневольного бытия (почти как Гемингвей — Хемингуэй по-советски — в другой среде и на двадцать лет раньше); каковое обожание весьма и весьма облегчалось почти полным отсутствием переводов. Гейдеггер, как известно, бывает ранний и поздний. Почему-то модно в ту пору было увлекаться именно поздним, хотя я сам предпочитал все-таки раннего, штудирова с ныне невообразимым уже прилежанием «Бытие и время», доставшееся мне в очередной блеклой ксерокопии (была эпоха ксерокопий, и ксерокопии были блеклыми...) от одного московского моего приятеля, с тех пор, в отличие от меня самого, так, кажется, и не утратившего пристрастия к сим сомнительным и сложным материям. Но в моде, повторяю, был Гейдеггер поздний, которого не знаю, читал ли кто, читал ли Ген-наадий, можно ли читать вообще. Начавши рассуждать о его якобы близости к дзен-буддизму, Ген-наадий, мне помнится, ударился в то торжественно-таинственное воркование, проникновенное прорицательство, которое

Алексей Макушинский

столь свойственно было самому (в особенности позднему) Гейдеггеру, породило столько пародий; прямо облизывался от удовольствия, то разбивая ошалевшие слова на удивленные слоги, то, наоборот, сшибая их друг с другом, протыкая дефисами (при-сутствии, тут-бытие...). Сперва пытался я ему возражать. В дзен-буддизме все самое важное происходит по ту сторону слов, так я или примерно так говорил, его же гейдеггерианские воркованья и волхвованья остаются, при всех дефисах, только словами, необязательными, как все слова. Слова — *о чем-то*, а дзен — само *что-то*... Ни в малейшей мере не интересовали Ген-наадия мои аргументы; не обращая на них внимания, заводя свои сахарные глаза, пустился он в разглагольствования уже беспробудно заумные, со все более надменными ссылками на отрицательную — или, что то же, но звучит шоколадней, апофатическую — теологию, лингвистику, семиотику, на Дионисия Ареопагита, Гуссерля, Витгенштейна, Плотина, Прокла, Ямвлиха, Николая Кузанского, даже, кажется, Готлиба Фреге и какой-то таинственный *денотат*. Слова эти такой, видно, сладостью наполняли рот его, что почти уже он в них захлебывался; возражать ему сделалось невозможно; никто и не возражал, все курили. Курил Дима-фотограф; курила Аня; буддийствовавшие девушки тоже курили; я сам курил еще в ту мифологическую эпоху; некурящий Ген-наадий отмахивался от нашего дыма, как от досадного, не достойного тех высот, на которые взбиралась его бурная мысль, проявления и порождения низменной нашей природы; да не куривший, или очень редко куривший, Васья-буддист, которому, очевидно, и в голову не приходило запретить нам заполнять буро-серым клокастым дымом (кто-то, кажется, курил папиросы или это *косяк* был?) его комнату, под незримым, строго-снисходительным взглядом Д.Т. Судзуки, подходил к окну, открывал форточку, впуская, выды-

хая морской влажный воздух. Из этого воздуха, этого клокастого дыма, в которые всматривался я спустя тридцать лет, в гостиничном номере, выплыла, наконец, обретая очертания, но не в силах обрести имени, одна из девиц (то ли Нина, то ли Марина...) с роскошным, примечательнейшим бюстом на скорее худом, нескладном, костлявом теле и красными огромными бусами на этом бюсте, затем и навешанными, чтобы этот бюст подчеркнуть, и выделить, и привлечь к нему восхищенные взоры. Что вполне удалось ей с Ген-наадием, к растущему раздражению Димы-фотографа. Ген-наадий красовался просто-напросто перед этой девушкой (Ниной все-таки или Мариной?), красовался и перед другими девушками, и перед Аней с ее злосчастными прыщиками, заодно уж и перед всеми нами, без толку и умолку демонстрируя нам свои необыкновенные познания, облизывая свои шоколаднейшие конфеты (гуссерлианский грильяж, схоластическую халву, марципаны мейстера Экхарда...). Что греха таить, я и сам, наверное, чуть-чуть красовался перед девушками, пытаюсь возражать Ген-наадию по поводу дзена и Гейдеггера. Фашист был ваш Гейдеггер, заявил вдруг (с зелеными искрами в голубых глазах) Дима-фотограф, тоже, конечно, произнося по-советски Хайдеггер и обнаруживая познания, которых ни я, ни, наверное, Ген-наадий не предполагали в нем. Ген-наадий отмахнулся от его слов, как от папиросного дыма. А... пустое, бросил он, всем лицом сморщившись, скривив рот, как будто выплевывая конфету, не столь уж сладкой оказавшуюся на поверку. Гейдеггер — величайший философ XX века; все прочее — совершенные пустяки. Мало ли кто кем был, один фашистом, *другой*... Ген-наадий не договорил, помнит, кем был *другой*; на дворе и на дальних линиях Васильевского острова стоял ведь еще какой-нибудь восемьдесят третий или четвертый год, а буддийствующих девушек ви-

Алексей Макушинский

дели мы впервые. Этот фашизм составляет в лучшем, вернее худшем, случае семь, а то и пять процентов от всего Гейдеггера, вновь обретая свою сладкоглазость, сладкоголосость, рассуждал Ген-наадий, красуясь перед бюстом и бусами, к растущему раздражению Димы-фотографа, а на остальные девяносто пять, или уж ладно, уж так и быть, девяносто три процента Гейдеггер — величайший философ XX века, и не стоит слишком много времени уделять его злосчастным политическим заблуждениям и неудачным речам в качестве ректора фрейбургского университета, если присутствующие знают, что он имеет в виду.

Пуруша и пудгала

Одному из присутствующих суждено было оказаться во Фрейбурге всего через каких-нибудь пять лет, или четыре года, осенью 1988-го — мой первый немецкий город, куда автостопом приехал я из Парижа, через Эльзас, с остановкой в чудном, или он показался мне таковым, маленьком городишке Селеста (по-немецки Шлеттштадт), не столь знаменитом, как с ним соседний Кольмар, но тоже славном и романским своим собором, и готической своей церковью; еще и не подозревал я об этом, слушая в Васькиной коммуналке Ген-наадиевы глаголания, Димины возражения; еще и предположить не мог, что буду пить кофе с моими попутчиками по автостопу через четыре года или пять лет в кафе на главной площади, в Селеста и Шлеттштадте, в последний раз перед германской границей... Брежнев уже умер, но перестройка еще не наметилась, и вино «Прибрежное», предмет наших насмешек, продавалось еще повсюду. При Брежневе что вы пили? При Брежневе мы пили «Прибрежное»... Кто курил, тот и пил; пил, большими глотками, Дима-фотограф, откидывая назад свои длинные волосы, меняя оттенок глаз; пили, похихикивая,

буддийствовавшие девицы. До «Прибрежного» не снисходил, ясное дело, Ген-наадий, продолжая свои разглагольствования. А он не понимает, объявил Дима-фотограф, пуская дым Ген-наадию прямо в лицо и затем давя окурки в (зеленой, из толстого стекла, до краев переполненной) пепельнице (обгоревшей спичкой отодвигая в сторону другие окурки, чтобы открылось свободное место, где можно было добавить подлеца), — нет, не понимает он, кто, собственно, Ген-наадия поставил судьей и кто поручил ему определять какие-то кретинические проценты. Конечно, если человек так легко бросается не ведомыми никому именами, *всякими фрегами* (к шумному удовольствию буддийствующих девиц проговорил Дима-фотограф), то он и думает, что все прочие должны ступешеваться, а вот он, Дима-фотограф, совсем не думает так. Он думает, что Ген-наадий ни хрена и ни горькой редьки не смыслит в буддизме. В *сигнификатах и денотатах*, возможно, и смыслит он что-нибудь (девицы были в восторге) — тут Дима-фотограф с ним спорить не станет, потому что плевать ему, Диме, на сигнификаты заодно с денотатами, но в буддизме — нет, ни хрена; и вовсе не он, Ген-наадий, а вот они, вот Васька-буддист, вот Аня, вот он, Дима-фотограф, ездили в Иволгинский дацан, до Улан-Удэ в плацкартном вагоне, и догоняли похотливого водилу на фоне голубых гор, в желто-красной степи (восторг девиц возрастал), и тонули в байкальских колючих водах, и вот Васька-буддист ходит в один подвал учить японский язык, а в другой подвал учить китайский язык, и упражняется в каллиграфии, пока не совсем удачно, и рисует, пока не совсем совершенные дзенские круги на стене, и он сам, Дима-фотограф, занимается благородным дзенским искусством игры на флейте сякухати (какую флейту, в подтверждение своих слов, извлек он из матерчатого футляра), и дзенским, в сущности, искусством

Алексей Макушинский

фотографии, а Ген-наадий ничем, похоже, не занимается, и в плацкартном вагоне-то, небось, никогда не ездил, и в таких гигиенических условиях, в каких они ночевали в Бурятии, ни разу в жизни, поди, не оказывался; Ген-наадий умеет только болтать с важным видом, и вопрос еще, что он в самом деле читал из того, о чем так лихо распространяется. И вообще... Вообще что? Вообще ничего. За *вообще* последовал глухой, таинственный, тростниковый звук сякухати, звук протяжный, медленный, одинокий, создающий вокруг себя свою собственную тишину — и все-таки звук издевательский, к очередному восторгу буддийствовавших девиц. Но и Ген-наадий не давал себя сбить с панталыку; Ген-наадий, делая вид, что обращается только ко мне и Ваське — обращаясь на самом деле к бусам и бюсту, — продолжал обмусоливать имена, из которых каждое встречалось теперь в штыки и стрелы неприязнительных насмешек (какой-такой *Пуруша*, какая-такая *пудгала*, что за пугало выискалось?); Дима дергал вверх своей флейтой, как будто дым по-прежнему пуская в Ген-наадиево лицо; Соссюр, прости Господи, простонала одна из девиц, в дудку, тоже, вытягивая злобные губы; Соссюр, Соссюр, просюсюкали остальные девицы. Вот оно как, в высших сферах-то, сплошной, посмотришь, Соссюр... А Ген-наадий не унимался, сам и в свою очередь обсюсюкивая Соссюра, притворяясь, что не замечает атаки. Становилось уже очень противно. И потому в особенности противно (думал я, перекачываясь с бугра на бугор, впервые за десятилетия вспоминая ту давнюю сцену), потому противно в особенности, что во всем этом чувствовалась ненависть классовая — долго сдерживаемая, вдруг прорвавшаяся ненависть жителей Парголова, обитателей коммуналок, к советскому барчуку, каковым Ген-наадий, конечно, и был (как до некоторой степени, что греха таить, был им и я). Они ездили, мы и вправду никогда

не ездили ни в каких плацкартных вагонах... Мне было жаль Ген-наадия (вся вина которого состояла в беззломном снобизме да в желании покрасоваться перед бюстом и бусами), а вместе с тем (отчетливо это помню, со стыдом вспоминаю) я чувствовал в себе пробуждающийся соблазн поддаться общей злобе, направленной на него, как бывало в школе, когда три подонка, игравшие в «гестапо» (для советской школы середины семидесятых игра самая подходящая), набрасывались на свою привычную жертву — еврейского мальчика с вечно измазанными в чернилах пальцами (этот мальчик в далеком последствии сделался полковником израильской армии; я даже видел его фотографию, в полном военном великолепии), как тогда, в ненавистном, забытом школьно-советском детстве, вдруг, ужасаясь себе, улавливал в самой тайной, самой темной глубине души рождающееся (шевелиющееся там, в глубине, как некая склизкая тварь, змея или жаба) желание присоединиться к подонкам, поучаствовать в травле; желание, которому я, разумеется, не поддавался; зато с радостью, с чистой (или не совсем чистой?) совестью поучаствовал в коллективном, чуть не всей школой, избивении самих трех мерзавцев, прекратившем их замечательную игру навсегда... Откуда злоба в человеке? — говорил Ген-наадий, когда мы шли с ним по набережной лейтенанта Шмидта, глядя на верфи, дальние краны гавани. Откуда она берется, почему так вдруг прорывается? — спрашивал (не меня, но себя же... или верфи и гавань) Ген-наадий, знаток Соссюра и денотата, переводя эпизод в плоскость абстрактных рассуждений, показывая, что лично его это не касается, он не задет, не обижен, он *изучает*. Но уже не было у меня сил слушать Ген-наадиевы глаголения о зле в манихействе и зле у Блаженного Августина, о зле активном, действенном, дьявольском и, наоборот, о зле как о простой

Алексей Макушинский

недостаче — блага и бытия, — а хотелось только смотреть и смотреть: на верфи, и краны, и большой — огромный — пароход с красным корпусом, острым носом и белою рубкою, явно приплывший из мифических стран, в одиночестве стоявший у набережной, в свечении воды, в весенних питерских нескончаемых сумерках.

Смуглая леди, страшные полыньи

А было ли что-то у Васьки-буддиста с Аней или у Ани с Димой-фотографом? — спрашивал я себя в гостинице и в Вейле-на-Рейне, прислушиваясь к проникавшему сквозь плотные стекла морскому прибою автострады и удивляясь себе, не понимая, почему я не спрашивал себя или еще кого-нибудь об этом тогда, ту вечность назад, когда все эти персонажи для меня существовали в реальности, не только в воспоминаниях. Я слишком занят был своей собственной, с самого начала безнадежной любовью, которая, собственно (помимо отрадной возможности поговорить с Васькой о Шестом патриархе или о сутрах Праджня-парамиты с Ген-наадием) и заставляла меня ездить в (по-тогдашнему) Ленинград едва ли не каждые выходные — так занят был ею, что о чужих любовях не думал; по крайней мере и как это ни покажется странным, не думал, главное — не хотел думать о них в Ленинграде, хотя весьма и весьма способен был думать о них в Москве. В Москве пускался я — отчасти и от отчаяния — во все эротические тяжкие, в Ленинграде был чист, строг и холоден. Ни на что я уже не надеялся, тем не менее продолжал ездить, добивался глупейших свиданий с предметом моего обожания, черноокой и смуглой леди моих ненаписанных сонетов (назову ее Л.), смотревшей на меня, как я теперь понимаю, да и тогда догадывался, как на мальчишку, одного из многих, в равной мере ей не нужных поклонников. Я же, ни

на что не надеясь, все пытался доказать ей, что я сам по себе. А она и не спорила с этим, просто ей это было совершенно не важно, не нужно. Все-таки она позволяла мне сопровождать ее в филармонию, где ни одного концерта, мне казалось, не пропускала; провожать ее после концерта домой. Она была ровно на двенадцать лет меня старше — мы родились с разницей всего в одну мартовскую неделю, и хотя оба ни в какие гороскопы не верили, это нас забавляло, вернее, забавляло ее (и то, что это — по крайней мере и на худой конец — ее забавляло, было уже само по себе — для меня — утешением и достижением), мне же казалось, не совсем всерьез, знаком нашей астральной, или кармической, или еще какой-нибудь, все равно какой связи, в чем я и пытался убедить ее по всегда разной, всегда путаной дороге из филармонии на Исаакиевскую площадь, где в ту пору она жила. Никогда почему-то не шли мы просто по Невскому и затем, например, по Морской (Большой или Малой), но всякий раз сворачивали с Невского или направо, или налево, и если сворачивали налево, то быстро выходили (мимо Казанского собора, по Гороховой улице, по набережной Мойки) к Исаакию, если же (что чаще случалось) сворачивали направо, то шли кружным и долгим путем — не шли, а гуляли — вдоль Екатерининского канала, и через Михайловский сад, и вдоль Лебяжьей канавки к Неве, и затем по набережной обратно; и, значит, ей нравилось гулять со мною по вечернему городу, и даже, наверное, слушать мои разглагольствования о том и о сем, которыми я пытался произвести на нее впечатление (что, как я догадывался тогда и понимаю теперь, было заранее обречено на провал: смуглая моя леди сама была вполне себе интеллектуалка, и от мужчины ей не того было надобно), слушать и мои, тоже ее забавлявшие (но и только забавлявшие), пересказы дзенских коанов, и рассказы о моих буддистских друзьях,

Алексей Макушинский

познакомиться с которыми вовсе она не стремилась (только однажды побывав со мною, впрочем, уже под занавес, на домашней выставке, устроенной Димой-фотографом); не раз, во время этих прогулок, говорили мы с ней — и даже она сама, забавляясь, играя со мною, заговаривала, случалось, о том, как это странно, что вот мы оба — только она на двенадцать лет раньше — вошли в этот, сформулируем по-шопенгауэровски, мир пространства, времени и причинности под знаком Рыб и в китайский год, *sit venia verba*, Крысы. Ну и что, собственно? Да, быть может, и ничего; однако я верил или старался себя убедить, что никто еще не понимал меня так или никто не сумел бы понять меня так, как она, если бы захотела понять (она не хотела), и что я сам, хотя и не все понимал в ней — даже наоборот, ничего в ней, пожалуй, не понимал, и она оставалась для меня той загадкой, какой, покуда мы не разлюбим, остается для нас предмет нашего обожания, нашего восхищения, — но что я готов был бы эту загадку разгадывать, читать эту книгу и разбирать эти тайные письма так внимательно, с таким усердием, как и с каким не читал и не разбирал никогда никаких, если бы она мне позволила (она мне не позволяла). И все-таки мы сворачивали с Невского после очередного концерта, скорее направо, а не налево, и значит, гуляли подолгу, и ей это, значит, нравилось, и рожденные под знаками водными вновь и вновь выходили к воде, к дробящимся огням на воде, что в Петербурге, как всякий знает, случается неизменно, неотвратимо, но вовсе не обязательно должно случаться в Москве, а именно так случилось в тот ее единственный приезд в первую и краснопредстольный град, когда она разрешила мне с нею встретиться; в московский морозный вечер мы шли, но напроць забылось теперь, почему, зачем и куда, по каким-то до этого вечера не ведомым мне промышленным набережным,

окраинным и безлюдным, вдоль смутно мерцавших льдов, снежных пустынь, в которых страшно чернели огромные полыньи в тех местах, где, верно, сбрасывались в реку (или это какой-то канал был?) фабричные горячие, серно-пахучие воды; не только не подозревал я до тех пор о существовании этих набережных, этих каналов, но не мог их найти и впоследствии, как если бы они появились с приездом моей дамы, с ее отъездом исчезли; появились, исчезли с ней же навсегда мне запомнившиеся, потом ни разу не виденные, ни разу не найденные, красные, наверное, заводские, во всяком случае, отнюдь не кремлевские, стены, возле которых мы проваливались в ноздреватый, с угольными подпалинами и замерзшими брызгами коричневой глины наст на обочине (тротуаров там не было); проваливались, поначалу смеясь и, наконец, обнимаясь, потом не смеясь уже, но обнимаясь по-прежнему, глядя на неподвижные, стоявшие над нами в прозрачном, бело-розовом небе не тучи, но торжественные, скульптурные столбы изумрудного, извергаемого неведомыми трубами дыма — покуда не подхватило нас из небытия появившееся такси, с зеленым огонечком в углу ветрового стекла. В тот же вечер, в другую ли ночь оказались мы на совсем дальней, бело-бетонной окраине, на окраине южной ли, северной, в Строгине ли, в Беляеве, в однокомнатной, с комически низенькими потолками и глупейшими обоями в цветочках квартире, где то ли жила она, приезжая в Москву, то ли жила какая-то подруга ее, благородно уступившая нам на ночь свое неприятзательное жилище, — ничего этого я не помню и в Вейле-на-Рейне, спустя вечность, вспомнить не мог, как ни пытался вспомнить, прислушиваясь к автострадному прибою за окном и за шторами, думая, как и теперь думаю, что только в Москве и могла случиться эта единственная ночь на окраине — в Ленинграде и Петербурге ничего чувственного со

Алексей Макушинский

мною не случилось, — еще думая, перекачываясь с бугра на бугор, о том, что всякая чувственность стремится выйти за свои же пределы и что эта единственная ночь каким-то мне самому до сих пор непонятным и необъяснимым для меня образом изменила мою жизнь и молодость, что я это сразу же понял, как сразу же и догадался о том, что продолжения не будет, и потому говорил себе, лежа на чужой простыне и под чужим одеялом в идиотическом, желтеньком, в цветочках тоже, пододеяльнике, рядом с моей смуглой — даже во тьме, черноокой — даже во мраке, широкобедрой леди, что должен запомнить все это, не дать пропасть и погибнуть ни этому пододеяльнику в идиотических желтых цветочках, ни этому грустному, цементно-пыльно-табачному запаху чужой квартиры, запаху необжитых новостроек, сливавшемуся с восхитительным, влекуще-влажным, но тоже каким-то грустным запахом ее духов, волос и подмышек, ни этому ощущению ее бедер под моими ладонями, ее губ под моими губами, и потом долго и часто пытался представить себе, как повернулась и пошла бы моя жизнь, если бы наши отношения продолжились.

Емельяныч, черт бы его побрал

Конечно, они не продолжились. Когда на другую неделю приехал я в северную столицу, то мне позволено было, как всегда, как обычно, сопровождать мою смуглую леди в филармонию на тот концерт, который ей непременно было нужно послушать — она не прогуливала, в самом деле, ни одного (а я-то хотел бы прогулять их все, вместе с нею, один раз в жизни не думать уже о Брамсе), — потом проводить ее из концерта домой, кружным и долгим путем, с Невского проспекта направо, через Михайловский парк, где снег, я помню, не падал, но висел в воздухе, и оттого было очень

тихо, сказочно расплывались желтые круги фонарей, Инженерный замок красным пятном, далеким заревом полыхал за удивленными своей белизною деревьями, Летний сад, еще не подозревавший о грядущих над ним надругательствах, был закрыт и вздымал за Лебяжьей канавкой свои кроны подобию тоже какого-то, но уже решительно фантастического, сразу белого и темного замка, мне же казалось, я содохну, если не повторится сейчас, в ледяном Ленинграде, московская ночь, и, смешно вспомнить, когда мы вышли к Неве, я процитировал, без всякой связи с предыдущим разговором, предыдущим молчанием, «Лесного царя» — *неволей иль волей, а будешь ты мой*, — чтобы она уже знала, что ее ждет — *und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt*, — и во вторую половину пути уже не сомневался в своей решимости подняться к ней, вместе с нею, хочет она того или нет, но у самого парадного обнаружился в мохнатой шапке пожилой и суровый сосед, которого, метнув в мою сторону прелестный, извиняющийся, иронический взгляд, она и окликнула — Николай, на всю жизнь запомнил я, Емельяныч! — и с этим Емельянычем, будь он трижды проклят, даже, кажется, взяв его под руку, вошла в парадное, скрылась за дверь. Какой еще Емельяныч? какой еще, черт возьми! Емельяныч? в ярости повторял я по пути на Петроградскую сторону, шагая все быстрее и быстрее сквозь так же тихо и сказочно висящий в воздухе снег, сквозь наплывы и расплывы редких, тоже сказочных, фар и огней, по Английской набережной, затем по Дворцовой, по Троицкому (тогда еще Кировскому) мосту, глядя на едва намеченные за снегом очертания Ростральных колонн и Петропавловской крепости — лучший вид на земле, в любой ярости и под любым снегопадом, — не в силах оторваться мыслью от этого отчества — Емельяныч, черт возьми его! Емельяныч (как если бы все дело было в этих невинных зву-

Алексей Макушинский

ках, этом *е*, этом *ме*, и звали бы его Трофимычем, звали бы хоть Лукьянычем, не так бы это было мучительно...); и я теперь не знаю и не хочу узнавать, что стало с моей смуглой леди, какую жизнь она прожила.

Одинокий параллелепипед

Но еще мы встречались с ней после этого снега, даже ходили смотреть работы Димы-фотографа, выставленные им не в парголовской коммуналке (куда красавица моя вряд ли бы со мною поехала), но совсем рядом с ее домом, если не прямо на Исаакиевской, то возле Исаакиевской площади, в чьей-то чужой, большой, бывшей барской, запущенной и бестолковой квартире, в которой запомнился мне (вот он почему-то запомнился) бесконечный темный коридор, уводивший в непонятные дебри, с глухими книжными полками по левую и комнатами по правую руку, сначала маленькой комнатой, где уже развешаны были Димины снимки, потом еще одной, побольше, и самой, наконец, большой, угловой комнатой, упирившейся окнами в классический достоевский колодец. Квартирные выставки тогда были в моде. Я же разбил в то утро очки: положил их на стол за завтраком, потом смахнул со стола, потом ухитрился наступить на них нерасторопной ногою; я все видел, но чувствовал себя неуверенно; даже спуститься в метро на площади Льва Толстого, доехать до Гостиного двора было сложно; моя леди, когда я зашел за ней, изобразила сочувствие, впрочем, наверно, искреннее; все порывалась поддержать меня за локоток (как если бы я был слепой Эдип, она же Исмена и Антигона в одном смуглом лице), хотя я в этом совсем не, вернее, совсем не в этом нуждался. Дима же фотограф чуть-чуть злился из-за того, что я смотрю его фотографии такими беспомощными глазами; на мой патетический рассказ об очках, со стола упавших и без-

дарной ногою раздавленных, объявил, с зелеными искрами в своих собственных, голубых и серых глазах, что надо иметь запасные, и не просто иметь, но всегда возить их с собою, если уж такой я растяпа. А может быть, именно потому, что растяпа был без очков, он увидел в этих фотографиях то, чего в них не было, — или, скорее, то, что в них было, но чего не увидел бы он в очках, позволяющих рассмотреть подробности и детали, — увидел общий фон, светящийся и огромный на некоторых, не всех, фотографиях, фон, который показался ему (мне тогдашнему... в котором я узнаю и не узнаю теперь себя самого) чем-то более важным, даже более интересным, чем детали первого плана. Я ходил, теряясь в них, из одной комнаты в другую и третью, в квартирно-вернисажной толпе, состоявшей из Диминых друзей и приятельниц, приятелей этих приятельниц; в толпе, где моя леди сразу встретила своих, с тех пор забытых мною знакомых; встретив, сразу же и вступила с ними в отдельный, оскорбительно-оживленный разговор, в котором уже не было места ни мне, ни Диме, ни его фотографиям... Из этих фотографий в особенности помню одну — черно-белую, как и все остальные, — сделанную на каком-то пустыре или поле, понять было трудно, в правом, очень дальнем углу которого виден был торец одного, но и только одного, недавно, похоже, построенного многоэтажного дома, торец безоконный, бетонный, на таком расстоянии игрушечный, как и весь дом — не дом, а прямоугольный параллелепипед (как ненавидел я школу, с первой и до последней минуты...), поставленный посреди ничего, посреди пустоты, под превосходящим все и вся небом, небом светящимся, с подробно и тщательно разработанной архитектурой облаков, словно (или так я думал, стоя перед этой фотографией, стараясь не слушать оскорбительно-оживленный разговор моей дамы с ее собственными знакомыми, не в

Алексей Макушинский

силах совсем не прислушиваться к нему) заменявшей архитектуру тех зданий, которые могли бы стоять, но не стояли на этом пустыре, этом поле. Был еще человек на фотографии — одинокая, крошечная фигурка, в плаще и почему-то с портфелем, застывшая спиной к нам и фотографу, с изумлением в спине, в повороте головы и даже в портфеле, таком абсурдном и трогательном посреди пустыря и поля. Конечно, дивился он, как и мы, как и я, этому одинокому параллелепипеду, этим светящимся, грозно-величественным громадам неба, феерическим фронтонам, разрывам, рострам, провалам и портикам. Вот они — прямо напротив; и вот он — сам по себе, соотносенный и противопоставленный превосходящим его, а все-таки благосклонным к нему громадам. На всю жизнь запомнил я эту одну фотографию... И на других, не на всех, было это светящееся, не соизмеримое ни с чем небо — и на его фоне что-то одно: один предмет, одно дерево, один, если я не путаю, мост, снятый снизу, с чудными железными балками и, как всегда у старых мостов, осмысленным узором заклепок; что-то отдельное, обособленное, похожее на звук сякухати, создающий вокруг себя свою собственную, вдруг внятную нам тишину, пустоту. О тишине и пустоте я думал тогда постоянно; не знаю, думал ли Дима, когда делал свои фотографии; но я думал снова и снова; о пустоте, из которой все возникает; о молчании, из которого приходят слова. Слова еще не приходили ко мне; я не сомневался, что скоро они придут; уже чувствовал их благотворную близость. Слова рождаются из молчания; я почти уже до них *домолчался*. И если не совсем еще *домолчался*, то, во всяком случае, верил, что скоро *домолчусь* и *домучаюсь*. Я был прав, как вскорости выяснилось, хотя слова эти на поверку сами оказались еще приблизительными, и начатый мною в марте 1985 года роман пришлось мне так много раз и так решительно пере-

писывать, изживая в себе ученичество, что в итоге я девять лет ухлопал на его сочинение, закончил его уже в Германии, тоже в марте, но уже 1994 года, в другой жизни, в баварском и католическом Эйхштетте, с его кельтскими друидическими холмами. Ничего этого еще и представить себе было нельзя в то время, о котором пишу я сейчас; еще жизнь протекала в других декорациях, на другой сцене; еще распадалась на путаную, живую Москву, совсем не буддистскую (вопреки любимым стихам...) — и по-прежнему ледяной Ленинград, где был ветер, выдыхающаяся любовь, дзенские парадоксы — или это я сам распадался на (по меньшей мере) двух персонажей, сменявших друг друга всякий раз, когда я садился в красную или не-красную, стрелу или не-стрелу, чтобы переместиться за ночь из одной столицы в другую.

Из духовушки по эйдосам

Что бы ни имел в виду Мандельштам, говоря о «буддийской Москве», куда он «насильно» возвращен был «в год тридцать первый от рождения века», а буддистский храм существовал некогда в окраинной, северной, вовсе не в средней столице; известный всем питерцам, многим не-питерцам буддистский храм на Приморском проспекте, построенный в самые ранние годы «от рождения века», в тридцать первом еще даже действовавший, затем, конечно, разоренный, оскверненный, закрытый. В том восемьдесят четвертом или пятом году, когда мы с Васькой-буддистом ездили смотреть на него, располагалась там, если память меня не подводит, какая-то советская контора с непроизносимым названием, одна из тех бесчисленных непроизносимых контор, которыми советская власть заполнила и заплонила русские земли и другие земли империи, отдав под них церкви, особняки, синоагоги, дворцы и дацаны. Не помню, как мы туда добира-

Алексей Макушинский

лись, а ведь проще всего добраться туда на трамвае, от метро «Черная речка»: проехать еще две или три остановки после той, на которой сходил я, чтобы попасть на Серафимовское кладбище; но, видно, ехали мы иначе или нашло на меня затмение, я, во всяком случае, не понимал тогда (потом понял), как близко расположено одно от другого. Мы долго с Васькой-буддистом пытались что-нибудь разглядеть сквозь забор, долго топтались в ворохе мокрых листьев; ничего не разглядев, пошли прочь, сквозь осенний, ветренный, ясный и теплый день, по Приморскому проспекту дальше, по мосту на Елагин остров; и там, на острове, был — стоящий в памяти сам по себе, посреди неразборчивых кустов — тир; да, тир; точно помню: деревянная длинная будка; стойка, стертая локтями стрелков; несчастные, все во вмятинах от пуль, жестяные зайчики, медведи и львы, проплывавшие в глубине будки, как идеи и образчики земных вещей у входа в Платонову пещеру, как пресловутые *эйдосы*, тени которых на стене только и видят пленники земной жизни. Васька-буддист оказался стрелком превосходным; потщательней, чтобы не мешали они ему, перевязав волосы кожаной ленточкой, палил из духовушки по эйдосам, сшибая их одного за другим, удовлетворенно крикая после каждого сшиба; прообразы львов и медведей с металлическим треском заваливались куда-то в незримость, к ироническому восхищению сидевшей в будке, в сторонке от мимолетающих пуль, рыже- и длинноволосой девушки, державшей в тонкой руке (и это вспомнил я) «Аэлиту» А.Н. Толстого, заложив ее указательным пальцем; и странно (думал я), мы ведь еще не читали в ту пору, даже, наверное, и не слышали о знаменитой книге Эйгена Герригеля (Ойгена Херригеля в пошлой советской транскрипции) «Дзен в искусстве стрельбы из лука» — книге, которую впоследствии, спустя вечность, обнаружил у меня на столе, в моем эйхштет-

тском университетском кабинете, Виктор М. (все ведь связано в мире, все со всем в мире взаимодействует...), после чего мы с ним и заговорили впервые о дзен-буддизме и я дал ему телефон и адрес буддистского центра в Нижней Баварии; а все-таки Васька (думал я, падая с бугра на бугор) в тот бесконечно-далекий, в меру ветреный, еще теплый осенний день, на Елагином острове, быстро целясь и легко, внезапно нажимая на курок длинным пальцем, так стрелял из обыкновенной духовушки по эйдосам, как будто что-то важнейшее знал он о дзенской стрельбе из лука, и если не прямо стрелял в себя самого (как, если верить Герригелю, должен делать истинный адепт этого благородного искусства), то стрелял во что-то в себе, от чего он хотел избавиться; и разве не он, Васька-буддист, сказал мне однажды — как мог я забыть это? — что дзен — это взрыв образов, что мы живем образами, ложными образами, ложными представлениями о себе самих и о мире, о том, что должно быть, о том, что правильно и как надо, и что дзен — это взрыв образов, ложных образов и неправильных представлений, и что они все неправильные, все ложные, истинных нет, правильных не бывает; вот, выходит, и стрелял он по несчастным мишкам и зайчикам как по ложным образам, неправильным эйдосам своей жизни...; а может быть, я все это воображаю себе теперь (думал я, по-прежнему падая), но просто он хотел произвести (и произвел) впечатление на рыжую девушку с пальчиком в «Аэлите»; и может быть — кто знает? — он возвратился потом без меня (на другой день, когда я уехал в Москву) в этот парк, в этот тир; может быть, познакомился с нею; может быть, женился на ней; может быть, у них теперь семь человек детей; все может быть. Я ничего не знал о Ваське-буддисте в ту гостиничную бессонную ночь; как-то незаметно выпал он из моей, соответственно, из его жизни.

Бодяк и мордовник

Я помнил только, что мы еще долго блуждали по островам и долго сидели на лавочке, на одной из тех русских лавочек, с гнутыми чугунными подлокотниками, каких я нигде потом не встречал, куда бы ни ездил по расстилавшейся перед моим внутренним взором карте. Был синеватый репейник возле этой скамейки, в тот невозвратимый день на Елагином острове, в середине восьмидесятых; синеватый, или нет, лиловатый репейник, среди прочей травы; репейник с синими шариками колючих тычинок; и еще какой-то репейник другой, у которого тычинки торчали на голой голове лиловым смешным хохолком; или это память все теперь перепутала? Бодяк (вот это помню), сказал вдруг Васька-буддист, снимая с себя длинными пальцами незримую паутинку. Что? — сказал я. Бодяк, сказал он. Есть репейник, который называется бодяк. А другой репейник — мордовник, сказал Васька-буддист, снимая с себя невидимый волосок. Мордовник? — спросил я. Мордовник, сказал он. Есть репейник-мордовник и есть репейник-бодяк. Который же бодяк и который мордовник? На это Васька-буддист не знал, что ответить. Не тот, возможно, и не другой; возможно даже, что ни бодяк, ни мордовник не растут на Елагином острове, на широте Петербурга; но есть, вообще в природе, такие репейники, с такими названиями. Ну есть и есть, что с того? А ничего. Просто есть... Вот, сказал я, замечание истинно дзенское... Того же мнения были вихлястые, по-мандельштамовски узкие осы, кружившиеся, в медитативной задумчивости над репейником (бодяком и мордовником). Осы, соглашаясь с нами, не прерывая своей медитации, садились прямо в тычинки, колючки и вдруг перевертывались, окунались в лиловую синеву, как утки окунаются в пруд или в озеро. Да утки и в самом деле окунались в пруд за деревьями, только память вычеркнула все это, оставив лишь

ощущение большой воды где-то рядом, ощущение озерного и морского простора, со всех сторон окружавшего нас, морского простора, который, незримый, угадывался в колебании берез и осин, в блеклом широком небе с акварельными неспешными облаками. Далеко было видно, не в действительности, но внутренним зрением. Молодость невнимательна. Все-таки вспоминаю, как мы смотрели на этих мандельштамовских узких ос, окунавшихся — кувырк — в синеву тычинок, лиловость колючек, и я чувствовал, что Васька-буддист так же пристально на них смотрит, как я, и тоже, может быть, старается их запомнить, вместе с этим блеклым широким небом над нами, этим ощущением большой воды где-то рядом. Никогда не смогу поверить, что этого репейника — нет, этих ос — нет, сказал я, что они пусты, как нас учит буддизм (если и вправду он учит нас этому). Мне нравится (что значит нравится? меня влечет и манит, так или как-то так я сказал) другая пустота, совсем, наверное, не буддистская, та сияющая пустота — за вещами, которую чувствую я иногда острее и отчетливее, иногда совсем смутно, та спасительная, победительная пустота за вещами, безмерная и безусловная пустота за вот этими осами, этим репейником (бодяком и мордовником), из которой возникают вещи и в которую они возвращаются, из которой всякий раз возникают они — как будто впервые, как если бы никогда их раньше не было (ни бодяка, ни мордовника), никогда их больше не будет. Но они есть — вот сейчас, вот в это мгновение, как и мы сейчас есть. Они — суть, а мы — есмы. Что? — спросил Васька-буддист. Ничего; правильные формы спряжения глагола «быть», сказал я. Мы потому, возможно, и есмы, что видим их, сказал я. Мы существуем, и они существуют. Наш взгляд объединяет их с нами: они, однако, сами по себе, мы сами по себе, они суть и мы есмы, отделенные друг от друга, со всех сторон объятые пустотой.

Движение во времени

Неужели (еще раз) я вправду говорил так Ваське-буддисту на Елагином острове в середине восьмидесятых? и что он ответил мне? Он мне, может быть, ничего не ответил. Давно это было. А разве вчерашний день был недавно? Что было раньше, что было позже? Какая разница, что было раньше, что позже? И разве не так же я смотрел на тадао-андовский бетон накануне, как тридцать лет назад на лиловый репейник, и не из той же ли пустоты возникали эти стены, с их углублениями от опалубки, и не в ту же ли пустоту возвращались? Мы расставляем события во времени, как предметы расставляем в пространстве (думал я, уже путаясь в мыслях), но то, что есть, то есть, и то, что было, то было, и где-то по-прежнему кружат эти осы над лиловым репейником, и окунаются в него, как утки окунаются в пруд, и разве не смотрели мы с Виктором точно так же на синий и лиловый репейник (мордовник, бодяк ли) совсем недавно, какой-нибудь год назад, в местах куда менее романтических, на франкфуртской невеселой окраине, у ограды супермаркета фирмы Lidl, и разве не говорил я Виктору примерно то же самое, что говорил некогда Ваське-буддисту? Виктору, между прочим, когда мы с Васькой стреляли в тире, следили за осами и созерцали мордовник, было лет шесть или семь, и ни о каком дзене он и слыхом не слыхивал. И как раз когда было ему лет семь или восемь, случилось в его, Викторовой, так незадолго до этого начавшейся жизни событие важнейшее и страшнейшее, перевернувшее, может быть, всю эту жизнь, предопределившее — кто знает? — этой жизни дальнейший ход, фон и тон, событие, о котором бесконечно много позже рассказал он мне в темном кронбергском парке, за полчаса, может быть, до своего собственного знакомства с Тиной, последствий которого ни он, ни Тина тоже, разумеется, вообразить себе не могли...

«Макс»

Уже отсветы перестали бегать по потолку, и автострады почти не было слышно. Только вдруг взрывалось что-то за окном и за шторами, приближалось и нарастало, рассыпалось сухим треском, осыпалось мелкими камушками, превращалось в сплошной гул и гуд, реактивный, турбовинтовой, истребительный — какой-нибудь безумный мотоциклист, презирующий тишину и глушители, пронесился с тремя сотнями километров на ошалевшем спидометре по совершенно пустынной дороге — один из тех безумных мотоциклистов, которые днем отсыпаются или ходят на постылую работу ради ничтожных денег, зато ночью обретают свое одинокое адреналиновое счастье, на краю гибели, в ландшафтах предсмертия, сливающихся в слепое пятно; еще долго звук его замирал в тишине; и чем дольше замирал этот звук, тем дальше виделось мне, внутренним зрением; как если бы, еле слышный, он доходил до меня, до моей гостиницы и кровати, уже из Швейцарии, или из Франции, или из какой-то другой, на карту еще не нанесенной страны, в которой тоже были и, покуда замирал этот звук, открывались и виделись мне неведомые города, незнакомые горы. Мы расставляем события нашей жизни во времени, как предметы в пространстве, или как флажки на карте, действительно, с ее горами, ее городами — карте, по которой я двигался обратно, из прошлого в настоящее, с востока на запад; и вспоминал — и видел — вновь Эйхштетт, Виктора, бегущего вдоль Альтмюля, быстрой речки с длиннолиственными ветлами; вспоминал те дни, в Вене, в прокуренной и ужасной гостинице (тоже гостинице), ранней весной 1999 года, когда я сам решил пойти, наконец, по дзенскому пути, потому что никакого другого не видел уже для себя. Это тоже было давно и недавно, я думал; столько же, или примерно столько же, лет прошло с тех пор, сколько

Алексей Макушинский

прошло к тому времени с моей питерской дзенской эпохи, с моих последних встреч с Васьюкой-буддистом, Димой-фотографом, которых потерял я из виду, почти перестав во второй половине восьмидесятых годов приезжать в Ленинград, отчаявшись добиться успеха у моей смуглой, черноокой, широкобедрой и восхитительной леди, но увлеченный другими людьми, другими делами, начавши весной 1985 года писать мой первый роман, много позже, в 1998 году, изданный мною под названием «Макс», роман, в котором — как же иначе? — речь шла, среди прочего, о том, что так волновало и мучило меня в молодости (с началом этого писания как раз и закончившейся), о невозможности остаться в одиночестве, в настоящем мгновении времени, об ускользании от самой себя нашей мысли, обращенной к кому-то другому, об этом присутствии *другого* в нас, отчуждающем нас от нас же самих... обо всех тех нерешенностях, иными словами, которые (вместе с возможными их решениями) я словно откладывал на потом, на когда-нибудь, на после-романа. В нем тоже предлагались решения, отчасти, наверное, дзенские (хотя ни о каком дзене речь напрямую не шла, автор не упоминал, герои не говорили), или дзенские постольку и так, как и поскольку я это понимал тогда; как-то связанные с той интуицией сияющей пустоты, исходя из которой, на фоне которой только и может существовать то, что существует: репейник, дерево или я, на них смотрящий, их видящий... Главным решением — для автора — был сам роман; само писание; сам текст, со всеми его диалогами, главами, короткими и длинными фразами, подъемами, падениями ритма; других и не требовалось. И почему-то я верил — смешно вспомнить теперь, — что после романа начнется настоящая жизнь, что пускай не решив, но, по крайней мере, описав нерешенности моей молодости, свободный от их груза, их тоски и тяготы,

отправляюсь я по открывающимся передо мною жизненным дорогам на поиски совсем иных, в молодости даже не предполагавшихся вещей, идей и возможностей, иных слов, иных текстов. Ничего этого не случилось. Ни новых слов, ни новых мыслей не обнаружилось. Когда в марте 1994 года в баварском и католическом Эйхштетте, в маленькой комнате над булочной, которую снимал я тогда, закончил я свою за девять лет непомерно разросшуюся, бесчисленное множество раз переписанную, перепечатанную (еще на машинке, ни на каком не на компьютере) рукопись, выяснилось, что не только нет у меня новых слов, новых мыслей (как если бы я за девять лет их все израсходовал), но нет и никаких таких жизненных дорог, перспектив и возможностей, которые почему-то (по глупости, по наивности) мне до этого грезились. Мне грезился райский сад, а вступил я в выжженную пустыню. Какую-то до отчаяния ненужную мне приходилось писать диссертацию (под предлогом коей я, собственно, и жил в баварском уединении), какие-то нужно было делать внешние, бытовые дела, зарабатывать жалкие деньги... Главное, все было так же, как до романа, все тяготы и тревоги прошлого ко мне возвратились. Нового избавления от них не было — ни новой прозы, ни, скажем, стихов; все, что мучило меня с юности, опять на меня обрушилось. Так же страдал я от невозможности остаться наедине с самим собою, оборвать поток случайных, ничтожных, обращенных к кому-то мыслей в моей (тем временем уже начавшей сесть) голове или хотя бы подняться над ним, посмотреть на него откуда-то со стороны (иногда это удавалось, но редко, ненадолго); таким же оставалось недостижимым, неуловимым настоящее, вот это *здесь-и-сейчас*, которое по-прежнему считал я тем единственным, что вообще *есть*; так же трудно было, так же плохо получалось в нем просто присутствовать, не отвлекаясь на постороннюю

Алексей Макушинский

чепуху, мечты о будущем, сожаления о прошлом; и то же было вечное чувство беспокойной неудовлетворенности, как некогда переводил (уже почти забытый мною) Ген-наадий буддистское понятие дукха: роковое, извечное, непобедимое чувство неудовлетворенности, сопровождавшее, как генерал-бас, все прочие чувства, прочие мысли.

Ложи и декорации

И, значит, со времени моих первых дзенских увлечений, со времени Васьки-буддиста, Димы-фотографа должно было пройти — сколько? — четырнадцать или пятнадцать лет (так легко сжимаемых теперь в одно предложение, таких долгих в действительности), и я должен был закончить отнявший у меня девять лет жизни роман (в Эйхштетте, еще раз, в 1994 году), и переехать (в 1996 году) в Регенсбург, и (к 1998 или 1999 году) окончательно отчаяться написать следующий, отчаяться написать вообще что-нибудь, отчаяться вообще во всем — и в писательстве и в жизни, чтобы для самого себя неожиданно, в Вене, куда приехал я просто так, с этого же отчаяния, от отчаяния убегая, в марте 1999 года (как раз в те дни, когда началась бомбардировка Белграда...), в ужасной дешевой гостинице, которую порекомендовал мне кто-то из бережливых немецких приятелей, чтобы вдруг сказать себе, что я пойду по дзенскому пути, будь что будет, всерьез и в самом деле, потому что никакого другого пути не вижу я для себя. Все декорации жизни давно поменялись, другие зрители сидели в глубине других лож, как будто и не было никогда того трамвая, того струения дождя по стеклам, тех девушек, тех коммуналок, того Ген-наадия, обсосанного Соссюра, как будто снился мне некий сон, перестал сниться, выпал из памяти, и я сам, уже почти сорокалетний, с отчаяния, от отчаяния и без всякой цели приехавший в Вену, был какой-то

другой я, с другим составом крови и плоти, с другим, уже слоистым, ступенчатым, переборчатым прошлым, с другим, еще и по-прежнему необозримым, но уже начавшим сужаться, сжиматься будущим, с такими потерями в этом прошлом и такими потерями в будущем, уже осязаемом, о которых пятнадцатью годами ранее никто и не думал... другой — и тот же самый я, разумеется, с теми же темами жизни, тем же набором нерешенностей, теми же проблесками пробуждения и теми же провалами в обыденное безмыслие.

Улица Инвалидов

Вена в мой первый туда приезд показалась мне городом вполне отвратительным, подложно-парадным — одним из самых пошлых городов Европы, — городом, который делает вид, что все хорошо, все в порядке и всегда, и раньше было только хорошее, сплошные балы и вальсы, прыжки и ужимки, кавалеры в кружевах и дамы в кабриолетах, ничего другого и не было, ничего не случилось. Война? Не слышали. Нацизм? Так это ж немцы во всем виноваты, это они нас попутали, наша с краю альпийская хижина, мы такие милые, мы ни при чем. Целую ручки, и до скорой встречи, сударыня. А евреев мы так любим, так любим. То есть мы их ненавидим по-прежнему, но не скажем этого никому, никогда... А я ненавижу эту вашу похабную позолоту, эти ваши казарменные дворцы, эти ваши имперские площади, фатально, как бы вы ни выделялись, напоминающие о плаце, муштре и шпицрутене, о том, что первая колонна marschierт и вторая колонна marschierт, но ни вторая, ни первая не придут никуда, заблудятся в лесу, увязнут в болоте — и поделом, и так им и надо, и любое болото отрадней мне торжественного убожества вашего... Я был, наверно, не прав; просто так несчастен был в эти мартовские дни в этом городе, как редко где и когда бывал в жизни.

Алексей Макушинский

Знакомых в Вене у меня не было, идти было некуда, туристические места на третий день опостытели. Оставалось только уехать, но почему-то не уезжал я; упорно, словно в надежде на встречу с кем-нибудь, с чем-нибудь, бродил по отвратительным мне проспектам, бульварам, переулкам и улицам с чудовищными названиями вроде Landesgerichtsstraße, Getreidemarkt или Kettenbrückengasse, и только, может быть, в Бельведере, в его поднимающемся на гору парке находил недолгий покой, но потом опять тащился по какой-нибудь бесконечной Invalidenstraße, сам делаясь инвалидом, с трудом и мучкой волоча пудовые ноги, но все же из вечера в вечер возвращаясь — зачем? — в свою мрачную, затрапезную, заброшенную гостиницу, содержащуюся двумя поляками — одним маленьким поляком и его, похоже, братом или кузеном, иногда замещавшим его за стойкой в прихожей, у основания мрачной лестницы с протертой ковровой дорожкой и очень пыльной, очень, как и я сам, несчастной пальмочкой в пролете (гостиницу, к которой под конец моего пребывания я почувствовал даже что-то вроде симпатии — островок славянской правды в море австрийского ханжества), в этот крошечный прокуренный номер (в Европе еще курили тогда в гостиницах), главное достоинство которого заключалось в том, что, сидя на стуле, деревянном, выгнутом и скрипучем, можно было дотянуться рукою до любого предмета и любого угла, до телевизора, подвешенного под потолком, или до тумбочки, или до затхлого шкафа, так что никакого и смысла не было подниматься с этого стула, разве что ради того, чтобы лечь на в меру продавленную кровать, бессонными ночами, в отличие от вейль-на-рейнской, не одарившую постояльца, одарившую его мрачнейшими вечерами, бессмысленным взглядом в потолок. В последний и самый ужасный из этих венских весенних дней, неистово-солнечный и злобно-голу-

боглазый, когда я поехал зачем-то в Шёнбрунн, эту жалкую в своей примитивной гигантомании пародию на Версаль, и возвратился оттуда в окончательном отчаянии, вдобавок и с мигренью до тех пор не испытанной силы — просто шило (и даже, скорее, штопор) воткнули мне в голову в верхке от виска, воткнули и вворачивали все глубже, — на помянутой кровати лежучи, в помянутый потолок глядячи, для себя самого неожиданно принял я решение пойти по дзенскому, действительно — потому что никакого другого не видел и не мог придумать, — пути; приняв его, пересел на стул — больше пересесть было некуда, — сложил руки в дзенскую мудру, какой она мне помнилась по уже к тому времени прочитанным книгам, принялся считать свои выдохи. Все наши, если не лучшие, то важнейшие наши решения вырастают, я знаю теперь, из отчаяния. Мигрень не прошла, да и на душе не то чтобы полегчало. Не полегчало, но прояснилось. По крайней мере, удалось мне, наконец, отстраниться от моего же отчаяния, откуда-то сверху и сбоку посмотреть на него (как в свое время на речку-вонючку с ее облачками стирального порошка и облаками небесными...), сбоку и сверху — на мои бессмысленные прогулки по чудовищно имперским площадям и отвратительно парадным проспектам, на эту внезапную ненависть к ничем, наверное, не заслужившей ее Вене, на всю мою зашедшую в тупик жизнь, эти последние мучительные годы, эту выжженную пустыню — посмотреть на них сверху, сбоку или, наоборот, с какой-то вдруг обретенной внутренней точки, неподвижной посреди шатания и шума во мне, с этого деревянного, выгнутого, но твердо стоявшего на полу, скрипучего, а все же уверенного в себе стула, на котором сидел я, считая выдохи, и с которого можно было дотянуться до любого предмета в комнате — до стола, и лампы, и телевизора. Включать телевизор мне и в голову не приходило, но что-

Алексей Макушинский

то переключилось у меня в голове; решение было принято; как только оно было принято, я мог уже и уехать; на завтра без всяких приключений докатился до Регенсбурга; и потом все закрутилось, понеслось очень быстро; очень быстро обнаружилась в том же Регенсбурге дзен-буддистская группа, собиравшаяся в каком-то протестантском учреждении, затем другая, дзенско-католическая, затем просто дзенская, в Мюнхене; и я раздобыл (теперь не помню, где именно) японскую черную круглую подушку для медитаций (набитую особенной белой ватой — капоком), подушку, которая с тех пор мне верно служит (иногда приходится добавлять в нее немного этого белого капока через боковой тайный разрез); и на этой подушке *сидел* теперь (в дзенском смысле) каждое утро и каждый вечер, считая свои выдохи (от одного до десяти) и стараясь (как учат дзенские книги) не обращать внимания на возникавшие, проходившие у меня в голове мысли, обрывки мыслей, обращенных или не обращенных к кому-то, стараясь не говорить им ни *да*, ни *нет*, не бежать за ними, но и не подавлять их — просто, с терпением, которого я до тех пор не предполагал в себе, возвращаясь к счету выдохов, от одного до десяти, от одного до десяти. В дзенско-протестантских, и дзенско-католических, и просто дзенских группах, в которые попадал я теперь, *сидели* (три раза по двадцать пять минут; иногда, впрочем, и дольше) некие (мне, признаться, совсем не запомнившиеся и, наверное, потому не запомнившиеся, что ни с кем из них я не вступил в разговор, никто даже внимания не обратил на меня; хотя некоторые требовали, чтобы сперва я выслушал их объяснения, как сидеть, как складывать руки, как ноги; но и эти не запомнились тоже...) дядьки и тетки, почти все средних лет и вида безумного более, безумного менее, но и в том, и в другом случае какие-то невыразительные (потому и не запомнившиеся, наверное) или,

может быть, так решительно повернутые к чему-то иному, отвернутые друг от друга и от меня, новичка, что даже лица их стирались, смывались, очень скоро стерлись из памяти. Не скажу, что мне это нравилось. Мне это вовсе не нравилось; ни в одну из этих групп и группок я долго не проходил; везде был случайным гостем.

Рай — рядом, закрытая дверь

Во всех этих группах, как и в книгах, которые теперь читал я, говорили мне и рассказывали, что ежедневный дзэн — это прекрасно, но что главное — это сессин, недельное (например) удаление-от-мира, целиком (почти целиком) посвященное медитациям. Тут же выяснилось, что сессины проходят повсюду, что записаться на них нетрудно, стоит недорого; дзэн-буддистские сессины, выяснилось опять же, проводятся не только в буддистских местах и монастырях, но и во многих монастырях католических, у францисканцев, у бенедиктинцев, у иезуитов, причем один такой (францисканский) монастырь оказался на полпути между Регенсбургом и Эйхштеттом, в деревушке под названием Дитфурт, в долине Альтмюля, так что я, в ту пору едва ли не каждую неделю (во время семестра) ездивший из Регенсбурга в Эйхштетт (где уже начинал преподавать и куда вскорости, в 2001 году, вынужден был возвратиться, получив там уже упомянутую работу на кафедре восточноевропейской истории), иногда в этом (крошечном) Дитфурте останавливался, парковал машину на ратушной площади и шел по узеньким улочкам к монастырю, чтобы посмотреть из-за ограды на плоскую крышу и мелкие, продолговатые окошки дзэн-до, зала для медитации, основанного, между прочим, знаменитым в немецких

Алексей Макушинский

дзенских кругах Гуго Эномия-Лассалем (Enomiya-Lassalle), иезуитским патером, бесконечно долго жившим в Японии, пережившим там Хиросиму, стремившимся (говоря пластмассовым языком) дзенскую «мистику» объединить с христианской. Кроме плоской крыши и мелких окошек ничего видно не было; никакие монахи, ни францисканские, ни буддистские, из монастыря не выходили, так что, например, вступить с кем-нибудь из них в беседу, обменяться парой любезностей и парадоксов, а заодно и расспросить о сессине, как хотелось бы мне, я не мог; вообще, мне помнится, никто не выходил из монастыря и никто в него не входил, хотя было, как оно и всегда бывает, окошечко у входа и рядом с ним звонок, которым можно было вызвать привратника. Я этого так и не сделал. Я обходил вокруг монастырских стен, выходил к ручью, бойко бежавшему с мягких холмов к Альтмюлю, журча и всплескивая под маленьким мостиком, играя на солнце, играя мхом на камнях и на дне, отражая небо, сияние облаков, синеву между ними. Я смотрел на все это с ощущением одновременности несчастья и счастья. Все это было здесь, сейчас, несказанное в своем совершенстве, отвергающее меня. В этом блеске отраженных в воде облаков, и в этих перевернутых черных деревьях с зыблущимися и все же четкими очертаньями веток и веточек, и в этих мягких холмах вдалеке (так манивших, так звавших) — во всем этом был покой, от которого я по-прежнему чувствовал себя непоправимо отторгнутым. Рай всегда рядом, я думал, но двери в него закрыты.

Буддистский хутор

Эти блуждания у монастырских стен блужданиями и остались; мне хотелось буддизма чистого, без католических примесей. Обнаружился буддистский хутор, даже, смешно

вспомнить, целых три буддистских хутора в Нижней Баварии, в глухом и сельском углу; из каковых хуторов один был незадолго до того основанный, в традиции Сото, дзен-буддистский монастырь, два других предоставляли разным буддистским направлениям и группам место для уединенных занятий и аскетических подвигов: буддизм тхеравады сменялся буддизмом тибетским; заканчивалась випассана, начинался дзенский сессин. На один из этих хуторов я и отправился (уже следующей, еще и тоже ранней весной); долго ехал по все более пустынным дорогам; съехав на дорогу уже просто проселочную, щебеночную (что в Германии бывает нечасто), обнаружил самодельную умильную табличку, простую фанерку, указывавшую путь к убежищу и отрешению от мира; проскочил пару оврагов, резко вниз, резко вверх; когда же, оставив машину на парковке за хутором, на краю последнего оврага, занес вещи в дом и познакомился с держателями заведения, сразу, я помню, почувствовал себя внутри некоего особенного целого, как мы себя чувствуем в театре, в концерте... или в больнице, в любом месте, на более или менее длительное время отделяющем — отдаляющем — нас от нашей привычной жизни; и я не только потому, наверное, так хорошо помню, так ясно вижу теперь этот деревенский дом, судя по толщине стен и узости окон старинный, XVIII, может быть, века (и как бы удивились его первые, да и последующие владельцы, узнай они, во что превратят их скромное обиталище странные люди, населившие землю после мировых, объединивших мир войн и катастроф, тектонических потрясений, все смешавших, все перепутавших на земле) — этот дом, по-деревенски и по-старинному темный, с его прихожей, где на особых приступочках ровным рядом стояли сельские сапоги, и городские ботинки, и для внутреннего пользования, тапочки, с его бесчисленны-

Алексей Макушинский

ми порогами, его деревянной, скрипучей, за себя самую забавшейся лестницей на второй этаж, где в одной из комнат, пустой и совсем не торжественной, проходил так называемый *докусан* (см. ниже), остальные же, как и комнаты на третьем этаже, на который вела уже откровенно чердачная лестница, были комнаты спальные, на двоих и на одного, с простой, из натурального дерева мебелью, в своей простоте и свежести нимало не напоминавшей мебель гостиничную, комнаты с кроватью и шкафом, в котором *плечики* были обычные, тоже из дерева, соприродные человечеству, пахло сухими травами, разложенными на полочках в пестрых холщовых пакетиках, и послание от хозяев дома к взыскующему истины постояльцу, приклеенное к изнанке одной из шкафовых дверей, просило его, постояльца, соблюдать, по крайней мере во время пребывания своего в доме сем, буддистские принципы ненасилия, даже и поелику возможно распространяя их, эти принципы, на — кого? — насекомых, вот именно: насекомых (с каковыми я в тот первый мартовский сессин не имел дела, зато во второй мой сессин, осенний, уже вынужден был дело иметь, поскольку они, деревенские комары и сельские мухи, мечтали меня покусать, пожужжать мне прямо в ухо и вообще как-нибудь испортить мне настроение, я же не всегда ухитрялся распространить на них буддистские принципы ненасилия); не только потому так ясно вижу я теперь этот дом, что провел там сперва одну, потому другую неделю, весеннюю и осеннюю, но еще и потому, что провел их, эти две недели, в том медитативном молчании, стихании случайных мыслей, в той отрешенной сосредоточенности и сосредоточенной отрешенности, которые только и позволяют нам увидеть, запомнить окружающий нас мир, окружающие нас вещи, коряги и камни, любовно разложенные по всем подоконникам, по краям лестничных ступенек и по книжным

полкам в библиотеке, запомнить и поля вокруг дома с многообразными — в мой весенний приезд, — по разным лекалам выведенными пятнами белого или уже ноздревато-темного снега на распаханной черной земле.

Явление Боба

Первым делом надо было записаться на какую-то определенную — такую-то, а не другую — работу; в дзенских монастырях все работают (не расставаясь, или якобы не расставаясь, со своим коаном, или хотя бы со счетом вдохов и выдохов, или, чаще, одних только выдохов; работа, *саму*, считается тоже упражнением, частью аскезы и религиозного подвига); в настоящих японских монастырях работают, потом узнал я, гораздо больше и тяжелее, чем работали здесь. Но и здесь надо было или овощи на кухне резать, или, скажем, лестницу мыть. Посуду надо было мыть при всех обстоятельствах, неважно, что еще ты делал, что выбрал. Я подумал, что и так буду все время на людях и потому работе общей стоит предпочесть работу в одиночестве, резке овощей — мытье лестницы. На мытье этой лестницы притязали многие, но я был первым, мне повезло... Лишь под вечер, когда съехались и разместились все эти притязавшие или не притязавшие на мытье лестницы свидетели и соучастники моих грядущих аскетических подвигов, мои соратники в медитативной борьбе — человек, пожалуй, пятнадцать, которых, за двумя или тремя замечательными исключениями, я как раз не могу теперь вспомнить, так они были отвернуты от меня и друг от друга, — лишь под вечер, когда все устроились и все разместились, обнаружил я само дзен-до, зал для медитаций, главное место в доме — небольшое, сводчатое, бело- и мелостенное, с совсем уже узенькими окошками и дощатым, тоже скрипучим, как впоследствии выяснилось, беспощадно холод-

Алексей Макушинский

ным, полом. В углу были сложены маты, подушки и одеяла, к каковому сейчас же и устремились проникшие в зал дзен-буддисты, каждый (каждая) из которых принялся (принялась) с большой деловитостью оборудовать себе местечко — поближе к окошкам или, наоборот, лицом к безоконной стене; лишь, опять же, под вечер, когда искатели истины расселись на подушках и матах, увидел я главу всего предприятия — Боба Р., американца, столько-то или столько-то, двадцать или двадцать пять лет перед тем прожившего в Японии, ученика и воспитанника легендарных наставников, авторов и героев дзенских книг, не покидавших меня в ту пору, — Боба Р., которому тогда было — сколько же? — лет, наверное, пятьдесят с небольшим, который, к моему удивлению, разочарованию, явился перед адептами и аскетами не в одном из тех дзенских черных или черных с золотом одеяний, которые видел я на фотографиях и теперь надеялся увидеть *in natura*, но в обычных, коричневых, с плохо отутюженной складкою брюках, нисколько не джинсах, в неопределенно-бежевом свитере грубой и редкой вязки, так что сквозь него видна была клетчатая рубашка, застегнутая на верхнюю пуговицу, как это делают только школьники, отличники, первые ученики. А он и похож был на первого ученика, то есть похож был на подростка в свои тогдашние пятьдесят с небольшим, и не только застегнутая верхняя пуговица, но и прическа была у него какая-то школьная, подростковая, как это иногда бывает у англосаксов, со смешной, болтавшейся впереди прядью светлых, уже начавших сесть волос. Они еще не решили, эти волосы, оставаться ли им волосами молодого блондина или сделаться волосами тоже еще не старого, но уже пожившего на земле человека; седина, пробивавшаяся сквозь их готовую исчезнуть блондинистость, отзывалась в них, смотря по тому, как падал свет, быстрым блеском, мгновенным мерцанием.

Молодыми, светлыми были, до конца оставались глаза. По-немецки говорил он с сильным американским акцентом, иногда задумываясь над словами, как если бы он не уверен был в этих словах — или просто переходя на английский; но даже перейдя на английский, продолжал задумываться над своими словами; не говорил, но думал вслух, при свидетелях; и даже когда повторял уже сказанное (а мне случалось впоследствии слышать от него уже сказанное им раньше), все равно создавалось у меня впечатление, что он впервые нашел слова для своей мысли и даже впервые нашел саму мысль, неожиданно набрел на нее; отчего она переставала быть собственно мыслью, отдельной от него, Боба, но становилась простым и всякий раз новым выражением того самого важного, что было в нем, было им. Он не высказывался, но сказывался в том, что он говорил. И он не торопился никуда, никогда. Он всякий раз ждал в непоколебимом и счастливом молчании, чтобы слова и мысли пришли к нему сами, из той тишины, из которой и приходят слова, из той пустоты, из которой все приходит, в которую все возвращается. Оттого казалось, что он и говорит из этой пустоты, тишины, со всех сторон окружавшей и его слова, и его самого, как окружает она одинокий звук сякухати. И оттого что говорил он — из этой тишины, пустоты, он одновременно был и не был там, где он был (в дзен-до, на подушке, на почетном учительском месте, лицом и сиянием глаз повернутый ко всем остальным). Он безусловно был там, где он был, всей силой дзенского присутствия присутствуя в настоящем (в этом дзен-до, на этой подушке); а все же говорил он издалека и откуда-то, из каких-то, я думал, не доступных его слушателям областей, которые (как мне уже доводилось писать) я невольно представлял себе в виде далеких горных, в синей солнечной дымке друг за другом исчезающих кряжей (с пинией на переднем плане, лег-

Алексей Макушинский

кими уверенными штрихами прочерченной в воздухе...); и эти лишь ему одному доступные области, эти снега и вершины, стояли, сияли за ним, делая совсем уже маленьким и чуть-чуть смешным то место, в котором мы все находились: низкий потолок, узкие окна.

Окау

Его самое частое слово в тот вечер было окау. Окау, или, когда он говорил по-немецки, in Ordnung. Мы все здесь с разными целями и по разным мотивам, и это in Ordnung, это окау, говорил Боб. Мы здесь с одной целью — понять, что все вообще in Ordnung, все вообще окау. Здесь многие, говорил он, совмещают дзен с христианской верой, и это окау, in Ordnung, очень хорошо и пусть будет так. Здесь есть, он знает, католики; есть, наверно, и лютеране. Это in Ordnung, это окау. А для многих, наоборот, дзен был освобождением от... чего-то (тут он надолго задумался в ожидании правильных слов), чего-то в христианской вере, что их не устраивало, от того, может быть, что в детстве их мучило, от страшного Бога-отца, подавлявшего их волю и больше похожего на их отца земного, слишком земного, говорил Боб (с сильнейшим американским акцентом, в ожидании правильных слов задумываясь снова и снова), на их жестокого, или сурового, или всегда недовольного ими, или равнодушного к ним отца, с которым в своей взрослой и подлинной жизни они уже не знают, что делать, которого они, может быть, предпочли бы забыть, о котором вовсе не хотят, чтобы напоминали им во время каждой мессы, каждое воскресенье, чтобы каждое воскресенье и во время каждой мессы их окунали с головой в их детские страхи. Такие люди здесь наверняка есть; они всегда есть. И это тоже in Ordnung, тоже окау. А для кого-то дзен вообще не имеет отношения к религии; вообще о другом;

они просто хотят отстраниться от своей повседневной жизни, побыть в уединении, сделать перерыв, take a break. Совершенно неважно, какие мотивы привели вас сюда. Даже если простое любопытство привело вас, это тоже okay, in Ordnung, почему бы и нет? хотя он сомневается, что из простого любопытства можно взять на себя тяготы недельного молчания, сиденья. Но кто-то, может быть, хочет попробовать, получить новые впечатления, изведать неведомое, посмотреть, подходит ли ему этот путь. И это хорошо, и это in Ordnung. Как говорил великий Ямада-роси, десяти процентов искренности для дзена совершенно достаточно...

Кинхин и прочие прелести

Передо мной лежит расписание этих дней, розданное всем участникам на отдельных листочках (мой, по счастью, у меня сохранился); вот оно, во всей его непреходящей красе. В 6.00 был подъем (довольно поздно по дзенским понятиям); в 6.30 — первый дза-дзен (два раза по двадцать пять минут); в 7.45 — завтрак (прекраснейшее мгновение дня); в 8.15 — *саму*, работа в медитативной сосредоточенности, в моем случае мытье деревянной, скрипучей и за себя саму загибавшейся лестницы (никакая медитативная сосредоточенность не помешала мне на третий или на четвертый день на этой лестнице оступиться, ударившись, и очень сильно ударившись, о ближайшую ступеньку коленом, что еще добавило мне очаровательных ощущений); в 9.30 — дза-дзен; в 10.05 — *тей-сё*, небольшая проповедь, которую читал Боб, как правило, бравший за основу какой-нибудь дзенский текст, например старейший дзенский текст из всех, какие есть, написанный Третьим патриархом, Сэнь-цянем (по-японски Сосаном, ничего не могу поделатъ), — текст, называемый «Синь-дзин-мин» (что иногда переводят как «Печать верую-

Алексей Макушинский

щего ума», иногда как «Слова доверия сердцу», иногда еще как-нибудь) и начинающийся важнейшими для постижения сути вещей и природы Будды, как утверждал в своих тей-сё Боб, словами о том, что Высший Путь (дао) совсем нетруден, надо только (как переводят одни) отказаться от выбора или (как переводят другие) избегать предпочтений; в 10.50 снова дза-дзен (два раза по двадцать пять минут с так называемым кинхином в промежутке — чудесной процедурой, при которой адепты идут друг за дружкой, сложив перед собой руки, очень медленно, ступая сперва на пятку, потом на носок и стараясь всей ступнею ощутить каждый шаг свой, продолжая при этом считать выдохи или бороться с коаном, что бы сие ни значило; в хорошую погоду медитирующей гусеницей выходили мы, случалось, во двор, обходили вокруг дома, снова вползали в дом; поднимая голову, я видел над дальним лесом сверкавшие облака и распаханное, чудно пахнущее землю черное поле, начинавшееся сразу за хутором; видел, бывало, и трактор на этом поле, тракториста в треугольной крестьянской шапочке — и тогда уже не мог удержаться, начинал воображать себе, как *он* видит всю сцену, что себе говорит — *во, поглядите-ка, опять пошли эти психи*; — большого труда мне стоило не свалиться на землю от хохота); наконец, в 12.00 — обед; обед, как правило, замечательный, чисто вегетарианский, приготовляемый некоей Аникой, отраднотолстенькой, как поварихе оно и положено, девушкой, привезшей на нижнебаварский хутор из (она мне потом рассказывала) путешествий по Таиланду, Индии, Камбодже и прочим сказочным странам немалый набор экзотических рецептов, которые она и испробовала на безмолвных и благодарных искателях истины, с нескрываемым наслаждением и честно заработанным аппетитом поедавших ее супы с мандарином и миндалем, ее шпинат с кусочками брынзы; в 13.45 — чай или кофе; в

14.15 — дза-дзен (три раза по двадцать пять минут, с кинхином в промежутках); затем перерыв; затем, в 16.25 — еще два раза по двадцать пять минут дза-дзена с кинхином; в 17.30 — совместное (вслух и с завываниями) чтение сутры, всякий раз, если память меня не подводит, все той же так называемой «Сутры сердца», «Праджняпарамита хридая сутры», главнейшего, как утверждают знатоки этого дела и, от себя добавлю, парадоксальнейшего текста в буддизме Махаяны (сообщающего всем, кто желает слушать, что форма — это пустота и пустота — это форма, и нет никакой разницы между ними, и нет материи, нет чувств, нет обоняемого, осязаемого, зримого, слышимого, нет заблуждения и нет прекращения оно, нет старости и нет смерти, нет избавления от старости и от смерти, нет страдания, нет причины страдания, нет пути, нет познания, нет достижения...); в 18.00 — новое наслаждение Аникиными гастрономическими изысками, официально ужин; еще два раза дза-дзен, опять кинхин в промежутке; наконец, в 9.00 — отбой, после которого еще мог быть дза-дзен добровольный, на что уже не было у меня ни сил, ни желания (так это все было мучительно, так болели ноги и поясница; велико же было мое удивление, когда в конце сессии выяснилось, что почти у всех прочих и силы, и желание были, что один волосатый парень еще до двенадцати, другая тетка, из несгибаемых, чуть не до двух часов ночи просиживала в дзен-до, всего четыре часа, как в суровых японских монастырях оно и принято, оставляя на сон).

Идиосинкразия интеллигенции

Докусан есть тайное ежедневное собеседование учителя с учеником. Учеником Бобовым (в патетическом смысле) я так и не сделался, но на докусан ходил, как и все остальные, отрываясь от дза-дзена, на второй этаж по вымытой мною

Алексей Макушинский

же лестнице. Нужно было ждать возле книжных полок, с их собраниями сутр, сочинениями Судзуки первого и второго, корягами и камнями (которые брал я в руки, согревал в руках, рассматривая их кварцевые вкрапления, базальтовые прожилки), покуда не послышится из-за двери тихий и какой-то неуверенный звон Бобова колокольчика; тогда нужно было войти в докусановую комнату, поклониться Бобу, сидевшему на небольшом возвышении, опуститься на колени и опустить попку на пятки (традиционная японская поза, на мой вкус неудобнейшая), потом сложить руки перед собою традиционным, опять же, образом, с прижатыми друг к другу ладонями — так называемое гассё, — опять поклониться и произнести, всякий раз один и тот же бессмысленный текст: я — Алексей, я считаю дыхание, I am Alexei, I count my breath. А то он не знал, что я — Alexei и что I count my breath? Но это все равно нужно было повторять всякий раз, каждый день. И после этого нам уже нечего было сказать друг другу; Боб сидел на своем возвышении, как бы на невысокой эстраде, в том же вязаном свитере, тех же неджинсовых брюках, глядя на меня спокойно-сияющими глазами; такой же Боб, каким я только что видел его в столовой за поеданием вегетарианских Аникиных яств, или на кухне, где вместе со всеми он мыл иногда посуду; ничего торжественного не было во всей процедуре. Наверное, если бы я уже перешел от простого счета выдохов к решению коана (что бы сие ни значило), нам было бы о чем говорить; я бы предлагал ему свой ответ, он бы его отвергал, звонил бы в свой колокольчик — и я бы отправлялся, в отчаянии, обратно в дзендо. Но Боб не задавал мне никакого коана, и на мою однажды высказанную робкую просьбу задать мне какой-нибудь — о собаке и «природе Будды», к примеру, каковой природой она, собака, по словам Джао-джоу, нет — му! — не обладает, вопреки всем принципам и всем учениям буддизма, — ответил,

сияя глазами, с застенчивой и даже извиняющейся улыбкой, что все-таки нет — по! му! — лучше будет, если я просто продолжу считать свои выдохи, от одного до десяти, и так далее; поэтому докусан наш сводился к краткой беседе, почти даже светской, о том, как я оказался в Германии, и что делаю в жизни, и как себя чувствую здесь, на буддистском хуторе, в дзенском уединении. А я себя чувствовал, случалось, довольно скверно. Ноги и спина болели чудовищно; болели, немели; иногда и не встать было на ноги. Уже все ходили по кругу в комическом кинхине, а я все не мог подняться с подушки, все растирал ладонями пальцы и пятки. Пару раз я едва не грохнулся на пол. Никто не поддержал меня, не обратил на это внимания. Мне их внимание и не нужно было; но всегда противна телесная близость в сочетании с душевной далью. А тут близость была большая, коридорчики тесные. В шесть утра был ужас общей ванной, толкотня голых мужиков перед душевыми кабинками, напоминавшая о казарме, бане, бассейне, больнице — обо всех тех местах, которых избегал я целую жизнь, продолжаю избегать до сих пор. Еще глаза слипались, а надо было быстро-быстро принять этот душ, протолкнувшись в кабинку, почистить зубы, отодвинув от раковины соперника, чтобы в шесть тридцать уже сидеть на своей подушке в дзен-до, лицом к белой стене в пупырышках и подтеках масляной краски, которые (подтеки, пупырышки) я на второй день знал уже наизусть; в шесть тридцать и натошак смотреть на них не хотелось; еще меньше хотелось слушать невольные звуки, издаваемые сидящими рядом. Потому что урчали животы у них, в шесть тридцать и натошак, в деревенской, дзенской, целомудренной тишине; урчали, иногда мне казалось, у них у всех сразу, и в особенности у той несгибаемой спортивной тетки, которая до двух ночи просиживала в дзен-до; так громко, то в унисон, то перебивая

Алексей Макушинский

друг друга, урчали у них вождевшие завтрака животы, что все это чем дальше, тем решительнее напоминало концерт лягушек в каком-нибудь поганом пруду, подернутом ядовитой ярко-зеленою ряскою, и я видел внутренним взором этот пруд, эту ряску и тину, чувствуя, что сейчас станет мне дурно и что я сам до завтрака не досижу. Все это можно было вынести, но радости это доставляло немного. Я ведь в каком-то смысле типичный русский интеллигент, сказал я однажды Бобу, а русский интеллигент всегда находится в оппозиции к окружающему — это его основное, неотменимое свойство. Поэтому мне трудно не сопротивляться всему этому: этим людям здесь, всем этим правилам. Я здесь добровольно, я стараюсь я изо всех сил. А все-таки я вынужден преодолевать свое сопротивление, свое несогласие. А уж урчащие животы по утрам раздражают меня бесконечно... Вряд ли Боб разбирался в идиосинкрзиях русской интеллигенции; попытка иронии тоже, наверное, от него ускользнула. Я очень боялся услышать в ответ какую-нибудь человеколюбивую банальность: эти люди здесь тоже, мол, люди, ничем не хуже тебя, а потому и нечего на них раздражаться, и вообще кто ты такой, русский интеллигент, чтобы раздражаться на кого бы то ни было? Ничего подобного я не услышал. Знаешь, сказал он, ты здесь для того, чтобы решать свои проблемы. И каждый, кто здесь находится, решает свои. Им нет дела до тебя, тебе нет дела до них. Так что не обращай ни на кого внимания. Если они тебе действуют на нервы, пойди погулять в лес.

Свободные сосны

Что я и делал. И как русский интеллигент, презирующий правила, иногда звонил оттуда по мобильному телефону своей тогдашней подруге, звонил маме, уже довольно сильно болевшей, так что я и не мог бы прожить неделю, не узнав,

как она себя чувствует, звонил еще кому-нибудь из эйхштетских, мюнхенских и регенбургских друзей, нарушая недельный обет молчания; для того, в сущности, и звонил, чтобы этот обет нарушить. Обеты, как и запреты, я думал, существуют для того, чтобы нарушать их. То ли дело обеды и завтраки... А между тем оно сгущалось и углублялось во мне, это молчание; из молчания внешнего становилось молчанием внутренним; иногда и вправду молча, ни к какому воображаемому собеседнику не обращаясь, никаких случайных слов не произнося про себя и случайных мыслей не думая, шел я в те короткие перерывы между дза-дзеном, которые оставались мне для прогулки, по весенней, скользкой, грязно-хлюпкой или уже подсохшей на солнце, со следами тракторных гусениц и отчетливыми колеями дороге, по косогору вдоль поля, утыканного сухими, серо-желтыми, низко срезанными стеблями прошлогодней горчицы, там и тут проступавшими из-под вычерченных по разным лекалам пятен круписто-бурого снега, — и дальше, через чащобу, с тоже прошлогодними, прелыми, по утрам еще схваченными морозом листьями, с высоким серым кустарником, к свободным соснам, уже на опушке, разбросавшим по земле рыжие иглы, к открывавшемуся за этими соснами иссиня-черному, распаханному и распаханному простору, стремящемуся свалиться за горизонт, с едва намеченной, уже облачной, недосыгаемой и совсем синей рощей по левому его краю; так и в таком, во мне сгущавшемся, а в то же время прозрачном молчании шел и смотрел на эти иглы, этот серый кустарник с двумя, нет, тремя продолговатыми красными ягодами, непонятно как пережившими зиму, ни одной голодной птицей не съеденными, эти сосны с их розовой и нежной корою, их ветками, веточками, это поле и небо — как если бы все это тоже было — молчанием, ландшафтом молчания, который узнавал я все лучше,

Алексей Макушинский

изучал все подробнее. У меня было ровно двадцать восемь — не двадцать семь и не двадцать девять — минут, чтобы дойти до леса, посмотреть на свободные сосны. Мне приходилось, посмотрев на сосны, смотреть на часы; у меня не было чувства или только изредка бывало чувство, что я тороплюсь; просто каждая из отпущенных мне двадцати восьми (не семи, не девяти) минут обретала ценность, не свойственную обычным минутам, заранее не сосчитанным; времени было много, сколько угодно; в своем и моем молчании оно двигалось не вперед, как время, увы, имеет обыкновение двигаться, но вглубь, открывая там, в глубине, внутри уже отмеренного отрезка все новые перспективы, ходы, выходы и тропинки, подобно тому, как я сам открывал все новые подробности в ландшафте молчания (что, впрочем и разумеется, не мешало мне звонить из леса по мобильному телефону, мечтать об обеде и думать о том, чем же Аника попотчует нас на ужин: немногие и невинные развлечения, доступные пустыннонику, постнику, столпнику).

Машкин Верх, Монблан мисочек

Столпники и трапезничали в молчании. В нем же мыли они посуду (как другие моют посуду в фартуке); процедура незабываемая. Была очередь, кто моет сегодня, кто завтра; посуды же после обеда из по крайней мере четырех блюд, съеденного пятнадцатю прожорливыми аскетами, было всякий раз непобедимое множество: Эверест тарелок, Монблан мисочек, растущий у раковины. Мы привыкли за жизнь произносить бессмысленные слова (дай мне вон ту чашку; возьми полотенце; а вот эту кастрюльку плохо, братец, помыл ты...); вдруг выяснилось, что можно не произносить бес-

смысленных слов, не произносить никаких; что все понятно и так и что достаточно взять полотенце, встать возле раковины, где домывает тарелки плотный дядька с брюсовскою бородкой (бородка, да и весь дядька казались до смешного русскими, замоскворецкими; при том, что дядька был чистейший немец, как впоследствии выяснилось, даже немец северный, прикативший на нижнебаварский хутор через всю страну, из самого Киля) — и дядька сам сообразит, что надо передать тебе в руки, в твоё понемногу намокающее полотенце сперва одну, потом другую тарелку, извлеченную из воды, в которой полоскал он их все (по ужасной для русского человека привычке полоскать посуду не под струящейся из крана водою, а просто в раковине, где понемногу становится все больше пены и мыла; немец вообще не брезглив), а зеленоглазая и всегда облаченная в зеленую кофточку участница процедуры, с лицом уже чисто славянским, без всяких татарских примесей (она и вправду оказалась полькой, Иреной, единственной, с кем я дружу до сих пор), как раз покончившая с распределением стаканов по полочкам, сообразит, в свою очередь, что надо взять сухие тарелки, составленные тобою на столе возле раковины, отнести их в шкаф, закрыть дверцы. Никто ни у кого не спрашивает, что ему делать, никто, главное, никем не командует, Монблан мисочек уменьшается со сказочной быстротой. Конечно, вспоминал я всякое разное, вспоминал читанную когда-то, в прошлой жизни и в Библиотеке иностранной литературы, фразу Алена Воттса (Ваттса, Уотса, как кому нравится), гласящую, что «дзенская духовность» (Zen spirituality) вовсе не в том состоит, чтобы думать о Боге, когда ты чистишь картошку, а просто в том, чтобы чистить эту картошку; вспоминал даосское понятие не-деяния; слова Лао-цзы о том, что дао ничего не делает, но и ничего не оставляет несделанным; вспоминал и бессмерт-

Алексей Макушинский

ную сцену косьбы в «Анне Карениной», когда работающий с мужиками, по барской прихоти, Левин, поначалу отнюдь не уверенный, что вообще справится с тяжелым мужицким трудом, под косыми крестьянскими взглядами вдруг забывает то, что он делает, и тогда ему становится легко и все получается само собою: коса сама собой режет, и не просто сама собой режет, но, как пишет Л.Н.Т. (главный даос русской литературы), двигает за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и ряд, скошенный Левиным, выходит так же, или почти так же, хорош, как у привычного к косьбе мужика с эпическим именем Тит, вслед за которым идет наш герой, срезая сочные травы, и вообще все удается, так что и какой-то крутой Машкин Верх, уже под вечер, одолевают раззадорившиеся косцы, подгоняемые, впрочем, обещанием водки от барина. Мытье посуды на хуторе в Нижней Баварии — дело не столь тяжелое и уж точно менее поэтическое, чем совместная косьба взыскующего истины помещика с только что освободившимися от крепостной неволи и тяготы мужиками, — а все же и я, улыбаясь сравнениям, окруженный реминисценциями, чувствовал, что (по словам Толстого, главного в русской литературе даоса) какая-то внешняя сила мной двигает, двигает и моими со-мойщиками, со-вытиральщиками, сила бóльшая, чем простая сумма всех наших сил и усилий, как если бы (думал я) не только мы четверо или мы пятеро — зеленокофточная Ирена, и дядька с брусовскою бородкой, и другие, забытые мною борцы за гигиену и чистоту — покоряли этот Эверест тарелок и мисочек в медитативном молчании, но как если бы еще кто-то их мыл и вытирал вместе с нами — летучебородые, похожие друг на друга, Лао-цзы и Л.Н.Т., и мушкетерскобородый Алэн (Алан) Ваттс (Уотс, Вотт), каким я видел его в книгах и в Интернете, и еще не поседевший Левин, и даже мужик Тит, точивший ле-

винскую косу, и старик, угощавший его своей тюркой, — так что все (в последний раз упоминаемые на этих правдивых страницах) тарелки, миски и чашки почти без наших усилий, но сами собою, волшебным образом, оказывались вымыты, вытерты и расставлены, и у меня еще оставалось время, чтобы перед очередным дза-дзеном выйти на улицу, вернее во двор, где в огромную ржавую бочку с водой падали, стекая по желобу, величественные, изумрудные капли.

Этость и таковость

Высший путь не труден, нужно только отказаться от выбора, говорит Сэнь-цзянь, третий дзенский патриарх, дхармический внук Бодхидхармы, дхармический прадед Хуэй-нэня, любимого нашего, в своем «Синь-дзин-мин», самом раннем дзен-буддистском тексте из всех нам известных. Не надо любить, не надо ненавидеть, тогда все будет ясно и прозрачно... Без этих слов редко обходился, или так мне помнится, Боб в своих тей-сё, ежеутренних поучениях и проповедях. Всегда медлил он, прежде чем начать говорить. Я сидел на своей подушке (да и все сидели на своих подушках, наверное) с уже почти привычным, но все равно чудесным чувством, что мы никуда не спешим, что на тей-сё отпущено по программе сорок пять минут (10.05—10.50), но внутри этих сорока пяти минут у нас времени неисчерпаемо много, время идет не вперед, но вглубь, или вообще никуда не идет, и Боб может сколько угодно ему молчать, не очень даже и важно, начнет ли он говорить. Если не начнет, это будет тей-сё бессловесное, какая разница, слова все равно случайны... Он сидел неподвижно, в полном лотосе, излучая молчание, в то же время и всем своим видом показывая, как это просто. Просто сидишь, никуда не торопишься. Ничего особенного, самое обычное дело. Высший путь не труден, нужно только от выбора от-

Алексей Макушинский

казаться. Забыть о любви и ненависти, тогда все будет прозрачно и ясно. Но как забыть о них? спрашивал Боб (со своих снежных вершин, из глубины своего молчания). Нам что-то нравится, а что-то не нравится; мы говорим: вот это хорошо, а это не очень хорошо, а это совсем уже плохо. Что бы ни случилось с нами, что бы ни встретилось нам, мы тут как тут с нашими оценками и суждениями. Поэтому мы всегда несчастны. Всегда несчастны, всегда недовольны. Мы несчастны, потому что мы сравниваем. Мы сравниваем что-то одно с чем-то другим; или сравниваем (улыбаясь и сияя глазами говорил Боб) то, что есть, с тем, что (по нашему мнению) должно быть. И, конечно, то, что есть, не выдерживает сравнения с тем, что должно быть. Поэтому всегда все *не так*. Всегда все как-то *не так*. И плохое *не так*, и даже хорошее как-то *не так*, не совсем *так*, не такое хорошее, каким оно должно быть, или могло бы быть, или должно было бы (по нашему мнению) быть. А на самом деле все именно *так*, все просто *есть*, оно не хорошее и не плохое, а просто есть: вот, говорил Боб, протягивая к слушателям руки ладонями кверху, как если бы он держал в них что-то ценное, хрупкое, круглое. Нет ничего на свете, что было бы само по себе плохо или само по себе хорошо. Что значит само по себе? Само по себе значит именно само по себе. Не в сравнении с чем-то другим, а именно само по себе. Сегодня плохая погода, а вчера была хорошая, сегодня у меня удачный дза-дзен, вчера был неудачный, сегодня у меня ноги болят сильнее, чем болели два дня назад, но не так сильно, как болели в прошлый четверг. Все это правда. В сравнении со вчерашней погодой сегодняшняя погода плохая, в сравнении со вчерашним дза-дзеном сегодняшней дза-дзен замечательный. Но сама по себе сегодняшняя погода не плохая и не хорошая, она просто есть и просто такова, какова она есть. Высший Путь не труден, го-

ворит Сэнь-цзянь, надо только отказаться от выбора. Отказаться от выбора — значит отказаться от оценки, отказаться от оценки — значит отказаться от сравнения. Есть абсолютный и есть относительный аспект вещей. В относительном аспекте все всегда лучше, хуже, приятней или неприятней, удачней, неудачней, всегда нравится нам или нет, доставляет нам удовольствие или причиняет нам боль, приносит радость или приносит горе. В абсолютном аспекте нет ни хорошего, ни плохого, ни радостного, ни горестного, но есть только то, что есть, просто это, вот *это*, говорил Боб, вновь показывая свои раскрытые ладони, сразу обе, с чем-то, пускай незримым, но очень ценным, очень хрупким и круглым в них, вот *это* в его *этости*, *its itness*, его *таковости*, *its suchness*, говорил Боб, нежно-снежной улыбкой беря в кавычки искусственные слова. Конечно, мы все предпочитаем хорошее. Мы хотим быть здоровыми, и чтобы те, кого мы любим, были здоровы, чтобы все было у них прекрасно, превосходно, отменно, отлично, и это само по себе хорошо, что мы хотим хорошего — для человека естественно желать блага себе и своим ближним, поэтому он, Боб, должен предостеречь присутствующих от изуверства и истязательства, от вериг, гвоздей и бичеваний. Мы живем одновременно в мире, где есть выбор, и в мире, где нет никакого выбора, где все всегда не хорошо и не плохо, а просто есть в своей таковости. В мире, где есть выбор, выбирайте хорошее, говорил Боб со своей сияющей и снежной улыбкой. Хорошее для себя и уж тем более хорошее для тех, кого любите. Если у вас болен ребенок, вдруг опуская глаза, в сгустившейся тишине говорил Боб, то вы все для него сделаете, все сделаете, чтобы он выздоровел или по крайней мере, чтобы облегчить его страдания. А в то же время, в абсолютном аспекте вещей, есть только то, что есть, *вот это* в его таковости, его *этости*; и *это*, он скажет еще раз,

Алексей Макушинский

не хорошо и не плохо, а просто есть и потому хорошо. Оно хорошо не как противоположность чему-то плохому, а само по себе. Что значит хорошо? Хорошо — значит совершенно. Все совершенно просто потому, что оно таково, каково оно есть. Все обладает природой Будды, любая собака. Когда мы сравниваем, мы видим несовершенства. Но когда мы не сравниваем, не выбираем, тогда все правильно, все так, как должно быть. Даже болезнь, даже смерть. Смерть есть смерть, она сама по себе совершенна, говорил Боб. И болезнь есть болезнь. Болезнь — это плохо, когда мы ее сравниваем со здоровьем. Но сама по себе она есть просто болезнь, более ничего. Даже болезнь и смерть тех, кого мы любим, кто нам дорог, кого нам предстоит оплакивать всю нашу дальнейшую жизнь, говорил Боб в осязаемой тишине, даже и это просто есть или этого просто нет, что, в сущности, одно и то же. Да и наше горе, наша печаль, наши слезы, наше отчаяние — все это в абсолютном аспекте вещей и с дзен-буддистской точки зрения просто есть и более ничего. Откуда следует, что радость лучше горя? Радость — это радость, а горе — это горе, вот и все тут. Горе так же совершенно в своей *горестности* (its grievness) говорил Боб, как в своей *радостности* (its joyuness) совершенна радость, в своей *отчаянности* — отчаяние, в своей *счастливости* — счастье.

Siberia

Он слышал такую историю о японских пленных во время Второй мировой войны, где-то... где-то в Сибири, не совсем уверенно говорил Боб, ища меня глазами, я помню, как будто ожидая от меня подтверждения, что есть такое место на свете — Сибирь, — о японских военнопленных, с которыми, конечно, очень плохо обращались там, в этой Сибири, in this Siberia, которых, например, заставляли таскать какие-то осо-

бенно тяжелые бревна, на очень сильном морозе... в Siberia вообще холодно, как все вы знаете... и не просто таскать, но охранники, guards, заставляли их утром перетаскивать бревна с одного места на другое, через дорогу, а вечером тащить обратно; их, значит, мучили не только физически, но и морально, их пытались унижить, убить в них последние остатки достоинства. Ничто ведь так не унижает человека, как тяжелый и при этом бессмысленный физический труд. Одного не знали изобретательные охранники — что среди этих военнопленных был буддистский монах, даже не просто монах, а буддистский учитель, *роси*. И этот роси сказал им примерно то же, что я вам говорил сегодня, со смущенной улыбкой сообщил Боб, то есть сказал им, что есть относительный и есть абсолютный аспект вещей и событий и что в абсолютном аспекте, с точки зрения нашей Подлинной Природы, или Природы Будды, или Высшего Пути, дао, или как бы мы ни назвали это, наши действия и поступки не являются ни хорошими, ни плохими, ни приятными, ни неприятными, ни осмысленными, ни бессмысленными, но они просто таковы, каковы они есть, они всегда совершенны и правильны в своей таковости (*suchness*), своей этости (*itness*). А значит, и таскание бревен с одного места на другое не может ни унижить, ни морально сломить военнопленного, а надо просто таскать эти бревна, ни на что не отвлекаясь, без всякой внутренней оговорки, таскать их в полной сосредоточенности на том, что ты делаешь, на своем *здесь-и-сейчас*, в медитативном молчании, как если бы это было главное дело всей твоей жизни. А ведь речь для них и шла о жизни и смерти. И как нетрудно догадаться, их довольно скоро избавили от этой работы. Они стали так ее делать, как будто она доставляла им удовольствие, да она и вправду, может быть, доставляла им теперь удовольствие; а доставлять удовольствие японским военно-

Алексей Макушинский

пленным совсем не входило в задачи их сибирских охранников, Siberian guards. Он не знает, было так или нет, говорил Боб, он никогда не был ни в плену, ни на войне, ни в тюрьме, но что он твердо знает и в чем много раз убеждался, так это в том, что даже самая неприятная, тяжелая, грязная, утомительная работа — мытье туалетов или заполнение налоговой декларации, — а второе, как всем нам хорошо известно (к молчаливому восторгу дзенских адептов объявил Боб), гораздо противнее первого, — любая такая работа перестает быть тяжелой, грязной и утомительной, если делать ее, забыв о себе, о своем маленьком я, всегда кричащем: *не хочу, не могу, ненавижу, хочу гулять, хочу смотреть телевизор...*

Сэнь-цзянь и Чжао-чжоу

Сейчас вы зададите мне дзенский вопрос, говорил Боб, окатывая нас сиянием своих глаз (хотя никто не собирался задавать ему и не решился бы задать ему никакого дзенского вопроса), сейчас вы зададите мне классически каверзный дзенский вопрос (продолжал Боб настаивать): где же разница между тем и другим, между относительным и абсолютным, есть ли вообще эта разница? Ведь пустота есть форма и форма есть пустота, говорит «Сутра сердца». Пустота есть форма, форма есть пустота, нирвана есть сансара, и сансара есть нирвана. Нет и не может быть никакого такого абсолютного аспекта вещей, оторванного от их относительного аспекта. Различие в нашем восприятии, в нашем видении, вот и все тут. Когда мы погружены в сансару, в дукку, в беспокойную неудовлетворенность, вовлечены в нее и потеряны в ней, мы видим только относительное, хорошее и плохое, приятное и противное. Но стоит нам хоть чуть-чуть отстраниться и успокоиться, сосчитать до десяти свои выдохи и сосредоточиться на Пустоте, как тут же понимаем мы, что все правильно, что

это лишь наше маленькое иллюзорное я страдает и сравнивает, сравнивает, потому и страдает. Одной случайной мысли достаточно, чтобы превратить нас в обыкновенных людей, говорит Шестой патриарх, но и одной просветленной мысли довольно, чтобы из обыкновенного человека сделать Будду. Абсолютный мир не где-то там, за облаками, но это все тот же мир, в котором мы живем, вот это дзен-до, эти подушки, эти болящие ноги, это *сейчас*. Мы не соглашаемся с этим; мы хотим, чтобы такой абсолютный мир — где-то там — был; чтобы существовало — а мы бы к нему стремились — абсолютное состояние ума, в котором уже нет ничего случайного, никаких посторонних мыслей, только чистое небо самадхи... Это напоминает ему второй коан в «Гекиганроку», по-китайски «Би Янь лу», говорил Боб, очень важный коан, не случайно идет он сразу после первого, того самого, где Бодхидхарма сообщает изумленному императору, что есть лишь открытый простор, ничего святого, и что он сам, Бодхидхарма, не знает, кто он такой. В этом втором коане появляется в первый раз Чжао-чжоу (Дзёсю), всем вам памятный своим знаменитым *му!* своим *нет, не имеет*, говорил Боб с неожиданно-иронической, но по-прежнему светлой улыбкой (из которой мог заключить я, что среди молчавших и слушавших немало было таких, кто — уже годами, быть может, — мучился этим *му!*..); Чжао-чжоу, который много раз появляется и в «Мумонкане», и в «Гекиганроку», и появляясь, часто и охотно цитирует слова Сэнь-цяня о выборе и отказе от выбора. Мы здесь видим уже старого Чжао-чжоу, говорил Боб, показывая рукою куда-то в сторону узкого окошка, как будто предлагая присутствующим увидеть этого старого Чжао-чжоу, появившегося среди нас, возле окошка в углу. Все посмотрели; никого не увидели. Высший путь не труден, обращаясь к собранию монахов, провозглашает учитель, надо лишь от

Алексей Макушинский

выбора отказаться. А стоит заговорить об этом, так сразу с одной стороны — выбор, с другой — безоблачная ясность. Этот старый монах, говорит о себе Чжао-чжоу, в безоблачной ясности вовсе не пребывает, но вы-то о ней заботитесь, ее храните и бережете, не так ли? На это один из учеников отвечает вопросом: если вы, учитель, в безоблачной ясности не пребываете, то о чем тогда заботитесь? что храните и бережете? — Не знаю и этого, отвечает Чжао-чжоу. — Если не знаете, спрашивает монах, то как можете утверждать, что не пребываете в безоблачной ясности? — Довольно вопросов, говорит Чжао-чжоу, сделай свой поклон и уходи... Боб засмеялся вдруг дробным, добрым, наивным смехом, словно сам впервые услышал этот ответ Чжао-чжоу, о котором не раз, наверное, говорил со своими легендарными японскими учителями. Этот старый монах в безоблачной ясности вовсе не пребывает... Звучит как самоуничижение, а на самом деле наоборот. Я-то понимаю, говорит Чжао-чжоу, что нет никакой безоблачной ясности, отдельной от выбора и страдания, что нет никакого абсолютного состояния ума без всяких случайных мыслей. Я это понимаю; а вы понимаете ли? Или все еще стремитесь к чистому небу без единого облачка? Он провоцирует своих монахов; один из них и поддается на провокацию. Если вы, учитель, в безоблачной ясности не пребываете, то о чем тогда заботитесь? что храните и бережете? То есть о чем вообще речь? Ради чего все это? Зачем вы здесь? и зачем мы все здесь? Это очень правильный, логичный и разумный вопрос. Ну в самом деле, зачем мы все здесь, если не ради безоблачной ясности, свободы и просветления? Что же отвечает ему Чжао-чжоу? Я не знаю, отвечает он. Ничего не знаю, не знаю и этого. Это надо представить себе, говорил Боб. Чжао-чжоу к тому времени уже очень старый, очень знаменитый и уважаемый учитель, окруженный множеством монахов. И он

отвечает: не знаю. Это страшный ответ, великолепный ответ. Это не менее страшный ответ, чем половая тряпка, или кипарис во дворе, или удар палкой, как, наверное, ударил бы монаха Линь-цзы. И это ответ Бодхидхармы. Вы все помните, что отвечает Бодхидхарма благочестивому, изумленному императору. Кто это стоит сейчас передо мной? — Я не знаю. Так и Чжао-чжоу отвечает: не знаю. Здесь разговор, в сущности, окончен, сказать уже нечего, здесь с монахом могло бы произойти сатори. Но сатори не происходит, разводя руками и как бы извиняясь за недотепу-монаха сообщил Боб, монах остается в маленьком мирке своих понятий и слов. Если не знаете, то как можете утверждать, что не пребываете в безоблачной ясности? Как вообще вы можете утверждать что бы то ни было? Тут уже Чжао-чжоу видит, что толку на этот раз не добьешься. Вопросы задавать ты мастер, говорит он монаху, а дело-то совсем не в вопросах. Поговорили — и будет. Что ж, и мы скажем: будет, поговорили.

Бирманская поза

Спустя вечность в Вейле-на-Рейне, посреди всех этих воспоминаний, побуждаемый и пробуждаемый ими, я сел, в конце концов, не зажигая света, на уже не бугристой, но, под занавес, скалистой и гористой кровати, на подушку, вовсе не для того предназначенную, в так называемую бирманскую позу; сложил руки в дзен-буддистскую мудру и потом уже до самого утра то ложился, то опять начинал сидеть в дза-дзене, не пытаюсь считать свои выдохи, но просто всматриваясь в прошедшее, раз уж оно решило вдруг ко мне возвратиться... Эта бирманская поза (голень одной ноги лежит параллельно другой, пятки смотрят, по возможности, вверх) — самая простая из еще приемлемых с дзенской точки зрения позаций; более продвинутые адепты предпочитают так называемую

Алексей Макушинский

мый полулотос (стопа одной ноги лежит на бедре другой); в полном лотосе (с обеими стопами на противоположных бедрах) — королевская дзенская посадка — сидел один Боб; в полном лотосе сидел потом Виктор.

Боль

Боль в ногах — вкус дзен-буддизма, говорил кто-то из великих учителей, не помню кто именно. Ты разглаживаешь руками мат, взбиваешь подушку и принимаешь уже привычное тебе положение; ты ждешь, еще окончательно не застыв, покачиваясь вправо и влево, чтобы ведущий (им каждый день был кто-нибудь другой; никогда не сам Боб) ударил деревянной битой по большой медной миске, стоящей от него справа; вот ударяет он — один раз, второй и третий; и звук этого третьего удара долго-долго, медленно-медленно замирает и вибрирует в воздухе, в сгустившейся, вдруг осязаемой тишине; и теперь ты вправду *сидишь*, не шевелясь, опустив, но не закрывая глаза; видишь перед собою кусок белой стены, в пупырышках и подтеках; в погожий день видишь квадратное солнечное пятно, повторяющее, затем искажающее, растягивающее форму деревенского узенького окошка; невольно следишь за его перемещениями по стене, по дощатому полу; иногда видишь в этом искаженном квадрате света тень дымка от ароматической палочки, воткнутой в песок возле бронзовой статуи ясноликого Будды (с сомкнутыми в кружочек указательным и большим пальцами правой ладони, поднятой к плечу, повернутой к изнывающим от боли аскетам). Боль приходит — вот она я! — как будто она ждала лишь случая, чтобы показать тебе, кто в твоём теле хозяин; под конец первой двадцатипятиминутки ты и сам уже только ждешь, уже ни о чем другом и думать не можешь, когда же кончится эта попытка, когда смилостивится и ударит ведущий или ведущая

(иногда Ирена, зеленоглазая полька, исполняла эту несложную роль) деревянной битой по медной миске и можно будет встать или попробовать встать на онемевшие ноги и пять минут походить в неизменно (с моей непросветленной точки зрения) комическом кинхине по кругу, но эти пять минут быстро заканчиваются, и все снова садятся на свои подушки, ты тоже, и ведущий снова ударяет по миске один раз, другой раз и третий, и звук третьего удара опять вибрирует в воздухе, и ты считаешь свои выдохи, смотришь в стену с подтеками белой краски, и ноги снова немеют и ноют, спина снова болит — а потом перестает вдруг болеть; вдруг замечаешь ты, что не только не ждешь конца, но боишься, не наступит ли он слишком скоро, что хочешь только сидеть и сидеть так, считая свои выдохи, никакой боли не чувствуя, что мог бы всю жизнь просидеть так, в этой неподвижности, этом покое, с этим чувством свободы, и что время опять идет не вперед, но вглубь, по своим, впервые открывающимся тропинкам, что все совершенно, хорошо и прекрасно в своей таковости, своей эстости, что ты сам, в своей бирманской позе, совершенен, хорош и прекрасен, что ты сидишь правильно, прямо, между землей и небом, один в вечности, Будда, и когда ведущий ударяет в очередной раз, через двадцать пять бесконечных, но все же слишком скорых минут, своей битой по миске, встаешь с сожалением, со вздохом; и только вставая, вновь чувствуешь, как страшно онемели ноги, как чудовищно ноет спина.

Удар палкой

Иногда Боб ходил по кругу, за спинами у сидящих, с деревянной плоской палкой (*киосаку*) в руке. Он не бил этой палкой кого и куда ни попадая, как это (читал я) бывает в некоторых (риндзайских) монастырях, но останавливался у тебя за

Алексей Макушинский

спиной в ожидании, что ты сделаешь традиционный поклон со сложенными перед грудью — ладонь к ладони — руками; если ты делал его (а я всегда делал), тогда, еще подождав, чтобы ты распрявился, он примеривался, легким касанием намечал место, куда бить, и затем наносил резкий, короткий, с быстрым присвистом, удар по левому, затем, вновь примерившись, по правому плечу палкой, примерно там, где заканчивается ключица, чуть ближе к шее, удар, причинявший мгновенную, блаженную боль. Я пробуждался от этой боли. Я не спал, быть может, и раньше. Но все-таки я пробуждался — не ото сна, а от предыдущего бодрствования, теперь казавшегося дремотным и вялым. Таким сильным было это чувство пробуждения, что восторг меня вдруг охватывал. Один в вечности, Будда... Я знал, что дело не в этом восторге, что и он пройдет, как проходят все чувства, все мысли. Они и должны пройти во мне, прейти во мне, как облака по небу, как волны и рябь по воде, как отражения и отблески по поверхности того зеркала, которое оттирал я от пыли. Неважно, есть они или нет; пускай набегают эти волны, пускай тают эти легкие облака; важно не терять связи с тем, что за ними, под ними, с этой чистотой, пустотой, этим зеркалом, небом и океаном. Они проходили, они появлялись вновь. В этом глубоком покое мысли, ко мне приходившие, казались необыкновенными, важными, очень значительными. Каждая была как отдельное, белоснежное, скульптурное облако, во всех завитках и подробностях освещенное солнцем. Они не наплывали друг на друга, не сливались друг с другом. Я повелевал ими, я мог ускорить, замедлить их течение, их движение по небу. Мог отказаться от них от всех, оставить только небо, синеву, чистоту. Опьянение трезвостью, вакханалия ясности... Я был, наконец, свободен. Долго это не длилось. Появлялось одно облачко, другое и третье, каждое само по

себе. Наши лучшие мысли приходят к нам не тогда, когда мы их призываем, а совсем наоборот — когда мы их не ждем, не зовем, когда мы говорим им: не приходите, когда пытаемся сосредоточиться на том, что за ними, на океане и зеркале. Вот тогда-то они и приходят к нам, по своей, не по нашей воле, вопреки нам самим. Мы по-настоящему начинаем мыслить, когда мыслить перестаем (думал я; и эта мысль тоже казалась необыкновенной, скульптурно-солнечной, очень важной). Чтобы начать мыслить, надо перестать мыслить (я думал). Мы боимся перестать мыслить, отпустить свои мысли. Мы боимся превратиться в чурбан (думал я — и смеялся; вдруг видел — большой, весь в зарубках от топора, с облезающей корою чурбан, на даче где-нибудь, вечность назад; слышал запах дерева и опилок; видел, как по своим делам, по опилкам бегут куда-то рыжие милые муравьишки). Я вправду бывал очень счастлив: сквозь боль в ногах, на черной подушке. Мы не превратимся в чурбан, если отпустим наши мысли (я думал). Да это и не наши мысли (думал я далее). Это не мы мыслим, но это мыслит наша дукха, наше вечное недовольство, наша тревога, наши заботы, наши несбывшиеся надежды, неисполненные желания, утраченные или еще не совсем утраченные иллюзии, наше плохое или хорошее настроение, наша мигрень, наша боль в ногах, наше несварение желудка, наши мечты о любви, наша усталость, наша печаль и наше отчаяние. Когда все они, наконец, заткнутся, тогда мы сможем заговорить. Тогда наше внутреннее, наше подлинное я выходит на сцену. Значит, обычное я неподлинное? Значит, это лишь темный деспот с его вечно волящей волей? его вечным недовольством и всегдашней тревогой? Но где разница? где проходит граница между одним и другим? как отличить одно от другого? как отделить меня настоящего от темного деспота, пожирающего меня? Может быть, и нет никакого друго-

Алексей Макушинский

го меня, кроме этого темного деспота, который умирает на утренней заре, едва лишь любовь пробуждается? Как же нет, вот я, вот я сижу здесь... Вот я сижу здесь, в бирманской позе, между землей и небом, один в мире и вечности, и дело не в моих мыслях, моих вопросах или моих сомнениях, но в том и только в том, что за ними, в этом безоблачном небе, этой сияющей пустоте. Вот она, вот я вновь ее вижу и чувствую, и все опять хорошо, все *так* в своей *таковости*, и я бы всю жизнь хотел сидеть на этой подушке, в этом дзен-до, вдыхать сандаловый запах и прислушиваться к шелесту веток за крошечными деревянными окнами, и где это читал я недавно, что истинный дзен-буддист должен *сидеть* всегда, что бы он ни делал, куда бы ни шел, чем бы ни занимался? Внутренне и в глубине души он должен *сидеть*, *сидеть* и *сидеть*, не расставаться с дза-дзеном, не выходить из самадхи...

Ирена

Ирена была (и остается) обладательницей очень зеленых, очень славянских, игриво-искренних глаз и зеленой кофточки (или многих кофточек, всегда и неизменно зеленых), которую (одну из которых) в холодном дзен-до надевала поверх дзенски черного джемпера; говорила она с мягким польским акцентом, при этом на классически правильном, даже каком-то гетевско-шиллеровском немецком; с середины восьмидесятых годов жила (и живет) во Франкфурте, служила (теперь не служит) диспетчером на аэродроме (что, как она потом мне рассказывала, оборачивалось в ее случае повторяющимся кошмаром, в котором не в ту сторону посланные ею самолеты сшибались, сгорали в воздухе, обезумевшими обломками падали на опаленную землю...). Когда сессия закончилась и стало можно опять говорить, мы, я помню, сидели с ней на диванчике в той небольшой комнате между прихо-

жею и столовой, где перед отъездом полагалось оставлять на столе деньги для Боба в стыдливом конверте, добровольную дань (по-японски и дзенски называемую — очередное магическое совпадение — *дана*) и где больше не происходило ничего, никогда. Нам хотелось уйти ото всех остальных, от буддистских адептов, сразу же, как только сессин закончился и обет молчания был снят, пустившихся выбалтывать ту энергию, которая накопилась в них за неделю молчанья, сиденья, выплескивать ее, как использованную воду, в ничтожных — о погоде, о расписании поездов, об общих знакомых, которые на этот сессин не приехали, о причинах, по которым не приехали они, — разговорах; то, что еще получасом ранее было сосредоточением, углублением в себя, вдруг превратилось в подобие вечеринки, в *small-talk* с коктейлем в руке, хотя никаких коктейлей никто, конечно, не пил, а пили чай, или воду, или (по немецкой привычке наливать разные жидкости в одну емкость) воду, смешанную с апельсиновым соком, или яблочным соком: как если бы (я подумал) все эти или почти все эти люди, только что погибавшие от боли в ногах, в борьбе со своими коанами или со своей пустотой, надели другие маски, другие личины; или лучше, как если бы за кулисами их внутренней драмы всю эту неделю дожидались, томились другие, довольно обычные, личности, другие, непритязательные актеры, вот, получившие, наконец, шанс и возможность проявить себя во всей своей светской красе... Дядька с брюсовскою бородкой, прикативший на хутор с самого севера, оказался начинающим массажистом — в его возрасте смешно уже быть начинающим, сообщал он всем, кто желал его слушать, и он, дядька с бородкой, до последнего времени занимался совсем другим, работал в какой-то кильской конторе, чуть ли не государственной, в городской службе по охране окружающей среды, если не прямо в службе по обеспечению

Алексей Макушинский

работой всех, кто хочет, и даже тех, кто не хочет трудиться (Umweltamt, Arbeitsamt...), но опротивело ему все это: службу бросил он, с благополучным бытием немецкого чиновника и с обеспеченной старостью распростился, занялся дзен-буддизмом, а поскольку жить ведь надо на что-то, то прошел и курсы массажистов, недавно закончил их, вот, перед началом нового этапа жизни решил сделать сессин, прикатил в Баварию, для него страну экзотическую, невиданную доселе. Не только закончил он массажистские курсы, сообщал брюсовобородый дядька всем прочим буддистам (вовсе слушать его не стремившимся), но и привез с собою из Киля, в своем дряхлом, но вместительном «Пассате» раскладной массажный стол и намерен теперь подарить — он так и выразился и с восторгом повторил выражение: подарить — массаж тому, кто этого пожелает, а он думает, что все пожелают, то есть он даже и представить себе не может, чтобы отказался кто-нибудь от такого подарка после всех испытаний, которым за семь дней подвергли буддисты нервы и мышцы своих страдальческих спин. Никто не спешил, однако, принять его царский подарок; на волю выпущенные светские персонажи предпочитали стояние с соком в руке, болтовню про общих знакомых; кто-то, наконец, согласился.

Сепп Мейер, Ганс Мюллер

С Иреной, и это я помню, говорили мы, сидя на диванчике в проходной комнате, о японских военнопленных, о которых на одном из своих тей-сё рассказывал Боб, которых заставляли таскать бревна утром туда, вечером через дорогу обратно. Мы одни только и понимали, наверное, что такое Сибирь, лагерь, вышка, вохра и шмон, в отличие от прочих искателей покоя, искательниц истины, имевших об этих материях представления завидно расплывчатые. Но никто из нас не знает,

как он сам повел бы себя тогда и там, на том морозе, под окрики той вохры с собаками, говорила мне (с мягким польским акцентом, на классическом немецком) Ирена; никто не может за себя поручиться. Это были, верно, еще очень свежие военнопленные, не съеденные Гулагом, не доходяги. Потому что, будь они доходяги, уже все равно им было бы, есть какой-то смысл в их бревнах или нет никакого. А с другой стороны, говорила Ирена (обнаруживая познания, которых я все же не предполагал в ней), разве не рассказывает нам Солженицын, что его Иван Денисович тоже, в конце концов, с удовольствием, едва ли не с упоением строил какую-то стену, укладывал какие-то шлакоблоки?.. Прошел, остановился, подумал, похоже, не подсесть ли к нам, тот старик, который, единственный из всех, сидел на стуле, с которым, единственным из всех, за эту бессловесную неделю сложились у меня некие не нуждавшиеся в словах отношения; передумал и не подсел; прошел Боб и тоже, я помню, поколебался, не посидеть ли ему вместе с нами; поколебавшись, прошел мимо, в уборную. Это замечательный старик, сообщила мне Ирена; он ни одного сессина не пропускает... А я и сам видел, что старик замечательный. Жалею до сих пор, что не довелось мне больше с ним встретиться, поговорить поподробнее, уж очень не похож он был на всех прочих, со своим обветренным крестьянским лицом. Он представился мне по старинке, по имени и фамилии, когда знакомились мы еще в день приезда, причем и то, и другое такими были трогательно-простецкими, анекдотически-обыкновенными (Сепп Мейер, Ганс Мюллер...), что я ухитрился с тех пор забыть их, к стыду своему (то ли Сепп Мюллер, то ли Ганс Мейер...), но обращались мы на ты друг к другу (как это вообще в Германии принято в замкнутых кружках и ферейнах); как и Боб, ходил он в серых сельских штанах с давно не утюженной складкою

Алексей Макушинский

(я думал, глядя на эти штаны, что он принадлежит, наверное, к тому последнему в Европе поколению простых людей, которые не надевали джинсы вообще никогда, то есть просто ни разу в жизни...) и в рубашке, тоже вполне крестьянской, фланелевой, всегда, как и у Боба, застегнутой на верхнюю пуговицу, да и вообще, по всему своему стилю и смыслу не сильно отличавшейся от Бобовой школярской ковбойки. Я таких стариков, с такими красными, обветренными, узкогубыми лицами, встречал еще в баварских сельских харчевнях, где пьют они свое пшеничное мутное пиво. Из такой харчевни он, казалось, прямо сюда и попал — или из сельской баварской церкви, в которую, думал я, на него глядячи, он, небось, ходил еще мальчиком петь в хоре и подавать рясу священнику, в которой теперь, спустя полстолетия, у него есть свое место, где-нибудь у колонны, никогда и ни при каких обстоятельствах не занимаемое односельчанами во время воскресной мессы... Он же и вправду попал сюда прямо из церкви, как сам рассказал мне по дороге на Ландсхут, куда мне посчастливилось подвезти его (я предложил ему, он сразу же согласился); то есть был простой баварский католический дедушка (Сепп Мейер или Ганс Мюллер), когда-то, тридцать лет назад, поехавший на неделю в католический же монастырь где-то на Рейне для тех таинственных занятий, которые у католиков, у иезуитов в особенности, именуются экзерцициями, о которых ничего я не знаю и которые в том давнем случае, по желанию проводившего их священника, соединены оказались с медитациями дзен-буддистскими (что в католических монастырях тогда было редкостью, с тех пор, по слухам, стало делом едва ли не обыкновенным); там-то и увлекся он дзен-буддизмом; через этого же священника познакомился впоследствии с Бобом. Когда я упал на лестнице во время *саму*, никто этого не видел; я был один; но все ви-

дели, могли видеть, не хотели видеть, как я тру колено и морщусь от боли. Он молча ушел, возвратился и все так же молча, на меня не глядя, подал мне целлофановый пакет со льдом, который, видно, взял в морозилке на кухне; так же молча и на меня не глядя, вечером после ужина, протянул мне тюбик с болеутоляющей мазью (Voltaren), без комментариев и объяснений, даже и без улыбки (улыбка, видно, казалась ему чем-то слишком близким к запретным для нас словам). Ему было жаль меня, рассказывал он (улыбаясь) в машине; он уж подумал, что я до конца сессина не досижу. Молодец, досидел. У него этот сессин какой по счету? Он уже и не помнит; возможно, последний. Мне хотелось спросить его, как удается ему, и ведь не ему одному, совмещать дзен с христианской верою; спросить его я не решился (о чем жалею теперь).

Всесилие и всевластье

Был день снова зимний и мутный, когда мы ехали с ним сперва в Ландсхут, потом из Ландсхута ехал я в Регенсбург; синеватая снежная дымка мерцала над распаханными полями; долго, по бесконечным косогорам, тоненькими цепочками убегали черные, стынущие деревья; баварские, белые, всегда пустые деревни пролетали, не приглашая остановиться; над дорогой, на длинной ветке, сидела, высматривая добычу, большая, хищная, спокойная серая птица, хозяйка дороги, хозяйка округи. Я вел машину, и по сторонам смотреть мне было нельзя. Но я так же ясно все видел, казалось мне, как эта птица, замершая в своем одиночестве, на мутно-мерцающем фоне мартовского раннего вечера, все изгибы придорожных ручьев, все подробности деревенской рекламы, кружки пива и крынки альпийского молока на ободранных и мокрых щитах, автобусную остановку между двумя деревнями, под навесом которой, посреди ничего, сидели, болтали,

Алексей Макушинский

курили, руками-ногами дрыгали две девочки-школьницы в черных, как тогда было модно, обтягивавших их простежки-пухлые ноги рейтузах, красную луковицу часовни на пустынном лугу у раскидистого, со всеми своими черными веточками прорисованного в сером воздухе дерева. Я все мог; я помню ощущение всевластья, всесилья, не покидавшее меня несколько дней. Помню, как ехал на велосипеде вдоль Дуная, мимо плотины, на свидание с моей тогдашней подругой, предполагая поужинать с ней в китайском ресторане на набережной; и хотя я чуть не каждый день ездил в город на велосипеде в ту пору вдоль Дуная и мимо плотины, эта поездка совсем была не похожа на предыдущие и последующие, так по-прежнему ясно видел я все, что видел: и облака, уже млечно-весенние, и готовые зазеленеть острова на реке, и красновехие домики на другом берегу, и стеклянный вал воды за шлюзом, в котором, или, верней, под которым всегда метались какие-нибудь сучья и ветки, донесенные до этого места рекою, под которым в тот день перекатывался, подпрыгивал и падал огромный, обглоданный, светлый ствол очередного дерева, уже давно, я подумал, переместившегося из земной и воздушной в чуждую, водную, сверкающую стихию. Я был просто глазами, смотревшими на все это; или просто ногами, крутившими педали велосипеда; или даже самими педалями; колесами, шинами; блеском солнца на руле, на реке. Я всегда хотел бы жить так, с такой силой присутствия, с такой свободой от случайных мыслей, обыкновенно стоящих между мною и миром.

Бедро (не Иакова)

Я и теперь хотел бы этого. Всегда хотел и хочу до сих пор. Они, однако, утрачивались, эти свобода и сила; через неделю ничего от них не осталось. Через неделю я был та-

ким же (или почти таким же, или по видимости таким же), каким был до сессина (тем же пленником дукхи и сансары). А между тем я *сидел* по-прежнему, даже больше, чем раньше, по пять раз в день или по шесть раз в день, в своей комнате; и когда вставал, то вставал с чувством, что вставать не хочу, что мерзит мне земная жизнь, со всеми ее делами, словами. Настоящий дзен-буддист должен *сидеть* всегда, что бы он ни делал, куда бы ни шел. Но *сидеть* в этом одновременно переносном и глубинном смысле у меня не получалось; все чаще казалось мне, что я просто теряю себя, вставая с подушки. Я больше не согласен был с этим; не готов был к этому; вынужден был вставать, куда-то идти, что-то делать, зарабатывать жалкие деньги (преподаванием немецкого и русского на каких-то кретинских курсах; настоящей работы у меня все еще не было); до тошноты отвратительно было теперь мне все это; я хотел, как Будда под деревом Бодхи, как Бодхидхарма лицом к стене, сесть и не вставать семь лет, девять лет, покуда все вопросы не разрешатся. Да они и так уже разрешались, стоило мне сесть на подушку. Ты садишься на подушку — и тишина наступает в тебе. Все опять хорошо; мысли успокаиваются; океан проступает за ними; чистое зеркало; спасительная, сияющая, безмерная пустота; бесосновная основа всей твоей жизни. Тогда зачем вставать, в самом деле? Жизнь как таковая потеряла для меня интерес. Иногда он вдруг вспыхивал; даже некие оживали надежды; вновь доставал, раскрывал я за предыдущие черные годы исписанные (исчерканные) мною тетради и рукописи; пытался продолжить что-нибудь из неудачно начатого, обреченного на провал; отчаивался; вновь (как в той венской гостинице) понимал, что никакого другого пути, кроме дзенского, у меня нет (пока нет, а там будет видно); и думал (в очередной раз) о том, что дзен есть взрыв образов, ложных

Алексей Макушинский

образов (они все ложные), неправильных (они все неправильные) представлений о себе самом и о жизни; если я воображал себя сочинителем, то это такой же ложный образ, как все остальные; есть только то, что есть, вот сейчас: вот эти облака за окном, вот эта подушка; на нее-то я опять и садился то в бирманской позе, то (продвигаясь по дзенскому пути) в полулотосе — и к концу лета почувствовал, что не только не хочу вставать (вставать, жить, куда-то идти), но и не могу встать, то есть встать-то могу, а идти не могу, такую нестерпимую боль вдруг чувствую в правом бедре, в правой ноге. Что-то случилось с этим правым бедром и правой ногою: то ли мышца растянулась, то ли нерв воспалился — никто не мог объяснить мне этого толком; ни один просто врач и даже ни один ортопед не давал прямого ответа; все они при упоминании о дзен-буддизме смотрели на меня как на более или менее опасного безумца — или не смотрели никак, думали о другом. Главная, в конце концов, задача всех немецких врачей, ортопедов, не ортопедов ли — поскорее убежать от пациента (в коридоре и в соседних приемных ждет еще дюжина страждущих); потому они выписывали таблетки или пробовали током подействовать, привязывали, вернее, приказывали своим фельдшерицам привязывать к злосчастной ноге моей разноцветные проводки, так что она дергалась, дрыгалась и вздымалась, обретая (уже окончательно) отдельную, полную приключений жизнь; по дороге домой опять начинала отстегиваться. Мне еще очень хотелось верить, что дело тут не в дза-дзене, что это как-то так само собою случилось, без всяких причин, да и больно было только когда я шел, а сидеть-то я мог и потому сидел — будь что будет, кто не рискует, тот не выигрывает, надо жить опасно (по слову — нелюбимого — Ницше).

Неповторимость, невозвратимость

Все было так и не так, когда я снова, во второй и последний раз, оказался, осенью того же года, на нижнебаварском буддистском хуторе, в аскетическом отрешении, вновь прерываемом лишь тайными звонками по мобильному телефону из на сей раз золотого, шафранового и червленого леса; так — и совсем не так, как полгода ранее. То, что было тогда открытием, сделалось теперь повторением. Опять я мыл лестницу, опять посуду мыли мы в медитативном молчании, вместе с зеленокофточной зеленоглазой Иреной и другими, не запомнившимися адептами (брюсовобородого дядьки на этот раз не было — видно, массажистская карьера его пошла полным ходом); опять были чудные Аникины яства, единственное развлечение дня; опять урчание голодных животов по утрам, концерт лягушек и оратория жаб в подернутом ядовитой ряской пруду. Так (я думал в Вейле-на-Рейне, сидя в бирманской позе на невозможной кровати или снова лежучи, на мгновение засыпая, опять просыпаясь) — так бывает (думал я сквозь засыпанье и пробужденье), когда мы во второй раз приезжаем в город, полюбившийся нам в первый приезд, город, в который, в тот первый раз покидая его, мы дали себе слово вернуться — и возвращаемся, и вот, возвратившись, узнаем и не узнаем этот город, и все действительно как-то не так, именно потому что все так же, потому что мы уже шли по вот этой улице с ее толкотней и платанами, и выходили на эту площадь с ее конной статуей, и сидели в этом кафе под аркадами, и как-то все грустно, даже наши друзья в этом городе постарели и погрустнели, и вообще они рады нас видеть, но замучены своими заботами, и наш приезд для них тоже повторение, и

Алексей Макушинский

опять тащиться с нами на ближайшую к городу гору с замечательным и знаменитым видом со смотровой площадки или в ближайший замок, бывшую летнюю резиденцию местного князя, локального короля, сто лет назад изгнанного восставшим народом, им не то что совсем не хочется, но уже не так это для них интересно, как было, когда они впервые нам показывали все это и вместе с нами, нашими, еще всему изумлявшимся глазами, видели эту гору и этот замок; и, значит (думал я), нам надо приехать в третий раз и в четвертый, чтобы этот второй приезд сделался просто одним из многих, одним в череде приездов, и только, может быть, с третьего раза, преодолев и наивное очарование первого и столь же наивное разочарование второго, мы начинаем понимать уже не поверхностно, но отчасти уже изнутри этот чужой или уже не совсем чужой нам город, эту уже не совсем нам чуждую жизнь... Я втайне догадывался, однако, что третьего раза не будет; хотя, конечно, упорствовал и старался сидеть как можно лучше, считать свои выдохи и не теряться в набегающих мыслях, сохранять связь с пустотой за ними; иногда, я помню, спускался утром в дзен-до — после по-прежнему омерзительной толкотни голых мужиков перед душевыми кабинками — с твердой решимостью сидеть сегодня так хорошо и крепко, с такой сосредоточенностью, с какой не сидел накануне; и в таких случаях сидел особенно плохо, не в силах досчитать до десяти, как если бы сама решимость, с которой я брался за дело, становилась между мной и дза-дзеном, мной и дао, мной и *природой Будды*, вообще мною и всем, к чему я стремился. Я попробовал поговорить об этом на докусане (если наши необязательные беседы и вправду можно было назвать так) с (нисколько не изменившимся за полгода, таким же светло-сияющим) Бобом. Боб по-прежнему смотрел на меня со своих недосыга-

емых высот, своих снежных вершин, из своего молчания, своего ничем не замутненного, не поколебленного присутствия, без всякой торжественности; я смотрел на него с угасавшей надеждой, что он задаст мне коан или вообще скажет что-то, из чего я мог бы заключить, что он принял меня в настоящие ученики; всякий раз он говорил мне, что все хорошо, все о'кей и чтобы я просто продолжал считать свои выдохи. Но как же считать их? — спросил я его однажды, как подходить и относиться к этому счету? Я иногда считаю сознательно и активно, как будто внутренне засучив рукава (Боб улыбнулся очень далекой, тонкой, понимающей все улыбкой), а иногда, наоборот, в духе даосского не-деяния, в надежде, что все выйдет само собой, без напряженья и умысла, без волевого усилия. И так, и так получается плохо. И вот — что же мне делать? Ждать, чтобы выдохи сами себя считали, чтобы цифры (четыре, пять...) падали, как созревшие плоды с согнувшейся под их тяжестью ветки, или — считать, в сознательном усилии, сесть и — считать, вопреки всему, будь что будет?

Бескрайнее небо, великолепное и пустое

Не помню, что мне ответил Боб; что-то дзенски-необязательное, уже привычное для меня, в том смысле, например, что надо оставить все эти рассуждения и просто считать свои выдохи, от одного до десяти, ничего больше не требуется. Ему самому требовалось, может быть, время, чтобы подумать над ответом, или так казалось мне, когда на другое утро я слушал его тей-сё, его проповедь, хоть я и говорил себе, что это слишком лестная для меня мысль и что уже по одному этому не стоит мне думать так. Все же ка-

Алексей Макушинский

залось мне, что втайне отвечает он, сияя глазами, на мой вчерашний вопрос. Поговорим еще раз о Чжао-чжоу, которому обязаны мы столь многим... Мы привыкли видеть и в «Мумонкане», и в «Гекиганроку» уже старого Чжао-чжоу, не зря дожил он, по преданию, до ста двадцати мифологических лет; в коане, однако, о котором пойдет речь сегодня, одном из его любимейших, Чжао-чжоу, в порядке исключения, появляется совсем молодым, говорил Боб, вновь указывая рукою куда-то в сторону узенького окошка, вновь предлагая присутствующим увидеть этого еще юного, только начинающего свой дзенский путь Чжао-чжоу, где-то там у окошка сидящего или стоящего. Чжао-чжоу было восемнадцать лет, когда он пришел к своему учителю Нань-цюаню (по-японски Нансену; с ударением на втором слоге, не Фритьюфу...); года, наверное, через два, говорил Боб (еще продолжая смеяться), когда Чжао-чжоу было лет двадцать, а Нань-цюаню около пятидесяти, состоялся у них следующий разговор, после которого, если верить легенде, Чжао-чжоу испытал свое первое сатори — первое просветление. Что такое Путь (дао)? — спросил он у Нань-цюаня. — Твое обыденное сознание — это и есть Путь, ответил тот. — В таком случае надо ли стремиться к нему? — Если ты будешь стремиться к нему, ты от него отдались. — Но, спрашивает удивленный Чжао-чжоу, если не стремиться к нему, то как же тогда понять, что это в самом деле дао и действительно Путь? — Путь ничего общего не имеет с пониманием и непониманием, со знанием и неведением, отвечает Нань-Цюань. Понимание иллюзорно, а непонимание бессознательно. Когда достигаешь несомненного Пути, по ту сторону всех стремлений, то это как бескрайнее небо, великолепное и пустое. Разве можно говорить о нем такими словами, как истинное или ложное?

Вы спите, вам надо проснуться

Вот тут-то, объявил Боб, и настигло Джао-джоу его сатори, его просветление. И, конечно, мы все понимаем, о чем идет речь, понимаем Джао-джоу, его беспомощность, его замешательство. Куда сложнее понять Нань-цюаня. Если не стремиться к нему, то как тогда постичь дао? — спрашивает Чжао-чжоу — и все мы спрашиваем с ним вместе. Если перестать стремиться, стараться, то что тогда будет? Если мое стремление к дао лишь отрывает меня от него, то что же? не стремиться и не стараться? Вопрос, опять-таки, вполне законный, очень логичный. Мое обычное, повседневное сознание — уже Путь, уже дао, и стремиться к нему нельзя. Тогда зачем все это? Зачем искать истину, если я уже обладаю истиной? Зачем вообще что-то делать? записываться на сессии, приезжать на какой-то богом забытый хутор, сидеть на этой чертовой подушке (говорил Боб, к удовольствию и увеселению присутствующих), в этом дурацком дзен-до, зачем сходить с ума от этой боли в ногах, боли в спине, почему не разъехаться по домам, к своим семьям и детям? Вот вы смеетесь, сам смеялся говорил Боб, а ведь это вопрос всех вопросов, главнейший дзенский вопрос. Он мучил, например, Догена Дзендзи чуть не всю его жизнь, совсем не такую длинную, как у Чжао-чжоу. Доген ответил на него в конце концов и как все вы знаете, что садящийся на подушку уже просветлен, уже Будда. Именно поэтому и нужно *сидеть*. Так почему же все-таки? Одно дело знать, что обычное сознание уже есть дао, понимать это, верить в это, а другое дело — столкнуться с этим лицом к лицу, увидеть это воочию. Это видение мы называем кен-сё — непосредственное узрение своей истинной природы, природы вещей, природы Будды.

Алексей Макушинский

Или мы это называем сатори — просветление. Или мы это никак не называем, не в названиях дело. Но это вообще не имеет отношения к знанию и незнанию, к истинному и ложному, хорошему и плохому. Пока это не случилось с вами, вы будете только копить знание или копить незнание, но ни то, ни другое вам не поможет, вас не спасет. Знание иллюзорно, а незнание... что же? незнание и есть незнание, неведение, ослепление, обыкновенная, не сознающая себя жизнь, самой себе чуждая жизнь. Простые люди там, за этими стенами (туда я не мог не подумать о баварском трактористе в его треугольной шапочке и как он небось хохочет при виде заторможенных придурков, обходящих вокруг дома медитативной цепочкой...) живут в неведении, вы живете и что-то, вам кажется, знаете. Вы считаете, вы их лучше? Вы ничуть не лучше. Их обычное сознание — само по себе Путь, и ваше обычное сознание — само по себе Путь. Но вы и они в равной мере оторваны от Пути. Вы пребываете в мире иллюзий. Ваше знание не менее иллюзорно, чем их неведение. Вы спите, а вам надо проснуться. Вы можете усвоить все уроки, выучить все коаны, прочитать все дзенские книги. Можете говорить себе по пятьсот раз на дню, что Высший Путь не труден, стоит лишь отказаться от выбора. Можете говорить себе: вот, вот оно, *это*, в его *этости*, его *таковости*, абсолютный аспект вещей, природа Будды, все хорошо. Даже плохое — хорошо. Не хорошо и не плохо, и потому все-таки хорошо. Можете вдохновляться этим абсолютным аспектом вещей, можете плакать от счастья, можете смеяться от счастья... Все это, должен огорчить вас, не имеет большой цены. Это тоже всего лишь знание, всего лишь ваши мысли, а нужно бескрайнее небо, великолепное и пустое. Вот почему мы *сидим* здесь и вот почему Чжао-чжоу даже после первого сатори еще сорок лет оставался учеником Нань-цюаня (Нансена); когда тот умер,

ему, Чжао-чжоу, было уже шестьдесят, говорил Боб (сам в ту пору только пятидесяти-с-чем-то-может-быть-летний); и хотя все вокруг его прочили в учителя, он, Чжао-чжоу, считал себя недостойным и неготовым, а потому отправился в двадцатилетнее странствие из одного монастыря в другой монастырь, заявив, что будет учиться у семилетнего ребенка, если тот мудрее, чем он сам, и учить столетнего старца, если найдет в нем меньше мудрости, чем у себя самого, — заявление, как вы можете догадаться (с извиняющейся улыбкой добавил Боб), в конфуцианском Китае, с его строгой иерархией и безусловным почитанием старших, довольно скандальное; лишь когда исполнилось ему восемьдесят, обосновался он в провинции Чжао-чжоу (от которой и пошло его прозвище), чтобы еще сорок лет воспитывать собственных учеников, задавая им свои невозможные, отвечая на их растерянные вопросы (например и в частности, удовлетворенно улыбаясь, говорил Боб, на вопрос о собаке и природе Будды — своим знаменитым *му!, не имеет!*, которое теперь доставляет нам столько мучений, покуда не преодолеем мы этот барьер, отделяющий нас от подлинной нашей природы...).

По каменистым дорогам

Преодолеть его я не надеялся. Не то чтобы я решил однажды сойти со своего дзенского пути, все более трудного, тяжкого (как некогда в венской гостинице решил вступить на него); я, в сущности, никогда и не сходил с него, и впоследствии, в разные периоды жизни, в одиночестве и не в одиночестве нередко и подолгу сживал, случалось, в дза-дзене (в Эйхштетте, уже с Виктором; и потом, много позже, в дзенской группе во Франкфурте, куда, впрочем, зааживал я скорее как не особенно званый гость, как сторонний, хотя и заинтересо-

Алексей Макушинский

ванный наблюдатель); случается мне и теперь садиться на черную, все ту же, подушку; никаких решений не принимал я, но решимость ослабевала во мне. Правой ноги было жалко, да и левой бы я не пожертвовал. А между тем воспаление нерва, или растяжение мышцы, или как бы ни называл это очередной ортопед, приобрели такую наглость и мощь, что уже я и по лестнице не знал, как спуститься; и только с появлением в моей жизни старого перса, практиковавшего в ту пору иглоукалывание на регенсбургской окраине, замечательного старого перса, сразу, как только он тебя видел, кидавшегося к тебе с прямо-таки в глазах его светившеюся мечтою поскорее куда-нибудь чем-нибудь тебя уколоть, быстро-быстро, ты и рта не успевал раскрыть, втыкавшего в мочки твоих ужасающихся ушей длинные острые иглы (после чего ложился ты на диван в завешенной тяжелыми коврами темной комнате и долго лежал там в обществе других исколотых ишиатики, постанывающих подагриков, безуспешно пытаясь вообразить себя в ориентальном раю, в окружении *гурий*, не знакомых с радикулитом) — лишь с появлением этого чудесного человека в моей жизни боль начала стихать, хотя дело было, возможно, отнюдь не в его иголках, уж тем более и как это ни печально, не в *гуриях*, а просто в том, что все меньше и реже, не семь раз и даже не пять, но хорошо, если раз в день, по утрам, сидел я в своей скромной бирманской позе, уже не посягая ни на какой полулотос... Конечно, он был где-то рядом, тот мир свободы, где нет ни пыли, ни зеркала, то пространство парадоксов, которое в молодости так меня манило, но, может быть, именно потому, что я сделал первые, робкие шаги в его сторону, этот искомый и взыскуемый мир отдалился от меня на расстояние неизмеримое, неодолимое — как горная вершина, с ее гордыми сияющими снегами, которая кажется совсем близкой — рукой дотянуться! — ког-

да мы смотрим на нее из окна, скажем, поезда, скользящего по зеленой, прелестной, еще не сожженной солнцем равнине, и вполне недостижимой оказывается, как только, сойдя на задрипанном полустанке, мы отправляемся пешком в ее сторону, по каменистым и пыльным дорогам предгорья... И вообще все менялось, сдвигалось, перемещались горизонты жизни, другие в ней намечались возможности; в феврале 2001 года мне предложили, наконец, настоящую работу, все в том же идиллически-католическом Эйхштетте, на кафедре восточноевропейской истории, с ее разнообразными проектами и программами (что и привело летом все того же 2001 года к моему знакомству с Виктором М., соискателем, затем обладателем стипендии Германской службы академического обмена); и хотя университетский человек во мне и был, и остается внешним моим человеком, мне самому довольно неинтересным, ни в какое сравнение не идущим для меня с дзен-буддистом во мне, тем более с сочинителем во мне, все же эта работа, отнимавшая, особенно поначалу, много времени, мыслей и сил, заставила меня задуматься о вещах, о которых я прежде не думал, прочитать книги, до тех пор не прочитанные; главное же — вновь я чувствовал, как некогда в молодости, что скоро *домолчусь* до каких-то слов, других слов, новых слов, что сами мои дзенские опыты и были этим большим молчанием, из которого приходят слова. А если домолчусь до них, то, как банальнейший карточный домик, рассыплются все мои рассуждения о взрыве образов и об отказе от сочинительства. Взрыв образов? Да идите вы к черту. Важно или не важно сознавать себя кем-то и кем-то? Никто не знает, кто он на самом деле, и я не знаю, кто я на самом деле, и совершенно все равно мне, сознаю я или не сознаю себя сочинителем, но если мне удастся написать не совсем постыдные стихи, не совсем постыдную прозу, я и думать

Алексей Макушинский

забуду обо всех своих рассуждениях, а буду думать только об этой прозе, об этих стихах... Моя дзенская эпоха заканчивалась, короче; все-таки, вновь переехав (скрепя сердце) в крошечный католический Эйхштетт, еще искал я буддистские знакомства и связи; даже, как ни странно, нашел.

Бенгалия, Бенарес

Университет притягивает сумасшедших, бродяг, чудаков и оригиналов разного рода, разной степени оригинальности. Почему-то местные бродяги и полубродяги полюбили пить пиво в университетском кафетерии, летом — на лужайке перед ним или возле кофейного автомата в замечательном, насквозь стеклянном здании центральной эйхштеттской библиотеки (построенном, кстати, не кем-нибудь, но Гюнтером Бенишем, создателем, среди прочего, мюнхенского олимпийского стадиона). Они тихо сидели там, эти бродяги и полубродяги (понимая, наверное, что иначе их выгонят; или в силу природной скромности, тихости, вообще свойственной католическим баварским полубродягам), ни со студентами, ни тем более с преподавателями разговоров не затевая, своим отдельным кружком. Все же с одним из них вступил я однажды в беседу, не помню уж по какому случаю, и с тех пор всегда беседовал (именно беседовал, спокойно и обстоятельно), когда встречал его на какой-нибудь университетской дорожке. Звали его Гельмут. Он был толст и с годами становился все толще; ездил сперва на велосипеде (из той породы толстошинных, низкорослых велосипедов, на которых можно кататься якобы по горам), затем, обленившись и окончательно растолстев, на маленьком, еще более толстошинном и для катаний по горам уже не пригодном, я думаю, мотороллере; отращивал с годами все более безумную, понемногу седею-

шую бородку (в конце концов превратившуюся из бородки в бороздку, бежавшую от нижней губы по первому подбородку к подбородку второму и дальше, к складкам мясистой шеи); не занимался, кажется, вообще ничем в жизни; пил пиво и философствовал. Философские воззрения Гельмута отличались от всех прочих известных мне философских воззрений своей совершенной неопровержимостью. Главное, чтобы не было войны, говорил он, разглаживая седеющую бородку-бороздку толстыми короткими пальцами. Что можно было возразить на это? Конечно, лишь бы не было войны. Война — это самое страшное, говорил Гельмут. С чем тоже было трудно не согласиться. Политика — это всегда обман, заявлял затем Гельмут, прозрачными голубыми глазами всматриваясь в прозрачную голубую дымку окрестных холмов. Тоже, в общем, утверждение неоспоримое. Так стояли мы, придерживая наши велосипеды, на полпути от библиотеки к кафетерию, когда проехал мимо на скрипучем стареньком велике другой местный оригинал, что-то баварски-гортанное, непонятное мне, прокричавший вполборота в ответ на обращенное к нему Гельмутом, тоже не понятное мною, баварское замечание, судя по интонации и выражению Гельмутовых подбородков, вполне ироническое. А этого ты знаешь? — спросил Гельмут. Это Христоф, бхагаван, далай-лама. Что? — спросил я. Бхагаван, йог, Рамакришна, сказал Гельмут, вращая у толстого лица толстой ладонью. Опять, небось, в Индию собрался. Псих, короче, святой человек... Христоф (бхагаван, Рамакришна...) оказался сыном автомеханика из соседней деревни; с местными полубродягами он пива не пил, но полубродяги все его знали (одна странность притягивает другую); не только ездил он в Индию, в Таиланд, в Тибет и в Японию, причем, как я выяснил из первого же с ним разговора, ездил туда без денег, то есть вообще без де-

Алексей Макушинский

нег (поскольку отец, автомеханик, и брат, автомеханик тоже, никаких денег ему, чудаку, не давали), нанимаясь чуть ли не матросом на сухогрузы, чтобы доплыть до стран своей детской и взрослой мечты, но и где-то в Германии (сейчас не помню, где именно) долго (год или два года) жил он (и собирался снова жить, и даже совсем, может быть, поселиться, *постричься*) в католическом монастыре с дзен-буддистским уклоном и на мое предложение *посидеть* как-нибудь вместе отозвался с охотой. А вот как он, собственно, выглядел, этот Кристоф, и какая была в нем *отличительная черта*, была ли вообще какая-нибудь, этого, как ни старался я (изнемогая от бессонницы на бугристой и гористой кровати), уже я не мог, не могу и сейчас вспомнить, и, значит, была в нем та стертость, незаметность, неброскость всего облика, всей манеры вести себя, которую так часто наблюдал я у религиозных, не только буддистских, людей. Были, как и у Виктора в ту далекую пору, и даже длиннее Викторových, светлые, несколько не рязанские, но все-таки кудри; была, как у Васьки-буддиста в пору совсем далекую, уже легендарную, кожаная ленточка, которой он перетягивал их... Я, наверное, теперь не узнал бы его на улице, как сразу узнал бы, не сомневаюсь, симпатягу Гельмута с его бородкой-бороздкой. Всего-то и *сидели* мы с ним, до появления Виктора, несколько раз у меня дома, в квартире, которую я снимал тогда, в большой комнате с видом на красные крыши, башни и купола бесчисленных эйхштеттских церквей, голые холмы с друидическими камнями; Кристоф, оставаясь у меня после наших посиделок пить зеленый чай из пиалушек более или менее восточных, купленных мною в китайской лавочке в Ингольштадте, рассказывал о своих приключениях и путешествиях, причем рассказывал о них с неким (или память другого не сохранила?) гастрономическим уклоном — то о дешевых столовых в

(мифологической на мой слух) Бенгалии, где еду подавали не в тарелках, но на больших пальмовых листьях, каковые листья посетители, откушав, бросали просто-напросто на пол или оставляли на столах, так что уже посетители, пришедшие следом, со столов их, недолго думая, смахивали, и на полу образовывался все более плотный настил из этих листьев вкупе с объедками; то об обеде на станции, по пути в (не менее мифологический) Бенарес, где тарелки как раз были, но лучше бы их не было, потому что обед этот быстрые, что-то друг другу все время кричавшие официанты приносили прямо в вагон, и главной заботой их было, чтобы путешественник не увез с собою тарелку, почему они и стояли над ним, покуда он поедал поданное (обжигаясь, лихорадочно сглатывая), и норовили у него тарелку вырвать из рук, и правда вырывали ее, когда переполненный поезд вдруг дергался, если же, дернувшись, замирал снова, то совали тарелку обратно в руки изумленного путешественника, который уж и не рад был, что с ними связался... Все же до этих гастрономических рассказов *сидели* мы, и Кристоф *сидел* хорошо, сосредоточенно (такие вещи чувствуются, когда *сидишь* вдвоем с кем-нибудь), и даже подумывали о привлечении других участников в нашу дзен-буддистскую группу, но привлекли, ненадолго, одного только Виктора — не сразу после его, Викторова, приезда в этот причудливый городишко, но лишь после нашего с ним взаимного разоблачения в качестве дзен-буддистских адептов (он, в отличие от меня, был действительно таковым).

Виктор

Я поначалу не выделял его (скажу снова) из общей толпы студентов; заметил его заикание; заметил (их нельзя было не заметить) его преувеличенные (как на старых фотографиях и в старом кино), сумасшедшие, страдальческие, осмысленные

Алексей Макушинский

глаза; но больше о нем не думал. Еще пару раз видел его бегущим по берегу местной речки (Альтмюля), с бурно поднимавшейся атлетической грудью и бившейся о мокрый лоб рязанско-чухонской прядью тогда еще не сбритых волос; казалось, что этот бег был его главным занятием, главной страстью. Почти не помню его на занятиях университетских. Полагаю, он просто воспользовался, как многие, стипендией и учебой, чтобы оказаться на Западе, поначалу, может быть, и не собираясь здесь оставаться. Его равнодушие было более глубоким, чем обыкновенно бывает у таких студентов (таких стипендиатов), хотя он вовсе не выставлял это равнодушие напоказ, худо-бедно, значит, делал свои (забытые мной) рефераты, писал свои курсовые работы (забытые мною тоже), но (вот это я запомнил) на занятиях и семинарах как будто отсутствовал. Отсутствовал он не в том простейшем смысле, в каком отсутствуют на занятиях плохие студенты, витающие в мыслях и облаках, блаженно безразличные ко всему, что там болтает дурак-доцент об авторитарных и тоталитарных режимах, о роковых особенностях русской истории, об опричнине, земщине, вотчинном государстве, но отсутствовал сосредоточенно и потому сердито, с выражением лица отнюдь не мечтательным, скорее суровым. Никакого дела не было ему до вотчинного государства, даже и до опричнины. Литература? Литература не интересовала его. И в обществе других студентов, студенток я его что-то не помню, и на тех (немногих) студенческих вечеринках, где я бывал (преподаватель отделен от своих все более молодых учеников прозрачной, но непреодолимой преградой), я его, кажется мне, не видел. И никакой, что называется, девушки у него, по-моему, не было. Я видел его всегда в одиночестве, бегущим или куда-то едущим на (допотопном, потому

что явно подержанном, за гроши купленном) велосипеде по этой пустынной местности, пустынным дорогам. Он уезжал далеко; так далеко, как мне самому и в голову не пришло бы поехать на велосипеде. Не сразу и понял я, что это он, увидев как-то, по очередному пути из Эйхштетта в Регенсбург, его одинокую фигуру на шоссе неподалеку от уже упомянутого мной Дитфурта (того крошечного, но вполне средневекового городишки, в котором знаменитый в немецких дзенских кругах иезуитский патер Гуго Энмония-Лассаль построил некогда, с узенькими окошками, павильон для медитаций, во францисканском монастыре), то есть от Эйхштетта уже в каких-нибудь сорока километрах; так неожиданно увидел его на этой дороге, вьющейся по все той же долине Альтмюля, между рекой и лугами с одной, холмами с другой стороны, между черных деревьев с обеих, что даже не успел затормозить, тем более что от ближайшего к Дитфурту, тоже крошечного (и тоже вполне себе средневекового) городишки наседали на меня — однако не обгоняя (дорога извилиста) — мерзкий, маленький, белый и крытый грузовичок, ведомый толстым, буро-красным, черно-усатым дядькой, должно быть турком, хорошо различимым в зеркальце; лишь когда оба мы обогнали пригнувшегося к рулю Виктора, дядька тоже пошел на обгон (как если бы идея обгона, проникнув в его усатую голову, потребовала продолжения); еще долго видел я все в том же зеркальце на пустынной дороге среди черных деревьев Викторов убывающий облик, наконец проглоченный очередным поворотом; и я до сих пор не знаю, заехал ли он в такую даль в спортивно-велосипедном или в дзенском усердии, вообще слышал ли о существовании иезуитского дзен-до во францисканском монастыре.

Виндельбанд, Рикерт, Ласк

Ему пришлось зайти в мой университетский кабинет — то ли ему какая-то справка была нужна, то ли о курсовой работе хотел он поговорить, — чтобы наше взаимное разоблачение, наконец, состоялось. Это было, если ничего я не путаю, уже в конце его первого в Эйхштетте зимнего семестра, значит, в январе-феврале 2002 года. Уже начал Виктор, заикаясь, говорить о своей справке, своей курсовой работе, как вдруг — это *вдруг* вспыхнуло в его осмысленно-сумасшедших глазах — увидал у меня на столе книгу Эйгена Херригеля (Ойгена Херригеля в ныне принятой пошлой транскрипции, будь она проклята...) «Дзен в искусстве стрельбы из лука», уже упомянутую; маленькую, в белой суперобложке, книжку, которую одно время часто читал я, которую он, Виктор, тоже, как выяснилось, читал нередко, немало. Он протянул к ней руку, тут же руку отдернул, одернул себя, спросил, м-м-можно ли, покраснел, взял ее в руки. Он был удивлен, и я сразу понял, показалось мне, почему. Мы ведь все живем, по крайней мере по видимости, одновременно в разных мирах, не сообщающихся сосудах. Для меня самого мои дзенские опыты ничего общего не имели с университетской работой; мне и в голову не пришло бы заговорить о них с кем-нибудь из коллег, тем более из студентов; и если брал я с собой на службу какую-нибудь дзенскую книгу (как напоминание о моей внутренней, подлинной жизни), то всякий раз (кроме, значит, вот этого раза) прикрывал ее другими книгами, или бумагами, от посторонних взоров, стороннего любопытства. А на самом деле все со всем связано в мире (думал я, лежа на бугристой кровати, садясь в бирманскую позу); все со всем как-то в мире перекликается... Вот вы к-какие к-книги читаете? — проговорил Виктор, покраснев, страдальческими, сумасшед-

шими и осмысленными глазами посмотрев на меня. Да, вот такие. Он читал ее, еще бы он ее не читал, говорил Виктор, отвечая на мои вопросы, глядя опять в окно, где на ветках деревьев, на автомобильной стоянке за ними, на капотах и крышах переночевавших на стоянке машин, и на верхушке серой стены, скрывавшей кладбище за стоянкой, и на крышах дальних домов, уступами взбиравшихся вверх по холму, блестел, сверкал, вспыхивал, когда сквозь сизую рябь неба пробивалось солнце, легкий, готовый растаять снег. Он много читал обо всем этом, о дзен-буддизме и о буддизме как таковом, говорил Виктор, краснея и заикаясь; в Петербурге, бывало, захаживал в бурятский буддистский храм — дацан — на Приморском шоссе, хотя тибетский буддизм никогда не занимал его так сильно, как дзен. Чему вы улыбаетесь? — Воспоминаниям мятежной молодости, чему же еще... А известно ли ему, спросил я (в продолжение вечной темы тоталитарных и авторитарных режимов — как если бы этот кабинет, этот вид из окна, эти студенческие работы, лежавшие передо мной на столе, заталкивали меня обратно в роль университетского преподавателя, говорящего о том же, о чем он привык говорить на занятиях), известно ли ему, спросил я, что вот этот самый Эйген Герригель, когда возвратился из Японии, где в двадцатые годы преподавал философию и учился стрельбе из лука, пытаясь таким образом приблизиться к таинственному дзену, который понимал он, и не он один в то время, как своего рода мистику, что этот замечательный Эйген Герригель, философ-неокантианец, ученик, между прочим, Виндельбанда и Рикерта, ближайший друг погибшего в Первую мировую войну Эмиля Ласка (говорил я, окончательно впадая обратно в роль университетского преподавателя), что в тридцатые годы он сделался заправским наци, членом НСДАП, профессором, в конце войны даже ректором Эрлангенского университета и

Алексей Макушинский

писал в те годы другие, чудовищные и забытые, тексты? Вот, сказал я (чувствуя, что говорю банальность), как все непросто... Виктор смотрел по-прежнему в окно, на проступавшие из-под снега желтые пятна песка, которым покрыта была стоянка, узоры и линии следов автомобильных и человеческих, блестящих на этом песке, сверкавших на этом снегу.

Дзен на войне

А как раз незадолго до нашего взаимного разоблачения — в конце, кажется, девяностых годов — появился немецкий перевод еще чуть раньше опубликованной книги новозеландского автора со странным именем Брайан Викториа (или Виктория; Brian Victoria), книги, в оригинале называвшейся «Дзен на войне» (Zen at War), по-немецки «Дзен, национализм и война» (Zen, Nationalismus und Krieg), фуруп и переполох произведшей в буддистских кругах; книги, из которой выяснилось, что все не так безоблачно и не так безобидно, как полагают невежды, охотно объявляющие буддизм религией мира, братства, разноцветных флажков, экологических подсолнухов, улыбок и поцелуев; выяснилось, ко всеобщему переполоху и ужасу, что не только Герригель, но и — *horribile dictu* — сам Д.Т. Судзуки, и другие, не менее знаменитые дзенские учителя ухитрились себя скомпрометировать во время войны, военной диктатуры и военных же преступлений и что вообще дзен-буддизм, когда запахло жареным, вполне оказался готов и способен, не хуже любой другой конфессии и даже лучше многих других, пойти на службу к власти предрержащим и прославить организованное убийство. Кодо Саваки, к примеру (1880—1965), имевший в старости и до сих пор имеющий репутацию святого, юридического, нищенствующего монаха, бродившего по деревням и

дорогам и дружившего только с детишками, на самом деле, покуда мировая война не закончилась и сам он не отправился дружить с детишками, с большой настойчивостью призывал японских солдат к совсем иным удовольствиям, которых в молодости и сам не чуждался: еще во время Русско-японской войны, рассказывает он во впервые переведенном Брайеном Викторией на английский язык мемуарном отрывке, такое наслаждение доставляло ему с товарищами убивать русских, что они прямо удержу не знали, а когда получилось загнать врагов в какой-то, что ли, овраг, где их так удобно было расстреливать по одному, то это уж было наслаждение высочайшее, ни с чем не сравнимое. И что это за дьявол такой? — спрашивал один японский солдат другого японского солдата, показывая на него Саваки, невольно подслушавшего их разговор. А это просто дзенский монах, отвечал тот. Понимаю, заметил на это первый. Таким и должен был монах школы дзен. Настоящий мужик, не рохля... А другой, особенно на Западе знаменитый буддист Харада Дайун Согаку (1870—1960), сооснователь, вместе со своим не менее знаменитым учеником Ясутани Хакууном (1885—1973), движения Санбо Киодан, соединившего дзен школы Сото с дзеном школы Риндзай и, наверное, оказавшего самое глубокое влияние на дзен в Америке и в Европе, — так вот этот самый для его европейских и американских послевоенных поклонников тоже чуть ли не святой Харада Дайун писал, прежде чем сделаться святым на Западе, в статье с чудесным заглавием «Единый путь дзена и войны» (1939 год): «Приказано маршировать — марш-марш, маршируй, а приказано стрелять — пенг-пэнг, стреляй. Вот проявление высшей мудрости». По-русски *пэнг-пэнг* будет, что ли, *бум-бум*, но это неважно. А ученик его Ясутани уже в 1943 году, за два года до поражения Японии и гибели возлюбленного им Третьего

Алексей Макушинский

Рейха, рассуждал о страшной опасности, исходящей от демонических учений мирового еврейства, поскольку евреи-де, воображая себя, без всяких на то оснований, народом богоизбранным, разработали хитроумный план, как подчинить себе все прочее человечество, и весь смысл современных, как выражается он, потрясений как раз и состоит в борьбе с этими подлыми происками; рассуждения из уст японского мудреца и аскета особенно очаровательные, если учесть, что никаких евреев в тогдашней Японии не было и он сам, поди, отродясь их не видывал.

Темные тайны

Мне же впервые рассказал об этой (на поверку скучноватой) книге тот не скажу, что друг, но, во всяком случае, давний приятель мой Рольф-Дитер М. (тоже М.), к которому собирался заехать я (в Тюбинген) на обратном пути из Вейля-на-Рейне, на другой день после этой бессонной гостиничной ночи (все еще длившейся, упорно и мучительно не желавшей заканчиваться; хотя как я к нему или вообще куда-нибудь и к кому-нибудь после этой бессонной ночи поеду? в каком буду виде и состоянии? — спрашивал я себя, переворачиваясь с боку на бок, затем опять садясь в бирманскую позу...) — Рольф-Дитер М., по роду занятий и складу жизни философ, двухметровый и вообще замечательный человек, с которым познакомился я в 1998, если не ошибаюсь, году, на конференции в Гейдельберге, посвященной разнообразным «культам личности» в двадцатом, как раз готовом завершиться, столетии; в перерыве, помнится, между двумя докладами, в разговоре со мною и моим другом Павлом Двигубским, делавшим там сообщение о д'Аннунцио и его «Фьюманской республике» (см. «Город в долине»), упомянул он,

и не подозревая в ту пору о моих дзенских интересах, этот только что вышедший в свет новозеландский разоблачительный опус, причем упомянул его в подтверждение своей собственной мысли, в дебатах им высказанной, что «культ личности» почти всегда соответствует «культ безличности», культ отказа от своего маленького, индивидуального я, подчинения его якобы высшим силам, смыслом и целям... Почти никак не затронули меня эти чудовищные разоблачения, удивительным образом; наверное, и не вспомнил я о них, принимая через примерно год после той конференции в прокурорской венской гостинице свое решение пойти по дзенскому (оказавшемуся в итоге таким недолгим) пути; я даже и книгу эту, «Дзен на войне», купил только тогда, когда путь был пройден и дзенская эпоха закончилась (и потому лишь купил ее, что она за гроши попалась мне на каком-то мюнхенском книжном развале); просто не хотел я ничего ни знать, ни слышать об этом, слишком важен для меня был дзен как таковой, слишком много надежд я с ним связывал; и никакие, все же доходившие до меня слухи о собранном на великих учителей компрометирующем материале не могли отвлечь меня от моих устремлений и опытов; ни на одну секундочку не задумался я о дзенском милитаризме, продельвая свои незабываемые сессии с их болью в ногах и ликованьем в душе, — и как если бы это были все те же несообщающиеся сосуды, совсем разные сферы жизни, или так, как если бы тот человек во мне, тот персонаж среди множества других персонажей, который думал или учился думать об истории, войне и вине, ничего общего не имел с тем другим, который сидел, сложив ноги и руки перед собою, считая дыхание, и, встав с подушки, принимался читать «Алтарную сутру» или читать всем адептам дзена на Западе известную книгу Филипа Капало «Три столпа (или три основания) дзена», *The Three Pillars*

Алексей Макушинский

of Zen, в которой много раз появляются, в ореоле своей мудрости, и тот же Харада-роси, и тот же Ясутани-роси, и ни слова, ни словца, ни словечка не сказано о темных тайнах их прошлого.

«Одумайтесь!»

А самое (теперь) интересное для меня в этой скучноватой книге — рассказ о переписке Толстого с Созном Сяку, учителем Д.Т. Судзуки и одним из знатнейших дзен-буддистов своего времени. Когда Лев Толстой (главный даос русской литературы...) обратился к Созну (как именно обратился, с письмом, или еще как-нибудь, Виктория, он же Виктория, к сожалению, не уточняет), призывая его, Созна, бороться вместе с ним, Толстым, за скорейшее прекращение Русско-японской войны, тот ответил нашему любимому автору решительной отповедью и рассуждениями о том, что война вовсе не противоречит буддизму, если она, война, способствует обращению людей к истине, поскольку-де Будда, с одной стороны, запретил убийство, а с другой стороны, и Будде понятно было, что мир не наступит, покуда все мыслящие и чувствующие существа не объединятся в практике бесконечного сострадания; если же они добровольно не объединяются, то можно и поубивать какое-то их количество ради достижения гармонии и приведения вещей в порядок... Никакого такого письма Л.Н.Т., если и вправду было письмо, я, как ни искал, не нашел; новозеландец что-то, может быть, перепутал. Зато в незабываемом памфлете против Русско-японской и вообще всякой войны — «Одумайтесь!» (1904) — любимый автор наш не только упоминает с понятным возмущением Созна Сяку (*Сойена Шакю*, как он называет его) и приводит только что приведенные мною слова, но и цитирует большие отрывки из статьи Созна «Буддистский взгляд на войну», *Buddhist*

View of War, помеченной все тем же 1904 годом и тогда же переведенной на английский язык Д.Т. Судзуки (Толстой, следовательно, у себя в Ясной Поляне читал пускай чудовищные, но все же строки и фразы, если и не написанные, то, по крайней мере, переведенные нашим первым дзенским учителем; и разве этого одного недостаточно, чтобы повергнуть нас в изумление и трепет? — думал я на бессонной своей кровати, вновь вспоминая Васькину коммуналку, седую бровь, улетающую за край фотографии...). Статью эту отыскать оказалось нетрудно; загадка лишь в том, что приведенных выше славных слов о допустимости убийства ради достижения мировой гармонии — слов, которые Толстой цитирует так, как если бы он взял их из этой самой статьи, — нет там, и откуда они взяты, непонятно (Брайен Виктория дает ссылку на некий японский журнал; от этой ссылки проку для нас немного...). Там есть зато другие замечательные слова, частично приводимые — переводимые — Толстым, слова, например, о том, что, какими бы путями человек ни шел в жизни, пусть он, человек, будет свободен от эгоцентрических мыслей и чувств. Даже воюя за свою страну, он не должен испытывать ненависти к врагам. Ему придется, возможно, избавить своего противника от телесного присутствия (*corporeal presence*; чудесная формула для убийства), но пусть он не думает, что есть какие-то самости (*atmans*), пусть не преувеличивает значение отдельных личностей. Никаких отдельных личностей нет. Лишь всепроникающая, всепобеждающая любовь Будды наделяет их значением моральным, религиозным. Когда они свяжут свою судьбу со всепроникающей этой любовью, тогда и начнут что-то значить. Тогда они перестанут быть обособленными единицами, исполненными эгоистических помыслов, а сделаются воплощенной любовью. И даже если придется им сражаться за свой дом и родину — а иногда

Алексей Макушинский

приходится в этом мире, — то пусть они забудут об эгоистических страстях, порожденных ложным представлением о самости. Пусть исполнятся добротой и любовью Будды; пусть возвысятся над разделением на *твое* и *мое*. Рука, занесенная для удара, и глаз, берущий цель на мушку, не принадлежат отдельному человеку, но это орудия, используемые Началом, высшим по сравнению с преходящей жизнью. Поэтому сражаясь, сражайтесь изо всех сил, от всего сердца, в сражении забудьте о своем я и освободитесь от всякой *atman thought*, всякой *самостной мысли*.

Фауст, утренняя заря

Никакого впечатления все это не произвело, показалось мне, и на Виктора ни в тот день, ни на следующий, когда я подсел к нему в университетской столовой. Брайн — как? — переспросил он — Виктория? или Викториа? Брайн Виктория, или, если угодно, Виктория; так зовут его, сказал я. Это мужчина или женщина? Это мужчина, и это фамилия. Ничего себе фамилия, произнес Виктор... За широкими окнами столовой, не в силах проснуться, стояла зимняя хмурая; туманные клоуны висели на холмах и над крышами; ветлы скрывали реку; пятна снега на блекло-зеленой лужайке казались одинокими островами на карте воображаемых океанов. Виктор оживился, лишь когда я упомянул в разговоре Боба Р., буддистский центр в Нижней Баварии; лицо его в огромном и зимнем свете, падавшем из окна, само посветлело; страдальческие сумасшедшие глаза заиграли осмысленным блеском. Пару раз, мотая головой и встряхивая кудрями, переспросил он, как называется заведение. В университетских столовых всегда очень шумно; гремят подносы, приборы; в привычном для них, а все равно искусственном, напущенном на себя возбуждении переговариваются, перекликаются, хохочут и гогочут

студенты. Как все, оказывается, п-п-просто, как б-б-близко. Все всегда очень близко, всегда (ответил я) за углом. Мир духов рядом, дверь не на запоре... В его глазах стояло недоумение; он не узнал цитаты. Это «Фауст» в переводе Пастернака, сообщил я ему (с отвращением чувствуя, что снова впадаю в роль университетского преподавателя, цитирующего, прости господи, классиков). Мир духов рядом, дверь не на запоре, лишь сам ты слеп и все в тебе мертво. Умойся в утренней заре, как в море. Очнись, вот этот мир, войди в него... Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot. Auf! Bade, Schüler, unverdrossen die ird'sche Brust im Morgenrot. Это первая из двух цитат (не удержавшись, сказал я), очень мною любимых, не дзенских и не буддистских, но все же связанных для меня с моими дзенскими опытами; отсылающих в ту же сторону. А вторая? Джалаладдин Руми в переводе Фридриха Рюккерта. Когда любовь пробуждается, умирает я, темный деспот... Du laß ihn sterben in der Nacht und atme frei im Morgenrot. И там, и там — утренняя заря; может быть, Рюккерт вспоминал эти строки Гете, когда переводил Руми? И там, и там — ямб, и у Гете, и у Рюккерта четырехстопный, хотя и с совсем разной рифмовкою, поскольку Рюккерт в соответствии, наверное, с ориентальным оригиналом, нанизывает мужские окончания, оставляя незарифмованными нечетные строки, а у Гете это классическая, и простейшая, европейская строфа с чередованием женских и мужских клаузул (говорил я, впадая обратно в дурацкую роль доцента), но все равно это ямб, и четырехстопный, и вообще не мог же Рюккерт, переводя Руми, не думать о Гете, о его «Западно-восточном диване», первой, в сущности, по крайней мере первой столь значительной попытке привить восточную розу к западному дичку... Так или примерно так говорил я, по ту сторону своих слов вспоминая Ген-наадия,

Алексей Макушинский

шоколадные конфеты, кошачью повадку, окна на Невский. Мои литературоведческие наблюдения оставили Виктора равнодушным; даже не попытался он изобразить интерес к четырехстопному ямбу, мужским клаузулам. Но сами стихи произвели на него впечатление. Он попросил меня повторить их. Потом попросил их записать для него. Бумаги у нас не было. За тем же длинным столом, за которым сидели мы у окна, сидели у прохода две студентки, прислушивавшиеся к нашей непонятной им русской беседе с вкраплением немецких цитат; одна из них вырвала из блокнота страницу, на которой, отодвинув поднос с остатками картофельного пюре в луковом темном соусе (еда в той столовой подавалась не на тарелках, но прямо в углублениях подноса), я и записал для него оба текста, заодно уж и адрес буддистского центра, фамилию Боба; Виктор, тоже покончивший с картофельным пюре, соусом, овощами, зеленоватым десертом в стаканчике (мяса, на моей памяти, он не ел никогда), сперва, сделав загиб и проведя по нему ногтями, долго и тщательно отрывал лохматый край страницы с полукружиями, оставшимися от дырочек (в которые в таких блокнотах продевается стальная спираль); затем так же тщательно, так же долго, сложив страницу пополам, водил по новому загибу ногтями, очевидно, уже не думая о том, что он делает, думая о другом, принимая свое решение. Над зеленой с белыми снежными островами лужайкой кружился, даже сквозь стекла оглушая нас, спасательный оранжевый вертолет (такие вертолеты садились иногда на этой лужайке, ближе к городской больнице им сесть было негде); кружился, словно выискивал что-то; выискивая, вверх-вниз покачав хвостом, опустился среди белых пятен, сам превращаясь в оранжевое пятно, очень яркое в окружающей его зимней блеклости. Никто не вышел из вертолета, никакая «Скорая помощь» к нему не подъехала. Посыпался

снова снег из мутной, с черным исподом тучи, набежавшей на холмы, университет и лужайку; когда туча пробежала, солнце выглянуло стальным, блестящим, неярким, осязаемым кругом; вертолет, решив, похоже, что ему на этой лужайке не нравится, делать здесь нечего, снова, загрохотав, закружив свой винт, поднялся в воздух; покачал хвостом; сквозь засиявший на солнце день полетел в сторону врезанной в небо, над долиною нависающей крепости.

Отшельник, пустынный

Я ничего не знал в ту пору о Викторе, да он ничего и не рассказывал о себе. Не рассказал (лишь гораздо позже, во Франкфурте, рассказал мне) о том, что сразу после нашего разговора в столовой разыскал в Интернете адрес нижнебаварского буддистского центра, и уже через две или три недели, не дожидаясь конца семестра, прогуливая занятия (студенты это могут; могли, во всяком случае, до злосчастной болонской реформы; преподаватели, к их несчастью, нет), поехал туда, и познакомился с Бобом, и начал делать сессин за сессином (при том, что денег у него не было, и те сорок евро в день, которые нужно было заплатить за проживание и за еду, раздобыть ему было непросто, и приходилось в остальное время экономить на всем — не пить даже кофе в кафетерии, и уж совсем не было денег для так называемой *даны* — дани, добровольного пожертвования Бобу, который, впрочем, узнав о Викторовой нужде, просил его ничего не класть в коробочку, в конце сессина выставляемую для сбора этих добровольных денег, заменяющих гонорар; Виктор клал, конечно, какие-то деньги в эту коробочку, пускай совсем маленькие, сэкономленные на кофе в кафетерии, на покупке просроченного йогурта в супермаркете и вчерашнего, за полцены продаваемого в булочной хлеба...); то есть (и вот

Алексей Макушинский

это самое удивительное, думал я, с бугра переваливаясь на бугор) приходил ко мне на посиделки с Кристофом и *сидел* замечательно, очень прямо, не шевелясь, глядя в стену, с полной и безоглядной отдачей (я это тоже чувствовал или мне казалось, по крайней мере, что они оба, и Кристоф, и Виктор, сидят гораздо лучше и сосредоточеннее, чем я сам), и на боль в ногах не жаловался никогда (хотя, наверное, и у него болели они, как у всех), и после дза-дзена оставался пить зеленый чай из китайских маленьких пиалушек и слушать рассказы Кристофа о пальмовых листьях под ногами и скоростной еде по пути в Бенарес, и ни разу ни единым словом не обмолвился о своей подлинной дзенской жизни — сказал лишь, что еще в Питере ходил в маленькую, любительскую группку, пытавшуюся то *сидеть*, то читать сообца Догена, вскоре распавшуюся. Я только теперь понимаю, что эти два года были для него той эпохой, когда он начал думать о себе как о дзен-буддисте. До этого он был никто, просто мальчик, потом студент, по настоянию и под понукания родителей закончивший экономический факультет Петербургского университета; теперь он стал дзен-буддистом. И он не страдал от эйхштеттского одиночества, эйхштеттского безлюдья (как я сам страдал от них, убегал от них, куда мог, когда мог); он был в душе отшельник, пустынный; пустынность местности подходила ему. Не страдая от одиночества, он страдал, мне кажется, от жизни как таковой. С самой ранней юности, едва ли не с детства, как он впоследствии мне признавался, преследовали его приступы тоски, столь сильной, что он иногда не уверен был, что с ними справится, то есть в конце одного приступа не уверен был, что справится со следующим, или со следующим после следующего, скорее уверен был, что один из этих приступов с ним покончит или он сам покончит с собою, не выплыв, например, из какой-нибудь водовороти-

сто-бурливой реки... Он был из тех людей, иными словами, для которых — как таковая, в ее, скажем, непосредственной данности — жизнь невозможна, невыносима. Для него жизнь, предоставленная самой себе, вела в тупик и была тупиком; а он искал выхода, хотя бы просвета. В эти эйхштеттские годы такой выход ему увиделся, такой просвет его поманил.

Пит и пигалица

И он был, теперь получается, единственным из моих студентов, кого я приглашал к себе домой, на наши дзенские с Кристофом посиделки — с прибавлением к ним Виктора получившие даже некую регулярность (чуть ли не каждый вторник мы собирались); из этих же посиделок по-настоящему запомнилась мне одна — та, тоже единственная, когда мы не втроем сидели, но вчетвером, вместе с дзен-буддистом весьма примечательным, увы, всего однажды мне встретившимся на моем, если его и вправду можно назвать так, дзенском пути. Виктору, насколько я знаю, тоже не встречался он более. Это был некий голландец по имени Пит, когда-то где-то на его собственном пути повстречавшийся Кристофу (в бенаресском поезде, в бенгальской столовой); вдруг приехавший к нему в Эйхштетт; Кристоф, с моего согласия, позвал его *посидеть* вместе с нами. Мы даже не вчетвером, но впятером должны были *сидеть* в тот вечер, поскольку, узнал я от Кристофа, он не один приехал в Эйхштетт, этот голландец Пит, а вместе с девушкой, тоже голландкой, тоже буддисткой. Девушка, однако, на дза-дзен не пришла, опоздала; позвонила в дверь, когда мы уже *отсидели*; разминая затекшие ноги, готовились к чаепитию; оказалась крошечной, страшненькой, бритоголовой, с мелкими не чертами, но прямо черточками, не лица, но личика, невыразительными настолько, что я даже имени ее теперь не могу и на гористой гостиничной кровати никак

Алексей Макушинский

не мог вспомнить. Голландец же Пит был длинный, весь узкий, с комически вытянутым лицом, с длинным подбородком и высоким, на самом верху идеально круглым, до блестящей буддистской синевы выбритым черепом, с длинными, тонюсенькими, какими-то *насекомыми* руками, ногами и пальцами, которые, казалось мне, при случае могли и сломаться. Глаза у него были огромные, сонно-серые, с трудом помещавшиеся на этом вытянутом узком лице, как будто готовые свалиться с него, вот сейчас: один направо, другой, значит, налево; на мир, косоглазья, смотрел он из-под припущенных век, хлопающих ресниц, с большим равнодушием. Ни обо мне, ни о Викторе он ни Виктора, ни меня не расспрашивал; не знаю, понимал ли толком, кто мы вообще такие; зато, наводимый вопросами чуть-чуть, похоже, гордившегося знакомством со столь *продвинутым* человеком Кристофа, охотно, ровным голосом, с тем мягким акцентом, детским выговором, какой появляется у голландцев, когда говорят они или пытаются говорить по-немецки, рассказывал о своих приключениях в Японии, в японских, причем суровейших, риндзайских монастырях, в одном из которых, в Кобе, прожил лет пять или шесть, и в другом, в Киото, еще сколько-то, тоже немало; в первом из этих монастырей, как он ровным голосом, детским выговором рассказывал нам, подливая себе зеленого чаю из чайника и отнюдь не брезгуя мятными пряниками, купленными мною в русской лавочке по соседству, он поначалу жил как своего рода послушник, когда же решил поступить в заправские монахи, должен был оттуда уехать, затем возвратиться — и затем два дня просидеть в прихожей, в доказательство своей готовности к аскетическому подвигу, на коленях, прижавшись лбом к ледяному дощатому полу, причем его периодически сбрасывали с лестницы грубыми пинками и с громкими криками, что нет места в монастыре для него, недостойного, ничтожного, никому здесь не нужного

иностранца, хотя и он сам, и наслаждавшиеся своими криками и пинками монахи отлично знали, что место для него было, и это просто был такой ритуал, и даже это не просто был такой ритуал, но это сбрасывание с лестницы было почти счастьем для него, Пита, поскольку позволяло ему хоть пару раз в день размять затекшие руки, онемевшие ноги, рассказывал Пит, демонстрируя свои длиннющие и тонюсенькие насекомые ноги, насекомые руки, которые так легко было представить себе ломающимися при пересчете ступенек и которыми он сразу же ухватил свою, с забытым мною именем, пигалицу, когда она появилась; едва она, крошечная, уселась рядом с ним на диване, как пустились они целоваться, и шарить пальчиками по спине друг у дружки, и залезать друг дружке под свитерок и под маечку, и прижиматься друг к дружке коленками, так что, мне подумалось, вот сейчас займутся они любовью, у нас на изумленных глазах; вместо этого, поднимая сонные веки, поглощая чай с пряниками и по-прежнему, видимо, не очень хорошо сознавая, где он находится и с кем говорит, Пит, прижимая к себе бритоголовую и, в свою очередь, не брезгавшую пряниками пигалицу, продолжил, детским выговором, рассказ о своих подвигах страсготерпца в риндзайском монастыре, где особенно плохо, он рассказывал, приходится новичкам и хуже всех тому из них, кто поступил в монастырь последним, поскольку все над ним измываются, как только могут, помыкают им и понукают его в полнейшее свое удовольствие, заставляют его собирать с пола и доедать просыпавшийся во время общих трапез рис или что бы там на пол ни просыпалось, и доедать все остатки — в монастыре ничего-де пропадать не должно, ни крошки, ни рисинки, — и чуть ли не насильно в него эти остатки запихивают, а он уже давится, уже готов возвратить все обратно, и одна только у него есть надежда — что поступит, наконец, в монастырь новый новенький, над

Алексей Макушинский

которым он, теперь уже новенький не совсем новый, вместе с прочими начнет измываться, и он вправду видел, рассказывал Пит, доедая последний пряник, как такого новейшего новенького заставили сожрать собственную блевотину, и нет, он вовсе не утверждает, что все монастыри такие, есть куда более легкие, мягкие, но этот был вот такой, и он прожил в нем несколько лет, он все выдержал; и никто — ни я, ни Виктор, ни Кристоф — не решился спросить его, что он там пережил помимо издевательств над новичками, пережил ли сатори, решил ли, и если решил, то какие, коаны (в дзенском мире об этом никто никого не спрашивает); и я только думал, глядя на него и на пигалицу, не без, признаюсь, злорадства, что ни в какой монастырь, ни в более, ни в менее легкий, ни школы Риндзай, ни школы Сото я уже не поеду — вышло мое времечко, прошло мое увлечение (как в другой жизни, в Васькиной коммуналке, думал, не злорадствуя, но втайне все-таки радуясь, что не поеду я ни в какой Иволгинский дацан, ни в каком плацкартном вагоне...); Виктор же, преувеличенными глазами, с непроницаемым лицом глядя на пигалицу и Пита, думал, наверное, совсем другие думы; думал, может быть, что и он, Виктор, когда придет его очередь, не дрогнет и не отступит, отстоит на коленях и на полу сколько нужно, все выдержит, все превозможет.

Снова Франкфурт, толчая небоскребов

И вскорости мы не то что поссорились с Кристофом, но как-то сами собою прекратились наши *сидения*, после того как он, Кристоф, в отсутствие Виктора, вместо обычной индийско-гастрономической болтовни за после-дза-дзенским зеленым чаем, пустился в разглагольствования о бедных

палестинцах и зловредном Израиле, на все же мои попытки поколебать его убогие представления о мире отвечал обычным, за годы моей европейской университетской жизни уже окончательную оскомину набившим мне набором непрошибаемых штампов — империализм, глобализм, страдания Третьего мира, — так что мне все сильнее хотелось послать его к чертовой бабушке и другим родственникам рогатого. Я сдержался, а все-таки сидения наши сами собой прекратились, Кристоф, может быть, отправился в очередной раз в мифологический Непал и абстрактную Индию, во всяком случае, не звонил и вестей о себе не подавал. Тогда же исчез и Виктор; исчез, в свою очередь, незаметно, не попрощавшись (или так мне теперь это помнится); просто, видимо, уехал из Эйхштетта, отучившись там свои четыре семестра; то есть исчез, как я теперь понимаю, в конце летнего семестра 2003 года, того летнего семестра 2003 года, во время которого я сам, после нескольких стихотворений, сочиненных мною одно за другим, в июле, в очень сильную, навсегда мне запомнившуюся жару, в новой и для меня самого неожиданной безрифменной манере, отчетливо ритмизированным верлибром, окончательно поверил в свою способность писать стихи непостыдные (и сразу все повернулось в другую сторону или другой стороною, как ландшафт, внезапно и счастливо освещенный из-за грозной тучи пробившимся солнцем; или, наоборот, как ландшафт, сожженный жарою, на который набежало, наконец, дождевое вожденное облако); я, похоже, и не задумывался о Викторе, не спрашивал себя, куда он запропастился, а если спрашивал, то не стремясь получить ответ, вчуже любопытствовал, но и все тут, и уж точно разыскать его не пытался, разыскивать не собирался, почти забыл о нем — до той самой поездки во Франкфурт, когда в вагоне ICE познакомился с поедающей сэндвич Тиной; и поскольку

Алексей Макушинский

одно вызывало в памяти другое, под утро, лежа на окончательно гористой, скалистой, уже прямо непальско-тибетской кровати, вновь вспоминал, перекаtywаясь с горы на гору, с Эвереста на Джомолунгму, как мы с ней сидели в этом издававшем драконий свист экспрессы, наблюдая за разноцветной конною армией, не скакавшей, но тихо, с непреклонной уверенностью в победе двигавшейся на штурм промышленных ангаров, далеких холмов, и как я удивил ее (не армию, конечно, а Тину) своим экзотическим происхождением и слабостью к древнегерманским, нацизмом опороченным именам (Ирмгард, Гертруд и Эдельгейд). Уже франкфуртские башни появились и засверкали за окнами, вся эта волшебная толчея небоскребов, всякий раз восхищающая меня, когда я подъезжаю к городу, на поезде ли, на машине... Тина дала мне свою карточку, когда толчея небоскребов за окнами отозвалась толчеею в проходе между кресел вагона и все чемоданы на своих колесиках потащились вместе с владельцами к выходу; еще помню, как удивлена была моя тогдашняя подруга Вика (Габриэла Виктория Моника), увидев меня сходящим с поезда вместе с незнакомой толстухой. Уже мои отношения с этой Викой разлаживались, уже она искала повода для недовольства и спора. Что, собственно, подтолкнуло меня на другой день по приезде, сидя за Викиным компьютером после очередной ссоры с нею, в ее квартире в Эшерсгейме, франкфуртском пригороде (квартире, славной тем, что видны были из окна и с балкона все башни, все небоскребы на фоне плоских холмов), задать в поисковой программе (уже в Google или еще в Yahoo? кто теперь это помнит?) имя Боба Р., моего, четырьмя годами ранее, дзенского наставника, я не знаю (ссора с Викторией? скука? ощущение неправильности жизни? ненужности со мною происходящего?); велико же было мое изумление, когда поисковая программа (Yahoo или Google)

выплюнула мне первым делом интернетную страничку местной, то есть франкфуртской, дзен-буддистской группы (сангхи) — одной из нескольких франкфуртских групп (или сангх), — на каковой страничке, среди прочего, лучше — в первую очередь, сообщалось, что этой группой руководит не кто иной, как именно Боб, уже лет десять, с тех пор как он, Боб, со своей японской женою и двумя, как я впоследствии имел возможность убедиться, тоже очень японскими, не очень, к несчастью, здоровыми детьми поселился в Кронберге, одном из соседних с Франкфуртом городишек. Приложены были фотографии созданного сангхой зала для медитации; имелся адрес; имелось и расписание дза-дзена утреннего, дза-дзена вечернего; ближайший вечерний был через два часа. В пору моих дзенских опытов, пятью и четырьмя годами ранее, я и не задумывался о том, откуда Боб приезжает в Нижнюю Баварию, на романтический хутор. Теперь я знал откуда. Дзен-до, между прочим, располагалось (и располагается) в одном из лучших и самых дорогих районов Франкфурта, в Вестенде (и совсем недалеко от той улицы, где жила, живет Тина), одном из тех районов (их во Франкфурте тоже несколько), где какая-либо *недвижимость*, говоря языком газетных объявлений, если вообще сдается, то сдается по вполне астрономическим, вполне фантастическим ценам, так что я и тогда не понимал, и до сих пор не понимаю, на какие пожертвования каких банкиров могло и может маленькое буддистское сообщество, до недавнего времени по пути дхармы ведомое Бобом, снять — или даже купить? — то, для жилья, впрочем, непригодное (чем, по-видимому, и объясняется возможность снять его), на перестроенную оранжерею похожее помещение, где, когда я впервые туда попал, не было поначалу никого, кроме Боба и еще одного, молодого, с сине-бритой головою адепта, искателя просветленья.

Сангха

Нужно было сперва позвонить с улицы в высокую, с решетками, дверь (и долго ждать, покуда она зажуужит и поддается нажиму); за дверью была длинная узкая арка; за аркою двор с навесом для велосипедов у стены и конско-каштановым, многоствольным и раскидистым деревом посередине; за двором другой двор. В первом дворе, почти скрытый каштаном, сидел на лавочке пожилой, улыбающийся, красным шарфом замотанный господин, просто, как я впоследствии выяснил, житель этого двора и дома, почему-то часто сидевший без всякого дела на лавочке, — тоже, значит, по-своему, мечтатель и созерцатель, никакого отношения к дзену не имевший — если не считать таковым его очень кустистые, седые, размашистые брови над маленькими, мирно-колючими глазками, — брови, своим лихим разлетом сразу напомнившие мне ту фотографию Д.Т. Судзуки, на которую так часто смотрели мы с Васькой-буддистом, которая висела у него в коммуналке на не помню какой линии Васильевского острова, вечность назад, в другой жизни. К буддистам — сюда, сказал мне улыбающийся Судзуки, указывая на другую, тоже узкую, на сей раз недлинную арку. В глубине второго двора обнаружилась пристройка, когда-то и в самом деле бывшая, похоже, оранжереей — со стеклянной крышей и отчасти стеклянными стенами, скрытыми от любопытных или равнодушных взглядов обитателей двух дворов высоким японским бамбуком, сухо шелестевшим на своем собственном, тоже, наверно, японском, для людей неощутимом ветру; среди бамбука обнаружился и крошечный, загогулистый прудик с плоскими камнями, к нему ведущими, и камнями круглыми, лежавшими в нем самом. Мне показалось, когда я вошел и увидел Боба с синеглавым адептом, сидящих на

подушках друг против друга, что это докусан, что они говорят, может быть, о коане, над которым как раз работает (медитирует, мучается, стенает, бьется...) синеглавый адепт. Боб, в нижнебаварском уединении всегда ходивший в простой рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу (седой отличник, лучший ученик в классе), здесь, к немалому моему изумлению, был как раз в дзенском черном одеянии с золотым блестящим нагрудником; в одном из тех торжественных одеяний, о которых только в книжках читал я. Они оба встали, когда я вошел; Боб тут же меня узнал. Мне показалось, он был рад моему приходу. Глаза у него были такие же светлые; волосы за прошедшие четыре года решились, наконец, из волос блондина превратиться в волосы блондина бывшего, поседевшего, пожившего на земле. Огромные, сумасшедшие, тут же бросившиеся мне навстречу глаза были у синеглавого адепта, который, пока я говорил с Бобом, словно выпал из моего поля зрения, или так мне теперь это помнится, и затем опять появился, в нашем разговоре с Бобом не принимая, впрочем, участия, но занятый раскладыванием подушек для дза-дзена, которые, прежде чем положить их на маты, он слегка подбрасывал и взбивал короткими быстрыми хлопками по их закругленным бокам. Я все еще не узнавал его, и не только, наверное, потому, что никак не ожидал его здесь увидеть, но и потому еще, что так сильно он изменился. Отсутствие рязанских кудрей делало его другим человеком. Это был другой человек, еще очень молодой, но уже несомненно взрослый, одетый в черное (черные джинсы, черную водолазку) буддист. Он подошел ко мне, наконец; уши его торчали на голом лице как два отдельных существа, два зверька. В глазах по-прежнему стояло страдание; стоял, рядом со страданием, дружески приобняв его, смех. Здравствуйте, Алексей Анатольевич (русские студенты, и бывшие студенты

Алексей Макушинский

тоже, иногда называют меня по имени-отчеству). Я попросил его оставить *Анатольевича* в покое. Он показал — улыбкой на лице и смехом в глазах, — что узнает мой *стиль юмора*. Кого угодно, Виктор, я ожидал здесь встретить, только не вас. Почему? — спросил он... Появились — в воспоминании кажется, что все сразу — другие персонажи сангхи, среди них та польская дама (Ирена), с которой вместе продавали мы оба моих сессина и которая приветствовала меня так бурно и радостно, как будто что-то еще нас с ней связывало. Такая же была на ней зеленая кофточка, с такой же плутовской честностью смотрела она своими зелеными, славянскими, игриво-искренними глазами. Больше я никого не знал; с тех пор узнал многих. Один из них был известный во Франкфурте адвокат: уже пожилой, очень вальяжный, богатый, снявший в предбаннике такие миллионерские ботинки (ручной работы, с узором из недопробитых дырочек на носках), какие я видывал только у двух или трех незабываемых персонажей моей жизни, на какие мне самому всегда было жалко потратить полтысячи (по скромному счету) евро (а подделки покупать не хотелось, не хочется). Дзеном, как впоследствии выяснилось, занимался он чуть ли не с семидесятых годов, когда никто еще во Франкфурте никаким дзеном не занимался; похож был при этом не на Судзуки, а скорее уж прямо на Гете, на поздние портреты Гете с ордемом на груди и государственными складками у подбородка (с годами и с его старением сходство усиливалось); да и звали его (зовут его) просто-напросто — Вольфганг. Другой и тоже отчасти деловой человек, упрямый дзенский адепт именем — Герхард, маленький, решительный и быстрый, похож был — в пику гетеобразному Вольфгангу — и даже очень сильно похож был, так что я сразу подумал об этом, на Гейдеггера; такие же, как почти на всех, иранских, и поздних,

фотографиях фрейбургского бытийствующего прорицателя, были у него зализанные назад темные волосы, обрамлявшие отчетливые залысины над широким покатым лбом, такие же мелкие колючие глазки и колючие усики, навсегда, на мой вкус, скомпрометированные сходством с другим историческим персонажем, по-своему тоже философом, не объяснявшим, но, увы, изменявшим мир (по завету третьего, обильно бородатого исторического персонажа). Еще помню некую Зильке, некую Анну, двух девушек в потертых джинсах и рубашках навывпуск, при ближайшем рассмотрении оказавшихся девушками лет по пятидесяти, вечными студентками, с течением жизни и времени превратившимися в вечных училок; одна из них (пшенично-блондиновая Зильке; Анна, та была рыжая) не просто учительствовала, но учила других училок учительствовать, занимаясь сим страшным делом на кафедре так называемой дидактики (только вот не помню, дидактики чего именно, то ли истории, то ли немецкого языка) во Франкфуртском университете, в то время как раз переехавшем (или переезжавшем) в замечательное здание — не новое, но отреставрированное старое — на западе города, в пешеходной близости от дзендо... Поразив меня еще больше, Виктор сел ошую от Боба, значит, получил в свое распоряжение и часы, и медную миску с битой (потом выяснилось, что эту роль здесь тоже играют по очереди). Он быстро и громко ударил битой три раза; как-то особенно долго, я помню, не затихал последний удар; смолкающий звук его вибрировал и вибрировал в воздухе. Я уже писал тогда стихи, и дзен для меня был в прошлом. Прошлое имеет свойство возвращаться к нам, оживать в настоящем. Я вскоре почувствовал то огромное успокоение, которое чувствовал, бывало, во время моих сессивных, четырьмя годами ранее; ноги, конечно, немели, спи-

Алексей Макушинский

на болела; но очень скоро исчезла эта боль; немота, ломота забылись; мысли, как светлые облака, проходили по счастливому небу; даже кинхин не вызвал во мне всегдашней глупой веселости. Мы отсидели традиционные три периода по двадцать пять минут; не помню, кто разнес чай; чай, как выяснилось, здесь было принято пить после каждого дза-дзена, еще в молчании, но уже сидя лицом к залу; вслед за чаем, с должными подвываниями, прочитана была «Сутра сердца», «Праджняпарамита хридая сутра», в очередной раз сообщившая мне, что форма — это пустота и пустота — это форма, что нет никакой разницы между ними и нет, на самом деле, ни старости, ни смерти, ни избавления от смерти и старости, ни страдания, ни причины страдания, ни пути, ни познания, ни достижения. Когда все закончилось и я сумел встать на онемевшие ноги, Боб, улыбнувшись понимающей улыбкой, облив меня сиянием своих глаз, сообщил мне, что через неделю у него дома в Кронберге будет ежегодный праздник их сангхи, нет (отвечая на мой вопрос), не связанный ни с какой буддистской датой (главный буддистский праздник, Весак, всегда, как мне известно, происходит весной, в мае, в начале июня), но скорее отмечающий (теперь уже в десятый раз, вот ведь как) открытие их дзен-до (он обвел рукою и взглядом циновки, татами, стеклянные и не-стеклянные стены, бамбук за окном); если, сказал Боб, я еще буду во Франкфурте в это время и если я хочу, то почему бы мне не приехать на этот праздник, эту, скорей, вечеринку (this small party) вместе с Виктором (с которым, если он правильно понял, я ведь давно знаком по университету, не так ли?) Я собирался уехать раньше, но тут же решил во Франкфурте задержаться, несмотря на все ссоры с уже готовой исчезнуть из моей жизни подругой Викой.

Музейный берег

Виктор, когда мы с ним вышли в тот вечер на улицу, перешли на русский язык, рассказал мне, что перебрался во Франкфурт годом (примерно) раньше, чтобы (он покраснел) быть поближе к у-у-учителю. Его стипендия в Эйхштетте как раз закончилась, и он не знал, что делать: то ли возвращаться в Россию, то ли... Он поступил работать в банк, короче. Он? в банк? Он — в банк, отвечал Виктор на мое восклицание, мое изумление, тыча рукою в сторону банковских башен, светившихся в прозрачном городском небе, над темными крышами. В одну из этих башен, вон в ту. Его сразу же и взяли в банк, с его экономическим образованием, математическими достижениями и прочими данными. Он ненавидит свою работу. Он давно бы ее бросил, если бы не должен был ходить на службу ради визы в паспорте. Если он когда-нибудь получит немецкое гражданство, то службу бросит немедленно. Бросит службу, уедет в Японию. Или останется здесь, рядом с у-у-учителем. Еще рано об этом думать. Пока он работает, ходит в банк, каждый день. Он никогда в жизни не зарабатывал и не имел таких денег. Иметь деньги довольно приятно... Мы и пошли, я помню, в сторону банковских небоскребов, то есть в сторону «Сити», как говорят во Франкфурте, по темным и тихим улицам Вестенда с их то ли не погибшими при бомбежках, то ли удачно подделанными особняками из красного камня, вышли на Бокенгеймерландштрассе, затем вышли к Старой опере и по всегда, кроме выходных дней, пустынным, теперь, будним вечером, темным и страшноватым парковым полосам (иначе не знаю, как назвать их; настоящим парком их явно не назовешь), окружающим самую старую часть города (и повторяющим, как это в германских городах бывает нередко, рисунок средневековых стен, снесенных за нена-

Алексей Макушинский

добностью в XIX веке), к Новой опере и драматическому театру, наконец к реке, спустились по лестнице, перешли через железнодорожные пути, почему-то бегущие вдоль реки по газону, отделяющему от автомобильной улицы пешеходную набережную. Огни пришвартованных пароходиков тоже пытались бежать по воде. Виктор жил на другом берегу, в Заксенгаузене; по другому берегу, так называемому Музейному, и пошли мы (предвестие грядущих прогулок) на восток (где тогда еще не только не строили, но, кажется, еще и не собирались строить новое здание Европейского центрального банка, за постепенным ростом которого мне суждено было наблюдать впоследствии с растущим, в свою очередь, восхищением), удаляясь от уже готовых, уже давно или не очень давно возведенных небоскребов, тесной рощицей стоящих на одном пятачке. Мы на них, конечно, оглядывались. Во всем своем державном великолепии видны они с того берега: и самый высокий из них, вообще самый высокий в Германии, спроектированный Норманом Фостером небоскреб Коммерцбанка с торчащей над ним антенной, и, поодаль, зеркальные башни банка Немецкого, и тогда еще не заслоненная соседним небоскребом стеклянно-цилиндрическая башня Майнская, как официально она именуется, предоставляющая всем, у кого не кружится голова, возможность полюбоваться городом и окрестными горами с открытой площадки, из облачных высей, и все прочие, как бы ни назывались они; небоскребы и башни, замечательные, я часто думаю, не только сами по себе, но и своим несходством друг с другом, отсутствием общего плана, лилового гребня. В темноте, сквозь ветви платанов, которыми усажен Музейный берег, что-то почти домашнее появляется в их державности, те немногие окна, которые светятся в них, светятся почти, пожалуй, уютно, как если бы там кто-то нас ждал.

Перевернутые огни

Еще я должен был привыкнуть к этому новому Виктору, к буддистскому блеску его синего черепа, к этому ощущению деловой и дзенской, им обретенной, уверенности. Вот здесь он бегаёт по утрам. Да, он по-прежнему бегаёт, вообще много занимается спортом. Всегда много занимался спортом и по-прежнему занимается. В свой банк, вон в ту башню, ездит на велосипеде. Что же, прямо в костюме? — спросил я (попытавшись представить себе Виктора в безлично-банковском одеянии, с бритой головой и оттопыренными ушами, катящим на велосипеде по набережной, на радость прохожим). Иногда и в костюме. У него есть в банке сменный костюм. Он даже к Бобу в Кронберг ездит на велосипеде, хотя это путь неблизкий. Между прочим, это жена Боба устроила его в банк. То есть это Боб все устроил, через свою жену. Она японка, она работает в банке. Они потому и переехали во Франкфурт, что ее перевели сюда из Осаки. У их банка есть филиалы в Японии и есть филиалы в России. Здесь японцев вообще много, русских тоже немало... Когда же он познакомился с Бобом? А вот тогда, сразу же, когда я рассказал ему о нижнебаварском центре, в университетской столовой. И сколько он сделал сессивов? За эти годы десять или двенадцать. Сколько? Десять или двенадцать, он точно не помнит. Он не пропустил ни одного сессива с Бобом в Нижней Баварии. С тех пор как он поступил на службу в банк, уже у него нет возможности так часто брать отпуск; он стал человеком подневольным... А почему же, почему же и почему же, Виктор, когда мы сидели вдвоем с Кристофом у меня в большой комнате, вы ни словом не обмолвились о вашем знакомстве с Бобом, о поездках на буддистский хутор, вообще обо всем этом? Он ответил, что он не знает. Он приходил *сидеть*, а не говорить. Кристоф говорил за нас за всех троих, Кристоф так охотно рассказывал о

Алексей Макушинский

Бенгалии, Бенаресе, тарелках в поезде, листьях в столовой... А почему, спросил я, почему вообще дзен на рынке мировоззрений? Вот этого он уж точно не знает. Почему мы вообще то, а не другое выбираем на рынке мировоззрений? Мы оба замолчали, я помню; молча шли вдоль реки, с ее перевернутыми огнями, плещущей чернотой.

Светский разговор о символической переправе

Его рассказ о десяти (или двенадцати) сессинах произвел на меня впечатление; я-то хорошо понимал (и понимаю), что такое двенадцать (даже десять) сессинов; я свой второй сессин уже только домучивал, дотягивал до конца, изнывая от боли в ногах, думая о побеге. Нужна решимость, чтобы выдержать все это, нужно твердо верить, что ты без всего этого обойтись не сумеешь, не выживешь. Передо мною и был человек решившийся (так я думал), окончательно сделавший свой выбор, даже внешне, этой дурацкой бритой головой показывавший, что выбор его окончателен, решение непреложно. Я не сомневался, что и в Японию он уедет, и не просто уедет, но проведет там, в каком-нибудь глухом монастыре в горах, у какого-нибудь знаменитого учителя, легендарного роси, пятнадцать лет, двадцать лет, и наследует от него дхарму, и сам станет, в конце концов, таким роси, и к нему, Виктору, будут приезжать другие паломники, молодые паломники. Я попытался представить себе, сбоку на него глядячи, старого Виктора, с седыми бровями (больше сесть было нечему), с лицом уже не совсем европейским, уже азиатским, китайским... Так-то вы стираете пыль со своего зеркала, сказал я, вспомнив все (Шестого патриарха, Ваську-буддиста). Никакого зеркала нет, и подставки нет, и пыли нет тоже, ответил

Виктор, неожиданной, уверенной улыбкой показывая, что и он может поддержать светскую дзенскую беседу, игру цитат и намеков и что вообще не надо принимать все это уж слишком всерьез. Дзен всегда ироничен; только две религии — дзен и даосизм (прочитал я еще в молодости, в Библиотеке иностранной литературы, у Алана, кажется, Воттса, Ваттса, Уоттса, которого штудировал с таким увлечением) — способны смеяться над самими собой; я, наверное, потому дзен и выбрал (если выбрал его вообще). А почему он выбрал дзен, вновь сказал Виктор, он не знает, он должен еще подумать. Может быть, из-за Шестого патриарха? Когда ему впервые, еще в Питере, один... один ч-ч-человек рассказал историю Шестого патриарха и прочитал ему оба стихотворения — и стихотворение Шень-сю, и стихотворение Хуэй-нэня, то все это ему так понравилось, говорил Виктор, уверенной и светской улыбкой показывая по-прежнему, что вполне всерьез принимать его слова не стоит — так понравилось ему все это, что уже и не мог он не выбрать дзен на рынке мировоззрений. А продолжение истории! Как он бежал из монастыря, получив от Пятого патриарха рясю и чашу, знаки его патриаршества, опасаясь завистников, и как Пятый патриарх, Хунь-жень, проводил его до реки и переплыл с ним реку в наемной лодчонке, причем они всю дорогу спорили, кто из них должен грести, и Шестой патриарх настоял на том, что он будет грести, не потому что он моложе и сильнее, а потому что он — восприимчив дхармы и помощь учителя ему уже не нужна. Теперь он сам со всем справится... Как было не прельститься этим? как не очароваться? — говорил Виктор с окончательно светской улыбкой. Вы понимаете, что это переправа символическая, сказал я, то есть они, может быть, и вправду переправлялись через какую-то реку, но вместе с тем это переправа символическая, сказал я (чувствуя, что, как

Алексей Макушинский

некогда, впадаю в дурацкую роль доцента), прямая отсылка к сутрам Праджняпарамиты, поскольку, как вам известно (известно, наверное, не хуже, а лучше, чем мне), *праджня* — это мудрость, а *парамита*, что иногда переводят как совершенство, в то же время означает переход, переправу — на другой берег, через реку смертей-и-рождений, через море неведения, иллюзий и заблуждений; то есть, говорил я (на Викторovu светскую улыбку отвечая собственной светской улыбкой; в то же время вспоминая разглагольствования Ген-наадия в моей исчезнувшей молодости), санскритское понятие *парамита* можно перевести как «совершенство, переводящее на другой берег», и значит, *праджняпарамита* есть некая мудрость этого совершенства, или совершенство мудрости, или как угодно, говорил я, улыбаясь и даже смеясь, этим смехом отделяя себя от зануды-доцента, который стал бы всерьез все это рассказывать Виктору, не хуже, а гораздо лучше меня понимавшему, что такое *парамита* и *праджня*, в той мере, в какой эти санскритские слова вообще поддаются пониманию и переводу, поскольку дело ведь не в словах, продолжал я, смеясь, разглагольствовать (совсем как Ген-наадий), а в том, что лежит по ту сторону слов, на другом берегу реки... Так много было огней на реке, что вода казалась светящейся; фонари набережных, подсветка мостов, даже верхние окна ближайших небоскребов — все это отражалось, дробилось, дрожало в ней, почти не оставляя пустых темных мест; вся темнота таилась под этими огнями, этой дрожью и дробью, в непроницаемой для глаз глубине.

Дважды два — пять

Неделю спустя мы поехали в Кронберг, городишко в Таунусе (как называются прифранкфуртские невысокие горы), на мой взгляд, скучнейший, один из тех скучнейших таунус-

ских городишек, где селятся банковские богачи, приезжающие по будням в Майнскую метрополию (как вычурно они выражаются) зарабатывать отпущенные им судьбой миллионы (на худой конец миллиончики), по выходным же предпочитающие сидеть на своих виллах, в обществе со-богачей, в своих садиках, за которыми нежно ухаживают их постные жены, редко выбирающиеся в развратный Франкфурт, не пускающие туда балованных деток, обреченных, следовательно, ходить в ясли, в школу и в гимназию вместе с другими такими же, со-детьми со-богачей, соревнуясь с ними по части модных джинсов, компьютеров и кроссовок и знать ничего не зная об учебных заведениях, разбросанных по франкфуртским индустриальным окраинам (в каком-нибудь Ганау, каком-нибудь Оффенбахе), где половина детей — турки, и другая половина — турки тоже, и марихуана продается на школьном дворе, и мордобой кажется простейшей формой коммуникации, и может быть, очень даже хорошо, говорил мне Виктор, когда мы ехали с ним в Кронберг на электричке, что ничего этого не знают таунусские богатейские дети, вряд ли, говорил он, помянете вы добрым словом советскую пролетарскую школу с ее шпаной, ее драками. Нет, он драк никогда не боялся, говорил Виктор, и никакой лиговской шпаны никогда не боялся тоже; он всегда был сильный, спортивный; всегда был немножко (он покраснел и улыбнулся) *к-качок*. Его дразнили его заиканием, но он сразу давал в зубы, так что з-заикаться начинали д-дразнившие, говорил Виктор (и я не знал, верить ему или нет). Они жили на Полюстровском проспекте; то есть сперва жили на Лиговке, в коммуналке; потом, уже в перестройку, переехали на Полюстровский... В вагоне, через проход наискось, сидели, вернее садились, вновь вскакивали три девицы с разноцветными рюкзаками, размалеванными глазницами и губищами, в сопровождении одного, и только

Алексей Макушинский

одного, невзрачного чернявого парнишки в тех широченных штанах, которые держатся непонятно как и на чем и всякий раз норовят съехать с попки хозяина, когда тот встает или вскакивает, а парнишка вскакивал всю недолгую дорогу до Кронберга, то ли демонстрируя барышням спадение штанов, то ли демонстрируя им какие-то танцевальные па (хип-хоп, прихлоп и притоп), которые все они демонстрировали друг другу, дрыгая конечностями под, к счастью, негромкую музыку из мобильного телефона, погатывая и даже попискивая, покрикивая, подпевая в том искусственно-идиотическом возбуждении, которое призвано показать окружающим, прохожим или попутчикам в электричке, какие они (не попутчики, но подростки) *крутые*, какие они cool, как в Германии принято выражаться; усилия, почти трогательные в своей бесплодности, заранее обреченные на провал, поскольку, понятно, никакого впечатления не производит на окружающих взрослых этот детский театр, разве что на нервы им действует. Наискось, в свою очередь, от подростков сидел, отнюдь не вскакивая, седой грузный дядька балканского вида, с выжженным, глинистым и широким лицом, что-то громко шептавший — то ли стихи, то ли молитвы — и, уж конечно, ни малейшего внимания не обращавший на тщетные тинейджерские усилия произвести хоть на кого-нибудь впечатление, — дядька в такой неуклюжей кожаной куртке, каких с восьмидесятых годов я не видывал, и с огромной, совсем советской сеткой, наполненной мелкими, из сеточных дырок готовыми вывалиться огурчиками, стыдливо спрятанной между его нечищенных башмаков, на грязном полу. Виктор смотрел в другую сторону, на меня и в окно; на подростковые спевки ни разу не оглянулся. Я подумал, что ему никакого дела нет до всего этого — до этого, меня так сильно волнующего, пестрого сора фламандской школы, — как не было

ему дела ни до «Бесов», ни до *генезиса русской революции...* А дзен, наверное, потому, сказал он вдруг (отвечая, выходит, на мой вопрос, о котором уже успел забыть я за неделю, с тех пор прошедшую, посвященную ссорам и расставанию с Викою) — потому, наверное, дзен на рынке мировоззрений, что в дзене не нужно верить. Никаких богов, чудес, хождение по водам, воскрешений из мертвых. И это, знаете ли, здорово. Потому что он, Виктор, говорил Виктор, улыбаясь и глядя в окно, где уже густел, еще не гас, осенний и желтый, с длинными тенями и солнечными пятнами вечер, потому что он как-никак человек рациональный, экономист и математик, ему трудно верить, он привык — проверять. Дзен — религия опыта. Не верь Будде, не верь Боддхидхарме, убедись своими глазами. Если дважды два не четыре, а скажем, пять, то никто не предлагает вам в это поверить, а предлагает самому убедиться. Дважды два четыре — да ведь это стена, ответил я не слишком, быть может, изысканной, все же цитатой, им, похоже, неузнанной. Вот именно, и никто не предлагает вам поверить, что за этой стеной что-то есть или что ее можно пробить, и как именно, и уж тем более никто вам не станет рассказывать, какие красоты и блаженства таятся за этой стеною, но вы или пробиваете ее... или не пробиваете. Ему как математику это нравится. Пробиваете стену, переплываете через реку... Между прочим, нам выходить, объявил Виктор, так и не поглядевши ни на дрыганых тинейджеров, ни на огуречного дядьку.

Перечеркнуть психологию

Мы сбились с дороги в Кронберге; Виктор и вправду ездил к Бобу на велосипеде; не знал, как идти от вокзала; раза два, извиняясь, густо краснея, объявлял, что нет, не туда мы идем, пойдём лучше направо, налево. И мы шли налево, направо,

Алексей Макушинский

все равно не в ту сторону, на горку, с горки и снова на горку, по фахверковым улицам; затем оказались, к Викторову изумлению, в парке, пошли через парк. Уже видны были за смутно черневшими деревьями, с краю от грозно-лиловой, полнеба закрывшей тучи, розовые и сизые провалы заката; гравий в аллеях был мокрым от прошедшего и готового возвратиться дождя; листья под ногами скользили, скрипели, вместе с гравием, словно вдруг вскрикивали; большие капли падали с веток; еще что-то всплескивало, всхлипывало вокруг. Я пытался представить себе Бобово жилище, даже немного волновался, я помню, при мысли о том, что вот сейчас, если мы совсем не заблудимся, предстоит мне заглянуть в его внутреннюю (так думал я) жизнь (которая всегда ведь сказывается во внутреннем убранстве наших жилищ); парк, однако, все не кончался; сумерки все сгущались; лиловая туча, темнея, надвигалась на все яростнее красневший закат. А еще, наверное, потому, что можно перечеркнуть психологию, вдруг (опять и в очередной раз вдруг; отвечая уже явно не на мой вопрос, но на свои же мысли) произнес Виктор, скрипя гравием, хлюпая мокрыми листьями; еще потому, наверное, что можно не копать в себе; можно просто себя отменить. Точно помню, что так он выразился, глядя в сторону, хлюпая листьями. Можно в себе не копать, но просто-напросто себя отменить. Наше я иллюзорно, значит и страдания его иллюзорны. Нам к-к-кажется, мы жить не сможем, если не р-р-разберемся с нашими г-г-горестями, начавши изо всех сил заикаться, говорил в сумерках Виктор, а это иллюзия, как и все остальное — иллюзия. Можно и не возиться с собою, просто сидеть в дза-дзене. Нет ни страдания, ни прекращения страдания, нет ни старости, ни смерти, ни избавления от смерти и старости, говорил Виктор, в сумерках, наверное, улыбаясь, но лица его я не видел, нет пути, нет познания,

нет достижения, есть только бескрайнее небо, великолепное и пустое. Дзен п-п-поднимает нас над п-п-психологическим болотом, вновь начиная заикаться и уже, наверное, не улыбаясь, говорил Виктор, над илом и т-т-тиной наших душевных горестей, наших н-невзгод и н-неврозов. Можно просто не думать обо всем этом, не искать никаких решений. Дзен сам по себе решение, одно большее, других уже нам не нужно. Бог с ней, с этой т-тиной и т-тягомотиной, посмотрим на бескрайнее небо. Его синяя голова в окончательно сгустившихся сумерках казалась смутным пятном, расплывчатым шаром; я подумал, что тогда, в Эйхштетте, когда еще так трогательно тряс он своими рязанскими кудрями и скучал на моих занятиях, мы с ним по существу и не говорили и что уж, во всяком случае, никогда он не говорил о себе. Сейчас он явно говорил о себе, но я не решался спросить его, какие невзгоды и горести он имеет в виду. Деревья вокруг нас выростали и ширились с приближением ночи; уже неба не видно было сквозь их темные огромные ветви, над их бурно шумящими кронами; из парка все-таки выбравшись, еще минут двадцать плутали мы по невразумительным улицам, покуда не вышли, на окраине городишки, к плоским, белым, семидесятых годов, двухэтажным домам, в одном из которых и жил Боб с семьей, занимая, как выяснилось, половину его (и половину, соответственно, садика, вернее лужайки с красноягодными кустиками, отделявшими Бобову половину от другой и соседской).

Идеальный беспорядок

Я ожидал увидеть что-то очень японское — ничего японского не нашел; ожидал увидеть дзенский идеальный порядок (пустоту, простоту...) — обнаружил какую-то почти русскую безалаберность обстановки, да и всего мероприятия. Приготовлено ничего не было, хотя все уже собрались.

Алексей Макушинский

В большой гостиной с широким окном на мокрую лужайку раскиданы были детские игрушки, рисунки. Мебель была никакая, икейская; два качающихся кресла из натянутой на гнутые доски парусины; невнятные полочки. Было очень шумно, было много детей, бегавших из сада и в сад... Японская была, конечно, жена Бобова, Ясуко; японские, полуяпонские были дети, мальчик и девочка. Мальчику было лет шесть: он был бойкий, быстрый, похожий скорее на индейца, чем на японца, на потомка ацтеков, наследника инков; бойко и быстро бегал, тряся очень черными, прямыми, длинными, блестящими волосами, из сада в гостиную, из гостиной вновь в сад, вместе с другими, забытыми мною детьми, которых, видно, привезли с собою на праздник их дзенствующие папаши, буддийствующие мамыши. Никуда не бегала девочка; на кривых ножках стояла в ярко-желтом загончике, крошечными ручонками сжимая пластмассовый поручень. Сперва я подумал, что просто она маленькая, трехлетняя; лишь со второго взгляда распознал в ее кукольном личике черты дебилизма, увидел, вздрогнув, ее ужасные, не вовне, но вовнутрь косящие глазки, сплошь темные и как будто вообще без радужек — бессмысленные, расширенные зрачки, упорно смотревшие в одну точку, на скрещении воображаемых линий, незримую прочим смертным; как объяснил мне впоследствии Виктор, ей было уже лет десять, лишь по развитию своему, душевному и телесному, она оставалась и до самого предсказуемо недалекого конца жизни обречена была остаться трехлетней. Другие дети для нее не существовали, как и она для них; пробегая — из сада в гостиную, из гостиной в сад — изредка, я заметил, бросали они на безумицу испуганные, изумленные взгляды. Жены Бобовой почти не было видно: японки умеют быть незримыми. Как выяснилось, она только начала готовить, в глубине гостиной (где,

собственно, и была кухня, скорее символически отделенная от всего остального узкою стойкою); уже все собрались, но с истинно буддистским спокойствием, с непроницаемым лицом, молодым, красивым и тоже, совсем чуть-чуть, кукольным, что-то она резала, жарила, раскатывала скалкой и резала снова, приветствовала прибывавших гостей, не прерывая резки и жарки, изредка вступая с кем-нибудь, с Иреной или с уже упомянутой пшенично-блондиновой училкою Зильке, в неспешный, но то и дело взрывающийся ее изумленным «о!» разговор — как если бы она считала долгом своим изумиться и произнести это «о!», сопровождаемое поднятием тонко выщипанных бровей, в ответ на любое, самое ничтожное, сообщение ее собеседниц (например, на сообщение Анны, училки рыжей, о том, что она, Анна, на одну электричку опоздала, чуть и вторую не пропустила...), затем опять отворачивалась к плите, дощечкам и мисочкам.

Ніс Rhodus

Что до самого Боба, то Боб опять явился передо мною в облике седого отличника, в застегнутой на верхнюю пуговицу клетчатой рубашке-ковбойке; так же обдавал окружающих сиянием своих глаз и волос. Небрежность обстановки, неторжественность мероприятия все-таки меня поразила, эти фломастеры и мелки на низеньком столике, детские ботиночки, валявшиеся в углу. Я что же, ожидал, что все сделают гассё и рассядутся на черных подушках? Нет, но чего-то дзенского ожидал я. А может быть, я думал, поглядывая на Боба, занятого беседою с гетеподобным Вольфгангом, франкфуртским адвокатом в миллионерских штиблетах, может быть, это небрежность сознательная, неброскость намеренная. Живу в Европе, жена работает в банке, дочка, увы, неизлечимо больна — и никакого японского заповедника,

Алексей Макушинский

никакой дзенской резервации, все так, как есть, hic Rhodus hic salta, мудрец должен быть незаметен в толпе туманных невежд... Я узнал впоследствии, что наверху все же было у Боба и Ясуко маленькое дзен-до для домашнего пользования, где, впрочем, почти никто никогда не бывал, пару раз бывала Ирена, появившаяся на той вечеринке в своей самой зеленой кофточке, с глазами тоже самыми зелеными, самыми честными, самыми плутовскими, в обществе другой польки, Барбары, молоденькой и очень красивой, с глазами голубыми и ангельскими. Еще был гейдеггерообразный, помнится, Герхард, быстрый, маленький, упрямый дзенский адепт, говоривший отрывисто, словно командуя, топыря колючие усики и поблескивая зализанными зальсынами; была худущая, бледная жена этого Герхарда, Элизабет по имени, выше его если не на целую продолговатую голову, то, по крайней мере, на явно потравленную перекистью прическу, до которой то и дело дотрагивалась она, проверяя, видимо, на месте ли ее драгоценные, ввысь вздернутые, больнично-белые волосы; был, кажется, еще один англосакс; даже, кажется, два англосакса: один американец, один англичанин. Американца я забыл; запомнил зато англичанина — с оригинальным именем Джон, с буддистской, как и у Виктора, синевою бритого черепа, металлическою заклепкою в уголке нижней, тонкой, бескровной губы и еще одной, крошечной и блестящей бляшкой под носом, серебряною соплею. Привлекательней был для меня другой персонаж, менее экзотический, чем-то, но смутным и внешним, напоминавший Ген-наадия, вовсе не склонный, впрочем, к философическому пустословию, скорее склонный к философическому молчанию; звали (и зовут) его Роберт.

Нерайские птицы

Осматриваясь, вспоминал я те последние дни сессии, когда обет молчания бывал отменен и на сцене являлись другие, коктейльные личности, всю долгую неделю ждавшие своего выхода. Здесь только они и присутствовали. Виктор вновь поразил меня в этот вечер. Виктор, сняв с себя свитер, как если бы ему было жарко — хотя жарко не было, а было по-прежнему душно, пред- и последождевой духотой, сквозь которую, не отменяя ее, пробивались струи сырого холода, — представ перед моим изумленным взором в откровенно пижонской маечке, объявлявшей и на спине, и на груди о своем благородном происхождении — Armani, может быть? Hugo Boss, вероятно? — заодно демонстрировавшей и мощные мышцы носителя, — Виктор, в этой пижонской маечке, со стаканом сока, смешанного или не смешанного с водой, в короткопалой сильной руке, говорил, и явно не без увлечения, на к тому времени уже очень чистом немецком, с гетеподобным Вольфгангом, иногда постукивавшим по полу то правым, то левым миллионерским ботинком, о банковских делах и знакомых, каких-то, прости господи, менеджерах, директорах, членах и председателях (первом председателе, втором председателе...) какого-то попечительского совета, заодно и об акциях, фондах, дивидендах, кредитах, рендитах, так что слова эти (кредит, фонд, дивиденд и директор...) подобьем пестрых, но точно не райских, птиц кружились над их головами — над Викторовой буддистски бритой и Вольфганговой великолепно седой головою, — и мне совсем нетрудно было вообразить себе этого нового Виктора на вечеринке банковской просто, без всяких дзенских, в сущности, уже необязательных примесей.

Алексей Макушинский

Модули, манная каша

Звериный крик прервал мои наблюдения. Большую Бобову дочку усадили в углу гостиной на детский высокий стульчик; Боб, с ложечки, кормил ее манной кашей. И если не манной кашей, то чем-то похожим, столь же печальным. Слюна, конечно, стекала у нее с подбородка. Поев, она даже заулыбалась, по-прежнему, впрочем, уставив эзотропические глазенки в никому, кроме нее, незримую точку. Вдруг что-то не понравилось ей. Только что была она лакированной куклой; без всякого перехода превратилась в фурию, вопящую, колотящую ножками по перекладине стульчика, так что тот грозил опрокинуться и опрокинулся бы, не случись рядом Ирены, его поддержавшей; личико из младенческого превратилось в старческое; в гримасу ведьмы; маску Бабы Яги. Боб, в конце концов, унес ее куда-то наверх, но крик ее долго еще был слышен. Он долго и не появлялся потом; ждал, наверное, чтобы уснула она. Когда появился, лицо у него было, удивительным образом, отдохнувшее, как после дза-дзена; может быть, и вправду *сидел* он в своем маленьком дзен-до наверху, о существовании которого я еще не догадывался... Десять лет прошло с тех пор, и я уже плохо помню подробности вечеринки. Было скучно, как на всех вечеринках. Было бессмысленное стояние со стаканом в руке, словно в ожидании чего-то; ненужные разговоры. Из них самым ненужным был академический *small-talk*, в который втянула меня одна из пятидесятилетних девушек (Зильке), учившая других училок учительствовать (во франкфуртском университете; в замечательном здании, построенном Гансом Пельцегом). Как раз тогда начинался — или уже шел полным ходом? — так называемый болонский процесс, призванный окончательно разрушить университетское образование в объединенной

Европе; несчастные доценты должны были участвовать (причем все участвовали скрежеща зубами, никто не отказался, никто не уволился — конформизм безмерен) в идиотических нововведениях, в подсчете каких-то *кредитных пунктов*, выдумывании каких-то *модулей*; каковые модули произносятся по-немецки с ударением на втором слоге — модууули, — что придает понятию некий неуловимо-анальный оттенок, так что, сидя на очередном, всякий раз многочасовом заседании, где сорвавшиеся с цепи и со всех катушек реформаторы, реформаторши — последних всегда было больше — с садистическими подробностями, под обреченные кивки остальных обсуждали, как бы сделать программу для будущих бакалавров и грядущих магистров еще позаковырестей, еще поглупее, я хоть и старался не слушать, смотрел в окно и прокручивал в голове недававшиеся мне строчки недописанных мною стихов, все же невольно воображал себе эти модули — с ударением на «у» — в виде маленьких, мерзких, склизких клизмочек, только что извлеченных из ректального отверстия; о чем и поведал пшеничноголовой Зильке, вечной студентке, вечной училке, шокировав ее, похоже, на все последующие годы нашего с ней знакомства.

Белокурая Барбара

Польская девушка Барбара, приведенная на вечеринку Иреной, всего неделей раньше перебралась во Франкфурт из Кракова. По-немецки и по-английски говорила она так плохо, что никто ее, мне показалось, не понимал. Почему Ирена привела ее с собой, тоже никто не понял. К сангхе и к дзену она до этой вечеринки никакого отношения не имела. Смеялась она громко, ломко, чтобы все слышали, словно кусочки сахара рассыпала перед собой. Была вся в ангельских кудряшках,

Алексей Макушинский

мелко трясашихся, когда она рассыпала свой сахар. Была высокая, очень стройная, с длинноногой фигурой фотомодели, в серых (или так мне помнится) джинсах и белой блузке, в курточке, тоже белой, джинсовой, коротенькой, которую то снимала она, то опять надевала, выходя в сад, снимала снова, возвращаясь в гостиную, и снявши, всякий раз передергивала плечами, заново, похоже, отыскивая гармонию блузки с бюстгальтером; куртка, между тем, попадалась всем под руку, появлялась то на спинке, то на ручке дивана, то в кресле, куда как раз хотел сесть торжественный Вольфганг или одна из вовсе не торжественных девушек, постаревших студенток. На Барбару с ее блузкой, курточкой и кудряшками смотрели они с растущей неприязнью; она же смотрела на них, и на всех, и на мужчин особенно, и на зализанного Герхарда, и на Виктора, и на тихого Роберта, и на самого, разумеется, Боба широко, прямо настезь, распахнутыми глазами, голубыми и ангельскими, впиваясь и пожирая этими глазами (глазищами) своего собеседника (свою собеседницу) и вместе с тем словно впуская его (ее, на худой конец) куда-то внутрь, куда-то совсем далеко и глубоко внутрь, в самую свою *нутрь*, предлагая ему войти, не стесняясь, в эту *нутрь* и глубь, прямо в душу ей, в святая святых и, обо всем забыв, все условности и преграды отбросив, поведать ей, Барбаре, свое самое сокровенное, самое тайное, да и от нее, Барбары, услышать в ответ признания самые искренние...; ни того, ни другого, скажу еще раз, никак невозможно было сделать, поскольку неясно было даже, понимает ли она то, что говорят ей по-английски и по-немецки, и саму ее понять можно было лишь приблизительно. Понятно было только, что всем она восхищается, восторгается — и тем, что попала сюда, к Бобу, в такое необыкновенное место, на такую необычную вечеринку, и самой вечеринкой, и качалками из «Икеи», и японскими

яствами в маленьких мисочках, понемногу появлявшимися из кухни, где Ирена с первой минуты начала помогать Ясуко и куда она сама, Барбара, не зашла (так помнится мне) ни разу, и даже дымным душным закатом, окончательно погасшим над красноягодными кустами, соседскими крышами.

Четыре сигары в год

Закат погас, и как-то все успокоилось. Дети угомонились, уведены были спать. Загорелись лампочки на террасе, в честь праздника развешанные по доскам перил, балкам под потолком. Японская еда в мисочках и тарелочках, все появлявшаяся и появлявшаяся из кухни, замечательно вкусная (тут трудно было не согласиться с восторженной Барбарой), состояла из как бы недосвернутых суши (рис отдельно, водоросли отдельно), из красной рыбы и курицы в соусе терияки, капусты морской и обыкновенной, поджаренных кусочков тофу и еще чего-то неопределимого, самого вкусного, густо посыпанного кунжутом. Мы стояли с Бобом вдвоем у края террасы, облокотясь на ее перила, глядя на мокрую траву лужайки, в свете окон и лампочек отливавшую металлическим блеском, казавшуюся водою, рекою, серой и северной. Мы оба пили джин с тоником, хорошо это помню. И не только пили мы джин с тоником, но Боб, извлеки из нагрудного кармана своей клетчатой, доверху застегнутой рубашки (рубашки отличника, пай-мальчика и бойскаута) большую толстую сигару, принялся, поставив стакан с джин-тоником на парапет террасы, разминать ее, обжигать и раскуривать. Четыре сигары в год, ответил он на мое восхищенное недоумение, улыбнувшись той своей застенчивою улыбкой, которую я так хорошо знал по сессинам и докусанам. Четыре, ну, может быть, пять... по большим праздникам, на вечеринках. Это был единственный случай в сей земной жизни, когда я мог спро-

Алексей Макушинский

сильно его что-то личное, что-то о нем самом. Почему, собственно, дзен? — я спросил его, как неделю назад спрашивал Виктора. Почему дзен на рынке мировоззрений? Никакого рынка нет, сказал Боб; это не мы выбираем, это нас выбирают. Это просто случается, it just happens. С ним это случилось в ранней молодости, продолжал Боб, отдавая меня своим сияющим взглядом, дымом своей сигары; он учился в Сан-Франциско в шестидесятые годы, а в Сан-Франциско в шестидесятые годы мимо дзена пройти было трудно. Случайный приятель отвел его в дзенский центр, основанный Сюррю Судзуки — неужели? — воскликнул я, — в тот знаменитый сан-францисский центр в здании бывшей синагоги... На Буш-стрит? Нет, это был уже не тот первый центр на Буш-стрит, говорил Боб обыкновеннейшим голосом, как если бы речь шла о булочной на углу, ресторанчике за углом, сангха уже переехала на другую улицу, когда он там появился, но Сюррю Судзуки он еще застал, хотя тот был смертельно болен, все это знали, и ему, Бобу, уже не довелось, увы, поговорить с ним с глазу на глаз. Он, Боб, уехал потом на Гавайи. Он собирался изучать историю искусства, а стал изучать японский. Увлёкся дзеном и стал учить японский, изучать японскую литературу. Сначала в Сан-Франциско, потом на Гавайях, поступил в гавайский университет. И там познакомился, наверное, с Робертом Эйткенем? — продолжил я за него, понимая, что иного продолжения не могло быть. Совершенно верно, ответил Боб все так же просто, отдавая меня взглядом и дымом. В Гонолулу он познакомился с Робертом Эйткенем, сблизился с «Алмазной сангхой», основанной Робертом, стал сидеть с ними, а уже Роберт Эйткен передал его (gived him over) Накагаве-роси и Ямаде-роси, великим учителям. Я стоял и слушал его, не буквально, но уж в переносном смысле точно

раскрывши рот, как если бы он рассказывал мне о своем знакомстве с Бодхидхармой и Хуэй-нэнем. Всегда трогает нас связь времен, связь имен, разделенных во времени. Ясутани-роси, учителя Ямады-роси, он видел всего один раз, сказал Боб, отвечая на мой вопрос, в свой первый приезд в Японию, в начале семидесятых... В Японии сперва было трудно, язык он понимал приблизительно, вставать в половине четвертого было для него мучением, ноги болели невероятно, коленные чашечки воспалились, так что даже угодил он в больницу. Через сколько-то лет он привык — ко всему ведь можно привыкнуть. Он попал затем в Киото, к своему окончательному учителю Китагаве-роси, к которому теперь посылает собственных учеников, и жил то у него в монастыре, то в дальнем храме, филиале монастыря, на Хоккайдо, в горах и снегах. А потом? Потом встретил Ясуку, сказал Боб, обдавая меня своим взглядом... Ясуку подошла к нам с очередной порцией мисочек; он поблагодарил ее по-японски, сложив перед грудью ладони и поклонившись в пояс; я заметил ту его смущенную улыбку, столь мне знакомую. Я чувствовал его готовность ответить на любые мои вопросы (и чем острее чувствовал ее, тем больше вопросов и задавал); но в то же время чувствовал я, что он не потому был готов на них ответить, что они были моими вопросами, но потому что он вообще не находил нужным скрывать что бы то ни было от кого бы то ни было. Он был прозрачен для себя, значит, и для других. И у меня опять было чувство, что он говорит со мною откуда-то, с каких-то снежно-сияющих, мне недоступных высот... Я сказал ему, допивая свой джин и тоник, что два раза в жизни подходил довольно близко к дзену и оба раза отходил от него, потому что писательство оказывалось важнее, и что если бы мне нужно было выбрать между сатори и одним

Алексей Макушинский

каким-нибудь — всего одним! — но по-настоящему хорошим стихотворением, я бы выбрал второе, да, сказал я, я бы выбрал второе. Значит, это твой путь, сказал Боб со своей самой смущенной улыбкой и самым обыденным голосом произнося это слово «путь», слишком патетическое действительно, чтобы можно было произнести его без улыбки. Then this is your way, сказал и повторил Боб, для того, может быть, чтобы при повторении сделать этот «путь» еще более обыденным и простым. Не «Путь» с большой буквы, но просто «путь» с маленькой, как если бы речь шла о пути из Кронберга во Франкфурт, из Эйхштетта в Мюнхен... А ведь последствия такого выбора непредсказуемы и огромны, сказал я (хотя ничего подобного говорить не собирался и вообще исповедоваться Бобу намерен не был). Ведь это значит отказаться от надежды на избавление, на искупление... А дзен и не сулит избавления. Я знаю, сказал я, дзен уже избавление, и тот, кто впервые садится на подушку, уже просветлен, уже обладает природой Будды и все с ним в порядке, я читал все это, говорил я Бобу, смотревшему на меня со своих снежных высот, но разве, вот, Виктор не стремится к сатори? Стремление к сатори отделяет нас от сатори, я знаю и это, говорил я, и девятнадцатый коан в «Мумонкэне» мне тоже отлично известен, и его, Бобово, толкование этого коана мне памятно — еще бы мог я забыть его! — и что парадокс не разрешается пустыми умствованиями, что искомое лежит по ту сторону знания и не-знания, что знание иллюзорно, а не-знание всего лишь не-знание, а нужно только бескрайнее небо, великолепное и пустое, — все это мне известно, но когда я говорю, что выбираю писательство, то я выбираю его не в каком-то особенном и парадоксальном смысле, а — без всяких парадоксов — отказываясь от дзенского пути, выбираю писательство, пере-

стаю стирать пыль с зеркала, перестаю *сидеть*, и если еще *сижу*, а иногда я еще *сижу*, признавался я Бобу, то *сижу* просто так, в память о прошлом, без всяких надежд на что бы то ни было, как мы делаем гимнастику по утрам, для успокоения ума, то есть перестаю быть — или пытаться быть — особенным человеком, дзенским человеком, говорил я (хотя ничего подобного говорить Бобу не собирался, исповедоваться ему и не думал), а становлюсь, или лучше сказать остаюсь, человеком вообще, как все прочие люди. Потому что выбрать писательство — значит выбрать обычную жизнь, говорил я (не стремясь исповедоваться, но и не в силах удержаться, чтобы не повторить перед Бобом одну из моих излюбленных мыслей того времени); значит принять на себя простые тяготы человеческого существования и посмотреть на мир так же, как все люди на него смотрят, непосвященные, непросветленные. А дзен так и смотрит на мир, ответил Боб с извиняющейся улыбкой. Обыденное сознание — это и есть дао, говорит, если я помню (я помнил, еще бы) Нань-цюань Чжаочжоу. Горы — это горы, реки — это реки, все с той же извиняющейся улыбкой продолжал Боб, ссылаясь на другой дзенский афоризм, не менее знаменитый, гласящий, что для тех, кто только начинает свой дзенский путь, горы — это горы, реки — это реки, для тех, кто уже продвинулся по этому пути, горы перестают быть горами, реки — реками, а для тех, кто продвинулся по этому пути далеко, горы — снова горы, реки — реки опять... А все же дзенские люди особенные, сказал я; все, с кем мне приходилось встречаться и разговаривать, все, по-моему, смотрят на мир с сознанием своей причастности к чему-то важнейшему и возвышенному, с тайным — даже для них самих, может быть, тайным — сознанием своего превосходства над закосневшим в неведении

Алексей Макушинский

человечеством. Они этого никогда не признают, конечно, но это так, в большей или меньшей мере, иногда совсем маленькой. Это потому что они недалеко продвинулись, ответил Боб, своим светлым взглядом охватывая и окатывая меня. Настоящий дзен-буддист должен рано или поздно забыть о своем дзен-буддизме. Он видел таких людей, вдруг добавил Боб, тем самым показывая, что себя к ним не причисляет. Таков был Ямада-роси, таков был Сюнрю Судзуки. Это были люди самые обыкновенные, самые необычные. Таков и его учитель, Китагава-роси, самый удивительный и самый простой человек, какого ему доводилось встречать в жизни...

Юность, война во Вьетнаме

Тут подошла к нам, помнится, белокурая Барбара и, без всякого смущения прерывая наш разговор, принялась восхищаться Бобовой сигарой и, с трудом подбирая слова, путаясь в языках, рассказывать ему, заодно уж и мне, как все замечательно, как замечательно пахнет эта сигара во влажном вечернем воздухе и что она тоже всегда мечтала покурить сигару, никогда сигар не курила, и нет ли у Боба сигары и для нее, и Боб, свою еще недокуренную положивши на край парашюта, покорно, со светлой улыбкой, пошел куда-то наверх и вынес для нее огромнейшую, длиннющую сигару в алюминиевой тубочке, и она задымила этой сигарой, предсказуемо кашляя, хохоча, задыхаясь, причмокивая, отгибаясь от дыма, пыхая этим дымом в лицо и Бобу, и мне; в конце концов, отошла от нас, решив, видно, попыхать сигарой в лица других гостей, еще медливших, хотя уже холодно делалось, на лужайке, не на террасе. Только теперь заметил я, что никто к нам не подходил до сих пор, кроме Ясуко с ее японскими мисочками, никто даже и не выходил на террасу, и я не знал, не

знаю до сих пор, было ли так заведено среди этих людей или это случайно так получилось. Мы уже и сами поживались, но в дом не уходили, Боб не уходил, быть может, из вежливости, или потому, что от сигары еще оставался в его маленькой плотно-белой руке последний, с одного конца красный, с нараставшим, но не падавшим пеплом, кусочек, для меня же слишком драгоценной была эта возможность поговорить с Бобом вне дзенских формальностей — возможность, понимал я, которая скоро не повторится — ей вообще не было суждено повториться, — так что я все длил и длил этот уже, пожалуй, исчерпавший себя разговор. Все-таки: почему дзен? Я понимаю: Сан-Франциско, Сюнрю Судзуки, юность, марихуана, хиппи, Аллен Гинзберг и Гэри Снайдер, борьба за мир и война во Вьетнаме; но все-таки? Неужели просто потому, что случайный приятель затащил его в Соко-дзи? Ведь так не может быть... Тем не менее так и было, ответил Боб. Он был мальчишка, он приехал со Среднего Запада. Его отец был пастор, а мать была... женой пастора. И они жили в скучнейшем крошечном городишке (Боб сказал название, но я, к сожалению, забыл), в штате (это я запомнил) Айова, и он, Боб, всегда хотел оттуда удрать и удрал, сперва в Сан-Франциско, потом на Гавайи, потом в Японию, а потом и в Европу... Он потому, может быть, и меняет континенты так часто, с прозрачной откровенностью и смущенной улыбкой говорил Боб, что все убегает из городишки своего детства в штате Айова. Его родители были люди сурово и мрачно набожные, как это часто бывает у протестантов. Он, выходит, убегал от религии? Может быть; не вообще от религии, но от того ветхозаветного Бога, в которого заставляли его верить, в которого верить он больше не мог. Он вдруг утратил веру, когда ему было лет четырнадцать, все так же просто (как будто речь

Алексей Макушинский

шла о потере перочинного ножика) рассказывал Боб. Сидел у реки, ловил рыбу, смотрел на поплавок, круги на воде, отражения облаков в ней. И вдруг понял, что не верит ни во что: ни в Бога, ни в Страшный суд, ни в загробную жизнь, ни в воскресение из мертвых. Даже очень смешно ему стало, когда он вдруг вообразил себе, как попадет на тот свет и как там будут сортировать вновь прибывшие души. Праведники направо, грешники налево, ать-два, шагом марш. Так живо он все это представил себе и так долго смеялся, забыв об удочках, лежа в траве, рассказывал Боб (сияющими глазами всматриваясь в штат Айова начала шестидесятых), что уже ни о какой вере и речи не могло быть для него после этого. Его сестра, например, веру не утратила, осталась в штате Айова, вышла замуж за пастора и живет с ним в их родительском доме... Значит, спросил я, для него дзен тоже был бунт? А дзен всегда бунт. Впрочем, дзен имеет чудесное свойство очень быстро оборачиваться дисциплиной, даже муштроу. Японская дисциплина поначалу ему плохо давалась, потом он привык. Легче вынести дисциплину, чем ее отсутствие, говорил Боб — и я по-прежнему чувствовал, что он так же просто и так же откровенно ответит на любой мой вопрос, но что в этой откровенности ничего нет личного, лестного для меня, что это он не мне делает признания, а вообще не скрывает ни от кого ничего, потому что чист, прозрачен и скрывать ему нечего.

Курляндская Аа

Виктору, мне показалось, скорее неприятно было, что я так долго говорю один с Бобом; он не спросил меня ни о чем; все же, едва мы вышли вместе с другими уезжавшими во Франкфурт гостями, на темную, мокрую, давно уснувшую улицу, заговорил со мною по-русски, втайне, видимо, ожидая

отчета; а мне и самому хотелось поделиться с ним впечатлениями; понемногу отстали мы от всех прочих, замедляя шаги, покуда, к немалому изумлению нашему, не обогнали нас на по-прежнему спящей улице две одинаково тоненькие и в одинаковых джинсах девицы — одна с распущенными и темными, другая с белыми, собранными в пучок волосами, — державшие друг дружку за талию и явно, что не просто по-дружески; невольно за ними следуя, оказались мы перед входом во все тот же кронбергский парк, в мокрую тьму которого мне вовсе не хотелось опять углубляться. Виктор, однако, настаивал, утверждая, что на этот раз не заблудится и что так будет ближе. И, может быть, теперь я думаю, он потому потащил меня в этот парк, что хотел сказать и рассказать мне то, что там рассказал и сказал, и не хотел об этом — важнейшем, больнейшем — говорить со мною при свете, даже при тусклом свете немногих, сеткой влаги окутанных фонарей. На сей раз мы не сбились с дороги; станция оказалась недалеко; достаточно далеко, чтобы он успел сказать мне то, что сказал, рассказать то, что рассказать мне хотел. Впервые за все время нашего с ним знакомства Виктор, покуда мы шли через этот непроницаемо темный и насквозь мокрый парк с хлюпающими и скользящими листьями на дорожках и глухим звуком капель, по-прежнему падавших с невидимых веток, заговорил со мною о своем старшем брате, погибшем, когда ему, Виктору, было (кажется) семь. Не могу теперь вспомнить, как и в какой связи — может быть, и без всякой связи с чем бы то ни было — заговорил он во мраке и мокреди парка об этом старшем, на десять или на девять лет старшем брате, погибшем (все в мире связано, все как-то перекликается) совсем рядом с той курляндской деревней, где в юности проводил я каждое лето, — на Рижском так называемом взморье, в одном из и для меня незабываемых, курортных поселков,

Алексей Макушинский

которые тянутся вдоль песчаной линии берега, не знаю уж в Майори, в Меллужи или в Асари, куда его родители в то роковое лето (восемьдесят третьего? восемьдесят четвертого? или восемьдесят пятого года? в те годы, следовательно, когда я сам читал свои первые дзенские книги, бродил с Васькой-буддистом по Елагину острову, говорил о пустоте и рассматривал бодяк и мордовник...) отправились отдыхать со своими двумя сыновьями: маленьким Виктором (Витей, Витенькой...) и его старшим братом Юрием (Юрой, для папы и мамы навсегда Юрочкой...), уже пятнадцати-, если не шестнадцатилетним, которому строго-настрога запретили они купаться в реке, подходящей в тех местах подозрительно близко к морю, называемой по-латышски Лиелупе, носившей некогда пленительное название Курляндская Аа (реке, с которой и у меня связано много не столь трагических, воспоминаний, моих собственных и чужих, для меня драгоценных...), реке широкой, серой, с виду спокойной, знаменитой своими стремнинами, своими водоворотами. Как и каким чудом шести- (семи-) летний Виктор из водоворота выплыл, он не мог (и никто не мог) объяснить, ни тогда, ни впоследствии. И как-то так получилось в его семи- (восьми-) летней голове, что это он виноват в смерти брата, пятнадцати- (шестнадцати-) летнего оболтуса, потащившего малыша в слишком ветреный для моря день купаться в запретной реке, и если он чуть-чуть и заикался до этого, то никто не замечал его запинок, и только в тот день или на другой день, но все еще дрожа от речного смертельного холода, начал он заикаться так, что уже не могли этого не заметить его потрясенный папа, его окаменевшая мама. Потому что он все пытался и все не мог рассказать им, что случилось, а собственно, и нечего было рассказывать, он сам не знал, что случилось, но все пытался сказать им, что не виноват, хотя чувствовал себя

виноватым, и просто потерял в итоге, пускай на время, способность сказать что бы то ни было... Листья в темноте парка скрипели, ныли, скользили у нас под ногами, и что-то все так же всплескивало, всхлипывало вокруг, и Виктора почти я не видел, слышал только его горестный голос, в конце концов тоже умолкший, словно слившийся с этими всхлипами, этими всплесками; и когда мы вышли, для нас самих неожиданно, к тоскливой и заброшенной станции с подростковыми рисунками, персонажами комиксов на стенах, выяснилось, что все остальные (Ирена, и Барбара, и Зильке, и тихий Роберт) уехали предыдущей электричкой, и, значит (думал я в гостинице под самое утро), не задержись мы в парке, не Расскажи мне Виктор о своем главном горе, не оказались бы мы в одном поезде с Тиной (случайности, однажды начавшись, уже не могут остановиться...), и Виктор, скорее всего, никогда бы и не познакомился с ней (да и сам я, наверное, никогда бы ее больше не встретил).

Тина, Виктор, конец первой части

Она уже сидела в вагоне, когда мы вошли в него (как неделю назад уже сидела в скоростном поезде); мы тут же узнали друг друга. Как и в прошлый раз сидела она у окна, в черном (другом) широком пуловере с широким же вырезом, оставившим свободными, зримыми ее ключицы, полную шею; усмехнулась, узнавая меня, тем коротким, всепонимающим и даже прощающим все смешком, который так понравился мне в предыдущем поезде, шипящем экспрессе; обратила к Виктору, как будто спрашивая — не у меня, но у него самого, — кто он такой и откуда здесь взялся, свое по-прежнему готовое превратиться в трагическую маску или комическую,

Алексей Макушинский

ни в какую маску не превращавшееся лицо. Виктор, прежде чем протиснуться на место напротив от нее, почему-то снял и куртку, и, снова, свитер, как если бы и в вагоне ему стало жарко, хотя жарко в вагоне не было; пижонская маечка с забытой мною — Armani ли, Hugo Boss ли — надписью задралась при снятии свитера; и Тина, и я увидели на мгновение его плоский, атлетический, мускулистый живот; глаза ее засмеялись при этом зрелище и потом уже не переставали смеяться до конца недолгого перегона. Собственный Тинин живот, не скрытый пуловером, лежал, как диванный валик, на черных джинсах; грудь лежала на животе, как второй валик, не больше, не меньше первого (мы все в детстве строили из диванных принадлежностей убежища и пещеры, из которых изгнала нас впоследствии взрослая наша жизнь...). Места, в сущности, было мало для нас троих; угловатые Викторovy колени то и дело касались Тининых идеально круглых колен. Джин ли, выпитый мною, или многообразие впечатлений этого дня, разговор с Бобом, рассказ Виктора, смех и ярость безумной девочки, белокурая Барбара с ее фальшиво-искренними глазами... все это привело меня в отвратительное мне самому возбуждение, то возбуждение, которым имеет обычай оборачиваться подступающая усталость, подступающая печаль; в этом возбуждении я и проболтал, я помню, весь недолгий перегон до Франкфурта, к Викторovому изумлению, обращаясь к ним обоим, представляя и словно сервируя их друг другу, прямой Анной Павловной Шерер, глядя то на них, то на свое, изумленное тоже, отражение в окне, россыпи и мельканье огней, Тине рассказывая, какой замечательный человек Виктор и как мы с ним познакомились в католическом — для нее, Тины, наверное, экзотическом — Эйхштетте, где я ему морочил голову *генезисом русской революции*, а теперь он банкир, и может всех нас купить с потрохами, и с

какой мы едем с ним вечеринки, у какого, тоже, замечательного человека, американца, буддистского мудреца, пять раз в год курящего сигары и пьющего джин с тоником, к каковому джину я и сам, за что прошу простить меня, приложился откровеннейшим образом; Виктору же, наоборот, рассказывая о нашем знакомстве с Тиною в поезде, скоростном и драконьем, неделю назад, и как смешно было, когда поезд вдруг остановился посреди ничего и мы увидели разноцветную конную армию, в своем собственном сне двигающуюся на приступ холмов и ангаров, и какие у Тины прекрасные, на наш, не правда ли? с Виктором слух ничем не скомпрометированные старинные имена, напоминающие имена какой-нибудь принцессы или, наоборот, поэтессы, принцессы, превратившейся в поэтессу, какой-нибудь Аннетты фон Дросте-Гюльсгоф, которую, как недавно я где-то вычитал, звали не просто Аннеттой, но у которой был целый ряд, целая клавиатура великолепных имен, и если я смогу на секунду сосредоточиться и никто не будет меня отвлекать, то я вспомню их все, вот сейчас, и как жаль, что я не смогу прийти на Тинину выставку, я завтра должен, увы, уезжать в экзотический Эйхштетт, но может быть, Виктор, говорил я к Викторову изумлению, захочет прийти к ней на вернисаж, тем более что он работает в соседней башне, в не менее сияющем небоскребе и его тоже — не правда ли, Виктор? — интересуется современная фотография. Колени их продолжали касаться друг друга; в глазах у нее играла ирония, как будто она извинялась за то, что занимает так много места, извинялась еще за что-то, непонятно, за что, а вместе с тем предлагала нам посмеяться вместе с нею над этим чем-то, не принимать его всерьез, вот она же не принимает... Уже промелькнули, во всем своем великолепии, светящиеся башни, невероятные небоскребы; промелькнули, скрылись; поезд въехал в туннель; за все вре-

Алексей Макушинский

мя пути Виктор и Тина так и не сказали ни слова друг другу; и когда мы уже выходили из поезда на подземную, для пригородных поездов предназначенную платформу главного франкфуртского вокзала, я сообщил им обоим, хотя вряд ли это было нужно им знать, что Аннетту фон Дросте-Гюльсгоф звали Анна Елизавета Франциска Адольфина Вильгельмина Людовика, да, вот именно так, и что в моих глазах, точнее на мой слух, этот перебор имен сам по себе стихотворение, не хуже всех прочих, например, моего любимого, того, где она стоит на высоком балконе своей башни на Боденском озере, и отдается дикому ветру, и мечтает быть мужчиной, солдатом, броситься в битву; и мне в голову не приходило, конечно, что через десять (нет, девять) лет эта самая Тина будет звонить мне по мобильному телефону, чтобы спросить у меня, где Виктор и нет ли у меня каких-нибудь известий о нем.

Часть вторая,

где много говорится о Викторе,
не меньше говорится о Тине

Взгляд в нирвану укрепляет
зрение.

Лев Толстой

Страшные новости

Все связано в мире, все в мире взаимодействует, одно событие отзывается в другом событии, сходятся сцены жизни, перекликаются персонажи. Сцены другие и персонажи другие, другие декорации, диалоги, а вот в том, как эти персонажи расставлены, как падает свет, как лежат тени, в каком порядке произносятся реплики, внезапно, изумляясь, пугаясь, узнаем мы забытое, прежнее. Это значит, что ничего не заканчивается, а если заканчивается, то заканчивается только по видимости. Но по видимости — и только по видимости — заканчивается все. Закончилась и эта ужасная, благословенно-бессонная ночь в гостинице в Вейле-на-Рейне; часов в семь я встал, принял душ и оделся; я чувствовал себя разобраннным на куски, разбитым на части и вместе с тем чувствовал, что не зря мне вспомнилось в эту ночь все, что вспомнилось; разбитость пройдет (думал я), воспоминания останутся; и что-то (так я думал) предстоит мне сделать из всего этого, хоть я еще и представления не имел, что же именно. Еще (теперь я думаю) должны были произойти разные вещи; они и произошли... Я не стал дожидаться на сей раз, чтобы автобусы уехали в свое *никуда*; отыскал в уголку свободное и чистое место, в чудной близости от других галдящих и жрущих столиков, в не менее чудной близости

Алексей Макушинский

от тихих столиков с обедками и грязной посудой, которую ошалевшие албанки не успевали убрать; посреди туристского гама, звонких детских голосов, ликующего плача и металлической музыки, упорно, непобедимо пробивавшейся сквозь все прочие звуки, заставил себя выпить крепкого чаю, проглотить фруктовый салат с йогуртом; расплатился и распрощался с румынками; поехал вновь к Витре, которая в этот ранний час принадлежала мне одному. На территорию фирмы проникнуть было нельзя, экскурсий еще не было, да я и не собирался туда проникать, хотя и рад был бы новой встрече с очаровательной харьковчанкой. В будни было бы, наверное, уже какое-то движение за оградой; в это воскресное утро я, казалось мне, во всей округе был единственным живым существом. Мне хотелось прежде всего остального еще раз увидеть павильон Тадао Андо, еще немного побродить в одиночестве вдоль его внешних, в ландшафте исчезающих стен, подойти к ним, и отойти, и подойти к ним опять. В глазах был песок от бессонницы; все-таки я был счастлив. Возвратиться никуда невозможно, и сегодняшний день не похож на вчерашний, но эти стены не изменились за сутки, они по-прежнему балансируют на тонкой грани небытия, возникая, с моим приближением к ним, всякий раз как будто впервые, из буддистской сияющей пустоты, тут же, как только я отхожу от них, в эту буддистскую пустоту возвращаясь. Я бы хотел так писать, как он строит... Тумана не было в это утро; встававшее солнце стальным блеском бежало по росе лужаек; серебряным блеском по оживавшему под его лучами бетону. Я вытащил штатив из багажника, подумав, что еще несколько снимков в этом утреннем свете следовало бы мне сделать. Тинин звонок застал меня за прикручиванием фотоаппарата к штативу; сигнал айфона в обступавшей меня тишине

прозвучал так, словно неведомая птица запела в кармане моего пиджака. Голос у Тины был измученный, охрипший от усталости и беды. Она вчера вечером не выдержала, после больницы... у ее мамы был второй инсульт и... дело плохо, вот так вот. Она не выдержала, говорила Тина измученным голосом, вчера вечером после больницы пошла к Виктору домой, в Заксенгаузен. И что же? Его там нет. Совсем нет. Его имени нет на табличке. То есть он съехал оттуда. Переехал на другую квартиру. Или уехал из Франкфурта. В другой город? В другую страну? Она не знает и не знает, у кого спросить, как узнать. Это еще не все. Нет, не все, говорила Тина, тяжело дыша в трубку... Я смотрел на освещенные ярким холодным солнцем поставленные друг на друга домики герцог-де-мероновского «Витра-хауса», по-прежнему, при всей новизне и блеске архитектурного решения и замысла, напоминавшие мне скромные финские домики моего дачного детства, в частности и в первую очередь тот на две половины поделенный дом, в котором (в одной из половин которого) это детство, собственно, и прошло и который пару лет назад сгорел начисто, до кирпичного фундамента, вместе со всеми воспоминаниями, подожженный, по рассказам и слухам, веселыми детками, за сколько-то лет до пожара поселившимися на другой его половине, в одно прекрасное утро затеявшими развести костер на полу. Боб погиб в автомобильной катастрофе. Что? Боб, произнесла в трубке Тина сквозь ясно слышные слезы — Боб насмерть разбился на автомобиле, на автостраде Кельн — Франкфурт, возвращаясь с какого-то дзен-буддистского мероприятия в Северной Германии. Как она узнала, Боже мой, сказал я. Она пошла сегодня утром, вот только что, в *этом ваш* дзенский центр. Она знала, что по утрам медитация, надеялась встретить там Виктора или хоть разузнать о Викторе что-нибудь.

Алексей Макушинский

Ей открыл сосед... С кустистыми бровями? На этот дурацкий вопрос она не ответила. Медитации не было; был на двери портрет Боба в черной рамке и сообщение, что *мы скорбим, wir trauern*. А Виктор? О Викторе сосед ничего не знал. А Боб один был в машине? Да, один. Он же всегда ездил поездом. Я не знаю, сказала Тина, я ничего не знаю, разве это важно теперь? Сосед был, да, с кустистыми бровями, да, замотанный, да, красным шарфом. Приезжай во Франкфурт; пожалуйста.

Немотствующие монстры, обиженные чудовища

Я попал в беспробудную пробку на автостраде между Фрейбургом и Карлсруэ, ближе к Карлсруэ; вдруг вспыхнули аварийные огни идущих впереди машин; вдруг начали тормозить эти машины, надеясь не наехать друг на друга; страшно быстро — и страшно медленно, как в кино, приближались ко мне красные фары впереди тормозящего «Вольво», так же медленно, так же быстро — капот и звездочка, в зеркальце, идущего позади «Мерседеса»; еще не совсем я остановился, а уже так ясно и ярко, как если бы это сейчас происходило, снова происходило, вспомнил гибель моей первой машины, красного маленького «Фольксвагена», вот в такой же пробке на автостраде Нюрнберг — Мюнхен, давным-давно, в 1995 году, и как я тогда вышел из этого смятого «Фольксвагена» на мокрый асфальт, посреди баварских полей, засаженных хмелем, удивляясь, что жив. Здесь хмеля не было, никто ни в кого не врезался. Была долина Рейна, были луга, красные крыши далекой деревни, еще дальше, по правую руку, нежные, осенне-дымчатые очертанья Шварцвальда. Пока мотор не выключен, в пробку еще не веришь. Наконец все стихло,

все замерло; появились первые люди на автострате, выходящие из своих машин разунуть, что случилось, увидеть что делается впереди. Было тихо той особенной тишиной, которая бывает во время очень большой пробки; тишиной почти осязаемой в местах, привыкших к гулу и грохоту. Когда машины молчат, молчание их укормизненно. Немотствующие монстры, обиженные чудовища. Ничего не скажу вам, рычать даже не буду... Еще не мог я поверить, что Боба нет; как так — нет? Боба, с его светящейся сединой, светлым взглядом? Как поверить в это? В это невозможно поверить! Как банально это звучит. А ведь это правда, я думал. Мы говорим так, потому что не верим, потому что верить отказываемся. Мы не хотим верить; наше неверие — форма сопротивления... Я собирался свернуть у Карлсруэ на Штутгарт, заехать в Тюбинген к Рольфу-Дитеру М., двухметровому философу, когда-то рассказавшему мне о разоблачительной книге Брайена Виктории; я включил айфон, чтобы сообщить ему о своем не-приезде; не долистав до него, обнаружил в списке сохраненных мною телефонов номер Ирены; она ответила сразу же, как будто сидела у аппарата, ждала моего звонка. Да, Боб был один в машине, и я догадываюсь, наверное, почему. Нет; почему же? Потому что никакая это была не авария, проговорила Ирена со своим мягким польским акцентом, *es war kein Unfall*. Откуда она знает? почему она думает? Она ниоткуда не знает, но она знает, она просто знает это, вот и все, она уверена, он покончил с собой. Ну нет же, Ирена, сказал я, не может этого быть. Это именно так, она знает. А полиция что думает по этому поводу? Полиция думает, что он заснул, потерял управление и врезался в бетонный барьер, отделявший его полосу от встречной. А она знает, что он нарочно врезался, она давно предчувствовала что-то подобное, после всего, что случилось. После той гадкой, мерзкой, подлой истории

Алексей Макушинский

с Барбарой... А Виктор? А что Виктор? Виктор пропал? Нет, Алексей, не болтай чепухи! Она видела Виктора недавно, на прощании с Бобом. Где? В крематории. В крематории?! Да, в крематории, говорила Ирена со своим мягким акцентом, как будто удивляясь моему удивлению. А я не удивлялся, я ужасался. Она видела его в крематории, она видела его в дзен-до, во время всех церемоний... Ясуко улетела с урной в Америку... Не уберегли они Боба, помолчав в трубку, сказала Ирена, а он... он так нуждался в них, так страдал после всего, что случилось. Слишком много подонков на свете. Он покончил с собой, она знает. А что думают другие, что думает Вольфганг? Какое дело ей, что думает Вольфганг. А Виктор? Виктор найдется.

Жена Потифара

Передо мною в пробке стояло все то же «Вольво», темно-синее, длинное, с желтым люксембургским номером (дорогое и новое, как все машины с люксембургскими номерами); вышедший из него господин в коричневом вельветовом пиджаке и желтых ботинках отправился по ходу замершего движения вперед, довольно решительно; его спутница смотрела ему вслед, словно спрашивая себя, как и я себя спрашивал, куда он так решительно направляется; оказалось, что к пешеходному мостику, через несколько машин от нас перелетавшему через автостраду; наверное, полагал он, что в тени мостика, хотя и там все было отлично видно, справить нужду приличнее, чем просто у обочины, на голом месте; возвратившись, он кивнул мне почти панибратски: так и так, мол, знай наших. Люди все же довольно странные существа... Польша Барбара, с которой осенью 2004 года я познакомился у Боба на вечеринке, которую привела туда Ирена, в чем по-

сле нередко раскаивалась, и которая после той вечеринки у Боба сделалась дзен-буддисткой завзятой, непреклонной, не пропускавшей ни одного дза-дзена, вечернего или утреннего, ни одного сессина, где бы ни происходил он, в Нижней Баварии или не в Нижней Баварии, соперницей Виктора в непреклонности, непоколебимости, аскетической страсти, — вот эта самая полька Барбара, белокурая Барбара, с ее белой джинсовой курточкой, мешавшей всем, попадавшей всюду, с ее фальшиво-искренними, огромными и восторженными глазами, — вот эта самая Барбара, через — сколько? — восемь лет после своего появления на упомянутой вечеринке, в жизни Боба и сангхи, то есть совсем недавно, летом или, может быть, в начале осени 2012 года, обвинила Боба в попытке ее, Барбару, изнасиловать, подала на него заявление в полицию, в результате чего Боб был арестован, продержан почти месяц в тюрьме, затем выпущен. И потому выпущен, до всякого суда, рассказывал мне впоследствии Виктор, что восторженно-белокурая Барбара безнадежно запуталась в своих показаниях: утверждала поначалу, что Боб приехал к ней и пытался у нее дома повалить ее на диван, потом, когда выяснилось, что Боб в день, ею указанный, никак не мог валить ее на диван, потому что его и не было во Франкфурте, не было даже в Кронберге, принялась рассказывать, что это произошло в совсем другой день, она-де слишком возмущена и взволнована, чтобы помнить какие-то дни и даты, смотреть в календарь, не до того ей после пережитого ужаса, а дело было во вторник, во вторник, а не в четверг, она перепутала, пускай ее простят и поймут; когда же выяснилось, что и в указанный вторник этого никак быть не могло, потому что в тот вторник она сама ходила в гости к их общей с Иреной, тоже польской, подруге, о чем подруга немедленно уведомила следствие, попыталась вторник превратить в понедельник,

Алексей Макушинский

а потом и вовсе начала утверждать, что все происходило не у нее дома, но в дзен-до, где она оставалась одна с Бобом после дза-дзена, и если не в этом франкфуртском дзен-до, где оранжевые окна препятствовали интимностям (на что ей и было указано дотошным следователем, осмотревшим место предполагаемого происшествия), то уж точно и много раз в буддистском центре в Нижней Баварии, где она с Бобом оставалась одна каждый день для докусана во время сессина (следователь, наверно, записывал), а если до сих пор представляла дело иначе, то потому лишь... она так и не сумела объяснить почему. Барбара, когда Боба выпустили, уехала в Польшу. Все-таки сангха после этого удара уже не оправилась. Меня поразило, я помню, сколь многие, и сколь давние, ученики и ученицы Боба поверили этой Барбаре, хотя при одном взгляде на нее было ясно, что верить ей нельзя ни в чем, никогда. Виктор не поверил ей ни на грош, о чем и сообщил мне, рассказывая всю историю, заодно заметив, в скобках, что уж он-то знает ее, эту Барбару... Не поверила ей и Ирена, тоже, очевидно, хорошо знавшая свою компатриотку, с которой за прошедшие после той памятной вечеринки годы она, Ирена, по ее же словам, решительно раздружилась. Все поддержавшие Боба (Ирена, Виктор, адвокат Вольфганг, тихий Роберт, Джон с серебряною соплею) показали на следствии, что никакого изнасилования и даже попытки изнасилования не было, потому что быть не могло, что все это, как выразилась Ирена (уж не знаю, понятая или не понятая франкфуртскими полицейскими), просто выдумки, достойные жены Потифара, что вовсе не Боб покушался на Барбару, но Барбара несколько лет подряд преследовала Боба своей исторической любовью, чему она, Ирена, все эти годы была возмущенной свидетельницей.

Скандалы

Никакую Барбару Боб насиловать не пытался, на диван не валил, но никто не знает, я думал, что происходило во время докуса между еще не старым мужчиной, окруженным сияющей аурой дзен-буддистского совершенства, и молодой, ангелоподобной, явно истерической женщиной, для которой ее экзальтированные духовные поиски сливались, может быть, если не совпадали, с влюбленностью в учителя, пророка, вожакого на трудном пути к просветлению. Никто не знает, потому что никто не присутствовал при этом, думал я (на уже палящем солнце топчась возле трагически безмолвной машины). В какую игру играли они друг с другом? В какую игру играла она с ним, понятно. Но в какую-то игру играл и он с ней; не прогонял же ее от себя, хотя ведь не мог не сознавать опасности, не чувствовать грядущей беды. Ее влюбленность льстила ему, быть может. Да и опасность привлекательна, как все мы знаем. А была ли она единственной такой ученицей? Какие чувства читал я в глазах других женщин и девушек, встречавшихся мне в дзен-до (в глазах Зильке, вечной учительницы вечных учительниц; глазам Анны, вечной учительницы, вечной студентки); оглядываясь в прошлое, читаю в этих глазах чувства более сложные, чем читал тогда: амальгаму восхищения, влечения, ревности, робости. Где-то (не в глазах, но в книгах) читал я, что чуть ли не в семидесяти процентах американских (про европейские не помню) дзен-буддистских групп, сангх и объединений имели (имеют) место скандалы на сексуальной почве (говоря языком суконной статистики); среди них скандалы знаменитые, сделавшиеся частью истории дзена на Западе (истории, еще не написанной или написанной только в отрывках, фрагментах). Цунами возмущения и ужаса всякий раз захлестывает дзенский мир (в Америке и в Европе), когда выясняется, что

Алексей Макушинский

очередной просветленный учитель, кумир сменяющих друг друга поколений юнцов и юниц, преданных ему до самоотвержения, самопожертвования, если надо — хоть самосожжения, использовал этих юниц, иногда и этих юнцов, в совсем других, отнюдь не буддистских целях и что вообще его жизнь слишком уж не похожа на жизнь Шакьямуни и Бодхидхармы, Чжао-чжоу, Линь-цзы и Догена, что он и выпить не дурак, и до роскоши падок, так что дорогими подарками, от часов до автомобилей, по возможности гоночных, соблазнить его еще проще, чем ему — юнцов, юниц, взыскующих истины. Замечательно, что ни один из этих скомпрометированных святых и поверженных праведников, просветленных поклонников Мамоны и Афродиты, на дно не ложится, не тонет, очень скоро выныривает на поверхность, отряхиваясь и снимая с себя приставшие водоросли (в цунами и прочих бурях гибнут всегда другие), обрастает новыми учениками, новыми ученицами, по возможности богатенькими и желательно знатными, перед коими является теперь в ауре своего мученичества, с горько-сладкой складкой у губ — и как если бы прошлые ошибки лишь добавляли ему шику и шарму, как если бы преодоленные или даже не совсем преодоленные соблазны лишь усиливали его обаяние, потому что какая же святость без предварительного греха? Чем глубже грех, тем и сияние святости непреложней.

Великосветский великомученик

Одного из этих скандально-сказочных персонажей мы видели с Виктором и (как ни странно) с Тинной, в Мюнхене, году, наверное, в 2007-м, в счастливую пору и для меня, и для них. Я и жил тогда в Мюнхене, удрав, наконец, из кро-

шечного, удушливо-идиллического Эйхштетта (и вовсе не предполагая, что мне придется, в 2010-ом, вновь расстаться с возлюбленной баварской столицей ради того университетского места, которое кормит меня теперь...); почему и по какому делу оказались там Тина и Виктор, я не могу уже вспомнить. Великосветский великомученик выступал не в одном из многочисленных мюнхенских дзенских кружков, но в группке тибетской, о которой до того я не слыхивал, о которой, как и о самом выступлении, в Интернете прочитал Виктор, вдруг, когда мы встретились на Одеонсплатц (первые увидел я их обоих после той незабываемой электрички из Кронберга), предложивший нам вместо традиционной прогулки по Английскому саду отправиться к этим самым тибетцам на другой конец города, поглазеть на заезжую знаменитость. Я согласился с охотою; Тина, влюбленными глазами смотревшая на Виктора, согласилась легко: поехали, почему бы и нет? По дороге, очень долгой, все перекидывала она, запуская в них руку, свои в тот день медно-рыжие волосы с одного плеча на другое. Совершенно не помню, что говорил у тибетцев знаменитый дзенский растратчик, пожилой соблазнитель юных адептов, господин с подчеркнуто-мужественным, прямо грегори-пековским, голливудским, синевато-щетиным, хотя и свежепобритым лицом, в дорогах и даже дорогущих, похоже, часах, не скрытых черным с золотою расшивкою, очень торжественным одеянием, в которое счел нужным он облачиться; помню только ощущение беззастенчивой и безмерной неправды, от него исходившее. Прямо он лучился тщеславием, глядясь в незримое зеркало, любясь своими движениями, кружениями своих изысканных рук, очаровательно улыбаясь, всячески изображая скромность, простоту, доступность, честность, открытость. От этой простоты тошнота подступала мне к

Алексей Макушинский

горлу; Виктор, помню, тоже морщился и кривился. В метро, когда ехали мы обратно, по-немецки и, значит, обращаясь к нам обоим, ко мне и к Тине, сказал он, что нам повезло с учителем, что Боб человек прозрачный, без всякой задней мысли, без намека на фальшь и позерство. На второй или третьей станции вошла в вагон и села — наискось через проход — лицом к Тине и Виктору, боком ко мне смуглая джинсовая девушка с большим блестящим бронзовым Буддой сперва в руках, потом, когда уселась она, на коленях, Буддой нехуленьким, с сомкнутыми в кружочек указательным и большим пальцами узкой ладони, повернутой к вагону, благословляющей пассажиров. Это так было смешно, так кстати и так неожиданно, что я почувствовал мгновенное веяние огромного счастья, не зависящего от пространства и времени, от обстоятельств жизни, отголосок того покоя, который испытывал, бывало, в дзен-до, когда случайные, обращенные или не обращенные к кому-то мысли от меня отступали, боль в ногах отступала тоже и оставалось лишь чистое, великолепное и пустое, благосклонное ко мне небо — и одно, последнее, тайное желание, чтобы уже никто, никогда — ни дядька с брюсовскою бородкой, ни Ирена с ее зеленой кофточкой — не ударял и не ударяла по медной миске деревянную битую. Никакого дзен-буддизма вообще нет, сказал Виктор по-русски, смеясь своими осмысленно-сумасшедшими глазами, глядя на Будду и девушку. Я принял это за очередной дзенский парадокс, в духе: убей Будду, убей патриарха; не забудь прополоскать рот, если произнес слово *сатори*. Никакого дзена нет, повторил Виктор, по-русски по-прежнему. Есть только человек. Каков человек, таков и дзен. Все прочее — ничтожная, никчемная чепуха. Каждый, в сущности, сам себе Будда.

Демократия духов

Желтый спасательный вертолет кружился над автострадой, впереди по ходу замершего движенья; все глаза и все головы всех люксембуржцев, всех не-люксембуржцев повторяли его круги. Но поверить, что Боб — Боб с его светящейся сединой, снежным взглядом — больше не существует, что он превратился в то серое (говорят, что каменистое, говорят, что комкастое; я сам никогда ни в одну урну с прахом не заглядывал), что Ясуко должна повезти или уже повезла теперь в Штаты... как возможно в это поверить? В это невозможно поверить! как это банально и как это правильно. Мы отказываемся верить, мы сопротивляемся, мы негодуем. Наше неверие — наше сопротивление... Я снова сел в машину в этой трагической тишине (тишине умолкших чудовищ), сложил руки в буддистскую мудру, в память о Бобе, начал считать свои выдохи, от одного до десяти, в то же время стараясь представить себе его, Боба, с его светлым взглядом, светящейся сединой, в его застегнутой доверху клетчатой рубашке и вязаном свитере; и как это бывает, когда мы направляем нашу мысль на кого-нибудь, уже ушедшего или еще живущего среди нас, когда мы поворачиваем эту мысль лицом к нему, лицом к лицу с ним, отбрасывая все постороннее, — на мгновение, очень остро, ужасаясь и радуясь, почувствовал его живое присутствие рядом со мною, как если бы он сидел на соседнем сиденье, такой же спокойно-прозрачный, каким был всегда, ничуть не расстроенный смертью, просто тот же Боб, когда-то посоветовавший мне пойти погулять в лес, если окружающее действует мне на нервы. Пнин, пишет Набоков в лучшем месте своего нелучшего романа, смутно верил в демократию духов (a democracy of ghosts). Души умерших, заседа в своих комитетах, решают, может быть, участь жи-

Алексей Макушинский

вых (the destinies of the quick). Вряд ли Боб, думал я, мог верить во что-то подобное, смутно или отчетливо, а я (если у живых есть право высказывать в этом деле свои пожелания) — я был бы рад его участию в трудной работе комитета, занятого *моею* судьбою... Я вспомнил, продолжая считать свои выдохи, как в конце моего первого сессина, перед всеобщим разъездом, мы сидели на диване с Иреной, мирно беседуя о вохре и шлакоблоках, и как Боб, проходивший мимо, направляясь, похоже, в уборную, вдруг, уже взявшись за ручку двери, обернулся к нам и спросил: а? что? вы что-то хотели еще узнать у меня? — и когда мы оба ответили: да нет, ничего, — покраснел и смутился, и еще секунду поколебавшись, словно раздумывая, не следует ли ему объяснить нам, почему он это спросил, исчез, наконец, за дверью, и я подумал тогда, и, мне кажется, Ирена тоже подумала, что он просто очень застенчивый и не уверенный в себе человек, наш дзенский учитель, что в глубине души он так же робет перед своими учениками, как я сам еще робел в ту пору перед студентами, и что это, в сущности, большое счастье и для него, и для нас — то, что он может так покраснеть, так смутиться.

Что мне Боливар?

Когда я докатился до того места, где произошла катастрофа, там уже не было ни вертолета, ни санитарных машин, ни пожарных; были только две полицейские машины, вспыхивавшие синими огнями, перекрывавшие левую полосу; и двое полицейских в зеленых формах и кепках, с невозмутимым видом, простыми швабрами сметавшие с асфальта искристые осколки стекла; разбитым носом уткнувшись в разделительную планку, безмолвно стояло оранжевое «Пежо»; руль его

торчал посреди помятой арматуры, как восковой нос покойника торчит из гроба в незабвенном стихотворении Анненского... Почти восторг, вопреки всему, охватывает меня всякий раз, когда я подъезжаю к Франкфурту, на чем и откуда бы я ни ехал, когда вдруг за изгибом автострადы, слева от нее или справа, сперва справа и затем, скажем, слева, в сияющем или пасмурном отдалении появляется — мираж в пустыне — этот лес небоскребов, лесок небоскребов, фантастических в своей отделенности от всего остального, от простой плоской жизни, окружающей их и нас. Уже смеркалось, когда я въехал в тот день во Франкфурт; в скорых сумерках, готовых обернуться темнотой, тусклыми фонарями, я поставил машину, как всегда это делаю, если удастся мне там найти место, возле так называемого нового университетского кампуса (Campus Westend), на одной из узких улочек, прилегающих к главному зданию этого нового кампуса — зданию, кстати, вовсе не новому, построенному в самом конце двадцатых — начале тридцатых годов замечательным архитектором Гансом Пельцегом (Hans Poelzig) для фирмы IG-Farben, — зданию, тоже совершенно замечательному, неправдоподобно громадному, монументально-величественному в своей конструктивистской простоте — монументальность, ничего доброго не предвещающая: помянутая фирма в самом деле весьма и весьма успешно проявила себя в эпоху, наступившую сразу после завершения строительства, посодействовав, среди прочего, распространению «Циклона Б», того самого, который столь удобен оказался для промышленного производства смертей; о чем среди, опять-таки, прочего сообщает подробная надпись на большой плите, лежащей у входа; и мы всякий раз останавливались возле этой плиты, когда проходили здесь с Тиной, и кажется, ни разу не остановились, когда проходили с Виктором; точно так же, как мы с Тиной всегда останавли-

Алексей Макушинский

вались, совсем рядом с университетом и уже в двух шагах от ее дома, перед бюстом Боливара, вот именно: Симона Боливара, освободителя Южной Америки, удивленно выглядывающим из кустов в крошечном скверике, носящем то же имя — освободителя Америки, Боливара; скверике, спрятавшемся за небольшим окраинным небоскребом, зеркальнооконным, одним из тех небольших небоскребов — небоскребики, — которые во Франкфурте строят обычно поодаль от больших и заправских, чтобы они под ногами у гигантов не путались. Он сам не понимает, наверное, что он здесь делает, в банковском Франкфурте, этот бронзовый Боливар с пятнами окиси на впалых щеках, с глубокими глазницами, приподнятыми бровями и морщинами на лбу, почти повторяющими линию бровей, как если бы они изумлялись все вместе: и морщины, и брови. Виктор, когда мы с Тиной, бывало, призывали его восхититься ироническим идиотизмом этого Боливара посреди небоскребов, отвечал на наши призывы такой же застенчиво-вежливой и спокойно-отстраненной улыбкой, таким же поощрительно-равнодушным склонением головы, какими (думал я) отвечает на демонстрацию местных достопримечательностей заезжий монарх, несчастный наследный принц, которому ошалевшие поселяне все показывают и показывают свои модернизированные коровники, усовершенствованные сенокосилки... Что ему Гекуба? Что мне Боливар? Мне Боливар никто и ничто, но мне нравится жить в мире, где может быть посреди Франкфурта маленькая площадь (маленький сквер) с бюстом Боливара, имени Боливара, *viva la libertad*. Наверное, стремление к абсолюту отменяет (я думал) смешные частности бытия. Предпочитаю частности. Никого не было ни в сквере, ни на соседних улицах; Франкфурт в воскресенье пустынен. Возле самого Тининого дома повстречался мне, наконец, человек, молодой и блондинистый, галстуч-

но-банковского типа, кативший за собою короткий плоский чемодан на колесиках; кативший и на ходу куривший, так округляя губы при выпуске дыма, словно он целовал кого-то незримого, воображаемую подругу, уже насквозь отравленную его любовью, его никотином.

Лица не было, лицо было

После нашего утреннего телефонного разговора я ожидал увидеть Тину страдающую, Тину измученную; поднимаясь к ней по (чудесной, витой и литой, югендстильной, как и весь дом) лестнице, спрашивал себя, что, собственно, мы имеем в виду, когда говорим, что на ком-нибудь лица не было? Лица не было — это как? — спрашивал я себя в полной уверенности, что лица на Тине не будет. Лицо на ней было. Нельзя сказать, что радостное или счастливое; во всяком случае и к моему изумлению, спокойное; сдобренное, впрочем, косметикой. Она сумела даже улыбнуться мне, когда я вошел. Мы обнялись; я почувствовал ее мощные формы. Не только было у нее лицо (спокойное и сдобренное косметикой), но и одета она была как для светского выхода: в черном, хотя и не длинном, платье, в черных чулках и лакированных туфлях. Она ждала, как выяснилось, знакомую галеристку из Праги, собиравшаяся ужинать вместе с нею в том итальянском ресторане на соседней улице, где имела обыкновение ужинать с друзьями, возлюбленными, деловыми партнерами. Она привела себя в порядок, сказала Тина, оглаживая свое черное платье, даже, как я мог заметить, накрутила волосы, но никаких сил нет у нее для поддержания светской беседы, а галеристка из Праги собирается делать ее, то есть Тинину, большую выставку в своей из пражских фотографических галерей моднейшей и престижнейшей галерее, так что нужно было бы соблюсти все приличия, быть на уровне и вообще *соответствовать*,

Алексей Макушинский

и если бы я пошел вместе с нею (для поддержания, вставил я, светской беседы...) — нет, просто по дружбе и за компанию, возразила Тина, ну и в качестве известного русского писателя (ха-ха, известного! — вставил я...), то она, Тина, была бы мне, прямо скажем, бесконечно признательна; я согласился, понятное дело, хотя никаких сил для поддержания светской беседы с галеристкой из Праги у меня тоже не было.

Настоящее горе

В этом ресторане, где бывал я и с Тиной, и с Виктором, и с ними обоими, всегда смешили меня развешанные по всем стенам огромные черно-белые фотографии толстенных итальянок, толстенных же итальянцев, с восторгом, расплываясь всеми своими рясками, уплетающих спагетти и пиццу: призыв к обжорству, гимн чревоугодию, оправдание раблезианских радостей бытия. За столиком наискось, у стены, сидели в тот вечер две тетki (самих себя наверняка считавшие дамами), никаких раблезианских радостей себе, небось, и в мыслях не позволявшие; две славные представительницы племени *сделанных женщин*, напомнившие мне ту любительницу красного дерева, в гостях у которой тридцать лет назад я познакомился с Васькой-буддистом (которую тридцать лет не вспоминал, впервые за тридцать лет вспомнил накануне, гостиничной бессонною ночью). У этих двух фальшивым казалось все: и глаза, и губы, и волосы, светлые у обеих, явно уложенные в дорогой и модной цирюльне, и очки, и шарфики, и браслеты на руках, и кольца на пальцах. Ели они отнюдь не пиццу, понятно, и не спагетти, но что-то рыбно-креветочное, маленькое на огромной тарелке (ресторан был не из дешевых; в Вестенде дешевых и не бывает); прижимая локти к бокам, отрезали крошечные кусочки от маленького чего-то; все движения их, как у той безмянной дамы, были

озарены изнутри *темным светом темного деспота*... Тина, очнувшись от своей скорби, своих мыслей о маме, втором инсульте, об университетской больнице, где она вчера провела весь день и сегодня все утро, тоже, я видел, наблюдала за тетками. Тина умела, любила наблюдать за людьми; ее глаза останавливались, когда она делала воображаемый снимок. А Виктору, думал я, важно было просто присутствовать. Он не наблюдал, он был здесь, сейчас, в неизменном, неизменно изменчивом настоящем, даже если это настоящее складывалось из стука ножей и вилок, из шума редких машин за окнами, из обжор на фотографиях, из живых, или мнящих себя живыми, влекомых или не влекомых к обжорству людей. Сами по себе эти люди не интересовали его. Он не собирался ни фотографировать их, ни описывать. В каком-то смысле, думал я, такой взгляд на мир честнее и чище, чем взгляд художника (того, лучше скажем, кто стремится, тщится, надеется быть им); впрочем, одно не так уж сильно отличается от другого; и там, и там речь идет о свободе от *темного деспота*, застилающего наши глаза своими, мы считаем, что нашими, ничтожными мыслями о том, как нам плохо и что надо сделать, чтобы стало, наконец, хорошо. Но есть и настоящее горе, невыдуманное. Такое горе от мира не отделяет нас, скорее заставляет нас смотреть иначе, яснее и пристальней (и разве я забуду когда-нибудь, думал я, те сосны в ярко-синем небе за окном крематория в тот страшный, зимний и сверкающий день, когда прощался я на этой земле с моей собственной мамой?). Знакомый официант, начальник над другими официантами (или хозяин заведения?), классический итальянский официант (или все же хозяин заведения), с небритыми щеками, вертлявый и возбужденный (Луиджи или Лоренцо; замечательный тем, что всегда ходил — и ходит — в роскошных рубашках от Armani, Boss, Pierre Cardin и еще тем, что если

Алексей Макушинский

что-то ему не нравилось в поведении его подчиненных — а ему часто что-то не нравилось, вообще ничего не нравилось, — то сразу же и принимался он их яростно отчитывать по-итальянски, крутя руками у них перед носом и нисколько не смущаясь присутствием посетителей; посетители и подчиненные переносили это стоически), — Лоренцо (или все же Луиджи), замедлив свой бег по залу возле нашего столика, явно собрался поболтать с Тиной о том, о сем, ни о чем; быстро взглянув ей в лицо, осекся и отошел. Чем дальше мы сидели и ждали, тем ужаснее она выглядела; лицо превращалось в маску. Лица теперь действительно не было; только маска осталась. Все опускалось в этом лице, этой маске: уголки глаз, уголки рта, веки, брови... Она вдруг показалась мне почти старухой, своей же умирающей матерью; я рад был, когда пражская галеристка, наконец, появилась.

Браслеты, молнии, холодное «шардоне»

Галеристка, Милена по имени, являла собою тип женщины-мальчика, с короткой стрижкой уже, наверное, крашенных, очень черных волос, причем стрижкой такой, какую видывал я у моих студенток в университете, когда бóльшая часть этих волос оказывается на одной стороне головы, свисая рыхлыми космами, на другой же остается лишь легкая, почти прозрачная поросьль; в дополнение к этой безумной стрижке одета была во все черное, кожаное: в кожаную, всю в молниях, курточку, под которой, когда она сняла ее, обнаружилась еще одна курточка, тоже вся в молниях. Сапожки были высокие, брючки узенькие, кожаные и черные, под стать всему остальному. Худенькая и маленькая была она, как француженка; так что я и не удивился, когда перешла

она с немецкого на французский, объявив, что ей это проще; у Тины, я видел, не было сил ни для немецкой, ни для французской беседы; все-таки они долго говорили о пражской выставке, обсуждали подробности. Мы обнаружили с ней общих знакомых, в том числе русских, работающих на радио «Свобода», которое, как известно читателю, в девяностые годы переехало в Прагу из Мюнхена. Покуда не переехало, я с ним еще сотрудничал, потом перестал, к сожалению, сотрудничать. Лоренцо (он же Луиджи) с прежним испугом, мне помнится, заглянул в Тинино лицо, принимая заказ; затем пустился обхаживать роскошную, блестящую, красную, со множеством колес, колесиков, рычагов и рычажочков машину, предназначенную для нарезания пармской ветчины («Порше», видимо, среди ветчинных машин, «Мазератти» среди салорезущих аппаратов), машину, распоряжаться которой он никогда не доверял подчиненным ему недотепам, всякий раз сам и лично, с неизменным, на лице его лоснившимся наслаждением отрезая от громадной, не уменьшавшийся, что бы с ней ни проделывали, свиной ноги, покрытой жиром и корочкой, тонкие нежные ломтики. Все было черное на галеристке Милене — только сумка была ярко-красная (красней и ярче ветчинного «Мазератти»), с длинными ручками и золотыми застежками: зримое проявление иронии. Из нее-то, постукивая бесчисленными браслетами на обоих запястьях, извлекла она с улыбкою фокусника, достающего из кармана собаку и граммофон, огромный альбом фотографий, непонятно каким образом в этой сумке до тех пор помещавшийся; альбом, он же сборник статей (на чешском), недавно изданный ею, Миленой, и привезенный Тине в подарок; посвященный великому (наверное, этот эпитет здесь уместен) чешскому фотографу Франтишеку Дртиколу, о котором Тина знала если не все, то почти все (из того немногого, что известно о нем),

Алексей Макушинский

о котором, к стыду своему, я до этого вечера никогда и не слышивал. Тина историю фотографии знает в лицах и анекдотах. Так же сухо и лихо стучали Миленины серебряные, из тончайшей паутинки, браслеты, когда приступила она к тигровым креветкам, которые ей подал Луиджи, к холодному «шардоне», к которому оказалась очень равнодушна; втайне посмеивалась она, мне казалось, над этим стуком браслетов, над всем своим обликом.

Франтишек Дртикол, герой ар-деко

Франтишек Дртикол, узнал я от охотно болтавшей, к холодному «шардоне» очень равнодушной Милены, родился в 1883-м и умер в 1961 году; историки фотографии считают его выдающимся представителем ар-деко в этом виде искусства. *L'art déco*, Дртикол... Я сказал, я помню, что сама (столь выразительная в своем неблагозвучии, вы уж простите) фамилия Дртикол являет собой почти полную анаграмму слов *l'art déco*, так что он ни к какому другому течению принадлежать, наверное, и не мог — имя предсказывает судьбу. Милена долго смеялась в ответ, стуча своими браслетами, я же думал о том, как бы произносил это имя — Франтишек Дртикол, — как разгрызал бы этот грильяж, этими *p* громыхал бы Ген-наадий, в том прошлом, которое накануне ночью воскресло для меня и во мне. О принадлежности или не-принадлежности Дртикола к ар-деко можно спорить, но дело не в этом, говорила Милена, покуда я рассматривал фотографии, заинтересовавшие меня сразу, с первого на них взгляда, в особенности и со взгляда самого первого — фотографии обнаженной женской натуры (выразимся официально...), которыми и знаменит он тоже, наверно, в особенности. Не ими одними

(говорила Милена). Дртикол был не только фотографом, не только художником: он занимался йогой, даосизмом, буддизмом, еще какими-то (она, Милена, очень плохо разбирается во всем этом, говорила Милена) экзотически-эзотерическими учениями, даже переводил на чешский, чуть ли не первым, разнообразных, очень восточных (она только не помнит, каких именно) мудрецов и философов. Не просто занимался он всем этим, но в какой-то уже относительно поздний момент жизни, в середине тридцатых, продал свое пражское ателье, фотографию забросил, посвятил себя мистическим опытам, а после войны сделался убежденным коммунистом, даже, ненадолго, коммунистическим функционером, вторым секретарем райкома или чем-то вроде этого, при том, что новая власть, установившаяся в Чехословакии, запрещала упоминать о нем в прессе, о выставках тем более речи не было; а все-таки он стал (и судя по всему, что мы знаем, вполне искренним) приверженцем коммунизма, каковы коммунистические убеждения и увлечения не мешали ему оставаться буддистом, йогом, даосом. Как все это уживалось в одном человеке? — вот вопрос, вот загадка. И вот, во всяком случае, фотографии, на которых Дртикол сам себя запечатлел медитирующим (говорила Милена, отбирая у меня альбом, листая его, стараясь не угодить им в тарелку). На той, которую она показала мне, даос и йог сидит совершенно голый, немолодой, белотелый, светловолосый, довольно плотный, в позе, которую я определил бы как полулотос, с руками, сложенными в подобие дзенской мудры, и с этим опущенным, повернутым внутрь взглядом, столь мне памятным и знакомым. Под конец, похоже, снимать ему уже не хотелось, хотелось только полировать свое внутреннее зеркало, подставку этого зеркала; хотя и он знал, наверное, что нет ни зеркала, ни подставки, ни пыли... У Дртикола, говорила Милена, есть и «просто» фото-

Алексей Макушинский

графии (поставим тут самые жирные кавычки, какие только найдем), портреты, например, разнообразных знаменитостей, местных или приезжих (из альбома глянул на меня потрясающий портрет Поля Валери, сделанный в Праге в 1920 году, раньше мною не виденный; едва ли не лучший фотографический портрет когда-то в юности столь любимого мною автора; а всегда волнуют нас встречи с былыми кумирами), или портреты еще более разнообразных не-знаменитостей, но сам Дртикол всего более знаменит, действительно, своей эзотерической эротикой, или своей эротической эзотерикой, с удовольствием и по-французски говорила Милена, а уж ее, Милену, совершенно, она вынуждена признаться, равнодушную ко всем этим даосизмам, буддизмам, в самую первую очередь интересуют именно дртиколовские ню (которые, похоже, и меня интересуют в первую очередь), эти помещенные в абстрактное и студийное пространство фигуры, весьма часто, вот, вот и вот, предстающие в окружении неких геометрических элементов, треугольников и кругов или волнистых линий, или объемных, тоже абстрактных конструкций, трапеций. Это были, почти на всех фотографиях, модели одного и того же типа: худые и очень худые, похожие на подростков женщины с несбритыми, по моде того времени, волосами в тайных местах, — хорошо видно, как волнуют его эти волосы, в самом деле прекрасные и густые у его моделей, среди коих одна, на нескольких фотографиях появляющаяся в декоративно-драматических позах, с заломанными, заведенными за спину или еще куда-нибудь запрокинутыми руками, и в освещении тоже драматическом (с трагическими тенями вокруг), показалась мне похожей на Милену, сидевшую рядом со мною, даже очень (если отвлечься, я думал, от Миленина прикольнo-панкового современного облика) похожей на сидевшую со мной рядом, попивавшую «шардоне» и тоже, на-

верное, сознававшую свое сходство с безымянной моделью (даже, возможно, заметившую, что я это сходство заметил) Милену, — так сильно, если еще внимательнее присмотреться, похожей, как если бы просто перевоплотилась она (что было бы, наверное, вполне в духе нам неведомых эзотерических учений, соблазнявших самого Дртрикола) в эту Милену, глядя теперь на которую я, не без влияния выпитого мною «кьянти», не мог не спросить себя (ее саму спросить, понятно, не мог), побриты ли у нее подмышки, сбриты ли прочие волшебные волосы... Вряд ли она угадала мою мысль; молчащая Тина, с которой некогда и не однажды (разглядывая ее собственные, на дртриколовские столь непохожие ню) обсуждали мы эту волнующую тему сбритых и несбритых волос, как раз догадалась, наверное, о чем я думаю; потянула к себе альбом, тоже и в свою очередь стараясь не угодить им в тарелки, не опрокинуть стаканы; усмехнулась своей всепонимающей, всепрощающей короткой усмешкой, на мгновение забывая, может быть, другие, горькие, мысли, сравнивая фотографии с новым воплощением модели... В конце своего пути, рассказывала воплотившаяся модель, Дртрикол делал уже, в сущности, не фотографии, но своего рода коллажи, используя, судя по всему, просто вырезанные из картона фигурки — для нас, с нашими компьютерами, нашими фотошопами, техника вполне примитивная, — в освещении все более фантастическом, соединяя или не соединяя их с изображениями излюбленной им обнаженной натуры. Это некие духовные сущности, астральные и световые тела. Можно сказать, что Дртрикол уходит все дальше от того, что мы зовем реальностью: сначала уходит от нее в своих работах, потом в жизни, в конце концов отказываясь и от самих работ, самой фотографии, теряясь, вероятно, в каких-то внутренних, потаенных, нам, простым смертным, недоступных пространствах.

Возможность выбора

А меня всегда занимали отказ, уход, умолкание художника, сказал я в ответ; Рембо, уезжающий в Африку; сам не знаю, почему это так влечет меня; я-то, говорил я (уже заплетавшимся от «кьянти» и усталости языком), хотел бы писать до последнего дня своей жизни, умереть с тетрадкой в руках, ручкой в руке. Наверное, потому что это намекает на возможность выбора; вот почему. Отрадно думать, что мы сами выбираем свой путь, говорил я (вспоминая, как обыденно и спокойно произносил это слово Боб, на той, девять лет назад, вечеринке); отрадно думать, говорил я (заплетающимся языком, преувеличивая свое опьянение), что не кто-то за нас решает, но что мы сами выбираем, сами решаем, по какому пути пойдем, займемся ли фотографией или углубимся в буддизм, будем ли сочинять, к примеру, стихи или прозу или протистимся со всем этим, сделаемся йогом, сделаемся даосом. Хотя в глубине души мы знаем, что выбора нет, или не знаем, но чувствуем, или предчувствуем, или догадываемся, или как-то так, и вообще простите меня, это вино, и бессонница, и усталость, и страшные новости, которые мы получили сегодня, и вообще представить себе, что я еще утром бродил возле «Витры» в Вейле-на-Рейне, любуясь конференц-павильоном Тадао Андо, тоже, я думаю, не чуждого буддистской медитации, хотя с уверенностью утверждать не могу, попробую разузнать, говорил я отсутствующей Тине, улыбающейся Милене, и вообще мысли мои путаются, и говорю я под возбуждительным влиянием «кьянти», как в электричке некогда, если Тина помнит, болтал под действием джина, выпитого мною на вечеринке у Боба, в богатейском, скучнейшем Кронберге-в-Таунусе, хотя я очень редко пью, уж вы поверьте, говорил я Милене, да и сейчас, признаюсь, чуть-чуть преувели-

чиваю действие на меня алкоголя, просто чтобы сказать вам то, что мне хочется сказать, что выбора у нас нет, нам только кажется, что мы можем пойти по одной или по другой дороге, исхоженной более или проторенной менее, и, наверное, потому у нас нет никакого выбора, что мы сами же и есть этот выбор и, следовательно, не можем обладать им как чем-то посторонним, чем-то другим и отличающимся от нас самих, как нам всем бы хотелось, и мы сейчас пойдем, мы расплатимся, то есть я расплачусь, а вы не спорьте, прекрасная Милена, просто дайте мне заплатить, вот и все, вот уже и «кьянти» мы допили, точнее я допил, вот уже и «шардоне» ваше кончилось — все кончается, все проходит, *arrividerci, caro Luiggi, ciao, ciao, caro Lorenzo.*

Эркер, лепнина

Я остался ночевать у Тины; уже никаких сил не было у меня ехать домой, да и слишком много было выпито, чтобы мог я ехать, не рискуя машиной, головой и правами. Я лежал на кожаном низком диване в той большой комнате с эркером, которая служила Тине одновременно гостиной и студией; лежал, глядя на высокий потолок с югендстильной лепниной, бегущей по краям его; лепниной узорчатой, составленной из вьющихся, друг за друга загибающихся стеблей фантастических трав и всякий раз, когда я смотрел на нее, заставлявшей меня вспомнить ту бесконечно более примитивную, несколько не югендстильную, но сталинско-барочную (барачную), из каких-то блямб, но все же лепнину, на которую я так долго, все мое детство, смотрел засыпая; я уже засыпал, в самом деле, когда Тина из-за полуотворенной (вообще, кажется, не закрывавшейся полностью) двери в спальню начала, в очередной раз (в который раз за последние годы), но с такой

Алексей Макушинский

обстоятельностью, и с такими подробностями, с какой, с какими еще никогда, рассказывать мне историю своих с Виктором отношений, историю их любви, сближения и разрыва, в общих и даже некоторых частных чертах уже известную мне; голос ее, низкий и скорбный, звучал из-за двери, как иногда звучат по телефону незримые голоса — голоса, за которыми мы, на нашем конце провода, никого и ничего не можем представить себе: ни того, с кем мы говорим, ни, к примеру, той комнаты, из которой он говорит с нами; и хотя я отлично мог представить себе Тину, в соседней комнате и в ночной черной рубашке лежащую на спине на кровати, подложив под голову полную руку, все-таки голос ее звучал из-за полуоткрытой, потому что не закрывавшейся до конца двустворчатой двери как такой телефонный, потусторонний голос, приходящий откуда-то из ниоткуда, с электрическим треском, из невообразимых пространств. Снова, как прошлой ночью, бежали по потолку и стенам отсветы редких фар, проникавшие сквозь опущенные, но не сведенные в сплошную плоскость жалюзи эркера; ровный, розовый отсвет города тоже плыл и перемещался по стенам, по завиткам и стеблям потолочной лепнины; все это — и Тинин абстрактный голос, и разнообразные отсветы, и мои собственные случайные мысли, мысль о том, как я уже хочу заснуть, наконец, — все это сливалось с ключьями и кусками то подступавших ко мне, то вдруг опять отступавших от меня сновидений; все это, вместе с ключьями сновидений (куда-то мы шли вместе с Тиной, по каким-то темным улицам, в поисках то ли Виктора, то ли еще кого-то...), оказывалось одним большим сном или только фрагментом, отрывком одного большого и невероятного сна, который давно я смотрю, не могу насмотреться.

Кустодиевские красавицы

По соображении всех данных, всего того, что мне рассказала Тина в ту ночь, и того, что она мне раньше рассказывала, и того, что мне рассказывал Виктор, и чему я сам был свидетелем, — по соображении всего этого я понимаю теперь, что их роман начался стремительно, развивался бурно, как и должны начинаться, должны развиваться романы. Роман должен быть быстрым, говорила мне в молодости одна дама, многим важным вещам меня научившая. На другой день после их случайного знакомства, после нашей, всех троих, случайной встречи в электричке из Кронберга во Франкфурт, после вечеринки у Боба (той роковой вечеринки, на которой впервые появилась ангелоподобная Барбара) — на другой день после этого случайного знакомства, этой случайной встречи (случайности, однажды начавшись, прекращаться не любят) Виктор, проходя мимо того банка (соседнего с его собственным; во Франкфурте все банки, все башни стоят на одном пятчке), где Тина устраивала свою выставку, увидев плакат с объявлением о вернисаже, в этот банк и башню зашел, еще, по соображении всех данных, ни о каком романе с Тиной не помышляя, но просто из любопытства, после долгого рабочего дня, и, значит, не в джинсах, не в пижонской маечке, как накануне, а в черном костюме, белой рубашке, выделяясь из толпы закончивших рабочий день клерков лишь буддистской синева черепи и сумасшедшими осмысленными глазами. Тину всегда привлекала обнаженная натура, по преимуществу женская. Не просто женская и не просто обнаженная, но, опять же, по преимуществу ей самой родственная, с ее собственной схожая (и совсем не схожая с той, что влекла и пленяла Франтишека Дртикола, великого чешского фотографа эпохи ар-деко...); выставка, на которую попал Виктор,

Алексей Макушинский

демонстрировала миру десять или пятнадцать (я точно не знаю сколько, но знаю, что немного; зал был маленький, а фотографии очень большие) очень больших (метр на полтора или полтора метра на два) черно-белых фотографий обнаженных рубенсовских красавиц (или не совсем красавиц, или даже совсем не красавиц, но точно рубенсовских или, скажем, кустодиевских), помещенных в пейзаж или снятых в студии, повернутых к зрителю или смотрящих на далекие облака, лежащих на садовой скамейке или отраженных в полуотворенной зеркальной дверце старого платяного шкафа; Виктор, поднявшись по длинной, как будто сужавшейся лестнице на второй этаж, где был поделенный на две части зал, предоставляемый банком для выставок того и сего (франкфуртские банки дорожат репутацией меценатов), оказался в вернисажной толпе, шатавшейся с бокалами шампанского, или апельсинового сока, или (по немецкой привычке наливать разные жидкости в одну емкость) шампанского, смешанного с соком, от одной фотографии к другой, в той бессмысленной экзальтации, в которой обычно пребывает такая толпа, в экстазе лицемерных приветствий и фальшивых объятий, помноженном на тайное возбуждение, испытываемое большинством мужчин и частью женщин при виде Тининых фотографий; сама Тина, в то время сорокалетняя, то есть в сущности еще молодая, красивая от собственного успеха, в черном, по обыкновению, платье с глубоким вырезом, в черных же крупных бусах на полной и белой шее, с медно-рыжими, за ночь выкрашенными (но этого Виктор, скорее всего, не понял), распущенными по плечам волосами и, в свою очередь, с бокалом апельсинового шампанского в крепкой руке, появилась из-за разделявшего зал на две части выступа, еще заканчивая разговор с кем-то, оставшимся сзади в толпе, договаривая, досмеиваясь, домаживая на прощанье левой ру-

кою, к Виктору вполборота, и когда повернулась к нему всем корпусом, узнавая его, что-то прямо царственное было в этом движении, в этом повороте бюста и головы, а вместе с тем это выглядело так, словно она подавала ему бокал с апельсиновым шампанским, который несла по-прежнему перед собою, так что он, растерявшись, в свою очередь протянул руку к этому бокалу, тут же, еще больше смутившись, ее опустил, на что она, Тина, смутившись тоже, но с ласковой, счастливой усмешкой, со своим, столь ей свойственным, коротким, всепонимающим и потому прощающим все смешком сказала ему, что это ее бокал, но что вон там, на подносе, стоят другие, сколько угодно. Он был снова один в толпе, наедине с ее фотографиями, этими десятью (или все же пятнадцатью) обнаженными (или почти обнаженными) женщинами, совсем не Тинами, но на Тину отчасти похожими, преображенными черно-белой съемкой, неожиданностью и разнообразием ракурсов, игрою света и тени; женщинами, благодаря этой съемке уравненными в правах с ландшафтом и обстановкой, с облаками и ветками деревьев в саду; снятыми с любовью и если, например, улыбающимися, то улыбающимися так, как будто они тоже думают о любви и о счастье. А он никогда не думал, что его могут волновать такие женщины. Весь его не очень, как я понимаю, богатый эротический опыт связан был со случайными сверстницами; сокурсницами; с одной из этих сокурсниц (Мариной по имени) тянулся у него со второго по четвертый курс скучнейший роман; в начале пятого девушка вышла замуж (по соображениям карьерно-коммерческим); Виктор вскорости уехал в Германию; в Эйхштетте жил, продолжаю думать, анахоретом. Ни разу, никогда в жизни, признавался он мне впоследствии, не приходило ему в голову, что такие женщины, с такими формами и так очевидно старше его самого, могут вызвать в нем такое волнение,

Алексей Макушинский

такое смятение. Он вышел на улицу, где с бокалом в одной (от этих бокалов никуда нам не деться) и сигаретой в другой руке стояли курильщики; вдохнул вечерний воздух с привкусом табачного дыма, выхлопных газов, резко-сладких духов, излучаемых, вместе с табачным дымом, сухой и чем-то недовольною дамой, курившей у самого входа; помедлил; удивляясь себе, пошел опять вверх по лестнице. Заговорить с Тиной ему в тот вечер не удалось: ей было не до него или ему не хватило смелости; возвращаясь домой, проклиная свое заикание, долго стоял он на мосту через Майн, глядя на небоскребы, на воду, огни, отраженные в ней, легкие облака в ночном небе, и прежде чем заснуть, два раза по двадцать пять минут просидел на черной подушке, в осязаемой тишине, стараясь сосредоточиться на своем коане, нащупывая в себе самом что-то другое, ему еще не понятное.

Начало романа

Назавтра он позвонил ей и, очень сильно заикаясь — заикаясь так по-немецки, как обычно заикался по-русски, — сумел сказать, что ее фотографии произвели на него впечатление необыкновенное, что он прямо влюбился в них — формулировка, им заранее найденная, — прямо влюбился в них, в фотографии, и был бы счастлив увидеть еще... еще... тут он сбился... еще какие-нибудь другие, да, фотографии, фотографии, да, другие какие-нибудь, которых еще не... не видел он... и увидеть ее саму, Тину, да, вот, вот так. Она была удивлена. Она ничего подобного от него не ожидала, вообще о нем и не думала. Она сразу поняла, что не в фотографиях тут дело. Ей это польстило и ее позабавило. Как-никак ей было сорок, ему — она не знала сколько, но явно меньше тридцати (ему было двадцать шесть в том году). Он был для нее мальчишка. Все-таки она сперва повернулась

к нему своей неприступною стороною. У нее будут еще выставки, сообщила она равнодушным голосом, про себя улыбаясь. Когда? Ну, когда-нибудь... Долго ждать, произнес он в трубку, понимая, что уже все равно, все потеряно. О'кей, что ж, заходите при случае, *kommen Sie mal vorbei* (что тоже звучало отнюдь не как приглашение). Они договорились, однако, о встрече, которую два раза переносила она, вовсе не потому, что хотела ее перенести или вообще отменить, наоборот: чем больше она думала о Викторе, тем больше ей хотелось снова увидеть его безумные осмысленные глаза, но потому что так складывались обстоятельства, оба раза ей нужно было ехать на срочную съемку для денег, и уже он, Виктор, не верил, что они вообще встретятся, и, скорее всего, не перезвонил бы ей; на сей раз она сама ему позвонила. Получилось так, что теперь она зовет его к ней зайти. Они это оба почувствовали, да так это, в общем, и было. Поэтому она очень была смущена в тот вечер, когда он дошел до нее; сильнее была смущена, чем если бы не было этих двух несостоявшихся встреч, звонков, извинений, новых попыток найти подходящее обобщим время; смущение, которое он мог толковать в свою пользу, или она думала, что он может его так толковать, отчего это смущение только усиливалось. В сущности, он теперь чувствовал себя уверенней, чем она. Он отказался от кофе, сока у нее не было; дело кончилось водой из-под крана. Они оба мне рассказывали потом, что когда он посмотрел фотографии, развешанные по стенам, и фотографии отпечатанные, в больших папках, — фотографии, среди которых тоже немало было обнаженной натуры, Тине близкой и родственной, то есть этих, еще раз, рубенсовских (или, если угодно, кустодиевских) красавиц со всем их избытком плоти, тайнами этой плоти, преображенной светом и ракурсом, но была и совсем другая натура, другие мотивы, пейзажи — пейзажи, к при-

Алексей Макушинский

меру, индустриальные: заброшенные заводы с провалами черных окон, бетонные, друг за друга загибающиеся развязки автострад под облаками, тоже как будто бетонными, щебеночные карьеры и камнедробильные установки, доменные печи и шатровые копры над шахтами, которые Тина начала снимать еще в пору своей учебы в дюссельдорфской Академии художеств, у Гиллы и Бернда Бехеров (о которых, как не трудно догадаться, Виктор и слыхом не слыхивал) — оба они мне рассказывали, что в тот первый вечер, когда он выпил воды и посмотрел фотографии (на которых и рубенсовские красавицы, и забытые миром газгольдеры восхитили его не совсем одинаково, но в одинаковой степени), довольно долго говорили они обо мне; просто потому, что больше не о ком было им говорить; сидя рядом с нею вот на этом кожаном диване, на котором лежал я после встречи с пражской галеристкой, Виктор, иногда заикаясь, рассказал ей, в общем, все ему обо мне известное (а известно ему было немного, и ни моих стихов, только тогда начинавшихся, ни моего в ту пору единственного романа, с его скрытыми дзен-буддистскими мотивами и аллюзиями, он еще не читал); и, значит, я незримо присутствовал, сам того не подозревая, при этом первом их randevu. Оно могло стать и последним. То есть он просто не знал, как договориться о следующем. Тина, с видом деловой женщины, уже в прихожей, извлекши откуда-то календарь, сообщила Виктору намеренно равнодушным голосом, глядя в его страдальческие, необыкновенные, безумно-осмысленные глаза, что в ближайшие дни она занята, и завтра занята, и послезавтра, и после-после-завтра, но что, вот, в воскресенье у нее будет время поехать куда-нибудь просто так, поснимать что-нибудь, поехать, например и если будет хорошая погода, на Рейн, да, прокатиться вдоль Рейна, и что если он хочет...

Каменоломня

Она не собиралась говорить ничего подобного (из-за полуотворенной двери рассказывала мне Тина) и уж точно не собиралась ни в какое воскресенье ехать просто так кататься вдоль Рейна и даже фотографировать там, на Рейне, что бы то ни было, во всяком случае, в его самой туристической, самой, прости господи, романтической части между Майнцем и Кобленцом (а именно этот отрезок реки, с его замками, его скалами, его винодельческими городками, увиделся ей внутренним зрением, когда произносила она, для себя самой неожиданно, деловым голосом, фальшиво перелистывая календарик, эту фразу в прихожей); оставшись одна и продолжая изумляться себе, подошла к окну гостиной (где только что сидели они вдвоем на кожаном черном диване, и недопитый им стакан с водой из-под крана стоял на журнальном столике, и свет дробился в этой воде) и, глядя на соседний с ее домом зеркальнооконный небоскребик, на бюст Боливара внизу, спросила у Боливара и у себя, что это значит и почему вдруг на Рейн, по Рейну; догадавшись почему, почувствовала, что у нее горят и краснеют щеки; рассмеялась и рассердилась; и когда заехала за ним в Заксенгаузен (через сколько-то дней, на своем пижонском оранжевом «Гольфе» с откидной крышей), и они вернулись по воскресным пустым улицам все в тот же Вестенд, и выехали на висбаденскую автостраду, Тина, следя за дорогой, все продолжала себе самой удивляться и на себя же саму сердиться, и вновь чувствовала, что у нее горят щеки и портится настроение, и не уступающие дорогу другие машины действуют ей на нервы, и какого черта вообще затеяла она все это, какого черта едет на этот Рейн, где со школы, кажется, не бывала, с молодым русским, незнакомым ей и ненужным, и лучше бы все это уже закончилось поскорее. Сперва, от смущения, ни о чем не говорили

Алексей Макушинский

они; потом говорили о банальном и постороннем, о том, как она, Тина, всегда хотела побывать в Петербурге и какой это, говорят, прекрасный город, и в Москве тоже побывать она бы хотела, а еще больше хотела бы проехать по Транссибирской магистрали — мечта всех немцев, — и неужели он, Виктор, никогда не ездил по Транссибирской магистрали, и даже никогда не бывал в Сибири, не видел Байкала, быть того не может; еще говорили о том, что Виктор машину, увы, не водит, просто никогда не было у него ни машины, ни возможности водить ее, но что теперь он собирается записаться в автомобильную школу и что автомобильная школа есть в соседнем с ним доме, и что, наконец, у него есть деньги на это, хуже со временем... Рейн, между тем, появился, автострада обернулась обыкновенной дорогой — между холмами с одной, рекой и ветлами с другой стороны. Были узенькие необитаемые острова на реке; закончились и они; Рейн открылся им во всей своей мерцающей широте. Но остановиться было негде; машины шли сплошным потоком и в ту, и в другую сторону; и по узенькой дорожке, зажатой между рекой и шоссе, шли и в ту, и в другую сторону спортивные пары, совершавшие свой воскресный променад, и ехали велосипеды, наезжавшие на гуляющих, и даже глядя на них из машины, становилось за них обидно, и непонятно было, какое удовольствие получают все они от прогулки в такой тесноте, таком грохоте, в такой военной, или тюремной, однозначности своего движения (шаг вправо, шаг влево — не побег, но шаг ни влево, ни вправо вообще невозможен...); и хотя Виктор с удовольствием смотрел на реку, мерцание реки и радовался этой поездке в места ему до сих пор не знакомые, на велосипеде недостижимые для него, и еще больше радовался Тининой близости в тесном «Гольфе», взволнован был этой близостью, запахом ее прохладных духов, и глядя на реку, в то же время

глядел на нее, сердито следившую за дорогой, и в этом мерцанье воды, мельканье велосипедов, ветел, пирамидальных, высоко в небо взлетающих тополей ее лицо, в профиль, было совсем не таким, каким было во Франкфурте, сердитым, но как-то по-детски сердитым, то есть неожиданно детским, беззащитным лицом, и ему это нравилось, его это трогало, — и все же он не понимал, что происходит и на что она сердится, и потому был еще более смущен и растерян; и в Рюдесгейме, до которого они дотащились, были сплошные праздные толпы, бродившие от одного переполненного ресторана к другому переполненному кафе, и в крошечных магазинчиках продавали местное вино, разрисованные кружки, раскрашенные тарелочки — весь набор туристских банальностей, и так переполнен был узенький городочек, что Тина даже не сумела поставить машину, развернулась и поехала в обратную сторону в надежде, что где-нибудь освободится место для парковки, и развернулась еще раз, но места все не было, и они просто поехали дальше, так и не посидев в кафе и кофе не выпив; и после Рюдесгейма стало посвободнее на дороге, хотя долина реки еще более сузилась; появились первые скалы, первые замки на скалах; появился, исчез напротив Бингена, на впадении в Рейн реки Нае (Nahe) — чуть дальше за этим впадением — знаменитый островок со сторожевою башнею; и в теплом осеннем свете так покойно и мирно желтели виноградники на холмах; их ровные, вверх убегающие гряды казались Виктору, со счастливой улыбкой на них смотревшему, длинными строчками какого-то к нему обращенного послания, простого, стройного, ясного; но еще Тина продолжала сердиться на себя, удивляться себе, и банальность всего этого, этого разговора о Транссибирской магистрали, этого лакированного, туристского, из путеводителя и с открытки перенесенного в действительность Рейна (что

Алексей Макушинский

есть действительность?) — банальность всего этого, помноженная на школьные воспоминания, оставалась для нее почти оскорбительной; и если бы дорога не была перекрыта и не был указателями обозначен объезд, то, вполне возможно, роман их закончился бы, не начавшись; но дорога, по счастью, была перекрыта, объезд обозначен. Объезд увел их наверх, в горы, в места довольно пустынные, совсем не похожие на долину Рейна, оставшуюся внизу. Когда же свернули они еще куда-то в сторону, чтобы уже совсем оторваться от всяких других машин, то очутились в местах пустынейших, прямо диких, где только вдаль, на холмах, появлялись, затем исчезали красные крыши, белые колокольни безымянных, затерянных в распахнутой пустоте деревень, а затем шли поля, и снова поля, ровной желтизною переливавшиеся на солнце, и зеленеющие холмы, и редкие, в красных пятнах, раскрашенные осенью рощицы, и большие, вихрастые, посредине темные и по краям светящиеся облака, неподвижно стоявшие над этими рощами и полями. За одной из рощиц, с дороги почти невидимая, но Тиной увиденная, обнаружилась каменоломня, к которой, лихо затормозив, подъехала она по щебенке, зашербуршавшей под шинами. Каменоломня казалась заброшенной, хотя внизу, в глубине небольшого оврага, куда спускалась она уступами, виден был рыжий, с квадратными окошками, вагончик для рабочих и рядом с ним большие многогранные камни. Тина сперва фотографировала сверху и без штатива, потом сказала, что ей надо запомнить это место и приехать сюда поснимать спокойно и в одиночестве: она любит такие места, особенные места. Виктор ответил на это, что никуда не торопится. Она на это ответила своим всепонимающим (всепрощающим) коротким смешком, уже на выставке покорившим его. Они стали спускаться по разъезжавшимся под ногами камням. Спускаться было трудно. Он

дал ей руку и повел он, бережно, по едва намеченной, по осыпи наискось уходящей тропинке. Едва не упала она на него, соскальзывая с большого плоского камня, попавшегося среди мелких и сыпучих камней. Он удержал ее правой рукой и всем корпусом, в левой руке удерживая штатив. Он почувствовал тяжесть ее тела, и это возбудило его. Находя равновесие, она посмотрела на него удивленным и благодарным взглядом, сдающимся взглядом. Это было все же только мгновение. Он сел на один из камней у заколоченного вагончика, наблюдая за нею. Она устанавливала штатив и крутила колесики камеры с лицом ребенка, получившего, наконец, ту игрушку, к которой он так долго тянулся. Пару раз она обернулась к нему с этим лицом, улыбнулась ему; потом опять сосредоточилась на своей съемке. Он видел в ее жестах, глазах и действиях то отрешенное внимание, которое так хорошо знал по дза-дзену. К дза-дзену он и обратился, к коану. Он начал считать свое дыхание, от одного до десяти, погружаясь в самадхи, а в то же время не переставал наблюдать за нею, даже улыбаться в ответ ей. На ней были те же черные джинсы и тот же черный открытый свитер, как в кронбергской электричке, был не черный, но темно-синий, до колен, плащ, не знакомый ему, который сняла она, как будто он мешал ей фотографировать, положила на ступеньки вагончика. Явно мешали ей волосы, как во время вернисажа, распущенные, и такие же рыжие, с несмытою краскою; она их не собирала в пучок на затылке, но каждый раз, припадая к камере, откидывала назад осторожным и в то же время каким-то насмешливым движением руки, отчего рукав свитера сползал к локтю, обнажая крепкое запястье и собственно руку: круглую, полную, белую. Что-то было трогательное в этом движении. Он почувствовал, что влюбляется в нее, вот сейчас, в этой заброшенной каменоломне; то есть влюбляется в нее

Алексей Макушинский

саму, не просто в этот тип женщины, к которому испытывал такое для него самого неожиданное влечение, даже почувствовал ту умиленную печаль, которая неотделима, наверное, от влюбленности. Настоящий дзен-буддист *сидит* всегда, никогда не встает. Он чувствовал все это и удивлялся тому, что чувствовал, а в то же время продолжал решать свой коан, что бы сие ни значило, и мне очень хочется верить, что это был один из моих любимых коанов, который (это я знаю) он решил в то время и в самом деле (но, кажется, лишь два или три года спустя) решил (что бы сие, еще и еще раз, ни значило), тот коан, в котором ученику предлагается показать (но вот именно: как показать?) учителю свое истинное лицо, подлинное лицо, лицо, уже бывшее его лицом до знакомства друг с другом его папы и мамы, даже до рождения этих мамы и папы. Она бросила снимать камни и, спросив у него позволения, стала снимать его, Виктора: сделала один снимок, второй и третий (первый, второй и третий из бесчисленных Викторовых фотографий, сделанных ею за время их близости); ей не просто понравилось, но почти ее, тоже, тронуло, как он легко согласился и как спокойно, не рисуясь и не позируя, сидел под ее объективом, так сидел, расставив ноги и сложив руки в буддистскую мудру, как если бы он был просто частью пейзажа, камнем среди прочих камней, отвечавшим на ее взгляды и смущенно, печально и весело улыбавшимся в ответ ей, но не стремившимся предстать перед нею в каком-то ином образе, облике, как бессознательно стремятся почти все люди и как никогда не стремятся камни, деревья и облака. В совершенной тишине этой заброшенной каменоломни, где слышно было только сухое потрескивание мелких камушков у нее под ногами да изредка далекий шум ветра в раскрашенной, бурой и багряной роще над ними, он смотрел на нее прочищенными коаном глазами, свободный,

пусть на миг, от желаний, стремлений и скорби, впуская в себя покой этого остановившегося мгновения, застывшего времени, этих вихрастых, сверкающе-темных, неподвижно-изменчивых облаков над оврагом и рощей, и чем дольше все это длилось, тем сильнее в нее влюблялся, как если бы та любовь и жалость ко всему, что есть на земле и под небом, которые, бывало, так остро и отчетливо испытывал он во время дза-дзена, просто-напросто перешли на нее, Тину, продолжавшую щелкать камерой и менять объективы, или так, может быть, как если бы, разгадывая свой коан, ища и не находя свое подлинное, до встречи и даже до рождения родителей уже бывшее и, значит, не рожденное, от века данное ему лицо, он вдруг разглядел ее лицо, подлинное, данное ей от века, то скрывавшееся за фотокамерой, за волосами, то вновь из-за камеры и волос возникавшее перед ним.

Подружиться с вождем

Они снова выехали к Рейну, не спускаясь к нему; выехали к замку над Рейном, одному из многих, где был ресторан и терраса, с парапетом и видом на реку, долину, противоположные холмы, другие замки на том берегу. Людей в ресторане почти не было, а если были, то сидели внутри. Уже и холодновато было для сидения снаружи; только две стойкие старушки, завитые и громкоголосые, уплетали за дальним столиком по огромному куску яблочного пирога с гипертрофированной горкою взбитых сливок на каждом. Они выбрали место под конским каштаном с огромными, уже желтыми и бурыми колючими звездами, упавшими на деревянный, без скатерти, на ощупь грубо-приятный стол. И очень понравилось им сидеть под этим каштаном в ожидании обеда, глядя на долину и реку, катая колючие звезды по согретой солнцем столешнице; им обоим теперь все уже нравилось, даже

Алексей Макушинский

громогласные старушки со сливками, даже официантка с родинкой в полщеки, равнодушно объявившая, что ничего уже нет, все съедено, только шницель с картофельным салатом остался да, если угодно, омлет она может сделать. Тина выбрала шницель, Виктор — омлет. Тут впервые упомянул он о дзен-буддизме, объясняя ей синеву своей головы, сверкая осмысленным безумьем в глазах. Она сказала вдруг, что последний раз была в таком рейнском замке, только не в этом, а в каком-то из замков на левом, другом берегу, вон в том, может быть, или в маленьком, вон в том, среди скал, она точно не помнит, — но что последний раз еще школьницей была в таком замке, еще гимназисткой, вместе со всем классом, на скучной экскурсии... Больше в тот день о той экскурсии ничего она не сказала. Зато он узнал, что в школу она ходила во Франкфурте, но сразу, как только ее закончила, уехала учиться в Дюссельдорф, во-первых, потому что вообще хотела уехать подальше от родителей и начать свою взрослую жизнь, а во-вторых, и это главное, потому что всегда хотела учиться всерьез фотографии, а лучшего места, чем Дюссельдорф, чтобы учиться всерьез фотографии, тогда, по ее мнению, не было, да и сейчас, наверное, нет. Эта страсть у нее наследственная. У ее родителей, узнал Виктор, был магазин недалеко от вокзала, в самом, следовательно, бандитском районе, где торговали они фотоаппаратами и всем, что связано с ними. Этот магазин, он же и фотостудия, до сих пор существует, ее сестра Вероника (ударение на о) им владеет. То есть владеют они им сообща, но Тина не занимается им. Из Дюссельдорфа она не сразу вернулась во Франкфурт, собственно, и не собиралась возвращаться во Франкфурт, но сперва уехала в Мексику, да, то есть сперва уехала в Штаты, где много раз бывала девочкой, потому что у них родственники в Штатах, но потом решила, что это недостаточно для

нее экзотично, и перебралась в Мексику, где прожила целых два года, работая для одного местного фотоагентства, а прежде чем возвратиться в Европу, совершила большое путешествие по Южной Америке, лучшее приключение всей ее жизни: побывала в местах опасных и диких, глухих, прекрасных, пустынных, в Колумбии, в Перу, в Парагвае, а в Аргентине доехала аж до Рио-Давиа, если он знает, где это, футуристического города на берегу немолчного океана. Она думала поселиться опять в Дюссельдорфе и, наверное, так бы и сделала, если бы не кое-какие привходящие обстоятельства... Пообедав, они подошли к парапету, остановились, глядя на реку, уже отсвечивавшую тем сизым блеском, которым вода возвещает о приближении вечера. На другом берегу видны были густо-лесистые склоны Хунсрюка, места, опять же, дикие и пустынные (не столь пустынно-дикие, как Парагвай и Перу), воспетые Тургеневым в «Асе» (о чем ни он, ни она не думали; наверное, и не знали). Он только что (час назад, до обеда) держал ее за руку, когда они спустились в каменоломню, когда снова из нее выбирались; как-то само собой получилось, что он положил теперь свою руку с красноватыми костяшками коротких пальцев на ее, лежавшую на каменном солнечном парапете. Со вновь возрастающим возбуждением почувствовал он под своей ладонью ее плотную, крепкую, как у ребенка, успокоительную ладонь; она же почувствовала приближение слез, столь многое и так остро напомнил ей этот жест. Она пошла, и он пошел вслед за нею, к замковым, узким, длинным и темным воротам и дальше, по обнаружившейся тропинке; чтобы скрыть свое волнение, сказала, что ничего не знает о дзен-буддизме, но что Картье-Брессон, великий фотограф и один из ее кумиров, в своих интервью и записях сравнивает фотографию с дзеном, фотографирование со стрельбой из лука, ссылаясь при этом на книжку о

Алексей Макушинский

дзене и стрельбе из этого самого лука, написанную немецким, кстати, автором, имя которого она, Тина, не помнит... Виктор не знал, кто такой Картье-Брессон, но был счастлив. А книжку эту, между прочим, говорила Тина, пряча по-прежнему свое волнение, подарил Картье-Брессону не кто-нибудь, но Жорж Брак, причем где-то читала она, что это было во время войны, в оккупированной, соответственно, Франции, и чуть ли не в тот самый день, когда Брак и Брессон услышали по радио о высадке союзников в Нормандии. Тина (еще раз) историю фотографии знала (знает) в анекдотах и лицах. Фотограф выстреливает из своей камеры, как из лука, в решающее, неуловимое, магическое мгновение. Все дело в том-то и заключается, чтобы поймать это неуловимое мгновение, эту волшебную долю секунды. Они и сами шли сквозь серию таких мгновений, солнечных бликов, еще игравших на Рейне под ними, и она рассказывала теперь о Мексике, куда поехала не без тайной мысли все о том же Брессоне, потому что он уже тогда был одним из ее героев, хотя она занималась, и до сих пор занимается, не только фотографией уличной, *street photography*, стремящейся ухватить случайное, неизбежное, неповторимое, но и фотографией студийной, постановочной, вообще разнообразными экспериментами с камерой и компьютером; Картье Брессон, продолжала Тина, тоже в молодости провел два года в Мексике, работая в фотоагентстве. Она изъездила ее вдоль и поперек, эту Мексику, от Гвадалахары до Юкатана, прожила месяц в индейском пуэбло, где подружилась с вождем (а в экзотических местах, говорила Тина, нужно в первую очередь подружиться с вождем...) и откуда бежала ночью на попутном, по счастью подвернувшемся джипе, убегая от этого самого вождя и его матримониальных намерений... Уже солнце начинало краснеть и садиться над Хунсрюком,

посреди не вихрастых более, но растянувшихся по небу, за-сыпающих облаков; в вечерних, долгих и теплых отсветах ее лицо тоже казалось ему индейским, непроницаемым; она сама с ее величественным, при ходьбе колебавшимся бю-стом, с ее широким выступающим задом, обозначенным от-четливыми складками в свою очередь колебавшегося плаща, казалась древней, вдруг ожившей фигурой, скульптурой, намекавшей на что-то совсем далекое, архаическое, мифо-логическое, победительно-первобытное, непререкаемое.

Училка

Через два дня они поужинали в итальянском ресторане возле ее дома, под одобрительными взглядами спагеттопое-дающих матрон и гурманов; еще через пару дней он остался у нее ночевать. Ни он, ни она, скажу просто, до того ни разу не испытывали чувственного, не только чувственного (вся-кая чувственность стремится выйти за свои же пределы) сча-стья такой полноты и силы; оба сразу поняли, что от этого счастья уже не откажутся, что будут искать (обречены ис-кать) его снова и снова, пытаться его продлить, его повто-рить... Виктор, ощущая рядом с собой и под своими руками жар, близость, крепость этого большого, белого, материнско-го тела, чувствовал, как отступает от него та тревожная тя-жесть, которая угнетала его всю жизнь и которую он сам, может быть, не сознавал до сих пор. Тина, лежа рядом с ним и дотрагиваясь до него в темноте, в которой его глаза горели безумным блеском, и свет лампы, забытой ими в гостиной, проникая сквозь не до конца притворенную дверь, бежал по полу и расширяющейся полосой взбирался по стене к югенд-стильным гирляндам лепнины, в сотый раз за последние дни, уже не сердясь на себя, только тихо удивляясь себе, вспоми-нала идиотскую экскурсию, на которую потащили ее вместе

Алексей Макушинский

со всем классом гимназии, когда ей было шестнадцать или семнадцать лет, — экскурсию, начавшуюся с комического несчастья и закончившуюся первым сердечным волнением, — не совсем даже экскурсию, но скорее прогулку на пароходе, превратившуюся в пеший поход по холмам и виноградникам, от одного замка к другому, — эпизод ее ранней молодости, не то чтобы совсем ею забытый, но давно и долго не всплывавший в памяти, оставленный в уже неинтересном, во многих и разных смыслах законченном прошлом — и вот, значит, в памяти всплывший, когда, для себя самой неожиданно, позвала она Виктора прокатиться с нею вдоль Рейна; вспоминала, лежа рядом с Виктором, прижимаясь к нему и готовясь заснуть у него на плече, ту неуклюжую, толстую, тихую девочку, не расстававшуюся с фотоаппаратом, какой была в свои шестнадцать или семнадцать лет, в восьмидесятом или восьмидесятом первом году (не так уж и задолго, значит, теперь я думаю, до того весеннего дня, в Ленинграде, когда я стоял под проржавевшим козырьком парадного, спрятавшись от дождя, дожидаясь трамвая, после первого чтения Судзуки...). И вовсе, возможно, была она не такой, но такой считала себя, так на себя смотрела. Почему-то свои волосы ненавидела она особенной ненавистью и презирала отдельным презрением. Все бы еще ничего, но эти волосы казались ей жалкими, жидкими, жирными. Она вставала каждое утро на полчаса раньше, чем могла бы вставать, чтобы успеть до школы вымыть, феном высушить, уложить и очередным новым лаком опрыскать, а то и новой краской покрасить эти мерзкие волосы. А в тот день совсем рано ей нужно было вставать; она проспала; она хотела уже не ехать. Тут на сцене появляется ее мама с сообщением, что есть старинный рецепт борьбы с жирными волосами, завещанный ей, маме, ее собственной мамой, Тининой бабушкой, рецепт начала века, испробован-

ный якобы многими женщинами в двух мировых войнах, во времена разрух и депрессий, именно — крупная соль. Посыпать волосы крупной солью, втереть ее в голову, потом волосы вычесать... Поваренной соли у них не нашлось; Тина, в тоске и спешке, высыпала две большие ложки обыкновенной, столовой, себе на голову, растерла пальцами, побежала к метро. Она думала, если вообще думала что-нибудь, что соль впитает в себя весь жир, а потом сама высыплется. Ничего подобного, разумеется, не случилось. На пароходе пошел дождь, соль потекла по лицу. Она не просто потекла по лицу, говорила Тина, рассказывая мне много позже, не помню в ту ли ночь, еще ли когда-то, всю комическую, или трагикомическую, историю, — не просто потекла по лицу эта соль, точнее не просто соль потекла по лицу, и по затылку, и под воротник, и по шее, и под кофточкой между лопаток, но соль, смешанная со вчерашним лаком, вчерашнею краскою; шипучая, щипучая дрянь. Весь класс смеялся над нею, еще бы; а класс был большой и неуправляемый, скопище семнадцатилетних патлатых оболтусов, прыщавых дурех, в гормональной горячке не знавших, что бы еще такое учудить назло человечеству; учителя, с ними ехавшие (учитель физики, которого она терпеть не могла, усатый и остроглазый; учительница английского, которую слишком сильно любила...), даже и не пытались предотвратить неизбежное — курение в кулак на корме, бутылку рома, которую кто-то из самых неуправляемых, самых патлатых ухитрился протащить с собой на борт; следили только, чтобы никто за этот борт не свалился. Даже *джойнт*, на корме потихоньку выкуренный передававшими его из рук в руки оболтусами и подругами оболтусов, боевыми девицами, к которым Тина никогда не принадлежала, хотя, в общем, дружила с мальчишками, — даже этот *джойнт* прошел якобы незамеченным, неуноханным. Времена ведь были

Алексей Макушинский

еще бунтарские; еще гадкая, гладкая современность и не думала начинаться. Особый шик был в том, чтобы проделывать все эти детские глупости в непосредственной близости от учителей и учительниц, англичанки и физика; до красот природы, виноградных холмов и замков, рейнского романтизма, Клеменса Брентано, даже до Лорелеи, золотой статуей застывшей на оконечности длинного острова, под своей знаменитой скалой, никакого дела никому, разумеется, не было. Тина, с горя, выпила два больших глотка пресловутого рома, отчего сразу же зашатало ее, и впервые в жизни не отказалась от *джойнта*; сделав две затяжки, страшно закашлявшись, замерла, перегнувшись, у релинга, понимая, что сейчас ее вырвет, что жизнь кончена, все пропало, ничего уже не поправишь. Рейнская вода неслась, пенилась и бурлила под нею. Ей только в ресторане, в замке с башней, удалось немного прийти в себя; минут двадцать под краном смывала она свою соль, свою краску; когда вышла на террасу, все прочие уже уписывали сардельки с картошкой фри, окуная картофельные пальчики и собственные грязные пальцы в кровавый кетчуп, змеистыми загогулинами выдавленный на тарелки, измазывая рты в этом кетчупе, изображая комиксовых вампиров. Еще дети были, несмотря на ром и на джойнт. Дождик кончился, даже выглянуло солнце из дымчатых облаков, осветив другой берег Рейна, те замки, в одном из которых ей суждено было через двадцать три или четыре года обедать с Виктором (еще даже в школу не пошедшим в том восьмидесятом, том восемьдесят первом году...). Голова кружилась от рома с марихуаной, но уже она могла смеяться над собой и случившимся, да и сарделька с картошкой фри подняла настроение. Почему-то долго не отправлялись они; кто-то из патлатых, кажется, все же пропал. Она стояла у парапета одна (страсть к фотографии — одинокая страсть), понимая,

что с мокрыми волосами простудится, но не в силах не фотографировать этот открыточный вид на Рейн, скалы и замки, омытые дождем и освещенные солнцем (уже в восемнадцать лет снимать эти туристические банальности ей не пришлось бы в голову; но всего ей было семнадцать); потом положила камеру и руки на парапет; задумалась; страшно вздрогнула, когда чужая рука, решительная и взрослая, легла на ее, тогда еще и вправду почти детскую плотную руку. Учительницу английского, в том восьмидесятом году еще даже не тридцатилетнюю, все-таки именуемую учениками и ученицами *фрау такая-то* (Тина говорила мне; я забыл), первым именем (тоже, наверное, из трех-четырёх имен) звали Берта; на некоторых из (бесчисленных, в разные годы Тиной сделанных) ее фотографий, которые довелось мне видеть, это довольно обыкновенная, тоже не худенькая, хотя и не толстая женщина с короткой стрижкой и плоским, грубым лицом; на других видны ее не совсем обыкновенные, чуть-чуть, как у Виктора (и как на старых снимках, в старом кино), хотя и не до такой степени, как у Виктора, преувеличенные глаза, манящие, смеющиеся и словно намекающие на что-то прекрасно-тайное, известное только ей и тому, кто с ней говорит, на нее смотрит или ее снимает, мы-то с вами знаем в чем дело, а остальные как хотят, на остальных нам наплевать, разве нет? Тина тут же почувствовала, что это вовсе не дружеское прикосновение учительницы к ладони любимой ученицы (а Тина училась всегда хорошо и по-английски лопотала почти без ошибок, почти без акцента, наловчившись у теток в Америке), но что это прикосновение имеет другой, страшный для нее смысл, и страшно, судя по жару щек, покраснев, не решалась свою руку выдернуть из-под училкиной, все крепче прижимавшейся к ее плотной, несчастной руке, и так это долго длилось, покуда та не отпустила ее руку сама; отпустив

Алексей Макушинский

руку, так же молча и так же крепко всю ее прижала к себе, приобняв за плечо, как бы утешая Тину в ее беде с солеными волосами, как бы любуясь с ней вместе масляными пятнами уже вечернего солнца на виноградных холмах; и это тоже длилось мучительно долго, до тех пор, пока не подошел к ним мерзкий физик, подозрительно зыркнувший на них острым взглядом и сообщивший, что беглец нашелся, забирался на башню, вон, вон туда, махал рукой из бойницы, вон, вон оттуда. В поезде, на котором возвращались они во Франкфурт, она постаралась сесть от училки подальше и долго после этого старалась с ней не встречаться, та же все смотрела на нее своими манящими и смеющимися глазами, все намекавшими на им двоим и никому больше не известную прекрасную тайну и в то же время как будто говорившими, что ничего не было, не было, а ничего ведь и вправду не было, волноваться не надо, все прекрасно, все еще может — быть, и Тина давным-давно закончила и забыла гимназию, уехала учиться фотографии в Дюссельдорф, уехала к теткам в Штаты, уехала в Мексику, и два года прожила в этой Мексике, и совершила свое незабываемое путешествие по Южной Америке, добравшись до самого Рио-Давиа, и собиралась поселиться опять в Дюссельдорфе, и когда встретила, приехав во Франкфурт к родителям (уже, если я правильно понимаю, в начале девяностых годов) плосколицую училку в пижонских, потертых, ей, пожалуй, и не по возрасту, джинсах на берегу Майна, не сразу даже узнала ее, та зато узнала Тину мгновенно, стала расспрашивать, что из нее получилось — Мексика! быть не может! — все теми же, отчаянными, смеющимися, манящими, восхитительными глазами глядя на смущенную, пораженную вдруг перед ней открывшимися перспективами бывшую свою ученицу, уже готовую стать ученицей в другом смысле, по другому предмету, и после капучино, выпитого

ими в шумном толкливом кафе возле музея Гете, затащила ее к себе домой, в Борнгейм, тоже один из франкфуртских хороших районов, и роман, тогда начавшийся, продолжался лет семь и был, до появления Виктора, самым долгим, самым важным в Тининой жизни.

Железный мост

Она лежала в их первую ночь рядом с Виктором, понемногу засыпавшим, заснувшим, на той же кровати (вместе с Бертой и купленной), на которой (я слышал) ворочалась, ложилась на бок, потом опять на спину, спустя вечность, после краха всех романов (и с Бертой, и с Виктором), рассказывая мне об обоих сквозь приоткрытую дверь; и тогда, и теперь не в силах не вспоминать другие ночи, далекие дни. Конечно, были в ее жизни и юности, до всякой Берты, и в Дюссельдорфе, и в Штатах, и в Мексике, редкие, очень неудачные, опыты с мужчинами, вовсе не с женщинами, опыты, которые ничего, кроме разочарования, стыда и гадливого горя не приносили ей. Что у нее может быть что-то с другой женщиной, даже во сне ей не снилось. Она была ошарашена случившимся; выйдя от Берты, на трамвае доехала вновь до центра, свернула, сама не зная, почему и зачем, на главную торговую улицу (Zeil), которой всегда избегала. Магазины уже закрылись; ветер гнал по бульжнику, по чугунным решеткам вокруг растопыренных платанов бумажки, обертки; бродяги устраивались на ночь, расстилая свои картонки; зеленоволосые панки просто так сидели на лавочке возле выхода из метро; газетный лист с портретом тогдашнего толстого канцлера взлетал, и падал, и, комкаясь, вновь пытался подняться на воздух, и, волочась по бульжнику, летел дальше, вдоль стеклянной витрины, под равнодушными взглядами засыпающих манекенов. Она

Алексей Макушинский

пошла к Майну мимо темного рынка; по набережной к Железному мосту (он и вправду из железа, с восхитительными заклепками; в начале девяностых никто еще там не вешал замков на перила в знак верности и любви); долго стояла на том месте, где сколько-то часов назад встретила Берту, спрашивая себя, мост и реку, что же ей теперь делать и что было бы, если бы она прошла здесь пятью минутами раньше, десятью минутами позже; на завтра, после Бертиногo звонка (по обычному, не мобильному телефону; мобильные начались в середине и конце девяностых), ни минуты не раздумывая, согласилась встретиться и встретила с ней в том же самом кафе, где были они накануне и где тот же капучино с коричневой загогулиной на взбитой хлопчатой и молочной поверхности был выпит ими обеими; снова, но теперь уже не в одиночестве, вдвоем с Бертой и в толпе других покупателей, оказалась на той же (вот так, кругами, мы ходим по городу и по жизни...) торговой, пешеходно-платановой, толкливой, уже предрождественской улице, в одном модном магазине, затем в другом, столь же модном, в охватившем их обеих внезапно, хохочущем опьянении покупками, стремлении, в начале новой эпохи, купить и надеть все новое: новые брюки, новые бусы. Примерять и обсуждать все это с Бертой, глядя в ее шальные, лживые, восхитительные глаза, заходить с ней вместе в зеркальные, тесные закуточки за занавесками, до нее дотрагиваться и видеть ее обнаженной, не совсем или совсем обнаженной, отраженной, удвоенной, в новом черном бюстгальтере с кружевами, державшем, потом отпускавшем ее небольшую, с нежными розовыми сосками, очень белую грудь, и чувствовать на своих бедрах, своем животе быстрое прикосновение ее веселых, играющих пальцев — все это было счастьем, формой счастья, преддверием счастья. Они вышли

с пятью пакетами в каждой руке у обеих, после трех часов непрерывных примерок, на сумеречно-синюю улицу; взяли такси и доехали снова до Борнгейма (по городу и по жизни движемся мы кругами...); на пустой, по счастью, лестнице, со всеми своими пакетами в руках, уже начали целоваться. Неделю спустя она решила не переезжать в Дюссельдорф. Спустя месяц сняла квартиру с эркером во франкфуртском Вестенде, с видом на бюст Боливара, который, наверное, и помог ей (говорила она себе) убедить хозяев сдать квартиру именно ей, а не другим сорока желающим (за вменяемую плату снять квартиру во Франкфурте и тогда уже было почти невозможно; теперь совсем невозможно...). С этой опытной и циничной женщиной она научилась не стыдиться своего тела. В Бертиных объятиях и под ее поцелуями это тяжелое тело делалось легким, изнутри как будто светящимся, делалось, наконец, ее собственным. Если и оставалась в нем тяжесть, то и тяжесть была теперь наслаждением. Не только научилась она не стыдиться, но тело, ее и чужое, то есть в первую очередь и поначалу исключительно Бертино, именно в эти годы, после возвращения из Мексики, превратилось для нее в предмет изучения, наблюдения, не единственный, но один из важнейших, для нее драгоценнейших, мотивов ее фотографии. Она снимала до сих пор мосты и заводы, вокзалы, подъемные краны, электростанции, ангары и пустыри, копры, газгольдеры и старинные водонапорные башни, затем, отходя все дальше от фронтальной неподвижности дюссельдорфской школы, начала снимать улицы, лестницы, людей и детей на улицах, их глаза, их руки, стулья в кафе, белье на ветру, отсветы, отблески и рефлексy, отражения веток, домов и неба в капотах, крышах, багажниках, ветровых стеклах автомобилей. Она продолжала снимать все это — и снимала

Алексей Макушинский

теперь себя и Берту, Берту и себя, в разном освещении, разных ракурсах, снимала себя в зеркале, снимала в зеркале их обоих. Берта тоже снимала себя, ее, их обоих, беспомощно и бездарно. Это взаимное фотографирование было частью их любовной игры, возбуждавшей их не меньше, возможно больше, всех прочих игр, которым предавались они.

Лондон, любовные игры

А Берта любила игры, не только любовные. Берта, если делать ей было нечего и ни на какую, например, вечеринку не шли они вечером, заставляла Тину играть с ней в Scrabble, играть с ней в Monopoly. Тина ненавидела это, но все же играла. Тина поначалу играла во все ее игры. Или та играла с ней (казалось Тине) в какую-то сложную, сперва восхитительную, потом мучительную игру... В Scrabble играли они по-английски, причем Берта знала и складывала такие слова, такие шекспировские, о существовании которых Тина и не подозревала дотоле. Не только преподавала она английский, но и была во всем англоманка. В наследство от той эпохи осталась у Тины привычка хотя бы раз в году, лучше два, бывать в Лондоне, пить Earl Gray из чайника и чашек от Harrods с настоящими, по возможности, scones (настоящих scones не достанешь у диких германцев; знаю, впрочем, одно кафе в Мюнхене, где они продаются), читать английские детективы. В Англии, рассказывала мне Тина, у Берты было больше знакомств, чем во Франкфурте, во всяком случае, таких знакомств, которые в самом деле влекли и занимали ее, знакомств и связей в среде, скажем, артистической и богемной, в среде художников, музыкантов, литераторов и актеров, чуть-чуть известных или не известных, скорей, никому, но все-таки музыкантов, все же художников, так что, приезжая

в Лондон, хотя бы и на weekend, они немедленно окунались в веселую, поначалу очень веселую, потом, для Тины, уже не такую веселую жизнь; пройдясь по Стрэнду и погулявши по Пиккадилли, отправлялись на вечеринку в Челси или в Хэмпстед, или сперва в Челси, затем, за полночь, в Хэмпстед, и на следующий день, после визита в Tate Gallery, тогда еще не переехавшую за Темзу, на другие вечеринки, опять в Хэмпстед, сизнова в Челси, и чтобы в воскресенье поздно вечером вернуться в провинциальный, в девяностые годы еще более, чем теперь, провинциальный по своей сути Франкфурт, где Берте нужно было идти в понедельник преподавать любимый английский в ненавистную гимназию и где поначалу у них никакой такой среды не было, лишь понемногу она возникла. Возникла она благодаря Тине, Тининым знакомствам и связям с другими фотографами, художниками, галеристами и галеристками, кураторами музеев. Вскоре франкфуртские их будни приблизились к лондонским выходным. Надо было, впрочем, работать. Тина в те годы начала сотрудничать с большими агентствами, провела свои первые выставки, издала и первую книгу. Ради этой первой книги летали они в Нью-Йорк, затем в Сан-Франциско, и это, как рассказывала мне Тина, была счастливейшая поездка в их жизни, вообще в их жизни самый счастливый месяц. Еще жива была Рут Бернгард, фотографическая легенда, для Тины, с ее новым интересом к женскому телу, источник вдохновения, подражания, отталкивания, противодействия, любви и борьбы. Рут Бернгард, когда в Сан-Франциско они встретились с ней, было уже девяносто; записи их бесед, опубликованные Тиной в ее книге о великой фотографине (как ее саму величал впоследствии Виктор, к ее удовольствию), с тех пор стали историей фотографии, как стал ею (чего Виктор впоследствии долго не сознавал) портрет Рут Бернгард, сделанный во время

Алексей Макушинский

этих бесед, многократно воспроизведенный в альбомах и в интернете, у самой же Тины, в гостиной-студии висевший (и висящий) на почетном месте, над компьютером и столом, так что, слушая ее рассказы в полусне и полусвете, проникавшем сквозь жалюзи эркера, я мог видеть со своего дивана его контуры, его черную раму, — портрет, на котором девятностолетняя — не хочется даже писать старуха — в обезьяньих морщинах и с замечательными, молодыми, смеющимися глазами явлена в ореоле огромных, в Европе невообразимых пальмовых листьев. Сама Рут Бернгард так не снимала. На ее фотографиях женское тело в абстрактном свете студии тоже превращается во что-то абстрактное, на некоторых снимках едва ли уже человеческое, скорее намекающее на родство и единство всех природных форм, родство ракушек, плодов и корней. Учителем Бернгард был Эдвард Вестон, «великий Вестон», так, наоборот, ухитрявшийся снимать, скажем, паприку, чтобы она — странно и страшновато — походила на человеческое тело, на сплетенные друг с другом человеческие тела. Тина, по ее собственным словам, бесконечно многому научилась у этих американских гениев, *diese amerikanischen Genies*, но сама стремилась к чему-то иному, соединяя чистоту и абстрактность постановочной съемки с неповторимой случайностью удачно пойманного мгновения, помещая сначала Бертю, потом других моделей в заранее продуманный пейзаж, заставляя их позировать среди листьев и веток, или на берегу моря, или в комнате с зеркальным шкафом — и все же схватывая неожиданное в них, этих женщинах, их внезапный, иронический или горестный взгляд, их смущенную, или гордую, или насмешливую улыбку. На знаменитых снимках Бернгард никакого фона нет вообще, в лучшем случае угадывается облитая светом стена за спиной у модели, или пол, или какая-то другая поверхность, на которую падает ее тень;

у Тины тело почти сливается с фоном, с морским песком, мерцанием волн; тем не менее это всегда портреты — не образы тела, а образы женщины. Даже Берта, с бесподобным бесстыдством обнажающая свои самые тайные места перед Тиной и камерой, есть именно Берта, ее цинический вызов на плоском, грубом лице... А затем идет серия снимков, до сих пор не опубликованных, где Берта отменена, но есть только тайны ее: светящиеся рыжие волосы, ее рука, в них запущенная, отдельные волоски, пробивающиеся между пальцев, как трава сквозь трещины гранитных плит. В те девяностые годы отвратительная мода сбривать там волосы еще не успела так распространиться, как распространилась, к нашему несчастью, сегодня (и как же плачут, наверное, классические музы на своем Геликоне, понимая, что фиговому листочку, войди он снова в употребление, прикрывать будет нечего, кроме этого голого, всякой тайны и прелести лишенного места, этого пустыря, оставшегося от бывшего очарования... Тина, помнится, смеялась долго и громко, когда однажды я произнес перед нею, рассматривая ее фотографии, сей патетический монолог). По ее фотографиям тоже видно, при всех несходствах с Дртиколом, как влекут ее эти волосы, с их античными завитками и волшебными волнами. Еще видно, как влечет и волнует ее красота неклассическая, реальность и подлинность уже немолодого, от глянцевого канона далекого тела, складки и складочки на Бертиной спине, Бертином животе, зернистость кожи, ее крупчатая структура, ее неровности, выпуклости, полоски, пятнышки, прыщички. Она словно всматривается в то, что саму ее ждет, всматривается без отчаяния, с отстраненным вниманием. А впрочем, в тридцать лет мы еще почти не задумываемся о будущем, еще пишем черновик нашей жизни.

You like parties

Этот черновик ей нравился, оставаясь черновиком. Все было непрочно и зыбко с Бертой, все было второпях, впопыхах. Им и в голову не приходило, а если приходило, то в голове не задерживалось, что можно, скажем, жить вместе, снять одну большую квартиру — это было бы и удобнее, и дешевле, — но Тина только изредка ночевала у подруги, а все прочее время жила у себя; и вовсе не потому это было так, чтобы они скрывали свою связь от кого бы то ни было, наоборот, в той среде, в которой обе они вращались, ничего особенно необычного даже и не было в этой связи (тяжким испытанием остававшейся для Тининых родителей, которые Берту видели, впрочем, нечасто); скорее потому, что не очень-то и хотелось им делить свои будни друг с другом; важны, нужны были праздники. А Берта и жила от праздника к празднику. Еще в самом начале их романа (рассказывала мне Тина), в первом же китайском ресторане, куда пошли они вместе (китайских ресторанов в Германии тогда было много; мода на японские, индийские, тайские еще едва начиналась), Берта получила в дополнение к лакированной утке и компоту из манго так называемое печенье счастья или удачи — желтую загогулину в блестящей обертке, разорвав какую-то (обертку) и какую-то разломав (загогулину), пообедавший посетитель извлекает на свет божий бумажку с посланием от Провиденья; Тина, никогда ничего не находившая в таких судьбоносных печеньях, кроме банальностей типа «Все будет прекрасно», или «Ни о чем не беспокойся, живи настоящим», или (в вольном переводе) «Терпенье и труд все перетрут», долго, смеясь и дивясь, вертела в руках бумажку Бертину, ничего не сулившую и не призывавшую ни к чему, но просто, кратко, на четырех языках, включая почему-то голландский,

констатировавшую непреложный факт, а именно: «Ты любишь вечеринки», *You like parties, Du liebst Partys, etc.* И это была чистейшая правда, Провидение не ошиблось. Берта любила их, эти вечеринки и праздники, необъяснимой для Тины любовью. Берта была тем, что по-немецки называется *Partymensch*, человек вечеринок. Если в ближайшей перспективе вечеринка намечалась, Берта была спокойна, довольна Тиной и жизнью. Если же не намечалось вечеринки, скучала, нервничала, и тогда приходилось играть с ней в дурацкий *Scrabble*, идиотическую *Monopoly*; Тина, по прошествии первой страсти, предпочитала оставаться вечером у себя, в своей вестендской квартире с эркером, или, если ей нужна была настоящая студия с настоящим светом (рефлекторами, фильтрами и зонтами, софт- и лайтбоксами), ехать в такую студию, которую по часам снимала она на востоке Франкфурта, в промышленной зоне. Она узнавала Франкфурт в те годы так и таким, каким в детстве, отрочестве не знала его: его окраины, индустриальные или, наоборот, почти сельские, с фахверковыми домами и церковью на центральной площади; его восточную и западную гавань, вверх и вниз по течению Майна; бандитские кварталы возле вокзала, по которым девочкой пробегала она не оглядываясь, которые фотографировала теперь, как фотографировала недавно (уже давно) бандитские кварталы в Мехико-сити, Лиме и Асунсьоне; фабричные пригороды; пригороды миллионерские, с их скукой, их виллами. Ей больше не хотелось бежать отсюда, как хотелось бежать, когда она заканчивала гимназию. Всегда бежать куда-нибудь хотелось, если в ближайшей перспективе не было праздника, Берте. Берта, как если бы она убегала от чего-то, кого-то, в любую минуту, погоду, при любых обстоятельствах готова была сорваться и ехать — в другую страну, в другой город, на худой конец в соседний какой-нибудь го-

Алексей Макушинский

родишко, в тот же Кронберг, или в Бад Соден, или в Висбаден, или, наоборот, на восток, во Франконию или в Шпессарт, в Вюрцбург или в Ашаффенбург, лишь бы ехать куда-нибудь... Тина только удивлялась про себя, как хватает у этой уже не совсем молодой женщины сил после бессонной ночи, очередной вечеринки у приятеля диск-джокея идти преподавать целый день в гимназии и почему у нее самой, Тины, только тридцатилетней, не хватает сил на все это. Ответ был прост. Все это и была Бертина жизнь — эти бесконечные, друг друга сменявшие праздники, эта дружба с художниками, музыкантами, эти пляски, виски в Челси и Хэмпстеде. Это было для Тины чем-то второстепенным, отвлекавшим, в конце концов, от работы. Берта свою службу в гимназии презирала, над другими учителями смеялась, усато-остроглазого физика ненавидела почти так же, как некогда ненавидела его Тина... К черту все это, пойдем лучше в кино. А контрольные, которые ей нужно проверить? А контрольные, будь они прокляты, она проверит завтра с утра... В ней была авантюризм, восхищавшая и волновавшая Тину едва ли не больше всего остального. Был легкий нрав и, как вскорости поняла Тина, большое безразличие к жизни, к другим людям, большой холод внутри. Жизнь для Тины была трудом, тяжестью, заданием, мучением, счастьем. Жизнь для Берты была приключением. А не бросить ли все в самом деле, не махнуть ли куда-нибудь? Ну вот просто, ничего заранее не планируя, поехать на выходные в Париж, ну почему нет, ну поехали... И она смотрела на Тину своими веселыми, лживыми, прелестными, шальными глазами, потом начинала целовать ее, потом, хохоча, царапать, потом опять целовать, и они ехали, для себя самих неожиданно, в пятницу вечером на машине, за рулем сменяя друг друга, в Париж, где тоже у них были

приятели, и когда уже почти ночью, после нескольких часов на автостраде и в пробках, въезжали в город, в любое время безумный, Тина думала, что днем ли, ночью ли, но умерла бы от страха, если бы ей одной, самой пришлось вести здесь машину (навигаторов еще не было; да и навигатор не спасает в Париже), Берта же, только посмеиваясь, даже как-то на цирковой манер гикая (как если бы другие машины, ревившие и гудевшие вокруг них, были дикие звери, укрощаемые ею, или так, как если бы ее собственный, уже не новый, «Опель Кадет» был скаковой лошадкой, готовой прыгнуть через барьер), въезжала в самые дебри, самую гущу — и благополучно довозила их до недорогой, по-парижски грязноватой и тесной гостиницы за Монпарнасским кладбищем (на лучшую денег не было), где, пошептав друг другу на ушко скабрзные нежности, засыпали они в объятиях друг у друга и наутро не поспевали к завтраку, отсыпаясь после рабочей недели, долгой дороги и вчерашних любовных утех, и затем ехали на выставку в Musée d'Orsay, или в музей Родена (Берта особенно любила почему-то Родена), или (чаще) в Большие магазины (Les Grands Magazins), переполненные субботными толпами: в Galerie Lafayette, в Samaritaine, в Marks and Spencer, где благополучно проводили два или три, или четыре часа (для Тины еще недавно дело немислимое) в примерочных тесных комнатках, с их бесстыдными зеркалами, за обсуждением брюк и блузок, перебиранием бирок с размерами и процентами шерсти (вместо которых все попадались им, к растущему их веселью, как они и всегда попадаютс, дурацкие, никому не нужные бирки с рекомендациями по стирке и глажке...), попытками объясниться с очередной ошалевшей продавщицей, всякий раз и в каждом новом магазине повторяя, воскресшая, не всякий раз в силах воскресить его, то наслаждение,

Алексей Макушинский

которое обе они испытали, которое Тина впервые в жизни испытала когда-то на торгово-платановой франкфуртской улице в уже отдалившимся от них обеих, уже сделавшийся частью их общей истории и предметом ностальгических воспоминаний предрождественский день.

Накладные ногти, благородный клошар

Один из Тининых соучеников по дюссельдорфской академии, Томас Б. (имя в соответствующей среде слишком известное, чтобы называть его здесь целиком) еще в середине восьмидесятых обосновался в Париже, занимаясь и прославившись фотографией для модных журналов, в духе Герба Риттса, с которым он, кстати, и подружился, к которому летал, бывало, в Америку; редкий субботний вечер в его пижонской студии на ни много ни мало острове Святого Людовика обходился без безудержной вечеринки, где можно было встретить знаменитостей уже мифологических, в реальном мире не существующих (Алена, к примеру, Делона и Катрин, допустим, Денёв), где преобладали, впрочем, безымянные, абсурдно длинноногие фотомодели, мечтавшие прославиться, попасть на обложку журнала *Vogue*, журнала *Elle*. Музыка грохотала, заглушая все слова и все мысли, стирая лица вокруг. Длинноногие блондинки отплясывали, распустив волосы, крутя бедра, в табачно-марихуанном дыму, передавая *джойнт* друг дружке. *Джойнтом* дело не ограничивалось. В уборной происходил *понюхон*. Тина в нем не участвовала, Берта участвовала с восторгом. Здесь впервые Тина почувствовала резкую, как зубная боль, ревность к одной из длинноногих, которой Берта что-то уж слишком сладко улыбалась, с которой пару раз отлучалась в уборную, оба раза возвращаясь с расширен-

ными от кокаина — от одного ли кокаина? — шальными, насквозь фальшивыми, сияющими глазами. Блондинкины глаза, когда смотрела она на Тину, были еще фальшивее; улыбка сладчайшей, мерзейшей. Тина стояла у стены со стаканом виски в руке, ненавидя все и всех (и стакан, и виски, и свою руку...), пытаясь, тем не менее, сквозь шум снаружи и ярость внутри, говорить со знакомым ей французским фотографом, быстро-быстро, глупо-глупо вращавшим руками, крутившим головой, кричавшим непонятное что-то; блондинка, подошедши к ним, Тину приобняла, увлекая ее в общий танец. Ногти были у нее накладные, длиннющие, кроваво-красные, острые и с загибом — не ногти, а когти, только что терзавшие чью-то невинную плоть; чувствовать ее руку на своем плече было так же приятно, как чувствовать на плече большого, мохнатого, дружелюбного паука. Тина, выдавив из себя улыбку, отстранилась и отказалась, тем самым обрекая себя на то, чтобы стоять и смотреть, как они танцуют друг с другом, какими взглядами обмениваются, как вертят попками, дрыгают бедрами. Берта, отплясывая, делала вид, что Тины не существует. В конце концов Тина увела ее оттуда, ничего оригинальнее головной боли выдумать не сумев. Голова и вправду раскалывалась. На всегда пустынной оконечности острова, с ее четырьмя лавочками и пятью тополями, неуправляемая, злая, хохочущая Берта, перегнувшись через парапет, чуть не плюхнулась на нижнюю набережную, чуть не скатилась по ней прямоком в смолистую Сену, к одобрению клошара, расположившегося на одной из лавочек со всеми своими пожитками в грязных пластиковых пакетах, в облаке своего страшного затхлого запаха; увидав, что Берта не плюхнулась, что Тина ее удержала, клошар поднял к ним бледное, очень красивое, освещенное кстати вышедшей из-за туч романтической луною лицо с интеллигентной испанской

Алексей Макушинский

бородкой; поднял благородную руку с бутылкой красного вина в ней, предлагая дамам принять участие в его одинокой попойке. Что Берта и сделала, со злобным хохотом, к Тининому новому ужасу, отхлебнув и затем опять отхлебнув из бутылки; увлекаемая Тиной прочь, еще пару раз обернулась, посылая воздушные поцелуи клошару, уже равнодушному к ней, уже смотревшему в сторону, на воду в фонарных расплывах. В тот вечер впервые они поссорились. В такси Берта еще кричала что-то, никому не понятное, ни Тине, ни тем более таксисту-арабу; толкала подругу локтем; в гостинице, плюхнувшись на кровать, говорила гадости: Тина-де буржуазка, мещанка, пай-девочка, отличница, корова, телка, толстая тетка — и зря она заносится, ничего в ней нету особенного, а вот люди, которые и жить, и веселиться умеют, и деньги зарабатывают, и вообще молодцы, и ничем она их не лучше, так и будет сидеть в своем эркере со своими высокохудожественными работами, тьфу, говорить противно, не нужны работы ее никому, лучше бы для «Плейбоя» фотографировала. Отличница и корова, когда училка угомонилась, долго стояла в ванной в искусственном резком свете, сухими и безжалостными глазами рассматривая свои безмерные груди, свой белый большой живот с уже намечавшимися на нем складками; рассматривала, трогала пальцами жирную складку, уже наметившуюся в основании шеи; думала о том, что ей счастливой быть не положено, в сущности неприлично; еще думала о том, как ненавидит этот мир моды и фальши, этот французский шик, дурацкий *bon chic bon genre*, поганый *BCBG*; потом долго чистила зубы, с силой выплевывая в умывальник мятную воду; думала о тех запасах злобы, которые таятся в каждом из нас, только и ждут повода, чтобы выхлестнуться наружу.

La fille de Winfried

На другой день Тине нужно было — по неожиданной просьбе ее отца, которому она позвонила с дороги, — повидаться с пожилой парижанкой именем Селеста, отцовской знакомой еще с военного времени; с Бертой простилась она в метро и всю дорогу до того кафе на бульваре Сен-Жермен, где у нее назначена была встреча, спрашивала себя, в тоске и ужасе, правда ли Берта поехала в центр Помпиду смотреть (одна, без Тины) выставку Фрэнсиса Бэкона, как громко и гневно объявила она за завтраком, или уже бежит, вот сейчас, уже добежала на свидание с длинноногою гадиной; на свое собственное свидание, совершенно ей ненужное, ничего, кроме скуки, не сулившее ей, пришла она с перевернутым, как ей самой казалось, лицом, с вытаращенными, как самой ей чувствовалось, глазами. *La fille de Winfried!* — воскликнула ненужная Тине дама, именем в самом деле Селеста, уже сидевшая на забранной плотным пластиковым занавесом террасе кафе, за одним из тех классических крошечных круглых парижских столиков, за которыми сидеть еще как-то можно, но сесть за которые, из-за которых вылезти, не толкнув коленками, не задев бедром сидящих за тем же и за соседним столиком, ни Тине, ни, признаюсь, мне самому никогда еще не удавалось. Коленки у Тины были круглые и большие. Толкнув даму, она узнала ее. Дама чем-то, но чем-то дальним, похожа была на Рут Бернгард — живым, насмешливым, обезьяньим выражением глаз, — хотя, разумеется, еще не была в таких летах, в каких была Рут, а была семидесятилетняя, наверное, женщина, еще даже не старая, с дорогой и недавней завивкой густо крашенных черных волос, в сером строгом костюме, с рубиновой брошкой на лацкане, до которой дотрагивалась она то и дело крепкими пальцами, как бы проверяя, не изменила ли брошка свою форму, порядок и

Алексей Макушинский

отчетливость своих граней, своих крошечных, в золото забранных лепестков. *La fille de Winfried*, снова сказала дама, с умилением глядя на Тину. Тина, глядя, в свою очередь, на нее, затем вынужденная ее толкнуть еще раз коленками, чтобы выйти в уборную, сидя в этой уборной, в меру мерзкой, что для Парижа уже достижение, мѳя руки в крошечном умывальнике, с отстраненным отвращением рассматривая в разрисованном по краям золотыми завитками зеркале свое перевернутое лицо, свои вытарашенные глаза, вспомнила то, чего долго не вспоминала, что, как ей казалось, забыла; вспоминала и вспомнила (хотя вовсе не хотелось ей вспоминать что бы то ни было, а хотелось выть, скрежетать зубами, бросаться предметами и строить рожи своему отражению...), как ездила с отцом пару раз, когда была еще девочкой, и в последний раз, когда уже начинала взрослеть, во Францию на ежегодные встречи бывших соратников, бывших противников, бывших офицеров, бывших солдат вермахта и бывших... кого же? ни в почти-детстве, ни в еще-почти-отрочестве не могла она понять, так и не поняла, кем, собственно, были эти французы... то ли они были коллаборационисты, то ли, наоборот, участники Сопротивления; каковые встречи проходили всегда в другом месте: то в деревне в Нормандии, недалеко от Кэна, то в Арденнах, то в Авиньоне, но участвовали в них всегда те же (или ей так казалось), непонятные и с самого ее детства ей неприятные люди, съезжавшиеся с разных концов, из разных краев Германии, краев Франции; Винфрид, Тинин отец, ушел на войну мальчишкой, не дождавшись семнадцати лет, и не потому что его заставили, забрали, забили, но искренне, увы, веруя в непогрешимость фюрера, идею Великой Германии, превосходство арийской расы; и занимался уже тогда фотографией, не только любительской, как занимались ею в вермахте многие, но занимался ею в во-

енной разведке, причем, опять-таки, Тина (она мне потом рассказывала) не могла от него добиться, в конце концов и перестала от него добиваться, что он там делал, в этой военной разведке во Франции, в Кэне, в Париже и на постройке Атлантического вала (и я тоже, во время моей единственной встречи с Тининым отцом, так этого и не понял, хотя мы целый вечер говорили с ним о войне). Тина, когда пару раз в почти-детстве и как-то раз в еще-отрочестве пришлось ей присутствовать на этих собраниях бывших оккупантов и оккупированных, связанных общим таинственным делом (что уже само по себе мучительно противоречило всему тому, чему ее учили в гимназии), почти (она мне рассказывала) в ужасе была от того, как о том кровавом времени вспоминали ветераны вермахта, как о том же времени вспоминали загадочные французы, коллаборационисты, предатели, герои Сопротивления; они же (все они) вспоминали о нем как о лучшем времени своей жизни, времени боевого братства, самоотверженного товарищества, свободы от ничтожных тревог, мелких тягот повседневного существования, как о прекрасной эпохе опасности, юности, храбрости и любви. И, конечно, запомнила она — долго помнила и часто вспоминала, потом, за другими встречами, другими событиями, забыла, вот теперь снова вспомнила — эту женщину, эту Селесту, которой, думала Тина, стоя в тесной уборной, глядя в свои отчаянные и несчастные глаза, отраженные зеркалом, тогда, в Тинином отрочестве, всего было-то, наверное, пятьдесят или чуть-чуть за пятьдесят лет, и которая на той последней встрече ветеранов и коллаборационистов, где Тина присутствовала, за общим большим столом нормандской сельской гостиницы, где все сидели, уже доедая жаркое, вдруг, поднявшись со своего стула с бокалом красного вина в руке и смущенной, счастливой, горестною улыбкой на слиш-

Алексей Макушинский

ком больших по лицу губах, объявила, обращаясь к собранию, что она должна сделать, наконец, признание важнейшее, по крайней мере важнейшее для нее, она так много лет таила это в душе и в себе и вот не может больше таить, но должна и хочет признаться присутствующим, что все было не так, как они, наверное, думают, что да, она работала с немцами, и приходила каждый день в мэрию печатать на машинке, и переводила на французский декреты военного коменданта и разные другие бумаги, но что на самом деле она снимала копии со всего этого и передавала в маки, и укрывала у себя беглых бойцов Резистанса, и что, ясное дело, она нисколько в этом не раскаивается, напротив — этим гордится, но считает, что ее немецким друзьям, к которым лично она никогда не испытывала никаких других чувств, кроме самых сердечных, пора узнать уже правду. Ответом ей было общее молчание, потом общий хохот. Четырнадцатилетняя или пятнадцатилетняя Тина, сидевшая рядом с отцом в окружении этих странных людей, таких чуждых ей и всем ее сверстникам, воспитанникам, воспитанницам западногерманских гимназий, понимала, что происходит что-то необыкновенное, что-то такое, что ей предстоит еще долго разгадывать. Нет, давясь хохотом, отвечали бывшие оккупанты своей французской подруге, это ей, их французской подруге, следует знать, наконец, как все было на самом деле, потому что все было вовсе не так, как до сих пор она думала, им, здесь присутствующим и давящимся хохотом, отлично было известно, что она в Резистансе, они раскусили ее с самого начала, и не избежать бы ей гестапо, если бы... если бы не была она такая хорошенькая. Тут присутствующие, хохочущие посмотрели на Тининого отца, и Тина посмотрела на него сбоку, он же сидел с опущенными в тарелку глазами, не глядя ни на кого. Она очень была хорошенькая, они просто ее пожалели. Они подкладывали ей не-

нужные бумажки, а все важное прятали от нее. То есть вы хотите сказать... То есть мы хотим сказать, густым голосом и уже почти не смеясь, объявил бывший капитан Абвера, высокий, жилистый и Тине особенно неприятный, пару раз в год все Тинино детство, приезжавший к ее отцу погостить из Ганновера, хотим сказать мы, что с твоей помощью дезинформировали противника. Противника дезинформировали, а тебя берегли. А потом отступали быстро, и не до тебя уже было... Тут она заплакала, эта французская дама, в то время сотрудница парижской фирмы по поставкам медицинского оборудования в страны третьего мира, и, к новому Тининому изумлению, подошла к ее, Тининому, отцу, положив сперва одну, холеную, с хорошим маникюром, потом другую руку на склоненные его плечи, в Тининой памяти очень на долго, на пятнадцать лет замерев так.

Франциск Первый, бюстгальтеры

Тине тоже хотелось плакать. В то же время хотелось снимать прохожих за пластиковой занавеской с их измененными этим пластиком, размытыми и плывущими контурами; достав фотоаппарат из сумки, она попросила позволения снять прежде всего саму Селесту, и значит, вновь встала, задев всех коленками, отошла на другой край веранды, под косыми взглядами присутствующих, присела на корточки. Прямо как Винфрид, *tout comme Winfried*. Винфрид тоже всегда снимал, в общей их молодости... Пахло крепким кофе на веранде, крепкими французскими сигаретами. Гарсон с седьми бачками, одновременно веселый и важный, смахивал кисточкой сор со свободного столика. Руки у Селесты были большие, уже старческие, с отчетливыми костяшками пальцев, и слишком

Алексей Макушинский

большим по лицу был рот, со слишком полными, словно выпяченными губами, которыми иногда она двигала, укладывая их поудобнее, причем всякий раз так они складывались, что в уголках выходила улыбка, иногда умиленная, при взгляде на Тину, иногда насмешливая, в тот день скорее печальная. Нет, она не знает, почему Винфрид попросил ее встретиться с его дочерью; она сама удивляется. Все эти годы, *diese ganzen Jahre, toutes ces années*, говорила Селеста, с французского перескакивая на немецкий и возвращаясь обратно, само собой разумелось, что его дочки ничего не знают, не должны знать, никогда не узнают об их отношениях. Какие эти годы? — спросила Тина, не решаясь спросить, о каких отношениях. Все последние годы... Тина, сидя напротив этой неожиданной француженки, глядя на ее слишком полные губы, в ее серые, спокойные, спокойно-умиленные, спокойно-горестные глаза, вдруг, подобно самой этой француженке, этой Селесте на том незабвенном нормандском обеде, начала понимать, что все не так, все, в ее детстве, в жизни ее родителей, в их истории, их предыстории, до и после ее собственного рождения, было не так, не совсем так или совсем не так, как она до сих пор думала, или, вернее, как она до сих пор, не задумываясь, полагала, предполагала; теперь, заказывая у важно-веселого гарсона *caffè latte* и *croque-monsieur*, грохоча длинной ложкою по граненым стенкам стакана и глядя на расплывчатые очертания прохожих, не отвлекаемая Селестой, как будто понимавшей, что ей нужно время, чтобы подумать, сопоставить факты и сделать выводы, сопоставляла их и делала с растущим волнением, забывая, наконец, о Берте, гневе, горе, вчерашнем клошаре, но вспоминая и вновь вспоминая ту сцену пятнадцатилетней давности, вот эти большие руки, с их дорогим маникюром, на плечах у ее отца; вспоминая (впервые вспомнив за многие годы) когда-то в

детстве ее поразившие, случайно ею подслушанные слова ее матери о *французских девках*, *französische Hugen*, которые та крикнула в сердцах, в гневе и горе, не в силах справиться с ревностью; вспоминая (вспомнив) письмо с большой, очень красивой французской маркою, быстро брошенное отцом под какие-то другие бумаги в тесной подсобной комнатке их фотографического магазина, куда она вошла бесшумной походкой одиннадцати- или двенадцатилетней девочки, необычную марку тут же заметившей. На этой марке изображен был Франциск Первый, французский король; и эта марка еще пару раз ей потом попадалась; как она могла забыть, как все странно; и Франциск Первый был на этой марке с бородкой, с маленькими глазками, с лицом надменным, очень жестоким, в меховом берете, в полосатом одеянии с не виданными ею никогда, нигде больше, великолепными широченными рукавами... И не только потому пощадили тогда Селесту Тинин отец со товарищи, что была она такая хорошенькая, *so hübsch, si jolie*, и уж вовсе не потому, что с ее помощью удобно было передавать в маки ложную информацию, но потому что они любили друг друга, в той их невообразимой молодости, Селеста и Тинин отец, так любили друг друга, как потом уже никогда никого не любили, никого уже не смогли полюбить, хотя оба пытались; и, наверное, ее отец хотел, чтобы Тина знала об этом, раз попросил их друг с другом встретиться, и она, Селеста, догадывается почему; почему же? Потому что она больна, сказала Селеста, доставая из сумочки серебряный портсигар, из него короткую сигарету без фильтра, закуривая, наклонив голову, двигая слишком большими губами, снимая с них табачные крошки. Дымок у сигареты был светлый, сладкий; важно-веселый гарсон, проходивший мимо, быстрым, округлым, словно в танце, над самим собой смеющимся жестом переставил пепельницу с соседнего столика.

Алексей Макушинский

Она больна, сообщила Селеста самым простым и спокойным голосом, выпуская сладкий дым, глядя на Тину; и, может быть, серьезно больна. Вот потому-то Винфрид, наверное, и хотел, чтобы они познакомились. Тина, в свои тогдашние тридцать-с-чем-то лет, еще не знала, что ей на это ответить, как на это ответить; еще болезнь, старость и смерть не вошли в ее жизнь; ее папа и мама казались ей почти молодыми. Мы все втайне думаем, что наши родители всегда были и всегда будут; в один прекрасный, весенний и солнечный день выясняется, что это не так. Ее собеседнице тоже явно не хотелось развивать эту тему. Они с Винфридом потеряли друг друга из виду в самом конце войны, снова встретились в семидесятом году... А тогда, в молодости, какой он был, ее папа? Ах, он был замечательный, всегда веселый, очень красивый. Они торговали бюстгальтерами. Что?! Они торговали бюстгальтерами. Неужели отец ей никогда не рассказывал? Была мастерская в их нормандском городке, где шили бюстгальтеры; вот они эти бюстгальтеры и переправляли в Германию. В Германии таких бюстгальтеров, с такими кружевами, из такого шелка, отродясь не бывало, рассказывала Селеста с тем особенным, удовлетворенным, гортанным смешком, с каким даже пожилые француженки говорят о вещах, хоть чуть-чуть и самую малость скабрзных, даже как-то, тоже совсем чуть-чуть, пошевеливая грудью при этом, словно нащупывая и ощущая на себе свой собственный лифчик; никто не видывал там таких отменных бюстгальтеров; у немецких фрау, немецких фрейлейн прямо шли нарасхват их бюстгальтеры. Ну и что ж, что бомбежки? Бюстгальтер все равно нужен женщине. На черном рынке? Разумеется; где же еще? Неплохие деньги делали, по тогдашнему времени. А потом все кончилось: бюстгальтеры кончились, и другое белье тоже кончилось, кончились чулки, кончились трусики, и Винфрид с товарищами

умчались ночью на своих машинах, даже попрощаться они не успели, просто не было никого в комендатуре, пустые бумажки на полу валялись, разбитые стекла, и на другой день вошли американцы, и она сразу оттуда уехала, ухитрилась уехать на попутном грузовике, иначе плохо пришлось бы ей, говорила Селеста, выпуская дым, щурясь, снимая табачные крошки с больших полных губ, уехать к двоюродной сестре на юг Франции, потом к другой двоюродной сестре, у нее их много, в Париж, и в Париже она уже осталась, затерялась в Париже, и они с Винфридом не виделись четверть века, до семидесятого года, когда она впервые попала на встречу бывших сотрудников той нормандской комендатуры.

Kodak Instamatic, золотые пески

Тут Тина не могла опять не задуматься, вспоминая, что же было в семидесятом году, и сумела только вспомнить поездку в Болгарию, в этом семидесятом году, вместе с мамой и папой, но, кажется, без Вероники, ее сестры, тогда совсем еще крошки, на жаркий курорт, названия которого вспомнить она как раз не могла: что-то песчаное, что-то золотое, etwas mit Sand, etwas mit Gold, но как это по-болгарски? И в самом деле, там были песчаные пляжи, очень широкие, очень жаркие, переполненные людьми, и были пирсы, или какой-то один пирс, далеко-далеко уходивший в море, — вот этот пирс, или эти пирсы, она на всю жизнь запомнила, и на этом пирсе, на этих пирсах, всегда с длиннющими удочками стояли веселые болгарские рыбаки, с грубо-глиняными от солнца, в керамических трещинах лицами, и почему-то она каждый день бегала на этот сжигаемый солнцем пирс смотреть на глиняных рыбаков, в конце концов с ней подружившихся,

Алексей Макушинский

смотреть на их блесну, их леску, их мелких рыбешек, бившихся в железном ведерке; смотреть на этих рыбаков и рыбешек, о которых, как о той нормандской гостинице, не вспоминала она всю свою взрослую жизнь, о которых вспомнила и продолжала вспоминать в тот парижский день, автострадную ночь, простившись с Селестой, дожидаясь Берту, в машине и по дороге во Франкфурт; что до Берты, то Берта, когда уже под вечер, перед отъездом, они встретились на Монпарнасе, первым делом с издевательским смехом в глазах продемонстрировала ей свои новые ногти, накладные ногти, кровавые ногти, совершенно такие же, какие были у вчерашней длинноногой блондинки, с таким же острием и загибом, а что такого? ей ногти понравились, вот она их и сделала после выставки — что уж ей, и ногти себе сделать нельзя? и, конечно, Тина не стала ее спрашивать, одна ли она ходила их делать, и неужели целый день ей понадобился, чтобы посмотреть выставку и сделать поганые ногти, да и была ли она на выставке? и если была, то с кем была там? и с кем бы, где бы ни была она днем, теперь им предстояло поужинать перед дорогой, и впервые с начала их связи Тина боялась этого, и не зря боялась — ужин получился ужасный, в переполненном, удушливо-шумном ресторане на rue Moufflard, вообще и всегда переполненной жаждающими поужинать, и во все время этого ужасного ужина Берта назло подруге все с тем же издевательским смехом в глазах, — вспоминая, может быть, прелестные подробности сегодняшнего дня, утечи с длинноногою гадиной, — вытягивала перед собой то правую, то левую руку, любуясь своими остро-загнутыми накладными ногтями, и продолжала, с Тиной почти не разговаривая, любоваться ими в машине, и при мысли о том, что этими кровавыми ногтями, когтями подруга станет царапать ей спину, как она имела привычку делать это на вершинах страсти и похоти, издавая победные стоны, почти плохо

за рулем стало Тине, так что пришлось им поменяться местами, чуть ли не на обочине. Уже была ночь, разбежавшиеся огни. Берта, продолжая поглядывать на пресловутые ногти, теперь лежавшие на руле, гнала с цирковой бесшабашностью, хотя и без гиканья, сгоняя с левой полосы посмевающие замешкаться там другие машины. Тина, чувствуя себя, странным образом, уже не такой несчастной, какой чувствовала себя в тот день утром, думала, разумеется, и не могла не думать (или так я это представляю себе теперь по ее рассказам в разное время) об этой неожиданной француженке, этой Селесте, которой обещала она писать, звонить, когда будет опять в Париже, которая необыкновенно, просто очень сильно понравилась ей — хотя и обидно ей было за свою маму, даже, втайне, стыдно было перед своей мамой, как если бы и она, Тина, поучаствовала в измене, — которая все же неотразимо понравилась Тине, всем понравилась Тине: и этими полными, слишком большими губами — как у какой-то французской актрисы, Тина пыталась, но нет, не могла вспомнить, какой, — и привычкой эти губы укладывать поудобнее, и этой галльской серостью смеющихся глаз, и своим серым, строгим костюмом с рубиновой брошкой, и даже тем, как она в свои, наверное, семьдесят лет повела бюстом, рассказывая о легендарных лифчиках; неужели вправду были они? Наверное, были и вправду, и почему она, Тина, ни разу в жизни об этом не слышала? Все не так, как мы думаем, говорила себе — не Берте — Тина, опять вспоминая ту сцену в нормандской гостинице... И как могла она, Тина, так надолго забыть эту сцену, этот длинный стол, этих хохочущих бывших вояк, эти большие женские руки на плечах у отца? И зачем, собственно, отец брал ее с собою на эти встречи, если втайне, как вроде бы теперь получалось, ездил на них для свидания с возлюбленной? А именно так получалось, со слов Селесты, сказанных почти мимоходом. Получалось, что с того самого

Алексей Макушинский

семидесятого года, когда они нашли друг друга, через четверть века после войны, их связь длилась — и длится, и как может быть, что она, Тина, не догадывалась об этом? Не только она не догадывалась, но даже представить себе ничего подобного не могла. А ее мама догадывалась? Французские девки, *französische Huren*... Ее мама все, наверное, знала. А если все знала, то как может быть, что она, Тина, ничего не помнит, кроме вот этой одной, в сердцах сказанной фразы? ни одной ссоры? ни одного скандала? А потому что ей было все равно, она думала (или я думаю теперь, что так она думала), глядя на пролетающие, уже редющие огни, их расплыв на мокром асфальте, их отблески на разделительной планке и полосатых столбиках, обозначающих поворот, на выхваченные фарами зеленые (на французских автострадах они всегда зеленые) над полотном дороги висящие указатели: Metz, Saarbourg; потому что она уходила, всегда, сколько себя помнит, уходила она из дому, хотела жить и жила своей жизнью, сбежала в Дюссельдорф учиться у Бехеров, сбежала в Америку, в Мексику, увлеклась Бертой (все любовавшейся кровавыми ногтями, ногтями), родителям старалась ее не показывать. И, значит, покуда она проделывала все это, где-то с нею рядом разыгрывалась совсем другая история. Мы с детства привыкаем к нашим родителям, мы думаем, мы их знаем, а они, может быть, совсем не такие, какими нам кажутся. Или они становятся другими, покуда мы растем и взрослеем. А мы и не замечаем этого, мы только видим, как понемногу они стареют. А на самом деле все не так, все вообще не так. Они стареют, они изменяются, они тоже проживают свою собственную, нам неведомую, непонятную, таинственную (потому что все вообще таинственно), странную (потому что вообще все странно, как эта ночь, этот расплыв огней, эти французские зеленые указатели) жизнь.

Céleste, Sélestat

Среди прочих (французских, зеленых, повешенных над автострадою) указателей, которые машинально читала она, думая о Селесте, папе, маме, Болгарии, появился, вспыхнул и промелькнул один, затем другой такой же, предлагавший путникам, странникам, поссорившимся подругам свернуть, если им нужно или захочется, на юг — на Strasbourg, Colmar, Sélestat; про себя она улыbnулась, отмечая созвучие последнего названия с именем обретенной ею отцовской подруги (не подозревая и не задумываясь о том, что Sélestat и Céleste по-русски пишутся вполне, по-болгарски, например, почти одинаково), вспоминая, как тоже девочкой и тоже с отцом была однажды в этом эльзасском фахверковом городишке (который отец ее решительно и упрямо называл, разумеется, Шлеттштадт), как они пили кофе, то есть отец пил кофе, она пила, наверное, колу, на площади перед готическим темным собором, в окружении толстоватеньких французских мужчин, местных жителей, веселое и непонятное что-то кричавших друг другу, стоя у длинной стойки, потом долго провожавших ее с отцом, когда они вышли на площадь и она обернулась, лениво-любопытными взглядами; и больше ничего она не помнила; не помнила даже, когда это было; и неужели (она спрашивала себя) отец ее и там тоже (уложив ее, что ли, спать в гостинице?) встречался с Селестой? Ведь это уже было, наверное, после семидесятого года, после Болгарии... А почему ее родители вообще поехали в отпуск в Болгарию в том семидесятом году? Потому что там было дешево? Или хотели заглянуть за железный занавес? А она в свои семь лет и не думала, конечно, ни о каком железном занавесе, видела только песок, пирс, блесну и рыбешку... А что еще там было, в Болгарии? — спрашивала себя Тина (или так я это представляю себе), следя по-прежнему за указателями, ог-

Алексей Макушинский

нями, чернотой и густотой ночи, передвигавшейся вместе с ними, — и ничего не могла вспомнить, кроме пирса — и фотоаппарата; о фотоаппарате она и не забывала; помнила об этом всегда, потому что это был ее первый, самый первый в жизни фотоаппарат, подаренный ей перед болгарской поездкой, — подумать, в семь лет! — никто не верит ей, когда она рассказывает об этом, вот даже Берта, когда она однажды рассказала ей, не поверила, думала (или так я это представляю себе теперь) Тина, сбоку глядя на по-прежнему молчащую, по-прежнему будирующую Берту, с остервенением гнавшую свой «Опель» сквозь черную и мокрую ночь; а именно так это было, тут она ни секунды не сомневалась, ее папа подарил ей фотоаппарат, когда ей исполнилось семь; он торговал фотоаппаратами, и это был фотоаппарат на самом деле подержанный, Kodak Instamatic 1963 года, ее, значит, ровесник, и он до сих пор у нее хранится, хотя уже давным-давно она не брала его в руки, а все же это странно, как вообще все странно, и как может быть, что ее отпустили одну на этот солнечный пирс, к этим глиняным рыбакам? Ее, наверное, и не отпустили одну, папа или мама ходили с ней вместе, но так это помнилось ей, так вспоминалось по дороге из Парижа во Франкфурт, рядом с будирующей Бертой, упорно любовавшейся своими ногтями, и что-то все говорили ей по-болгарски ее друзья-рыбаки, и все норовили заглянуть в глазок ее камеры, снять ее вместе с другими рыбаками-друзьями, лихо и грубо приобнимавшими ее на этом пылающем пирсе, посреди этих бликов, этого блеска, и где-то у папы и мамы еще должны быть эти старые снимки, надо бы поискать их, а она уже и в семь лет неохотно выпускала из рук свою камеру, сама же порывалась снимать все подряд: всех несчастных рыбешек в ведерке, и все лодки на

берегу, все деревья на набережной, все клумбы в парке, уж тем более всех собак и всех чаек, но отец не позволял ей снимать все подряд, говоря, что пленки не напасешься, а может быть, приучая ее ценить свои кадры, и это большое счастье, что она начала снимать в доцифровую эпоху, когда кадры в пленке были еще на счету — всего-то было двадцать квадратных кадровиков в ее Instamatic'e, никогда она не забудет, — и оттого даже семилетней толстой девочке, подружке болгарских рыбаков, приходилось чуть-чуть подумать, прежде чем нажать на вожделенную кнопочку. И, во всяком случае, куклы кончились после той болгарской поездки; начались фотоаппараты, синий свет, отражатели, зонтики: лучшие игрушки ее детства, что сразу сблизило ее с папой и отдалило от мамы, в отличие от сестры, хотя ведь именно сестра, Вероника, переняла, в конце концов, отцовское дело, вот ведь что странно, все странно, и, уж наверное, отец не доверился бы Веронике, если бы та ехала, к примеру, в Париж, не попросил и не позволил бы ей встречаться ни с какой военной возлюбленной, а как легко, она теперь думала, как-то даже между делом он доверился ей, Тине, прекрасно зная, что она не выдаст его ни сестре, ни маме, а все-таки странно, как и вообще все странно, что он ей доверился, и это вправду, видно, связано с тем, что Селеста больна, хотя на больную не очень она похожа, и если больна, то чем? когда так всерьез говорят: больна, имеют в виду, как правило, рак, а на онкологическую больную совсем уж не похожа она; и подумать, что эта неожиданная, корректная, с губами, как у какой, какой же? актрисы, француженка могла быть ее, Тининой, мамой, только она тогда не была бы самой собой, Тиной, думала Тина (или так я это представляю себе), но была бы другой женщиной, не такой, кто знает, несчастной;

Алексей Макушинский

и она почти вдруг чувствовала в себе эту другую женщину, сидя на своем сиденье, рядом с будирующей Бертой, пролетая сквозь молчащую ночь; эту другую, не такую несчастную женщину, с другим детством и другими друзьями, с парижским лицом вместо франкфуртской гимназии в прошлом, с другими чертами лица, с этими, быть может, Селестинами, слишком большими губами, даже с этой привычкой шевелить большими губами, укладывая их поудобнее — она бы унаследовала все это, почему нет? — и чем отчетливее, изумляясь, чувствовала в себе эту другую женщину, другую судьбу, тем легче становилось у нее на душе, даже на Берту, даже на ее ногти посмотрела она быстро, искоса, без прежнего отвращения, ничего ей все-таки не сказала, отвернулась снова к огням, указателям и расплыву фар на мокром асфальте, на мгновение, может быть, засыпая, опять просыпаясь, думая (или я так думаю теперь за нее), что история этой воображаемой немецко-французской девочки, которой она могла бы быть, которой никогда уже не будет, не менее ей интересна, чем ее собственная, и что история ее папы и мамы, даже история этой так неожиданно в ее жизни появившейся папиной военной возлюбленной — что все эти истории не менее или, осторожнее выразимся, почти так же важны ей, как ее собственная, а что вообще все неважно или не очень важно, все, что нас мучает и заботит, все, что вот только что, вот сейчас и сегодня весь день ее мучило и бесило, угнетало и повергало в отчаяние, что все это неважно, неважно... даже Бертино мерзостное молчание, даже эта ревность, которую она впервые испытала с такой губительной, отравительной силой, даже эти кровавые когти, что все это, по сути дела, никакого значения, никакого или почти никакого отношения к ней не имеет.

Простота выражения

Эту последнюю мысль или этот последний поворот мысли она самой себе не сумела бы объяснить; а между тем как-то (но, опять же, она самой себе не сумела бы объяснить как) эти мысли и повороты мыслей на пустой, прямой автостраде были связаны с фотографией (она мне рассказывала впоследствии); все, что она делала до сих пор, вдруг показалось ей неправильным, даже ее уже знаменитые снимки (даже сотни раз воспроизведенный и размноженный портрет Рут Бернгард, который смутно виделся мне с дивана, когда Тина рассказывала мне сквозь сон, в мою вторую бессонную ночь, о той своей давней ночи) — все это показалось ей чем-то приблизительным, необязательным, хорошо если случайной удачей, по большому счету и по сути своей незаслуженной; и хотя это смешно звучит (говорила мне Тина), но чем дальше они ехали, сперва по французской, затем по немецкой, и, значит, уже с синими указателями — Маннгейм, Трир — автостраде, тем не только легче и лучше становилось у нее на душе, и не только чувствовала она в самой себе все отчетливее возможность другой судьбы, другой жизни, но тем глубже и бесповоротнее делалось ее решение — или ее решимость — непременно и вопреки всему добиться настоящего, подлинного, пробиться к этому подлинному, настоящему в фотографии, как бы, еще раз, это ни звучало смешно. Это звучит смешно, даже глупо, а все же без этого внутреннего решения, в полусне и на подъездах к Франкфурту принятого, она бы не стала самой собою (говорила мне Тина впоследствии), все ее снимки и опыты навсегда бы остались любительщиной. Это было решение начать сначала, в каком-то дерзко переносном, для нее самой темном смысле (говорила мне впоследствии Тина), так что уж она и не знает, понимаю

Алексей Макушинский

ли я ее. А я прекрасно ее понимал. Я так много раз в жизни все отбрасывал и начинал с ослепительного нуля, что мне ли было ее не понять и ей не поверить, когда она рассказывала мне о той автострадной ночи, все никак не кончавшейся. Уже подъезжали они к Франкфурту, а так и не сказали друг другу ни слова. Берта думала, может быть, что она спит. И вправду, засыпала она на мгновение; просыпаясь, продолжала думать свои новые, или ей казавшиеся таковыми, отрадные, горестные, единственно важные для нее мысли. Все неважно, даже Бертино молчание, Бертины ногти; а вот это да, важно. Картье-Брессон говорит где-то, что только экономия средств и в особенности забвение себя самого (*un oubli de soi-même*) ведут к простоте выражения (*simplicité d'expression*); она помнила цитату наизусть, и по-французски, и по-немецки (историю фотографии знала в лицах); она только не понимала до сих пор (или так, опять же, казалось ей), что это значит. Ей хотелось начать с начала самого раннего, самого дальнего, с первых квадратных кадриков, с той девочки на болгарском пирсе и пляже, с Kodak Instamatic'a в толстых руках, взять в скобки все, что отделяло ее от той девочки, всю свою жизнь. А в великих фотографиях (она говорила мне) всегда есть эта свобода от собственной жизни фотографа, которую (свободу) она так остро и горько-радостно почувствовала в ту ночь. Неважно, что ты снимаешь, пускай снимаешь ты тени от решеток возле Люксембургского сада, которые снимала она и в этот, и в предыдущий приезд, архитектуру и геометрию этих теней на гравии — все равно, лишь свобода от твоей собственной жизни способна придать твоим снимкам то самое важное, что она не умела назвать, что и Картье-Брессон, она думала, называл простотой выражения за неимением лучших слов, верных слов. Она проявит завтра же свои парижские снимки, и штудии теней, и фото-

графии Селесты на террасе кафе, и фотографии прохожих за пластиковой пленкой, с размытыми контурами, вдруг найдется среди них хоть что-нибудь стоящее (ничего не нашлось), и если не найдется, то и неважно, и бог с ним, потому что все надо делать иначе, снимать иначе, взять свою жизнь в скобки — или за скобки, наоборот, ее вынести, быть снова той девочкой, впервые смотрящей на облака, рыбешек и мир, быть той другой девочкой, Селестиной дочкой, нерожденной, никогда не жившей, во франкфуртскую гимназию не ходившей, соль на волосы не сыпавшей, в Дюссельдорф и Мексику не сбегавшей. Мы приехали, объявила Берта, резко тормозя перед Тининым эркером.

Резиньяция

За этой первой ссорой последовали другие, все более частые и, как это обычно бывает, все более одинаковые, с повторяющимся порядком упреков, примирений, прощений, обидных слов и обиженных взглядов, оскорбительных и оскорбленных молчаний, разведений рук в резиньяции — что, мол, с тобою поделаешь, я устала бороться, — порядком, в конце концов, затверженным обеими наизусть, неизменным, неколебимым, из которого они и не пытались выйти, как будто (казалось Тине) играя, доигрывая до конца свои роли в пошлой пьесе, бездарно поставленной, без всякой надежды заменить режиссера, переписать диалоги, переставить, что ли, стулья на сцене. Конечно, Берте нравились молодые женщины, девушки, девочки. Тине нравилась Берта. Она ей по-прежнему нравилась, несмотря ни на что; еще слишком сладостными были их совместные ночи; еще очень страшно было от них отказаться. Даже Бертина холодность ее возбуждала; равнодушная усмешечка на плоском, грубом лице.

Алексей Макушинский

Берте тоже нравилась Тина; не меньше, может быть, нравились ей встречавшиеся им обеим или, что хуже, ей одной на улице, в метро, на очередной вечеринке девочки, девушки, молодые женщины, готовые ко всему или, наоборот, Бертиным внезапным вниманием повергаемые в восторг и ужас (ужас, переходящий в восторг, и восторг, вновь сменяемый ужасом); женщины, девушки, которых так хотелось, так сладко было покорить, соблазнить, совратить, подчинить своей власти и воле. А Тина и так была в ее власти, в ее силках и тенетах; с Тиной становилось ей скучновато. Тина все это видела; видела, не могла не видеть охотничье, плотоядное выражение в Бертиных обманных глазах, следивших за очередной жертвой, молодой попкой, обтянутой джинсами; тоскуя и мучась, воображала себе, как подруга подбирается к ученицам, как по-кошачьи на переменках, небось, к ним подкрадывается, как задерживает их после занятий, вот здесь вот, голубушка, у тебя неправильная форма *past continuous*, *present indefinite*; вспоминала тот замок на Рейне, тот парапет, те сардельки с кровавым кетчупом, с прогорклой картошкой фри; на свое место подставляла другую, теперешнюю дуреху; думала, что только страх потерять рабочее место, острый глаз физика удерживает от решительных действий воспламененную близостью юниц, дурех Берту; потом думала, что кроме учениц, юниц настоящих есть ученицы бывшие, юницы взрослеющие, как и она сама была бывшей; другие бывшие ученицы, окончившие школу недавно, молоденькие, необязательно худенькие (худенькие Берте не нравились), но все же (с отвращением к себе она думала) не такие толстухи, не с такими необъятными бедрами. Ревновала она ужасно, до зубной боли и зубовного скрежета. Даже и не подозревала она до тех пор, что способна так ревновать, до такого скрежета, такой боли... Кажется, уличи она Берту в

измене, все бы легче ей было. Но уличить в измене училку не удавалось ей; оставались только подозрения, упреки, намеки, перехваченные взгляды, нашептывания тайного, подлого, скрипучего голоса, от которого никак не удавалось ей отвязаться, который снова и снова советовал ей пойти с Бертой на очередную скучнейшую вечеринку к знакомому музыканту, потому что там бог знает что, черт знает что может случиться — она ли, Тина, не помнит парижскую гадину, длинноногую дрянь, и уж точно ни при каких обстоятельствах (продолжал нашептывать голос) нельзя допустить, чтобы Берта встречалась в воскресенье в кафе — в их кафе, возле музея Гете! — со своими коллегами по гимназии, и не только со своими коллегами, но еще с другими учителями, другими, главное, учительницами из других гимназий, будь все они и каждая в отдельности прокляты, надо как-то за ней увязаться, все равно под каким предлогом, или как-то так сделать, чтобы не ходила Берта на эту встречу, чтобы она отказалась, чтобы осталась дома, даже если придется играть с ней в кретинический Scrabble, идиотическую Monopoly; но Берта от встречи не отказывалась, Тину с собой не брала, и ничего, в свою очередь, не оставалось ревнивице, как бродить по городу со своим фотоаппаратом, своим одиночеством или ехать на какую-нибудь индустриальную окраину, в Ганау, в Рюссельсгейм (где старые кирпично-конструктивистские заводы «Опель» кажутся вывалившимися из времени, еще не руинами, но уже готовыми превратиться в руины), или хоть в Восточную гавань — снимать разбегание рельсов под взвихренным и трагическим небом, это же небо, отраженное в огромных окнах фабричных заброшенных корпусов, не столько исцеляя, сколько усугубляя воскресной печалью промышленного пейзажа свое собственное отчаяние.

Красавицы, еще и еще

В то время начала она фотографировать других женщин, помимо Берты, обнаженных или не совсем обнаженных, и похожих не столько на Берту, сколько на нее саму, тех, значит, рубенсо-кустодиевских моделей, более поздние и совершенные фотографии которых произвели столь сильное впечатление на Виктора; женщин, девушек и моделей, из которых первую, Ингу по имени — из породы роскошногрудых, при этом скорей узкобедрых и стройноногих рыжих красавиц, — она сама встретила на одной из скучнейших, все более ненавистных ей вечеринок, куда ходила из ревности, поддаваясь нашептываниям скрипучего голоса, шипучего змея, и которую ей долго пришлось уговаривать, вообще долго возиться с ней, прежде чем та оттаяла и успокоилась, свободно разлеглась на диване, вот этом черном и кожаном, где я по-прежнему лежал в свою вторую бессонную ночь, после встречи с галеристкой из Праги, слушая или уже не слушая, или вполуха слушая Тинин задверный рассказ о том, как она начала фотографировать рубенсовских красавиц, совсем-красавиц, или не-совсем-быть-может-красавиц: роскошногрудую Ингу, очень долго не желавшую обнажать перед Тиной и камерой эту грудь (хотя на все вечеринки и даже не-вечеринки заявлялась в решительном декольте, в которое не одна Тина заглядывала); затем девицу, тоже рыжую и вполне бесшабашную, которую нашла через берлинское фотоагентство, продававшее девицны услуги журналам и каталогам моды для кустодиевских красавиц, заполненным картинками кофточек, лифчиков, купальников и прочих бюстгальтеров с неправдоподобным количеством хохочущих Х'ов перед суровым в своей неизменности L — уравнениями со множеством пленительных неизвестных, — девицу, которая, наоборот, с

бесшабашной ухмылкой и ни секундошки не колеблясь согласилась позировать голой, тут же стянула с себя все бюстгалтеры, хотя, по утверждению агентства, ни эротика (Erotik), ни акт (Akt) в набор услуг ее не входили (цену, впрочем, заломила она гигантскую, под статью своим статям); затем уже какую-то окончательную оторву, с серьгой в ухе, на губе и в других местах, еще более неожиданных, с идиотическими татуировками в местах неожиданнейших, оказавшуюся, при ближайшем знакомстве и рассмотрении, скромной, тихой, покладистой и беспросветно несчастной, разумеется, девушкой; даже не сразу поняла она (т.е. Тина), что все это — эти ню, и полуно, с серьгами и без, эти встречи с моделями у нее дома, в гостиной с эркером или в той студии с софт- и лайтбоксами недалеко от Восточной гавани, в промышленной зоне, которую снимала она по часам, если ей нужна была настоящая студия, или, скажем, пару раз повторившаяся поездка с рыжекудрой, роскошногрудой Ингой к другой давней приятельнице, сколько-то лет назад удалившейся вместе со всем своим семейством, мужем и белобрысыми детками, на глухой хутор в Шпессарте разводить лошадей, — хутор, фахверковый и старинный, с просторными, недоступными для незваных взглядов угольями, куда Тина в сопровождении новой подруги, новой модели закатилась, как мне рассказывала впоследствии, на своем тогда еще тоже новом оранжевом «Гольфе» с откидной брезентовой крышей в солнечно-пасмурный, багряно-осенний и откровенно счастливый день, потому выбранный для визита, что белобрысое семейство как раз уехало на детский, что ли, праздник, в детские гости, только лошади и хозяйка остались, и можно было снимать прекрасную, голую, к тому времени потерявшую всякий стыд Ингу в большом, запущенном и запутанном, совсем не по-не-

Алексей Макушинский

мецки, скорее по-английски диком и свободном саду, посторонних взглядов не опасаясь, или снимать ее в наездничьих сапогах, но и только в них, на истоптанном пастбище, где замечательная была изгородь из длинных, старых и серых палок, поперечин и перекладин, на которые так удобно было опираться и облокачиваться, класть полные руки и обнаженную грудь, чтобы розовая, мягкая плоть контрастировала с отчетливой древесной структурой, медлительным виением волокон на дымчатом благодаря распахнутой настезь диафрагме объектива фоне облаков, деревьев и лошадей, одна из которых, рыжая тоже, с чудной черной челкой и нежными, задумчивыми глазами, заинтересовавшись происходящим, подходила все ближе, так что испуганная модель уже порывалась перелезть на человеческую сторону изгороди, но успокоенная хозяйкой, бравой наездницей, в конце концов позволила лошади положить громадную голову рядом с нею на перекладину и чуть ли не на ее, Ингино, едва заметными рыжими пятнышками тронутое плечо; даже не сразу (еще раз) поняла она (Тина), что все это ее месть — Берте, ее тайная — Берте — измена, когда же поняла, то изумилась себе (и не тому изумилась, что так изменяла, так мстила, но тому, что не поняла этого сразу, с первого пробного кадрика). Конечно, это была ее месть, ее изысканная измена... Вот я такая, и есть еще такие, и мне такие женщины нравятся, хотя я не помышляю ни о чем, когда остаюсь с ними в студии или еду на тайный пленэр, и если помышляю о чем-то, то никому нет дела до этого, и ничего не происходит между нами, кроме поисков лучшего ракурса, лучшего света, но вот мы такие, рубенсовские красавицы с нашими тяжелыми формами, и мы нравимся друг другу, понимаем друг друга, нам приятно друг с другом, а все прочие как хотят, все прочие пускай бегают за школьницами, дурами, попковращающими блондинками.

Пускай бегают, сами же потом пожалеют. Берта не жалела, и Тина по-прежнему мучилась. Еще и тем мучилась, что Берта, со своей стороны, нисколько, ни на секундочку не ревновала ее к этим новым моделям — ни к Инге, ни к прочим, не пыталась с ними подружиться, или их соблазнить, или, наоборот, их прогнать, вообще не обращала на них внимания, тем самым показывая Тине, что это ее, Тинина, собственная и отдельная жизнь, ее работа, в которой она, Берта, ничего не понимает и до которой ей, Берте, нет никакого дела, точно так же, как у нее самой, Берты, есть своя отдельная жизнь, в которую она просит Тину не вмешиваться. У Тины есть фотография, у Берты гимназия, у всех свои профессиональные интересы. А между тем глаза ее намекали на совсем другие вещи, и плотоядная улыбка на плоском лице говорила совсем о другом. Она же видит, что это не только работа, не просто работа, говорили ее глаза, говорила ее улыбка, видит же, что к профессиональным интересам дело не сводится, что просто-напросто нравятся Тине эти модели-толстухи, что, уж наверное, не оставляют ее равнодушной случайные — или не совсем случайные? — прикосновения к их разнообразным округлостям, видит же, говорили глаза, что это ее, Тинина, изысканная измена, и она, Берта, говорила улыбка, принимает такую измену, пожалуйста, она не ревнует, пускай и Тина не ревнует ее к ученицам, блондинкам, дурехам, ей тоже приятно дотронуться иногда до кого-нибудь, до чего-нибудь. Мы же обе все понимаем, и я все понимаю, и ты все понимаешь, и понимаешь, что я понимаю, и почему не жить в свое и мое удовольствие? Не надо ревности, не надо всех этих сложностей... И невозможно было не признаться самой себе, что глаза были правы, и улыбка была права, что и в самом деле волновала ее близость этих новых фотомоделей и что если бы одна какая-нибудь — и одна из них в особенности — сде-

Алексей Макушинский

лала первый шаг в роковую, сладостно манящую сторону, то, руку на сердце положе, неизвестно, к чему бы это привело, до чего довело; но ни одна из них первого шага не делала; все, как обычно, заканчивалось искусством.

Привычка к отчаянию

Кто чего боится, то с тем и случится, говорит (Тиной вряд ли читанная) Ахматова. К бывшей ученице, исполняя Тинины страхи, Берта и ушла от нее; к девице с длинными, светлыми, гладкими, блестящими волосами и мерзким, мелким, взвизренным смехом; и не потому ушла к ней (или так, по крайней мере, полагала Тина, себе в утешение), что влюбилась, потеряла голову и сошла с ума от страсти — ни к тому, ни к другому, ни к третьему училка была не способна, — а потому что делавшая быструю банковскую карьеру девица как раз получила роскошную работу в Канаде, в Канаду уехала, из Канады вернулась, в Канаду съездила вместе с Бертой, предложила ей и совсем переехать; в каковом предложении всегда, всю жизнь мечтавшая о побеге Берта, уже (если я правильно считаю теперь) приближавшаяся к пятидесяти, увидела свой последний шанс переменить жизнь, распрощаться с прежней, начать новую, в Новом Свете. Никакой новой жизни, по доходившим до Тины слухам, в Новом Свете не получилась; расквитавшись с постылой франкфуртской гимназией, ее бывшая наставница в любовных утехах и легкости бытия оказалась обреченной на скучнейшее преподавание немецкого в скучнейшем, хотя и богатом, пригороде Торонто, в начальной школе, с мечтой хотя бы о колледже в обманутой и холодной душе... Тина после Бертиного бегства лет пять (если мои теперешние расчеты верны) прожила в одиночестве, так, кажется, ни разу и не нару-

шенном ни одной из ее моделей (готовых позировать перед камерой, за деньги или без денег, но больше ни к чему не стремившихся); в одиночестве, к которому почти, пожалуй, привыкла; в несчастье, к которому, если можно привыкнуть к несчастью, привыкла, пожалуй, тоже; несчастье едва ли не казалось ей естественным, соприродным ей состоянием, от века данным ей, как ее фигура, ее по-прежнему нелюбимые волосы. Несчастье, и это главное, не мешало ей работать — и даже бывать счастливой, когда что-то удавалось в работе (ей многое удавалось в те годы). Или когда ее работа имела успех, когда агентства покупали ее фотографии, когда из Барселоны приходило письмо с предложением устроить выставку; или просто так, без всякой причины, в солнечное раннее утро, в Грюнебургском парке (начинавшемся за двумя углами от ее дома; там еще не было корейского павильона, но была уже, на месте снесенной старой, новая греческая церковь в бело-бурую каменную полосу); просто так и без всякой причины, когда, оборачиваясь (парк уходит вверх, к телебашне, возле которой жили ее папа и мама: Франкфурт вообще маленький, все в нем близко), смотрела она, делая или не делая кадрик из сложенных вместе пальцев, на дальние, дымчатые, оставшиеся внизу небоскребы, на мокрый, серый, почти стальной блеск лужайки, густую зелень елок в прозрачной зелени каштанов и лип, думая (как она теперь часто думала), что неважно, не имеет значения, какая у нее жизнь, счастливая или несчастная, точнее, какой — счастливой или несчастной — считает она свою жизнь; думая, снова думая (как в теперь уже давнюю, незабвенную для нее автострадную ночь, по пути домой из Парижа), что жизнь ее имеет такое же, не большее и не меньшее значение, чем жизнь той воображаемой девочки, нерожденной дочери Винфрида и Селесты (с которой, то есть

Алексей Макушинский

Селестой, она несколько раз встречалась с тех пор, втайне от всех, даже, кажется, втайне от Винфрида, во Франкфурте и в Париже; болезнь которой оказалась не злокачественной, даже не очень опасной). Потому что жизнь — это наша мысль о жизни, более ничего. Нет, то есть вообще нет, не существует этого большого целого, которое мы зовем нашей жизнью и которое можно было бы (если бы оно само было, но его нет) назвать хорошим или плохим, удачным и неудачным, сложившимся так или эдак, а есть лишь что-то иное, несоизмеримое и даже, может быть, никак не соотношенное с жизнью, вот этот стальной блеск на утренней мокрой траве... И хотя счастье, или несчастье — даже сами слова эти — ничего не значили в такие минуты, все же парадоксальным образом эти минуты сами по себе были минутами и мгновениями счастья — теми зарницами счастья, если угодно, о которых Лев Толстой говорил некогда Бунину (о чем она, опять же, не знала).

Неизменный советчик

Зарницы счастья бывали; зарницы на очень сером фоне, очень сером, темно-сером небе, с добавочными, уже совсем беспросветными провалами, темнотами и чернотами. Не только не верила она, что это может когда-нибудь измениться, но (втайне, может быть, от себя же самой) видела в этом сером фоне несчастья, сером небе не острого, но постоянного (напишем это слово) отчаяния — залог и условие всех своих удач и успехов; ту цену, которую платила она за эти успехи, эти удачи... Она лежала в их первую ночь (через неделю, значит, после поездки на Рейн, блужданий по каменоломням и холмам) рядом с Виктором (или так я это представляю себе), спавшим, закинув за голову руку, ладонью вверх, спав-

шую тоже; лежала на своей широкой, когда-то выбранной, купленной вместе с Бертой кровати, где так долго не лежала она ни с кем, с женщиной вообще никогда, не в силах и не пытаясь заснуть, вспоминая прошедшие годы, годы одиночества, и годы с Бертой, и годы до всякой Берты; в полумраке, по-прежнему разрезанном полосой света, проникавшей сквозь не до конца затворенную дверь, бежавшей по полу и по стене взбиравшейся к гирляндисто-югендстильной лепнине; и поворачивалась к Виктору в этой перерезанной темноте, на этой внезапно-чужой, тихим и удивленным скрипом отвечавшей кровати; смотрела на его закрытые глаза, его спящую руку; говорила себе, что ведь это бред и безумие, и неужели на роду ей написано вступать в отношения невозможные и завязывать связи немислимые? Да и какие могут быть у нее отношения с мальчишкой, на — сколько? — она не знала, на сколько именно лет ее младше; на столько же лет ее, наверное, младше (думала она), на сколько она сама была младше Берты (так оно, кстати, и было); да и откуда вообще взялся в ее жизни этот русский мальчишка с его прекрасными, сумасшедшими, совсем чуть-чуть... ну самую малость похожими на Бертины, страдальческими глазами? Ничего не будет, сказала она себе. А если будет, то скоро закончится. Она выбралась из постели, из спальни; босиком, на цыпочках, по холодному паркетному полу прокралась к эркерному окну. Верный друг, неизменный советчик, Боливар смотрел в сторону, едва различимый в тусклом и желтом свете висевшего над мостовой фонаря. Все кончится скоро, плохо. Едва не разрыдалась она, стоя в своем эркере, думая о своем несчастье, о будущем и о прошлом, о том, как ревновала Берту к блондинкам. Ей хотелось разбудить Виктора, попросить его ей помочь, защитить ее от того горя, которое он сам когда-нибудь должен был ей принести.

Алексей Макушинский

«Анна Каренина»

На другой день, после быстрого смущенного завтрака, пару раз тянулась она к телефону, чтобы сообщить ему, что была прекрасная ночь — и спасибо, давай лучше сразу оставим глупости. Она сама понимала, что не сделает этого, не сможет этого сделать; наоборот — как девочка, дурочка, будет ждать Викторова звонка. Она пять раз подряд варила кофе в эспрессо-машине и пыталась заняться делом, и чувствуя, что заняться делом все равно не получится, пыталась просто читать, чтобы отвлечься от своих мыслей (читать, впрочем, не что-нибудь, но, поскольку ей хотелось теперь почитать что-нибудь русское, а она почти ничего русского до сих пор не читала, «Анну Каренину», которую, в немецком переводе, купила она после их поездки на Рейн), и читать тоже не могла, да и путалась в дебрях имен (почему Каренина превращается вдруг в Аркадьевну? поди пойми этих русских...), и тянулась к телефону, чтобы спросить у Виктора, как это все устроено, нет, вздор, чтобы сказать ему, что не надо им больше встречаться, и сама улыбалась сумятице своих мыслей, сидя у себя в эркере, в кресле, бросив книгу, закрывая глаза. И, закрывая их, видела его глаза, Викторovy, восхитительные, осмысленные, безумные, и вспоминала их прогулку по каменоломне, и как он смотрел на нее, таким влюбленным взглядом и в то же время издалека, из какого-то такого далека, о существовании которого она до сих пор не догадывалась, и как просто подал ей руку, когда они лазили по камням, и видела саму эту руку, с красноватыми костяшками пальцев, эти молодые сильные плечи, атлетическую грудь и плоский живот и, продолжая улыбаться, вспоминала только что прошедшую ночь, чувственное счастье этой ночи, как прижимался он к ее животу и как очевидно, неправдоподобно возбуждали его все те места, которых она научилась не стыдиться в присутствии

других женщин, но по-прежнему стыдилась в присутствии, даже в объятиях, спортивного молодого мужчины, ее стёгна с уже наметившимся на них целлюлитом, ее предплечья, уже провисающие. Над Боливаром бродили дымные низкие тучи, отражавшиеся в зеркалах небоскребрика, и буро-желтые кроны окружающих деревьев раскачивались, отражаясь тоже, на уже окончательно осеннем ветру. А как она покажется с ним коллегам, подругам? А собственно, почему бы и нет? что такого? Подруги будут завидовать; на то они и подруги. А коллегам наплевать. И вообще... Вообще что? Вообще будь что будет... Виктор не позвонил, а просто пришел к ней вечером, как будто предполагая, что она сидит и ждет его в своем эркере, так что ей хотелось спросить его, что бы он стал делать, не окажись ее дома, с тем огромным, очень дорогим, бесконечно-банальным и умилившим ее своей банальностью букетом полыхающе-алых роз, который он вручил ей, но она так была тронута и так рада его видеть, что не спросила его ни о чем, просто прижала к себе. Эти розы потом повторились. Он ухаживал за ней так, как этого уже никто в Германии не делает, как, во всяком случае, никто не ухаживал до сих пор за ней, Тиной; дожидался ее у подъезда с пресловутыми розами или хоть одной розой, всегда очень красной, в красной руке; чуть не каждое утро бросал в ее почтовый ящик открытку, всякий раз новую, с пожеланиями хорошего дня и какими-нибудь — уж какие придумывались — словами о своей любви к ней; дарил ей иногда очень дорогие, иногда совсем ей ненужные альбомы с фотографиями; о самой же фотографии, которой никогда раньше не увлекался, не занимался, через две недели знал все; говорил с Тиной об Эдварде Вестоне, о Мохой-Наде, о Кертесе, о Родченке или о Гарри Виногранде так, как будто всю жизнь и с самого детства слышал эти имена, еще две недели назад неведомые ему, или так, как если бы это были

Алексей Макушинский

их общие друзья и приятели, посплетничать о которых всегда приятно, никогда не надоедает. Она вскоре почувствовала, что сопротивление ее слабеет, что она сдается ему. Всякий раз была она счастлива при его появлении, при виде его сумасшедших глаз, его синего беззащитного черепа, но еще старалась не показывать этого, не доверяя своему счастью, боясь спугнуть его, боясь, может быть, окончательно и бесповоротно влюбиться. Тот, кто любит, страдает, а страдать она не хотела. Еще слово *нет* преобладало в ее лексиконе. Нет, завтра она занята, у нее срочная съемка, и нет, ужинать к итальянцам она не пойдет, устала, и на выставке импрессионистов в галерее Schirn она уже была, и в кино пойти тоже, нет, не получится, а к опере она равнодушна. В конце концов, шла она и в кино, и на выставку, и ужинать к итальянцам. И все же еще долго не могла поверить, что он всерьез и вправду влюблен в нее, вот в такую, какова она есть... Но он вправду был влюблен в нее, она не обманывалась, она это видела. Когда недели через четыре улетел он по банковским делам в Таиланд, она поняла, что уже не могла бы (могла бы, но очень бы не хотела) жить своей прежней одинокой жизнью, на сером фоне несчастья, что беспробудно черным сделался бы теперь этот фон; считала дни до его возвращения. А Виктор собирался после банковской недели в Бангкоке взять неделю отпуска и долететь, наконец, до Японии (до которой из Бангкока неблизко, но много ближе, чем, к примеру, из Франкфурта), побывать, наконец, в настоящем буддистском монастыре; уже в Бангкоке решил в Японию не лететь; сказал себе, что слетает когда-нибудь на подольше, сделает сессин у одного из Бобовых знаменитых учителей, вообще попробует пожить или поселиться в Японии; поменял билет, возвратился во Франкфурт. Тина даже не поняла, как впоследствии мне признавалась, что означало для него такое решение.

Любовь, дзен

Она вообще не понимала, что значит для него дзен-буддизм, да и что такое дзен-буддизм, понимала только отчасти. Дзен казался ей чем-то вроде йоги, то есть чем-то полезным для здоровья, телесного и душевного, и чем-то очень экзотическим, любопытным и неожиданным, но в конечном счете, как всякий спорт, чем-то таким, что можно при случае заменить другим каким-нибудь спортом. Можно ведь по утрам бегать, а можно и на велосипеде кататься... Есть люди, которые занимаются йогой, есть такие, которые ходят на карате или кунг-фу, есть любители и любительницы тай-чи, она их часто видит в Грюнебургском парке: как они танцуют на лужайке, стоят на одной ноге, медленно, плавно, успокоительно крутят руками; есть филателисты, есть шахматисты. Она сама два раза в жизни начинала ходить на йогу: один раз вместе с Бертой, уже давно; другой раз, за пару лет до встречи с Виктором, в специальную группу для женщин с лишним весом, куда заманила ее одна из ее моделей; оба раза бросала. Ей нравилось (ей все нравилось в Викторе), что он увлекается чем-то таким экзотическим. Он и сам был экзотический для нее персонаж (и это очень нравилось ей). Он был банкир (во Франкфурте всех банковских служащих именуют банкирами) с блестящим, похоже, будущим, с великолепными перспективами, но не просто банкир (просто банкир не заинтересовал бы ее, и Викторovy коллеги, с которыми иногда ей доводилось встречаться, совершенно одинаковые, в одинаковых галстуках, костюмах и лицах, ничего, кроме свербящей скуки, не вызывали в ней), а выходец из необыкновенной, до сих пор неведомой ей страны, из этой России с ее Транссибирским экспрессом, на котором любой немец, любая немка мечтает когда-нибудь прокатиться, с ее кремлевскими башнями, всякий раз возникающими в телевизоре, когда закутанный в ар-

Алексей Макушинский

ктические капюшоны и куртки, башлыки и шапки корреспондент сообщает из этой загадочной страны очередную плохую новость (в 2004-м и 2005-м новости были еще не всегда плохие; они потом стали портиться), и не только был он выходец из этой страны (куда ей самой и не пришло бы в голову поехать, при всех ее абстрактных мечтах о Транссибирском экспрессе; Уругвай и Коста-Рика были много реальнее для нее), но еще и адепт удивительного учения, про которое она знала только, что к нему равнодушен был сам Картье-Брессон, один из ее героев. Она прочитала книжку Герригеля о стрельбе из лука (благо книжка коротенькая); она даже попробовала *сидеть*, то есть пошла вместе с Виктором в какой-то уже зимний, прозрачно-снежный вечер, в так удивительно близко от ее дома оказавшееся дзен-до, и познакомилась с Бобом, окатившим ее сиянием своих глаз и волос, с Иренной, с белокурой и восторженной Барбарой, после достопамятной вечеринки и своего знакомства с Бобом не пропускавшей ни одного, ни вечернего, ни утреннего, дза-дзена. Ни в какой лотос, ни в какой полулотос Тина сесть, разумеется, не смогла, и ноги даже от сидения по-турецки так сильно и так сразу у нее заболели, и так ей сделалась скучно, что больше не повторяла она этот опыт — хотя оценила все это, по крайней мере, как упражнение в сосредоточенности, как способ концентрации внимания; и аналогия между дзенским стремлением совпасть с текучим, летучим, неуловимым и, следовательно, как бы несуществующим, как бы пустым настоящим — и стремлением фотографа это настоящее в его неуловимости, в его непрерывном исчезновении, поймать, ухватить, удержать, — эта аналогия была ей понятна, приятна; уже тем приятна и радостна ей, что с неожиданной и новой стороны сближала ее с Виктором, создавала общее между ними. Все-таки внимание, которым окружал ее Виктор, казалось ей

вниманием влюбленного; да оно таковым и было. Влюбленные вообще внимательны. У влюбленных всегда есть время. Влюбленные умеют слушать, не отвлекаясь на посторонние мысли. Виктор готов был слушать ее сколько угодно, часами обсуждать с ней варианты одной фотографии, ехать с ней, если был свободен от банка, на заказную съемку в любой соседний городишко, на праздник пожарников в Лимбурге и на выборы бургомистра в Ганау, часами сидеть за ее компьютером, налаживая очередную версию фотошопа. Она скоро разучилась без него обходиться. Он знал все об ее делах, почти ничего не рассказывал о своих. Если равной любви не бывает, говорит в одном стихотворении Вистан Хью Оден, то пусть я буду тем, кто любит сильнее. *Let the more loving one be me...* Виктор в то первое время, в первые два, даже три года, рассказывала мне Тина впоследствии, и рассказывала с горечью, рассказывала с раскаянием, Виктор без всяких сомнений был *the more loving one*, как ни странно. Она упрекала себя за это, но не могла ничего поделать. В конце концов, ей это было удобно. Она с этим смирилась, приняла это, сперва с благодарностью, с не совсем чистой совестью, потом как что-то само собой разумеющееся. Да и вправду ведь неинтересно ей было знать, чем он там занимается, в своем банке... В Тине (думаю я теперь) была (мне самому слишком знакомая) сосредоточенность художника на своем деле, которая часто выглядит как эгоизм, в известном смысле и является таковым. Ей жить было трудно. Пускай результат жизни был для нее важнее самой жизни, все же этот результат возникал из жизни, посреди и вопреки жизни, его нужно было у жизни отвоевать, а значит, и жизнь требовала к себе внимания и заботы, не чья-то чужая жизнь, но ее собственная, и значит, она сама, Тина, с ее дурными днями, добрыми днями. Если она не высыпалась, то не могла и работать, ни один кадр не

Алексей Макушинский

удавался, фотоаппарат валился из рук. Поэтому нужно было обязательно выспаться. Виктору было все равно, выспался он или нет, все равно, как он себя чувствует, болит ли у него голова, да и с каким настроением проснулся он в тот или иной, зимний или весенний, пасмурный или солнечный день, да и сам этот день, пасмурный, солнечный... все это не имело значения. Он знал, что при всех обстоятельствах пойдет в свой банк и будет делать — хуже, лучше ли — то, что надлежало делать ему, главное — что при всех обстоятельствах, независимо ни от каких настроений, будет *сидеть* утром и *сидеть* вечером, в одиночестве или в дзен-до, что бы ни случилось, он будет. Дзен-буддизм тем хорош, сказал он мне как-то, что отменяет все наши настроения, все наши состоянья, недомоганья. Хочется тебе или нет, ты *сидишь*; *сидишь* в радости и *сидишь* в печали, неважно; даже если за день так устал, что вот сейчас, тебе кажется, завалишься набок, все равно продолжаешь *сидеть*. Потому у Виктора и не было никаких настроений. Настроения были у Тины: хорошие дни и плохие; женские дни, в которые она делалась невыносимой; дни удачной работы, счастливых снимков, когда солнце сияло над их любовью; и дни мрачные, тяжелые, долгие, когда только эта любовь и могла утешить ее, только Викторovy объятия и могли ее ободрить, Викторovy поцелуи вновь примирить ее с бытием.

Сила присутствия

Все же был в его внимании к ней некий дзенский привкус, которого она поначалу не различала, не чувствовала. Он вносил в их любовь дзенскую силу присутствия. Он вникал во все, что касалось Тины, потому что был влюблен в нее, но и потому что умел, приучил себя присутствовать в настоящем, быть здесь-и-сейчас, не отвлекаться, не думать о завтрашнем дне, не строить планы на будущее. Дзен и влюбленность уси-

ливали друг друга. Еще не было в ту пору айфонов, но уже были люди, которые, разговаривая с вами, все время вертят в руках мобильный телефон, то ли мечтая о следующем звонке, то ли надеясь, что кто-нибудь им прислал смску. Не только Тина не могла себе представить Виктора так поступающим с нею, но он стоял, казалось ей, в почти бескрайнем спектре человеческих возможностей, форм жизни и способов поведения, на противоположном полюсе от этих фанатиков, данников, пленников беспроводной связи, число которых росло с каждым днем; да он почти и не пользовался мобильными телефонами, разве что по работе и на работе. Он *был* с ней, здесь, в той комнате, где они сидели вдвоем, на той улице, по которой шли, в той кровати, в которой лежали, как еще никто никогда с нею не был; безоглядно был в этом *здесь*, в этом *здесь-и-сейчас*; отчего и ей казалось, что она еще никогда так не *была* в своем настоящем, не переживала его с такой силой, в такой красоте, хотя вообще-то считала себя специалисткой в этом деле. Умение забывать о себе, превращаться в чистое зрение — *conditio sine qua* поп фотографии, особенно уличной (*street photography*); она знала это без всякого дзена, до всякого Виктора. Ей и хотелось немедленно схватиться за фотоаппарат, когда она чувствовала эту силу и красоту настоящего. Одного этого чувства еще недостаточно для удачного снимка, нужны сюжет, сцена, мотив и ракурс, которые не всегда находились. Был Виктор рядом с ней; безоглядно *был* здесь, с ней рядом; она и снимала его; не за неимением лучшего, а потому что счастьем было снимать его; искать и удерживать у него на лице, в его смеющихся, осмысленно-сумасшедших глазах, голом черепе и во всем его облике — отблеск, отсвет этого присутствия, этого *здесь-и-сейчас*; всякий раз, как в каменоломне когда-то, поражалась она тому, что он не позирует, не красуется, ни под кого не подделявает-

Алексей Макушинский

ся. Так же часто снимала она его, как снимала Берту в покинутом прошлом (та поддельвалась постоянно и красовалась всегда); но совсем по-другому его снимала, дивясь не только его свободе от позы, но и тому, какими не-эротическими выходили ее фотографии, даже если она обнаженным, полуобнаженным снимала его, и при том, что уж точно не меньше Бертиного влекло и волновало ее это молодое, мужское, атлетически сильное тело, эта грудь, эти плечи.

На вершине

Страсть к фотографии — одинокая страсть. Тина и раньше ходила на охоту за уличными сценами сама по себе, и если шла с кем-нибудь, то старалась не злоупотреблять терпением своих спутников, как ни жаль ей было увиденных, упущенных кадров. Теперь почти не жаль их было, к собственному ее удивлению, когда она шла куда-нибудь с Виктором. Ей нравилось просто идти с ним рядом, не вынимая своей руки из его, широкой и крепкой, не думая о висящем на боку фотоаппарате, вообще не думая ни о чем, но пропускающая сквозь себя, в чистой и невинной бесцельности, все то, что могло быть снято, но снято уже не будет, вот эти, вечером, растопыренные тени платанов на Майнском берегу, вот этого лохматого пса с мутно-пластиковым раструбом на шее, за которым долго наблюдали они, которого не сфотографировала она. Почему, и зачем, и какой ветеринар нацепил этот раструб на беднягу, они не знали, и спросить у пижонистой молодой пары, тянувшей его на поводке сквозь растопыренные тени, от одного платана к другому, не решились. Пес, прежде чем задрать ногу и пометить их, обнюхивал каждое дерево, и каждый столб, и каждую урну; раструб его с сухим стуком ударялся в этот столб, это дерево, на что ни он, ни

его хозяева не обращали ни малейшего внимания, как если бы естественно было для собаки пластиковым жабо тыкаться в столбы и деревья; лиловые отблески пробегали по Майну; и ребра небоскребов, повернутые к закату, горели розовым затихающим пламенем. Была какая-то до сих пор ей неизвестная горько-радостная свобода в том, чтобы дать пройти и погаснуть этим исчезающим впечатлениям, мгновениям, ничего не требуя ни от себя, ни от них, не стараясь спасти от гибели ни этих розовых ребер, ни этой собаки с раструбом, ни, в другой раз, идеально-белого, идеально-пухлого облака, к которому и прямо в которое шли они по идеально прямой, вверх и вверх, не круто, но очень упорно поднимавшейся просеке, в какое-то летнее воскресенье, в Таунусе, местных горах, куда Виктор иногда вытаскивал ее на хоть отчасти спортивную, нефотографическую прогулку. Стояли всякие облака над ними и лесом, облака светящиеся, облака с провалами в синеву, облака с темно-серым исподом. Облако, к которому они шли, было просто белым, так повисшим над вершиною кряжа, как если бы, пролетая, ненароком зацепилось оно за сосны. Недолго думая переместилось оно в другую часть неба, когда дошли они до вершины, и вершина оказалась не вершиной, но за ней обнаружили еще склоны, овраги, отроги Таунуса, уже синеватые; едва они обернулись, в синеватом же мареве, на широком горизонте, объявился, со всеми своими сверкающими, игрушечными небоскребами, Франкфурт; тут же и тоже исчез, неснятый и неспасенный, когда пошли они дальше. Был только лес вокруг них теперь; была другая, для прогулок непригодная просека, с рыхлой землей посредине, с двумя глубокими, как рвы, колеями, еще хранившими отпечатки трактора, вызволившего, надо думать, стволы срубленных сосен, ровной стопкой сло-

Алексей Макушинский

женные на перекрестке двух просек; на срезе всех стволов красной, даже днем флуоресцирующей краской написано было: Meier: фамилия, оригинальностью не блещущая, хозяйина всех этих бревен, посчитавшего, значит, каждое бревно и каждое дерево, как тот купец Рябинин, которому так глупо продал свой не обидной лес легкомысленный Стива, к обращению Левина; Тина, в конце концов, не без труда, дочитавшая «Анну Каренину», о нем, наверно, не вспомнила. Она сидела на одном из бревен, отколупывая пальцами белые смоляные подтеки со светлой коры, разминая их, вдыхая их резкий запах; по-прежнему не фотографируя, просто глядя на Виктора, который, совсем по-детски воскликнув: *смотри, черника*, удалился в соседнюю чащу; то появлялись, то почти исчезали за деревьями его синие джинсы, его черная майка; то и дело приседал он на корточки, потом, переходя на другое место, махал Тине рукою. Он вернулся к ней с полной горстью собранной им черники; с готовой рассыпаться горкой черники в горсти, которую, как сокровище, нежно нес он перед собою. Ее мама, вечность назад, вот так же шла к ней и к ее сестре, тогда еще совсем маленькой, здесь в Таунусе, на другой какой-то вершине, из-за других и по-другому освещенных деревьев, с черникой в ладонях, сложенных лодочкой. Они брали по ягоде, она и Вероника; потом поссорились из-за этих ягод; потом Вероника начала давить их пальцами, размазывать мякоть и сок по лицу, вокруг рта; потом... потом ничего не было; возвращение в настоящее. В настоящем Виктор стоял перед нею, с горкой черники в протянутой к ней ладони. Черника была кислая, с железистым привкусом. Она брала ее по одной ягоде измазанными и пахнущими смолой пальцами, на которых появились теперь синеватые, чудные, фиолетовые подтеки; она чувствовала себя той маленькой девочкой, которой когда-то

была, которую забыла в себе; потом, как большая женщина, которой стала с тех пор, принялась есть с Викторовой ладони, беря губами последние ягоды и тут же целуя ладонь; и когда ягодин не осталось, начала водить языком по линиям, ямкам и углублениям этой его широкой, с черничным вкусом, ладони, словно стремясь, на вершине их жизни и счастья, прочесть будущее, узнать, что их ждет.

Дети

А он и вел себя с нею в те первые годы так, как если бы не она его, но он ее был лет на четырнадцать старше, или даже так, как если бы она была его дочкой, доченькой, которую старался он уберечь от всех невзгод, оградить от всех бед; которую счастлив был порадовать хоть пригоршней черники в таунусских лесах; капризы которой терпел; шалости которой прощал. По крайней мере, он так вел себя с нею днем. По ночам все менялось. По ночам он был любовником и мужчиной — и потом был ребенком, засыпающим в материнских объятиях, был маленьким мальчиком, обретавшим покой и прибежище под сенью ее груди, в складках ее живота. Она достаточно была проникательна, чтобы понять, что эта дневная мужественность и взрослость есть то единственное условие, при котором он мог позволить себе любить женщину столь сильно старше его самого; и в то же время радостно было ей, что она может дать ему ту ночную материнскую нежность, в которой он так очевидно нуждался. Она надеялась в первое время, что еще будет у них общий ребенок, настоящий ребенок. И этот ребенок, она думала, все уравнивает, все сгладит, свяжет их, может быть, навсегда. Еще она думала, что это ее последний, даже самый последний шанс, и если у нее не будет ребенка сейчас, то никогда уже не будет; это неотвраща-

Алексей Макушинский

тимое *никогда* ей казалось чудовищем, готовым пожрать ее нерожденную дочку, нерожденного, но втайне, как ни смешно, любимого сына; пожрать и ее саму с ее не сбывшимися мечтами. Но ребенка не было, что бы Тина ни делала, к каким бы врачам ни ходила. По совету одного пожилого, добродушно-усатого доктора даже ездила она в Чехию пить в Карловых Варах особенные сернокислые воды, якобы помогающие забеременеть; из каковых Карловых Вар вместе с Виктором, там ее навестившим, отправились они в Прагу и в Праге познакомились с молнино-кожаной, мальчикоподобной Миленой, как раз создававшей свою галерею, уже увлекавшейся Дртиколом, показывавшей им редчайшие найденные ею снимки эфирных тел и обнаженных красавиц, в драматическом освещении, с трагическими тенями. С Миленой они познакомились, но забеременеть Тине не удалось; года через два стало ясно, что уже, по крайней мере естественным путем, не удастся; а иначе она не хотела; о каких-то чужих яйцеклетках, которыми воспользоваться предлагали ей другие, равнодушно-молодые врачи, думала с отвращением.

Каждый сам себе Будда (еще раз)

Ранней весной 2007 года я с ними увиделся, о чем уже рассказывал, в Мюнхене. Я ждал их у выхода из метро на Odeonsplatz, где в разные годы встречался с разными людьми, персонажами разных книг. Они явились мне в виде влюбленной пары, державшейся за руки; оказались одного роста, когда выплыли на площадь по эскалатору. Виктор уже был в той барбуровской болотной курточке, которую не снимал потом — или снимал только летом — до самого своего исчезновения из моей и Тининой жизни, в кретинской вязаной

шапочке с помпончиком, под которой прятал буддистскую синеу. Тина была по-прежнему в черном, замотанная черным шарфом, в черном кожаном, до колен, пижонском пальто с огромными пуговицами. Медно-рыжие, до полных плеч распущенные в тот день волосы все норовила она перекинуть на одну сторону, запуская в них руку, заводя ее за затылок, на смешливым осторожным движением. Со мной держалась она отстраненно, мы ведь и знакомы почти еще не были, да и я не совсем понимал, как мне вести себя с нею. Виктор, которого не видал я с 2004 года, с той незабвенной электрички, на которой мы возвращались из Кронберга, казался окончательно повзрослевшим, просто молодым взрослым мужчиной, очень спортивным, с дотоле незнакомым мне отблеском успеха на лице, сиянием удачи. Заметно было, что он младше ее; еще эта разница не так бросалась в глаза, как впоследствии. Вовсе не предполагал я идти в тот вечер ни к каким тибетцам, ни на какую встречу со скандально-сказочным дзенским учителем, знаменитым своими эротическими похождениями, своей дружбой с сильными мира сего, героями гламура и бизнеса; Виктор, по-мальчишески прищурившись, предложил нам пойти туда вместо традиционной прогулки по Английскому саду. После этого-то похода к тибетцам, в метро, он и сказал мне, что никакого буддизма нет, никакого нет дзена; есть только люди. Какой человек, такой и дзен; вот и все... Золотая статуя Будды в руках у вошедшей в вагон джинсовой девушки никак не отвечала на эти слова, не спорила и не соглашалась с ними; Тина еще досмеивалась, выходя вместе с Виктором из поезда на станции Sendlinger Tor. Они держались по-прежнему за руки; из окна, на отъезжавшей платформе, казались просто молодой и счастливой парой; она читала на щите указание, куда им идти, на какую линию пересаживаться; Виктор, вполборота, махал рукой то ли мне, то ли Будде.

Тройственная структура

Я жил в Мюнхене, но еще работал в Эйхштетте в ту счастливую пору; мне нужно было в университет на другой или третий день; я предложил им поехать со мной на машине, а там уж сесть в поезд до Франкфурта, тем более что Тина в тех местах не бывала и места эти (справедливо) казались ей вполне экзотическими; да и Виктор, как выяснилось, не бывал там с 2003 года. Забавно было показывать ей этот католический городишко с его бесчисленными церквями, куполами и башнями, его полукруглой, за себя саму, под наблюдением кариатид, загибавшейся площадью, его крепостью на холме. Когда показываешь кому-нибудь место, где живешь или часто бываешь, сам видишь его свежими глазами, чужими глазами. Была середина марта, то есть семестр еще не начался; на трех с половиной улицах, из которых состоит городок, так пустынно было, к Тининому умилению, как если бы вместе со студентами и просто жители разъехались на каникулы. Мне все-таки нужно было просидеть час в кабинете (все в том же, с видом на стоянку и кладбище), в ожидании, не забредет ли ко мне какой-нибудь рьяный студент, мечтающий обсудить свою курсовую работу, прилежная студентка, взыскующая зачета; потом, помнится, пообедали мы в ресторане «Труба» (Trompete), баварском, темном, с деревянными балками под потолком, деревянными длинными столами и скамьями, где я мог наблюдать, как влюбленными глазами наблюдает Виктор за уплетающей шницель Тиной; пообедав, прошли через университетский парк с еще забранными в деревянные коробки статуями, фонтанами, спрятанными под дощатым настилом (бывший парк бывшей резиденции местного епископа, превращенной в резиденцию нынешних университетских начальников), мимо крошечного здания факультета журналистики, шедевра, прямо скажем, современной архитектуры,

созданного в конце восьмидесятых годов Карлйозефом (именно так, в одно слово) Шаттнером (которого, странно думать, я иногда встречал в мои эйхштеттские годы гуляющим с женой по лесу, уже очень пожилого — он родился в 1924 году, — и к которому всякий раз порывался, но не решался подойти и сказать, как восхищают меня его постройки, всякий раз думая, что он местная, и не только местная, но почти мировая знаменитость и ему восторги мои не нужны; теперь думаю, что я ошибался и что лишних восторгов вообще не бывает). Это бетонный куб, поставленный архитектором между двумя барочными, XVIII века, крыльями (бывшей оранжереи и бывшим, кажется, домиком епископского садовника); куб, скромно, гордо и тихо стоящий между этими барочными крыльями, преображая их своей бетонностью, своей кубистостью, чистотой и простотой своей геометрии, превращая их из памятников прошлого в части новой и небывалой, рассекающей время конструкции. Мы надолго задержались перед этим зданием, этим кубом, поделенным надвое высокой стальной дверью с высоким стеклянным наддверием, продолжающим линии двери, уходящим под крышу, отражающим облака, так что (говорила Тина, обращая мое — скорее мое, чем Викторово, — внимание на очевидные вещи, о которых до сих пор я не задумывался) возникает структура одновременно тройственная и двойственная, в которой две половинки современного куба отчетливо рифмуются с двумя старинными крыльями, что и создает то ощущение гармонии, которое (она полагает) трудно не испытать, стоя здесь, ничего не снимая. Она ничего не снимала и снимать вовсе не собиралась. Зачем? фотографий всех этих зданий и в Интернете, и в книгах достаточно. Так же внимательно смотрела она и на реку, и на холмы за рекой, и на другое, не менее знаменитое, тоже попавшее во все учебники Шаттнеровское здание, к которо-

Алексей Макушинский

му я подвел ее, в которое даже зашли мы (бывший, высокий и узкий, двор, взятый под стеклянную крышу и с помощью галерей, вьющихся лестниц превращенный в борхесианскую библиотеку), и позже, на противоположном краю кампуса, на стеклянно-зеркальное, тоже вполне замечательное здание университетской библиотеки, построенное ни много ни мало Гюнтером Бенишем, создателем, среди прочего, мюнхенского Олимпийского парка, столь мне памятного по совсем другим прогулкам этой же счастливой эпохи, описанным в другой книге, — внимательно, повернутыми к миру глазами смотрела она на все это, ничего, однако и по-прежнему, не фотографируя. Не только не фотографировала она ничего, но и сумку с фотоаппаратом оставила у меня в машине, не потащила с собой на прогулку. Она вовсе не всегда фотографирует, это, уж прости... уж простите, немного наивное представление о фотографах, что фотографы-де все время щелкают своей камерой. У нее бывали фазы и эпохи жизни, когда она всегда таскала фотоаппарат с собой и снимала все подряд, она не отрицает, продолжая улыбаться всепонимающею улыбкой говорила Тина, полной белой рукою откидывая назад свои медно-рыжие волосы, но это только эпохи, только фазы жизни, они тоже заканчиваются.

Решающее мгновение

Лишь экономия средств и, главное, забвение себя самого ведут к простоте выражения, говорил (см. выше) Картье-Брессон, один из Тининых главных героев. Еще говорил он о решающем мгновении (*instant décisif*), которое должен поймать фотограф (чуть раньше, чуть позже — все будет загублено), о том единственном, магическом мгновении, в которое (и только в которое) он должен нажать на кнопку затвора; из всех высказываний всех фотографов о природе

их ремесла, их искусства самое, наверное, знаменитое, так что даже я о нем слышал (с тех пор благодаря Тине мои познания в этой области многократно умножились). Я об этом и пустился, помнится, разглагольствовать (вполне по-Ген-наадиевски). С одной стороны, магическое мгновение, вот это *здесь*, вот это *сейчас*, с другой — то, что поднимается над мгновением, вообще, быть может, над временем, значит геометрия, геометрические структуры, прозреваемые фотографом и роднящие фотографию с архитектурой (так я, или примерно так, разглагольствовал), структуры, двойственные или тройственные, которые в своей неизменности, неизбежности, своей неслучайности (с наслаждением разглагольствовал я) намекают, или мы хотим верить, что намекают, на некий смысл, или хотя бы возможность некоего смысла, таящегося за текучей тканью нашей случайной жизни; и нельзя ли сказать (продолжал я свои Ген-наадиевы разглагольствования, Тине явно приятные, привечаемые ее всепонимающей, всепрощающей нежной усмешкой), что это два полюса — мгновение и структура, непрерывно изменчивое и навсегда неизменное, или как бы мы их ни назвали, — что это два полюса, между которыми раскачивается фотография, как, в сущности, и любое искусство, хотя каждое это делает на свой лад и своими собственными, лишь ему одному присущими средствами? Конечно, можно сказать так, и трудно не согласиться с этим, хотя вы сами понимаете и ты сам понимаешь, что это только слова, говорила в ответ мне Тина (с которой мы понемногу переходили в тот день на *ты*, как это вообще принято в Германии, тем более среди сверстников, если отношения не деловые, а дружеские; до самого исчезновения его я, кстати, так и не перешел на *ты* с Виктором...) — ты сам понимаешь и вы понимаете, что это только слова и что все слова приблизительны. Вот это я понимаю, еще бы, ска-

Алексей Макушинский

зал я. Неприблизительные слова бывают в стихах и в прозе... Для хорошей фотографии нужна еще история, объявила Тина, откидывая назад свои медно-рыжие волосы, затем одергивая пижонское, с огромными пуговицами, черно-кожаное пальто. Нужно мгновение, единственное из тысячи, и нужно то, что за ним, что под ним, геометрическая структура, искать и видеть которую учат нас законы композиции, и помимо всего этого нужна еще некая история, понимаем мы ее или нет. Ее, Тину, так или примерно так говорила она в тот день, глядя на ветлы и Виктора, отвечавшего на ее взгляд своим влюбленным, но все же явно думавшего о другом и о дзенском, — ее особенно привлекают, пожалуй, снимки, которых мы не понимаем или не вполне понимаем, к которым мы можем придумать истории самые разные, снимки, которые могут быть прочитаны так, а могут и совсем по-другому. Историй на свете множество, и все вообще очень странно.

Вкусить уничтоженья

Виктор, имевший способность не обиженно, но просто не слушать, когда что-то не интересовало его (погружаясь, как я теперь понимаю и тогда уже догадывался, в свой коан, в поиски своего подлинного лица, каким оно было от века, до рождения и встречи родителей...) — Виктор, в своей бордовой шапочке, барбуровой курточке, держал, я помню, руки перед собою, как это делают во время кинхина, и ступал, казалось мне, теми осторожными, осмысленными, сознающими себя шагами, какими, по словам разных учителей, всегда и должен ступать дзен-буддист; шел, короче, отсутствуя, или, попробую сказать точнее, присутствуя здесь, но в другом *здесь*, не в том, в котором мы говорили с Тиной об архитектуре, геометрии, скрытых смыслах и тайных структурах, а в том, где были только мартовские голые ветки деревьев в

университетском парке, заколоченные фонтаны, статуи в деревянных коробках, смутное, бледное небо, — только вот это зримое, настоящее, это, значит, магическое — а с дзенской точки зрения они ведь все такие — мгновение, это вечно длящееся, не иссякающее *сейчас*; мы вышли на ту лужайку, где садился некогда вертолет, где ни вертолета, ни пятен снега на зеленой траве теперь не было, но все те же были холмы за рекой, та же крепость на одном из них, та же серая даль, те же ветлы, полоскавшие ветви в воде, все в том же *здесь*, все в том же *сейчас*. Одинокий велосипедист в марсианском шлеме и водолазном костюме проехал мимо нас, сквозь наши слова и молчанье, на тонюсеньких шинах, сам такой тоненький, что вот, казалось, сейчас истончится он до полного исчезновения в этой серости, этом безлюдье; так оно и случилось. Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай... Виктор опять не узнал цитаты, потребовал объяснений. На этом месте, Алексей Анатольевич, вы всегда цитируете какие-нибудь стихи. Он взмахнул рукою, указывая в сторону (закрытой) столовой; смех стоял в его сумасшедших, осмысленных и счастливых глазах. Я вновь попросил его оставить *Анатольевича* в покое. В окнах столовой сквозь отраженное небо видны были перевернутые стулья, блестящими металлическими ножками кверху стоявшие на столах. Дай вкусить уничтоженья... Он с тех пор нашел и купил в букинистическом магазине те стихи Руми в переводе Фридриха Рюккерта, сообщил Виктор; те самые, с *темным деспотом*, умирающим, когда любовь пробуждается; он даже помнит их наизусть; не только строки, которые я тогда записал для него, но все стихотворение целиком. К немалому моему изумлению, прочитал он, нараспев и слегка на ходу покачиваясь, как будто раздумывая, не превратиться ли в дервиша, эти, как мне по-прежнему кажется, восхитительные стихи, сообщающие читателю,

Алексей Макушинский

что смерть оканчивает страдания жизни, а все-таки жизнь пред смертью трепещет, жизнь видит только темную руку, не видит светлой чаши в этой протянутой к ней руке. Вот так же и сердце трепещет перед любовью — любовь грозит ему гибелью, ведь там, где любовь пробуждается, там умирает я, темный деспот... Виктор, ты читаешь стихи?! — воскликнула Тина с неожиданной насмешкою в голосе. Виктор, под своей бордовой шапочкой, покраснел густым, почти тоже бордовым румянцем. Тина, мне показалось, о своих словах сразу и пожалела. Это была только одна минута; минута, ко всеобщему облегчению, прошла. Дай умереть ему в ночи, и на утренней заре вздохни, наконец, свободно.

Бейсбольная кепка

Мы встретили Гельмута, когда шли к машине, местного полубродягу и полуфилософа Гельмута, который, удивительным образом, не ехал ни на мо-, ни на велосипеде, но шел своим ходом и своими ногами, вполне слоновьими и явно не приученными ходить, шел в тяжелую перевалку, в бейсбольной кепке с бесконечным оранжевым козырьком, с нечесаными серыми космами, вылезавшими из-под кепки, совсем уже толстый, с совсем седою бородкой — бороздкой, — по-прежнему бежавшей от нижней губы к складкам шеи, по всем подбородкам. Время меняет людей, объявил Гельмут, узнавая, похоже, Виктора (а я и не подозревал, что они были знакомы), быстрые, восхищенные взгляды кидая при этом на Тину (вот это женщина! — читалось в его прозрачных, заблестевших и похитревших голубеньких глазках). Как д-дела? — спросил Виктор, улыбаясь ему. Дела, дела... Жизнь, объявил Гельмут, идет своим чередом. Ничего нет нового под солнцем. Солнце светит, и то хорошо. Лишь бы не было войны, все остальное неважно... Не знает ли он о Кристофе что-нибудь? О Кри-

стофе? О каком таком Кристофе? Ах, о Кристофе, бхагаване? Бхагаван исчез, сказал Гельмут. Исчез и неизвестно куда подевался. Растворился в воздухе, объявил Гельмут, вздымая мощные руки, показывая нам тот воздух, в котором бхагаван растворился. Семья его ищет, и отец-автомеханик, и брат-автомеханик, все ищут, объявил Гельмут, не могут найти. А что с него взять? Сумасшедший, Рамакришна, святой человек... До свидания, красавица, сказал Гельмут, снимая с облысевшей, как выяснилось, головы бейсбольную кепку, маша ею в воздухе. Седые космы окружали Гельмуту лысину, как заснеженный лес окружает голую, горную, ненужную альпинистам вершину. Auf Wiedersehen, schöne Frau! Тина ответила ему своим самым всепонимающим, всепрощающим, нежнейшим смешком... Я затем их отвез на вокзал; они ехали, следовательно, по тому же маршруту, по которому сам я ездил когда-то во Франкфурт, в пору моей связи с теперь уже давно и окончательно из моей жизни выпавшей Викой: на местном маленьком поезде до Нюрнберга, оттуда на шипучем экспрессе через Вюрцбург до Франкфурта; но я не знаю, конечно, куда отправились они в тот вечер с вокзала, к Тине, к Виктору или каждый к себе домой.

Тассахара

Им тоже не приходило в голову съехаться и попробовать жить вместе, как в давно погибшем прошлом не съезжалась Тина и с Бертою, но каждый жил очень своей, очень отдельной жизнью. Тина, в те их первые счастливые годы, не очень-то и стремилась понять, чем живет Виктор. А он жил жизнью такой наполненной, какой никогда не жил прежде. Чем тщательнее стирал он пыль с зеркала, тем более убеждался, что ни зеркала нет, ни пыли — одна пустота. А между тем его жизнь была заполнена до краев — работой, дзеном, любо-

Алексей Макушинский

вью, путешествиями и спортом. Он сам не знал, как успевает все это. В те годы он начал ездить по делам своей службы, сперва в Россию, где у его банка были филиалы не только в столицах, но и в городах, для Виктора до сих пор недосыгаемых, известных лишь по названиям и понаслышке: в Новороссийске, Новосибирске, в Уфе и Сургуте; потом в места и страны, для него уже и вовсе мифологические: в Таиланд (откуда не доехал он до Японии), в Малайзию, в Новую Зеландию, в Индию, наконец в Америку, один и другой раз, причем оба раза на Западный берег, в Сан-Диего и в Сан-Франциско, где в первый же свободный вечер отправился он по Бобовым следам, по следам всех книг, им прочитанных, в знаменитый дзен-буддистский центр, основанный *другим* Судзуки, Сюнрю Судзуки, а в первые же свободные выходные — в не менее знаменитый монастырь в Тассахаре, основанный им же; посещение (рассказывал мне Виктор), одновременно очаровавшее его и разочаровавшее. Восхитителен был горный ландшафт, сквозь который долго ехал он на взятой напрокат в Сан-Франциско непривычно американской машине с автоматическим управлением — к тому времени уже Виктор выучился водить и на Тинином «Гольфе» ездил едва ли не чаще, чем сама она ездила; классический горный ландшафт с открывающимися за очередным перевалом долинами, каменистыми кряжами, градациями и оттенками синего, мягкой дымкой и прочими прелестями *sfumato*. В монастыре, куда попал он как раз к началу пятнично-субботне-воскресного курса, посвященного дзену — и поездкам на толстошинных велосипедах по диким дорогам и бездорожью, по сыпучим камням и обвалам, от одной бездны к другой возможности сломать себе шею (в чем Виктор, как человек спортивный, принял, не колеблясь, участие), — в монастыре (как он сам мне рассказывал) все было богаче и больше, чем на нашем

баварском хуторе, но в принципе то же и так же (с тем отличием, что *сидели* здесь, как это принято в школе Сото, не по двадцать пять, а сразу по сорок мучительных минут, и коаны здесь никто не разгадывал). Зато очень много было смешенный дзена со всякими другими вещами: с горно-велосипедными приключениями, испытаниями собственной смелости, с тай-чи и ки-гонгом, с каллиграфией, даже и с фотографией. Дзен в том виде, в каком занимался им Боб и ученики Боба, казался по сравнению со всем этим чем-то скромно-консервативным, прямо из книг шестидесятых-семидесятых годов теперь уже прошлого века, но и чем-то более подлинным, простым и чистым. Это-то и хорошо, думал он, возвращаясь в Сан-Франциско по страшной, извивистой, неасфальтированной дороге, поднимаясь на очередной перевал и спускаясь в очередную долину. Ему нужен был дзен сам по себе и как таковой, а не дзен плюс тай-чи, дзен плюс велосипед, дзен плюс фотография (этот плюс уже был и так в его жизни), дзен плюс игра на флейте сякухати...

Провалы во времени

Разумеется, Виктор не мог брать недельный отпуск каждые два месяца, чтобы делать все сессии под Бобовым руководством, как не могли этого позволить себе ни Ирена, ни гетеобразный Вольфганг, ни гейдеггерообразный Герхард, ни, скажем, Зильке (лишь белокурая Барбара, записавшаяся в университет на историю искусств — такие Барбары всегда записываются на историю искусств, — но пропускавшая подряд все лекции, все семинары, не пропускала ни одного из этих сессингов, превратившись, к грядущему Бобову несчастью, в его самую преданную, самую восторженную адептку); и если не мог взять отпуск, приезжал на последние два дня, вместе со все тем же Вольфгангом (на Вольфганговой

Алексей Макушинский

машине, которую вели они, сменяя друг друга) или вместе с Иреной на поезде; выезжал из Франкфурта в пятницу после работы, к позднему вечеру (путь неблизкий) добирался до незабвенного хутора, *отсиживал* всю субботу, полночи на воскресенье и половину самого воскресенья, возвращался во Франкфурт — и через два месяца все-таки брал отпуск, продельвал весь сессин, в блаженном отрешении от своей жизни, в совершенном, никакими звонками по мобильному телефону из ближайшего лесочка не нарушаемом, конечно, молчании. Зимой хутор занесен бывал снегом, и проехать туда было трудно; иной раз приходилось оставлять машину на соседнем (обычном, крестьянском) хуторе, перед последним оврагом, бежать на хутор буддистский за большими деревянными санками, которые там припасены были для таких случаев, грузить на них чемоданы и сумки. Полозья скрипели по снегу; санки сами скатывались в овраг, так что их приходилось удерживать; из оврага не желали, наоборот, выбираться; веревка, за которую тянул Виктор, была на ощупь такая же, как у его детских санок когда-то; такая же мокрая, скользкая. Еще он не начал *сидеть*, а уже проваливался в прошлое, в какой-то — ему казалось, что навсегда, вот, выходит, не навсегда исчезнувший — вечер, с полыхающим оранжевым небом за черными ветвями деревьев, в Сестрорецке ли, в Сиверской, когда он ташил свои детские санки на горку, чтобы с горки скатиться; вдруг в самом деле проваливался он в снег, весело забиравшийся в его еще городские, еще банковские ботинки. Всякий раз как домой входил он на этот хутор, в эти сени, где городские, даже банковские, ботинки, и сельские сапоги, и тапочки для внутреннего пользования стояли ровным рядом на особой приступочке; в эти комнаты с корягами и камнями на подоконниках, книжных полках; в столовую и проходную, если угодно — гостиную перед ней,

где мы сживали когда-то с Иреной и где по-прежнему перед началом сессии распределялись обязанности участников (в отличие от меня, Виктор, кажется, резку овощей предпочитал мытью лестницы); наконец и главное — в это дзен-до, с его дощатым полом и маленькими квадратными окнами; так входил во все эти комнаты, уже знакомые ему до всех завитков и подробностей, отдельных коряг и отдельных камней, приветствовавших его, как если бы это был не буддистский центр в Нижней Баварии, а вправду та дача в Сиверской, которую его папа и мама снимали на лето, иногда и на зимние каникулы, в его детстве, для его брата и для него, затем для него одного, для его бабушки и дедушки, сначала с ним и Юрой, затем только с ним оставшихся там на каникулах: дача вообще-то чужая, с чужой убогой мебелью и недовольной хозяйкой, любившей навещать на выходные дни, но все же, как теперь выяснялось, отчетливо памятная ему, где-то в нем хранившаяся все эти годы, со своими собственными подробностями, грязновато-голубыми обоями и потрескавшейся замазкой на окнах, зимними сугробами, летней рекой.

Умереть на подушке

Он сам чувствовал (как впоследствии рассказывал мне), что близок к решающему прорыву; всякий раз надеялся, даже уверен был, что прорыв произойдет и случится, уж на этот раз точно; что произойдет, случится с ним сатори, кен-сё, просветление, прозрение, постижение своей собственной сущности и природы вещей, освобождение от своего я, совпадение нирваны и сансары, внезапный выход из мира целей в мир бесцельностей, совмещение этих миров, окончательное осознание их тождества... или как бы еще ни пытались мы назвать эти неназываемые вещи, описать эти неопишуемые события. Но ничего подобного не случилось, и Боб, к которо-

Алексей Макушинский

му поднимался он на докусан по столь памятной мне, за себя саму загибавшейся лестнице, всякий раз, обдав его сиянием глаз, сиянием волос, звонил в свой колокольчик, показывая, что разговор окончен, ответ не принят, коан не решен. Надо жизнь положить, чтобы решить этот проклятый коан, надо умереть на этой чертовой черной подушке, лицом к стене с всеми ее пупырышками, тенями пупырышек, подтеками, следами и волосинками валика, умереть той Великой Смертью, о которой так часто он читал в дзенских книгах, после которой наступает свобода, после которой все возможно, все правильно, и он хотел умереть этой смертью, всегда хотел умереть этой смертью, изо всех сил старался умереть этой смертью, вот-вот, он был уверен, умрет этой смертью, и когда умрет, то сразу же увидит, откроет свое подлинное лицо, каким оно уже было и до его собственного рождения, и даже до рождения родителей, вот сейчас, он был уверен, все это случится. Но ничего не случилось (еще раз), и (скажем) Вольфганг, в тот день исполнявший обязанности *старшего монаха*, повелевавший секундомером и временем, ударял деревянной битой по маленькой медной миске, и все приходило в движение, все вокруг начинали шевелиться, растирать затекшие ступни, он тоже, все вставали, и он тоже вставал, не победив, не погибнув, и если дело происходило летом, цепочка кинхи-на выползала во двор и обходила хутор под удивленные или уже равнодушные, уже привычные взгляды местного тракториста, и он ставил одну ступню на землю, потом другую, сначала пятку и вслед за пяткой носок, каждым шагом ощущая эту землю, эти шаги, не борясь со смехом, как я боролся с ним в далекие времена моих скромных собственных опытов, но продолжая бороться с коаном, и затем поднимая все-таки голову, глядя на первозданные, плотные, праздничные, над дальней рощей громоздящиеся облака.

Три глаза, двадцать два носа

Уже давно понял он, что никакой ответ принят не будет, покуда он не умрет на подушке, что он может все, что угодно, и все, что взбредет ему в голову, рассказывать Бобу про свое истинное лицо, свою изначальную сущность, свое исконное я (может говорить Бобу, что это лицо совпадает со всеми другими лицами, например, с его, Бобовым; что оно совпадает со всеобъемлющей пустотой и природой Будды, с лицом самого Будды; что оно не совпадает ни с чем; что его вообще нет; что на этом лице три глаза, двадцать два носа; что оно отражено во всех зеркалах, всех прудах и всех реках; может закрывать его руками, может разводит руки, может снова сводить их...) — давным-давно уже понял он, что все это, вернее, что ничего из этого ему не поможет и что Боб все так же, обдав его сиянием своих собственных глаз, своего собственного лица, позвонит, отпуская его, не принимая ответ, в колокольчик. Иногда почти ненавидел он Боба за этот колокольчик, это сияние. Ведь не может же Боб не видеть, как трудно ему приходится, как он страдает и мучается, ну подсказал бы что-нибудь, ну как-нибудь, что ли, подтолкнул бы его, как, бывало, в знаменитых дзенских историях, коанах и анекдотах учителя подталкивали, в переносном и в прямом смысле, своих измученных борением с природой Будды и собственной самостью учеников. Но Боб ничего ему не подсказывал, никак не подталкивал; в лучшем случае говорил ему, что все *окау*, все *in Ordnung*, все идет как надо и вовсе Виктору нет причин волноваться. Виктор же понимает, что никакого сатори нет. Сатори есть, но вместе с тем его нет. Сатори есть, но стремиться к нему нельзя. Сатори не есть цель. Оно не где-то там впереди, в конце сессина или в конце десяти сессин, но оно повсюду: и впереди, и позади, и справа, и слева, и в воздухе, и под землей. Твое обыденное

Алексей Макушинский

сознание — это и есть Путь, говорил Нань-цюань Чжао-чжоу; чем сильнее ты будешь стремиться к нему, тем более от него отдались. Поэтому пусть Виктор идет обратно в дзен-до и, ни о чем не заботясь, ни о чем не волнуясь и, главное, ни к чему не стремясь, изо всех сил думает о своем истинном нерожденном лице; рано или поздно (и совершенно все равно, рано ли, поздно ли...) это лицо проявится и проступит, сатори случится. Но пускай он думает не головой, а всем телом и всей своей сущностью — и руками, и ногами, и сердцем, и почками, и печенью, и (говорил Боб, улыбаясь нежнейшей улыбкой, с самых снежных высот...) например, селезенкой.

Перемещенья прямоугольника

Виктор шел и думал, сидя ли на подушке, выбегая ли на двадцать восемь, не двадцать семь и не двадцать девять минут в лес и в поле; и если не мог думать печенью (а как думают печенью?), не мог думать почками (как думают почками?), то думал по-прежнему головою; или он уже и сам не знал, чем он думает; считал и вновь считал свои выдохи; считая их, углубляясь в самадхи, пытался и опять пытался представить себе какое-то изначальное, нерожденное, неотмирное, самое истинное лицо; никакого такого лица представить себе, конечно, не мог. Прошлое оживало в нем; дощатый пол в дзен-до, крашенный темно-бордовой краской, не напоминал ему, но просто был вдруг, в глубине его самадхи, дощатым полом на той чужой даче, которую его папа и мама снимали некогда в Сиверской; и прямоугольник солнца, проникавшего сквозь деревенское узенькое окошко, вытягивался и перемещался по нему точно так же, как в те летние, навсегда — вот, значит, не навсегда — исчезнувшие утра, когда он, Виктор, просыпаясь и садясь на кровати, дожидаясь, чтобы и Юра проснулся, следил за этим (этим же...) светом,

бежавшим по дощатому полу — полу, однажды покрашенному, перед самым их приездом (вот только он не мог вспомнить, в какое лето, еще с Юрой, или уже без Юры), и потом до конца каникул, до возвращения в Ленинград, чудесно, остро, отравно пахнувшему масляной краской... Теперешний пол не пах краской. А он слышал этот запах, чудесный, отравный и острый, закрывая и снова открывая глаза, считая свои медленные выдохи — семь, восемь, девять... Он до сих пор, ему казалось, равнодушен был к прошлому; и уж совсем чуждо было ему то склонение над бездной, столь свойственное мне самому, то стремление воскресить — хотя бы в памяти или, вот, на бумаге — безнадежно исчезнувшее, безвозвратно утраченное, в котором (стремлении, склонении) всегда мне виделось одно из условий писательства, один из его источников. Виктор, по-моему, ничего никогда не писал; даже дневника, подозреваю, не вел; и ничего привлекательного не было для него в безвозвратно исчезнувшем, безнадежно утраченном. Он и теперь не старался вспомнить что бы то ни было; не старался и подавить воспоминания, всплывавшие в нем; просто сидел и ждал; думал (селезенкой, печенью, чем угодно) о своем нерожденном лице; ничего придумать не мог; отчаиваясь, вновь и вновь принимался (головой, а не селезенкой) думать о той истории, к которой, собственно, и восходит этот проклятый вопрос (о нерожденном, еще раз, лице, чтоб ему провалиться, рассыпаться), на который ответа у него не было, ни у кого нет, ни у кого быть не может.

Грубый генерал, подлинное лицо

Он же восходит к истории — к продолжению истории — Шестого патриарха, Хуэй-нэня, любимого нашего, как о нем и о ней (истории, продолжении истории) повествует «Алтар-

Алексей Макушинский

ная сутра» и, пересказывая сутру, двадцать третий (сейчас я сверил) коан в «Мумонкане». Потому что Хуэй-нэнь, Шестой патриарх, бежал, как мы помним, снова на юг, получив от патриарха Пятого, Хунь-женя, благословение, рясу и чашу, причем Пятый патриарх переплыл вместе с ним через какую-то реку, то ли взаимправдашнюю, то ли символическую реку смертей-и-рождений, реку иллюзии, реку неведения, и они во все время переправы спорили, кому из них надлежит грести, так что удивительно, в сущности, как вообще переплыли, не потонули, не перевернули в пылу спора лодчонку; все-таки переправились — и простились, Пятый патриарх поплыл обратно один, а патриарх Шестой, Хуэй-нэнь, устремился дальше на юг, убегая от завистников и недоброжелателей, тут же, едва прослышали они о передаче чаши и рясы, помчавшихся в погоню за ним (из чего мы снова делаем вывод, что дзен и тогда уже, в те мифологические времена, отнюдь не свободен был от земных, тяжелых, темных страстей). Из этих догонятелей и преследователей выделялся один, бывший генерал, пошедший в монахи, именем (в стыдливой русской транскрипции) Хуэй-минь, персонаж, славный своей грубостью, своим суровым и гордым нравом, решительностью, смелостью и прочими генеральскими свойствами. Никто не догнал, а он догнал беглеца. Отдавай, мол, рясу и чашу, самозванец ты этакий. Да пожалуйста, забирай на здоровье, ответил герой наш, кладя перед ним рясу, ставя перед ним чашу. Ни того, ни другого, если верить (а мы ведь хотим верить, и значит, верим) легенде, даже с места сдвинуть не смог грубиян: тяжелой горы (сказано в «Мумонкане») оказалась чаша, тяжелой горы ряса. Ниц, понятное дело, повергся он перед тем, кого только что считал самозванцем; да вовсе не за рясой и чашей он гнался, а за истиною, за дхармой; он молит о получении, о наставлении... Вот тут-то и произносит Хуэй-нэнь

свою роковую фразу, задает свой неразрешимый вопрос, вопрос, который разные переводчики воспроизводят не совсем одинаково (переводы с китайского и японского всегда отличаются друг от друга); например, так: «не думая о добре и зле, можешь ли прямо сказать, каков твой изначальный лик?» Или так: «не думай ни о добре, ни о зле, но покажи свое истинное лицо». Или: «не думай «вот это хорошо», «вот это плохо», но — вот сейчас, вот в эту минуту — что есть твоя подлинная сущность?» Или даже так: «когда ты не думаешь о добре и зле, это и есть твой настоящий облик». Или вот так, наконец: «когда ты гнался за мною, каким было — отвлекаясь от добра и зла — истинное лицо Хуэй-миня?»

ЛОВЦЫ И ОХОТНИКИ

Патриаршьи слова произвели на бывшего генерала действие замечательное. Не только повергся он ниц, но прямо в пот его бросило, слезы из глаз его полились, в общем просветление с ним случилось, сатори произошло. А собственно почему? думал Виктор (или я думаю теперь, что он думал, сидя на своей подушке, следя за перемещениями света); что такого в этих словах? и почему, думал он (я думаю, что он думал), если они такое действие произвели на грубияна, бывшего генерала, то почему они на него, Виктора, ни малейшего действия не производят? Ну слова и слова; сколько раз уже он читал их и слышал. Значит, дело не в словах? А в чем же? Бывший генерал, грубиян, хоть и прошибло его слезами и потом, тоже, кажется, не вполне удовлетворен был словами. Нет ли еще чего-нибудь, еще более тайного, еще более глубокого, что Хуэй-нэнь мог бы открыть ему? А я не открыл тебе ничего тайного, отвечает на это наш любимый Шестой патриарх. Все, что глубже этого, принадлежит тебе одному. Найди свое подлинное лицо, и все тайны пребудут

Алексей Макушинский

с тобою... Опять повергся ниц генерал, грубиян; так долго учился я у Хунь-женя (Пятого патриарха), провозгласил он, а вот все-таки не нашел своего подлинного лица. Искал, искал, а все-таки не нашел. Зато теперь я как человек, который пьет воду и сам знает, холодная она или теплая. Могу ли считать тебя своим учителем? — Наш общий учитель — Хунь-жень, отвечает преемник Хунь-женя; следи за собой и храни верность тому, что познал... После чего расходятся они в разные стороны, преображенный Хуэй-минь, рассказывает сутра, возвращается к другим догонятелям, прочим преследователям, сообщает им, что нет, там, где он только что был, никакого нет Хуэй-нэня, пускай ищут в другой стороне, сам же отправляется обратно к патриарху Пятому, из почтения к Шестому меняет свое имя; чтобы не прозываться, как и тот, Хуэем (и нам ли его не понять?), называет себя отныне Дао-минем (что нам тоже понятно); Хуэй-же (по-прежнему) -нэнь еще пятнадцать долгих лет, если верить (а мы хотим верить) легенде и сутре, прячется от врагов и завистников, причем пристаёт к каким-то бродячим охотникам, при случае, впрочем, если звери пойманы живыми, отпускает их на волю, когда же (и вот это самое здесь, на мой взгляд, прелестное) охотники готовят еду, мяса с ними не ест — он буддист ведь, в конце концов! — но варит овощи в общем котле, на мясном, выходит, бульоне (как варили, по злобным слухам, овощные супы и вегетарианцу Толстому...); Виктор, сидя в дзен-до, глядя в стену, иногда (рассказывал он мне много позже) почти чувствовал резкий вкус, острый запах этого охотничьего бульона, как если бы он и сам сидел там, в китайских горах, в фиолетовых сумерках, и потрескивали сучья в костре под котлом, и еще что-то, таинственно и страшно, трещало и шуршало вокруг, в сгущавшейся темноте, и отсветы пахучего пламени пробегали по грубым лицам ловцов, просветлен-

ному лицу патриарха... Коан в «Мумонкане» на этом еще не заканчивается; легендарный Мумон (по-китайски Ву-мэнь), собирая дзенские истории, легенды и анекдоты в свою чудесную книгу в своем XIII веке, снабдил их, как настоящий китаец и как я писал уже выше, собственными комментариями, собственными стихами. Поистине, говорит он в своем комментарии, доброта Шестого патриарха подобна доброте материнской или (в других переводах) доброте и заботе бабушки, которая берет плод личи, очищает от кожуры, извлекает косточку и кладет тебе в рот; тебе остается только его проглотить. Остается проглотить; но проглотить у Виктора не получалось. Не помогало и стихотворение, тоже вполне замечательное. Этого нельзя ни описать, ни нарисовать (так там сказано); ни к чему все твои восторги, твои славословья. Брось и не пытайся понять это разумом. Изначальное лицо негде скрыть, негде спрятать. Мир провалится, а лицо твое не исчезнет.

Без выбиральщика

Эти строки тоже переводят иногда так, иногда по-другому; как бы ни переводить их, думал Виктор (или я думаю теперь, что он думал), все равно и во всех переводах неизменно они утешительны, неизменно загадочны. А все здесь загадочно, от первой строчки и до последней. Наименее загадочно чудесное, мифологическое. Что грубый генерал не мог сдвинуть с места патриаршью чашу, поднять его рясу, это как раз понятно, и ломать здесь голову не над чем. Виктор тоже, казалось ему, не мог ни чашу сдвинуть, ни рясу поднять; бился, бился, *сидел* и *сидел* — все напрасно. Непонятно все прочее, то, над чем и бился он, ради чего и *сидел*. Не думая о добре, не думая и о зле, покажи мне свое подлинное лицо... Конечно, вспоминал он (как и я теперь вспоминаю),

Алексей Макушинский

те строчки Сэнь-цзяня, Третьего патриарха, дхармического прадедушки Хуэй-нэня, которыми начинается «Синь-дзин-мин» и которые Боб так любил толковать во время своей ежеутренней проповеди. Высший путь не труден, нужно только от выбора отказаться; не говори «вот это хорошо», «вот это плохо», тогда все явится перед тобой в своей *таковости*, своей *этости*, тогда (так не сказано у Сэнь-цзяня, но так думал, додумывал за него Виктор), тогда и твое подлинное лицо, истинное лицо проступит из тех океанских глубин, в которые вновь и вновь, без всякого скафандра, ты погружаешься... Это он понимал, Виктор; он это даже понимал все лучше и лучше (рассказывал он впоследствии); он чувствовал себя все чаще свободным от всяких суждений о жизни, от всякого *хорошо* или *плохо*. Ноги болят — ну вот, значит, ноги болят. Ноги болят, ноги ноют, ноги немеют, спина тоже болит. Спина, значит, тоже болит; вот и все. Утром к душе не протолкнуться — значит, утром к душе не протолкнуться. А уж урчащие животы у его соседок и соседей по дзен-до в полседьмого утра, этот концерт лягушек в подернутом тинной пруду, вызывавший такие приступы тошноты у меня, ни тошноты, вообще никаких чувств не вызывал у него. Урчащие животы, концерт лягушек в пруду. Да, концерт лягушек, урчащие животы. И что? И ничего. Просто это так, это есть. И вот он здесь сидит, сейчас пойдет завтракать... Все это — и боль в ногах, и лягушачьи концерты, и перемещения солнца по дощатому полу — открывалось ему как-то по-новому в своей *таковости*, словно становилось все более *таким*, все более *этим*: как если бы *этость* и *таковость* были некими свойствами вещей и, следовательно, могли возрастать, могли убывать; или так, как если бы не существовало больше того в нем, кто способен был вообще *выбирать*, кому что-то нравилось, что-то не нравилось. Он, Виктор, существовал, созна-

вал себя, сидел в дзен-до на подушке, выходил в перерывах в поле и в лес; но *выбиральщика* не было в нем. Когда же не было *выбиральщика*, тогда не было — вправду не было — и беспокойного недовольства; был чистый и простой высший путь (с прописной или строчной буквы, неважно), простой, чистый и высший, потому что, еще раз, — без выбора. Он ничему не отдавал предпочтения; просто видел мир в его этости; сам в своей этости был таким, каким был; самим собой; повернутым к миру, к стене, к соснам на опушке леса, к распаханному полю за ними — своим подлинным, изначальным, не возникшим, не обреченным погибнуть, до рождения родителей уже существовавшим лицом.

По ту сторону единства и двойственности

Все-таки коан решен не был, ответ не был найден, не был принят, Боб упорно звонил в колокольчик. Виктор пробовал подойти к нему с другой стороны; думал, заходя с другой стороны, что родители здесь, в этой таинственной формуле — твое лицо до рождения родителей, — это не реальные родители, его, Викторovy, мама и папа (которых видел он, глядя в стену, внутренним зрением, причем не такими их видел, какими видел их за сколько-то месяцев до сессина во время очередной поездки в Россию, но скорее такими, какими они были когда-то, в его, Викторовом, им, Виктором, как ему казалось, забытом, теперь возвращавшемся к нему детстве...), но что это скорее родители символические, аллегорические, инь и ян, мужское и женское, и что если так, то вопрос должен звучать иначе, что это на самом деле вопрос о единстве и двойственности, о том, что предшествует всякому делению, всякому распадению надвое, на противоположности, как бы

Алексей Макушинский

мы их ни назвали: мужским и женским, темным и светлым, хорошим и плохим, все равно как, и что поэтому-то, именно поэтому и говорит Хуэй-нэнь своему еще почти тезке, грубому генералу: не думай о добре и зле, покажи мне свое лицо. По ту сторону всех противоположностей, и даже по ту сторону самой противоположности между миром, в котором есть противоположности, и миром, в котором их нет, между абсолютным и относительным аспектом вещей, между нирваной и сансарой — каков ты? кто ты? каково твое истинное лицо? твой изначальный облик?.. Это были рассуждения правильные; он ни на минуту не сомневался в них; но и это не был ответ в дзенском, преображающем жизнь, смысле. Он все же пересказал их Бобу; Боб, как и ожидал он, позвонил в свой докусановый колокольчик, ни улыбкой, ни взглядом не намекнув, согласен он с этими рассуждениями или же не согласен, одобряет их или нет. Зато (как Виктор признавался мне много позже) у него было чувство (как много раньше и у меня оно было), что Боб втайне отвечает ему, когда через день, через пару дней тот выбрал для очередного ежечасного тей-сё очередной отрывок из «Синь-дзин-мин», гласящий, что двойка зависит от единицы, но и к единице не надо привязываться. Боб всегда медлил, прежде чем начать говорить, всегда было такое ощущение у собравшихся, в том числе, по его позднейшим словам, и у Виктора, что Боб может и не начать говорить и что это, в сущности, совершенно неважно. Двойка зависит от единицы — что это значит? Это значит: сначала единство, потом двойственность. Единство предшествует двойственности. Уже Лао-цзы говорит, что дао порождает единицу, единица порождает двойку, двойка порождает тройку, тройка порождает все вещи. Можно сказать, что двойственность это уже все вещи. Все делится надвое, состоит из двух: инь и ян, мужское и женское, правое и ле-

вое, свет и тьма, хорошее и плохое. Таков мир, в котором мы живем, и это само по себе не хорошо и не плохо, это само по себе просто *так* в своей *таковости*. Не надо привязываться к этому миру или к чему бы то ни было в этом мире, не надо говорить: вот это хорошо, за это я держусь, а то другое — плохо, я его отвергаю... Но, говорит Сэнь-цзянь, не надо и к единице привязываться, не надо и за единство держаться. Почему? — спрашивал Боб, обдавая собравшихся сиянием своих глаз. Он долго, наверное (или так я это представляю себе; а мне совсем нетрудно представить себе всю сцену, дзен-до с его окошками, молчащих адептов, молчащего Боба...), долго и даже очень долго, наверное, не отвечал Боб на свой же вопрос, как будто в самом себе нащупывая ответ, хотя уже много раз говорил это во время своих тей-сё. Потому что единство как противоположность двойственности — это единство не-настоящее. Мы хотим выйти из мира противоположностей, а выйти никуда не можем. Наш разум упирается в бездверную дверь, в заставу без ворот, через которую только внезапное озарение проведет нас, только скачок и сатори. Мы уже поделили мир надвое, на двойственность и единство, на нирвану и сансару — и теперь нам эти два куска мира не склеить. Самая страшная противоположность — это как раз и есть противоположность между миром противоположностей и миром, лишенным противоположностей, между относительным и абсолютным аспектом вещей. Все преодолимо, а вот это противоречие непреодолимо. Потому и говорит Чжао-чжоу, как все вы помните, что стоит лишь рот раскрыть — и мир распадается на две части, на безоблачную ясность — с одной и выбор, борьбу и страдание — с другой стороны. Мы хотим единства — а получаем противоположность двойственности. Хотим всеединства — а получаем такое единство, которое двойственность в себя не включает, и, значит, всеединством

Алексей Макушинский

уже никак быть не может. И мы никогда не выйдем из этого тупика, пока не перестанем пытаться выйти из него с помощью нашей мысли, вывести из него нашу мысль. Наша мысль из него не выходит, только мы сами можем из него выйти, вопреки нашей мысли. Мы должны оставить все это, не держаться ни за двойственность, ни за единство, ни за форму, ни за пустоту, забыть все это, отбросить все это. Единство как противоположность двойственности — это всего лишь идея единства, а значит, ложное единство, говорил Боб. Пустота как противоположность форме — это ложная пустота. Такая пустота опасна, говорил Боб. Такая пустота все смешивает, отменяет различия, отрицает ценность отдельного и особенного, отдельного человека, особенной вещи. Не держитесь за эту идею пустоты, она уводит вас в сторону от того, к чему вы стремитесь... Отбросьте ее, отбросьте вообще все идеи. Лучше вспомните, как и он сейчас вспоминает, с удивленной интонацией, обдавая собравшихся сиянием своих глаз и волос, говорил Боб, тот коан, в котором некий человек висит на дереве, вернее на ветке, причем держась за нее не руками — зубами, а внизу стоит другой человек, и этот другой человек спрашивает первого, зачем Бодхидхарма пришел с Запада. И что теперь делать первому человеку? Если он ничего не скажет, то не ответит на вопрос стоящего внизу. А если скажет что-нибудь, то грохнется наземь, скорее всего, разобьется. А вот вы знаете, спрашивал Боб, обводя сияющими глазами присутствующих, Виктора, и Ирену, и Вольфганга, и всех остальных, что делать этому человеку?

Удар камушка о бамбук

Все они прекрасно знали этот коан (в «Мумонкане» пятый по счету), но никто не знал, что человеку делать, а потому никто и не решался ответить. Тишина в дзен-до была,

наверное, очень глубокой, нарушаемой разве что быстрым потрескиванием, поскрипыванием дощатого пола, имевшего привычку иногда потрескивать и поскрипывать просто так, даже если никто не шел по нему, не садился и не вставал с подушки и с мата. Этот вопрос в коане стоит не сам по себе, но задает его, с эпической интонацией рассказывал Боб (делая вид, а может быть, и вправду опасаясь, что кто-нибудь из присутствующих не помнит этой дзенской истории; во всяком случае, не отказывая себе в удовольствии в очередной раз и как будто впервые поведать ее очарованным слушателям) — задает его тоже один из легендарных китайских монахов, Сян-янь, по-японски Кёгэн, ученик Исана Рэйо (учитель которого, Экай, был, кстати, дхармическим братом Нансена, учителя Джао-джоу, поскольку оба они наследовали одному и тому же наставнику, Басо, по-китайски Ма-цзю, тоже славному многими остроумными ответами, каверзными вопросами; вот так все устроено у нас в дзенском мире). Этот Кёгэн отличался, во-первых, ученостью, то есть буддистской ученостью, знанием сутр, а может быть, и конфуцианской ученостью, это сейчас не так важно, во-вторых же — необыкновенно высоким ростом. Рост просветлению не помеха. А вот ученость, похоже, мешала Кёгэну на его дзенском пути; какой вопрос ни задавали ему, на все вопросы у него находились ответы — из книг. А ответы из книг — это ответы ненастоящие, в них толку мало, нужны ответы, идущие прямо от сердца, говорил Боб, и я очень хорошо представляю себе, как говорил он это, никуда не торопясь, не думая о том, что той-сё может скоро закончиться, прислушиваясь к идущим от его собственного сердца ответам. Наконец Исан задал ему вопрос, на который в книгах ответа не было, как его и до сих пор нет, и это всем вам отлично известный вопрос о подлинном лице, исконном лице, говорил Боб, не глядя на Виктора (даже, я уверен, не моргнув в его сторону), о том лице,

Алексей Макушинский

которое уже было у нас — до рождения наших родителей. На этот вопрос у Кёгэна ответа не было, как он ни мучился, как ни искал его — в себе и в сутрах; измучившись — все мы знаем, как это бывает, — пришел к Исану с просьбой сказать ему правильный ответ, но, как вы уже догадались (ясно вижу Бобову улыбку при этих словах), успеха не имел, ответа не получил. Если бы я сейчас сказал тебе правильный ответ, ты бы сам потом стал меня упрекать, объявил ему Исан; ведь это был бы мой ответ, а не твой... Тут окончательно он отчаялся, все бросил, бросил, если не прямо сжег, свои книги, ушел из монастыря, отправился в странствие. И он, Боб, прекрасно его понимает, с вдруг мечтательным выражением в светлых глазах говорил Боб; когда мы не знаем, как быть дальше, мы уходим, мы оставляем привычные рамки жизни, мы отрываемся от своего прошлого и от себя же самих. Мы не всегда можем уйти, мы связаны обязательствами, обстоятельствами, семьей и близкими, любовью и долгом или, как был связан Исан, монастырем и учениками, за которых он чувствовал ответственность, которых не мог бы просто так бросить, как бросил Кёгэн свои книги. Но Кёгэн ничем, никем связан не был; он ушел и в конце концов подался то ли в садовники, то ли, по другим источникам, в кладбищенские сторожа — занятие в средневековом Китае презрительнейшее, — решив, следовательно, совсем уже умалиться и опроститься, смирить свою гордость, победить свою самость. И, конечно, просветление настигло его; настигло его внезапно, в одно, в истории дзена вполне знаменитое мгновение, когда он работал то ли в своем саду, то ли на своем кладбище, подметал, видно, какую-нибудь дорожку — можем представить себе большую метлу у него в руках, — и от метлы отскочивший камушек ударился в ствол бамбука — вот этот звук, этот стук разбудил его. Я бы хотел, чтобы вы тоже

услышали этот звук, говорил Боб, рассказывал впоследствии Виктор. Если вы услышите этот звук, вы все поймете, ваши сомнения останутся в прошлом. Бамбук ведь полый внутри, внутри у бамбука ничего нет, пустота; все же этот удар камушка о бамбук не похож на звук сякухати; это просто короткий, резкий, глухой удар, с мгновенном эхом, внезапным отзвуком пустоты... Во всей вселенной ничего не было, кроме этого короткого, резкого стука. Кёгэн стал смеяться; долго смеялся. Этот смех до сих пор звучит в нас, как звучит и камушек, ударившийся о бамбуковый ствол. Потом он встал на колени, обратился в ту сторону, где был монастырь Исана, поклонился до земли и произнес слова, которые, как это часто бывает с китайскими легендами и текстами, передаются по-разному. То ли он сказал, что доброта учителя превосходит доброту родительскую; то ли что благодаря великой доброте учителя он, Кёгэн, к родителям возвратился; во всяком случае, если бы Исан ответил на его вопрос, с ним не случилось бы того, что случилось. Известно стихотворение, в тот же день написанное Кёгэном; она начинается словами: «Удар камушка по бамбуку — и я забыл все, что знал. Не нужно никаких учений и хитростей. Во всем, что я делаю, проявляется древний Путь...».

Вися на ветке, держась за нее зубами

Вот этот-то Кёгэн, рассказывал дальше Боб (рассказывал мне впоследствии Виктор), и произнес однажды во время той-сё перед своими собственными учениками — а он стал знаменитым и строгим учителем — приведенные выше слова. Это, сказал он, как если бы человек висел на ветке, уцепившись за нее зубами, а внизу стоял другой человек и спра-

Алексей Макушинский

шивал его о смысле прихода Бодхидхармы с Запада... Какая странная мысль; этот первый человек — что же? — руками не может ухватиться за свою ветку? Получается, что не может. Или не хочет. Он, допустим, сам хочет ее отпустить, эту ветку, — а в то же время боится упасть, что и понятно. Поэтому зубами за нее уцепился, зубы не разжимает. Вот висит он, этот гипотетический человек, глаза, небось, таращит от страха, ногами болтает в разверзшейся под ним пустоте. А внизу стоящий ничего лучшего не находит, как спросить его о смысле прихода Бодхидхармы с Запада, что, как вы все прекрасно знаете, есть один из главных дзенских вопросов, вопрос о смысле дзена и, следовательно, как ни банально это звучит, смысле жизни, тот вопрос, на который Джао-джо ответил своим знаменитым *кипарис во дворе*, простым указанием на то, что есть, на *вот это* в его *этости*, его *такостости*, its itness, its suchness. То есть вот картинка, еще раз: один висит в этом комическом, кретиническом положении, а другой его спрашивает о смысле дзена и жизни. И он, оказывается, непременно должен ответить. Собственно — почему он должен ответить? Неужели просто из вежливости, как пишут иногда в комментариях? Ему, Бобу, это представляется слишком наивным, говорил Боб, рассказывал впоследствии Виктор; мы все хорошо знаем, какими невежливыми бывают дзенские учителя; как ловко орудуют при случае палкой... Нет, здесь что-то другое. Ответить на дзенский вопрос о приходе Бодхидхармы с Запада значит сказать, высказать, показать свое понимание дзена, то есть высказать, показать, проявить свою дзенскую природу, природу Будды, свое, если угодно (говорил Боб, не поглядев и украдкой на Виктора, не моргнув, не кивнув в его сторону) — свое подлинное лицо, изначальное лицо, каким оно было до рождения родителей. А разве мы все не находимся в таком же или похожем кре-

тиническом, комическом положении, разве не висим над бездной, болтая ножками в пустоте? Мы висим над бездной, болтая ножками, — а все-таки должны ответить, проявить свою сущность, показать свое подлинное лицо. Не сказать, но сказаться. Мы не говорим, но мы сказываемся во всем, что мы делаем. Во всем, что я делаю, проявляется древний Путь, написал Кёгэн, испытав просветление. Вот о чем идет здесь речь, в этом коане. Да и кто нас спрашивает? Кто задает нам этот главный дзенский вопрос, вопрос о смысле дзена и жизни? Какой-то мимо идущий монах, случайный странник и путник? Не сказать ли, что сама жизнь задает нам этот вопрос, все, что происходит и случается с нами, все, что мы делаем, и даже все, что мы только хотим, только намереваемся сделать... Все это — один огромный, к нам обращенный вопрос, к нам обращенный призыв. И мы должны ответить, но ответить — значит разжать зубы, провалиться в бездну и пустоту. Если мы не разожмем зубы и в пустоту не провалимся, то не сумеем ответить на вопрос и призыв жизни, вот как обстоит дело. А за что мы, собственно, держимся? Мы держимся за наши представления и наши идеи. За нашу идею всеединства, идею пустоты. За нашу мечту о сатори. За наше представление о себе. Наш образ самих себя. Мы должны оставить все это, разжать зубы, отпустить ветку, упасть в пустоту. Почему, еще раз, этот человек в коане — а на самом деле это не какой-то гипотетический человек, но это мы все, любой из нас, и ты, и я, и вот он, — почему он только зубами держится за свою ветку? Может быть, потому что он все уже отбросил, от всего уже отказался, уже разжал руки, уже готов упасть и разбиться? А что-то последнее, что-то самое тайное еще остается? И вот он впился зубами в эту последнюю идею, последний образ, последнее представление о себе и своей жизни. Вы все должны отбросить — даже самое тайное, са-

Алексей Макушинский

мое сокровенное... Упасть, разбиться, расколоться на части. Вы думаете, что не разобьетесь, что пустота вас подхватит, удержит? Не обольщайтесь. Пустота вас не подхватит, пустота ничего ни подхватить, ни удержать не в состоянии, на то она и пустота. Разумеется, вы разобьетесь. Вы разобьетесь, убьетесь и умрете. Умрете той Великой Смертью, о которой все время говорит дзен-буддизм, после которой и наступает просветление, наступает свобода. Впрочем, и как мы все уже поняли, добавил Боб с милостивой улыбкой, никакого просветления нет, просветление уже наступило, свобода всегда и повсюду, жизнь и смерть не отличаются друг от друга, и стремящийся к сатори лишь отдаляет себя от него.

Личи, личико, Гюльчатаяй

Это был замечательный коан, Виктором очень любимый (и выходя на двадцать восемь — не двадцать семь и не двадцать девять — минут в поле и в лес, к высоким кустам, дальним соснам, Виктор, признавался он мне впоследствии, кидал, случалось, какой-нибудь по дороге подобранный камушек в осину или в сосну, не надеясь, конечно, что этот удар, этот звук произведет на него такое же действие, какое стук камушка о бамбук произвел на Кёгэна, но все-таки вслушиваясь в этот звук, всякий раз очень долго в нем отзывавшийся, создававший в нем самое большое пространство тишины и молчания, как создает его одинокий звук сякухати; а в то же время что-то совсем другое, далекое, давнее вспоминалось ему, помимо его воли, в этой тишине и этом молчании — как он кидал в детстве в деревья, втыкал в них, в лесу на даче, любимый, потом пропавший куда-то — куда, собственно? — ножик, замечательный перочинный ножик, десятилезвенный, с ножничками и с пилкой... не в том, совсем не в том было дело, пытался он убедить сам себя, возвращаясь в свое на-

стоящее, к своим нерешенностям). А дело было в его коане, не в коане про человека, висящего, ухватив ее зубами, на ветке, а в том, который некогда ему задал Боб и который он не мог, не мог и не мог решить, в коане про истинное лицо, про Хуэй-нэня и грубого генерала, к которому вновь и вновь он возвращался, прокручивая перед внутренним взором, разыгрывая в лицах, в поисках своего лица, всю историю. Не думая ни о добре, ни о зле, покажи мне — вот сейчас — свое истинное лицо... Эти слова ничего не значат, пока остаются словами. Они были, получается, не словами для Хуэй-миня, но они были для него ударом палкой, они были для него стуком камушка о бамбук. Они попали на подготовленную почву, упали в разрыхленную землю. Он был готов к сатори; сатори случилось. И, наверное, думал Виктор (или я думаю теперь, что он думал), саму погоню его за Шестым патриархом надо понимать — или можно понять — не буквально, но символически. Он был первым, кто настиг патриарха, значит, он дальше всех продвинулся по пути к просветлению. Или, может быть, в нем смешивались, и путались, и перебивали друг друга разные чувства, стремления и помыслы; все погнались за самозванцем — и он погнался, даже опередил всех. Он побежал за толпой, обогнал всю толпу. А кто из нас не бежит иногда за толпой? Ему казалось, он гонится за рясой и чашей; а на самом деле он гнался за просветлением. А почему говорит Мумон в своем комментарии о доброте Хуэй-нэня, подобной доброте матери или бабушки, снимающей кожуру с личи и дающей мякоть ребенку? Его, Викторова, бабушка никаких личи ему не давала. Его бабушка, наверное, и не видела никогда никаких личи, наверное, и не знала, что какие-то личи бывают на свете. А ему, Виктору, всегда особенно нравилось, что здесь упоминается личи: сразу видно, что действие происходит в Китае. И бабушка уж дала бы ему

Алексей Макушинский

личи, думал (наверное) Виктор (чувствуя, что мысли его начинают сбиваться и путаться, что боли в ногах уже он скоро не выдержит), отколупала бы кожуру, и вынула косточку, и дала бы ему эту белую, синеватую, сладкую мякоть, как в детстве давала ему финики, которые всегда у нее были в запасе. Он любил личи; ему казалось, когда он сидел так, глядя в стену, что он чувствует на губах и во рту особенный, чуть водянистый, с железинкой, вкус этих личи, этих *китайских слив*, как некогда их называли, которые теперь так часто покупал он в промежутках между сессинами, в своей обычной франкфуртской жизни, что Тина уже посмеивалась над ним; ни дня без личи, kein Tag ohne Litschi, она говаривала, не подозревая, в чем тут дело, почему это так. Ни дня без личи; пускай без личи ни дня; и как там Тина? ждет ли его? и сессин ведь скоро закончится, а он все не знает, все не видит ответа, чувствует только этот железистый вкус на губах, и в пальцах чувствует саму ягодину, с кожурой, без кожуры. Он как будто сдирал ее пальцами, как будто ее скovyривал, эту розовую или красную, в крошечных и колючих пупырышках, кожуру личи, эту *личную* корочку, обнажая синевато-белую мякоть, открывая личико личи. Личико, личико-то покажи. Открой личико, Гюльчатай. Тут начинал хохотать он — про себя, случалось, и вслух, к негодованию гейдеггерообразного Герхарда, сидевшего неподалеку, к изумлению сидевшей рядом Ирены, — которые, понятно, своих чувств, покуда длился дза-дзен, не показывали, тем пристальнее — с изумлением, негодованием — смотрели на него в перерывах. Личико, личико-то покажи... Он смирял свой хохот, да и не хотелось ему хохотать. Лицо, личико, личность, личина. Что есть личность, что есть личина, что есть лицо? Показать свое истинное лицо, каким оно было до рождения папы и мамы, это значит — что же? — скovyрнуть, как лишнюю, *личную* кожуру, все те ли-

чины, ложные лики, которые это истинное лицо окружают, скрывают? Отказаться от всех идей, и образов, и представлений о себе же самом? Да пожалуйста, ему не жалко, он ни за что не держится. Он никто (он думал; я думаю, что он думал); он не считает себя вообще кем-то. Кто это сейчас говорит со мною? — спрашивал император у Бодхидхармы. Я не знаю, отвечал тот. Вот и он не знает, кто он такой, и ему это неважно, его я, как пишет *другой* Судзуки, Сюнрю Судзуки, это просто дверь, которая открывается при вдохе, закрывается при выдохе, и — что же? И ничего. Ничего не происходило, и он так же сидел, глядя в стену, с такой, временами, болью в скрещенных ногах, какую ни описать, ни выдержать он был уже не в состоянии, и он мог тысячу и десять тысяч раз повторить и сказать себе, что его нет, он никто, он всего лишь дверь, вдох и выдох, он ни за какие образы, ни за какие идеи не держится, — просветление не наступало, преобразование даже не намечалось, и он только тупо повторял про себя: личи, личность, личина, лицо, личико, Гюльчатая — и даже не смеялся при этом, и эти слова проходили в нем, как по сцене, пустой и гулкой, в осязаемой тишине — то ли слова, то ли и вправду какие-то личины, лики, ларвы и маски, в которые он всматривался, которых не узнавал, за которыми никакого лица не видел, не видел даже и личика, — и вновь чувствуя, что мысли его сбились и спутались, воображал себе Тину, толстыми пальцами очищающую личи, кормящую его с руки сочной мякотью, и сквозь боль в ногах замечал восстающее в нем возбуждение — и вдруг вновь заходилась в хохоте, к негодованию Герхарда, изумлению Ирены, поражаясь дистанции между тем мальчиком, которым когда-то был, который, как все советские дети, наизусть помнил «Белое солнце пустыни» со всеми его потрясающими персонажами, Абдулой и Саидом, его бессмертными репликами — за державу

Алексей Макушинский

обидно, — и тем *никем*, которым он сделался, тем франкфуртским банкиром, тем дзен-буддистом, приближавшимся или не приближавшимся к просветлению, теперь умиравшим со смеху в нижнебаварском дзен-до, со сладким, водянисто-железистым вкусом китайской сливы на пересохших губах.

Утонуть, погибнуть, напороться на ножик

А ведь он все-таки был, этот мальчик, все знавший про товарища Сухова, Петруху и Гюльчатай, и тот, кто следил за перемещениями солнца по дощатому полу, дожидаясь, чтобы брат, наконец, проснулся, тот совсем маленький мальчик, Витенька, тоже все-таки был, как был и вот этот взрослый синеголовый дядька, после долгой паузы, обеда и мытья посуды в совместном молчании вновь садившийся на подушку, сперва считавший выдохом, затем опять принимавшийся за свой неразрешимый коан; и хотел он этого или нет, но прошлое к нему возвращалось, хотя он вовсе о нем не думал и вернуть его отнюдь не стремился (да и считал его, как и полагается буддисту, иллюзией); и когда он искал в себе, сквозь боль в ногах, найти уже не надеясь, свое подлинное лицо, до рождения родителей, то эти родители ему виделись, их лица являлись ему, им не званые; и странно (еще раз), он совсем не такими их видел, какими видел их за два или три месяца до очередного сессина во время очередной поездки в Россию, одной из этих поездок, которые приводили его в места для него экзотические, в Новосибирск и Челябинск, но приводили его, случалось, и в Петербург — причем, приезжая туда по делам, всякий раз останавливался он, один или вместе с коллегами, в снятой для него банком гостинице, а домой приходил как в гости, иногда на пару часов, больше времени не

было, и с каждым разом, каждым визитом его папа и мама казались ему еще сильнее постаревшими и все более чужими ему, а эта маленькая, узенькая квартирка в когдатойной новостройке на Полюстровском, куда переехали они после Юриной гибели, где он рос, вырослел и страдал, тоже казалась ему все более чужой и все более узенькой, с таким узеньким коридорчиком, еще сжатым книжными полками, с такой крошечной ванной, что он уже с трудом в ней мог повернуться, и с совсем крошечной его комнатушкой, все решительнее, с годами, превращавшейся в склад и чулан; совсем не эти постаревшие лица ему являлись, помимо его воли, когда сидел он, глядя в стену и готовясь умереть на подушке, но те морские, обветренные лица родителей, какими они являлись ему тогда, в его детстве, после очередной их океанографической экспедиции на Сахалин или в Вентспилс, лица, которые он всякий раз успевал за время их отсутствия чуть-чуть подзабыть, так что ему заново приходилось привыкать к этому папе и этой маме, привыкнуть к которым он не успевал в полной мере, потому что они снова уезжали в Вентспилс, на Сахалин, в очередную океанографическую экспедицию: этот его высокий, всегда задумчивый папа, его маленькая мама, тогда еще не располневшая, не суетливая, как теперь, такая же, как теперь, несчастная, думал он (стараясь не думать, не думать не в силах); и не сами по себе они являлись ему, но вместе с вещами, кустами, деревьями, тоже, казалось ему до сих пор, навсегда им забытыми, вместе с необыкновенным — где он теперь? — десятилезвенным, действительно, ножиком, который, к ужасу взрослых, все на той же даче в Сиверской, сменял он у другого мальчика парой лет его старше, на подаренный ему родителями детский бильярд — дорогую вещь, к которой остался он равнодушен, которую сперва его бабушка, потом его папа и мама, с обветренными лицами возвра-

Алексей Макушинский

тившиеся из очередного путешествия, пробовали получить обратно, договорившись с родителями того другого мальчишки, довольного повернутым дельцем и вовсе не желавшего возвращать драгоценный биллиард, как не желал и Виктор отдавать обратно свой ножик, потому что этот ножик был по тем временам удивительный, якобы французский, или так уверял тот мальчишка, и Виктор ему, по наивности своей, верил, ножик весь такой блестящий, такой стальной, с такими ножничками на отскакивавшей пружинке, с такой многозубренной пилкой, которой, впрочем, ничего было отпилить невозможно, как ни старался он, уходя с этим ножиком в лес, берясь за какие-то сучья, от которых хотелось ему, но никогда не получалось, отпилить хоть кусочек, оставляя свои бесплодные опыты, принимаясь за более успешное кидание ножика в стволы берез или сосен, попадавших ему на пути, бросая его так, этот ножик, как учили его другие мальчишки, то есть за лезвие держа его, затем резко выпуская из ни разу, чем гордился он, не порезанных пальцев, однажды чуть не целый час, в отчаянии, проискав его в высокой траве, куда упал он, должен был упасть он, отскочив от заскорузлого ствола старой березы, и где его не было, не было, не было, в растущем, вместе с травой, отчаянии...; и на другой день ножик в самом деле исчез, и Виктор (тогдашний, десятилетний) так плакал, так убивался, так повсюду искал этот ножик, накануне найденный не в той траве, куда бы полагалось ему упасть, но в десяти шагах, среди виноватых понурых елок, теперь же потерявшийся не в лесу, а просто так, просто в доме, на даче, непостижимым и омерзительным образом, — так искал, так плакал и убивался, как еще никогда, наверное, ничего не искал, ни о чем в жизни не сожалел и не плакал, и не на другой день, а на третий, если не на четвертый, когда он стоял — он так ясно видел теперь всю сцену — посреди

той комнаты, где на даче они обедали и где помимо круглого стола и скрипучих выгнутых стульев был еще большой диван у стены с неподъемно пыльными, разлезавшимися и стремившимися выпустить наружу, на волю свою грязную вату подушками, между которыми, под которыми всегда таилось и пряталось что-нибудь — шашка, пробка, шахматная фигурка, — тремя подушками, прижатыми к спинке, и тремя, умятыми на сиденье, когда, значит, стоял он посреди комнаты, а папа и мама сидели, приминая подушки, вдруг, с хитрой улыбкой, которую не могла сдержать она, с фальшиво невинными глазами и все-таки несчастным лицом, его мама извлекла заветный ножик будто бы из-за подушек, но он-то видел, что из кармана своего летнего, халатообразного и по-дачному затрапезного платья, протянула ему — да вот же он, твой ножик! — где же? где же он был? — да вот же, в пазухе за подушкой! — а он знал, что там не могло быть ножика никакого, он уже двадцать раз там смотрел, за подушками, поднимал их, эти подушки, там всякий сор был за ними, бумажки, катушка ниток и наперсток, потерянный прошлым летом, но никакого ножика не было там, и, значит, его родители — он тут же все понял — просто боялись, что он порежется ножиком, напорется на этот ножик, как якобы напоролся на ножик царевич Димитрий, думал он, продолжая глядеть в свою белую стену, путаясь в воспоминаниях, переискакивая в совсем другую эпоху жизни, в тот какой-то восьмой, что ли, класс, когда в школьном спектакле по «Борису Годунову» он играл Самозванца... неужели это тоже и правда было с ним, с Виктором, дзен-буддистом, сидящим вот сейчас лицом к белой стене?... значит, как тут же сообразил он, они просто украли у него заветный, обожаемый ножик, его папа и мама, боясь, что он поранится и напорется, а вот теперь увидели, как он страдает, как ищет и не прекращает искать, и

Алексей Макушинский

таким глупым способом решили ему ножик вернуть, и неужели они в самом деле рассчитывали его провести, неужели думали, что он поддастся на такой убогий, такой ничтожный обман? ему просто противно стало и горько, он схватил ножик и опять убежал с ним в лес, говоря себе, что это все обман, один огромный, но убогий обман, что его пытаются провести и надуть, что скрывают от него самое главное; а что потом было и даже куда делся потом этот ножик, он вспомнить уже не мог, да вспомнить и не пытался, все это неважно, говорил он себе, и совсем неважно, что опять переместилось солнце по стене и по полу, по этому дощатому полу, вот точно так же, как перемещалось оно по дощатому полу на даче, когда еще с Юрой они там жили, до всякого ножика, по этому пресловутому полу, который не просто покрасили новой краской, в какое-то лето, и этой краской пахло затем во всем доме, но который перестилали однажды, как он мог забыть? ну конечно, его перестилали, этот пол, в то же лето, когда его красили, или в другое какое-то? наверное, в то же, но это точно было, думал он, уже не сопротивляясь воспоминаниям, надеясь или уже почти не надеясь, что они сами пройдут и исчезнут, как облака проходят по небу, как рябь бежит по реке, это было точно на той даче, которую его папа и мама снимали в Сиверской, хотя сами почти не жили там, уезжая в свои океанографические экспедиции: на Сахалин и куда-то еще, в Лиэпаю и в Вентспилс, а он жил на даче с бабушкой и дедушкой, и ему строго-настрого запретили входить в ту комнату, где они спали с Юрой, потому что там просто не было пола в тот день, но прямо за дверью был провал, там были провал и пустота, думал он, не только не сопротивляясь воспоминаниям, но проваливаясь в них, как в самом деле провалился в тот невозвратимый, вот все-таки возвращавшийся к нему летний день, прямо под пол, на твердую бес-

травную землю, то есть он просто забыл, он же был еще маленький, что нельзя входить в их с Юрой комнату, что нет этой комнаты, забыл, открыл дверь, и шагнул не глядя, и провалился, очень больно ударился, и там, внизу, оказалась прибитая земля в белых пятнах и белых подпалинах, в щебенке, в краске и в извести, и его бабушка, никогда никаких личи ему не дававшая, вообще никаких личи в жизни не видевшая, очень его любившая, прибежала первая на его крик, с молодой легкостью прыгнула с порога на землю и, Витеньку вытащив, убедившись, что он не ранен, руки и ноги целы, долго его оттирала от известковой и щебеночной пыли, целовала и гладила, и даже, кажется, наказан он не был, так все были напуганы, и наверное, следующее, да, следующее, наверное, лето его папа и мама решили провести, наконец, с сыновьями, дачу снимать не стали, но поехали на Рижское взморье, в Майори или в Меллужи, он не помнил, как назывался поселок, и лучше бы, думал он, они не делали этого, лучше бы сняли дачу и отправились на Сахалин, всю оставшуюся жизнь они не могли простить себе этого, и до сих пор, наверно, не могут, и где, собственно, они были в тот ветреный день, когда Юра потащил его на реку купаться, он не знает, никогда не спрашивал их и вряд ли станет спрашивать, думал он, глядя в стену и вдруг такими видя их, своих папу и маму, какими они стали теперь, четверть века спустя: постаревшего, хотя все еще задумчиво-красивого папу, суетливо-пухленькую, маленькую и навсегда несчастную маму, — куда-то, значит, пошли они вдвоем в тот страшный день без Юры и Вити, они, может быть, даже в Ригу поехали, ведь Юра был почти уже взрослый, уже можно было оставить с ним малыша, и, наверное, если бы Юра не утонул, он, Виктор, еще часто бы с ним оставался, еще много было бы таких дней в жизни, которые они провели бы вдвоем, и какая была бы это другая жизнь, он

Алексей Макушинский

думал, не сопротивляясь ни воспоминаниям, ни мыслям, втайне надеясь или даже уже не надеясь, что они пройдут в нем, как облака по небу или как рябь по реке, какая другая, наверное лучшая, и как жалко теперь, он думал, этих не проведенных вместе дней, не случившихся дней, из которых тот роковой и ветреный был первым, единственным и последним, и даже если не так это было, он так это видел и чувствовал, глядя в стену, не видя ее, видя серую, хмурую, взвихренную мелкой рябью бескрайнюю реку, несущиеся по небу, ошалевшие облака, и конечно, это он должен был утонуть в тот день, как годом раньше он провалился, и конечно... нет, лучше, наверное... наверное, думал он, и думал об этом почти без горечи, просто думал и все, — наверное, его папа и мама не так бы страшно окаменели, если бы он, а не Юра утонул в тот день, в той реке, и он это знал всегда, в тот страшный день уже понял, хотя ни мама его, ни папа никогда не признались бы в этом ни ему, ни друг другу, а все-таки ему в детстве казалось, что, друг другу в этом не признаваясь, они самим себе, то есть каждый из них себе самому был вынужден в этом признаться, что они это знали, и даже знали, что он это знает, что он догадывается об этом и чувствует это, и потому им было стыдно перед ним, живым и не столь любимым, как мертвый, и потому они окончательно ушли в свою океанографию, думал он, не стараясь не думать, как бы сами погрузились в каких-то им в детстве, скорее всего сочиненных скафандрах на дно океана, в котором они по-своему тоже, выходит, тонули, в котором не видели того, чего не хотели видеть, и могли забыть то, что хотели забыть, и при том, что на самом деле ни его мама, ни его папа ни в какой океан ни в каких скафандрах, похоже, не погружались, но проводили свои исследования на берегу, в лучшем случае на корабле, да и не в этом же, не в этом же дело, и не в этих, вот

опять он их видел, подтеках и пупырышках на стене, не в этих солнечных полосах на полу, а в том дело, что надо провалиться сквозь этот пол, войти в комнату, в которой нет никакого пола, и это он, наверное, придумывает теперь, что в тот день, когда провалился, уже начал чуть-чуть заикаться, и наверняка не придумывает, что начал заикаться в тот день, когда Юра утонул, а он нет, когда он так хотел и не мог ничего никому рассказать, объяснить и потом еще долго, все детство чувствовал себя виноватым, и всегда чувствовал, что от него скрывают что-то самое важное, что-то прячут, как спрятали десятилезвенный ножик, неужели это вправду так было? он не знает, он сидит здесь теперь, и считает свои выдохи, от одного до десяти, и погружается в свой коан, в поиски своего подлинного лица, которое должен показать Бобу, а как показать его? пускай все провалится, пускай провалится он, ступив за дверь своей комнаты, пускай утонет, как Юра, любимый и незабвенный, в лохматый ветренный день, и он хочет, Боже мой, да он всегда, всю жизнь и с самого детства хотел погибнуть, хотел утонуть, как если бы его подлинное лицо таилось там, в речной глубине, или так, может быть, как если бы его подлинным лицом было лицо его брата, не то лицо, которое он знал по фотографиям, а то, которое помнил, или ему казалось, что помнил, которое проступало в нем сквозь забвение, сквозь мутную воду и хмурую рябь, и уже чувствовал он, что погружается в эту воду, что уже в ней готов захлебнуться, и уже тяжело, шумно, мучительно дышал на своей подушке — но каждый раз какая-то сила его выталкивала наверх и наружу, вопреки его воле, и только после того, как Вольфганг или кто бы ни был *старшим монахом* ударял своей деревянной битой в медную миску, замечал он, что его — подлинное? не подлинное? все равно, какое бы ни было, — что лицо его залито слезами, что слезы текут у него

Алексей Макушинский

вдоль крыльев носа, к уголкам рта, и эти до сих пор им самим незамеченные, невозможные и непостыдные слезы были как последние капли той воды, в которую только что он погружался, той речной воды, морской воды, вообще воды, вековой воды; и встававшая рядом с ним со своей подушки, от своего коана Ирена смотрела на него встревоженными глазами и словно спрашивала его, но молча, говорить ведь было нельзя, что случилось и почему он так шумно дышал, так пугающе задышался, и он легким движением руки, перебором пальцев показывал ей, что все в порядке, спасибо, волноваться не стоит, врача вызывать не нужно.

Умереть и ожить

За маленькими, потому что деревенскими и старинными, окнами дзен-до сиял, между тем, какой-нибудь летний, или, наоборот, какой-нибудь зимний, снежный, спокойно-солнечный день, совсем не похожий на тот ветреный, роковой, прибалтийский, когда Юра потащил его на водоворотную реку купаться, и когда он, Виктор, наскоро одевшись, зашнуровав сапоги, натянув идиотскую шапочку на бритую голову, выходил на двор хутора, снег и солнце ослепляли его, и это сияние солнца, сияние снега казалось не просто солнечным, не просто снежным сиянием, но проявлением и отсветом какого-то иного, огромнейшего сияния, в которое и вступал он, закрывая дверь за собою, в котором все предметы, все вещи — изгородь из заостренных и темных палок, беседка перед нею, с пепельницей для немногих курильщиков на перекладине парапета, у самого столбика, размокшие в пепельнице окурки, глубокие, остроугольные следы трактора на утрамбованной трактором же дороге, сухие стебли горчицы под снегом, — в котором все это раскрывалось ему навстречу, приветствовало и принимало его; и хотя он только что умирал на своей

подушке, он чувствовал себя, выходя в сияние мира, насквозь живым, живым до какого-то даже легкого, веселого ужаса; так себя чувствовал, словно с каждым дза-дзеном и с каждым сессином росли и крепили в нем ему самому еще неведомые и непонятные силы, или даже так, может быть, как будто некая власть над этим принимающим его миром была ему дарована, им не заслуженная, власть над этой дорогой, этими сухими стеблями, этими кустиками, на которых еще видны были под снежным покровом красные, сморщенные, трогательные, продолговатые ягоды, неизвестно как называвшиеся, но тоже и все равно восхитительные; и поскольку времени у него было мало, двадцать, скажем, семь минут, не двадцать девять и даже не двадцать восемь, быстро, почти бегом, доходил он по накатанной тракторами дороге до леса и даже насквозь проходил его, до опушки, откуда среди высоких сосен, за соснами открывалось все то же, и меня когда-то так манившее, поле, с почти голубоватым мерцанием, медлившим теперь над снежной его пеленою, и за этим полем, по краю его бескрайности, откровенно синяя полоска другого, дальнего, уже неправдоподобного леса, над которым у него, Виктора, тоже была теперь какая-то таинственная, тайная власть.

Козий сыр, брокколи с миндалем

На другой день сессин заканчивался, и вместе с Бобом и Барбарой, Иреной, гетеподобным Вольфгангом, гейдеггерообразным Герхардом (и все с тем же чувством всесилья, всевластья) на поезде или на чьей-то машине он возвращался во Франкфурт, к жизни и к Тине; с чувством, что он может, в принципе, все; что нет, в принципе, ничего такого, чего бы он, Виктор, не мог. И, кажется, не было у них прекраснейших

Алексей Макушинский

ночей, если судить по Тининым немногим намекам в ту тоже ночь, уже кончавшуюся, когда лежал я на кожаном диване в ее гостиной и студии, то засыпая, то вновь просыпаясь, и Тина, из-за полуприкрытой двери, то просыпаясь, то засыпая, принималась снова и снова рассказывать мне историю своего счастья, своего горя, — не было у них ночей прекраснее, чем эти ночи после сессина, с воскресенья на понедельник, когда Виктор со своей сумкой приезжал к ней прямо с вокзала или Вольфганг на машине подвозил его к ней, и стоя в дверях, она видела его поднимающимся по витой югендстильной лестнице, в полумраке подъезда, и он всякий раз казался ей изменившимся, всякий раз что-то было в нем неожиданное, непонятное ей. Он бежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и обнимал ее так крепко и так решительно, как если бы он был полководец, вернувшийся к своей возлюбленной из победного похода, из дыма и пламени выигранных им сражений, и тут же от нее отстраняясь, с такой вопрошающею любовью смотрел на нее, словно первым делом должен был убедиться, что это она, Тина, не измененная забытой им мирной жизнью, не изменившая ему, покуда он совершал свои подвиги, брал крепости, покорял города. Молчание, в котором неделю он прожил, еще обволакивало его прозрачной, тоже светящейся пеленою; разорвать ее Тина и не пыталась. И потому не пыталась, что это молчание не отделяло их друг от друга — и уж совсем не похоже было на то злобное, в котором замыкаются ссорящиеся, то свинцовое, в котором замыкалась некогда Берта, — а, наоборот, ее саму, Тину, окутывало той же светящейся пеленою, под которой так хорошо ей было и такую она чувствовала близость к нему, что сама боялась спугнуть эту близость, прорвать пелену словами, всегда случайными, почти всегда, в общем, ненужными. И так все было понятно, без всяких случайных

слов. Мы обычно участвуем в драме; она чувствовала себя восхищенной зрительницей балета. Все, что он делал и как он делал то, что делал, в эти первые после сессии часы, походило и вправду на танец; то, что он вообще делал в жизни, все более походило на танец; но никогда не походило так сильно, как в эти первые часы по возвращении с буддистского хутора. Ей казалось, он точно знает, как она себя чувствует, что гнетет ее, что тревожит. Он снова обнимал ее, и она успокаивалась. Все становилось просто, ясно, словно самую главную тяжесть одним своим прикосновением он снимал с ее плеч. Ни о чем не спрашивая, не спрашивая, хочет ли она ужинать, а если хочет, то не предпочитает ли пойти к итальянцам, еще не закрывшимся (она и пошла бы, но уже знала, что он не пойдет — как если бы, улыбаясь думала она про себя, все эти шесть или семь часов он ехал из Нижней Баварии с единственной целью ее, Тину, поскорей покормить, предполагая, очевидно, что она голодала без него здесь во Франкфурте; хотя она вовсе, увы, не голодала здесь без него), тут же, скоро и тщательно вымыв руки, принимался он на ее маленькой кухне готовить что-нибудь очень изысканное, очень вегетарианское, им самим придуманное или вычитанное в особенных, альтернативных (как в Германии принято выражаться), вегетарианско-буддистских поваренных книгах, которые, к Тининому удивлению и умилению, покупал он, или что-нибудь, накануне подсмотренное им у Аники, по-прежнему, как и в мое время, баловавшей буддистов экзотической едою, — какой-нибудь шпинат с кусочками козьего сыра или тыкву с манго, или сладкий картофель с курагой и апельсином, или хоть брокколи с миндалем, оливками и натертой лимонной цедрой — смотря по тому, что он находил на кухне и в холодильнике, а находил он там, как правило, то же, что сам положил туда перед отъездом (Тина заниматься

Алексей Макушинский

хозяйством вообще ненавидела). Ко всякому блюду, включая сладкий картофель, подавался, понятное дело, рис (темный рис с длинными, еще более темными злаками в нем, купленный в биоловке); и стол в гостиной (она же студия, она же, в такой вечер, столовая) накрывался (сам собой накрывался, казалось Тине, как в тех сказках, которые девочкой она любила читать) с совершенной, пускай по-домашнему скромной, отчетливостью и простотой сервировки (без всяких поползновений на японизацию оной; по-японски, сидя на полу на подушке, за комически низеньким столиком и пользуясь палочками, Виктор ел у себя дома; Тине это нравилось, как все и все еще нравилось в Викторе; сама и в своей гостиной она предпочитала, однако, европейский стул, стол, нож и вилку), с продуманной, вовсе не педантической и уж совсем не торжественной, а скорее тоже какой-то танцующей тщательностью, напоминавшей Тине ее отца, который за всякой трапезой и в ее детстве, и до сих пор тихонько, смеясь глазами, подравнивал тарелки, вилки и ложки, салфетки в их серебряных кольцах, разглаживал скатерть и стремился расставить солонку, перечницу, чашу с салатом и зелено-стеклянную, узкогорлую, с самого раннего детства ей памятную вазочку с одним каким-нибудь, смотря по сезону, цветком в том идеальном порядке, который лишь на мгновение возникает на земле, на столе, который все-таки и перед супом, и после оного, и перед десертом отец ее пытался восстановить, представляя перечницу и потихоньку, с непобедимым упорством, разглаживая скатерть перед собою теперь уже старческими, крапчатыми руками, без всякого упрека, даже без намека на упрек неаккуратным домочадцам, жене и дочкам, а просто потому, что иначе неприятно ему было сидеть за столом, невмоготу приняться ни за суп, ни за сыр, подаваемый и поедаемый у них дома, по завезенному Винфридом из прекрасной

Франции обыкновению, между жарким и десертом. В Викторовых танцевальных действиях тоже никакого упрека не чувствовалось; он, казалось Тине, даже и не думал о том, что он делает; и уж во всяком случае, не для того делал все это, чтобы ей, Тине (сидевшей на диване и восхищенно наблюдавшей за ним), что-то показать, доказать; но в зачарованном сне (казалось ей) и вместе с тем в состоянии всевластного бодрствования, которое она даже и представить себе не могла, которому втайне завидовала, перемещался по ее гостиной и кухне, скупыми, всегда верными и словно изнутри освещенными движениями бросая брокколи на послушно польхавшую сковородку, отжимая курагу в кулаке с покрасневшими от воды и природы косточками, пробуя рис и кладя оживавшие у него в широких руках ложки, ножи и вилки черенком на скатерть, острием и черпалом — на крошечные малахитовые подставочки, тонкие палочки, соединявшие между собою четырехконечные, пропеллероподобные раскоряки (дивные штучки, которых в Тинином холостяцком хозяйстве до появления Виктора и в заводе, разумеется, не было, которые она купила не совсем за гроши на блошином рынке, чтобы доставить ему удовольствие, после того как он увидел — оценил и одобрил — такие же на столе у школьной ее приятельницы, владелицы гиппического хутора в шпессартском уединении, куда они с Виктором однажды заехали).

Ритуалы

Вкусно было так, как ни у каких итальянцев, разумеется, не бывало; на десерт же случались обычно личи (с мороженым или без; живые личи или, на худой конец, извлекаемые из банки, купленной в китайской лавочке возле вокзала). Так часто (после сессина всегда) случались теперь эти личи, что Тина в самом деле посмеивалась над ним (kein Tag ohne

Алексей Макушинский

Litschi), по-прежнему не понимая, в чем дело и откуда эта странная страсть (покуда я сам, много позже, не рассказал ей о Хуэй-нэне и Хуэй-мине, неподъемных рясе и чаше, подлинном лице до рождения родителей); Виктор (как, в свою очередь, рассказывала мне Тина) научил ее только смешным словам *litchiko-to pokazhi*, и уже совсем смешным словам *otkroj litchiko, Gulchataj*; немногим словам, которые она выучила по-русски, которые произносила всегда с удовольствием, с всепрощающим, уже знающим, что будет дальше, смешком, сковыривая скорлупку со скользких личин, полагая, однако, что все дело в его, Викторовых, мальчишеских воспоминаниях о трогательном русском триллере, варианте вестерна, в азиатских песках, который они даже попытались однажды посмотреть вместе по Интернету, благо там диалогов немного и можно остановить ленту, чтобы перевести забываемые фразы и фразочки: за державу обидно, вопросы есть, вопросов нет. Вопросов не было, а были эти скользкие, прохладно-белые ягоды, которые они ели сперва за столом; затем (как если бы это был такой ритуал у них; а это и был ритуал) Тина ли предлагала, Виктор ли предлагал *перейти в салон* (домашняя шуточка, которую они уже не помнили, кто из них придумал, или, может быть, никто не придумывал, но кто-то где-то, в каких-то гостях, подслушал), то есть пересесть на диван (все тот же, черный и кожаный, на котором я лежал по-прежнему, после нашей встречи с Миленой и разговора о Дртиколе, слушая из-за полуприкрытой двери Тинин прерывающийся рассказ), от стола в трех-четыре шагах. Ну что, *перейдем в салон?* — спрашивала Тина; и если долго не спрашивала, то видела по его глазам, что он ждет, когда же, наконец, она спросит; и потому нарочно не спрашивала, и по глазам его видела, что он видит, что она не спрашивает нарочно; глаза у обоих смеялись. Что ж, *не перейти ли в салон?..* Тут,

как правило, Виктор (последние ночи спавший совсем мало, предыдущую ночь и вовсе не спавший или спавший пару часов после того одинокого дза-дзена, летом в саду на камне и зимою в дзен-до на подушке, которым принято заканчивать сессии и которым сам я, в мое время, так малодушно манкировал, Виктор не манкировал никогда) — тут, впервые и наконец, он позволял себе расслабиться, откинуться на спинку дивана в позе отнюдь не дзенской, посидеть минуту-другую с закрытыми глазами, с отдыхающим и счастливым лицом. Тина в такие минуты смотрела на него, на его беззащитную, голубую и голую голову, которую уже так хотелось ей погладить, прижать к громадной груди, на его смешные, чуть-чуть (совсем чуть-чуть, но все-таки) оттопыренные уши, одинокие и потерянные по краям голубой головы; а вместе с тем, подчиняясь, и с наслаждением подчиняясь требованиям ритуала, очищала очередную личину от очередной кожуры и вынимала черную скользкую косточку, так что когда он открывал глаза, уже держала в пальцах и наготове прохладно-липкую мякоть, уже предвкушая, как он будет сейчас обсасывать ее пальцы, лизать ее руки, чувствуя первое быстрое, очень сладкое содрогание между расставленных ног, до которых он уже, в свою очередь, дотрагивался рукою, задирая ей платье, для того и надевавшееся ею вместо привычных джинсов, чтобы он мог задрать его, поднимаясь от икр к коленкам; в последний раз успевая подумать о материнской доброте Хуэй-нэня, проглотивши личную мякоть, облиставши Тинины пальцы и постранствовав языком, как и она любила это делать, по линиям ее ладони, их общей судьбы, продолжал он это путешествие, это странствие — от икр, в самом деле, к коленкам, круглым и обожаемым, — затем все медленнее и выше, от прохладной гладкости стёгон к осязуемому даже сквозь трусики, тем более когда под трусики подлезал он, шершавому жару лона.

Алексей Макушинский

Банковский взлет

На другой день ему нужно было идти в банк, а через два дня лететь в очередной Сингапур. Ему, в общем, нравилась эта жизнь, или, скажем, нравилось многое в жизни: нравилось путешествовать по всему миру, нравилось иметь деньги, иметь возможность не думать о деньгах, занимаясь деньгами, не считать расходы, не бояться неожиданных трат. Он по-прежнему смотрел на свою банковскую службу как на неизбежное зло, по-прежнему мечтал все бросить, уехать в Японию — теперь не мог бросить не только потому, что надеялся выслужить себе немецкое гражданство, но и потому, что не хотел расставаться с Тиной, боялся ее потерять; вынужден был, тем не менее, как совершенно честный с самим собой человек, признаться себе, что да, удивительным для него самого образом и вопреки ему самому, эта франкфуртская банковская жизнь доставляла ему удовольствие. Он говорил себе, что дело не в удовольствии, как и не в отсутствии оно, что ведь он дзен-буддист — дзен-буддист он, в конце концов, или нет? — а значит, для него жизнь просто есть в своей данности, своей *этости*, просто такова, какова она есть в своей *таковости*, что он отказывается от выбора, что не судит жизнь, не думает: это хорошо, это плохо; а все-таки оставался в нем, никуда не девался, и тот Виктор, который мечтал об избавлении от банковской поденщины, о бегстве в Японию или еще куда-нибудь, куда глаза глядят, неважно куда, и тот, кому втайне — втайне от всех прочих Викторов — нравилась эта жизнь, со всем, что наполняло ее, дзеном, любовью, деньгами и путешествиями, даже банковской службой, банковской карьерой, о которой он вовсе и не думал, поступая на службу, которую делал теперь, или которая сама себя делала, сама собой делалась головокру-

жительно быстро, — и, разумеется, не только благодаря его способностям к математике, иностранным языкам и языкам компьютерным, совсем иностранным, но в первую очередь, как он впоследствии уверял меня, благодаря его способности к сосредоточению, искусству концентрации внимания и принятия быстрых, как будто даже и непродуманных, внезапных, интуитивных, почти всегда оказывавшихся верными решений — всему тому, следовательно, что развилось и все сильнее развивалось в нем по мере его продвижения по дзенскому пути, как побочный эффект его экзерциций, о котором, вступая на этот путь, он вовсе, еще раз, не думал и не заботился. Он не думал, зато другие подумали. Ему и в голову не приходило записаться на какой-нибудь курс медитации для менеджеров, релаксации для бизнесменов, аутотренинга для тревожных банкиров и просто йоги для всех остальных гешефтсмакеров, один из тех курсов, что в Германии предлагались и предлагаются если не на каждом третьем, то уж точно на каждом восьмом углу, как не приходило ему в голову купить популярнейшую в те годы книжку, так и называвшуюся — «Дзен для менеджеров», которую много раз, с отвращением, по-английски и по-немецки, видел он в книжных лавках, даже, случалось, на аэродромах по всему свету, которую ни разу до сих пор не брал в руки. Все это казалось ему пошлостью, профанацией и подлогом. Забудь о своих заботах, стань счастливым в три дня. Как же! очень нужен ему этот бизнес-дзен, банко-дзен (заработай-себе-миллион-дзен, обмани-всех-конкурентов-дзен, открой-свою-фирму-дзен, умри-на-Лазурном-берегу-на-собственной-вилле-дзен...), когда он знает дзен подлинный: преобразование жизни, преодоление мира, овладение собой и судьбой.

Алексей Макушинский

Абсолютная безысходность, заоблачный генерал

Однако и его дзен (он не мог отрицать этого, как человек, совершенно честный с собою) тоже, помимо его собственно-го желания и воли, оказывался дзеном для менеджеров (бизнес-дзеном и карабкайся-по-карьерной-лестнице-дзеном...); и не только потому, что развились в нем столь полезные для карьеры способности, но и потому, что те люди, от которых эта карьера зависела, очень скоро его разгадали, важные и самые важные люди признали в нем своего. Для одних его синий череп был знаком безумия, с которым приходилось мириться, через силу или с усмешкой — что возьмешь, мол, с этого русского; для других — патентом на благородство, пропуском в тайный буддистско-банковский клуб с неписанным уставом и феерическими возможностями... Какой-то самый-самый главный начальник в их банке, персонаж для простых сотрудников откровенно мифологический, деливший свое время между завтраком с министром финансов Швеции, обедом с президентом Эквадора и ужином с шейхом Бахрейна, услышав от старика Вольфганга, гетеобразного адвоката, всех и вся знавшего во франкфуртском деловом мире, что есть у него, начальника, один подчиненный, непреклонный дзенский адепт и вообще человек примечательный, в один прекрасный понедельник, к остолбенению Викторовых коллег, пригласил Виктора к себе, на самый верх небоскреба, в громадный, прозрачный, пол-этажа занимавший кабинет, в соседстве уже прямо с облаками, ангелами и Господом Богом, кабинет, где на единственной нестеклянной стене обнаружился, в отдалении от других, тоже, наверное, драгоценных гравюр и рисунков, большой дзенский круг, с классическими брызгами туши и размашистой каллиграфией в

правом нижнем углу, подаренный мифологическому банкиру (по-генеральски доброжелательному, все-таки жесткоглазому, жесткоусому, очень спокойному, очень уверенному в себе господину) не кем-нибудь, но, как с нескрываемым удовольствием сообщил он Виктору, самим Шиничи Хисаматсу, великим мудрецом и философом. Давным-давно это было, когда он, мифологический банкир, был так же молод, как теперь Виктор. Еще несколько раз за время их встречи заговаривал он о молодости, всякий раз, с генеральской улыбкой, указывая раскрытой ладонью на Виктора, как будто объединяя какого-то себя тогдашнего, в семидесятые годы делавшего сессин в знаменитом и старинном монастыре Дайтоку-дзи с его не менее знаменитым садом камней, беседовавшего с Кэйдзи Ниситани, одним из основателей Киотской школы философии, встречавшегося, и много раз встречавшегося, и в Японии, и в Германии, с патером Эномийя-Лассалем, на сих правдивых страницах уже упомянутым, — тогдашнего себя объединяя, если не отождествляя, этим, отчасти ироническим, жестом открытой ладони — с теперешним Виктором, очень прямо сидевшим в неудобном на его вкус кожаном кресле, в свою очередь понимавшим, что это все ему не просто так рассказывается, что все это, наверно, экзамен. Обитатель облаков знал и Боба, как выяснилось, бывал у него в Кронберге, даже сидел вместе с ним и Вольфгангом, познакомившим их друг с другом, в крошечном домашнем дзен-до, где редко приходилось бывать Бобовым ученикам, самому Виктору всего пару раз (у аристократов, даже финансовых, всегда свои привилегии); и с Бобовым удивительным учителем, Китагавой-роси, рассказывал он, покуда пожилая суровая секретарша вносила в необозримый кабинет поднос с японским глиняным чайником и двумя валками, тоже глиняными кружками без ручек, как будто слепленными тяп-ляп на уроках труда ша-

Алексей Макушинский

ловливыми школьниками — из тех детских японских кружек, из которых только миллионер может позволить себе пить чай на работе, — с Китагавой-роси не просто он встречался в Киото, рассказывал генерал банковского дела, наливая зеленый чай в валкие кружки, но даже летал к нему — на чем летал, начальник не объяснил — в ту горную дальнюю обитель, куда Китагава имеет обыкновение удаляться с немногими учениками и где ему, генералу, посчастливилось проделать маленький трехдневный сессин в такой тишине, какой за всю свою, теперь уже довольно долгую жизнь он, наверное, ни разу не слышал; Виктор же все поглядывал на дзенский круг, слишком прекрасный, чтобы можно было на него не поглядывать; разобрать иероглифы, впрочем, не удавалось ему. Это значит абсолютная безвыходность, absolute Ausweglosigkeit, объявил главный банкир, угадывая его невысказанный вопрос. Одно из любимых выражений Хисаматсу, пояснил он. Надо войти в абсолютную безвыходность (или, может быть, безысходность? банкир не думал, конечно, да и Виктор не думал, это я теперь думаю о правильном переводе на русский...), войти в абсолютную безысходность, сказал ему, главному банкиру, великий учитель во время их последней встречи в Киото, в середине семидесятых. Он тогда не понял этого, он этого и теперь, быть может, не понимает. Принять безвыходность? — переспросил он. Нет, не принять! — возразил Хисаматсу, даже, показалось ему, слегка разозлившись. Ничего не надо принимать. Надо просто войти в нее, вот и все. Тут-то он и нарисовал для него, банкира, этот круг одним мощным движением кисти, написал эти иероглифы, тоже одним, незабываемо прекрасным движением, и больше, увы, ему, банкиру, не довелось с ним встречаться... Казалось, он только для того и позвал Виктора, чтобы поведать ему о сво-

их буддистских знакомствах, хотя Виктор понимал, что это не так, что это экзамен, при том, что ни слова, вообще ни единого, о его, Викторовой, работе генерал банковского дела не проронил, не снизошел до этого, как будто и не работал никто в его банке, спросил только Виктора, как давно он занимается дзеном, часто ли делает сессины, не бывал ли в Японии, не собирается ли туда ехать, не учит ли японский язык. Виктор ехать в Японию собирался всю жизнь и японский начинал учить еще в Петербурге, теперь начал снова. Банкир величественно наклонил в ответ седую жесткоусую голову... Недели через две после этого Виктор получил приглашение на ужин в японском консульстве, в небоскребе возле франкфуртской ярмарки, — ужин, который он представлял себе то ли как большое торжественное застолье, то ли как официальный прием с бессмысленными коктейлями и который оказался встречей с двумя японскими банковскими генералами, одним очень старым, другим почтительно молодым, совершенно седым, в присутствии другого немецкого небожителя, рангом чуть пониже того, первого, с такими же усами, с глазами чуть-чуть помягче, — встречей, во время которой японские генералы сперва только улыбались, кланялись и опять улыбались, затем на ломано-витиеватом английском выразили свою радость по поводу Викторových дзенских занятий, Викторова усердия и бесстрашия в продвижении по пути в безысходность, в достижении бесцельной цели, в прохождении сквозь бездверную дверь, затем сообщили, что, когда Виктор будет в Токио — а в том, что он будет в Токио, у них, похоже, сомнений не было, — они познакомят его с таким-то и таким-то из нынешних великих учителей, с самим в ту пору уже сто-и-сколько-то-летним Экихо Миодзакки, главой всей школы Сото, ради какого-то знакомства младший

Алексей Макушинский

из двух генералов, наверное, еще не совсем генерал, продолжавший улыбаться и кланяться, трясая своими седыми, для японского бизнесмена странно длинными волосами, с удовольствием съездит вместе с Виктором в знаменитый монастырь Эйхей-дзи, основанный самим Догеном, если же Виктор захочет *сидеть* в Токио с той группой мирян, с которой старший из генералов, несомненно генерал и даже, похоже, генералиссимус, *сидит* уже пятьдесят лет, то они будут рады там приветствовать и видеть его... Это опять был экзамен, который, казалось ему, он выдержал; вновь ни единого слова не было сказано о банковских делах и заботах, словно и не было у них у всех никаких банковских дел, никаких забот, кроме стирания пыли со своего зеркала, осознания отсутствия зеркала, отсутствия пыли.

Lifestyle

Конечно, его коллеги, не генералы, но коллеги обыкновенные, с того же этажа, что и он, — если не говорили о футболе, о Бастиане Швейнштейгере и Лукасе Подольском, об очередном чемпионате очередной Европы, о том, что Юрген Клинсман большой молодец, да и Йоги Лёв парень не промах, — то как раз говорили, в бесконечных вязких подробностях, о делах, об акциях, фондах, рендитах, кредитах; продолжали говорить о них, когда шли обедать в банковскую, не слишком вкусную столовую, или — если хотелось им выйти на улицу, хоть на полчаса отвлечься от дивидендов и прочих рендитов, от которых, впрочем, отвлечься мыслями они все равно не могли, — в неподалеку от банка расположенное пажонское заведение, все пронизанное тем, что по таинственным для нас, простых смертных, причинам модные журналы и люди называют *стилем жизни*, Lifestyle (хотя стиль жизни

бывает разный: у бродяги под франкфуртским мостом и у клошара на острове Святого Людовика тоже есть свой стиль жизни) — пижонское заведение, где продавалась (и продается) всевозможная всячина, на все банкирские вкусы, для всех миллионерских потребностей: от особенных блокнотиков с кожаными застежками, золотоперых авторучек и золотых карандашиков, в компьютерную эпоху превратившихся в предметы роскоши и знаки богатства, до, даже, велосипедов, тоже особенных, таких серебряных и с такими кричащими, оранжевыми, толстыми шинами, каких Виктор больше нигде, ни в каком спортивном и велосипедном магазине не видывал, от предметов фатовского обихода, богатейского быта, прекрасных перечниц и сумасшедших солонок, пузатых баночек с дижонской горчицей и провансальским паштетом до рубашек за триста, запонок за три тысячи и костюмов за пять тысяч евро, — лавку, где, кроме того, выпекался (и выпекается) вкуснейший (следует признать) хлеб, вкуснейшие круассаны и булочки, с изюмом или без него, Тинин всегдашний соблазн, да и моя, не скрою, погибель, заодно предлагались покупателям, необязательно банкирам — пижонам просто, давно приметившим это место, сыр, самый французский, самый швейцарский, а с ним и ветчина, самая пармская, и где, на высоких деревянных табуретах за высокими деревянными столами сидючи, вечно возбужденные, вечно под током, предвкушающие профит банкиры, как, впрочем, и не банкиры, просто пижоны, всегда с удовольствием, уплетали (до сих пор уплетают; я сам, признать, люблю бывать там...) лотарингский пирог, или эльзасскую пиццу (вымазанную сметаной, выложенную луком с кусочками поджаренного шпека...), продолжая говорить и думать, если они банкиры, об акциях, фондах, других дивидендах. Виктор разбирался во всем этом не хуже любого из них, лучше многих. Начальный

Алексей Макушинский

капитал его был ничтожен, но везло ему как-то даже неправдоподобно, как если бы таинственные силы, заботившиеся о его карьере, решили позаботиться и о благосостоянии его. Орудием этих сил в очередной раз оказался валяжный Вольфганг, однажды и затем снова, после вечернего дза-дзена, в придаточном предложении, поблескивая ботинками и глазами, давший ему пару ценнейших советов, сделавший пару намеков, в том примерно смысле, что он, Вольфганг, ни в чем не уверен, но как-то так ему кажется, да и знающие люди говорят, что акции SAP завтра подскочат, акции BASE, наоборот, упадут, а что вообще лучше пока оставаться *быком*, а на следующей неделе переметнуться к *медведям*... Это были шальные деньги, веселые деньги, приятное прибавление к его тоже растущему жалованью. Он не ценил денег, казалось ему; не боялся их потерять (и в кризисе 2008 года почти все потерял; потом опять заработал...); как совершенно честный с самим собой человек, не мог себе не признаться, что иметь и тратить деньги — чистое наслаждение, и то, что он может послать родителям больше, чем они ожидают, подарить Тине не очень нужный ей жемчуг или очень нужный ей, безумно дорогой объектив, купить себе что-то, в этой или другой модной лавке — костюм ли, велосипед ли, — не думая о цене, просто войти, посмотреть, спокойно сказать: беру, — что это здорово, даже как-то, говоря по-советски, *круто*. Вот этот велосипед, легчайший, из алюминия, с двадцатью передачами на раме и на руле, за пять тысяч евро, мне нравится; я покупаю его. Велосипед нравился, и жизнь ему нравилась тоже. А ведь жизнь никогда ему прежде не нравилась. Он тосковал, и мучился, и искал какого-то одного, всеобъемлющего решения. Теперь, когда решение нашлось (в чем он не сомневался) — теперь вдруг оказывалось, что и все

остальное, то, чем живет большинство людей, не дзен-буддистов, не искателей истины, и на что он, Виктор, до сих пор смотрел как на препятствие и помеху, — что это не только помеха и не только препятствие, и даже совсем не препятствие, совсем не помеха, но что очень многое в жизни может быть и приятным, и радостным, и причем, вот что важно, приятным, радостным само по себе, без всякой связи с его великими задачами, его аскетическим подвигом. Он не был готов к этому и потому продолжал удивляться. Удивляясь, чувствовал себя молодым, здоровым, уверенным в себе, счастливым в любви и в делах. Расплывчатость и зыбкость юности кончилась, легкие, редкие приступы свербящей тоски еще, пожалуй, бывали — но скорее как воспоминание, напоминание о прошлом, как дальние, еще грозовые, но уже не страшные отзвуки той тоски, которая в юности столь свойственна бывала ему; вдруг, спохватываясь, говорил он себе, что — вот, ведь это же он, Виктор, несчастный заика, еще пару лет назад не знавший, как жить и как выжить, — что вот он идет обедать в Lifestyle-лавочку, мимо Старой оперы, в летний франкфуртский день, в сверкании автомобильных стекол, небоскрежных зеркал, один или вместе с наэлектризованными коллегами по работе (Мartiном из Штутгарта, Полом из Колорадо-Спрингс); и как совершенно честный с самим собой человек, вынужден был признать, что да, каким-то неожиданным, до сих пор ему самому неизвестным краем души он получает удовольствие от всего этого — от этого дня, этого солнца и облаков, от брызг, плеска и сверкания фонтана на площади перед Оперой, даже от этого, не прерываемого ничем (ни облаками, ни солнцем, ни обнаженными руками мимо идущих девушек...) разговора об акциях, рендитах, кредитах, в которых уж точно разбирается он не

Алексей Макушинский

хуже, чем Мартин из Штутгарта, много лучше, чем Пол из Колорадо-Спрингс, — вообще от того, что вот он, такой молодой и спортивный, красивый и необычный, в так ладно сидящем на нем костюме, в дорогуших часах, которые он, в конце концов не выдержав, купил в этой самой пижонской Lifestyle-лавочке, часах с таким множеством стрелок и стрелочек, с такими чудными маленькими кружочками внутри большого циферблата, что невозможно было не соблазниться ими, не потратить на них шальные, выигранные на бирже деньги, — что вот он идет здесь, входит в дверь, которую придерживает для него ливрейный негр, иногда стоящий у входа, или, если негр почему-либо, по нужде или просто так отлучился, которую он сам придерживает, пропуская выходящую из магазина даму с пакетами и покупками, сразу, на то мгновение, в которое соприкоснулись их взгляды, им очарованную, пропустивши даму, улыбается знакомой кассирше, блондинке с вытянутым лицом, затем, сделав заказ у тоже ему знакомого вислоусо-веселого хорвата-официанта, поедает, на высоком табурете сидючи, свой лотарингский пирог с огромной порцией свежего, необыкновенно вкусного, хорошим бальзамическим уксусом из Модены политого салата, видит вихрастые, неподвижно-скульптурные облака в окне, в нежном небе, видит Старую оперу, видит идущих мимо огромных окон лавки индусов, индусских мужчин в разноцветных тюрбанах, выступающих впереди, индусских женщин в разноцветных же сари, покорно следующих за своими мужчинами. Он не следовал столь покорно за Полом из Колорадо-Спрингс, за Мартином из Штутгарта, всегда торопившимися обратно в банк, одержимыми желанием доказать свою незаменимость всем, кто посмеет в ней усомниться, но, отвоевывая себе кусочки свободы, если день был летний, погода хорошая, еще медлил чуть-чуть возле Оперы, возле фонтана, где какие-ни-

будь резвящиеся девицы пытались, повизгивая, помочить ноги, достойные или, уж как повезет, недостойные внимания ротозея, в желтой, мутной, не очень-то и холодной воде, заходил затем на ту улицу, где все всегда едят что-нибудь за столами и столиками, отчего и носит она поэтическое название Frevgasse (Frevgass по-гессенски), *переулок жратвы и обжорства*, переведем, что ли, так; у знакомого итальянца, очередного Лоренцо, покупал мороженое, два шарика, фисташковый, например, и ванильный, в вафельном, понемногу намокавшем раструбе, вновь проходил мимо Оперы, фонтана, других, но тоже визжащих, девиц, сворачивал, уже по дороге в банк, в ту аллею, по которой когда-то мы с ним шли из дзен-до (одну из парковых полос, повторяющих рисунок снежных городских стен), и, сидя на лавочке неподалеку, например, от большеголовой голой серо-каменной женщины, которая и тогда лежала, и теперь лежит у края этой аллеи, на боку, на газоне и постаменте, согнувши ноги в коленках, так что образуется между ляжками бесстыдный зазор, или, еще ближе к банку, на лавочке возле смешнейшей, на возвышении воздвигнутой, скульптурной группы, являвшей и являющей миру (городу, туристам, бродягам и наркоманам...) голого гиганта из позеленевшей меди, с отчетливым penisом и лицом сталевара, который, обхвативши торс мощными руками, порывается сойти со своего места, двинуться навстречу небоскрегам и людям, — и, на шаг позади него, двух гигантских гологрудых дев, видимо муз, с прикрытым подобающими складками срамом, которые тоже стремятся уйти куда-нибудь прочь и подальше отсюда (если же подняться вверх по холмику, усыпанному бумажками, бинтиками, бывает, что и шприцами, жестяными баночками от колы, пакетиками от биг-маков, чизбургеров и прочей продукции фирмы «Макдоналдс», можно прочитать на постаменте посвящение «гению

Алексей Макушинский

Бетховена», dem Genius Beethovens, заодно и вообразить себе, что бы сделалось с Людвиг-ваном, доведись ему воочию узреть сего гремучего гения...), — возле одной из этих (в кроваво-коричневую эпоху созданных, как я недавно узнал) скульптур, на более или менее грязной лавочке сидючи, доедал он свое мороженое, таявшее на солнце, стекавшее по вафельному размокавшему раструбу на пальцы, съедал и раструб (самое вкусное, что есть в мороженом, как все мы знаем с детства), глядя на проходящих по аллее людей, детей (тоже с мороженым), голоруких и голоногих девушек (еще девушек и еще), глядя на туристов, бродяг, банкиров, быть может, и гениев, на отражения изменившихся, но по-прежнему и в свою очередь скульптурных облаков в зеркалах небоскребов.

Просто так

Есть чудная дзенская история, которую вычитал я — не помню в какой книжке — в эпоху моих собственных дзенских опытов; история про человека, стоящего на вершине холма — и трех других, стоящих внизу и спорящих, что он там делает. Один полагает, что этот человек на вершине холма — пастух и что он стоит там, высматривая пропавшую из стада овцу; другой говорит, что нет, вряд ли, скорее всего, он ждет друга; третий думает, что он наслаждается ветром и вечерней прохладой. Они спорят, спорят, договориться не могут, наконец, карабкаются наверх, чтобы спросить самого человека. Вы здесь стоите, потому что овцу высматриваете? — Нет, я не пастух. Потому что друга ждете? — Нет, я не жду никакого друга. Потому что наслаждаетесь ветром и вечерней прохладой? — Да нет, я и вечерней прохладой не очень-то наслаждаюсь. — Тогда зачем же вы здесь стоите? — А ни за чем. Я *просто так* здесь стою...

Аргентинское танго, колумбийская кумбия

Виктору (если он знал ее) нравилась (я уверен) эта история; он только спрашивал себя, удивляясь себе, было ли его *просто так* — дзенским *просто так*, или это было просто так — *просто так*. Он часто и все чаще удивлялся себе теперь. Он полюбил латиноамериканскую музыку, пристрастие к которой, вместе с сумкой компактных дисков, Тина привезла когда-то из Мексики. Тина слушала эти диски, другие диски, когда снимала кого-нибудь, что-нибудь (у себя дома и в студии возле Восточного порта), когда возилась с отснятым материалом на компьютере или, по старинке, без оного (что составляло одно из любимейших занятий ее); хорошо в этой музыке разбиралась, то есть слушала не только всем известным певцов и певиц (Buena Vista Social, понятное дело, Club и Сезарию, конечно же, Эвору), но и таких, о которых, как понял Виктор, знакомясь с материей, почти никто в Европе не слыхивал, кроме уж совсем завязтых знатоков и любителей, оригиналов и чудаков... Виктору не все, разумеется, нравилось, но многое нравилось очень сильно, к собственному его удивлению. А что, собственно, здесь удивительного? А удивительным было здесь *просто так*. Ему эта музыка — с ее гитарами, ее голосами, ее разными стилями, разнообразными вариантами этих стилей, колумбийской кумбией и кумбией аргентинской, так называемой романтической кумбией, пачангой и сальсой, ее безудержными или притворно-сдержанными, всегда готовыми к взрыву ритмами, — нравилась сама по себе, без всякой, еще раз, связи с его аскетическим подвигом, его поисками всеразрешающей истины, всеобъясняющей пустоты, и это столь обычное для всех других людей (незнатых, или не столь сильно занятых поисками истины, не

Алексей Макушинский

говорю уж об аскетическом подвиге) дело (обстоятельство, состояние души...) — вот просто нравится тебе что-то, и все тут, — казалось ему, отшельнику и подвижнику, почти фантастическим, как будто он узнавал в эти годы какого-то нового, до сих пор не известного ему персонажа — в себе, не известного ему самому — себя, впервые знакомился с ним и с собою. Ему, выходит, нравится латиноамериканская музыка, и карибская, и мексиканская, и аргентинская, и морна, и соул, и танго — вот так новость, вот так сюрприз... Да он просто не обращал на себя внимания (казалось ему). Теперь он внимание на себя обратил, увидел себя, удивился себе. Так нравилась ему эта музыка, что, в конце концов, купил он музыкальную систему, усилители и колонки, дорогие и очень хорошие — он покупал теперь только дорогие, хорошие вещи, — очень странно смотревшиеся в его почти пустой (как впоследствии я мог убедиться), японскими татами выложенной квартире, в соседстве с дза-дзенской подушкой и бронзовой статуей бодхисаттвы Манджушри с коротким мечом в руке, рассекающим наши иллюзии, соблазны и заблуждения, нашу самость и личность... Не только слушал он теперь эту музыку и у Тины, и у себя дома, готовя ужин и убирая квартиру — это он-то, на любые хлопоты по хозяйству смотревший до сих пор как на *саму*, пытавшийся и ужин готовить и квартиру убирать в медитативном молчании, не отрываясь от коана, от поисков подлинного лица! — не только слушал он музыку, но, в сущности, хотелось ему танцевать, то и дело ловил он себя на том, что начинает приплясывать, и почему бы, он думал, не записаться ему вместе с Тиной на какие-нибудь — во Франкфурте их множество, как везде — курсы танго, или курсы сальсы, или курсы еще чего-нибудь, не так уж важно чего; однажды, проходя вдвоем мимо кафельного плоского здания Института имени Сер-

вантеса, Instituto Cervantes, испанского, суконным языком скажем, культурного центра, в начале Ротшильдковского парка и, значит, по соседству со Старой оперой, с Lifestyle-лавочкой, да и от Тининого дома недалеко (во Франкфурте все рядом, если не рядом, то близко), в какой-то весенний вечер проходя мимо этого испанского института, обнаружили они, он и Тина, что двери распахнуты, толпа переминается в вестибюле от стенда к стенду и за распахнутыми тоже дверями большого зала видны танцующие пары, слышны звуки танго. В самом деле, был, говоря языком не менее суконным, день открытых дверей; можно было записаться на курсы такие и курсы сякие; выпить вина и отведать пазэли; можно было за небольшую плату поучаствовать в танцах, попробовать первые па под руководством веселой учительницы с выкрашенными в серебро волосами. Виктор хотел этого, а Тина совсем не хотела. Были две пожилые пары, танцевавшие лучше всех, две дамы на высоких каблуках, два джентльмена, щелкавшие кожаными подошвами лакированных блестящих ботинок. Была совсем молоденькая пара, зашедшая, похоже, случайно, как и Виктор с Тиной, мальчик в кроссовках и джинсах, девушка все-таки в туфельках. Выяснилось, что Виктор простейшие, и даже непростейшие танговые шаги уже знал, помнил их по школьным урокам танцев; в паре с учительницей, болтавшей серебряными, гладкими волосами, двигался так уверенно, как будто танцевал каждый вечер, с той сосредоточенностью, которую вносил во все, что делал, но и с какой-то, Тине, пожалуй, еще незнакомой, отсутствующей улыбкой. А по сути он ведь и танцевал каждый вечер, каждый день и каждое утро, после сессина в особенности, казалось Тине, стоявшей в сторонке, переминавшейся у дверей. Рассыпая волосы, учительница откидывалась назад, перехваченная им в талии, заступая

Алексей Макушинский

ему за бедро, очевидно, им очарованная... Чтобы записаться на курсы, нужен партнер, нужна партнерша. Виктор хотел, Тина не хотела по-прежнему. Мы можем подыскать вам партнершу, объявила сребровласая, вздымая и опуская маленький отчетливый бюст, зыря глаза на Тину. Что ж, прекрасно, объявила, в свою очередь, Тина, когда они вышли на розово-закатную улицу, пускай он записывается, а ей не нужно, неинтересно. С таким несчастным, лживо-спокойным лицом она произнесла это, что, почувствовал Виктор, лучше уж ему отказаться от курсов танго в институте Сервантеса, по крайней мере, до тех пор, покуда не удастся ему уговорить Тину танцевать вместе с ним. А он и хотел танцевать с Тиной, ни с какой не сребровласой учительницей. Но Тина чувствовала себя слишком большой, слишком толстой, слишком неловкой; да и вправду ей это было неинтересно, не нужно.

Сезария в Мюнхене

Ей и не случалось танцевать ни с кем, ни разу, даже не с Бертиных, а с каких-то уже совсем давних времен, со времен ее соленых волос и поездок по Рейну на пароходе, первых, беспощадных, дружб с патлатыми, неуправляемыми мальчишками, которые на тех школьных идиотических вечеринках, куда она вскорости перестала ходить, приглашали ее, лишь если не было у них другой, лучшей пары. Прошлое преследует нас, и мы, наверное, никогда не убежим от него... Виктор почувствовал здесь границу, перейти которую дано ему не было. Зато с радостью, или, по крайней мере, убеждая себя, что с радостью, согласилась она ехать с ним в Мюнхен на концерт Сезарии Эворы, хотя ехать надо было часа четыре, если пробок не будет, а они почти всегда есть, в одну, четыре же, в лучшем случае три с половиной, в обратную сторону,

и в обратную сторону — ночью, и, конечно, это напомнило ей безумные эскапады Бертиных времен, поездки в Париж и Лондон, ночные, долгие возвращенья. Вспоминать об этом ей не хотелось; но не хотелось и отказывать Виктору; и вообще надо радоваться жизни, убеждала она себя; уметь радоваться жизни или учиться этому; оставаться молодой, способной на авантюру, готовой к любым приключениям; хотя, будь ее воля, сидела бы она дома, перебирала бы свои фотографии. Но Виктор, страшно узнаваемыми, шальными глазами на нее глядячи, говорил, что билеты заказаны, махнем в Мюнхен, почему бы и нет, четыреста километров туда и четыреста километров обратно, подумаешь, левое дело, зато увидим живую (еще живую) легенду, вообще прокатимся, он с работы уйдет пораньше, а к утру они возвратятся. И назавтра в банк пойдет он невыспавшимся? Ну и что с того; пойдет, значит, невыспавшимся; не привыкать стать... Концерт был в Мюнхенской филармонии, в так называемом Гастейге, чудном месте и зале, предназначенном, впрочем, для концертов чинных и симфонических; смешно было смотреть на расфуфыренную публику, в костюмах и вечерних платьях, сидевшую в своих креслах, как будто играли ей Брукнера или Брамса; лишь отдельные девушки подходили к сцене или к барьеру, отделявшему бельэтаж от партера, начинали приплясывать, вращая над головою руками, более или менее голыми. Тина думала, что Виктор тоже пойдет к барьеру и станет приплясывать вместе с голорукими девушками, а Виктор думал, что Тина все равно не пойдет вместе с ним, и потому оставался сидеть, лишь отбивая пальцами такт сперва на своей, затем на ее, Тининой, круглой коленке. Великая певица выступала, как всегда выступала она, босиком, уже старенькая, маленькая, с короткой стрижкой, с едва заметно, но все-таки заметно не-

Алексей Макушинский

подвижной после инсульта рукою, стараясь, похоже, скрыть эту руку, становясь к очарованному залу чуть боком; после нескольких песен, устав от них, села в прозрачно-сумрачной глубине сцены за маленький столик и, к восторгу публики, наблюдавшей скорее за нею, чем за ее молодыми музыкантами, продолжавшими в свете софитов играть свои прекрасные, печальные, пресловутой капвердской меланхолии (содаде...) исполненные мелодии, закурила сигару (кто когда курил на сцене в Гастейге?), выпила сначала одну, потом, к растущему восторгу публики, еще одну рюмочку очевидно многоградусного чего-то; затем исполнила еще несколько песен (морн), как-то неуверенно держа микрофон пальцами в кольцах, почти не улыбаясь, с крошечной, тайной, только в бинокль, предусмотрительно взятый с собою Виктором, различной усмешкой в глазах, с каким-то трагическим покоем в лице, во всем облике.

Ночные гонки

Я по-прежнему жил тогда в Мюнхене, но они не позволили мне и не позвали меня с собою, и даже времени, чтобы пройтись по городу, у них не было; лишь после концерта спустились они к реке, к ее бурно шумящим, в прозрачном сумраке городской ночи, порогам, к тем каменистым отмелям, на одной из которых (о чем они, конечно, не думали и не знали) я сидел когда-то, не так уж и задолго до этого, с моим другом Павлом Двигубским, наблюдая за смешным американцем с залызанным коком, пускавшим камушки отскакивать по воде... Виктору же и вправду не составляло труда промчаться ночью четыреста километров по пустым автострадам, выжимая из Тининого бедного «Гольфа» все, на что тот был способен, и сто шестьдесят, и сто семьдесят километров в час.

Было бы у него «Порше», выжал бы и все двести. «Порше» пока что не было, но перспектива «Порше» была. Да и банк мог предоставить ему машину, пусть не «Порше», если бы он захотел. Потом выяснилось, что не нужно ему никакого «Порше» и вообще ничего не нужно, но в те годы казалось — по крайней мере, Тине казалось, — что «Порше» скоро появится. Пока «Порше» не появилось, брал он, бывало, Тинин «Гольф» и выезжал на автостраду, один, в глухой час бессонной ночи, когда машин почти нет и ничто, никто не мешает автомобильным безумствам. Ему, опять-таки, самому удивительной казалась эта вдруг вспыхнувшая в нем страсть к чудовищно быстрой езде, одинокой гонке по ночным, пустым автострадам — гонке, которая требовала такой же, конечно, сосредоточенности, какой вообще все требовало от него или он требовал от себя — или даже не требовал, но какую он вносил во все, что делал, внутренне и в глубине душе, как дзен-буддисту оно и положено, продолжая *сидеть*, даже если сидел за рулем, до двухсот, действительно, километров в час разгоняя изумленный Тинин «Гольф», не привыкший к таким скоростям и таким приключениям. Ночь проносилась мимо него всей россыпью своих огней, падавших в пустоту. Мелькали синие, отражавшие свет фар указатели — Ашаффенбург, Вюрцбург, если мчался он по А3, или, может быть, Дармштадт, Маннгейм, Гейдельберг, если гнал на юг по А5, — в час и в два ночи автострада принадлежала ему одному, и А5, и А3, разве что безумный какой-нибудь мотоциклист, ночной брат его, летел по левой полосе с турбовинтовой, уже астрономической скоростью, сотрясая пространство, на краю гибели, в ландшафтах предсмертия. Машина слушалась его, как живое, объезженное существо; мыслей в голове было так же мало, как машин на дороге; он уехал от своих мыслей; уезжал от них все дальше и дальше; уезжал еще от чего-то;

Алексей Макушинский

от всех своих личин, лиц и личностей... Иногда включал он (даже не включал, а воспользуюсь советским словечком и да простит меня Аполлон, *врубал*) музыку, и если уж совсем скоро ехал, то не Bueno Vista, и не Сезарию Эвору, и не замечательную, очень ему полюбившуюся перуанскую певицу Сюзанну Баку (Susana Baca), а какой-нибудь Hard Rock, Punk Rock, Heavy Metal, грохотавший в машине и у него в мозгу, на всю вселенную и всю автостраду, какого-нибудь безумного, вихрястого, дрыганого Игги Попа, о котором он прежде не слыхивал, которого купил теперь несколько дисков, продолжая удивляться себе, спрашивая себя, неужели и это в нем есть, и это он сам... Это было в нем; это был, наверное, тот *крутой парень* (да простят меня музы...), посетитель дискотек и рок-концертов, любитель кожаных курток, тяжелых цепей и браслетов с шипами, которым он не успел побывать, которым уже поздно было теперь становиться (да он вовсе и не хотел становиться им), но который, значит, все-таки жил в нем, оживал в нем, в два часа ночи засыпать не желал; наоборот, заворачивал на заправку, по-хопперовски светившуюся неоновыми огнями, где за стойкой сидели, поодаль друг от друга, в отрешенном молчании, глядя в пенную муть своего пива, два бессонных водителя громадных грузовых фур, которым ездить по ночам запрещено, да еще какой-нибудь трагический старик с паркинсоново-подагрическими руками, коротавший, похоже, ночь на этой автостраде, этой заправке, где и он, Виктор, пива не пивший, остро и счастливо ощущая поэзию этого одиночества, этой заброшенности и этой беды, выпивал двойное эспresso (что тоже было для него, знатока и любителя дзенских чайных утех, новым приключением, новым лихачеством...) — или просто покупал баночку противноватого, но бодрительного напитка под характерным названием Red Bull, «Красный бык», в ту пору им и открыто-

го, и, поставив эту узкую баночку в углубление возле коробки передач, гнал все дальше и дальше, в непроглядную ночь, под взвихренный грохот, отбойную дробь ударных, стальные стоны электрогитары, по-прежнему чувствуя себя молодым, бесшабашным, сильным, очень живым.

Опять Вертер

Бывало, впрочем, что просто включал он радио; по радио, во время такой одинокой гонки, на полпути все к тому же Вюрцбургу, услышал он как-то оперную французскую арию, заставившую его сбавить скорость, уйти в правый ряд. В опере Виктор не разбирался, до сих пор, может быть, и не слышал никаких опер, разве что «Пиковую даму» да, кажется, «Хованщину», на которые бабушка водила его в детстве в Мариинский театр, которые, и та, и другая ничего, кроме ощущения давящей скуки в тогда еще детской душе его не оставили. Теперь были ощущения другие. Что-то, он сам не мог сказать себе, что же именно, тронуло и пленило его в этой, как впоследствии выяснилось, арии Вертера из оперы Массне, о существовании которого и которой он и не подозревал до сих пор, так сильно, сладко и мучительно его тронуло, что не только он был вынужден уйти в правый ряд и до каких-нибудь комических пятидесяти километров в час сбросить скорость, благо никого не было на автостраде, но даже вынужден был остановиться, в конце концов, на ближайшей парковке, потому что не видел уже дороги от внезапных, непонятно откуда — из каких до сих пор неведомых ему областей души? — нахлынувших на него слез. *Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?*.. Он, конечно, нашел эту арию на другой день в Интернете; даже его рудиментарного французского хватило, чтобы понять слова, да к тому же и английский перевод, бегущей строкою, обнаружился в боль-

Алексей Макушинский

шинстве записей. Зачем ты пробуждаешь меня, о дуновение весны?.. Я чувствую твою ласку. А ведь близко, близко уж время бурь и печалей... Он прослушал эту арию в разных исполнениях раз тридцать, не в силах оторваться от этой мелодии, этих огромных, словно гипертрофированных чувств, расширявшихся и набиравших объем у него в душе, как расширялись и набирали объем голоса певцов, менее или более знаменитых, совсем знаменитых: Паваротти, Плачидо Доминго (певцов, о которых, случалось, беседовали его коллеги, с претензией на причастность к возвышенному; которые до сих пор в его жизни не значили ничего; вот, выходит, начали что-то значить...).

Опера, страсть

Мир духов рядом, дверь не на запоре. Тут же выяснилось, что как раз во Франкфурте, в Новой опере, поставили «Вертера»; сразу же и купил он астрономически дорогие билеты на чуть ли не вторую премьеру. По крайней мере, не нужно было на этот раз ехать в Мюнхен, зато нужно было примерять вечерние платья, которых Тина давно не надевала, ни одно из которых на ней не застегивалось, покупать, в конце концов, платье новое, черное не менее прежних, наряжаться и мазаться. Тина в этом черном платье с глубоким вырезом, в черных чулках и остроносых черных лакированных туфельках, с ниткой жемчуга на полной шее, показалась ему ослепительной; было счастьем появиться с ней на людях, в расфуфыренной и надушенной толпе, туалеты которой здесь как раз были уместны, в этой франкфуртской Новой опере, снаружи довольно прозаической, но внутри вполне торжественной, мимо которой он только проходил и на велосипеде проезжал до сих пор, едва ли обращая внимание на меломанов у входа, на большие афиши новых спектаклей. Они теперь часто ста-

ли там появляться; Виктор полюбил оперу, к очередному своему изумлению, открывая себя для себя же; полюбил и Бизе, и Верди; в не меньшей степени полюбил сами их выходы в оперу, ритуал оперы, не очень частый, но повторяющийся праздник (дело кончилось покупкой абонеента). Наслаждением было уже наблюдать за Тиниными приготовлениями, за тем, как она одевалась и красилась; очень осторожно, очень медленно тянуть вверх молнию ее платья. Ему казалось, все смотрят на них в фойе — на его бритую голову, его сумасшедшие, преувеличенные глаза, ее роскошные формы, сильные икры в черных чулках с искрою; и это тоже волновало, радовало его (не ее); он сам старался почаще увидеть себя с ней в парадных больших зеркалах. Они входили в зал, где гас свет, настраивался оркестр. Он чувствовал прохладный, фиолетовый запах ее духов, чувствовал ее дыхание рядом с собою, видел, как поднимается, опускается ее полуобнаженная невероятная грудь; думал о том, как все вообще странно; как странно, что вот он, выходец из простой советской семьи, мальчик из коммуналки на Лиговке, с Полюстровского проспекта, сидит во франкфуртской опере, в дорогом вечернем костюме и в часах за двадцать тысяч евро, что с ним потрясающая женщина, нарядная дама, много старше и много толще его, но ему наплевать, ему это нравится, пусть люди думают, что хотят, все равно это символ его успеха, и ему это важно, вот что самое удивительное, и, значит, есть в нем, помимо всех прочих персонажей, вопреки всему дзен-буддизму, тщеславный маленький парвеню, персонаж, которого ему никакого труда не составило бы отбросить, похерить, но которому он, с усмешкой добродушного снисхождения, позволяя до поры до времени существовать, откидываться в бархатном кресле, класть свою руку на Тинину. Тина же, как мне она говорила впоследствии, всякий раз с содроганием готовилась

Алексей Макушинский

к четырем, если, о ужас, не больше, часам скованной скуки, отсиженной попки, всякий раз думая, что только очень сильная, очень страстная любовь могла заставить ее в очередной раз прийти сюда, сидеть здесь. Если бы они все не пели... Опера, она говорила мне, всегда и с самого детства казалась ей институцией откровенно комической. Отдельные арии бывают прекрасные, кто же спорит (и ария Вертера, пленившая Виктора, ее тоже тронула, хотя бы тем, что так тронула его), но все в целом — какое-то недоразумение, так она говорила (пожимая плечами, со смехом в глазах). Выходят на сцену толстые певцы и певицы и пытаются изобразить трагическую страсть. А когда не изображают трагическую страсть, то все равно поют, и это уже совсем смешно, совсем глупо. Дайте мне стакан воды... Почему это надо петь? А главное — почему это должно быть так долго? Тина старалась не слушать, а просто наблюдала за толстыми певцами и толстыми певицами в особенности, думая о тех фотографиях более или менее обнаженных рубенсовско-кустодиевских моделей, которые делала в уже так отрадно отделившуюся от нее эпоху Берты, эпоху ее ревности к Берте, и потом думала, что можно было бы сделать чудную серию портретов этих оперных див, в разнообразных нарядах, в неожиданных ракурсах, и через пару лет вправду сделала серию таких фотографий, и познакомилась с дивами, знаменитыми более и знаменитыми менее, и даже, кажется, с одной из них подружилась... Это было позже, пока что приходилось терпеть. Она терпела ради Виктора, понимая, что это для него важно и что это как-то (она, правда, не совсем понимала как) связано с ней самой, Тиной, с его чувствами к ней, и это приятно ей было, примиряло ее (впрочем, только отчасти) с необходимостью просиживать четыре часа в проклятом кресле, отсиживать себе попку.

Душа

А эта неожиданная страсть к опере в самом деле была связана — с ней, он это тоже понимал, разумеется. *Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps?*.. Зачем, о дуновение весны, ты пробуждаешь меня?.. Он и чувствовал себя пробужденным, разбуженным — совсем не в том, дзенском, смысле, в каком стремился всегда к пробуждению, но в каком-то, для него самого еще смутном, туманно-мечтательным, во всяком случае связанном с Тиной, с его любовью к ней, с теми новыми, как он это называл для себя, областями души, которые открывал он в себе. Это душа его пробуждалась, отдавалась скорби и счастью. Рассудок стоял в сторонке и улыбался с умиленной иронией. Невозможно было принимать вполне всерьез эти гипертрофированные чувства, преувеличенные страсти, которые ему показывали со сцены; но как громадный, все небо заполняющий железнодорожный дым в каком-нибудь старом вестерне говорит о том, что где-то там внизу, по равнине, по прериям идет настоящий паровоз и действительный поезд, из трех дощатых вагончиков, так эти неправдоподобные, отчасти идиотические, амплифицированные эмоции намекали на то подлинное, что было в нем и что он теперь испытывал все острее и отчетливей. Понемногу стал понимать он, что помимо всего остального и прочего, всех тех вещей, которые он знал за собою, которые казались ему неважными и смешными, как его же собственное тщеславие, или, наоборот, казались ему самыми важными, помимо и по ту сторону его стремления к абсолютному смыслу, к божественной пустоте или как бы мы ни назвали все это, по сути неназываемое, есть еще что-то, какие-то облачные области, о которых он до сих пор не задумывался, почти не догадывался, — воздушный, млечный и совсем новый для него мир его

Алексей Макушинский

чувств к Тине, его любви, его нежности, его восхищения, его умиления, — иная перспектива, в которой те же предметы, те же действия и те же события виделись совсем по-другому, в другом свете, с другими, иначе вытянутыми, тенями. Он заглядывал ей в глаза — и чувствовал себя новичком в жизни, вообще до сих пор не догадывавшимся, о чем идет речь... Они возвращались домой после оперы; она тут же сбрасывала остроносые туфли, стягивала с себя платье, там и сям ей все-таки жавшее; снимала лифчик; в одних трусиках, перед зеркалом в ванной, начинала смывать с себя макияж. Сквозь приоткрытую дверь он видел ее широкую спину, складки этой спины, ее распущенные по плечам медно-рыжие волосы, видел, в зеркале, ее вновь возникающее лицо, с которого она снимала краску, приподнимая пальцем всякий раз сперва левую, потом правую бровь, проводя по векам ваткою с чем-то белым, приятно пахучим. Оно понемногу разглаживалось, это лицо, собиралось в новое целое. Он не выдерживал, подходил к ней, обнимал ее сзади, клал руки, крест-накрест, на ее громадные груди, клал голову на ее полное, прекрасное, чуть веснушчатое, плечо, видел теперь два лица в зеркале: свое собственное, с преувеличенными сияющими глазами, ее новое, спокойно-счастливое, с легкими, тоже, веснушками на чуть-чуть выступающих скулах. Это было второе подлинное лицо, которое он искал, его второй коан, не менее загадочный и не менее для него важный. Так же терялся он в нем, как терялся в своем дзенском коане, терялся, терял себя, свое маленькое, ему уже не нужное я. Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt das Ich, der dunkle Despot... Что значит умирать от любви? Вот это и значит — умирать от любви... Умирать от любви, терять себя, терять все, теряться в созерцании любимого лица с последними

остатками пудры, последними и самыми последними остатками губной помады, которые она снимала салфеткой. Все, объявляла она, поднимая руки, подставляя подмышку под поцелуй.

Осваиваясь в мире

Еще он не догадывался, что оба коана решатся — разрешатся — одновременно; вообще, как дзен-буддисту оно и положено, не думал о будущем; зато вспоминал вдруг начало их связи, ту поездку на Рейн, от Майнца к Кобленцу, когда, почти заблудившись из-за перекрытой дороги, они заехали в заброшенную, или по видимости заброшенную, каменоломню, которую она начала фотографировать, как начала фотографировать и его, Виктора, на ступеньках возле вагончика, и как он впервые увидел, влюбляясь, ее то появлявшееся из-за волос и камеры, то вновь за ними прятавшееся лицо. Воспоминание это было для него драгоценно. Именно драгоценность этого воспоминания, других воспоминаний, взрослых и детских, была для него открытием, очередным открытием, которое он сделал в себе. Вспоминать Виктору не было свойственно (как я писал уже выше); сентиментальному склонению над прошлым он был совершенно чужд; образы и отзвуки его ему самому неинтересного детства, приходившие к нему во время дза-дзена, во время сессина, проходили в нем (или так до сих пор казалось ему), не оставляя следов (как волны по морю, как рябь по реке, как тени облаков по колеблемому ветром полю...); он не удерживал, хотя и не прогонял их; забывал о них, вставая с подушки. В новой перспективе, обретенной им, все выглядело иначе; сама их с Тиной история, как он восстанавливал и воскрешал ее в памяти, один или вместе с нею (что они часто делали, как это

Алексей Макушинский

свойственно бывает влюбленным, словно сверяя координаты и заново ориентируясь в своей и общей им жизни), сама история эта — их знакомство в кронбергской электричке, их встреча на выставке, его первый приход и разговор обо мне, каменоломня и замок над Рейном, каштановые звезды на грубой столешнице, несгибаемые старушки, уплетающие яблочный пирог со взбитыми сливками, — все это имело в его глазах очарование и прелесть, какой никогда прежде в прошлом не находил он; и не только прелесть, не только очарование, но и важность, и значимость, каких, опять же, никогда не думал он, что станет приписывать прошлому. Это была часть все того же мира любви, печали, счастья и сожаления, в котором он осваивался, как *новенький* в чужом классе, как сам осваивался когда-то в небандитской школе, после их переезда с Лиговки на Полюстровский проспект, вечность назад...

Гладкие скалы

Он только не понимал, возвращаясь к коану, где же его подлинное лицо среди всех этих, новых и старых, знакомых и незнакомых, личин, лиц и личностей. Его нерожденное, извечно существовавшее лицо, которое искал он, не мог найти, которое должен был — и не знал, как показать Бобу, — это извечное лицо (думал он) могло быть только там, где-то там, по ту сторону всех этих личностей, этих лиц. От них от всех он должен был отказаться, их все отбросить, умереть Великой Смертью, быть никем, ничем, просто быть или просто не быть, уничтожиться, раствориться в сияющей Пустоте... Он по-прежнему хотел этого, стремился к этому, был готов к этому (уверял он себя); у него появилось, впервые в жизни, ощущение возможности выбора, может быть, иллюзорное; возможности выбора, о которой почти забывал он во время очередного сессина, борясь с собой на подушке, и которая

вновь возвращалась к нему, когда он сам возвращался во Франкфурт, к жизни и к Тине (банку, успеху, деньгам, спорту, музыке, путешествиям, опере, гонкам по автостраде...). Он мог выбрать такого себя и другого себя; такое лицо и другое лицо; такую личность и другую личину. Все это был он, он сам, Виктор, все это он открыл в себе, и он счастлив был, что открыл. Он по-прежнему не сомневался в своем дзенском пути и дзенском призвании; этот путь перестал ему казаться единственным. Он вовсе не обязан был идти этим дзенским путем, мог пойти и каким-нибудь, к примеру, другим... Каким же? Он не знал каким и никаким другим путем пойти не думал, идти не хотел; он думал лишь о том, что вот еще недавно даже не мог представить себе, как бы он стал жить без дзена, а теперь, наверное, может. Да и правда ли, что от всего он готов отказаться? Он легко откажется, если нужно будет, от банкира в себе; от дорогих часов и костюмов; откажется от оперы, черт с ней, с оперой; перестанет слушать Сюзанну Баку и Сезарию Эвору; перестанет и на машине гонять по ночным автострадам. Но от любви к Тине он не откажется. Не откажется и от воспоминаний о каменоломне, от печали и нежности, от этих облачных областей души, которые открылись ему. Он, значит, держится за эти области, эту душу? Вдруг становилось страшно ему; вдруг он и вправду чувствовал себя тем человеком, висящим над бездной, сжимающим ветку зубами, — человеком, которому нужно ответить на главный вопрос жизни ценою самой этой жизни, падением в бездну. Он падал в бездну чуть не каждую ночь. Едва засыпал он, как начиналось это падение в бездну, поначалу медленное, потом все ускорявшееся падение в бездонность, мимо каких-то гладких, темных, чудовищных скал, мимо базальтовых прожилок и слюдяного блеска сбегających вниз потоков, мимо крошечных сосен и сосенок, ухитрившихся вырасти

Алексей Макушинский

на этих скалах, кустиков колкой травы, за которую даже не надеялся он ухватиться. В ту пору, на подступах к просветлению, это был его, Викторов, как он сам рассказывал мне впоследствии, повторяющийся кошмар, который, во сне — в том особенном времени сна, несоизмеримом с земным временем и, значит, неизмеримом вообще, — казался ему бесконечным, бесконечно-долгим, как будто целую ночь, целую вечность — а в земном времени всего пару минут это, может быть, длилось — он только падал, падал и падал, не в силах долететь до — чего? каких камней и утесов? — упасть, разбиться, проснуться. Наутро вставал он, измученный этим сном, в расслабленности и томлении, ему совершенно не свойственных; и когда вечером ложился в постель, рядом с Тиной ли, у себя ли на японский жесткий матрас, или в одну из тех узких деревянных и пахнущих свежей древесиной кроватей, в которых спали и спят в буддистском центре в Нижней Баварии, думал (или я теперь так думаю за него), что вот сейчас опять начнется это бесконечное падение в бездну, мимо гладких и скользких скал, и что это как темная сторона, темная тайна его все более светлой жизни.

Повторения, брокерский офис

А как хотелось ему услышать от Боба что-нибудь, кроме обычных призывов *сидеть, сидеть и сидеть*. Хотелось просто обратиться к нему за советом, как несколько раз он с ним советовался в других, житейских делах (хотя ясно было, что как раз в этом деле простого, житейского совета быть не может) — в тот незабываемый раз, например, когда ему, Виктору, вдруг предложили работу в Лондоне: с огромным окладом, в конкурирующем банке, уже прямо в брокерском офисе, где делаются настоящие деньги, сколачиваются состояния, при случае фантазмагорические, и надо было срочно, на другой

день, принимать роковое решение. Тина сразу сказала: да. Да, решайся, переезжай в Лондон, я буду приезжать к тебе, может быть, и сама перееду. Конечно, она думала о Берте, о возвращении, о повторении тем своей жизни, о вечеринках в Челси и в Хэмпстеде... Темы жизни повторяются, возвращаются, да и мы по жизни ходим кругами. С почти умиленной печалью, а вместе с тем и с тревогой, и с ощущением собственного бессилия перед самовольством жизни, играющей с нами в непонятную нам игру, думала она обо всем этом, говорила Виктору: да. Вовсе не хотелось ей, чтобы он переезжал в Лондон, вообще куда бы то ни было; она из упрямства, упорства, протеста (раз вы так со мной, то вот и ладно, вот и пожалуйста...) советовала ему принять предложение, в самом деле необыкновенно заманчивое. Виктор в тот же вечер поговорил с Бобом; после дза-дзена поехал с ним в Кронберг. В электричке они молчали, вернее Боб молчал, как будто продолжая дза-дзен, и Виктор молчал, соответственно, тоже; зато дома, после быстрого, скромного, пожалуй, даже скудного ужина, когда дети были уложены, попросил Виктора все рассказать Ясуко, лучше, чем он сам, разбиравшейся в банковских делах, финансовых тонкостях; они еще долго сидели вдвоем на кухне под низко свисавшей с потолка круглой лампой, обсуждая все *за и против*. Больше всяких финансовых дел, в которые он, впрочем, тоже готов был вникнуть, интересовали Боба Викторovy внутренние, подлинные дела, душевные обстоятельства. Дза-дзен можно делать и в Лондоне, все равно он останется Викторovyм учителем, а может быть, для Виктора и полезно было бы позаниматься с кем-нибудь из замечательных дзен-буддистов, живущих в Англии, которых он, Боб, всех, в общем, знает, одному, вернее одной из которых может позвонить завтра утром, хотя больше всего он желал бы, чтобы Виктор поехал, наконец,

Алексей Макушинский

в Японию и сделал хотя бы один сессин под началом его собственного старого учителя, Китагавы-роси, что, впрочем, вполне можно осуществить и в том случае, если он переедет в Лондон, и вообще переезд, перемена мест может пойти ему на пользу, дать ему какой-то толчок, а с другой стороны, все идет хорошо, и Виктору, если он смеет судить, скорее нравится его здешняя жизнь, и во всяком случае, на месте Виктора он бы еще подумал, стоит ли подвергать опасности его, если он смеет судить, гармонические отношения с Тиной. Пускай Тина и говорит, что она тоже, может быть, переедет, но это именно может быть, то есть может быть, а может ведь и не быть, и во всяком случае, им придется на какое-то время расстаться, встречаться в выходные дни и по праздникам, да и не во всякие же выходные сможет он прилететь к ней, она к нему, так что пускай Виктор, в самом деле, подумает, стоит ли ему так рисковать. А может быть, для Тины было бы как раз счастьем переехать в Лондон... Для фотографа, он уверен, Лондон — гораздо более интересное и многообещающее место, чем провинциальный, в сущности, Франкфурт, так что (говорил Боб, смеясь сияющими глазами) судьба, возможно, вовсе не Виктору посылает этот шанс, но через Виктора посылает этот шанс Тине, и тогда уж точно ему, Виктору, следует этим шансом воспользоваться, не пропустить его. Пускай он еще раз поговорит с Тиной, попытается понять и расслышать ее подлинные мысли, настоящие чувства. Мы ведь не всегда говорим то, что думаем; не потому что скрываем свои чувства и мысли, а потому что сами не можем в них разобраться, не находим слов для них, боимся, может быть, найти для них окончательные слова... А решение Виктор принять должен сам. Виктор его и принял, в электричке, по дороге во Франкфурт (той самой, где некогда мы с ним Тину и встретили). Он по-прежнему не понимал ее истинных чувств, как и она сама

их, быть может, не понимала; вспомнив свой разговор с ней, ее уверенное: *да, соглашайся*, впервые, внутренним зрением, увидел за этим уверенным *да* ее *нет*, ее растерянность, печаль и тревогу. Огни проплывали мимо, его лицо среди этих огней, сумасшедшие глаза, безумные небоскребы. В огни всматриваясь, он сказал себе, что никуда не поедет и с Тиной, даже ненадолго, не расстанется, и Боба не променяет ни на какую английскую дзен-буддистку. Потому что никого нет у него, кроме Тины и Боба. Есть, конечно, папа и мама где-то там, в Петербурге... Последний резерв, последняя линия обороны, вдруг понял он, всматриваясь в огни. Если какое-то великое несчастье с ним случится, то вот все-таки есть у него, где-то там, мама и папа, о которых почти никогда он не думает. Посылает им деньги — и все. А если с ними случится несчастье, то и он все бросит, поедет спасать их. А в каком-то ином, не менее важном — но каком, собственно? — смысле его семья — это Тина и Боб, вот эти два человека, самые дорогие для него на земле, без которых не хочет он жить ни в каком Лондоне, и черт с ним, с фантастическим окладом, черт с ней, с феерической карьерой.

Пустыня Гоби, фата-моргана

Их обоих, Тину и Боба, увидел он недели три или месяц спустя, очнувшись в больнице в тот ослепительно жаркий, с дрожью зноя над раскаленным асфальтом, день, когда неподалеку от *Konstablerwache* его, мчавшегося на своем спортивном, легком, алюминиевом велосипеде, сбил старый, рыхлый, ржавый «Мерседес», оглушавший округу и улицу восточной взвихренной музыкой. «Мерседес» поворачивал направо и по сторонам не смотрел. Удар был, по счастью,

Алексей Макушинский

несильный; все же сколько-то метров пролетел он вместе с велосипедом; вылетел на тротуар; извернувшись, сумел избежать фонарного столба, мечтавшего раскроить ему череп; приземлился боком; откинувшись на спину, обнаружил себя в полном одиночестве, в пустыне Гоби, а то и прямо в Сахаре, под таким небом, такой синевы, густоты, глубины, каким оно только в пустыне и может быть, в Сахаре, в Гоби ли; затем заметил безумный блеск солончаков, озер, окон, склоненные лица бедуинов, другие фокусы фата-морганы; затем почувствовал боль, безмерную, как та же пустыня. Забылся он, ему казалось впоследствии, не столько от боли, сколько от обезболивающего, которое вкололи ему в неотложке; снова очнувшись, увидел заплаканную Тину, сидевшую от него справа, державшую его за руку своей плотной, теплой, детской рукою; затем увидел Боба, сидевшего слева, его, Бобовы, самые снежные, самые сияющие глаза. Он смотрел молча на них обоих; они еще не понимали, что он их видит; и ему почему-то радостно было, что они не понимают этого, что он исподтишка и втайне смотрит на них, разглядывает их лица; он не чувствовал больше боли, но чувствовал благодарность — им обоим, или, быть может, судьбе — за то, что дала ему этих двух людей, не оставила его в одиночестве и пустыне. Это было очень острое, из глубины обморока, ощущение — даже не счастья, хотя и счастья тоже, — но ощущение правильности всего происходящего с ним, вообще всего на свете, как если бы удар и обморок выбросили его из относительного аспекта вещей в абсолютный, прямо в *этость* и *таковость*, и он теперь видел так ясно, с такой благодарностью, как и с какой не видел, может быть, еще никогда, что все хорошо, все совершенно — и все сходится, все гармонирует друг с другом, как получившийся пасьянс, решенный кроссворд, что и в самом деле не надо ничего выбирать, не

из чего, в сущности, выбирать, что нет никакого противоречия между миром дзена и миром его любви, что это один и тот же мир, что дзен и есть любовь и что вообще есть только любовь. Когда снова проснулся он, ни этого чувства, ни Боба уже не было рядом с ним. Была Тина и было воспоминание о чем-то очень важном, очень возвышенном, что он только что пережил. Он прижал ее руку к своему лицу и заплакал; на мягкой ее ладони еще долго держалась слезная соль, не исчезающая под его поцелуями.

Лучший подарок

Два ребра были сломаны, внутренние органы не задеты; но очень больно, рассказывал мне Виктор впоследствии, очень трудно было дышать. Боб приходил к нему в госпиталь каждый день, хотя бы на пять минут, на пятнадцать, на двадцать. Эти пять или пятнадцать минут длились долго (как долго длятся, во время сессина, сорок пять минут, отведенные для тей-сё, как долго длятся, если дза-дзен удачен, двадцать пять минут медитации). Это всякий раз и были, в сущности, пятнадцать минут медитации, хотя Виктор дышать глубоко не мог, считать свои выдохи даже и не пытался. Все же это был своего рода дза-дзен; Боб просто сидел с ним рядом, сложивши руки в дзенскую мудру; Виктор молча смотрел на него. Они были одни, вдвоем, в безмолвной беседе. И это был лучший подарок, который Боб мог сделать ему, думал Виктор. Приходили, конечно, и другие персонажи сангхи: и зеленоглазая полька Ирена, и тихий Роберт, и Анна, и Зильке, вечные студентки, училки, и старик Вольфганг, тут же взявший в свои надежные адвокатские руки юридическую сторону дела (поскольку, как и следовало ожидать, молодые турки, любители взвихренной музыки, пытались Виктора выставить виновным в аварии, запугивали и грозили, но получили такой

Алексей Макушинский

отпор, что один из них, тот, кто сидел за рулем, смылся, в конце концов, в Анатолию, понимая, что в Германии не избежать ему суда и тюрьмы); как-то раз заглянула даже белокурая Барбара, сама, с нескрываемым удовольствием, слопавшая принесенный ею дорогой шоколад. Тем не менее всегда так получалось, что Боб приходил один, не встречаясь ни с кем; Виктор думал, или хотел думать, что это не случайность и не простое везение, а что Боб так нарочно подстраивает, чтобы ни с кем не встретиться возле Викторовой койки, в молчаливом и никакого значения не имеющем присутствии Викторова соседа по палате, пожилого, очень небритого и тоже травмированного албанца, иногда стонавшего, изредка бормотавшего что-то на не понятном никому языке. И, значит, Боб сознавал, сколь драгоценны для Виктора эти минуты вдвоем, думал Виктор; значит, в самом деле, дарил их ему; тут же, впрочем, перестал их дарить, когда Виктора, еще слабого, но уже явно идущего на поправку, выписали из больницы, велел ему каждый день приходить на лечебную гимнастику, где заново учили его дышать, кашлять, харкать.

Учитель

Это были обстоятельства исключительные; в не-исключительных он так же часто, или так же редко, видел Боба, как видели его все прочие члены сангхи, кроме, наверное, Барбары, видевшей его, подозревал Виктор, гораздо чаще других; наедине не оставался с ним почти никогда; вполне успешно, в общем, преодолевал всегдашний соблазн позвонить ему просто так, по какому-нибудь пустячному поводу, под каким-нибудь ничтожным предлогом, как, он знал, это делали многие, как это каждый или почти каждый день проделывала все та же белокурая Барбара. По-прежнему счастьем для него было отвезти Боба куда-нибудь на машине, вот уж

точно не имело значения, куда, — на любой и самый крайний край света готов он был ехать с Бобом, бросив любое дело, самое неотложное, как, впрочем (прекрасно понимал он), готовы были к этому и все прочие персонажи сангхи, обладатели, обладательницы автомобильных прав, стоило Бобу попросить их об этом. Боб просил очень редко, помощь принимал неохотно. Долго и так настойчиво, что ему самому стало стыдно, пришлось Виктору в компании с англичанином Джоном, двум синеглавым буддистам, уговаривать Боба позволить им перевезти на взятом напрокат грузовичке из расположенной на полпути в Висбаден «Икеи» новую кухню, которую Боб и Ясуко однажды купили, заодно и собрать ее, подключить посудомоечную машину, избавляя их от лишних расходов; Джон, страшноватый на вид, но в сущности добрейший и даже не очень безумный персонаж с серьгой в губе и сережкой под носом, теперь служивший, со всеми своими серьгами и сережками, в страховой фирме, когда-то, в британской молодости, подвизался, как выяснилось, по водопроводно-канализационной части и посудомоечную машину, как и машину стиральную, способен был подключить, оставив кухню и дом незатопленными.

Отражения

Конечно, Виктор, как совершенно честный с самим собой человек, вынужден был признать, что его постоянная готовность помочь, собрать кухню, подключить посудомойку, на край земного света отвезти на машине не совсем была бескорыстна. Боб, в свою очередь, или так казалось Виктору, прекрасно все понимал; прекрасно все понимая, не подмигивая, но с каким-то мерцающим сиянием в глазах говорил, случалось, Виктору, что, нет, ему, Бобу, ни в чем помогать не нужно, спасибо, а вот Зильке нужно переезжать на дру-

Алексей Макушинский

гую квартиру, и если он вместе с Джоном, тихим Робертом и еще кем-нибудь перевезут ее скромный скарб из Нидеррада в Норденд, то это будет совершенно замечательно и во всех отношениях прекрасно, и вот, кстати, Анна, слышал он, уезжает в отпуск на три недели и наверное, очень была бы счастлива, если бы, например, Виктор предложил ей, по очереди с Иреной, заходить в ее пустую квартиру, чтобы полить цветы, а главное, чтобы покормить ее любимую кошку Митцу, с которой всякий раз так тяжело она расстается. Разумеется, Виктор делал все это, и Зильке помогал переехать, тащил вместе с Джоном по лестнице зеркальный, неразбиравшийся шкаф, прихвативший с собою потолок, перила, стены подъезда, и к Анне заезжал через день, вываливал в Митцину мисочку кошачью еду из консервной банки, вонявшую так, как еда воняет, небось, в аду, если в аду есть еда, выносил ее поганый песочек; чем дальше шло время, тем более превращался во всеобщего помощника, в того, во всякой группе людей, будь то школьный класс или буддистская сангха, неизбежного персонажа, к которому все всегда обращаются за поддержкой, на которого можно положиться, который не подведет. Он все это делал с удовольствием, не мог, однако, не видеть, что даже не с большим и не с гораздо большим, а просто с другим, другого состава и качества удовольствием сделал бы что-то для Боба. А чего бы ни отдал он, чтобы опять, как в больнице, остаться вдвоем с ним, без всех этих Зильке и Джонов. Он, в сущности, хотел заполучить его для себя. Но ведь этого все хотели, как совершенно честный с самим собою человек, говорил он себе, и тот же Джон, и та же Зильке хотели этого не меньше, чем он хотел, и, значит, по крайней мере в этом отношении, ничем не отличался он ни от Джона, ни от Зильке, ни от тихого Роберта, и почему, собственно, должен был Боб выделять его из всех остальных, отличать его от всех прочих?

Небесные кряжи

Тем более удивлен и счастлив был Виктор, когда Боб, смущаясь, сияя глазами, спросил его, не хочет ли он съездить с ним, Бобом, на его «Тойоте» в Голландию, потому что там, в Голландии, пролетом из Токио в Нью-Йорк, должен на сколько-то дней у одного из своих, как тут же и выяснилось, главнейших учеников остановиться его, Боба, старый японский учитель, Китагава-роси, с которым Боб хотел бы Виктора познакомиться. Для Виктора, как он впоследствии мне рассказывал, это была не просьба о шоферских услугах, а знак отличия, из всех знаков, какие от Боба мог бы он получить, величайший. Уже он воображал себе, как пять часов, или сколько часов, проведет один с Бобом в машине по дороге туда и столько же, пять часов или сколько часов, по дороге обратно; об обратной дороге еще он даже не думал; но пять, или сколько-то, часов наедине с Бобом, без Ирен и Вольфгангов, без Зильке и Джонов, представлялись ему подарком почти незаслуженным; вся его дзенская выдержка понадобилась Виктору, чтобы не показать свое разочарование, свою ярость, свою, в конце концов, обиду на Боба, когда в ясное, раннее, очень осеннее субботнее утро, сбежав по лестнице у себя в Заксенгаузене, куда Боб должен был заехать за ним, увидел он за рулем нешикарной, неправильно припаркованной и о том, что ждет ее, не подозревавшей «Тойоты» белокурую Барбару, не просто привезшую Боба из Кронберга — Боб и сам бы справился, — но, как тут же понял Виктор, напросившуюся, навязавшуюся и вот, значит, взятую Бобом в поездку. Черт бы побрал ее, чтоб ей... Но черт не брал ангелоподобную Барбару, черт вообще в дело не вмешивался, по крайней мере на сей раз, и не только ангелоподобная обнаружилась за рулем несчастной «Тойоты», но и долго еще отказывалась

Алексей Макушинский

уступить руль разъяренному Виктору, вела же машину чудовищно, непрестанно оборачиваясь к Бобу вопрошающими, восторженными глазами, нажимая на газ и тормоз просто так, потому что вздумалось ей нажать на газ или тормоз, без всякой надобности и уж точно без всякой мысли о других машинах, пешеходах, светофорах, дорожных разметках, дорожных знаках, прочих глупостях жизни, земной и ничтожной; машина дергалась, дрыгалась, вздыхала и охала, даже, в ужасе, приседала, едва не подпрыгивала. Лишь на заправке в Монтабауре, рассказывал мне Виктор впоследствии, то есть как-никак уже в сотне километров от Франкфурта, на полпути к Бонну (они ехали по А3), Боб, наконец, попросил надувшую губки красавицу поменяться местами с соперником; та, хлопнув дверцей, уселась сзади не справа, не слева, но ровно посередине, так что Виктор ничего не видел в зеркальце, кроме ее распущенных белых волос, ее восторженных вопрошающих глаз. Затем все было в точности так, как он и представлял себе, негодуя; Барбара, на заднее сиденье изгнанная, и слова Виктору не давала сказать, перебивала его, как перебивают взрослых капризные девочки, перегибалась к Бобу, дотрагивалась рукою до его плеча и предплечья, старалась так как-нибудь сделать, чтобы он к ней совсем повернулся, заглянул в ее восторженные глаза своими сияющими; невольно спрашивал себя Виктор, как она ведет себя с Бобом, когда остаются они вдвоем, как он ведет себя с нею. Боб улыбался в ответ ей. Не совсем так улыбался ей Боб, казалось Виктору в его негодовании, обиде и ярости, как улыбался он всем остальным, ему самому. Боб улыбался ей, казалось в ярости Виктору, как шалющим детям мы улыбаемся: улыбкой осуждающе-умиленной. Все-таки, когда уже проехали они Дюссельдорф, улыбнувшись Барбаре этой осуждающе-умиленной улыбкой, обдав

ее сильнейшим и светлейшим сиянием своих глаз, возлюбленный учитель произнес, словно выдохнул: дза-дзен; красавица послушно угомонилась, даже сдвинулась влево, исчезнув из водительского Викторова зеркальца; то ли и вправду она медитировала, то ли делала вид, что медитирует, предаваясь мечтам и фантазиям; Боб, во всяком случае, сложив руки в дзенскую мудру и очень прямо сидя на переднем сиденье, погрузился в самадхи, только изредка, Виктор видел, поднимая глаза и поглядывая на все то багряное, золотое, что на выбор, цитируя классические стихи, предлагала им осень. Эти стихи даже Виктор помнил, конечно... Вдруг пошел снег, рассказывал мне Виктор впоследствии, первый снег в том году, из черной тучи, навалившейся на небо; едва пошел он, как появилось и солнце, верхний край тучи превращая в сверкающий кряж, полыхающий перевал; на лету засияли снежинки; шафрановым и червленым, к себе самим подыскивая синонимы, загорелись леса и холмы (последние перед плоской Голландией). Шины у Бобовой «Тойоты» были все еще летние; шел бы снег дольше, не таял бы сразу, ни до какой Голландии они бы и не доехали. Виктор, подумывая, не стоит ли остановиться на ближайшей заправке или хотя бы, как делают мотоциклисты, под ближайшим мостом, смотрел на эти сверкающие снежинки, эти взрывы света над горящими горными кряжами и так остро, так отчетливо, как, может быть, давно уже не, вообще, может быть, никогда, чувствовал, что это он, это он смотрит, не кто-нибудь, тот подлинный он, которого он всегда ощущал в себе, более отчетливо, менее остро, по ту сторону всех личностей и личин, что этот подлинный он всегда присутствует, всегда есть, всегда здесь, что его и в самом деле, как сказано в «Мумонкане», нельзя скрыть, негде спрятать...

Алексей Макушинский

Девушка и чайка

Он только в дороге понял, куда они едут; Боб, приглашая его в путешествие, с полной географической беззаботностью объявил, что его голландский *дхармический брат* (dharma brother), соученик у Китагавы-роси, живет в деревне под Амстердамом, за Амстердамом, в чудном месте, по слухам, где, впрочем, Боб не бывал; чудное место за Амстердамом оказалось на острове Тексел (к которому Виктор, впоследствии обо всем этом мне рассказывая, прибавил на немецкий манер мягкий знак — Тексель), от Амстердама еще сто километров до парома и потом еще сколько-то километров по острову. В Голландии никакого снега уже не было, да как будто и осени не было; было все зеленое, плоское, как вблизи моря оно и должно быть; голландские водители, как они и всегда это делают, показывали машине с немецкими номерами, кто здесь хозяин, резко тормозили и сзади старались наехать, только что бампером не стучались в бампер. Словом, все было так, как должно быть; и Барбара все, что должна была проделать на пароме, на пароме проделала — и волосы распустила по ветру, и руками взмахнула, обнимая огромный воздух, и чайкам стала бросать кусочки купленного по дороге печенья, не столько даже бросать, сколько с руки кормить этих чаек, яростно и восхищенно кричавших, кружившихся над кормою, над спящим серебром уже вечернего солнца, зыблемого небурными волнами, что, в свою очередь, тем и кончилось, чем должно было кончиться: одна из чаек, самая боевая, таки цапнула за пальчик красавицу, и сильно цапнула, так что сразу же кровь на нем показалась. Захотав и вскрикнув, снова вскрикнув и снова захотав, ангелоподобная протянула пальчик в Бобову сторону, демонстрируя свою ранку и словно предлагая ему пальчик облизать, кровь отсо-

сать; сама отсосала, сама облизала. Вот это зря вы сделали, барышня, объявил стоявший рядом с ними у релинга налитой пивом громадный голландец; чайки, сообщил он тем детским языком, какой получается у всех голландцев, гигантов и не-гигантов, когда пытаются они говорить по-немецки, разносят по миру всяческую заразу. По крайней мере он, гигант и голландец, советует барышне прижечь ранку йодом; а нету йода, так спиртом; а нету спирта, так пускай хоть одеколоном попрыскает. Но уже пора было садиться в машину, уже они приплыли на остров. Ничего с ней не случится, он знает, по-английски и слишком уж, на Викторов вкус, сладким голосом сказал Боб, убежденно сияя глазами и, наконец — пускай не погладив, — но быстрым, легким касанием дотронувшись до раненой Барбаринной руки; тут же она успокоилась, тут же заулыбалась.

Китагава-роси, старый учитель

Впоследствии, много позже, рассказывая мне обо всем этом (а я точно помню, когда и где он мне об этом рассказывал — во Франкфурте, в бетонном садике за Грюнебургским парком, совсем незадолго до катастрофы с Бобом и Барбарой...). Виктор впоследствии, нет, не смог описать ни Бобова дхармического брата-голландца, ни жену этого брата-голландца (Бобову, получается, дхармическую невестку) и нет (засмеялся он, отвечая на мой вопрос) ничего общего с теми Питом и пигалицей, которых мы видели когда-то в Эйхштетте, у них не было; а что и с кем было общее или что было в них особенное, он, нет, не запомнил; ничего, наверное, не было; или слишком сам он занят был Китагавой-роси, знаменитым учителем. В общем, симпатичные

Алексей Макушинский

были голландцы, она и он, убежденные дзен-буддисты. Дом был у них замечательный, полуяпонский, полуголландский, с бамбуково-каменным садиком, кирпичным фасадом и маленькими квадратными окошками деревянной пристройки, напоминавшими, рассказывал мне Виктор, нам обоим памятные окошки дзен-до в Дитфурте, в долине Альтмюля, во францисканском монастыре, возле которого я бродил когда-то, слушая шум ручья, и до которого спортивный Виктор доезжал из Эйхштетта на велосипеде. За этими окошками, в полуяпонском, полуголландском доме на острове Тексел (Тексель; с мягким знаком, без мягкого знака) обнаружилось тоже дзен-до; маленькое дзен-до, с пятью подушками у каждой стены; дзен-до прекраснейшее, смолисто-сосновое и с видом из квадратных окошек на пригнувшиеся от вечного ветра сосны, на далеко убежавшее плоское и зеленое поле, морские, уже затихающе-красные, громоздящиеся над соснами облака. Китагава-роси, знаменитый на всю Японию и весь дзенский мир *старый учитель*, в первую очередь (говорил мне Виктор впоследствии, в бетонном садике за Грюнебургским парком) показался ему смешным. Он был, да, классически-крошечный японский старик, с бритым черепом и лицом в деревенских морщинах... Но не это бросилось в глаз Виктору, когда он представлен был роси; в глаза ему, прежде всего остального, бросилась фуфайка, в которую облачен был учитель; фуфайка (sweatshirt) красно-бело-синяя (голландский флаг в фуфаечном исполнении), купленная, очевидно, в местной сувенирной лавчонке, с надписью золотыми и пляшущими буквами по белому полю TEXEL; ничего глупее он, Виктор, никогда и не видел. Старый роси, здороваясь с Барбарой, засмеялся дробным беззубым смехом, очевидно, радуясь появлению такой красавицы в своем окружении; на Викторovo гассё, тради-

ционный японский поклон со сложенными перед грудью, ладонь к ладони, руками, ответил тем же; затем быстро, для Виктора совершенно неожиданно, хлопнул его по плечу, с трудом до этого плеча дотянувшись, детской желтой ладошкой; когда же понял, что Виктор русский, а Барбара полька, захохотал еще веселее, проговориши что-то невразумительное, что, как Виктор не сразу сообразил, означало: о, Достоевский! Английский язык, на котором изъяснялся роси, имел такое же отношение к английскому, рассказывал мне Виктор впоследствии, какое наши пять дзенских слов — дзен-до, дза-дзен, сатори, коан и сессин — имеют к японскому (который он, Виктор, в пору этой голландской поездки уже начал, впрочем, учить, готовясь к поездке в совсем другую сторону, на совсем другой остров...); «л», конечно, роси не выговаривал; к более или менее понятным, если привыкнуть к его произношению, словам добавлял еще какие-то свои, своего собственного изобретенья и производства, никому, как впоследствии выяснил и впоследствии мне рассказывал Виктор, то есть вообще никому не понятные, даже давним ученикам, с давней привычкой к произношению учителя; слова вполне фантастические, с часто повторявшимися слогами и звуками: ко-ко-ро, ро-ко-ко или еще как-нибудь; среди них такие, фантастичность которых он сам, похоже, осознавал, смехом, по крайней мере — смехом в глазах, показывая, что понимает, что никто не понимает его, что вовсе понимать его и не нужно. А нечего понимать, все и так понятно, кипарис во дворе. То есть, в общем, неважно было, что он говорит, говорит ли что-нибудь; Виктор, во всяком случае, сразу почувствовал себя в его присутствии легко, хорошо и свободно; все стало очень просто в присутствии этого старика с вполне японским, вполне азиатским — а в то же время, как вдруг

Алексей Макушинский

умиленно подумал Виктор, с каким-то прямо русским, прямо русским деревенским лицом, лицом русского деревенского дедушки, если не русской деревенской бабушки, чудака и чудачки, из тех, над которыми всегда посмеиваются другие старики и старушки; сходство, многократно усилившееся, когда за ужином надел он очки, рассматривая поданные ему неизвестные голландские кушанья. Очки были круглые, большие и новые (не столь, наверное, парадоксально смотревшиеся на старом японском лице, как очки Д.Т. Судзуки на знаменитой фотографии, некогда висевшей в одной коммуналке...), во всяком случае, вполне современные, какими бы и пожилой бизнесмен, пожилой банкир не побрезговал. Все же Виктор, поднимая голову от картофельного пюре и тушеной фасоли, ясно видел внутренним взором те очки из далекого прошлого, какие у русских деревенских дедушек, деревенских же бабушек — надевающих их раз в неделю, чтобы перечитать равнодушное письмецо от давным-давно уехавших в город детей, растущих в городе внуков, — бывают с треснувшим стеклышком, или оторвавшейся дужкой, или провололочкой, обматывающей дужку и пропущенной в дырочку оправы, рядом со стеклышком, треснувшим или нет. Тушеная фасоль, похоже, удивила роси; опять засмеявшись, пошире распахнул он глаза, отчего седые брови взлетели над роговою оправой и волны морщин побежали по голому черепу. Do you like it (like it)? — вдруг спросил он у Виктора. Виктору, рассказывал он мне много позже, вспомнилась одна из, по его мнению, лучших дзенских фраз, им когда-либо читанных — он только забыл, кто сказал ее, — гласящая, что пережить сатори значит бесповоротно поселиться в этом несовершенном мире, окончательно обосноваться в этой исполненной страдания жизни.

Пиво и шоколад

В доме не было места для всех — только, получалось, для избранных, для старых, верных учеников Китагавы; для неизбранных, для Барбары и для Виктора, были, впрочем, заказаны комнаты в соседней деревушке, в дешевой гостинице. Когда они садились в машину, еще Барбара не разговаривала с Виктором, на него не смотрела; через пару километров по прямой и пустой дороге (выхваченной дальними фарами, вместе с каналом, куском изгороди, насыпью и снова каналом, из сельской сплошной темноты) что-то вдруг переключилось в ней, Барбаре: тайные кнопки, незримые рычажки; вдруг начала она Виктору улыбаться; попыталась и в глаза ему заглянуть (что в смутном свете тойотовых приборов на щитке перед Виктором нелегко было сделать); попробовала и по-русски заговорить с ним (тут же сбилась, выругалась по-польски, а, курва, все, мол, забыла); провела по его руке, лежавшей на переключателе скоростей, своей левой, нераненой. Никакого, как выяснилось, впечатления не произвел на нее Китагава, японский старичок в идиотской фуфайке; ну, старичок и старичок; клоун; то есть она знает, что не клоун, что замечательный старичок, просветленнейший старичок, но как-то... как-то не по себе было ей. Зато остров какой чудесный, как здесь красиво, какой был закат, какой ужин. И какой Виктор водитель великолепный; как он довез их; если бы она сама так водила... И нет, конечно, она спать не намерена; столько впечатлений; так болит ее палец; ей надо выпить что-нибудь в баре; Виктору ведь тоже, она полагает, надо в баре что-нибудь выпить. Виктор к алкоголю не притрагивался; и Виктор устал после долгой дороги; и тоже ему надо было справиться с впечатлениями; все-таки он согласился, изумляясь себе. В гостиничном темном баре обнаружили два гигантских голландца — двойники и бра-

Алексей Макушинский

тя гиганта паромного, знатока орнитологии, — налитые пивом, плененные Барбарой. Барбара их и взглядом не удостоила, Виктору же в глаза заглядывала по-прежнему, рукой до него дотрагивалась, пыталась расспросить его о банковской службе, о Тине, которую пару раз видела. Не только видела она Тину, но видела и ее фотографии, даже, как выяснилось, заходила на ее сайт, листала ее альбомы; восхищалась всем виденным; обнаженным в особенности. А что мы пьем? Мы тоже пьем пиво. Виктор — воду? Ну и пускай Виктор воду, а ей пива хочется. А еще ей сладкого хочется, объявила она, порхая взглядом по потолку. А у нее шоколадка есть в сумочке. Она обожает пиво с шоколадом; пиво с шоколадом — это счастье; пускай Виктор попробует. Она любит неожиданные сочетания, необыкновенные ощущения. Шоколад — фирмы Lindt, не какую-нибудь банальную «Милку» — она отламывала, не таясь от барменши, крошечными кусочками, в четверть квадратика; облизывала кончики пальчиков с по-прежнему порхающим взглядом; и пиво из высокой кружки отпивала тоже крошечными глоточками, какими-то птичьими; опять объявила, что спать не хочет, не будет; надеется только, что бар сейчас не закроют; здесь, в деревне, могут закрыть; в деревнях все всегда закрывается черт знает как рано; она деревни вообще ненавидит, любит только большие, настоящие города: Краков, Париж, Нью-Йорк, на худой конец Франкфурт. Да, вот так, на худой конец Франкфурт, провозгласила белокурая Барбара; затем, заглянув в глаза Виктору своими самыми голубыми, самыми ангельскими, в самую душу проникающими глазами, принялась говорить с ним о Бобе. Не говорить, а жаловаться на Боба. На Бобово к ней невнимание, Бобово к ней равнодушие. Он ко всем равнодушен, наш Боб, вот в чем дело, он относится ко всем одинаково, главное — не понимает людей, не может их оценить, не видит, с кем имеет

дело, верит тем, кому верить не следует, доверяет тем, кому не следует доверять, слушает тех, кого не нужно слушать ни при каких обстоятельствах, и все потому, что он очень, Боб, нерешительный, нерешительный и безвольный, даже, сказала бы она, бесхарактерный, он сам не знает, чего хочет, не способен на поступок и не может настоять на своем, а это самое плохое, что вообще может быть, даже если человек хороший, да что хороший, даже если он замечательный, от этого все несчастья и беды, вот она видит, что Виктор, например, не такой, Виктор прямо идет к поставленной цели, она давно уже восхищается Виктором, просто у нее до сих пор не было случая ему об этом сказать, а Боб — что же? — Боб их учитель, и она ему предана всей душой и всем... сердцем, она все, что угодно, готова сделать для Боба, а все же он не таким, нет, не таким оказался, каким они считали его, говорила Барбара, этим множественным числом объединяя себя с собеседником, предлагая ему признать наконец вместе с нею, что Боб, нет, не таким оказался; чего-то самого важного не понимает, говорила Барбара, Боб; в дзене он мастер, а людей он не видит, не может оценить по достоинству, да и в дзене он, может быть, ошибается, да, да, и в дзене, коан му, например, он толкует очень по-своему, очень оригинально, это его право, кто ж спорит, и вообще он учитель, и она ему верит во всем, она, Барбара, перед ним преклоняется, она предана ему всей душой и всем... да, всем сердцем, однако читала она и другие толкования этого коана му, Виктор их тоже, она не сомневается в этом, читал, Виктор ведь и сам, наверное, решает, уже решил коан му, нет? а какой? ну, какой бы коан ни решал Виктор, говорила Барбара, продолжая дотрагиваться до Викторовой руки своими только что измазанными в шоколаде Lindt, только что облизанными ею тонкими пальчиками, раненым пальчиком и пальчиками другими, продолжая

Алексей Макушинский

заглядывать в Викторovy глаза и в душу своими распахнутыми, огромными, обнажавшими самое сокровенное, самую внутреннюю и потаенную *нутрь* глазищами, умолявшими и Виктора обнажить свою *нутрь*, раскрыть свое сокровенное — какой бы коан ни решал Виктор, — ее это не касается, и вовсе она не претендует на то, чтобы Виктор вот так вот запросто раскрыл перед нею свое сокровенное, обнажил свою *нутрь*, — она, во всяком случае, Барбара, уверена, что свой коан давно уже разрешила, она все знает про это *му*, этот символ великой Пустоты, великого Всеединства, и если Боб упорно, упрямо не принимает ее ответа, то это он из зловредства так делает, это он ее испытует и мучает, ему нравится ее мучить, да, говорила Барбара с вдруг, в одну секунду наворачнувшимися на ангельские глазищи слезами, да, Боб ее мучает, потому что ему нравится ее мучить, ее терзать, ее истязать и над ней измываться, ему вообще нравится мучить людей, пускай уже Виктор признает, что это так, а это так, это так, ему нравится мучить, терзать, истязать, измываться, нравится проявлять свою власть, он наслаждается, да, пускай уже Виктор признает, просто-напросто наслаждается он, Боб, своей властью над людьми и над душами, это он только прикидывается таким тихоней и скромником, таким застенчивым и улыбочивым, а на самом деле он властный, он безвольный и властный, а это самое ужасное, что вообще может быть, пускай уже Виктор с ней согласится, ведь Виктор же с ней соглашается? да? да? соглашается? это самое ужасное, когда человек безвольный и властный одновременно, властный, безвольный, капризный, ему нравится терзать тех, кто ему предан всей душой и всем... всем-всем сердцем, а перед другими, сильными, он тушуетя и пасует, всему верит, всем доверяет, ведь правда же? ведь Виктор же с нею согласен? она видит, что Виктор с нею согласен,

не сомневается, что Виктор с нею согласен, а спать — нет, спать она не будет, не хочет, и если бар сейчас закроет голландская деревенщина, то можно взять с собой пиво, взять с собой, раз уж такой Виктор трезвенник, минеральную воду и посидеть еще в номере, у него, у нее.

Настоящие облака

Виктор к ней не пошел, к себе не позвал; лежа в высокой деревенской кровати, в маленькой комнате под скошенным, смолою пахнувшим потолком, мучительно и отчетливо представлял себе, что было бы, если бы он сейчас постучал в соседнюю дверь, какие гибкие, плотные прелести у Барбары таятся, небось, под блузкой, под джинсами; думал о том, что ведь ему нравятся, на самом деле, блондинки; что он не может изменить Тине; главное, что не хочет ей изменять; сквозь тишину и шум морской ночи, шуршавшей ветром по соломенной крыше, слышал, или так казалось ему, за тонкой стенкой призывные вздохи; спал, короче, ужасно. А вставать надо было в непроглядную рань, чтобы поспеть на дза-дзен; в машине Барбара снова не говорила с Виктором; смотрела букою, пуча губки, затем зевая во всю молодую мощь. Китагава-роси был тоже другой, далекий и строгий; в черном кимоно с золотым нагрудником; дза-дзеном распоряжался хозяин-голландец; следил за временем и ударял битой по миске; роси сидел даже не на почетном месте, а просто между Бобом и кем-то из членов местной островной сангхи, пришедших поучаствовать в процедуре. Все-таки Виктор снова, как он впоследствии мне рассказывал, почувствовал себя иначе, свободнее, легче и проще в молчаливом присутствии Китагавы, при том, что сам дза-дзен в то утро у него был плохой; даже на своем дыхании не мог он сосредоточиться, тем менее мог сосредоточиться на коане, поисках подлинного лица, уже

Алексей Макушинский

окончательно опостылевшего ему. После дза-дзена был завтрак; после завтрака — докусан для тех, кого Китагава-роси считал своими учениками: для Боба и его голландских дхармических родственников, докусан долгий, как заранее предупредил Виктора и Барбару Боб, так что Виктор — Барбара куда-то исчезла — поехал один в ту часть острова, обращенную к открытому морю, где были дюны, поросшие колкой серой травой и фиолетовым вереском, кирпичная, с песчаными заносами, пешеходная дорожка в дюнах, выводящая к морю, наконец пляж, широкий и совершенно пустынный в это ветреное, все еще раннее утро, серые столбики непонятого назначения, сверкающие отражения облаков на мокром песке, смываемые новой волною. Он скоро продрог на ветру; спрятался за неожиданным рулоном ржавой проволоки, за какими-то полусгнившими досками, от ветра, впрочем, укрывавшими скорее символически; долго сидел так, пересыпая руками песок, глядя на смываемые водой облака — и облака настоящие, горно-снежные изменчивые громады; отчетливо сознавая, что коан ему не решить — и не надо, своего изначального лица не найти, Бобу не показать — ну и Бог с ним, а в то же время вновь и с несомненностью чувствуя, что это он смотрит, не кто-нибудь, тот подлинный он, по ту сторону всех личностей и личин, который всегда есть, всегда здесь, кого не спрятать, кто всегда раскрывается — во всем, что он делает, во всем, что он думает.

Баба Руфина

Он очень не выспался; на мгновение, показалось ему, задремал; когда же снова открыл глаза, увидел пожилую пару в брезентовых куртках: грузноватого мужчину и стройную седовласую женщину, не замечавших его, боровшихся с ветром, бросавших палку большой белогрудой густо-рыжей шотландской овчарке. Овчарке не очень, видно, хотелось за-

прыгивать в холодную воду; все же бежала она за палкой, глубокие следы оставляя на светящемся мокрым песке, на смываемых волнами облаках. Обладает ли собака природой Будды? — Конечно, обладает: особенно — колли. Женщина попыталась спрятать волосы под косынку; на ветру не справилась; увидела Виктора; улыбнулась. Нет, они только со спины похожи были на его, Викторовых, дедушку и бабушку, которых так часто он вспоминал теперь (теперь, когда прошлое к нему возвращалось); лица были другие, голландские. Но со спины было сходство мучительное — из-за брезентовых курток, наверное, в которых те, заядлые геологи и любители дальних походов, в его детстве тоже щеголяли на даче. Он долго смотрел им вслед, потом встал, потом сделал один, другой и третий шаг вслед за ними, как будто намереваясь догнать их, заглянуть в их лица, убедиться еще раз, что это не его дедушка, не его бабушка. А что бы он отдал, чтобы вот сейчас их увидеть... Он сам удивился, поймав себя на этой мысли; вернулся к доскам и проволоке; начал считать свои выдохи. Его дедушку звали так же, как и его самого, вернее его звали так же, как дедушку, назвали в честь дедушки, но он никогда не обращался к нему по имени, да и к бабушке по имени не обращался, говорил просто: бабушка или, как многие дети: баба, а про себя и с собою говорил всегда: бабушка Руфина, баба Руфина, с самого раннего детства дивясь экзотической красоте этого и вправду редкого имени. Ему казалось, оно как-то связано с финиками. В сонной памяти всплыло словечко руфиники, неизвестно кем придуманное, чуть ли не братом Юрой, до их совместного рокового купания. Она любила действительно финики, личи никогда не видала и о личи не слыхивала, а финики всегда хранила в каком-нибудь тайном кулечке, бумажном и желтеньком, эти липкие, волглые, смявшиеся, иногда почерневшие социали-

Алексей Макушинский

стические финики, совсем не такие крепкие, сочные, облые, какие он здесь покупал в биоловках; в его самом раннем детстве и вправду вынимала, наверное, косточку, потом уже нет, просто протягивала ему — вот, возьми, Витенька, — один финик, потом другой финик, больше тебе не надо; и в лице у нее было что-то, как дедушка утверждал, финикийское; и он думал, опять-таки, в детстве, что это тоже от фиников, от чего же еще? и она долго (только он уже не помнил теперь, когда и где это было) смеялась, услышав его этимологические соображения, трясая своей шапкой мелко вьющихся густо-черных волос, странно седевших отдельными прядками, особыми завитками над тонким, очень восточным, очень, в самом деле, потому что еще каким же? финикийским лицом; и в общем выходили руфиники; словцо и словечко, которое теперь звучало в нем, выросшем Викторе, вечность спустя, вместо всякого коана и всякого счета выдохов, на берегу немолчного моря, заполняя собою какие-то внутренние, в нем самом открывавшиеся пространства: руфиники, финики, финики-руфиники; отчетливо и еще очень долго, со своим же собственным эхом звучало в нем, в полусне и дремоте, на весь пляж и на всю буддистскую пустоту; вдруг, минут на десять или пятнадцать, ничего больше не было в мире, кроме этих руфиников, фиников, фиников.

Все это шутка, просто перестань думать

Совсем другое море — в другой стороне, обращенной к материку; море, по-немецки называемое Wattenmeer, по-голландски не помню как, но как-то похоже; замечательное тем, что во время отлива его нет, а во время прилива оно опять есть. Был прилив, когда все общество (как если бы не из просветленных и недопросветленных дзенистов, а из обык-

новенных отпускников, отобедавших отдыхающих оно состояло...) отправилось (перед Бобовым с учениками отъездом в Германию) на прогулку по той насыпи, которая всегда и во всех странах, где есть это *ватное море*, отделяет его от суши (чтобы во время прилива не разлилось оно по плоской земле). Прилив был, и море не разливалось. Поскольку прилив был, то не удалось им, как надеялся Виктор, увидеть вязкое дно со следами отволновавшихся волн и всем тем таинственным, что море оставляет после себя, теми водорослями, теми ракушками и моллюсками, которых собирают любители этого дела; любителей тоже не было; вообще никого не было; только тихое море с одной и зеленые летние луга с другой стороны от насыпи, где, впрочем, вскорости обнаружили овцы, причем необыкновенные овцы, квадратные, каждая размером с небольшого бычка, маленькую корову; овцы, вызвавшие восторг Китагавы, поначалу шедшего, опираясь на черную палку, рядом с голландским хозяином. Крошечный Китагава при виде этих гипертрофированных овец захохотал так громко, что и сами овцы оторвались от травы, уставились на него; тогда старик стал тыкать в их сторону палкой; попытался что-то им сказать по-японски; овцы отвечали негодующим бляением; потом побрели прочь, от греха подальше, на другой луг с не менее зеленой травой. Китагава хохотал долго; еще дохохатывал, когда Виктор оказался с ним рядом. Барбара липла к Бобу; голландцы ушли вперед. А может быть, это тоже так было подстроено, что они оказались вдвоем, далеко от всех остальных, говорил мне впоследствии Виктор; во всяком случае, Китагава, вновь облаченный в свою немислимую фуфайку, в сиреневую почему-то куртку-ветровку (которую иногда он расстегивал, как будто показывая надпись TEXEL — острову Тексел) — Китагава смотрел на него испытующим, даже строгим взглядом, потом, как если бы он одобрил и принял что-то, взглядом смягчившимся и

Алексей Макушинский

смеющимся; потом стал смотреть в сверкавшую перед ними даль *ватного* моря. Идти рядом с роси было довольно трудно, рассказывал мне Виктор впоследствии; вновь и вновь он был вынужден пригибаться, прислушиваться... Никакого дзена нет, как мы уже знаем; каков человек, таков и дзен. Китагава и заговорил с ним на своем фантастическом, собственного производства, английском языке о том, что нет никакого дзена; зря он думает, если так он думает, что какой-то дзен есть. Это только шутка, коаны и все это. *It's just a joke, koans and all that. It has no importance. No importance at all...* Слова эти тоже, наверное, были шуткой, были только словами; не в них было дело. Пережить сатори значит бесповоротно поселиться в этом исполненном страдания мире, окончательно обосноваться в случайности. Все случайно: случайные обстоятельства, вот эта поездка, вот эта бредовая Барбара, уходящая с Бобом, эти голландцы, эти голландские овцы... Обосноваться в случайности, войти в безысходность. Он не мог по-прежнему объяснить себе, не мог потом и мне объяснить, почему так свободно и легко себя чувствовал, идучи по защитной насыпи между лугами и морем с этим крошечным стариком в фантастической фуфайке с надписью *TEXEL*, наклоняясь к нему в надежде снова поймать взгляд его узких, насквозь ясных глаз. Во всяком случае, он твердо решил отправиться, наконец, на совсем другой остров, другой край света, осуществить свою мечту, не откладывать более, увидеть Токио, Киото, прожить хоть три недели, уж сколько получится, в северной горной обители. Надо просто перестать думать, *stop thinking* (стоп синькинъ), ты сам увидишь, как это просто. Это *just a joke*, так просто. Перестать думать, перестать бояться перестать думать, *stop being afraid to stop thinking*. Отпустить себя на волю — и все тут. Это просто, проще простого, ничего не бывает проще. *Just do it now, stop синькинъ nau. All is well* (ор из вер), никакого дзена нет,

коан — это шутка, look around you, все хорошо. Облака стояли, как это бывает на море, каждое само по себе, отдельными облачными скульптурами, со всех сторон объатыми сиянием синевы; пахло свежескошенную травую, водорослями, вдруг и почему-то одеколоном (которым роси, что ли, попрыскал на себя перед выходом?); затем, понятно, пахло навозом; пахло машинным маслом, тоже непонятно откуда; ни волны, ни лодки не было на море, только чайки вдруг вскрикивали; роси замолчал, и Виктор не решался заговорить; солнце пробегало по их круглым, бритым, синим головам, еще молодой и уже очень старой, осенним, неяростным жаром.

Толстопузые нэцке

И он улетел в самом деле в Японию, в Токио и затем на Хоккайдо; и когда возвратился, много раз рассказывала мне Тина (в очередной раз, в бессонную ночь, мою вторую, точнее под утро, когда я лежал на ее кожаном диване, глядя, как яснеют зазоры между планками в эркерном жалюзи и все более светлыми становятся полосы на стенах и мебели) — когда возвратился, рассказывала мне Тина, все сразу же изменилось. Она до сих пор не провожала, не встречала его на аэродроме: слишком часто он улетал, прилетал. На этот раз почему-то решила встретить. И уже на аэродроме почувствовала, что он не такой, каким был до сих пор. Он был очень веселым, очень нежным к ней, привез ей в подарок маленькую, наверное, недешевую, коллекцию нэцке, смешных крошечных фигурок, деревянных и толстопузых, рассказывал всякие небылицы; а все-таки был другим, каким-то был — моментальным; тот зазор между помыслом и поступком, предположением и действием, который у всех людей бывает больше или меньше и в разное время бывает разным у одного человека (который у Тины, с ее мечтательной полнотою, всегда был немаленьким) — зазор этот

Алексей Макушинский

(думала и потом говорила мне Тина) вдруг сократился у Виктора почти до полного исчезновения. Все мгновенно происходило теперь в его жизни, без перерывов, без промежутков; без задумчивости; без окон во времени. Она уже не поспевала за ним.

Стеклянные часы, скоростной Виктор

Я тоже помню этого другого (моментального) Виктора, возвратившегося из Японии; он с тех пор и не переставал быть другим. Если он и вправду (как я понял из его позднейших намеков, позднейших рассказов) в ту японскую поездку пережил свое первое кен-сё и сатори, первое прозрение и просветление (за которыми, судя по всему, последовали другие просветления, другие прозрения), то могу засвидетельствовать, что кен-сё, даже первое и еще неглубокое, изменяет что-то (но что же именно?) в самом, как в позапрошлом веке было принято выражаться, составе пережившего это кен-сё человека; Виктор, во всяком случае, когда я снова встретился с ним в 2008 году все в том же Франкфурте (куда приехал впервые с 2004-го — и вовсе не затем приехал, чтобы, например, помириться с давно исчезнувшей из моей жизни Викой, а по совсем другим, к нашему сюжету не имеющим отношения делам, о которых мне сейчас неохота, пожалуй, рассказывать) — Виктор, которого видел я всего годом ранее в Мюнхене (когда мы ходили с ним и с Тиной к тибетцам поглазеть на поддельную знаменитость), затем в Эйхштетте (где встретили облысевшего Гельмута) — Виктор теперь, через год, показался мне (пытаюсь просто передать свое ощущение) прозрачным — не для других, не для меня, не для Тины, — но прозрачным для себя самого, как если бы внезапный свет случившегося с ним за пару месяцев до нашей встречи сатори высветил в нем самом углы и закоулки, для нас, простых смертных, на всю жизнь остающиеся темными, страш-

ными. Просветление, может быть, совсем не надо понимать патетически; просветление, может быть, есть — высветление (углов, закоулков...). Бывают часы, например, настенные, не деревянные, не железные, но стеклянные или сделанные из прозрачного пластика, часы, которые демонстрируют миру не только стрелки и циферблат, но и все свои шестеренки, свои колесики и пружинки, свое внутреннее устройство. Я помню, что подумал о таких часах, присматриваясь к этому новому для меня Виктору — не потому что видел теперь его шестеренки, а потому что он сам, я думал, их видел, сам сделался для себя такими прозрачными стенными часами. По этой же причине сделался он — для других, для меня — еще загадочнее, чем всегда был; этот внутренней свет усиливал, по контрасту, внешнюю тьму, его окружавшую, границу, отделявшую его от иначе устроенных, для себя самих непрозрачных людей. И, значит, уместнее (думал я) было бы сравнение с часами, в природе не существующими, закрытыми для окружающих, но снабженными тайной лампочкой, позволяющей одной шестеренке узреть другую, одному колесику познакомиться с остальными колесиками. Все это были, наверное, мои домыслы и фантазии (которыми пытался я заговорить ту очень смутную, себя саму не вполне сознающую, пожалуй, тревогу, которую вызвал у меня этот новый Виктор). Во всяком случае, он был рад встрече со мною, сам сообщил мне об этом, не сомневаюсь, что искренне, с неожиданной и тоже новой для меня прямоотой; с удовольствием, с какой-то даже светской оживленностью рассказывал о Японии, впрочем, рассказывал о ней так, как любой турист мог бы рассказать о Японии, то есть рассказывал о, понятное дело, совместных банях, о трусах и носках, которые — с легким паром — можно купить в автомате, похожем на кока-кольный, о всяких других туристических прелестях, центральной торговой

Алексей Макушинский

улице с ее необозримыми толпами — каждый второй в белой маске, — о семи автострадах и пяти железнодорожных линиях, которые открывались перед ним из окна токийской гостиницы, о поездке в знаменитый монастырь Эйхей-дзи, самим Догеном основанный, где тоже туристов было немало, о знаменитых же садах камней в Киото, о скоростных поездах, пронсящих сквозь отмененный ими ландшафт, о том, как он заблудился и запутался в Осаке, о безумном, безудержном мерцании ночных неоновых надписей.

Винфрид и Эдельтрауд

Почему Тине пришло в голову устроить совместный ужин у своих родителей, я не знаю до сих пор, а она не помнит или отказывается вспоминать (потому, может быть, что мы когда-то говорили о них, об их древнегерманских именах, в драконьем экспresse). Родители ее, в ту пору уже очень пожилые (отцу было за восемьдесят; он оказался, при ближайшем знакомстве и разговоре, ровесником моей мамы, что нас сразу с ним сблизило), еще очень, для своего возраста, бодрые, еще не угнетаемые болезнями — еще собиравшиеся путешествовать, чуть ли не в Калифорнию, — жили в собственном небольшом, все-таки двухэтажном, доме, на одной из франкфуртских ближних окраин, по соседству с телебашней (спроектированной Фрицем Леонгардом, создавшим, среди прочего, тот мост через Рейн, по которому я езжу теперь чуть ли не каждый день в университет и обратно; удивительно, какую роль играет он в моей жизни и прозе...) — доме, я подумал, построенном примерно в то же время, в шестидесятые годы, годы германского процветания, и в том же (бесстильном) стиле, что и Бобов (Бобу, конечно, не принадлежащий) дом в Кронберге. Здесь такое же было окно во всю стену, такая же дверь на террасу и в садик. Са-

дик был здесь несравненно более ухоженный, трудами Тининой мамы, хотя только первые крокусы, желтенькие и синие, вылезали из весенней рыхлой земли, еще очень отчетливо проступавшей сквозь первую, робкую травку лужайки. Этими крокусами следовало полюбоваться, повосхищаться. Уж полюбуйте, повосхищайтесь, объявила Эдельтрауд, Тинина мама, заметив, видно, мое равнодушие к сим первым вестникам пробуждающейся Натуры. Глаза ее смеялись при этом — и смеялись потом во все продолжение ужина, за которым она и рассказывала что-то, мне помнится, довольно смешное об их поездке в Голландию (Виктор и вида не подал, что сам был недавно в Голландии), куда они с Винфридом ездили просто так — теперь, когда у них есть время и есть еще силы, они просто так всюду ездят, — и где она, Эдельтрауд, первым делом простудилась в супермаркете, потому что голландцы — люди чрезвычайно странные, не такие, наверное, странные, как японцы (Виктор улыбнулся светской улыбкой), но тоже не без чудачеств; голландцы, например, укладывают в супермаркетах свои молочные, как, впрочем, и мясные продукты, очень, кстати, хорошие, лучшие, чем в Германии, все свои эдамские и лимбургские сыры, свои окорока, паштеты, колбасы, ветчины не в холодильные шкафы, сундуки, рундуки, как это делают во всем мире все нормальные люди, а расставляют их по полочкам в огромных замороженных комнатах, так что, стремясь купить йогурт или масло, тыходишь в холодильник, где у тебя зубы начинают стучать и клацать через пару минут, еще до того, как ты успеваешь сделать свой трудный выбор между сыром эдамским и лимбургским, и где она, Эдельтрауд, немедленно простудилась, потому что день снаружи был жаркий, и она очень хотела бы понять, что себе думали эти голландцы, изобретая эти холодильно-пыточные камеры: о закалке ли собственного населения, или об отпу-

Алексей Макушинский

гивании и постепенном уничтожении туристов, ненавистных германцев и вообще всех прочих приезжих, или ни о чем не думали, за отсутствием привычки думать о чем бы то ни было. Когда она говорила это, и особенно когда умолкала, губы ее складывались ироническим бантиком — и сквозь семидесяти-наверное-летнюю женщину с седой завивкой, свойственной пожилым немкам, проступала та насмешливая девочка, которой она была некогда, из которой ни монастырская школа, ни католический интернат не сумели вытравить эту природную насмешливость, впрочем беззлобную.

Макс Фриш, руинные женщины

Они оказались чуть-чуть похожи друг на друга, Тинины папа и мама, которых в первый и в последний раз я видел в тот вечер, как бывают друг на друга похожи муж и жена, прожившие вместе целую долгую жизнь, хотя в чем, собственно, заключалось это сходство, я и тогда не мог, и теперь не могу сказать; оно заключалось, наверное, в выражении глаз и лица, хотя ни в какой детский бантик у восьмидесятилетнего Винфрида губы не складывались, и ни мальчика, ни, что для меня было бы интересней, мальчишку, убежавшего, не дожидаясь восемнадцати лет, на войну, я не мог разглядеть в этом плотном, невысоком — его жена была выше его, — идеально лысом старике, потихоньку, действительно, переставлявшем на столе солонку и перечницу, чашу с салатом и узкогорлую вазочку с не помню каким цветком; разглаживавшем скатерть перед собою мягкими, крапчатыми руками. Его лысина не блестела, как Викторов синий череп, но мерцала матовым, приглушенным, тоже крапчатым, как под деревьями, светом; самым, впрочем, примечательным в его облике были очки; очки большие, тяжелые, в черной оправе; из той породы очков, которые словно предлагают окружающим в глаза очкари-

ку без нужды не заглядывать, вообще вести себя тихо; каких теперь уже никто, пожалуй, не носит; какие носил, например, Макс Фриш, на всех или почти на всех своих фотографиях в таких очках явленный миру. Столь сильным казалось мне сходство, что уже почти ждал я, когда же, наконец, достанет он трубку, начнет возиться с ней, как это всегда делал Фриш, и очками, и трубкой закрывавшийся от посторонних. Трубки он не курил, но мое сравнение ему явно понравилось. А он был знаком с Максом Фришем, сообщил он, снимая очки, сам, в свою очередь, рассматривая их, словно никогда их прежде не видел. То есть как знаком? — поправил он сам себя; нельзя сказать, что и вправду знаком... Ты с ним был знаком, а он с тобой нет, объявила Эдельтрауд, складывая губы в детский иронический бантик. Вот именно; Макс Фриш, разумеется, его не запомнил, а он снимал Макса Фриша сразу после войны, когда тот приезжал во Франкфурт, в сорок шестом или в сорок седьмом году. Франкфурт лежал в развалинах, говорил Винфрид, указывая рукою в сторону телебашни, ясно видимой в широком окне, да никакого и не было Франкфурта, одни только и были развалины, случайные стены, оставшиеся от погибших домов, горы щебня и тропинки между ними, как в настоящих горах. Репейник рос возле собора... Уже были первые, однако, газеты, разрешенные американцами, лицензионные, как их тогда называли, и он фотографировал для этих газет, а когда начали снова устраивать ярмарки, то делал о них репортажи, хотя что это были за ярмарки! — одно только слово ярмарки — в каких-то балаганах, сколоченных на скорую руку или даже без балаганов, прямо на улице. Зачем Макс Фриш приезжал тогда во Франкфурт, он, нет, не помнит, зато хорошо помнит, как после съемки шел с ним по разрушенному Ремеру, главной франкфуртской площади, этой площади тоже не было больше, было два обрубленных фасада с пустыми окнами и небом за ними, и Фриш рассказывал о бассейне, который стро-

Алексей Макушинский

ил в Цюрихе, он ведь был еще и архитектор в те годы, как я, может быть, знаю (я знал), и это было очень странно, говорил Винфрид (через фришевские, снова надетые им очки всматриваясь во франкфуртские развалины сорок шестого года, в пустое небо за окнами Рёмера), очень странно это было для него, только что возвратившегося домой (он не сказал откуда; я потом узнал, что из плена), очень странно было идти со знаменитым писателем по этим тропинкам между щебеночными горами, глядя на женщин в ярких косыночках, из рук в руки передававших друг другу какие-то камни, на этих *руинных женщин*, Trümmerfrauen, как их тогда называли, и беседовать с ним о плавательном бассейне с многоступенчатой вышкой для прыжков в воду, который тот как раз строил в Цюрихе. А той улицы в Остенде, куда Фриш попросил проводить его, тоже не было больше, а значит, и адреса не было, по которому он пытался отыскать каких-то своих знакомых, были все те же *руинные женщины*, передававшие камни друг другу, все тот же репейник, бурно росший среди остатков фундамента.

Немыслимая рыба, невероятное мясо

Явно хотелось ему говорить обо всем этом — как вообще любят поговорить о прошлом старые люди, если найдется у них хоть сколько-нибудь внимательный слушатель. Внимательный слушатель, в моем лице, у него в тот вечер нашелся. Жене и дочке эти (давно, видно, не новые для них) рассказы были (почти нескрываемо) неинтересны. Виктор лучше их изображал интерес, иногда кивая, изредка улыбаясь; а больше стремился помочь Эдельтрауд, ему в угоду приготовившей ужин скорее вегетарианский, довольно вкусный, очень немецкий; другой заботы у него, похоже, и не было, как что-нибудь унести, принести; собрать тарелки и расставить другие тарелочки; разлить вино, которого сам не пил,

по бокалам; по стаканам — минеральную воду. Все, казалось, считали это чем-то само собой разумеющимся; Тина со своего стула и не вставала; мне тоже ничего не позволили ни унести, ни принести, ни расставить. А все-таки поймал я, мне помнится, иронически-удивленный (к тому времени уже, наверное, привычно-удивленный, привычно-иронический) взгляд, пару раз брошенный Эдельтрауд на ее как бы зятя, его бритую голову... Ее губы складывались по-прежнему в бантик, по завитым седым волосам проводила она подагрической рукою тоже с какой-то тайной, мне показалось, ухмылочкой, словно что-то смешное было для нее самой в этой банальной прическе, и отказать себе в удовольствии поделиться с нами уморительными впечатлениями, вынесенными ею и ее мужем из недавней их, просто так (у них есть теперь время, и всюду ездят они просто так), поездки в Голландию, по-прежнему она не могла. Был, к примеру, замечательный полицейский, знаток английского языка и местных гастрономических наслаждений, остановивший их в Дельфте, куда они поехали с Винфридом после того, как она, Эдельтрауд, так удачно купила йогурт и сыр, эдамский и лимбургский, в придуманной голландцами для отваживания туристов холодильно-пыточной камере. То есть она чихала и кашляла после похода в незабываемый супермаркет, и потому машину вела рассеянно, она не станет отрицать очевидного, хотя вообще-то машину водит отлично, не хуже, вот, Виктора, но в тот день, в том Дельфте запуталась, не туда куда-то заехала, решила развернуться на совершенно пустой, длинной улице, а сплошной линии не заметила, а если заметила, то решила, что наплевать, что нарушит, и только пересекла она эту линию, как откуда ни возьмись на совершенно пустой улице появилась машина, более или менее гоночная, на крыше у машины появилась мигалка, завывла сирена, и когда они в ужасе остановились, из машины вылез громад-

Алексей Макушинский

ный голландец, непонятно каким образом там помещавшийся, с глазами такими голубыми, такими прозрачными, каких она, Эдельтрауд, в жизни своей еще, наверно, не видывала. Первым делом поинтересовался прозрачноглазый, говорят ли они по-немецки; страшно изумлен был, узнавши, что говорят; повторил по-английски вопрос свой — и что бы сам ни говорил потом, все сразу же переводил на английский, как если бы то обстоятельство, что пожилая пара в машине с немецким номером может говорить по-немецки, по-прежнему повергало его в изумление. Сплошные линии не надо пересекать, даже в Дельфте. Да, вот она задумалась, запуталась, она, чих-чих, простудилась... Это случается, величественно ответил полицейский, продолжала Эдельтрауд рассказ свой, смеясь глазами и складывая бантиком губы. Они думали, что сейчас будет штраф какой-нибудь астрономический; вместо этого спросил их гигант, обедали они уже или нет. Обедали они уже или нет? Ну да, они, что же, не понимают вопроса? Haben Sie schon, have you already, zu Mittag gegessen? Они... zu Mittag... да нет, вроде бы, они еще нет... Ах так, они искали, значит, где бы им пообедать? Он скажет, где им пообедать. Они должны повернуть сейчас налево, потом направо и еще раз направо, zweimal rechts, to the right and then once more to the right, понятно им? и затем все прямо ехать, десять минут, и там они будут обедать, там хорошо. Они что предпочитают на обед? мясо? Если они мясо предпочитают, то им непременно нужно ехать туда, куда он сказал: налево, направо и еще раз направо, там мясо отличное. Или они рыбу предпочитают? Если они рыбу предпочитают, то им надо ехать туда же: налево, направо и направо, там просто великолепная рыба, невероятная рыба, нигде в мире небывалая рыба, вот так-то. А сплошные линии пересекать не надо, даже в Дельфте, пускай они об этом подумают. Gute Fahrt, приятного путе-

шествия. И gute Besserung, выздоравливайте, мол, поскорее. После этого снова сел он в свою машину, непонятно как в нее запихнувшись, взревел мотором, рванул с места, испустил грозный газ, оставив их с Винфридом на совершенно пустой по-прежнему улице, очень длинной и безутешной (trostlos), на солнечной стороне, в полнейшей растерянности. И что же, смеясь, спросил Виктор, они поехали обедать, куда им было приказано? поели мяса? или попробовали небывалую рыбу? Ну вот еще, чуть не с упреком ответила Викторова как бы теща, проводя рукой по завивке, никуда они не поехали; пообедали в городе, потом пошли в музей Вермеера, ради которого вообще-то и приезжали.

La douce France

Это все было весело, и восьмидесятилетний Винфрид тоже, помню, смеялся. Гораздо больше, я видел, хотелось ему говорить не о том, что было в прошлом году в Амстердаме и Дельфте, а о том, что было во Франкфурте — или во Франции — во времена его молодости, раз уж он нашел в моем лице столь благодарного слушателя. Ужин закончился в самом деле сыром, на французский манер; потом был десерт, скорее итальянский, скорее невкусный, приготовленный и принесенный из дому Тинной; что до красного вина, то пил его, в сущности, один Винфрид, с моей легкой помощью, не пьянея или, может быть, совсем незаметно пьянея; никто, к моему удивлению, не попытался остановить его, когда откупоривал он третью бутылку. Солнце садилось за телебашней, густеющей и царственной желтизною, микенским золотом заливая огромную комнату, в которой сидели мы, с ее безотрадно-банальной обстановкой — ее коврами, буфетом из тяжелого темного дерева, ее, в дальней части, теле-

Алексей Макушинский

визором, диваном и креслами, журнальным столиком с как будто кафельною столешницей, с аккуратной стопкой глянцевого журналов (телевизионная программа, кроссворды) у края этой столешницы, двумя пультами (от самого, небось, телевизора и DVD, наверно, проигрывателя), тоже ровнехонько лежавшими рядышком возле журнальной стопки. Вон в том кресле, с ушками, у окна на улицу, сидит по вечерам, подумал я, Тинин папа, вот в этом, тоже с ушками, Тинина мама. О чем говорят они, глядя на экран? или все уже сказано? Тинины фотографии, развешанные по стенам, спасли меня от вдруг накотившей печали — так отрадно, абсурдно в своей, скажем, модернистско-индустриальной эстетике не соответствовали они всему остальному: этому столику, этим креслам (предполагавшим и даже требовавшим, я подумал, каких-нибудь вихрясто-морских пейзажей, каких-нибудь лугов, коров, пастухов на фоне лакированных гор), фотографии ранние, как я теперь понимаю, времен Тинино ученичества, какие-то, или так мне запомнилось, сталелитейные котлы, резкие ракурсы, абстрактное небо. Уже не помню, как от послевоенного времени перешли мы к военному; помню, что Винфрид, блестя крапчатой лысиной и разглаживая скатерть крапчатыми руками, спросил меня, где и как пережила войну его ровесница, моя мама; все они, кроме Виктора, довольно смутно представляли себе географическое положение Ташкента. Нет, он не был на Восточном фронте, Бог миловал, сообщил Винфрид, давая понять, похоже, что не стрелял ни в моих, ни в Викторовых родственников; он воевал только во Франции; стрелял же больше из фотоаппарата, и, в сущности, только из него (*nur Bilder geschossen*), потому что всегда увлекался фотографией и думал, что станет фоторепортером, если выживет, и даже ненадолго стал им в первые годы после войны, но потом занялся коммерцией, основал свое дело, свое фотоа-

телье с фотолашкой; теперь вот Тина фотографирует за него, добавил он, кладя свою крапчатую на ее толстую, плотную, навсегда детскую руку (Тине, показалось мне, это не очень понравилось). Во Франции он снимал по долгу службы, продолжал он, не объясняя, в чем состояла эта служба — я спросить его не решился, — и снимал просто так, для себя, и если я хочу посмотреть, у него есть несколько альбомов с военными фотографиями, за которыми он сходит сейчас наверх. Это, показалось мне, не понравилось Тине еще сильнее; даже, помнится, проговорила она что-то вроде: ах, папа... Но, конечно, мне так хотелось посмотреть эти альбомы, а ему так хотелось мне показать их, что альбомы явились. Когда альбомы явились, Тина с мамой исчезли, ушли на кухню, потом пошли на лужайку — любоваться в последнем свете первыми крокусами; все свое детство, и юность, и вообще всю свою жизнь она отказывалась рассматривать эти военные альбомы, говорила мне Тина впоследствии, в ту бессонную ночь, уже давно переставшую быть ночью, когда я лежал у нее на кожаном диване, глядя на ясневшие, набравшие силу, уже уверенные в себе прорези света между планками жалюзи; ее сестра Вероника тоже отказывалась; да и мама рассматривать их не хотела. Ее мама родилась в семье строго католической, рассказывала мне Тина, всякому нацизму безусловно враждебной, и училась в монастырской школе, жила в интернате при этой школе, где совсем другие ей прививали понятия, ценности и стремленья. В общем, никто из них ничего и слышать не хотел о военном прошлом своего мужа, своего папы, так что ему не с кем было, бедняге, поговорить обо всем этом — а поговорить хотелось, потому он на меня и набросился, — кроме старых товарищей, братьев по оружию, изредка его навещавших или встречавшихся с ним во Франции на тех тоже нечастых сборах, куда он пару раз в ее детстве брал с

Алексей Макушинский

собой Тину. Едва она выросла, как тут же и перестала с ним ездить. Они мечтали, она и Вероника, никогда ничего об этом не знать и не слышать; все боялись услышать и узнать что-нибудь страшное, что-нибудь такое, после чего уже не смогли бы так любить своего папу, как они любили его. Ничего страшного им и не пришлось никогда узнать; им повезло. И в альбомах, которые они так дружно отказывались, которые я в тот весенний вечер как раз мечтал посмотреть, ничего чудовищного не обнаружилось; наоборот, там было все прекрасно и весело; не война, а каникулы. Это были три альбома, помнится мне, — из тех военных альбомов, которые, как выяснилось, в Третьем рейхе заранее заготовливались для сентиментальных воинов, любителей «Лейки» и поклонников фирмы «Агфа», так что им оставалось только вклеить туда свои заветные снимки; на одном из них, на обшарпанной по краям картонной и синей обложке обнаружил я вытисненную золотыми, поблекшими готическими буквами надпись *Zur Erinnerung an meine Dienstzeit*, «На память о моей службе», обнаружил и золотого имперского орла, *Reichsadler*, маленького, с насупленным клювом, в верхнем углу, и выскобленное место под ним, где некогда была, наверное, свастика, которую, значит, любовно придерживал он когтями; и, уж конечно, не мог я не вспомнить ту страницу в «Других берегах», где Набоков рассказывает о своем берлинском предвоенном знакомом, увлекавшемся фотографиями казней, — и как он, наверное, теперь, в гемютном городке, избежавшем бомбежки, демонстрирует другим участникам гитлеровских походов и опытов те несравненные снимки, которые удалось ему сделать за время этих опытов, этих походов. Франкфурт бомбежки не избежал, ничего гемютного нет в нем в заводе, а вот что-то ужасающе гемютное, невыносимо нормальное было в самих фотографиях, так показывавших прекрасную Францию, *la douce France* — с ее дорогами, тополями, пирамидальными

или нет, крапчатым светом этих дорог (отпечатавшимся на Винфридовом черепе на всю его дальнейшую жизнь...), нежным кружевом готических соборов, нежной плотью платанов, паутинкою Эйфелевой, понятное дело, башни в парижском сереньком небе, с ее кафе и девушками в кафе, шляпками и улыбками этих девушек, — как если бы никаких казней и вообще никакого горя в ней не было никогда — ни в XX веке, ни, скажем, в XV. Тут же рядом были военная техника, грузовики, пушки и лошади, мирно передвигающиеся по этим прекрасным дорогам, сквозь тени, солнце и счастье; и было множество групповых снимков, на ступеньках каких-то более или менее торжественных зданий, где штатские французы, тоненькие француженки стояли плечом к плечу с веселыми военными немцами.

Марш-марш, пенг-пенг и бум-бум

Я еще ничего не знал тогда о его французской любви, об этой Селесте, с которой так неожиданно, уже давно, познакомилась Тина в Париже (и которая жива до сих пор, единственная из всех). Разумеется, ее фотографий не было в том альбоме; если и была она на каком-нибудь групповом снимке, среди темных военных и штатских фигур на ступеньках очередного здания с надписью «Мэрия», Hôtel de ville, то никто не показал ее мне. Мне показывали совсем других персонажей. Вот это Гюнтер, мой добрый товарищ, mein guter Kamerad, говорил Винфрид, тыча пальцем в очередного молодца в форме вермахта, а это Герхард, мой добрый товарищ, mein guter Kamerad, а вот это mein guter Kamerad Ульрих, уже, к несчастью, покойный. У камерада Ульриха лицо было, по крайней мере, обыкновенное; у Гюнтера с Герхардом лица казались надменно-жесткими, самодовольно-счастливыми.

Алексей Макушинский

Бесстыдно-беспощадные лица были у женщин в военной форме, у всех, пожалуй, без исключения. Самого Винфрида на фотографиях не было, как и всегда скрывается фотограф за глазком своей камеры. На той единственной, где все же он обнаружился, лицо его не показалось мне, к моему облегчению, ни надменным, ни беспощадным. Скорее показалось растерянным, или просто удивленным, очень молодым и еще почти никакого отношения не имеющим к тому старику в макс-фришевских очках, который через шестьдесят-и-сколько-то лет демонстрировал мне этого мальчика в военной форме, тоже, может быть, не очень веря, что это он сам. Трудно теперь, после Тининых позднейших рассказов, представить себе, что этот мальчик с удивленным лицом мог наладить нелегальный импорт бюстгальтеров из оккупированной Франции в измученный дефицитом и бомбежками Рейх с помощью своей французской возлюбленной, при участии, может быть, и уж точно при попустительстве надменных Герхардов, безжалостных Гюнтеров... Это было лучшее время его жизни, сообщил мне Винфрид, затем, бросив быстрый, почти испуганный взгляд в законный закат и в Тинину сторону, хотя Тина, занятая по-прежнему крокусами, слышать его не могла, добавил, оправдываясь: несмотря ни на что. Несмотря ни на что, это было лучшее время его жизни, он должен честно сказать. Они ведь ничего плохого там не делали, никаких преступлений не совершали, о них даже не слышали, а когда услышали, не поверили, долго не верили, не хотели верить, отказывались поверить, потому что ведь невозможно было даже представить себе, что происходит, говорил Винфрид, глядя на меня сквозь очки, словно спрашивая, верю ли я ему теперь или нет, догадываясь, что не очень-то верю. Вопросы веры — самые сложные вопросы на свете. Слишком часто я слышал все это от старых немцев, в тех же словах...

Они не знали про уничтожение евреев, когда же стали доходить до них первые слухи, то все это казалось таким чудовищным, ни с чем не сообразным, что, нет, никак невозможно было поверить в это, лучше было просто об этом не думать. Они верили, да, приходится признать, что верили фюреру, верили своим командирам, верили... честно говоря, он уже сам теперь не помнит, во что они верили. Верили в себя и друг в друга, в свою молодость, свою дружбу. Главное, говорил Винфрид, откидывая очередную картонную твердую страницу заветного альбома, с погонами, кокардами Герхардов, пилотками и лицами Гюнтеров, главное было это чувство товарищества, разделенной опасности, готовности всегда прийти на выручку и на помощь друг другу. Такой дружбы в его жизни потом уже не было... Ну и, конечно, это было великое приключение. Ему ведь еще и восемнадцати не было, когда он ушел на фронт, опять извиняющимся голосом говорил Винфрид, сквозь макс-фришевские очки поглядывая на жену, дочку и Виктора, которые, возвратившись в комнату, уселись в телевизионных креслах с ушками, на телевизионном диване, подальше от военных воспоминаний; он был мальчишкой, мечтавшим о приключениях, из тех мальчишек, что убегают юнгой на корабль, или записываются в Иностраннный легион, или выкидывают еще какой-нибудь фортель, о котором вспоминают потом всю жизнь. И были приключения? — спросил я. Еще бы, приключения были самые разные, ответил он, не углубляясь, впрочем, в подробности. Были свобода и дисциплина, произнес он как-то вдруг, словно впервые набрел на эту парадоксальную мысль, сам удивился ей. Свобода и дисциплина, вот именно. Он любит, вообще, дисциплину. И он бы остался, наверное, в армии, если бы... если бы не проиграли они войну. Он почти до самого конца, смешно теперь вспомнить, не мог поверить, что они войну проиграют, уже

Алексей Макушинский

проиграли, хотя после Сталинграда нужно было слепцом быть, чтобы этого не увидеть. А они и были слепцами. Попади он под Сталинград, иначе бы все сложилось, да просто он погиб бы там. Но ему повезло, он попал во Францию, прекрасную Францию, и это было лучшее время его жизни, несмотря ни на что, было весело, были друзья и товарищи, вот Ульрих, mein guter Kamerad, уже, к несчастью, покойный, вот снова Герхард, вот опять Гюнтер, была, он сказал бы, свобода от всякой обыденности, от мелких скучных забот повседневной, повторяющей себя жизни. Главное — ничего не надо решать, все уже за тебя решено. И это свобода? — спросил я. Да, в каком-то смысле, сказал он. Он не знает, конечно, — с неожиданным, напомнившим мне Тину и Тинной, значит, от него унаследованным, всепонимающим, всепрощающим смешком проговорил он, — он не философ, он всего лишь фотограф в отставке, а все-таки он больше нигде, никогда таким свободным себя, пожалуй, не чувствовал. Он читал недавно «Войну и мир», объявил он неуверенным голосом, как будто извиняясь за то, что вот он, простой фотограф в отставке, читает Толстого. Там есть один персонаж, он, Винфрид, позабыл уже, как его звали, в русских именах поди не запутайся; так вот он приезжает из отпуска в армию, этот персонаж у Толстого, после всяких невзгод и несчастий, проигравшись в карты или что-то такое, и чувствует, что все опять хорошо, все за него устроено, все идет однажды заведенным порядком. Приказано — исполняешь... Как только что не мог я не вспомнить Набокова с его чудесным коллекционером казней, так теперь не мог не вспомнить тех дзенских учителей с их убийственным пафосом, о которых писал некогда новозеландский разоблачитель, такой переполох наделавший в буддистских кругах. Приказано маршировать — марш-марш, маршируй, а приказано стрелять — пенг-пенг, стре-

ляй. Переведем пенг-пэнг как бум-бум... Мне хотелось привлечь Виктора к нашей беседе, напомнить ему обо всем, и о Хараде-роси — марш-марш, пенг-пэнг и бум-бум, — и о Брайене Виктория, или Викториа, его почти-тезке, которого он, Виктор, уж не знаю, прочел или не прочел за годы, прошедшие с нашего эйхштеттского разговора в столовой с видом на лужайку и вертолет. Но Виктор был поглощен своей собственной беседой с Эдельтрауд — о, я прислушался, Калифорнии, куда она с мужем мечтала еще поехать; с какой-то прямо светской оживленностью, все еще для меня непривычной (не то чтобы совсем наигранной, но — со стороны и через комнату мне это хорошо было видно — надетой на себя, как чуть смешная личина, комическая ларва и маска, которую, если понадобится, он быстренько мог бы с себя и сдернуть...), рассказывал ей о Сан-Фринциско и Сан-Диего, о мосте и заливе, о вегетарианском ресторане Greens, основанном (что для Эдельтрауд никакого значения не имело) сан-францисским дзен-буддистским центром, уже, впрочем, после смерти *другого* Судзуки, — ресторане, куда он ей и Винфриду, хоть они и не вегетарианцы, очень советовал бы пойти, потому что это ресторан замечательный и вкуснейший, один из лучших, в каких ему приходилось бывать, с потрясающим видом на все тот же залив, тот же мост... Свобода ведь не в том, чтобы делать, что душенька твоя пожелает и поддаваться всем твоим жалким прихотям, говорил Винфрид, откладывая альбомы в сторону, разглаживая скатерть руками, а в победе над ними, и значит, в подчинении чему-то и кому-то другому, в дисциплине, в исполнении своего долга. Тогда он так думал, а теперь, на старости лет, ничего он уже не знает. Да и тогда была не одна лишь дисциплина, а были всякие приключения, увлечения и похождения, добавил он со снисходительной к себе самому — тогдашнему и молодому

Алексей Макушинский

себе — всепонимающей и прощающей все усмешкой. Они ведь были шальные, веселые. Но в дисциплину верили и думали, что знают, как надо. Тогда так думали, а теперь, состарившись, ничего он не знает, ни во что не верит, во всем сомневается. Вот, может быть, Тина знает, сказал он, любящими и печальными глазами глядя на дочку, наконец и в свою очередь на него оглянувшуюся; или вот, может быть, Виктор.

Обувные оргии, конец второй части

Разумеется, Эдельтрауд и Винфрид, как оно и полагается немцам их поколения, когда гости приходят к ним, провели вечер не в тапочках, а в ботинках и туфлях, вполне пригодных для улицы, начищенных до безупречного блеска. Все же другие туфли понадобились Эдельтрауд, чтобы проводить нас вместе с мужем до Грюнебургского парка (по которому, уже темному, мы должны были спуститься в Вестенд; все близко во Франкфурте); плоский, не ниже платяного, шкаф для обуви обнаружился в узкой прихожей; ботинки и туфли со вставленными в них пружинами для растяжки стояли на косых, экономящих место полочках, опрокинутые носами к стене, в прекрасном, но Винфрида не удовлетворившем порядке; потихоньку, покуда все в прихожей толкались, одевались и собирались, начал он их переставлять и подравнивать, так сдвигать их, чтобы не оставалось ненужных пустот... Он всегда это делал, говорила мне Тина, в бессонную ночь, больше не ночь, под самое, за прорезями жалюзи уже солнечное осеннее утро; всегда и всю жизнь он делал так, сколько она себя, его помнит; и время от времени, нет, не каждый день, не будем преувеличивать, но раз, допустим, в неделю, чистил всю обувь, стоявшую, носами к стене, в этом, тоже с детства

ей памятно и знакомом шкафу, все свои ботинки, все мамины туфли, все ее туфельки, и туфельки Вероники, куда они там стояли, все подряд, и надеванные, и ненадеванные за время, прошедшее с последней чистки, выдавливал на них из разных тюбиков, лежавших в отдельном ящичке в столь же продуманном порядке, длинные или коротенькие, смотря по обстоятельствам, червяки черного, коричневого или белого крема, потом долго втирал его в кожу разными щеточками, своей особенной для каждого крема, потом драил и доводил их до блеска бархотками, тряпочками, и все они, и жена, и дочки, посмеивались над ним и были, пожалуй, рады, что никто из посторонних не присутствует при этих обувных оргиях, потому что и в них было что-то военное, вынесенное из вермахта, перенесенное в мирную жизнь, а теперь ей так не хватает всего этого, под самое светлое утро говорила мне Тина из-за полуприкрытой двери, и не то чтобы она только теперь поняла, как сильно любила его, она понимала это и раньше, она лишь не понимала, как сильно любили ее родители — и папа, и мама, не просто любили, но как они ею гордились, как трогательно собирали ее фотографии, вырезали их из разных журналов, складывали в особые папочки, уж тем более статьи о ней, о ее выставках, ее книгах. Это, наверное, ее грех перед ними, говорила мне Тина под самое светлое утро; наверное, грех ее перед папой и мамой, то, что она не понимала этого раньше. И вот его нет, и ее... ее тоже, видно, скоро не будет, и что бы она дала теперь, говорила Тина, чтобы еще хоть раз в жизни подержать своего папу за руку, с этими старческими крапинами, похожими, в самом деле, на пятна теней, пробегающих по нашим рукам, головам и лицам, когда мы едем в открытой машине — в ее «Гольфе», к примеру, если откинуть брезентовую крышу, — по обсаженной платанами южной дороге.

Часть третья,

где говорится о разных вещах и людях,
в том числе обо мне и о Тине,
но больше всего говорится, пожалуй,
о Викторе

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память...

Тургенев

Осенние дни

Все связано, все повторяется, все продолжается, все заканчивается только по видимости. По видимости заканчивается все. Закончилась, пускай лишь по видимости, и эта вторая бессонная, полубессонная, ночь, на Тинином черном диване, в давно посветлевшей гостиной с эркером, с видом на Боливара и небоскребик, с портретом Рут Бернгард в окружении пальмовых листьев и других фотографий, Тининых геометрических штудий. Тина после быстрого завтрака уехала к маме в больницу, я уехал домой — не-домой, — в то случайное и скучнейшее, псевдопрекрасное, открыточно-опереточное, насквозь фальшивое и совершенно мертвое место под Франкфуртом, которое даже называть мне не хочется, в котором я был вынужден (в 2010 году) поселиться (получив работу в университете в Майнце, на другом берегу Рейна), из которого с тех пор убегаю (так, значит, и не сумев, да, в общем, и не пытаюсь поселиться в нем полностью, обосноваться в нем окончательно, как Китагава-роси, если верить Виктору, обосновался в случайности жизни, безутешности мира...), из

которого скоро, не сомневаюсь, убегу навсегда; вернувшись домой — не-домой, — первым делом написал электронное письмо Виктору, в надежде, что он мне ответит, где бы он ни был; потом написал письмо Джулии (так назовем ее), итальянской, католической и добрейшей секретарше на кафедре восточноевропейской истории в Эйхштеттском университете, где я давно уже не работал, где она работала (и работает) по-прежнему, с просьбой, если это возможно, порыться в старых папках, старых анкетах — вдруг сохранился там какой-нибудь русский (не электронный, но просто почтовый) адрес Виктора (какой-то адрес он ведь должен был указать, когда заполнял анкеты на соискание стипендии в 2001 году, в другой жизни). Я хотел только спать; остаток этого дня и последующие пару дней я не помню; я, видимо, просто проспал их. Еще были в университете каникулы; я никуда больше ехать не собирался; через сколько-то дней должна была к тому же начаться во Франкфурте книжная ярмарка, где и мне предстояло говорить кое-что о моих предыдущих книгах, встречаться с издателями. Я помню только, что много рыскал по Интернету в эти осенние, все более осенние дни, собирая сведения о Тадао Андо, о Франтишке Дртиколе, что, съездив в университет, взял все альбомы и книги о том и о другом, какие смог найти в тамошней библиотеке, и что снова, впервые за сколько-то лет, начал *сидеть* в эти дни, как бы в память о Бобе, не в память — я был уверен, что с ним-то ничего не случилось, — но, что ли, в честь Виктора, сначала дома, один, затем, созвонившись снова с Иреной, во франкфуртском дзен-до, еще существовавшем, еще незаброшенном, с его бамбуком, тишиной и судзукобровым соседом, дзен-до, которое Ирена (у нее был ключ от него, почему, я не знаю) отпирала по вечерам, в котором *просиживали* мы с ней, с

Алексей Макушинский

адвокатом Вольфгангом (вовсе не Гете), еще одной английской дамой, на развалинах прошлого, посреди воспоминаний и сожалений, традиционные три двадцатипятиминутки, с кинхином между ними и зеленым чаем в конце. О Викторе ничего они не знали — ни Ирена, ни Вольфганг; удивлены были его исчезновением не меньше меня. Что он мог и собирался уехать в Японию, надолго, возможно и насовсем, этого не исключали они, об этом давно уже говорил он и с Бобом, и с ними, но почему он исчез так внезапно, в такой тайне от всех? И во всяком случае, в том монастыре в Киото, куда Боб посылал своих учеников, где оба они бывали, Ирена и Вольфганг, в том храме, как бы филиале монастыря, в горах на севере, на Хоккайдо, где Виктор тоже бывал не раз, где он был еще прошлой зимой, в феврале и марте, о чем подробно рассказывал мне, возвратившись, — ни в том монастыре, ни в том храме его теперь не было, это они, Ирена и Вольфганг, знали точно, Вольфганг решил даже, по его же словам, позвонить в Киото старому Бобову учителю, достопочтеннейшему и в Японии знаменитому Китагаве-роси, который, понявши в чем дело, тоже и в свою очередь весьма изумлен был Викторовым исчезновением, хотя слышно было плохо, по-английски старый учитель говорит весьма приблизительно, и вообще, рассказывал Вольфганг под Иреновы подтверждающие кивки и одобрительные улыбки, всем, кто беседует с Китагавой-роси, по телефону или без телефона, всегда кажется, что он знает еще что-то, самое важное, знает, может быть, все, только не говорит, так что он, Вольфганг, вполне допускает, Ирена тоже допускает, как можно понять по ее кивкам и улыбкам, что Китагаве-роси отлично известно, где Виктор и что с ним, и он только по каким-то своим, никому не ведомым соображениям счел нужным разыграть изумление.

В штате Айова

Чаще говорили мы, по крайней мере с Иреной, о Бобе. И во все нет, объявила Ирена, с которой шли мы после дза-дзена по темной и мокрой улице, мимо одного, но не Тининого, из тех небольших небоскребов, которые во Франкфурте строят в отдалении от заправских и банковских, чтобы они, оставаясь небоскребами, под ногами у гигантов не путались, — вовсе не так это было, уверенно объявила Ирена, когда я сам заговорил с ней о том, что мне рассказывал некогда Боб про свое детство в штате Айова, — вовсе он не сидел у реки с удочкой в руке и не начал просто так, ни с того ни с сего, смеяться, вообразив себе, как новоприбывших на том свете посылают одних направо, других налево, праведников направо и налево, соответственно, грешников, и когда вообразил себе это и начал смеяться, позабыв об удочке, о непойманной форели, поплавке и грузиле, то вот, значит, и утратил внушенную ему в детстве отцом-пастором и матерью, женою пастора, веру, — нет, и ничего подобного, совсем не так это было, но он утратил веру, объявила Ирена (глядя на появившуюся в ночном небе луну, почти полную, тут же сделавшую ближайшие к ней облака изумрудными, сказочными), утратил веру он, когда им в школе, в штате Айова, показали документальный фильм об уничтожении евреев, с полным набором абажуров и ужасов, полосатых скелетов и сгребаемых трактором трупиков, и после этого он три ночи не спал и на всю жизнь распрощался со Всеблагим и Всеведущим. Она, что же, была при этом? Ее при этом не было, но Боб это так ей рассказывал. Может быть, он одним одно, а другим другое рассказывал по каким-то своим, нам неизвестным, соображениям? Вот это может быть; да, это может быть. Еще рассказывал он, что там была освенцимская роковая рампа, в этом фильме или в каком-то другом, и воображающий себя богом эсэсовец посылал одних направо,

Алексей Макушинский

других налево, одних сразу в газ, а других, значит, не сразу, и вот тогда все было кончено с его протестантскою верою, а поплавки и грузила совсем ни при чем тут. Но мы ведь уже никогда не узнаем, как это было на самом деле, да и какая теперь, в сущности, разница? Тут заметил я, что она плачет. Слезы текли у нее по лицу, сильно постаревшему со времени наших совместных сессингов, очень славянскому, очень польскому, и утирала она их по-детски, тыльной стороной кулака. Мне стало совестно смотреть на нее; я долго смотрел на дробление и щепленье луны, разрывы и россыпи изумрудных облаков в зеркальных, продолговатых, под разными углами повернутых друг к другу окошках небольшого, не Тининово, небоскреба, мимо которого мы почему-то опять проходили, на отшибе и в стороне от банковских и заправских.

Тадао Андо

Из Интернета и книг узнал я тем временем, что Тадао Андо, наверное, самый знаменитый японский архитектор нашего времени, родился в 1941 году и по своей первоначальной профессии был боксер (в книгах и в Интернете обнаружилась его фотография в боксерской позе и в трусиках, где он совсем молодой, даже какой-то молоденький, очень маленький, худенький, щупленький, так что трудно и представить себе, что этот мальчик — пусть в наилегчайшем, пусть в пушиночном весе — мог выйти на ринг и двинуть в челюсть противнику; в самом деле, его боксерская карьера скоро закончилась). Прежде чем заняться архитектурой, отправился он в большое путешествие по Европе в 1965 году, в двадцать четыре года. Интересен маршрут его: он плывет из Иокогамы в Находку и едет затем через всю Россию по той самой Транссибирской магистрали, по которой всю жизнь мечтала проехаться Тина, едет в другую сторону, с востока

на запад (в позднейших интервью говорит он о переживании пространства, заснеженных сибирских горизонтов, на которые он смотрел из окна бесконечного поезда; о том, как повлияло на все, что он делал, все, что он строил впоследствии, это переживание пространства; его внутренние горизонты тоже расширялись, смещались); из Москвы перебирается в (по-тогдашнему) Ленинград (где особенно потрясли его картины импрессионистов, собранные в Эрмитаже); из Ленинграда — в Финляндию (для него, свободного человека, с Ленинградом соседнюю, для подневольных советских граждан далекую, как Юпитер); в Париже надеется встретить Ле Корбюзье, одного из своих кумиров (но тот, так любивший море, жару, пляж, таинственные камни и ракушки, которые находил он в песке, как раз в августе 65-го года слишком далеко заплывает в обожаемое Средиземное море, прямо туда, в тот кусок и фрагмент безмерности, который видел он из окна своей пресловутой хижины — *Le Cabanon*, — на берегу им построенной; уже не выплывает обратно); Тадао же Андо вновь оказывается в Париже через три года, в 1968-м, причем в мае, во время студенческой революции, так решительно изменившей наш мир; беспомощно бродит (его собственные слова) между Монмартром и Латинским кварталом, среди ликующе-разгневаных толп, в бесновании бунта бьющих витрины, поджигающих автомобильные покрышки и сами автомобили, предающихся счастливым схваткам с проклятой полицией; одинокий японский юноша, случайно оказавшийся в эпицентре исторической метаморфозы. Когда путешествуешь, сталкиваешься лицом к лицу со своим голым я, свободным от всего ненужного и случайного, прочитал я в сборничке его бесед со студентами, переведенном на английский, нашедшемся в университетской майнцской библиотеке. Я представлял себе это на пять лет растянувшееся путеше-

Алексей Макушинский

стве как своего рода странствие — или паломничество — не «по тропинкам Севера», но по дорогам Запада, столицам современной Европы (Париж, Рим и Афины...) — той Европы шестидесятых, Европы его юности и моего детства, которую после всех тогда начавшихся метаморфоз нам уже так трудно вообразить себе (с ее джазом, узкими брючками и ощущением неминуемой свободы в ближайшем будущем — разумеется, обманувшем все ощущения, все ожидания); странствие — или паломничество, — при всех очевидных несходствах не так уж сильно, может быть, отличавшееся от тех, в какие отправлялись некогда молодые — или не совсем молодые, или даже совсем не молодые (Чжао-чжоу, мы помним, было уже шестьдесят, когда он пустился в путь, после смерти своего учителя Нань-цюаня) — монахи, с немалыми, наверное, опасностями, разнообразными приключениями на горных перевалах и тропах, переходившие из монастыря в монастырь, из обители в обитель, из скита в скит, чтобы задать очередному старцу и мудрецу очередной безответный вопрос: обладает ли собака природой Будды и почему у западного варвара (Бодхидхармы) не было бороды (хотя по преданью была, густая и черная, истинно варварская).

Странствие, выбор

Подробности этого странствия, его точный маршрут, последовательность в смене столиц не удалось мне выяснить. Возвращался ли он в Японию или так все пять лет и пространствовал? Ездил ли, и если ездил, то как, летал или плавал, в Америку? Все это не так уж и важно, я думал, рассматривая в книгах и в Интернете разнообразные здания, построенные им после странствия; оно волновало меня как некий возможный сюжет (сюжет другой книги, которую я никогда, наверно, не напишу), это почти пятилетнее паломничество японского

еще-не-архитектора, уже-не-боксера, во всяком случае, не монаха (хотя любой странник — немного монах), отправившегося на поиски себя, своего голого я, значит, и на поиски своего, уж не знаю — в дзенском или недзенском смысле — подлинного лица; не-монаха (я думал; или постольку монаха, поскольку любой странник — монах), медитативным опытам тоже, наверно, не чуждого (о чем свидетельствует не один лишь цилиндрический и тоже бетонный, с соответствующими следами опалубки, «Павильон для медитации», впоследствии построенный им на территории ЮНЕСКО в Париже, но все им построенное, все эти здания, музеи, христианские церкви и синтоистские храмы, всегда погружающие посетителя в ту особенную, японскую, по моим собственным дзенским опытам так хорошо знакомую мне тишину), но все-таки выбирающего архитектуру как свое главное, свое лучшее. Я только не знал и не знаю, был ли это выбор сознательный или выбор подспудный, созревавший долго или сделанный вдруг... То, что я увидел, или мне увиделось, в Вейле-на-Рейне, виделось мне и на фотографиях, которые теперь я рассматривал; по-прежнему и снова, даже на фотографиях, казалось мне, что эти конструкции (со всеми их галереями, лестницами, схождением и расхождением их разнонаправленных стен) всякий раз появляются ниоткуда, из-под земли в смысле буквальном и переносном, из воды и своих же в ней отражений, из ландшафта горного и морского, городского и сельского, из воздуха над этим ландшафтом, легко балансируя на всегда очень тонкой грани между еще-небытием и уже-бытием, отсутствием и присутствием, стремясь снова исчезнуть, все же не исчезая. В одной из своих статей он пишет о трех условиях архитектуры. Во-первых, пишет он, место; место и значит, гений этого места, *genius loci*; во-вторых, геометрия, костяк и основа архитектора, ее рациональное начало, симметрия

Алексей Макушинский

и структура; наконец и в-третьих, природа; но природа не дикая, а природа, преобразенная человеком, организованная человеком и потому как будто абстрактная: абстрактная вода, абстрактный свет, ветер... Я не был уверен, я и до сих пор не уверен, что понимаю эту последнюю мысль; я думал скорее, рассматривая фотографии в Интернете и в книгах, и фотографии мои собственные, те, которые сделал я в Вейле-на-Рейне, со штативом и без штатива, всего пару дней и уже столько страниц назад, о том, что столкновение «геометрии» с «природой» придает этой последней (может быть, иллюзорную) осмысленность, которой сама по себе она (может быть) лишена. Вишневые деревья на лужайке перед конференц-павильоном, даже листики на зеленой траве мне потому, наверное, и показались статуями деревьев, статуэтками листиков, что не просто и не случайно стояли там и лежали на фоне бетонных стен и готических окон, но образовывали единое целое с этими стенами, окнами, небом, травой и холмами, делаясь частью архитектурного замысла и тем самым получая значение, которого в просто-природе у них нет, или которое мы не видим, которое мечтали бы мы увидеть. И свет, и тени, пробежавшие по бетону, в той комнате для конференций, где я сидел в неудобнейшем черном кресле, втайне сложив руки в буддистскую мудру, слушая рассказ очаровательной харьковчанки об особенностях опалубки и архитектурном минимализме, — эти тени, и этот свет, так прекрасно подчеркивавший шероховатости и неровности бетонной поверхности, — все это тоже было заранее задумано, продумано, предугадано и увидено, а значит, и этот свет, эти тени переставали быть просто светом, просто тенью, не имеющими к нам отношения, равнодушными, как вся природа, к нашим целям и замыслам. А мы ведь так хотим, чтобы все имело к нам отношение, чтобы все со всем было связано — связано,

значит, и с нами, — чтобы все перекликалось и взаимодействовало. Искусство переносит нас в мир, в котором всеобщая связь вещей видней нам, а потому и несомненной для нас, чем бывает и может быть в жизни.

Оцепенение горя

Мне хотелось поговорить обо всем этом с кем-нибудь, всего лучше с Тиной, хоть я и понимал, что ей сейчас не до моих разлагольствований; впрочем, возможность поговорить с ней обо всем этом вскорости мне представилась. Мир духов, еще раз, рядом, дверь, снова скажем, не на запоре... Духи духами, а то, что мы ищем, всегда по соседству, всегда за углом. Тадао Андо, прочитал я в книгах и в Интернете, построил три здания в Германии: конференц-павильон в Вейле-на-Рейне, о котором уже довольно здесь сказано; музей фонда Ланген под Дюссельдорфом, на бывшей ракетной базе НАТО, закрытой за ненадобностью по окончании «холодной войны»; и музей — музейчик — каменной скульптуры в Бад Мюнстере (не путать с Мюнстером просто), или (полным именем) Бад Мюнстере ам Штейн («У камня»), крошечном курортном городишке в долине реки Нае, в каких-нибудь восьмидесяти километрах от Франкфурта, еще ближе от того открыточно-опереточного, насквозь мертвого места, в котором я имею несчастье жить, где, на (югендстильном) вокзале, в очередной осенний, дымчатый, солнечный день, я и встретил Тину, немедленно, как только я рассказал ей обо всем этом, объявившую, что поедет со мною в эту долину Нае, в этот Бад Мюнстер. Не только хочет она посмотреть построенный Тадао Андо музей, но, сказала мне Тина по телефону, она хотела бы уж заехать и в соседний Бад Крейцнах, тоже крошечный и курортный городишко в долине все той же реки, потому что там, в этом Бад Крейцнахе, в пригороде Бад Крейцнаха, был лагерь для

Алексей Макушинский

военнопленных, сначала американский, потом французский, в котором сидел ее отец в сорок пятом году, о чем он ей много раз в ее детстве рассказывал. И не только он рассказывал ей об этом, но все собирался съездить туда, один, или вместе с женой, или с кем-нибудь из дочек, с ней, Тиной, — и вот почему-то так и не съездил, хотя от Франкфурта ехать туда всего ничего, *кошачий прыжок* (ein Katzensprung), по чудесному немецкому выражению (которым Тина, помнится мне, и воспользовалась). Во Францию ездил, а до Бад Крейцнаха так и не доехал за целую долгую жизнь. Теперь она съездит туда без него... Мы начинаем всерьез интересоваться судьбою наших родителей, когда они уже оставили нас одних на земле и спросить о подробностях не у кого. Она вообще-то не может никуда ехать, она каждый день в больнице, но если я поеду в воскресенье, то в больнице будет ее сестра с мужем, а она, Тина, поедет со мной. Тина, все забросив, отказываясь от заказов и не думая о последствиях, целые дни, действительно, просиживала у постели теперь уже очевидно умирающей Эдельтрауд (просиживала бы, наверное, и ночи, если бы сестры милосердия не просили ее пойти, наконец, домой), просто держа ее за руку, в оцепенении горя, сострадания и любви.

Шоколадные крошки спасения

Лагерь для немецких военнопленных, сперва американский, затем французский, располагался в том сорок пятом невообразимом году и еще в какие-то годы последующие на огромном, теперь просто распаханном, коричневом и комкастом поле, с островками, полосками еще почти по-летнему зеленой травы, далекими и совсем далекими, сперва тоже зелеными, затем уже почти голубыми холмами на заднем плане и на переднем, прямо перед тем местом, где я поставил машину, католическим взносившимся в небо крестом, двумя или

тремя ступеньками, ведущими к этому кресту, и очень странными, треугольными, в дырках, кирпичными конструкциями, от креста справа и слева (абстрактными разбойниками рядом с отсутствующим Христом). Была табличка, вкратце рассказавшая историю этого «Поля скорби» (Feld des Jammers); прочитав ее, мы долго стояли с Тиной у края комкастой земли, перед этим *скорбным полем*, почти так же уходившим к дальним и отчасти уже синим холмам, как уходила к холмам та, пересеченная ручьем и размеченная белыми пятнами промышленных ангаров, равнина, на которую мы смотрели из поезда в день нашего знакомства, равнина, по которой двигалась на штурм ангаров, на приступ холмов разноцветная конная армия. Здесь ни ручья, ни ангаров, ни конной армии не было, а от разбитой армии, взятые в плен солдаты которой мокли здесь под дождем, умирали от тифа, мечтали о кусочке американской синтетической булочки, ничего, ни следа не осталось. Но твой, природа, мир о днях былых молчит, думал я. Были только холмы, почти терявшиеся в осенней солнечной дымке, — и это огромное коричневое и зеленое поле, под неподвижно-белым небом, молчащее, как молчит вся природа, поле, на котором пытались мы представить себе и увидеть внутренним взором — палатки, проволоку, смотровые вышки (не знаю, впрочем, были они или нет), часовых в касках (или пилотках), подъезжающие американские джипы с белыми звездами на капоте. Сперва это был американский лагерь, потом стал лагерь французский. При французах было уже чуть легче. Ее отца, впрочем, быстро выпустили, месяца через три, она точно не знает, рассказывала мне Тина, сделав свою порцию фотографий, со штативом и без — хотя снимать, в сущности, было нечего: еще раз поле, еще раз, в другом приближении, холмы, — и потому так быстро выпустили, рассказывала Тина, что за, может быть, полгода или год до

Алексей Макушинский

окончания войны, когда он был в отпуске, и причем не во Франкфурте, но почему-то в деревне в Пфальце, у каких-то для нее, Тины, уже мифологических дядей и теток, у которых то ли он хотел подкормиться — в деревне не так было голодно, как в разбомбленном городе, — то ли, наоборот, отвозил туда подкормиться из разбомбленного Франкфурта своих собственных маму и папу — ничего этого теперь уже восстановить невозможно, — во всяком случае, там, в той деревне или возле той деревни в один прекрасный день, за год или за полгода до окончания войны, упал с неба канадский парашютист, большой, видно, растяпа, ухитрившийся приземлиться не в соседнем лесочке, не за ближайшей горушкой, подальше от чужих глаз, но прямо на поле, где как раз работали — то ли сеяли, то ли жали, а может быть, и косили — местные, значит, крестьяне, сразу же беднягу схватившие — вяжи его, мол, ребята! — и потащившие в деревню, в объятия возбужденной толпы, уже готовой его растерзать, разорвать на кусочки, повесить на лямках его же парашюта на ближайшем дереве, перед ратушей или харчевней — толпы, которая несомненно все бы это и сделала, не случись там же рядом ее, Тининога, отца в военной форме и с пистолетом в кобуре на боку; вырвав из кобуры пистолет и несчастного канадца из рук разочарованных поселян, Винфрид, рассказывала Тина, отвел его куда-то в комендатуру или в полицию, и поступил так, она думает, не из жалости к поверженному противнику, и если из жалости, то, наверное, смутной, почти не сознававшей себя самой, и уж точно не из желания победы союзникам, гибели Рейху, но из чувства военной чести, которое у них у всех было, которого никогда не могла понять она, говорила мне Тина, главное же потому, что порядок есть порядок, *Ordnung muß sein* — военнопленному место в лагере, а пфальцским пейзажам нечего своевольничать;

показания этого-то канадца и спасли впоследствии самого Винфрида от плена и лагеря, тифа и голода, может быть, и прямо от смерти. Потому что их здесь много погибло, этих немецких военнопленных, на этом поле, возле которого, уже не фотографируя, мы по-прежнему стояли теперь. Особенно поначалу, как ей рассказывал отец, рассказывала мне Тина, здесь было ужасно, то есть поначалу здесь ничего и не было: ни палаток, ни барачков, вообще ничего, просто они сидели на голой земле и ждали, все ждали чего-то или какие-то ямки рыли, чтобы хоть от ветра укрыться, и еды не было, и воды почти не было тоже — американцы не готовы были к такому катастрофическому количеству военнопленных, оборванных и голодных, и только постепенно стало все это появляться: и вода, и суп, и палатки, и чуть ли не первое, что вообще появилось, рассказывал ей отец, рассказывала мне Тина, было кино. Было — что? Было — кино. Кино, разумеется, не для пленных, а кино для американских солдат, для GI's, чтобы, значит, не очень они скучали, охраняя проклятых гуннов, и нет, она не знает, было ли это кино в каком-то бараке или в какой-то большой палатке, она знает только, рассказывала Тина, убирая фотоаппарат в сумку, складывая штатив, что благодаря этому кино отец ее, возможно, и выжил в те первые недели и месяцы, покуда не пришли показания канадского парашютиста, потому что его нарядили убирать это кино, это помещение, в котором показывали кино, был ли это барак или большая палатка, неважно, и вот американские GI's, простые парни из Оклахомы, Айовы, Огайо, все время жевали что-нибудь, когда смотрели свои мюзиклы, свои вестерны — особенно запомнился ему и Тине с его слов шоколад, — жевали и недожевывали, бросали объедки на пол, фольгу с остатками шоколада, с большими остатками шоколада, не крошками, но прямо кусочками шоколада, долго комкали ее

Алексей Макушинский

в крепких пальцах, эту фольгу, все продолжая глазеть на экран, на Марлен Дитрих, и Хамфри Богарта, и Фреда Астера, и кто еще развлекал их с экрана, скатывали ее в серебряные шары, похохатывая, швыряли их на пол, запускали ими друг в дружку, и потом, когда сеанс заканчивался, от голода и горя шатавшиеся подметальщики-пленные эти шары подбирали, раскатывали, выедали и вылизывали из фольги все кусочки, все крошки — сладкие крошки счастья, сладчайшие кусочки спасенья, — и только понемногу стали догадываться, что оклахомские богатыри, алабамские молодцы нарочно оставляли для них эти кусочки шоколада в фольге, и поняв это, почувствовали настоящее унижение, настоящую благодарность, и лишь один-единственный, непрошибаемый молодой наци, порождение пропаганды и дитя гитлерюгенда, скрежеща зубами от злости и голода, отказывался подбирать эти вражеские объедки, и все над ним потешались, и больше она ничего не знает, рассказывала Тина, укладывая штатив и сумку в багажник моей машины, и мы поехали в соседний Бад Мюнстер смотреть Музей каменной скульптуры, одно из трех зданий, построенных Тадао Андо в Германии.

Лингам

Искусство переносит нас в мир, в котором всеобщая связь вещей очевидней для нас, чем в жизни... Конечно, я не мог удержаться, чтобы не заговорить с Тиной об этом, когда, поставив машину на совершенно пустой стоянке, мы шли, повинаясь указателю, по проселочной, взбиравшейся на кустистый холм и огибавшей его дороге; за поворотом увиделся нам тот камень, который, надо думать, и дал название городишке; никаким камнем он не был, но был каменной стеною, огромной и красноватой; был словно срезанным боком грозной горы, со своими отдельными выступами, подчиненными пиками,

громождением низших по чину скал. Все это было там, на другой стороне открывшейся перед нами долины; здесь, на этой, на склоне, был искомый нами, издалека совсем крошечным показавшийся нам — да он и невелик, в самом деле, — Музей каменных фигур, построенный Андо по заказу двух здешних скульпторов, мужа и жены, Анны Кубах-Вильмзен и Вольфганга Кубаха, сколько-то лет назад (музей открылся в 2010 году, но планировался и строился долго) решивших, что их творения (ни меня, ни Тину, пожалуй, не вдохновившие) заслуживают того, чтобы стоять в здании и вокруг здания, построенного одним из лучших и самых знаменитых архитекторов, какие есть сейчас на земле (и уж наверное, говорила мне Тина, покуда мы шли с ней к музею, показывая руками что-то большое и круглое, большую, круглую землю, пленяла, чаровала, волновала их дерзкая мысль пригласить — в долину реки Нае — архитектора, живущего и работающего на самом большом из всех мыслимых расстояний от их германской глухомани; могли бы пригласить архитектора аргентинского; остановились, следовательно, на японском...); он же, в свою очередь, вдохновляясь германской глухоманью, использовал для этой постройки старый, XVIII века, фахверковый амбар, найденный в соседней деревне, перенесенный на этот склон, это поле и окруженный типично тадао-андовскими бетонными стенами, как будто утопленными в ландшафт, возникающими ниоткуда, на грани небытия. Опять охватило меня почти телесное ощущение свободы и счастья при нашем медленном приближении, затем и прикосновении к тадо-андовскому бетону, с его татамообразными размерами, углублениями от опалубки. Бетон здесь не сразу впускает вас внутрь. Зазор между двумя параллельными стенами, сквозь который нужно сперва пройти, создает впечатление лабиринта, особенного пространства, куда вы вдруг попали, откуда уже

Алексей Макушинский

неизвестно, сумеете ли выбраться, захотите ли выбираться. Главное — обнаруживается вода за этими стенами, в ней же все отражается — и фахверковые балки амбара, и бетон с его углублениями, и желтые листья, красные кроны оставшихся снаружи, на экскурсию не взятых деревьев. Экскурсию проводила сама скульпторша, госпожа Кубах-Вильмзен, пожилая дама в белых штанах и белой куртке. Тадао Андо непросто было уговорить взяться за этот проект, рассказывала она усердно фотографировавшим все вокруг экскурсантам. Когда они, то есть она и ее муж, ныне уже покойный, договорились о встрече с великим архитектором в Осаке, все шло отлично, покуда один из сотрудников Андо не спросил их, каким же бюджетом они располагают. А бюджет у них был, по архитектурным понятиям, крошечный — примерно (если я правильно запомнил) миллион марок (тогда еще марок). Сотрудники расхохотались. Одно только пребывание всей их команды в Германии будет стоить около миллиона. Андо молчал. Да и говорить было не о чем. Тут скульптор, Вольфганг Кубах, рассказывала его вдова, увидел камень, лежавший у Андо в углу ателье, какой-то очень особенный индийский камень («лингам»), совершенно такой же, только больше размером, какой лежал у него самого в Германии, и почти (я продолжаю пересказывать госпожу Кубах-Вильмзен) не сознавая, что делает, но как если бы этот камень был его единственным спасением и последним прибежищем, подошел к нему, положил на него руку; увидев этот жест, Тадао Андо вдруг согласился (к изумлению корыстолюбивой команды); приехал; построил. Надо всем главенствовал здесь другой камень — тот, который никаким камнем не был, но был утесом, каменной стеною, срезанным боком горы; видимый отовсюду, парил и царил он над другими камнями, холмами, бетонными стенами. Мы сели, вышедши из музея, на лавочку лицом к этой каменной,

почти-красной громаде, к не-каменным склонам других холмов, отчасти застроенных теми одинаковыми, белостенными и краснокрышными домиками, которыми застроена, увы, половина Германии, порождениями антиархитектуры; смотреть на них не хотелось, но убрать их было, как всегда, некуда. Все же это был вид величественный, широкий, покойный; в одной из складок холмов намечались другие, дальние холмы, уже совсем синие (призрак моря посреди земного пространства...); звуки, поднимавшиеся к нам из долины — шум редких машин, тархтение трактора, работавшего на незримом нам поле, драконий шип поезда, проскользнувшего внизу за деревьями, между скалой и дорогой, — не разрушали, но только подчеркивали эту осеннюю, солнечную, подчинявшую нас себе тишину. Она уверена, что Виктор в Японии, объявила Тина, оборачиваясь к тадао-андовскому бетонно-фахверковому шедевру; конечно, в Японии, где же ему еще быть? Все к этому шло, вот дошло. Я тоже так думал; еще я думал, поворачиваясь то к скале, то к музею, о столкновении «геометрии» с «природой», о котором пишет Тадао Андо в одной из своих статей. Вот «природа», вот «геометрия», в их, я думал, всегдашнем противоборстве... Беда в том, объявила Тина, что в его мире нет чуда; я даже не сразу понял, кого она имеет в виду. Она по-прежнему казалась измученной; глядя на эту срезанную грозную гору, с ее отдельными выступами, подчиненными пиками, громождением дополнительных скал, улыбалась, тем не менее, примиренной, почти благодарной улыбкой, как если бы этот камень в его первобытной мощи говорил ей что-то внезапно-утешительное, или, лучше, как если бы он вдруг перевел в ней тот внутренний разговор, который все мы ведем с собою, в иную плоскость, иной, и лучший, регистр. В его мире нет неожиданности, нет чуда, вот в чем его беда... Я ответил на это, что после долгого дза-дзе-

Алексей Макушинский

на, таков мой опыт, все кажется чудом, все — благодатью. Если все, то, значит, и ничего, она ответила, по-прежнему и с прежней улыбкой глядя на холмы и на скалы. Если все чудо, то все и не-чудо, если все праздник, то все и не-праздник. Нет неожиданности, нет, выходит, и счастья. Как же нет неожиданности? По крайней мере, сказал я, своим исчезновением он преподнес нам такой сюрприз, какого уж точно не ожидали мы от него.

Трансмиссии, шестеренки

Еще до начала франкфуртской ярмарки пришел ответ из Эйхштетта с сообщением, что Виктор, когда в 2001 году подавал документы на соискание стипендии DAAD, указал петербургский адрес, в архивах Института восточноевропейской истории действительно сохранившийся: Полюстровский проспект, дом номер такой-то, корпус такой-то, подъезд такой-то, квартира такая-то; я вспомнил наш разговор по дороге в Кронберг на роковую вечеринку, на которой Боб познакомился с Барбарой; написал по этому адресу обычное (не электронное) письмо (чего уже много лет не приходилось мне делать) в том смысле, что, вот, я разыскиваю Виктора, я бывший его преподаватель в университете, вообще знакомый, простите меня, Виктор: если вы вернулись в Петербург и читаете это письмо, то напишите хоть пару строк, и я от вас тут же отстану, если же по этому адресу живут Викторовы родители и письмо попадет к ним, то очень прошу их сообщить мне, совсем вкратце, известно ли им что-нибудь об их сыне, где он и что с ним; составляя такой текст, чувствуешь себя идиотом. Помимо всего прочего я не знал, как зовут этих родителей, как обратиться к ним... Ответ на сей раз пришел, если память не подводит меня, в последний день книжной ярмарки, где я делал то, что ныне принято называть пре-

зентацией, рассказывая немногочисленным книгочеям, забредшим в дальний угол, отведенный для русских издательств, о двух моих предыдущих сочинениях («Город в долине» и «Пароход в Аргентину»). Книжные ярмарки всегда мне кажутся фабриками по переработке воздушной мечты в земную действительность; так и слышишь, как шелестят трансмиссии, шипят шестеренки, превращая чьи-то фантазии, чьи-то безумства, печаль по утраченному, тоску по недостижимому, удачные и неудачные метафоры, сюжетные ходы, выводящие на свет или не выводящие никуда, — в обтекаемый, плотный, понятный профит, часто чужой; шум, звон и скрежет, гул голосов, мельканье лиц, слов и надписей сливались, как на всякой фабрике, в одно сплошное пятно, из которого лишь постепенно выплывали подробности, отдельные завитки, закутки, по которым сидели издатели и, в другом цехе, агенты, работавшие как бы на одном огромном конвейере, но каждый в своем закутке. Из одного закутка пару раз скользнул по мне вопрошающий взгляд. Но лишь на другой день, когда то, что ныне зовут презентацией, осталось в прошлом, и волноваться причин уже не было, и шелест трансмиссий, шип шестеренок уже не так ошарашивал, вопрошающий взгляд, снова по мне скользнувший, обрел лицо, ко мне повернутое, глаза, ко мне обращенные, оказавшись взглядом высокого, худощавого, примерно моих лет, господина, в дорогом и хорошем костюме, при галстуке, так коротко стриженного, что нельзя было и сказать, какого цвета у него волосы, и с коротко стриженной бородкой, цвета тоже какого-то неопределенного, рыже-седого. Господин стоял за стоечкой в закутке, отведенном для, как прочитал я на вывеске, петербургского издательства, специализирующегося на литературе научно-фантастического, с самой юности и по-прежнему недоступного моему пониманию жанра. Вы не узнаете меня?

Алексей Макушинский

Нет, я не узнавал его, как ни старался. А ведь все связано в жизни, все в жизни пересекается, перекликается, и что ж удивительного в том, что после бессонной ночи в Вейле-на-Рейне, когда я впервые вспомнил о нем за долгие годы невоспоминанья, и после всех моих мыслей в предыдущие две недели, после поездки в Бад-Мюнстер, перечитывания дзенских книг, старых записей, он явился мне наяву, на франкфуртской ярмарке, посреди трансмиссий и шестеренок, совершенно неузнаваемый, с короткой стрижкой, в хорошем костюме? Васька-буддист, сказал — Васька-буддист, не представляясь, но констатируя странный для него самого факт. Васька-буддист, сказал он, всматриваясь в меня из того какого-нибудь восемьдесят — пятого? шестого? седьмого? — года, когда мы последний раз с ним видались, откуда дошел до нынешних шестеренок только его широкий и толстый нос на узком лице, толстовский нос на лице отчасти (подумал я) гоголевском; я даже не помнил, и он не помнил, по-московски на *ты* или по-петербургски на *вы* тогда, когда-то были мы с ним. Все в жизни перекликается, пересекается, и все, что происходит с нами, есть только часть и фрагмент одного невероятного сна. Когда-нибудь мы проснемся, но пока мы спим и в лучшем случае понимаем, что спим, в лучшем случае, в лучших случаях нашей жизни, чувствуем странность этого сна, неправдоподобие этого сна, его, на свет, тончайшую ткань, золотую расшивку. Подозреваю, что Васька-буддист думал примерно то же, на меня глядячи, тонкой и узкой рукою снимая незримую паутинку со своего, в горошинку, галстука. Это было его издательство просто-напросто; молоденькая беленькая сотрудница, подойдя к нам, сменила его за стойкой. Он начал в девяностые годы издавать книги, да-да, он — начал, он — издавать, и он — книги, он самый, Васька-буддист с Васильевского острова, как это ни кажется мне

удивительным. Он всегда любил научную фантастику, в начале девяностых годов открыл свое дело. Мы пошли пить кофе в глубину павильона, в кафе, в которое я всякий раз захожу, оказываясь на франкфуртской ярмарке, так сильно отличается оно от всего того современного, светящегося, пестрого и пижонского, что окружает его; кафе, прямо трогательное своей непритязательностью, похожее на фабричную столовку каких-нибудь пятидесятых, что ли, годов, времен экономического чуда, а может быть, и вправду сохранившееся с первых послевоенных ярмарок, тех самых, которые фотографировал некогда Винфрид, Тинин отец; сохранившееся со своей стеклянной витриной, где, никем не покупаемые, лежат затхлые котлеты, обветренные куски творожного пирога, и с пожилыми краснорукими женщинами, упорно, уже полвека, требующими внесения залога за белую, с выбоинками, кружку, в которую наливают они кислый кофе, вместе с кружкой выдавая не всегда понимающим, чего от них хотят, посетителям, вьетнамским поэтам и македонским прозаикам, синенький потерянный жетон, по которому можно при возвращении кружки залог получить обратно. Все это рассказал я Ваське-буддисту, покуда мы шли с ним вдоль издательских закутков и агентских трансмиссий; Васька заметил на это, что, кажется, мы с ним оба тоже не изменились. Ну, уж он-то изменился; как поживает его буддизм? Его буддизм остался в прошлом, ответил Васька-буддист. В начале девяностых годов он женился, пошли дети (он так и сказал: пошли дети), у него их четверо, да, четверо детей у него, три сына и дочка, почти уже взрослые. Я вспомнил ту девушку в тире на Елагином острове, читавшую «Аэлиту» Алексея Толстого, одобрительно хмыкавшую на Васькины меткие выстрелы. Он женился на своей школьной подруге, сказал Васька, отвечая на мои мысли. Нет, я вряд ли мог быть знаком с ней; в те

Алексей Макушинский

годы они не дружили; в те годы он был с Аней; я ведь помню Аню? Ее, выходит, действительно звали Аней; и я ее помнил; а вот что она *была* с Васькой, об этом я не догадывался или напрочь забыл (слишком занят был своей собственной злощастной любовью к смуглой леди, равнодушной ко мне). Ну как же, сказал Васька, по-прежнему неузнаваемый, коротко стриженный и с рыже-седою бородкой, они были вместе довольно долго, лет шесть или семь... Аня теперь в Непале. Аня — в Непале? Аня в Непале, уже давно. А Дима-фотограф? Дима-фотограф всячески преуспел; да и жена его — деловая дама, так что они не бедствуют. Он, пожалуй, один из известнейших фотографов в Петербурге (*в городе*, сказал Васька, как часто говорят петербуржцы), живет, кстати, подолгу в Берлине, выставляется в разных галереях, сотрудничает с разными журналами, и с его, Васькиным, издательством тоже сотрудничает, теперь все реже и реже. А в девяностые годы они вместе начинали, первые обложки он делал. Флейта сякухати? Еще бы Дима-фотограф не играл на сякухати! Дима-фотограф даже в Японию ездит совершенствоваться в благородном искусстве игры на сякухати, проговорил Васька с глубоко запрятанною иронией, и в конкурсах сякухатистов, если можно так выразиться, тоже регулярно участвует... Мы все-таки попробовали получить у красноруких фабричных тетенок не кофе, а чай; чай был, конечно, в пакетиках, и вода, как это часто случается в подобных грустных местах, с шипом и паром извергнутая кофейной по своему первоначальному замыслу и внутренней сути машиной, не получила возможности подобающим образом в дебрях машины сей покипеть, так что, налитая в щербатые кружки, тут же покрылась белой мерзкой крахмалистой пенкою, которую Васька собрал ложечкой, сбросил на блюде. На манжетах у него были запонки с синенькими квадратными камушками. Нет, я

не узнавал в нем того Ваську-буддиста, в потертых джинсах и с кожаной ленточкой, перетягивавшей длинные волосы, которого милиция заметала при случае просто так, за эту ленточку, эти джинсы... Теперь обнаружили у него темные маленькие, скорее смеющиеся, глаза, даже, если угодно, глазки, даже, пожалуй, глазенки, которых раньше за ним не водилось (или я их не видел, не помнил); а когда понадобилось ему заглянуть в программу русского стенда (с моим, уже наканунешним, выступлением), извлек он из пиджачного кармана футлярчик, из футлярчика — узенькие очки, совсем уже странно, солидно и смешно смотревшиеся на его толстом носу, на его узком лице; он всегда знал, объявил бывший Васька, листая программу, что я еще допишусь до успеха (ну уж успех, я вставил, весьма относительный...); удивлялся даже, что ничего обо мне не слышал... А вот слышал ли он что-нибудь о Ген-наадии? Ах, Ген-наадий! да, был такой, ответил Васька, морща лоб, с усилием вспоминая. Да, был такой Ген-наадий, правда, но что с ним стало и куда он подевался, бог весть. А та дама на Петроградской стороне, у которой мы познакомились? Но Васька, нет, не помнил никакой дамы, любительницы красного дерева, и чем дольше его я расспрашивал, тем острее чувствовал, что говорю с ним об уже напрочь не интересных ему эпизодах его призрачной молодости; чем дольше сидели мы с ним в этом фабричном кафе, окруженные грохотом ярмарки, шипом шестеренок и шумом трансмиссий, тем печальней и тяжелее становилось у меня на душе, тем сильнее хотелось проснуться. Да и зачем, думал я, снится мне этот пятидесятилетний издатель, с его запонками, его полосатой рубашкой, его, в горошинках, галстуком, этот бизнесмен и деловой человек, совсем неплохо, судя по всему, зарабатывающий на своей научной фантастике, фантастике, впрочем, и как выяснил я из разговора с ним, не только науч-

Алексей Макушинский

ной, но и еще какой-то другой, той, которая в нынешнее странное время именуется фэнтези (бывший Васька произнес это слово без улыбки и без кавычек, давно, должно быть, отвыкнув ему удивляться), на каких-то пухлых, переведенных с английского или сразу по-русски написанных книгах о приключениях прожорливых птеродактилей, волшебных викингов и прочих учеников чародея... Не то чтобы он совсем перестал интересоваться буддизмом, рассказывал мне Васька-бывший-буддист, просто времени у него нет. Он еще в девяностые годы ходил медитировать (он так и выразился, не объясняя, куда он ходил); теперь не ходит, почти не ходит, совсем редко ходит. А ведь тогда, в молодости, мы тоже не медитировали, сказал я, не сидели в дза-дзене; по крайней мере я не сидел и не помню, чтобы кто-то сидел. Я начал *сидеть* уже гораздо позже, рассказал я ему, уже почти в сорок лет... А он пробовал медитировать тогда, в молодости, рассказал в ответ Васька, но он не знал как и не это казалось важным тогда. Потом, уже в девяностые годы, захаживал он в одну дзен-буддистскую группу, чуть ли не первую в городе. Наверно, не первую, но о других он не слышал. Очень странная была группка: собирались на дому, то у одного, то у другого, иногда у него самого, Васьки... Сперва *сидели*, смешно вспомнить, на стульях, потом читали в английском переводе Догена, без большого успеха. Догена попробуй вообще пойми. То есть как читали? Ну, просто взяли английский перевод «Сёбогендзо», взяли к нему комментарии и пытались читать вместе, по главе в каждую встречу; пытались даже разбирать японский оригинал. Было интересно; был один настоящий японист, университетский преподаватель, объяснявший значение иероглифов. Потом появился некий кореец, непонятно, настоящий буддистский монах или не совсем настоящий; вместе с ним появились откуда-то маты, по-

душки; вообще он показал, как сидеть, как складывать руки; объяснил, что такое кинхин... Сам Васька, впрочем, тогда уже слишком был занят семьей и бизнесом, так что до сих пор и не знает он, подлинный был кореец или все же поддельный. Противноватый был дядька; наверно, все же поддельный.

Трепетный мальчик Витя

Мы уже собирались отдать фабричным тетенькам их заветные обшарпанные жетоны и драгоценные щербатые кружки, когда упомянул я, просто так и сам не знаю, по какому наитию, Виктора; то есть упомянул сперва Боба, рассказав бывшему Ваське, что меня-то как раз сводила судьба и карма с дзен-буддистом подлинным, без всяких сомнений, человеком замечательным, редкостным, судьбы и кармы трагической; и с еще одним дзен-буддистом, тоже, судя по всему, очень подлинным, судьбы невыясненной, кармы загадочной, дзен-буддистом, кстати, русским, кстати, родом из Петербурга. Как зовут его? Виктор М. За стеклянной стеною, отделявшей кафе от прочего павильона, проходили, в своем собственном сне, говорливые тени, вполне равнодушные, разумеется, к Васькиному умиленному изумлению. Но это, может быть, совсем не тот Виктор М.? Это был тот Виктор М., тот самый Виктор М., которого он знал, Васька, в девяностые годы, которого не просто знал он, но которого он же и привел в помянутую только что дзен-буддистскую группу, кружок по изучению Догена, дза-дзена... А что, собственно, здесь удивительного? Дзен-буддистский мир тесен, в России особенно. А удивительно вообще все. Вот то, что мы сидим сейчас во Франкфурте, в этом фабричном кафе пятидесятих годов, с этой стеклянной витриной, этими затхлыми котлетами, краснорукими тетками... разве все это менее удивительно? Надо только уметь удивляться. Он подобрал этого Витю

Алексей Макушинский

на Невском, сообщил Васька, глядя на меня, на жетон в своей узкой руке, опять на меня ошарашенными темными глазками. А было этому Вите каких-нибудь лет шестнадцать. Как же это он его подобрал? А он стоял на Невском и глазел на кришнаитов. Васька вдруг засмеялся не похожим на него самого, с легкими взвизгами, смехом. Тогда были кришнаиты, если я помню, ходили по улицам и пели «Харе Кришна». Ну, собственно, они и сейчас есть. «Харе Рама», сказал я. Вот именно, сказал Васька, «Рама Рама Харе Харе». И такие у них были смешные *хари* действительно, что он, Васька, остановился и начал на них глазеть. Совсем были молодые ребята, в разноцветных размахайках, со смешными, глупыми, насквозь наивными харями. И что же, Виктор шел вместе с ними? Нет, упаси Боже! Витя стоял с ним рядом, с Васькой, и было ему лет шестнадцать, и это был такой тоненький, трепетный мальчик, с такими трогательными, вопрошающими глазами, что, рассказывал бывший Васька, вращая в длинных пальцах обшарпанный и все еще не возвращенный жетон, что никак невозможно было не заговорить с ним. Что же Васька сказал ему? Это было пятнадцать лет назад, sorry, он не помнит, что он сказал. Что-то, наверное, о кришнаитах, что еще мог сказать он? Что кришнаиты, конечно, дураки, зато хоть смешные, и что они ему, Ваське, напоминают его самого в молодости, такой же и он когда-то был дурачок. А в действительности, рассказывал Васька, не столько эти мимо идущие кришнаиты с их разлетаиками-размахайками, их медными маленькими тарелочками, сколько вот этот мальчик Витя, на них смотревший вопрошающими глазищами, напомнил Ваське его самого, каким он был в ту пору, когда носил кожаную ленточку в волосах, работал в котельной и учился дзенской каллиграфии, или даже каким он был еще раньше, в шестнадцать-семнадцать лет, в десятом классе школы, каким его, Ваську, почти никто

уже и не помнит, только жена еще помнит. Ничего этого он не сказал мальчику Вите, когда они стояли на Невском; сказал только, что он сам в молодости никаким кришнаитом, по счастью, не был, тогда и не было никаких кришнаитов, а был буддистом, или пытался быть буддистом, или хотел быть буддистом, так что все его и называли буддист; на что мальчик Витя смешно оживился, мучительно покраснел и, страшно заикаясь, заявил, что он очень, очень интересуется буддизмом, что он прочитал какие-то две книжки, какие-то научно-популярные, какие уж тогда были, и что... что... он сам не знал что. Васька-бывший-буддист сообщил ему, в свою очередь, что через два дня собирается их кружок по изучению «Сёбогендзо» и совместным опытам медитации, и если он хочет, он может туда прийти, а что он до сих пор ни о каком Догене слыхом не слыхивал, так это, в общем, неважно. Такой был трепетный мальчик, повторил Васька свою странную формулу, так смотрел вопрошающими глазиками, так смущался, так заикался, что хотелось его пригреть, пожалеть, приголубить, приютить, приласкать. Его и пригрели, уж как смогли; хотя совсем не подходил он к этой компании уже взрослых дядек и теток, бывших хиппи, искавших свое место в новой действительности. Он, Васька, от всего этого вскорости отошел, а вот Дима-фотограф с мальчиком Витей долго еще встречался. Дима-фотограф? Да, фотограф Дима, что тут такого? А потом появился подложный или не совсем подложный кореец, а потом... потом он не знает, что было. Я рассказал ему, в общих чертах, что было потом. Чем дольше я ему рассказывал о Викторе — стипендиате в Эйхштетте, с рязанскими кудрями и великолепным равнодушием к авторитарным и тоталитарным режимам, о Викторе — франкфуртском банкире, летающем по делам в Сингапур, знатоке займов, акций и фондов, считающем чужие деньги и почти свободном от необходимости

Алексей Макушинский

считать свои собственные, о Викторе-спортсмене, бегающем каждое утро по набережной, о Викторе-буддисте, уезжающем на сессии в Баварию, последние годы в Японию, о Викторе, наконец, исчезнувшем, не отвечающем на электронные письма, — тем сильнее тарачил Васька свои темные глазенки, тем чаще длинными пальцами дергал рыже-седую бородку. Во все это невозможно поверить... Он был очень странный мальчик, объявил, наконец, бывший Васька-буддист (очевидно поверив); мальчик трепетный, ломкий и трогательный — и очень, очень странный... о'кей, мы в молодости все были странные, но Витя все-таки уж очень был странный. Он, например, однажды позвонил ему, Ваське, и, страшно заикаясь, заявил, что хочет его, Ваську, поблагодарить за то, что еще н-н-не умер. Смешно, сказал Васька-буддист, крутя в пальцах и подбрасывая жетон. Смешно, а? Оказывается, он был уверен, что умрет год в год и день в день с кем-то... нет, Васька уже не мог вспомнить с кем. С братом? Точно! с братом! сообщил Васька, вспомнив. То есть, сообщил Васька, вспомнив еще точнее, что он умрет, когда ему исполнится ровно столько же — лет, месяцев, дней, — сколько было его брату, когда тот погиб. А? круто? Он вовсе не собирался кончать с собой, ничего подобного, объявил Васька, с некоторым даже негодованием отменяя мой робкий вопрос, а просто был уверен, что не переживет этот день: что кирпич упадет ему на голову, самосвал соььет его на переходе, шпана в подворотне пырнет его ножиком. Или что он просто так, *сам по себе* умрет. А вот день прошел — и ничего не случилось: самосвал не сбил, кирпич не упал. И *сам по себе* он тоже не умер. И он хочет поблагодарить за это его, Ваську, говорил Васька, тарача — на меня — свои темные, неожиданные глазенки. Потому что это он, Васька, отвел его в буддистский кружок и тем, видите ли, изменил его карму. А если бы не отвел, то кирпич ему на голову наверняка бы свалился... Что? Я тоже так ду-

маю? Да, сказал я, я тоже думаю, что мог бы свалиться, потому что все в мире связано, одно перекликается с другим и отзывается в третьем, и никто не знает, как все на самом деле устроено. Это значит, что я такой же псих ненормальный, объявил буддист Васька, длинным пальцем стуча по виску. Хорошо хоть, что он, Васька, выздоровел, занялся издательским делом и все у него в порядке, все дома. А Витя найдет-ся, он почему-то уверен; просто, видно, надоело ему в вашем Франкфурте.

Деньги

Все дома или не все, а как-то, тем не менее, одно с другим перекликается в этом мире, как-то взаимодействует; и если не в тот же вечер, то на следующий, когда возвратился я с книжной ярмарки (где вновь увидел бывшего Ваську, и обменялся с ним визитными карточками, и договорился о встрече с ним зимой в Петербурге, куда собирался я по делам литературным и другим, не литературным нисколько; Васька, узнал я, получив его карточку, был Василий Васильевич; хорошо хоть на Васильевском острове не жил он больше, а жил на Садовой) — на следующий, значит, вечер, когда, возвратившись с ярмарки, я включил компьютер, там, в компьютере обнаружилась электронная эпистола (посланная, выходит, покуда я ехал по автостраде, иначе я прочитал бы ее в айфоне, показал бы Василию Васильевичу, бывшему Ваське) из все того же Петербурга, от Викторových родителей (Галины Викторovны и Ростислава Михайловича; их имена, их отчества тоже, наконец, я узнал; все перекликается, все рифмуется в жизни). Они поражены моим письмом, сообщали они; они не знают, что и подумать. Они тут же попытались связаться с Виктором — ответа нет, и они очень взволнованы. Им и во сне привидеться не могло, что он ушел из банка, уехал из

Алексей Макушинский

Франкфурта. Деньги от него в начале месяца пришли, как обычно... Из этого следовало, по крайней мере, что Виктор жив (если, конечно, он не поручил своему или, я думал, какому-нибудь другому банку, где ведь тоже у него мог быть счет, переводить родителям в Петербург такую-то и такую сумму раз в месяц; тогда этот банк и будет переводить им деньги, покуда они не закончатся; а если есть у него *кредит*, как он есть у меня самого, то есть право *оказаться в минусе*, на семь тысяч, или на десять тысяч, или уж я не знаю, на сколько тысяч евро — право, при наличии постоянного рабочего места предоставляемое в Германии кому угодно, тем более такому преуспевающему деловому человеку, каким был Виктор до последнего времени, — то так и будут, я думал, уходить с его счета эти ежемесячные деньги, еще долго, покуда и кредит не исчерпает себя... все это были мои фантазии, более ничего); я тут же, во всяком случае, еще раз ему написал с просьбой хоть как-нибудь отозваться и с сообщением, что выдал его папе и маме, пускай уж он меня извинит; потом позвонил Тине, сообщившей в ответ, что ее собственной маме совсем, но уже совсем плохо; а Виктор... ну что же?.. Виктор, значит, и вправду решил *убежать*. Выйти из своей жизни и дверь закрыть за собою... Я вспомнил, повесив трубку, Виктора, бегущего вдоль Альтмюля, с еще рязанскими кудрями, говорящего, заикаясь, что иногда хотел бы он убежать, что от себя ведь не убежишь; и вспомнил, как мы шли с ним вдоль Майна, в нашу, теперь получается, последнюю встречу, в марте или в апреле, полгода назад, и как сказал он, глядя на необыкновенные, рваные, дымные, страшные тучи, бродившие в тот день над рекою, над Восточною гаванью и еще недостроенным двустворчатым небоскребом Европейского центрального банка, что всегда было у него это желание — просто выйти из своей жизни. Выйти из своей жизни и дверь закрыть за собою.

Рольф-Дитер

Мы встречались с Виктором в последние годы если не очень часто, то уж точно чаще, чем когда-либо прежде. Ранней весной 2010-го я вынужден был, покинув любимый Мюнхен (с чем смириться не могу до сих пор), переехать во франкфуртские окрестности, получив работу в Майнцском университете. Отказаться от этой работы никакой возможности у меня не было; наоборот — приходилось за нее бороться, участвовать в конкурсе, проводить образцово-показательные занятия и читать пробные лекции. Приезжая читать их, я останавливался в гостинице возле университета, во Франкфурт не заезжал, ни с Тиной, ни с Виктором не встречался. Едва лишь переехал сюда в самом деле, в снятую мной квартиру, то есть буквально на другой или третий день после этого переезда (мучительного, как все переезды), оказался во франкфуртском дзен-до, где (как теперь нетрудно мне посчитать) не бывал с 2004-го; на сей раз оказался там не один, но вместе с моим знакомым, упомянутым выше, философом (никогда бы не согласился он сам с таким определением его занятий; сказал бы: историком философии) из Тюбингена Рольфом-Дитером М. (тоже М.), тем самым Рольфом-Дитером М., к которому впоследствии, через три с половиною года, я собирался заехать в гости — и все-таки не заехал — по дороге из Вейля-на-Рейне, на другой день после бессонной гостиничной ночи, когда Тина сообщила мне о гибели Боба, исчезновении Виктора (и кто бы сообщил мне весной 2010-го об этом исчезновении, этой гибели?). Из переписки с Рольфом-Дитером (с которым время от времени мы встречались на конференциях, обменивались электронными письмами) выяснил я, что, занимаясь всем этим теоретически (как оно и подобает философу), он никакого собственного опыта дзен-буддистской, например, медитации не имеет, никогда

Алексей Макушинский

ни в каком дзен-до не бывал и ни с одним дзен-буддистским учителем (что бы ни означал сей титул) не разговаривал; он же, узнав от меня о моих франкфуртских дзен-буддистских связях и сообщив мне, что приезжает по другим делам в Майнскую метрополию (еще раз используем вычурное сие выражение) тогда-то и тогда-то, через два дня после моего (мучительного, как все они) переезда, попросил меня сводить его, в самом деле, в дзен-до, свести его с Бобом. Рольф-Дитер являл (и являет) собою зрелище примечательное, останавливающее взгляды прохожих, да и самих прохожих, на улице. Это человек лет теперь уже пятидесяти пяти, двухметрового роста, плотный, с громадной, совершенно лысой головою, словно заряженной своим собственным электричеством, готовой вспыхнуть (синими, например) огоньками. Всего этого и так хватило бы, я полагаю, чтобы остановить прохожих на улице; в дополнение к этой электрической лысине, этому гигантскому росту Рольф-Дитер носил (и носит) костюм с жилеткой и бабочкой (иногда красной, бывает, что и зеленой, всегда готовой вспорхнуть), чего теперь почти никто уже, как мы знаем, не делает, и если надевал (надевает), к примеру (как в тот мартовский вечер, когда мы шли с ним знакомиться с Бобом), пальто поверх всего этого, то и пальто это (было) альпийское, длинное, под стать жилетке и бабочке, так что не только взгляды, не только прохожие, но (казалось мне, когда я шел с ним рядом по улице) и машины, и даже автобусы, и грузовики, и трамваи, и, в конце концов, облака на краткий миг замирали при его появлении, его прохождении. В дзен-до, во всяком случае, его появление произвело эффект недюжинный, почти оглушительный; даже гетеобразный адвокат Вольфганг внутренне, показалось мне, крикнул и на мгновение утратил веру в свои ботинки. Меня самого за прошедшие шесть лет все, кроме Ирены и Боба, забыли; во

всяком случае, не обращали на меня внимания, бросая быстрые взгляды (во время кинхина особенно) на тоже попытавшегося отсидеть три традиционные двадцатипятиминутки Рольфа-Дитера. Сидеть ему было трудно, я видел; ноги у него не гнулись и вскоре начали, похоже, молить о пощаде; спину тоже тер и поколачивал он в перерывах тыльной стороной плотной ладони; ни о каком, конечно, лотосе, ни о полулотосе, ни даже о бирманской позе, в которой сидел я сам, для философа не могло быть и речи; по-турецки и по-портновски, заваливаясь набок, сидел он — и все равно по-прежнему являл собою зрелище незабываемое, монументальное.

Узоры, прогулки

Один узор жизни всегда с радостью накладывается на другой узор жизни. Я уже знал, сидя лицом к стене, считая свои выдохи, что, когда дза-дзен закончится, мы снова выйдем на улицу вместе с Виктором, как шесть лет назад, снова пойдем с ним к Майну и через мост в Заксенгаузен, вдвоем или втроем с Рольфом-Дитером. Я не ошибся. Боб, когда чай был выпит и «Сутра сердца» прочитана, объявил Рольфу-Дитеру, сияя волосами, глазами, что он всегда готов и рад встрече с ним, готов и поговорить с ним о буддизме и дзене, почему бы и нет, хотя в дзене главное не разговоры, а действия, то есть вот этот дза-дзен, на котором Рольф-Дитер сейчас присутствовал и который, полагает Боб, больше сказал ему о буддизме, чем он, Боб, когда-либо сможет сказать при помощи всегда случайных и к сути дела не приближающих, скорее напротив — отдаляющих от нее слов, английских или немецких. Тем не менее он, Боб, рад беседе и встрече с Рольфом-Дитером, только не сейчас, сейчас он должен уезжать в Кронберг, а когда-нибудь, например послезавтра, или когда Рольфу-Дитеру будет угодно, удобно. Проговорив все это, просияв гла-

Алексей Макушинский

зами и посмотрев на часы, Боб исчез — в сопровождении, как мне сейчас помнится, ангелоподобной Барбары, то ли и вправду ехавшей в ту же сторону, то ли провожавшей обожаемого учителя (Боб, я видел, произвел на Рольфа-Дитера впечатление не менее сильное, чем сам Рольф-Дитер производил на окружающих и прохожих; не знаю, встретились они потом или нет); и когда мы вышли втроем с Рольфом-Дитером и Виктором на уже вечернюю, уже пустую и темную улицу, когда я познакомил их друг с другом и мы дошли (молча) до Бокенгеймерландштрассе и направились в сторону Оперы и я попробовал, наконец, завязать беседу с ними обоими, между ними обоими, это было немножко так (или так я себя почувствовал), как если бы, не в силах устроить Рольфу-Дитеру разговор с самим учителем, я предлагал ему удовольствоваться беседой с учеником, впрочем, как мне тогда казалось, да и до сих пор кажется, имевшим все шансы в более или менее отдаленном будущем учителем сделаться. Рольф-Дитер был (и остается) человеком разговора; для него философский диспут (о чем бы то ни было) — вещь естественная (и необходимая ему для поддержания жизни); в тот единственный раз, когда я был у него дома в Тюбингене, я понял, что и с женой (маленькой, кругленькой, в круглых, умных очках), и с двумя детьми, в ту пору заканчивавшими гимназию, долговязым мальчиком и хорошенькой девочкой, продолжает он, и они продолжают друг с другом, некий, наполовину состоящий из только им одним понятных намеков и шуток, ни конца, ни начала не имеющий разговор (в котором такие слова, как *имманентный*, *трансцендентный*, *трансцендентальный*, *деконструкция* и *дискурс* мелькали так же часто и с такой же непринужденностью, как в других семьях слова *футбол*, *отпуск*, *экзамены*; что придавало всей их домашней жизни отрадный оттенок безумия). Но Виктор, как и все дзен-буддисты, искал (надеюсь, что и по-прежнему

ищет) истину по ту сторону слов (не приближающих, но отдаляющих нас от сути); все-таки я уже на улице заметил, что внимание Рольфа-Дитера ему льстило, что и сам Рольф-Дитер ему импонировал. Беседовать, по вечерней улице идучи, хорошо вдвоем; втроем почти невозможно. Мы повторили наш прежний путь, дошли от Старой до Новой оперы, постояли на мосту через Майн, поглазели на небоскребы. Было ли у Виктора сатори? какой был его первый коан? или такие вопросы задавать неприлично? Задавать можно любые вопросы (возразил Виктор); не на всякий вопрос он сможет ответить. Да, что-то вроде сатори, или кен-сё, у него было, даже не один раз, а три... или, может быть, два с половиной (сообщил Виктор, поправляя на бритой голове вязаную, с помпончиком, шапочку). В-в-впрочем, это были кен-сё небольшие, неполные. Ага, значит, есть градации? Разумеется, ответил Виктор, глядя на разноростные небоскребы; градации есть во всем. Первое было в Японии, второе в Нижней Баварии, третье... в третьем он не уверен.

Паскаль, паденья души

Рольф-Дитер, как выяснилось, тоже жил в Заксенгаузене, в гостинице, маленькой и, наверное, дорогой, недалеко от моста и от круглой Швейцарской площади (Schweizerplatz), в боковой тусклой улице. В гостинице обнаружился бар, в тот вечер совершенно пустой — продолжение холла с колоннами, тоже совершенно пустого; обычная стойка с высокими, вертящимися на своей оси табуретами; два низких столика с глубокими креслами (из тех кресел, в которые легко сесть, с которых поди потом встань); добиться от скучающей, в рыжих локонах, девушки за стойкой (русского, японского, какого угодно) чаю оказалось делом немислимым; Виктор взял апельсиновый сок; мы с Рольфом-Дитером выпили сперва по

Алексей Макушинский

одной, затем по второй, затем, кажется, и по третьей пузатой рюмке дорогого, резкого коньяку. Человек противоречив (думал я, думаю я теперь). Виктор отвечал на вопросы Рольфа-Дитера о коанах, кен-сё и сатори очень спокойно, без всякого смущения и всякой позы (то есть, в сущности, так же, как Боб в свое время, в конце первой части, отвечал на мои вопросы о своем дзенском пути), лишь повторяя время от времени, что говорить обо всем этом невозможно, что это тот опыт, который у человека или есть, или его нет (что Рольф-Дитер понимал, конечно, и сам), и такое же, как при разговорах с Бобом, у меня было чувство, что он отвечает откуда-то, из какого-то такого места, где мы не бывали, какого-то такого молчания, которое нам неизвестно, из глубины этого молчания, внутренне не прерывая его, то есть что, в сущности, он *сидит*, не просто сидит в кресле (в котором он сидел, как всегда сидел последние годы, очень прямо, не касаясь спинки — в отличие от нас с Рольфом-Дитером, — легко дыша своей атлетической грудью, и не только грудью, но из глубины живота, из той точки в низу живота, которую японцы называют, смешно сказать, *хара*, усматривая в ней средоточие всяческой жизненной энергии, всевозможных жизненных сил...), но *сидит* и продолжает *сидеть* в дзенском смысле этого богатого смыслами слова (как настоящий дзен-буддист и должен *сидеть*, скажем снова, что бы он ни делал при этом); еще у меня было чувство, что куда-то он очень сильно продвинулся за те два года, что я не видел его, с того ужина у Тининых папы и мамы, куда-то очень далеко ушел по своему дзенскому пути, так далеко, что я уже и следов его не найду. А вместе с тем видел я, что этот разговор с Рольфом-Дитером, интерес к нему Рольфа-Дитера ему, Виктору, приятен, что все это ему льстит и что ему нравится как бы замещать Боба; значит, другим краем души, нравится

отвечать на вопросы любопытствующих профанов со своих дзенских высот, из своих дзенских глубин, от Бобова, если уж не прямо от лица Бодхидхармы, лица Хуэй-нэня. Нам всем льстит чужое внимание к нашей персоне, даже если мы стремимся — вправду стремимся — оставить в стороне и в прошлом эту персону, это маленькое, самовлюбленное я, которому чье-либо внимание, или вообще что-нибудь, может польстить. Виктор сам, мне кажется, чувствовал в себе это противоречие, слишком, с другой стороны, хорошо ему знакомое и понятное, чтобы оно могло по-настоящему вывести его из того покоя, который со всех сторон его окружал и окутывал (любой случайной мысли достаточно, чтобы превратить нас в обыкновенных людей, говорит Шестой патриарх; и — душа не удерживается на своих высотах, пишет Паскаль; так что все мы уже привыкли, в конце концов, к этому раскачиванию между рабством и свободой от себялюбия...); все-таки чем дольше мы говорили, тем чаще он заикался и тем чаще проглядывал в нем тот Виктор, которого я знал когда-то, тем больше, следовательно, становился он самим собою (но что значит — собою? — вот вопрос всех вопросов). Чуть-чуть было стыдно ему, и пару раз краснел он, как раньше. Да и кто он такой, чтобы говорить от лица дзен-буддизма? Он никто; он сделал лишь первые, неуверенные шаги по бесконечной дороге, он сам не знает, куда ведущей его, ведущей, может быть, в никуда... Был виден весь холл из того кресла, в котором я сидел; широкие стеклянные двери; тусклая улица за дверьми; пару раз проезжала по ней заблудившаяся машина, в поисках Швейцарской площади; свет фар ее обливал желто-глиняные псевдоантичные амфоры, почему-то стоявшие возле входа, мертвые фикусы, огромную, в полстены, картину с длинно-стебельными, тоже мертвыми, розами. Под мерзко-яркими лампочками бара, которые с расстроенным

Алексей Макушинский

видом зажгла при нашем появлении скучливая рыже-лохматая девушка, лысина Рольфа-Дитера отсвечивала не синим, а костяным и белым, наголо стриженная голова Виктора — как раз синеватым блеском; на второй пузатой рюмке я попросил девушку лампочки выключить, чем, похоже, еще сильнее ее огорчил; остался гореть торшер в углу; блеск голов успокоился... Нет, он не может описать кен-сё, говорил Виктор, отвечая на расспросы Рольфа-Дитера, он может описать один монастырь в Токио, и другой монастырь в Киото, и тот храм, на самом севере, на острове Хоккайдо, в префектуре Камикава, в горах и в глуши, где он, Виктор, свое первое кен-сё и пережил, свой первый коан решил и где зимою выпадает так много снега, что монахам приходится в этом снегу прорубать дорожки — сперва через поле и затем через лес, вниз по склону, чтобы добраться до соседней деревушки, соседнего городишки, и часто случается, что, раскидав лопатами снег наверху, продвинувшись вниз, к деревушке и городишке, обнаруживают они, что, покуда они продвигались, новый, чистый, мокрый и рыхлый снег уже занес дорожку, с утра ими прорубленную, и тогда они вынуждены прорубать ее снова, чтобы возвратиться в храм, не замерзнуть в снегу, и на другой день приходится начинать все сначала, но это никого из двух, иногда трех старых монахов, зимующих в горах, не волнует, не огорчает, это часть их дзенской жизни, их дзенского, если угодно, пути, и даже кажется, если это будет каждый день повторяться, им будет все равно, они так же будут с утра раскидывать снег наверху возле храма, через поле к лесу, и после в лесу, и так же снова раскидывать его вечером, в конце короткого дня, чтобы в храм успеть возвратиться, и только пару раз за все время его, Викторова, там пребывания, в совсем сильный уж снегопад, монахи вдруг объявляли ему, что сегодня никто никуда не пойдет, что и он, Виктор, может оставить лопату мирно стоять

в углу, а что дождутся они конца снегопада, тем более что вот и по радио через пару дней его обещали, и да, у них есть там радио, рассказывал Виктор, отвечая на мои и Рольф-Дитеровы вопросы, и даже есть у них генератор для электричества, стоящий и жужжащий в сарае, но больше ничего там нет — ни телефона, ни Интернета, никакой другой связи с миром, и один раз был он свидетелем, как с вертолета им сбрасывали еду, а что случится, если кто-нибудь из них поскользнется, сломает ногу, вообще заболит, этого он, Виктор, даже и вообразить себе не в состоянии, да и не думал он об этом, когда жил там зимою, в этой необозримой и победительной тишине, посреди этих розовеющих утром, краснеющих вечером, мерцающих под луной и сверкающих на солнце снегов.

Подаяние, снег, японские бабушки

В большом зеркале за стойкою бара — я обернулся — отражались девушки рыжие лохмы, потихоньку, вместе с самой девушкой, перемещавшиеся вниз, словно стремившиеся выпасть из зеркала; потихоньку засыпала она, сползая со своей табуретки; вдруг встряхивалась и встряхивала рыжими лохмами, с изумлением в пробуждающихся и вновь готовых сомкнуться глазах прислушиваясь к Викторову спокойному голосу, рассказывавшему о снежных завалах, храме в горах, городишке внизу. В этот городишко не только ходят они за провизией. Они, главное, ходят туда просить подаяния, почему-то выбирая для этого не столько самые снежные — зимой они все там снежные, — сколько самые холодные дни в году, когда все мерзнет вокруг, даже облака на небе — и те поеживаются, и тем неуютно. И он тоже, говорил Виктор, из своего буддистского молчания отвечая на наши вопросы, — да,

Алексей Макушинский

он тоже ходит вместе с монахами, вот, еще в декабре ходил семь дней подряд по этому страшному холоду, в сандалиях, немедленно промокавших, и, нет, не на босу ногу, но в шерстяных носках, промокавших немедленно тоже, и поскольку иностранцев, *гайдзинов* там по-прежнему очень мало, а уж среди буддистских монахов, ходящих по улицам с просьбой о подаянии, никаких гайдзинов вообще не бывает, никто их не выдвигал, то местное телевидение приезжало снимать его и брать у него интервью, так что он превратился в локальную знаменитость, легенду окружающих гор. Тут главное — идти очень быстро, иначе замерзнешь, и ни о чем не думать при этом, не думать, что ты можешь отморозить себе пальцы ног, ты их тогда и не отморозишь, а просто идти и идти, не расставаясь со своим коаном, просто делать то, что нужно делать, и все тут, не думая даже о том, подадут тебе что-нибудь или нет, соберешь ты что-нибудь или не соберешь, хотя он, Виктор, не может не признаться, что испытывает глупую гордость, когда выясняется, а это почти всякий раз выясняется, что он в своем качестве гайдзина, локальной знаменитости и легенды окружающих гор, собрал больше всех, и почти всегда бегут за ним мальчишки по скрипучему снегу, звонко смеясь и снимая его на мобильные телефоны, к невеликому его удовольствию, и бежит за ним еще кто-нибудь, взрослый, иногда пожилой, стремящийся вручить ему подаяние, к его глупой гордости, потому что, рассказывал Виктор (все так же прямо сидя в кресле), монахи не только идут очень быстро, чтоб не замерзнуть, но они еще и не ждут, они проходят, звоня в колокольчик или громко распевая сутру, а тот, кто хочет подать им, должен бежать за ними — это часть ритуала, и только под вечер, когда снег на крышах, на ветках сосен уже начинает краснеть, японские бабушки приглашают монахов, и его вместе с ними, в свои крошечные, до последней пылинки вылизанные домики с более или менее бумажными стена-

ми, чтобы они там погрелись у печки, подкрепились супом с лапшой или чаем с рисовыми пирожными, обычно невкусными, в такие дни и минуты вкуснейшими.

Разве он дзен-буддист?

Обо всем этом рассказать легко, но говорить о дзене как таковом невозможно или почти невозможно, что Рольф-Дитер наверняка и сам понимает, это тот опыт, который у человека или есть, или его нет, который не нуждается в словах и не дается словам, так что уже и само слово *опыт* уводит от сути... Да и какое право имеет он, повторил Виктор, говорить от лица дзен-буддизма или вообще от лица чего бы то ни было? Разве он дзен-буддист? А разве нет? — спросил Рольф-Дитер, лучась электрической лысиной. Он надеется, что нет, ответил Виктор с той своей светской улыбкой, которую по прошлым нашим встречам я уже знал за ним. Очень надеется он, что нет. Дзен-буддист ведь только тогда дзен-буддист, когда никакой он не дзен-буддист. Надо заниматься дзеном, *сидеть, сидеть и сидеть*, себя не щадить и бороться с собою, но ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не быть дзен-буддистом. Дзен-буддист в дзен-буддисте — это такая же личина, такая же маска, как все другие личины, все прочие маски, которые он носит, из которых он состоит. Он должен все их отбросить, оставить лишь пустоту за ними, да и пустоту за ними отбросить, в конце концов, тоже, говорил Виктор с этой своей светской улыбкой, в то же время чуть-чуть краснея, вдруг заикаясь, сам чувствуя, может быть, что все-таки, отбросив маски и скинув личины, говорит он от лица чего-то или кого-то, возвещая свои парадоксальные истины любопытствующим профанам, что каким-то краем души ему это нравится, ругая себя, видно, за то, что ему это нравится...

Живая вода заблужденья

Действительно замолчал он. Девушка за стойкой бара, разбуженная наступившей вдруг тишиною, вновь встряхнулась — и встряхнула рыжими лохмами, — потом опять начала сползать вниз, стремясь исчезнуть из зеркала. Я вспомнил свои уже очень старые, уже четвертьвековой давности мысли о родстве этого отношения к словам с поэзией, о родстве этого недоверия к словам (к словам, которые всего лишь говорят *о чем-то...*) со стремлением поэзии тоже не говорить *о чем-то*, но быть самим этим *чем-то*, самой вещью, свершением смысла. Вот именно: смысла, сказал Рольф-Дитер в ответ на мои рассуждения (поддержанные Викторовым молчанием), смысла, то есть, сказал Рольф-Дитер, Логоса. Потому что есть ведь и совсем другое отношение к слову, словам и смыслам, так или примерно так сказал, я помню, Рольф-Дитер, вращая в плотных пальцах пузатую коньячную рюмку, есть то слово, которое у Бога и которое Бог, и это слово осмысленное, даже, если угодно, рациональное, разумное, ведь Логос — это и слово, и разум, как вы сами прекрасно знаете, а если так, то и наши поиски смысла не противоречат словам, и рассуждениям, и, если угодно, абстракциям, и философствование не уводит от истины, как у вас получается, а приближает к ней, пусть и не достигая ее, но все-таки приближает к ней, то есть, говорил Рольф-Дитер, лучась своей лысиной, это диалог, или разговор с истиной, разговор, который никогда не может прерваться, или, скажем, иногда прерывается, но затем возобновляется опять и опять, в любом случайном месте, вот, например, в пустом баре заксенгаузенской гостиницы, почему бы и нет? Вот этот разговор в случайном месте, в случайном баре случайной гостиницы, лучась лысиной, продолжал Рольф-Дитер, он никогда не прекращается, начинается вновь и вновь; он не доходит, может быть, ни до каких оконча-

тельных результатов, не достигает цели и не в силах сделать последние выводы, но ведь и *ваше молчание* (говорил Рольф-Дитер, обращаясь к замолчавшему Виктору) тоже ни до каких выводов и результатов никогда не доходит, и если вам кажется, что все — путь пройден, что искомое найдено, то путь и в самом деле пройден, а искомое потеряно навсегда, не мне вам это рассказывать и не мне напоминать вам тот коан в «Мумонкане», один из последних, где рассказывается о человеке, который сидит на тридцатиметровом столбе и которому предлагают сделать следующий шаг (я подумал, что Виктор этот коан уже давно, быть может, решил, а мы не знаем и никогда не узнаем, как он решил его, если решил; он уже сам, наверное, сделал этот следующий шаг с тридцатиметрового столба головой вниз, прямо в бездну...). И вы мне скажете на это (говорил Рольф-Дитер, все так же обращаясь к молчащему Виктору), что, с одной стороны, путь не может быть пройден, а с другой стороны, идти никуда не надо, потому что все уже здесь, искомое уже найдено, и мы все обладаем «природой Будды», включая собак и кошек, и всякий, кто садится на подушку, скрестив ноги, уже просветлен, и стремиться не к чему, незачем, и никакой истины, отдельной от нас, быть не может, мы уже сами — истина, и я все это тоже знаю, и все эти книги тоже читал, но, видите ли (говорил Рольф-Дитер, улыбаясь и светясь своим электричеством), это ведь тоже и только мысли в ряду прочих мыслей, только идеи среди прочих идей. Вы считаете, что это непосредственный опыт, по ту сторону всяких мыслей и слов, а я позволю себе в этом, уж извините меня, усомниться. Идти никуда не нужно, потому что все уже здесь. Но и ваши главные идеи уже здесь, нравится вам это или не нравится. Вам это не нравится, я вижу, говорил Рольф-Дитер, глядя на молчащего Виктора (а я как раз не видел, нравится ему это или не нравится; чем

Алексей Макушинский

дальше говорил Рольф-Дитер, тем спокойнее делался молчаливый его собеседник). Вам это, я вижу, не нравится, вы верите в чистый мистический опыт, или верите, что ни во что не верите, а на самом деле, позвольте уж мне заметить, вы исходите из тех же идей, к которым приходите, например, из идеи пустоты, какую идею вы не считаете, понятное дело, идеей (говорил Рольф-Дитер, предупреждая Викторовы безмолвные возражения), но которая, с моей непредвзятой точки зрения, есть такая же идея, как любая другая, есть, следовательно, просто некая философская позиция среди других философских позиций, и если Будда утверждал, что ничего нет, что вещи пусты, а значит, и личности нет, значит, я иллюзорно, и эта иллюзия стоит на нашем с вами пути к просветлению, и должна быть нами преодолена и нами отброшена, то он философствовал, вот и все, и вы философствуете, хотите вы этого или же не хотите, то есть вы участвуете в разговоре, даже молча, в переключке и взаимодействии философских позиций, и честно говоря, я не верю, что на своем пути молчания вы приходите к чему-то, чего уже не знали заранее, например, к тому, что вещи все же не пусты и личность все-таки есть. Что-то я не слышал о буддистах, приходящих к таким результатам. Может, и попадают такие буддисты, но только они, видно, перестают быть буддистами. То есть я не сомневаюсь, что ваше сознание всеобщей пустоты и безличности в конце или, поскольку конца нет, в продолжении вашего мистического пути, по мере продвижения вперед, очень сильно отличается от вашего же сознания всего этого в начале и при первых робких попытках, отличается от него, может быть, так же, как настоящая вода в настоящем стакане отличается от нарисованной воды и нарисованного стакана (говорил Рольф-Дитер, вертя в плотных пальцах свою третью — или четвертую — пузатую рюмку с коньяком, древесный блеск

которого колебался в тусклом свете торшера), но речь идет именно о воде и стакане, а не, скажем, о рюмке и коньяке, и я не знаю, стоило ли стараться, то есть нужно ли было десять лет, или двадцать лет, или сколько лет сидеть, глядя в стену перед собой (сколько лет сидел Бодхидхарма?), и ломать себе ноги, и мучить свою спину, и вставать в половине четвертого ночи, чтобы прийти к тому же, из чего вы двадцать лет, или десять лет, или сколько лет назад исходили. С вашей точки зрения стараться, наверное, стоило, потому что это живая вода, а не поганый резкий коньяк (говорил Рольф-Дитер, приканчивая четвертую рюмку), но ничто не доказывает, ни из чего не следует, что это живая вода истины, а не живая вода заблуждения, поскольку заблуждения, иллюзии и фантомы тоже, позвольте заметить вам, весьма и весьма помогают страдающему и взыскующему избавления человеку справиться с неотменяемыми невзгодами бытия.

По пути умирания

Узоры жизни всегда с радостью повторяют друг друга. За посещением дзен-до и прогулкой с Виктором по темному Франкфурту следует — вечеринка, в первый раз — та незабвенная вечеринка у Боба, где появилась белокурая, роковая, всем мешавшая Барбара, во второй и на этот раз — вечеринка новогодняя, по-своему тоже незабываемая. По крайней мере в воспоминаниях моих одно следует за другим, хотя мы встречались и с Виктором, и с Тиной в течение этого 2010 года, окончание которого, наступление нового затем и отпраздновали вместе, для меня вполне неожиданно. Это были встречи случайные, краткие (в кафе в центре Франкfurта, в толкливую, шумную, обалдевшую от посетителей больших и маленьких магазинов субботу); еще я только осваивался в новом университете и новой (для меня нерадостной) жизни;

Алексей Макушинский

да и Тине, ухаживавшей за отцом (у которого, как я понял, мало оставалось надежды выйти из онкологического отделения огромной, тоже университетской, клиники на берегу Майна), было не до встреч в кафе, не до разговоров со мною о дзене, литературе и фотографии. Никакого ухода в немецкой больнице обычно не требуется; скорее нужна была помощь в том немыслимом для нас деле умирания, оказать которую никто, наверно, не может, которая все же нужна. Тина приезжала к Винфриду каждый или почти каждый день, как через пару лет ей суждено было приезжать к Эдельтрауд; входя в палату, всякий раз заново, с новым ужасом, не узнавала отца в этом страшном и чужом старике с запавшим ртом и фиолетовыми кругами вокруг воспаленных, вопрошающих глаз; садилась с ним рядом, отыскивая среди этих кругов и впадая в родные с детства черты, брала его за костлявую руку, или хоть дотрагивалась своими бесстыдно живыми пальцами до его руки с красненьким, иногда желтеньким, иногда синеньким катетером на тыльной стороне уже не крапчатого, но сплошь темного кулака, пыталась говорить с ним, покуда он еще мог говорить. То же самое, иногда и по два раза на дню, до работы и после работы, проделывал, к Тининому изумлению (умилению), Виктор; глядя на них обоих, на Викторов синий череп, особенно ярко блестящий в беспощадном больничном свете, Тина, как она мне рассказывала впоследствии, вновь и вновь бывала вынуждена признать (к своему умилению, изумлению), что никогда до сих пор не сблизившийся, десять предложениями за все эти годы не обменявшийся с Винфридом Виктор (созвучие имен она тоже впервые услышала, впервые заметила...) гораздо лучше, таинственным образом, помогает ему в этом немыслимом и страшном — даже при мысли о нем уже страшном — деле умирания, чем может помочь она, или мама, или изредка заходившая в больницу,

занятая собственными детьми и унаследованным магазином Вероника, хотя что, собственно, делал Виктор, о чем говорил с ним, Тина понять не могла. В ее присутствии, тем более в присутствии Эдельтрауд или Вероники, он ничего, по видимости, не делал — просто, прямо, блестя синим черепом, сидел на стуле у Винфридовой кровати, умевшей вздымать изголовье по нажатию кнопки, подниматься и опускаться, чуть ли не разговаривать, но все равно больничной, с этим всякий раз заново ужасавшим Тину желтым, то совсем, то наполовину полным пузырем, прицепленным к боковине, с тою же желтизной, иногда застыгавшей, иногда зримо стекавший в пузырь по шлангу, вылезавшему из-под одеяла. Какой-то был у них свой отдельный разговор, нуждавшийся или не нуждавшийся в словах; разговор, которому Тина старалась не мешать, оставляя их наедине и вдвоем, да и сама предпочитая оставаться с папой наедине, для своего собственного с ним, в словах уже почти не нуждавшегося разговора, которому мешал Виктор; вдруг поняла она, в мгновенной вспышке стыда и горя, что в ее собственном разговоре с отцом речь все-таки шла о ней самой, Тине, не только о ней, но в очень большой мере о ней, о том, как она здесь останется без него, о том, как она его любит, как ей страшно и горько, как трудно не плакать; в Викторовом же разговоре с ее отцом речь о Викторе не шла вовсе, ни в малейшей мере и степени. О чем шла речь, она Виктора спросить не решалась. Она вспоминала, как Боб после Викторовой велосипедной аварии оставался вдвоем с ним, пусть на несколько минут, каждый день, как Виктор, однажды и походя, назвал это лучшим подарком, который Боб мог сделать ему, и каким он, вправду, после каждого Бобова посещения казался другим, примиренным и просветленным, еще более просветленным и примиренным, чем казался обыкновенно. Но Боб проделывал с Виктором что-то их дзенское, думала и говорила мне впо-

Алексей Макушинский

следствии Тина, какие-то их буддистские штучки и фокусы, да и не страшно было Виктору, жизнь его была не в опасности, только дышать было больно. Сам Виктор ничего дзенского не проделывал с ее умирающим папой, просто сидел с ним, излучая то спокойствие, которое умел излучать он, просто был с ним рядом, с той силой присутствия, с какой умел быть рядом, быть с кем-нибудь; так ли, иначе ли, рассказывала мне Тина, всякий раз, когда после него или вслед за ним входила она в эту уже ей привычную, с широкими окнами и небоскребами в них, ненавистную ей палату, с этим ее особенным, неистребимым, въедавшимся в одежду, и волосы, и кожу, и даже как будто в мысли больничным запахом — хлора, камфары, пролежней, кала, мочи и отчаяния, — всякий раз в Викторовом присутствии и после Викторова посещения ее умирающий и ужасающийся смерти отец тоже казался ей, пусть отчасти, одной частью или одним краем души, примиренным и просветленным, успокоенным и утешенным; дышал ровнее; пару раз видела она слезы, не слезы страха, но слезы, казалось ей, умиления, прощенья, прощанья, не сразу стекавшие по лицу, а долго скапливавшиеся в воспаленных, фиолетовых и лиловых, под конец уже просто черных глазницах; видела и как, в свою очередь, дотрагивался он костистыми пальцами до Викторовой крепкой руки, словно стараясь удержать эту руку, еще и в последний раз за нее подержаться.

Злачное место

Тогда же выяснилось, что во Франкфурте то ли уже есть, то ли как раз создается (подробностей Тина не помнила) буддистский хоспис (воспользуемся этим новым для нашего языка словом), хоспис (как поняла Тина) только амбулаторный, не имевший своего помещения, своей отдельной больницы, но предлагавший помощь тем, кто нуждался в ней, в больни-

цах других и обыкновенных, или просто дома у тех, кто мог оставаться дома; почти сразу после Винфридовой (во сне и без свидетелей) смерти Виктор, к очередному Тинину изумлению (не умилению), пошел туда добровольцем, или, скажем так, волонтером (слово не новое, но в последние годы, если я правильно понимаю, получившее в нашем языке отчасти другое значение), занимаясь там (как с непроходящим изумлением и отчасти ужасом в глазах рассказывала мне Тина, да и сам Виктор, без всякого ужаса, рассказывал мне впоследствии) тем, что по-немецки называется *Sterbebegleitung* — проводами умирающего, был он или не был при жизни буддистом, в небытие, в пустоту (в рай, ад, чистилище, злачное место). Каждый умирает в одиночку, как назывался не прочитанный мною роман Ганса Фаллады, все мое детство простоявший на дачной полке, среди других ссыльных книг, с каждым летом и после каждой зимы делавшихся все более сырыми и гнутыми; умирающим в одиночку тоже нужна, очевидно, помощь в этом немыслимом для нас деле, на этом пути в пустоту (или небытие, или злачное место, или рай, или ад, или никто-не-знает-куда); даже окончил Виктор, за немалые деньги, вечерне-воскресные курсы паллиативной медицины (вот еще одно новое слово), хотя времени на все это у него, в сущности, не было. Для Тины же (как она мне потом признавалась) что-то было оскорбительное в этой быстрой замене ее отца на другого онкологического старика, затем на почти молодого, тоже от рака умиравшего итальянца, не чуждого, в самом деле, буддизму, — как если бы Виктор вошел во вкус смерти (она думала, сама себя ругая за эти мысли); вошел во вкус — и уже не мог остановиться; как если бы то, что для нее, Тины, было самой ужасной, самой невыносимой (все слова слабы здесь) потерей, какую до сих пор пришлось испытать ей, для него, Виктора, оказалось лишь началом ново-

Алексей Макушинский

го увлечения, нового хобби... Она ругала себя за эти мысли; говорила себе, что несправедлива к Виктору, что он, может быть, таким странным и страшным, на ее взгляд, способом справляется с тем шоком, каким было и для него, не для нее лишь, это соприкосновение со смертью (она слышала, мы все слышали, о людях, идущих работать в хоспис на другой день после похорон их отца или матери). Шок, наверное, был (она думала); просто Виктор, все более прозрачный для себя самого, все более таинственный для других, не показывал ей пережитого им потрясения, во всяком случае, не говорил о нем — как не говорил и о том важнейшем, тоже, хотя и по-другому, разумеется, потрясающем, что (она видела) происходило с ним в его дзенской жизни, на его дзенском пути.

Непостоянная святость

А может быть (она думала дальше или я думаю теперь, что так она думала), он потому и не говорил с ней — не просто не говорил с ней, но упорно, мягко и тихо уходил от всех ее, Тининых, попыток заговорить с ним об испытанных им потрясениях (хотя вполне и сколько угодно готов был говорить с ней об ее горе, ее неспособности, да, в общем, и нежелании, прийти в себя и жить дальше), что уже все это не имело для него никакого или почти никакого значения, все его чувства и вообще он сам, Виктор. Не о том, не о нем шла речь для него. Речь шла о ней, Тине, речь шла о Винфриде, о другом старике, о молодом итальянце, о сестрах этого итальянца, тоже нуждавшихся в поддержке и помощи, о Бобе, о людях сангхи, которые, иногда казалось Тине, только и делали, что обращались к Виктору со своими невзгодами, об Ирене, о тихом Роберте, даже о Барбаре, если что-то ей требовалось. И это не потому было так, что он так решил, а потому что это так в нем решилось. Мы все иногда решаем не жить для себя, жить для

других. Ничего не стоят наши решения. Но он не решил так, казалось Тине, а он в самом деле забывал, уже забыл о себе. Все мгновенно происходило в его жизни теперь, без пауз и промежутков, без окон во времени... Стоило позвонить одной из сестер итальянца, как тут же и не задумываясь отправлялся он ей на помощь, Тина же, оставаясь в одиночестве, думала (или я за нее так думаю), что это его, Викторovo, все более деятельное, без слов и рассуждений обходящееся сострадание, совершенно подлинное, не наложенное на себя подобием эпитимьи, но идущее от самого сердца, и значит, такое сострадание, такое желание помочь другим людям, которое вполне могло бы обойтись, она не сомневалась, без всякого буддизма, без всякой религии, — что вместе с тем и в то же самое время это его растущее сострадание есть результат того таинственного, что происходило с ним на его дзенском пути, о чем он никогда с ней не говорил. Это дзен преобразил его так (она думала); и почему-то страшно при этой мысли ей становилось. Впрочем, все это, как сам я вскорости имел случай убедиться, отнюдь не делало его святым — и если делало, то лишь иногда и ненадолго (а святость и не следует, наверное, представлять себе как состояние длящееся; святость, может быть, наступает и проходит опять; человек, процитируем еще раз Паскаля, не удерживается на тех высотах, на которые возносится он — лишь для того, чтобы снова упасть с них).

Диджей и плейбой

Я был удивлен и тронут, когда Тина и Виктор предложили мне встретить Новый год (который мне встречать было не с кем: как раз тогда развязывались, разваливались и в моей жизни отношения, о которых я здесь рассказывать, пожалуй, не буду...) вместе с ними, в случайной и для них тоже (как на поверку оказалось) компании, у некоего англичани-

Алексей Макушинский

на (именем Хэмфри), стареющего, как выяснилось, плейбоя, бывшего (что бы сие ни означало) диджея, Тине доставшегося в наследство от Бертиной богемной эпохи, вместе с пристрастием к английским детективам и чашкам от Harrod's. Было холодно, и было много снега во Франкфурте (не так много, конечно, как бывает в префектуре Камикава); долго, помню, ехали мы на трамвае до какой-то дальней, прямой и унылой улицы, совсем по-русски срезанной и сжатой сугробами, снежными горбами машин. Только сугробы и могли, я подумал, украсить эти казарменные пятиэтажки, безнадежно болотного цвета, наскоро, как повсюду во Франкфурте, понастроенные после войны и бомбежек, с одинаковыми крылечками, тремя ступеньками перед каждой дверью, одинаковыми навесиками над этими ступеньками и крылечками; не только не могли их украсить, но скорее лишь подчеркивали беспробудную их безотрадность — разноцветные лампочки на казарменно-квадратных окошках и оставшийся от Рождества Санта-Клаус в красной мантии и с красным же мешком за спиной, так подвешенный под карнизом одного из окошек, как будто он лез в квартиру, чтобы одарить, наконец, ее обитателей всем, что причитается им за долгие годы безрадостной жизни. В тесном подъезде стоял тот затхлый запах, который стоит во всех подъездах всех хрущоб всего мира, по ту и по эту сторону бывшего железного занавеса; из открытой двери на четвертом этаже вырывался череподробительный рок. Я подумал, что можно еще удрать. Мы шли, впрочем, в квартиру соседнюю, откуда летел на нас только грохот набившихся туда голосов. Плейбой, диджей Хэмфри оказался шестидесяти-примерно-летним господином, седым, гибким, высоким, с гуттаперчевыми движениями, в цветастой рубашке навыпуск, с лицом, одновременно морщинистым и гладким — как будто его сперва смяли, после разгладили, — и с

чем-то неуловимо педерастическим в этом лице, хотя влекли его, похоже, лишь длинноногие блондинки, которых насчитал я штук шесть и которые, когда пошли танцы, окружили хозяина подобьем кордебалета. С Виктором он поздоровался холодно, на меня вниманья не обратил, с Тиной долго, шумно, с охами, обнимался. Были еще всякие персонажи, знакомые Тинины, которых, признаться, я не запомнил, сосредоточившись на длинноногих блондинках. Блондинки были уже немолодые, откровенно блядского вида и тем особенно хороши — не блондинки, а бляндины (как шутили во времена наших бабушек). Из них главная была под два метра ростом; другие все же пониже. Главная была немка; среди других преобладали хорватки. Одни блондинки потом ушли, вместо них пришли новые. Все блондинки, ушедшие, и пришедшие, и вовсе не уходившие, были, как таким блондинкам и полагается быть, на длинных, тонких, лакированных каблукках, в облегающих мини-юбках, в легко, под более или менее прозрачными блузками, распознаваемых бюстгальтерах из той прелестной породы бюстгальтеров, которые поднимают грудь на волшебные эротические высоты. Вечер, короче, сулил много интересного. Было трудно удержаться от счастливого смеха при виде такого количества блондинок (бляндинок) в тесной, душной, ничем не примечательной комнате. Несуразности жизни вообще восхитительны. Непримечательность комнаты сама по себе была примечательна, учитывая экзотичность хозяина, постаревшего диджея и не стареющего плейбоя, на свои диджейско-плейбойские доходы прикупившего, как успела рассказать мне Тина, пару квартир где-то в Англии, то ли в Бристоле, то ли в Бате, квартир, которые он сдавал внаем, на доходы с которых жил, безбедно и скромно, во Франкфурте, куда в свое время занесла его плейбойско-диджейская планида, ничего не делая, развлекаясь с

Алексей Макушинский

блондинками. Был громадный — в полстены — телевизор и четыре — по углам — усилителя музыки, громадные тоже; еще помню диван, на котором, сменяя друг дружку, выставляя коленки, обнажая ляжки, сидели блондинки; стол, уже залитый вином; разнобой бутылок, стаканов с отпечатками пальцев, оттисками помады. Чистых не было. Чтобы выпить вина или хоть воды из-под крана, нужно было взять один из этих стаканов, пойти с ним на крошечную кухню, протолкнуться к раковине сквозь толпу блондинок и не-блондинок. Возле раковины обнаружилась горка грязных, но глубоких тарелок, одну из которых можно было из горки извлечь и помыть, чтобы отведать грозно-острой чечевичной похлебки, подогревавшейся на плите — единственное, кстати сказать, угощение, непременно, по уверению хорошо разбиравшейся в британских делах Тины, атрибут вечеринок такого рода, такой степени несуразности на том берегу Ла-Манша.

Блондинки, блондинки

Колонки и усилители долго молчать не могут. Не успел я познакомиться на кухне, за обжигающим поеданием похлебки, с парой блондинок (одна из коих, с уклончивою улыбкой, отказалась поведать мне, чем она занимается в жизни; другая, поколебавшись — колебнув бедрами и колыхнув бюстом, — сообщила, что она косметолог, что бы сие ни значило...), как ударившая по нашим черепам, соседскую заглушившая музыка увлекла обеих отплясывать в тесную комнату; сменив их, появилась на кухне другая пара блондинок (хорваток), за разговором Виктора с которыми Тина, я видел, наблюдала с растущей ревностью, с тяжелым, сразу постаревшим лицом. Блондинки, похоже, и эти, и предыдущие, сперва приняли нас с ней за *пару*; когда же поняли, что *пара* — Тина и Виктор, переглянулись с насмешливым недоумением. Виктор и

Тина всегда смотрелись странновато вдвоем; еще странней, совсем странно смотрелись вдвоем в этом обществе. Любая блондинка-бляндинка (будь она хоть косметологом...) должна была спросить себя, как могут быть *парой* этот спортивный, с потрясающими глазами, явно преуспевающий, в часах за тридцать тысяч евро, молодой человек и эта толстая, взрослая, уставшая тетка в простом черном свитере, и нельзя ли это как-то порушить. Тина, мучимая ревностью, еще не оправившаяся после смерти Винфрида, в самом деле выглядела ужасно; ее и так уже тонкие губы почти исчезли с лица, повернувшегося в трагическую сторону, о комической маске забывшего... И, конечно, они заигрывали с Виктором, эти бляндины-блондинки, как бы предлагая ему восстановить естественный порядок вещей. Тина, глядя на все это — в толчее кухни, с дивана в комнате, когда и эти блондинки тоже, и Виктор с ними отправились танцевать, — вспоминала (могу предположить теперь) ту парижскую вечеринку с Бертой у Томаса Б., модного фотографа, приятеля Герба Риттса и Тининога когдатошнего соученика по дюссельдорфской школе фотографии; тех не менее длинноногих бляндинок; думала, может быть, что все повторяется, что нет ничего горше этих повторений; ничего горше неизбежности повторений. А почти и невозможно было не танцевать, такой стоял грохот и так холодно сделалось, когда разгоряченный Хэмфри распахнул балконную дверь. Хэмфри, танцуя, перемещался по тесной комнате шагом откровенно журавлиным, высоко задирая тонкие ноги, дрыгая руками и вращая ладонями, достойный представитель великой нации, создавшей министерство глупых походов. Блондинки не отплясывали канкан, но, кажется, близки были к этому. Виктор двигался прекрасно, легко, без всяких лишних жестов, дрыганий и вращений, с какой-то, подумал я, трезвой грацией, совпадая с ритмом электрической музыки, присутствуя в настоящем — и вовсе

Алексей Макушинский

не заигрывая ни с какими блондинками. С блондинками он не заигрывал, а на Тину все-таки не смотрел. Она смотрела на него исподлобья, он же словно не замечал ее взглядов, всем видом своим показывая, что никаких поводов для ревности не подавал, ревность Тинину считает для себя оскорбительной, что вот танцует — и все, раз уж она затащила его на эту вечеринку, где больше делать нечего, так шумно, так холодно, и что если Тина хочет смотреть на него такой букой, то пускай смотрит, ему наплевать, у него Новый год... Тина не ожидала такого изобилия блондинок, иначе не потащила бы его, а за компанию уж и меня, на этот Новый год, все более ей ненавистный — первый, кстати и как потом я узнал, Новый год, который Виктор встречал не с сангхой (не у Боба в Кронберге и не, как в прошлом году, у гейдеггерообразного Герхарда, который и на этот раз звал их к себе, к которому на этот раз не пошли они, потому что Тине, как сама она выразилась, надоели буддисты и потому что Виктор, как ни старался, не мог преодолеть растущей несимпатии к этому Герхарду; вообще начались тогда в сангхе, в ее узком кругу, разнообразные ссоры и споры, о чем и не подозревал я, покуда не столько Виктор, сколько Ирена, моя давняя дзенская приятельница, не раскрыла мне кое-какие секреты...). Теперь делать было нечего; уже они были здесь; Виктор танцевал, и Тина мучилась ревностью. Часы, наконец, приготовились пробить свои пресловутые двенадцать ударов; явилось шампанское; разлилось по бокалам; пролилось на пол, под общие крики, к наслаждению блондинок. Все вытолкнулись на балкон смотреть фейерверк. Запахло порохом, и раздалась победные клики. Рассыпавшиеся в светлом небе ракеты то в кровь, то в зеленку окунали соседние дворы и казармы; то в кобальт, то в киноварь — снег на ветках, снег на карнизах; простой кулисой, нарисованным задником смотрелись, в

дыму сражения, далекие небоскребы. Я видел, как Тина, стоявшая рядом с Виктором, притянула его к себе, и потом, когда присутствующие оторвались от созерцания ракетных россыпей, притянула еще раз, приобняв за талию, приклонившись к нему на плечо — жестом, подумал я, почти материнским, таким жестом, каким гордая мама обнимает взрослого сына: смотрите, мол, какой сыночек у меня... Он сперва отодвинулся, потом, пересилив себя, подчинился; лиловые отблески пробежали по их стыдящимся лицам. Им было стыдно обоим, вот в чем все дело; сильнее всего было стыдно им за свой собственный стыд. Смешно, и глупо, и — прежде всего остального — стыдно стыдиться своей любящей спутницы перед случайными потаскушками; а все-таки, наконец я понял, он стыдился и побороть свой стыд не мог; даже, наверно, и не очень пытался, слишком зол был на Тину. И, значит, был среди того множества персонажей, из которых мы все состоим, еще и такой персонаж в Викторе, такой, среди прочих Викторов, Виктор, которому отнюдь не безразличны были иронические перегляды бляндинок, к стыду и горю всех других Викторов, других персонажей, к стыду и горю аскета в нем, к стыду дзен-буддиста, тем более к стыду того Виктора, который Тину любил, конечно, по-прежнему, сочувствовал ее горю, даже, в сущности, понимал ее ревность. Тот, кто следил за бляндинокскими переглядами, кто угадывал их гадкие мысли (вот-де парень какой странный, завел себе мамочку...), этот всем прочим Викторам ненавистный и отвратительный Виктор был сейчас главным персонажем на сцене, в тесной комнате, оглушаемой четырьмя усилителями, куда опять все набились и где Виктор (этот Виктор) танцевал теперь медленный танец с самой главной, самой высокой блондинкой, положив ей руки на бедра, и в случайном взгляде его, в Тинину сторону брошенном, никакого сочувствия не читалось.

Алексей Макушинский

Все это было ужасно, короче; я рад был, когда журавленогий Хэмфри вдруг вырубил свою музыку, вместо нее врубив — с той же громкостью, в полстены — телевизор. Был час ночи; в Англии полночь; наладившись франкфуртским, хозяин и гости принялись наслаждаться лондонским фейерверком, бурно его комментируя. Ишь как наяривают над Темзой... Вау, вот здорово... Но еще долго мы толклись на кухне и в комнате, не зная, что делать, скучая, зевая, прежде чем выйти в усыпанную гильзами ночь.

Прощайте!

Трамвая не было, и вызванное такси упорно не приезжало. Я должен был ночевать у Виктора в Заксенгаузене, а Виктор у Тины; не знаю, помирились они в ту ночь или нет. Виктор жил в той же крошечной квартирке, где поселился в свое время, переехав во Франкфурт из Эйхштетта, квартирке, замечательной своей близостью к так называемому Музейному берегу, по которому так часто ходил он, бегал, ездил на велосипеде, замечательной и своим видом на все те же, всегдашние, во Франкфурте неизбежные небоскребы, который (вид) открывался, впрочем, не из окна (открывайся он из окна, квартира стоила бы в два раза дороже), но (что тоже дорогого стоит) за ближайшим углом, за поворотом на соседнюю улицу. Была банальная европейская кухня, банальнейшие шкафчики, полочки; узкий и темный коридор с маленькой книжной полкою; огромный стенной шкаф в прихожей, где висели Викторовы банкирские костюмы, рубашки, вообще как будто все его имущество и богатство; и пустая, японская, дзенская единственная комната, выложенная настоящими (не знаю, где Виктор раздобыл их в Германии), из тростника и рисовой соломы, татами, причем, если правильно понял я, выложенная по всем законам выкладыванья татами (корот-

кие стороны двух прямоугольников примыкают к длинной стороне третьего...); комната, где кроме этих татами, на этих татами, обнаружился лишь аскетический, страшно жесткий матрас у одной стены (такой жесткий, что, едва улегшись в приготовленную мне Виктором постель, тут же вскочил я, понимая, что ни я сам не выдержу, ни спина моя не выдержит подобной аскезы); и у стены противоположной черный квадратный мат, на нем черная круглая подушка для, понятное дело, дза-дзена. Не сразу заметил я в углу, скрываемом отворявшейся внутрь дверью, на черной тумбе ту музыкальную систему, дорогую и хромовую, которую несколько лет назад купил он, как мне же потом рассказывал, в пору своего, теперь уже, похоже, утихшего, если не вовсе прошедшего увлечения колумбийской кумбией и классической оперой, Массне, Сезарией Эворой; колонки оказались поскромнее все-таки Хэмфриевых. И больше ничего не было в этой комнате; то есть буквально, вообще ничего; буддистское Ничто, перенесенное в повседневность. Хотел бы я жить так? Я не знаю, но мне это нравилось. Отбросить все лишнее; свести жизнь к необходимым вещам. Был дзенский круг на голой, белой стене у матраса; большой дзенский круг в черной рамке под стеклом; явно не репродукция, купленная в сувенирной лавке, на ходу, на бегу, но подлинный дзенский круг с крошечными, в нижнем левом углу листа, иероглифами, быть может, подумал я, подаренный Виктору знаменитым каким-нибудь роси, не Шиничи, конечно же, Хисаматсу, но, например, Китагавой; такой дзенский круг, каким ему и полагается быть, со следами широкой кисти, брызгами черной туши, не совсем замкнутый, впускающий в себя все ту же непобедимую пустоту. Еще была перед дза-дзенской подушкой из темной бронзы очень красивая и тоже, наверное, очень дорогая статуэтка — не Будды, вот что удивительно, но бодхисаттвы Манджушри — или, по-японски,

Алексей Макушинский

Мондзю — с коротким мечом в поднятой длинной руке, мечом, рассекающим наши иллюзии, соблазны и заблуждения, рассекающим, в итоге, и наше я, нашу самость и личность. Я снова спросил себя (свое я), хотел бы я (хотело бы оно) каждый вечер, каждое утро сидеть пред лицом меченосной, эго-убивающей статуи; подумал, что, наверное, нет, не хотел бы; но велик был соблазн в четыре часа пополуночи, после всего выпитого вина и всех плясок с блядинками, сесть на Викторову подушку, просидеть на ней хоть двадцать минут, не зажигая лампы, в отсветах фонарей, в снежном сумраке городской неглубокой ночи. Последние дураки еще пускали свои петарды где-то у Майна; в конце концов и они успокоились. С почти забытою остротою почувствовал я в этой пустой комнате, в одиночестве и опьянении ночи (в понемногу выходившем из меня опьянении, все плотней обступавшем меня одиночестве) тихо-неодолимое обаяние дзена (которым давно уже бросил, в сущности, заниматься, предпочтя сатори стихи и просветлению прозу); его вечную, не отменяемую никакими нашими предпочтениями правду. Вы спите, а вам надо проснуться, говаривал некогда Боб, повторяя бесчисленных учителей. У вас есть шанс — проснуться. Затем и дана вам жизнь, чтобы вы в ней — проснулись. Проснуться сейчас (я думал), вот прямо сейчас, вот этой ночью, на Викторовой подушке. Это мой последний шанс, потому что любой шанс — последний. Любая ночь — последняя ночь. И каждая минута — последняя. Если прямо сейчас проснуться, тогда она выпадет из череды всех прочих минут, тогда время остановится, цепь разорвется. И почему бы не проснуться мне — прямо сейчас, после плясок с блядинками? Разве что-то удерживает меня? Зачем откладывать? Чего еще ждать? Ракет не слышно; мир засыпает. А я просыпаюсь; прощайте.

Canon Power Shot

Через пару дней после этого Нового года мы встретились с Тиной в фотографической лавке ее родителей, теперь принадлежавшей ей на паях с сестрою Верóникой, с которой тогда же я и познакомился, в соседстве с вокзалом, то есть и как уже говорилось, в едва ли не самом бандитском, самом развратном районе, какие бывают во Франкфурте. Рождественское и предновогоднее безумие схлынуло; магазины снова открылись; но город еще был тих, пуст и печален; последние, еще не убранные ракетные гильзы валялись в подтаявшем и опаленном снегу, возле черных решеток, окружавших простуженные деревья. Я давно собирался купить приличную камеру; Тина, с которой успели мы поговорить об этом на диджеевой кухне, за поеданием чечевичной похлебки, в окружении блондинок, пообещала помочь мне с выбором и сделать большую скидку — по знакомству (готовому превратиться в дружбу) и потому что после Нового года вообще везде скидки. Сестра Верóника (ударение, еще раз, на о) оказалась упрощенной Тининой копией, без ее телесных роскошеств, без ее открытого и горю, и счастьем лица, но с лицом, в общем, обыкновенным, запертым на все те замки, на какие почти всегда почти все запирают свои лица и жизни. Фотоаппарат же, который мы в конце концов выбрали, таким оказался сложным, с таким количеством винтиков, шпунтиков, колесиков, кнопочек и настроек, с такой путаницей значков, символов, посланий пользователю от электронных богов, еще символов и еще аллегорий, все норовивших выскочить на откидном экранчике, в который можно было смотреть и сверху, и снизу, и сбоку, и под любым углом и наклоном, что через несколько минут Тининых толкований я почувствовал себя, во-первых, кретином, во-вторых, кретином несчастным; она же щелкала во все стороны, на весь магазин, колесики

Алексей Макушинский

крутила с наслаждением, кнопки нажимала в полное свое удовольствие; из большой страшной штуки фотоаппарат в ее толстых руках превращался в игрушку, уменьшался в размерах; лицо ее, уже немолодое, с этими тонкими губами, этим двойным подбородком, делалось лицом девочки, получившей, наконец, свою куклу; даже (я подумал) лицом мальчишки, которому достался, наконец, заводной вожденный автомобильчик... По ужасным привокзальным улицам, мимо турецких лавок, китайских лавчонок, отравных едален и орущих пивных пошли мы в сторону более радостную, к реке и по набережной, по пешеходному (другому, не Железному) мосту на Музейный берег, где тени обнаженных платанов мирно и ровно лежали на булыжной дорожке, на глинистой из-под снега проступавшей земле. Сквозь белую завесь неба над растопыренными ветвями отчетливым кругом смотрело нерезкое солнце. Легкое, неуловимое камерой, но глазу все же видимое мерцание, как синеватая дымка, стояло над землей и снегом. Аппарат, окончательно покоренный, казался в Тининой руке уже не игрушкой, а простым продолжением этой руки, как если бы — о чем я польщенной Тине тут же и сообщил — у всех людей руки заканчивались пальцами, а у нее фотоаппаратом Canon Power Shot.

Стулья, маски и лица

Мы зашли, я помню, в Музей кино на углу набережной и Швейцарской улицы (ведущей к Швейцарской, соответственно, площади), в Музей кино, где можно выпить кофе (вполне хороший), съесть пирог (вполне вкусный), сидя за обыкновенным столиком в соседстве со стойкой или сидя в фойе на одном из совсем необыкновенных, в своем роде единственных стульев, или, скорее, кресел (больше я нигде таких не встречал), высокие белые спинки которых сделаны

как огромные лица, театральные маски, не трагические и не комические, совершенно спокойные, с прорезями и углублениями глаз, выпуклыми губами и выступающим носом — маски и лица, повернутые в другую, разумеется, сторону, не в ту, в которую смотрит сидящий, — сидящий в таком кресле оказывается, следовательно, в исподе лица, в чужом черепе, сам, в свою очередь, становясь двуликим таинственным существом, глядящим вперед и назад, в будущее и в прошлое, обладателем сокровенного знания... Тина, не без труда поместившаяся в лице, почти сразу, мне помнится, перешла от разговора о фотоаппарате, о диафрагме и выдержке, об автоматической настройке чувствительности к разговору о Викторе, о котором (как вдруг я понял) с самого начала хотелось ей со мною поговорить. С которым, да, они помирились, да они и не ссорились, все это мелочи; который, да, сейчас в банке, где ж ему быть; который через два дня улетает в очередной раз в Японию. Ее гигантская грудь поднималась и падала; губы стягивались в ниточку, потом опять распускались в улыбке. Она видела на той злосчастной вечеринке с блондинками, что я все вижу (тоже понял я вдруг); ей незачем было от меня больше таиться... Нет, она никогда не бывала в Японии, сказала Тина, отвечая на мой вопрос; конечно, поехала бы, представься ей такая возможность; но уж точно не затем, чтобы сидеть взаперти в монастыре, вставать в три утра и есть один рис... А Виктор хотел бы этого, сказала она, отвечая уже не на мой вопрос, а на собственные свои мысли. Виктор был бы счастлив, если бы она пошла вслед за ним по его дзенскому пути; тогда все было бы опять хорошо. И были бы они очередной дзен-буддистской парочкой, каких она много перевидала за эти годы. Очередной сумасшедшей парочкой, из тех, что покупают только веганские экопродукты и подписывают петиции в защиту тюленей. Почему тюле-

Алексей Макушинский

ней? Хорошо, в защиту моржей. Просто... они так не договаривались, объявила Тина, стянув губы в ниточку, покачиваясь на стуле-лице, колебля гигантскую грудь. Виктор ничего ей не обещал, и она не обещала ему ничего. Ее дзен — вот, объявила она, кладя плотную, детскую, немолодую руку на фотоаппарат, только что мною купленный, вновь и тут же сделавшийся ручным и игрушечным. Вот ее дзен, она повторила, быстрым, всепонимающим и прощающим все смешком беря в кавычки свои же слова. Она любит Виктора, она так сильно любит его, говорила Тина, что иногда о нем думает — и чуть не плачет от любви к нему, от умиления и жалости. Ему и не скажешь этого, он в жалости не нуждается, или думает, что в жалости не нуждается, не хочет, чтобы жалели его. А она жалеет... сама не зная почему, и любит, и восхищается им. А вот что-то не так между ними, и чем дальше, тем хуже, и, нет, она не знает, как помочь этому, как с этим справиться. Она вообще ничего не знает, ничего уже не может понять.

Ожившие статуи

Так попал я в непривычную для меня роль конфидента. И так начались наши фотографические прогулки по Франкфурту, необыкновенное, признаюсь, удовольствие доставлявшие мне, хотя всякий или почти всякий раз заканчивались они ресторанным или кафеиным сидением, разговором о Викторе, об их любви, ее ревности; и эти разговоры, при всей моей симпатии к обоим протагонистам (писать о которых я еще не собирался в ту пору), казались мне чем-то вроде платы за те невольные уроки фотографии, которые давала мне Тина, вообще за то, что мог я, или она позволяла мне, наблюдать за ее работой, охотой (и точно так же, как для нее эти необъявленные уроки, продолжительные прогулки были, наверное, чем-то вроде платы за возможность поговорить по-

том, с растущей откровенностью, о Викторе, ревности и любви; отношения, даже просто дружеские, редко бывают вполне бескорыстными). Я ставил машину возле нового университетского кампуса, возле этого замечательного, неправдоподобно громадного и в своей конструктивистской простоте монументально-величественного здания, в самом конце двадцатых годов построенного Гансом Пельцигом для фирмы IG-Farben, еще не начавшей в ту пору заниматься производством и распространением «Циклона Б»; заходил за Тиной, и мы обычно возвращались вместе с ней в это здание, Poelzig-Wau, как во Франкфурте его называют, чтобы посидеть в кафетерии, прекрасном и полукруглом, с огромными, в два этажа, окнами и гулками — каждый со своим эхом — голосами студентов, потерянных и маленьких, как мы сами, под этим имперской высоты потолком, на фоне этих окон, пропускающих внутрь все небо, все облака. В этом кафетерии, на галерее над нею Тина сделала, может быть, лучшие мои фотографии, которые были сделаны когда-либо кем-либо; если тому, что я пишу сейчас, суждено быть дописанным, изданным, надеюсь увидеть одну из них на обложке. Страсть к фотографии — одинокая страсть; и совсем не обязательно разговаривать, бродя по улицам в поисках впечатлений, кадров и ракурсов. Тина, как она сама мне рассказывала, возвратилась в ту пору к уличной фотографии, *street photography*, которой пару лет почему-то не занималась; слишком сильно, может быть, она увлекалась ей в юности, в Америке, Южной и Северной. На ветру мерзли руки, покуда в университетском парке ждали мы вечернего света, или, вновь пройдя мимо соседнего с Тининым эркером зеркального небоскреба, поприветствовав медно-зеленого Боливара в его скверике, поднимались по Грюнебургскому парку в сторону телебашни, мимо корейского павильона с классически изогнутой крышей и камы-

Алексей Макушинский

шовым крошечным прудиком, мимо греческой церкви из желтовато-белого, шероховатого на взгляд и на ощупь камня, прореженного красновато-бурыми кирпичными горизонтальными полосами, иногда одной такой полосой, тянущейся вокруг всего здания, иногда двумя, иногда и тремя (сложный ритм, который всякий раз, там оказываясь, пытаюсь я разгадать; разгадать не могу); обойдя парк поверху, посмотревши сверху на небоскребы, то скрываемые листвою, то отчетливо зримые за голыми ветками, спускались обратно в город, мимо Пальмового сада, Palmengarten, с его оранжереями и знаменитым, дорогим, всегда переполненным, противно-шикарным кафе, куда, кажется, всего однажды мы заглянули; по тихим улицам Вестенда, с их старинными, то ли не разбомбленными вовсе, то ли удачно и осторожно восстановленными после войны виллами, загибая опять налево, к Институту Сервантеса, где Виктор в свое, теперь уже такое далекое время (о чем мне и рассказала однажды Тина) хотел записаться с ней вместе на курсы танго, так и не записался; через Ротшильдский парк к Старой опере (во Франкфурте все рядом, все за углом). Чем дальше, тем больше нравился мне этот вертикально-зеркальный город, где вечно что-нибудь отражается в чем-нибудь: один небоскреб в другом небоскребе и облака во всех сразу (раздолье для влюбленного в переключку мотивов фотографа). На главной франкфуртской площади, так называемом Рёмере (R mer), с его готической ратушей и другими, в войну разрушенными, после войны, по-моему наспех, восстановленными фахверковыми домами, — Тину вовсе не интересовали эти дома (от которых только пара обрубленных фасадов с пустыми окнами и чистым небом в них оставалась в ту пору, когда Тинин возвратившийся из плена отец шел здесь вместе с Максом Фришем, ни много ни мало, моим и, как выяснилось, Тининым тоже, любимым писателем, кото-

рый рассказывал ему о своем бассейне в Цюрихе, глядя на *руинных женщин*, Trümmerfrauen, передававших камни друг другу, посреди щебеночных гор), но интересовали лица людей, туристов, всегда там толпящихся, противников и защитников чего-нибудь (Израиля, палестинской автономии, независимости Тибета), имеющих обыкновение демонстрировать там по субботам. Фотографировать людей, глазающих на местную достопримечательность, вообще удобно; можно, при случае, притвориться, что и сам фотографируешь поддельную ратушу. Тина сделала, в конце концов, выставку этих лиц, снятых на Рёмере, снятых, следует сказать, с поразившей меня беспощадностью, как если бы она ловила в них то бессмысленное, изумленно-рассеянное выражение, с каким большинство людей тарашатся на туристские дива. Еще удобней, если есть охота, фотографировать живые статуи, застывшие фигуры в серебряных струящихся одеяниях, будто бы исторических, в золотых камзолах и с золотыми же лицами; пошевелиться они не могут; если бросить им пару евро в корзиночку, тем более не станут возражать против наших фотографических экспериментов. Только глаза их движутся и живут; благодарят за брошенные монетки. Все вокруг в войну было взорвано; все горело под бомбами; ратушу и площадь (наспех) восстановили; рядом с ними (еще более наспех) построили новое, никакое. В соседнем дворе — другой мир; людей нет; балконы, окна послевоенных казарм. Вообще поражают во Франкфурте мгновенные переходы от многолюдья — к пустынности, от толпы — к тишине, от банковского богатства и небоскрежного блеска — к захолустью, тоске и убожеству. В этом соседнем с Рёмером несчастном дворе обнаружили мы однажды, к восторгу нашему, живые, теперь и в самом деле живые, сбросившие заклятие и с пьедесталов сошедшие статуи, снимавшие с себя свое облачение,

Алексей Макушинский

стиравшие грим. Были две ожившие статуи и один их то ли компаньон, то ли помощник, соратник, советчик — в спортивных, чудовищных, провисающих ярко-зеленых штанах, с темным, как потрескавшаяся глина, лицом. Все трое курили, жадно затягиваясь, очевидно измученные своим безникотиновым столпничеством, воздержанием монументов; что бы ни делали, не выпускали изо рта сигареты; третий с такой же жадностью курил за компанию. День был ветреный, уже очень весенний, с проносившимися над двором и миром бурно-солнечными облаками; на ветру и от дыма своих сигарет все трое щурились, иногда пригибались, склоняли головы, чтобы прямо уж в глаза им не дул этот дым. Серебряное одеяние оказалось на молнии; волосатая нога из него вылезла; затем другая нога. В одних трусах сидя на лавочке, вылупившийся из одеяния мужик с таким же, как у соратника, до состояния земли и глины загорелым лицом, растирал руками занемевшие ноги, грубым голосом и с сигаретой во рту, кажется по-албански, переговариваясь с другим мужиком, поменьше, стиравшим золото со своего, еще не обретшего исконной глиняности, но уже видно было, что измученного стоянием и гримом лица. На скамейке, где происходила метаморфоза, и на скамейке соседней навалены были пластиковые пакеты; стояла огромная клетчатая сумка, из тех гипертрофированных сумок, какие раньше встречались в Европе повсюду: продавались, помню, в Париже, в арабских лавочках на Barbès, какие теперь видишь, разве что если случайно окажешься на одной из автобусных станций, обычно запрятанных на привокзальных задворках, откуда глиняные персонажи уезжают в Болгарию, в Косово. Соратник статуй извлек из этой сумки громадный шмат колбасы и принялся жевать его, запивая водой из пластиковой бутылочки, зажимая сигарету между толстыми пальцами той же руки, которой

бутылочку и держал; златоликий, бутылочку попросив у него, смочил водою бумажный платок, продолжил оттирание лица; первый мужик, облачившись, наконец, в зеленые тренировочные штаны, в свою очередь приступил к колбасе. Тина сразу им начала улыбаться, смеяться, всячески им выражать свое одобрение, восхищение — и тут же снимать их, не давая им времени возразить и опомниться. Они, впрочем, не возражали, но жаждали, похоже, общения. Мы подошли к ним. Тина объяснилась с ними очень ловко, на смеси немецкого и английского, всячески их обаяла, да они и сами растаяли при ее приближении. Пожелали, конечно, сфотографироваться с ней вместе, причем обнимали ее довольно бесцеремонно, в явном восторге — какая, черт возьми, женщина! — а все же обнимали, сказал бы я, с уважением, бесцеремонно-почтительно, не переходя той всеми участниками процедуры отчетливо ощущаемой черты, за которой бесцеремонность сделалась бы оскорбительной; Тина, записав продиктованный большим мужиком, бывшим серебряным, электронный адрес, который долго искал он среди каких-то мятых бумажек (адрес моей дочки, с гордостью сообщил он), пообещала им прислать фотографии.

Я, он и она

Вообще выяснилось, что женщина ее форм, ее размеров для восточных людей, для южных людей — королева, и что там, в тех бандитских кварталах возле вокзала, в тех дворах и в тех арках, где любую другую уволокли бы в темный уголок, а любого мужчину, например меня, пырнули бы ножиком, там она проходит со своим бюстом, своим фотоаппаратом, колебанием своих бедер как ни в чем не бывало, сквозь восхищенные взоры, и ни один негр ее не тронет, ни один араб не обидит, любой турок за честь и счастье почтет быть засня-

Алексей Макушинский

тым ею на пленку, одаренным ее улыбкой... Все чаще, впрочем, делала она фотографии, лучше серии фотографий (всегда волнуют нас повторения одного мотива, вариации одной темы...), на которых людей и лиц почти не было, а если были они, то сливались с небом, исчезали среди деревьев, в тени небоскребов. Была серия фотографий, особенно мне полюбившихся, отснятых Тиной, как выяснилось, за прошедшую зиму (и впоследствии выставленных в Tate Modern); серия зимних фотографий, как сама она их называла, черно-белых, как почти все ее фотографии, с повторявшимися мотивами дороги простой и железной, кустов под снегом, низкого неба, шлагбаумов, сельских станций, далеких крыш и промышленных зданий, потерянных в снежном, пасмурном, тающем и текущем ландшафте. Уж не в тех ли местах она снимала все это, где мы с ней видели некогда всадников, шедших на приступ холмов и ангаров? А... может быть. Она снимала эту серию в гостях у своей приятельницы, сообщила мне Тина, поселившейся на хуторе в Шпессарте, между Ашаффенбургом и Вюрцбургом, в большом одиночестве. Одиночество на этих снимках тоже было большое. Один из них она подарила мне, и я смотрю сейчас на него. С первого взгляда поманил меня этот зимний бесприютный ландшафт, дорога, уходящая вдаль и влево, разделяющая фотографию на две неравные, но одинаково снежные части, лужи и подтаявший наст на дороге, белесое марево и крошечный круг солнца, обведенный вторым, уже почти невидимым кругом, скирды сена на правом поле, присыпанные, в свою очередь, снегом, ломкие, гнутые, черные ветви, ветки и веточки скрюченных холодом деревьев по обе стороны от дороги, две, наконец, фигуры в глубине фотографии, уходящие прочь от зрителя, уже готовые исчезнуть в мерзлой и мокрой дымке, в тусклом сиянье дня, непонятно даже мужчина и женщина ли, или две жен-

щины, или двое мужчин, просто два человека. Этот снимок висит у меня на стене рядом с другим Тинином снимком, одним из ее ранних снимков, сделанных, я так понимаю, в Америке. Никакого снега там нет, нет и солнца, есть лишь блеск его на крышах домов и машин, на черной воде канала, тоже разделяющего фотографию на две неравные части. Людей нет и на этом втором снимке; только город, увиденный откуда-то сверху, небоскребы с одной и не-совсем-небоскребы с другой стороны от канала и параллельной каналу улицы, исчезающей вместе с каналом в чуть-чуть тоже дымчатой, но отчетливой перспективе; только сильный блеск незримо-го солнца на крышах и на воде, посреди темноты, черноты. Есть нечто общее в этих снимках, некая тройственная структура, сказал я однажды Тине; может быть, она объяснит мне, откуда это ощущение гармонии, которое охватывает меня, когда я смотрю на эти две — неравные — половинки ландшафта, городского ли, сельского, разрезанного дорогой или разрезанного каналом и улицей? Этого она не могла объяснить мне; не потому ли, она ответила, что и в нас самих есть что-то тройственное? Она рассмеялась своим грудным, глухим смехом, рассматривая вместе со мною еще в компьютере отобранные мной фотографии, впоследствии распечатанные ею в какой-то особенной, для профессионалов, лаборатории, куда простые смертные не заходят; отсмеявшись, дотрагиваясь полной рукою до своих медных, рыжих, совсем, на мой взгляд, не жидких волос, сообщила мне, что недавно, просматривая старые фото и старые записи, чуть ли еще не гимназических лет, обнаружила, среди других девических глупостей, странную фразу, именно: я — это я, он и она; и нет, она сама не понимает и тогда, наверное, не понимала, что это значит и значит ли что-нибудь, а все же влечет и волнует ее эта энигматическая, абсурдная формула.

Рисовые пирожные

Говорить с Тиной о фотографии, о родственных ей искусствах (какое не родственно?), о неизменных структурах, вновь и вновь вступающих в живительное взаимодействие с внезапностью, случайностью, непреложностью магического мгновения, было одно удовольствие; она схватывала на лету мою мысль; видно было, что она обо всем этом уже думала — и *лучше* думала, ясней думала, чем мог думать я сам (ее мысль превращалась в действие, в щелчок камеры; моя оставалась метафорой). Но видно было и то, что не только об этом хотелось ей говорить со мной, даже, может быть, совсем не об этом. Так (еще раз) попал я в странную для меня роль конфидента, и когда сидели мы, нагулявшись по Франкфурту, в том итальянском ресторане, к примеру, где сидели впоследствии с чешской галеристкой Миленой (говоря с ней об ар-деко и о Дртиколе), на фоне обжор и гурманов, Тина, отрываясь от своих собственных спагетти, норовила рассказать мне, как в очередной раз поссорилась с Виктором, какой он хороший, как она его любит, как с ним не может не ссориться... Она ревновала его к любой блондинке и любой не-блондинке (бляндинке и не...); ничего не могла с собою поделать. В те годы очень мучительно переживала она собственное старение. Все-таки приближалась она к пятидесяти, к этой роковой черте и границе, которую я сам перешагнул, никаких особенных изменений в себе не заметив. У меня не было молодой любовницы, которую мог бы я ревновать к гипотетическим сверстникам; у Тины был Виктор, и она ревновала его. И не только ревновала она его к блондинкам и не-блондинкам, но вообще, стыдясь своих чувств, ревновала Виктора к его жизни, к той жизни его, в которой она не участвовала, не могла или не хотела участвовать, к его постоянным разъездам, к его гостиничному одиночеству —

одиночеству ли? вот вопрос — в Иркутске, в Лос-Анджелесе, даже к его дзен-буддизму, к дзен-до и сангхе, Бобу и Вольфгангу, тем более к Ирене и Барбаре. Ей не нравились все эти люди, все меньше и меньше нравились они ей. Даже Боб? Нет, Боб... что же?.. Боб, наверно, хороший, Боб, наверное, даже вполне замечательный. Но ей точно не нравился Герхард, не нравился Вольфганг, не нравились все эти Зильке и Анны, отвратительна была Барбара. Она оставалась чужой среди них; приходила вместе с Виктором на их совместные мероприятия, праздник сангхи в Кронберге, весенний праздник Весак, где все франкфуртские буддистские группы хвастались своей деятельностью и старались заманить новичков, на чьи-нибудь дни рождения; ей даже снимать все это не хотелось; тем не менее, как во многих других случаях жизни, она благодарна была своей камере и всем ее сменяемым объективам за возможность за ними затаиться и спрятаться (фотограф всегда чуть-чуть невидимка). Все эти люди считают себя чем-то особенным, все они знают, как надо... Чуть не в ярости вышла она из так называемого Борнгеймского Гражданского дома (Bürgerhaus), где проходил Весак, после того как вальяжный Вольфганг, заявившийся туда в самых миллионерских ботинках и с видом самого главного начальника, проверяющего, правильно ли разложили франкфуртские буддистские группы свои буклеты и книжки на отведенных им столиках и каковы тайландские кушанья, тибетские печенья, японские рисовые пирожные, продававшиеся в коридоре, соответствуют ли они его, Вольфганга, высоким гастрономическим требованиям, — после того как Вольфганг, строго и гетеобразно на нее посмотрев, вдруг сделал ей замечание — не сказал, а именно сделал замечание, — что она, Тина, при ходьбе слишком сильно размахивает руками — она, видите ли, слишком сильно размахивает руками! — а это разбрасывает внимание; гораздо лучше, и он ей очень советует,

Алексей Макушинский

носить руки перед собой, как при кинхине, вложив одну в другую, тогда внимание собирается и мысли не разбегаются в разные стороны. Тина, по ее словам, так опешила и так разозлилась, что не сумела — а следовало бы! — послать его ко всем буддистским чертям, дзенским демонам. Сразу после этого Зильке, вечная студентка, училка и училка училищ, уже вся в морщинах, мерзкая тетка, стала рассказывать Тине, как ей, Зильке, замечательно удалось похудеть, и вовсе не с помощью раздельного питания — раздельное питание это полная чепуха, а с помощью простой вьетнамской диеты, которую приводит в своей книжке один из учеников Тит Нат Хана, самого Тит Нат Хана! и что если Тина захочет, она ей даст эту книжку, поскольку в продаже ее, то есть книжки, уже, кажется, нет, или скопирует для нее, то есть Тины, соответствующие страницы, и что она, то есть Зильке, очень и от всего сердца советует Тине этой диетой воспользоваться, поскольку это не просто так себе диета, а подлинная буддистская, самим Тит Нат Ханом рекомендованная и основанная на тех принципах, которые... Тина, втайне плюнув, пошла и купила пару японских рисовых пирожных, показавшихся ей омерзительными. Виктор, когда по пути домой и все еще в ярости она с ним заговорила об этом, рассмеявшись, ответил, что не стоит, ну, правда же, обращать на это внимание, Зильке просто дура, а Вольфганг уже очень пожилой человек, он всех всегда поучает, уже все привыкли, всем все равно, а размахиванье руками — это вообще его тик, его пунтик, его конек, ему самому, Виктору, он сделал точно такое же замечание чуть ли не после первого Викторова сессина в Нижней Баварии, давным-давно, когда Виктор жил еще в Эйхштетте и они с Тиной не были даже знакомы, то есть заговорил с Виктором об этом маханье и болтанье руками сразу же, когда в последний день стало можно опять говорить, и Виктор, после

первых в его жизни семи дней молчания, еще весь проникнутый и преображенный молчанием, так оскорблен был этим — как будто его холодной водой окатили — вот, оказывается, ты целую неделю боролся с собой на подушке, такую боль терпел, такое счастье испытывал, а кто-то наблюдал за тобою и думал, что ты слишком сильно руками размахиваешь, — так оскорблен был он этим, в такой тоже был ярости, что чуть было этому Вольфгангу не двинул по морде, вспомнив советское детство. Давно это было; с тех пор он научился на такую ерунду плевать с самой большой высоты. В японских монастырях с ним и не то проделывали; там хорошим тоном почитается шпынять новичка. Новичку это только на пользу. Да и Вольфганг-то прав. Он тогда был в ярости на него, а с тех пор сам складывает руки перед собою, когда чувствует, что внимание его рассеивается и мысли разбегаются в разные стороны... А что все они чуть-чуть задаются, сказал Виктор, так ведь это же люди не совсем просветленные, может быть, чуть-чуть просветленные, но уж точно не совсем и не до конца, а хуже нет не до конца просветленных, мнящих себя мудрецами. По-настоящему просветленный человек просветленным себя не считает; посмотри хоть на Боба. Боб ни капельки не задается, Боб всегда ведет себя вполне просто, совершенно естественно. В начале пути, говорит известная дзенская пословица, горы — это горы, реки — это реки; потом реки перестают быть реками, горы — горами; а в конце пути горы — опять горы и реки — сызнова реки.

Верной дорогой, товарищи

На все это Тина ответила, что ей дела нет до их рек и гор, их просветления или не-просветления, она и не верит в это их просветление (очень зря, вставил Виктор), знает она этих просветленных, этих святых, блаженных и мучеников

Алексей Макушинский

для домашнего пользования, и уж точно не собирается ждать, покуда все они просветятся, и вообще они так не договаривались, она никого не просила ее воспитывать, отлично обходилась до сих пор без советов какого-то Вольфганга и диетологических рекомендаций какой-то Зильке, и худеть она вовсе не намерена — все равно не получается у нее, и разве Виктор не говорил ей тысячу раз, две тысячи раз, что худеть ей незачем, что она ему нравится такая, какая есть? Или уже не нравится? — спрашивала Тина, глядя на него вдруг изменившимися, неменяемыми глазами; и этот вопрос, от которого ему выть хотелось, сразу погружал их обоих в мутную стихию ревности, в которой он чувствовал себя измаранным. Особенно оскорбительными были эти *уже и еще, еще нравится*, или *уже, нет, не нравится*, как будто он виноват был в том, что скоро стукнет ей пятьдесят, а ему еще и тридцати пяти нету. Да ему все равно было, сколько ей лет, и она нравилась ему всегда и по-прежнему, такой, какой была, говорил он себе и ей, совершенно забывая про того Виктора, который стыдился за нее перед пляшущими блядинками; он просто очень хотел, чтобы она перестала, очень просил ее перестать его мучить ревностью. Ей было не в чем его упрекнуть, а ему надоело доказывать свою невиновность. Еще оскорбляла Виктора ее растущая несимпатия к дзену, ее ирония по поводу просветления, по поводу местных праведников, домашних святых. Она говорила о Вольфганге, а метила в него, Виктора, и он это чувствовал. А она чувствовала и в самом Викторе то дзенское сознание своего превосходства, которое было у них у всех, которое все сильнее раздражало ее. Он тоже спускался к ней с сияющих и снежных вершин, и вот этого она простить ему не могла. Почему он думает, что он *знает?*.. Да он так и не думает, он всегда говорил ей, что ничего не знает, что никто ничего не знает, что знать нечего,

что знание — это не-знание и не-знание — это знание и так далее, и тому подобное, все в том же духе. Тина уже отлично разбиралась в этих дзенских парадоксах, уже ей набили оскомину эти дзенские парадоксы. А все-таки, при всех парадоксах, он шел своим буддистским путем и твердо верил, ни минуты не сомневался, что это правильный путь, может быть, не единственный — он никогда и не утверждал, что единственный, — но для него, Виктора, единственно правильный, ведущий туда, куда надо. Верной дорогой идете, товарищи! Никогда, конечно, не слышала Тина этих слов, покуда я не процитировал их в послепрогулочном разговоре у итальянцев, под фотографическим взглядом обжор и гурманов; долго смеялась, когда я их процитировал. Не слышала она, понятное дело, и песни Галича, призывающей бояться единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо... Да и о самом Галиче не слыхивала она, и всего того набора советских и антисоветских цитат, который хранился и хранится у меня в голове, у нее в распоряжении не было. Мимобегущий официант Луиджи (Лоренцо), начальник над прочими официантами и Тинин приятель, весьма удивлен был, когда я попытался напеть ей мелодию; остановился, прислушался, улыбнулся своей самой итальянской улыбкой... Никогда и не утверждал Виктор (скажу еще раз), ни при каких обстоятельствах и (чтобы уж продолжить цитаты) *ни при какой погоде* не утверждал он, что *знает, как надо*, а вел себя, однако, как знающий, как обладатель непререкаемой истины. Он знал, как держать руки, чтобы внимание не разбрасывалось, и как ходить, как ставить ногу (всей ступнею на землю; сначала пятку, потом всю ступню), чтобы прочувствовать каждый свой шаг в его отдельности, его совершенстве, как сидеть (очень прямо), как держать спину, как дышать (из той точки, ниже пупка,

Алексей Макушинский

которую японцы называют *харой*... у нее, Тины, никаких воспоминаний о русской *харе*, разумеется, не рождавшей, разве что воспоминанья о Харе Кришне); и все, что он делал, тоже делал он *правильно*, присутствуя в настоящем, не отвлекаясь на посторонние мысли, полностью и без остатка совпадая с тем, что делал, убирал ли он комнату, или варил рис с фенхелем, или брокколи с миндалем. Это так ей нравилось раньше, почему же теперь ее злило? А — злило, или вдруг — злило, иногда вдруг — злило, как ни боролась она с этой злобой. А потому ее злило это, что она-то сама *не знала*, не знала, *как надо*, и вообще ничего не знала, не знала даже, по вкусу ли ей эта брокколи. Да надоела ей эта брокколи, она хочет мяса с картошкой. Подумаешь, проблема, он что, заставляет ее есть эту брокколи, не дает ей съесть венский шницель? Черт с ней, с брокколи, черт с ним, со шницелем, а вот не знала она ничего. Никаких ответов у нее не было; одни вопросы у нее были. У него тоже нет никаких ответов, говорил Виктор... со снисходительной уверенностью человека, у которого ответ есть. А она любила только сомневающихся, только ищущих (она думала). Таким и был Виктор, когда она полюбила его (ей казалось). Виктор, когда она полюбила его, был чем-то раненный, ранимый, беззащитный, заикающийся и взыскающий истины мальчик. Она и полюбила его за эту беззащитность, эту ранимость, за это заикание, за это детское изумление перед миром. Где-то жил в нем тот мальчик, она не сомневалась, в глубине души его; она не знала лишь, как пробиться к нему. А ей нужно было пробиться к нему; иначе она и любить его не могла. Ей хотелось его защитить от чего-нибудь, от какой-нибудь, что ли, обиды. Никто не обижал его; он выглядел теперь победителем. Она затем, может быть, и донимала его своей ревностью, чтобы его обидеть (сперва обидеть и после утешить; поссориться, потом помириться;

приласкать, приголубить); чтобы увидеть, как он страдает, как негодует, как темнеют и меркнут его сумасшедшие, осмысленные глаза; чтобы его растормошить, разозлить; чтобы вывести его из этого чертового буддистского спокойствия, этой проклятой медитативной сосредоточенности. В конце концов, все мы — только несчастные, заброшенные в мир, заблудившиеся в мире, непоправимо одинокие существа. Это так, это так, Виктор, зачем ты притворяешься, что не так? Мы потому и нуждаемся друг в друге... Она нуждалась в Викторе; после смерти отца нуждалась в нем еще сильнее, чем прежде; она хотела, чтобы и он в ней нуждался; ее в ужас повергало чувство, которое все чаще она испытывала, что он, может быть, не так уж и нуждается в ней. А что она ему, в самом деле? Ах, она ему самый близкий, самый преданный человек, вот только понимает ли он это? Боб? Он думает, он что-то значит для Боба? У Боба есть жена и дети, есть другие ученики. Для Боба он один из многих, для нее он — единственный. Или он думает, какие-нибудь длинноногие блондинки ее заменят? какие-нибудь дзенские девушки? Эти дзенские девушки все сумасшедшие, эзотерические, веганские дуры, постаревшие хиппи. А длинноногие блондинки — это *так*, чтоб потрахаться. Это несерьезно, это на одну ночь. А все же она глаза ему выцарапает, если узнает, что он трахался с какой-нибудь сучкою.

Телевизор и шкафчики

Она стыдилась этих мыслей; банальности этих мыслей. Ничего нет банальнее ревности, тем более ревности, которую стареющая женщина испытывает к молодому любовнику. Собственно, эта ревность и делает тебя стареющей женщиной, его — молодым любовником, как будто распределяя роли в некоей драме (пошлейшей), в которой ты вовсе не

Алексей Макушинский

хочешь участвовать. Ты была самой собою, и он был самим собою, и то, что происходило с вами и между вами, не называлось никак, было только вашим, впервые случаящимся, впервые случившимся, и никому не было до вас никакого дела, никому вы не обязаны были отчетом, а теперь ревность превращает это единственное, никак не названное в банальный, банальнейший роман молодого человека со стареющей женщиной, и вы ничего не можете с этим поделать. Банальность жизни настигла их, ей казалось. Будь ты самым необыкновенным человеком, дзен-буддистом, искателем истины, почти святым — все равно. Будь ты фотографом, чьи работы (Тина в этом не сомневалась, не позволяла себе сомневаться) в истории этого восхитительного искусства останутся надолго, может быть, навсегда, — не имеет значения. Банальность сильнее всего, сильнее тебя. Рано или поздно она войдет в твою жизнь и все расставит по-своему, очень просто, как у всех, как повсюду. У всех есть кухня и шкафчики в этой кухне. У всех есть диван, телевизор перед диваном. Вот это ее диван, ее телевизор. А раньше банальности не было? Рука, положенная на руку, на парапете замка над Рейном, — разве это не банальность? Это тоже банальность; любовь состоит из банальностей. Но мы не видим этого; мы счастливы; нам все равно. Мы ничего не хотим видеть, пока мы счастливы. Только горе показывает нам страшную правду жизни.

The more loving one

Равной любви не бывает, пишет Вистан Хью Оден, а раз так, то пусть я буду тем, кто любит сильнее. Она не знала, кто из них любит сильнее. Она знала, кто сильнее страдает, кто сильнее боится. Она боялась, теперь все сильнее и сильнее боялась потерять его; он же (казалось ей) совсем не боялся; он так вел себя, как будто раз и навсегда ей поверил; с тех

пор и был в ней уверен; ни на минуту не усомнился в ее любви; ни разу не оскорбил ее ревностью. Лучше бы оскорбил, лучше бы приревновал ее к какому-нибудь коллеге, к какой-нибудь бертообразной училке... А на самом деле никаких причин для ревности у него не было; он и вправду мог в ней не сомневаться. Она не бросит его (она думала); это он ее бросит. Рано или поздно, но он бросит ее. Разумеется, понимала она, что не удержит его ни интересом к его банковским делам, который (без большого успеха) она пыталась пробудить в себе; ни гастрономическими свершениями, к которым принуждала себя (хотя кухню до сих пор ненавидела). Она все же выучилась экзотическим выражениям вроде cash-flow, margin call и mutual fund (все равно непонятным, как ты ни бейся); выучилась готовить; даже взяла у сестры и матери пару тайных уроков кулинарии, стараясь не замечать их насмешек (что это вдруг? в твоём возрасте...); даже обзавелась (мерзко-глянцевыми) поваренными книгами (чтение которых в любом возрасте наводило на нее тоску и зевоту). Когда Виктор возвращался во Франкфурт, откуда бы ни возвращался он — с сессии ли, из Гонконга, — обед уже ждал его на столе, накрытом с той тщательностью, к которой он же и приучил ее (и которая всякий раз заставляла ее думать об отце, с набегавшими на глаза слезами). Он принимал все это с благодарностью, она видела; она видела, что прекрасно он мог бы без всего этого обойтись, да и настроение было испорчено ревностью. Она расспрашивала его об очередной поездке в Россию, а все втайне (или так казалось ему) старалась выспросить, не встретил ли он там ту гипотетическую блондинку, появления которой она так ждала и боялась. Ты только помни, что никогда не будет у тебя человека ближе, чем я. Никто тебя так любить не будет, никакая эзотерическая дура, никакая блондинка, говорила она ему, с тайной наде-

Алексей Макушинский

ждой, наконец, его разозлить. Иногда это удавалось. Его глаза темнели, действительно; синий череп покрывался красными пятнами; совсем красными делались уши; еще сильнее, совсем по-детски, оттопыривались и отделялись от черепа. Он уходил в ванную, тяжело дыша, сдерживая свой гнев. Ей становилось страшно того, что она натворила; она готовилась быть такой доброй, такой нежной к нему, какой только умела быть, все сгладить, прижать его к самому сердцу и к гигантской груди, сказать ему, что она дура, что она так любит его, добиться его прощения. Он выходил из ванной с лицом отрешенно-спокойным, в буддистской недосыгаемости; просить прощения было, в сущности, не у кого. Да лучше бы он вышел из себя — не из ванной (она думала; с горьким удовольствием от невинного каламбура); лучше бы взорвался, взъярился. Но он не выходил из себя; он был великодушен; он уже все простил и забыл; он был выше этих мелких ссор, ничтожных недоразумений; он снова все сделал правильно. И никакого (продолжая каламбур) выхода не было (ей казалось) из этого круга проклятой правильности, в который заключил он ее и себя.

Сосредоточенный сон

Не только он все делал правильно, но все, что он делал, имело название; было только вот *этим*, никогда не чем-то иным. И всякий отрезок времени имел четкое, точное, беспощадное обозначение, определение. Если он читал (что случалось нечасто), то это было временем чтения; если гулял с Тиной по набережной (что совсем редко теперь случалось), то временем прогулки по набережной. А Тина так любила *свободное время*, никак не названное, ничем не заполненное. Пойти побродить по городу, посидеть в кафе, просто так. Или передумать, не ходить в кафе, открыть дверь, заглянуть внутрь и дверь снова закрыть. Пойти в парк, посидеть на

скамейке. Никуда не ходить. Постоять в эркере, поговорить с Боливаром. Когда-то и в Викторовой жизни было это *просто так*; теперь не было. Он всегда знал, что он делает. Он даже спал сосредоточенно, словно во сне и сквозь сон сознавая, что не *просто так* лежит себе на кровати, а — спит. Именно спит и ничем больше не занят. Не было никаких пустот в его жизни, при всем влечении к всеобъемлющей Пустоте. Тине казалось теперь, что в этой жизни она задыхается. Боже мой, Виктор, ну давай махнем на все рукой, пошлем все к черту, поедем куда-нибудь... хоть в Таунус, как раньше мы ездили. Погуляем в горах, посидим в ресторане... Виктор ехал с ней в Таунус, и в горах гулял, и в ресторане сидел. И это было время, отведенное им для прогулки в горах, для ужина в ресторане, и было видно, что в горах ему нравится, что он смотрит вокруг и впускает в себя это сияние неба над соснами, этот смолистый запах, это белое, пухлое облако, по-прежнему медлившее в конце какой-нибудь просеки, над горным невысоким хребтом, а все же ни на мгновение не забывал он, что времени у него столько-то, а не столько, и пропустить вечерний дза-дзен он не может, и до этого еще должен встретиться с официальным опекуном старика, о котором заботился, передать этому опекуну бумаги, из больничной кассы накануне полученные по почте.

Чурчхела и померанцы

А Тина никогда не видела этого нового старика, замечательного, если верить Викторovým рассказам, с фамилией тоже простой и простейшей — если не Ганс Мейер и не Сепп Мюллер, то Петер Бауэр и Михаэль Фишер, — старика, всю жизнь проработавшего в администрации большой больницы, на досуге делавшего чудесные, по уверениям, опять-таки, Виктора, скульптуры из дерева — даже, собственно, не

Алексей Макушинский

скульптуры, а такие, что ли, фигуры, коллажи. Он ходил в лес, этот новый старик, и в лесу отыскивал необыкновенные корни, коряги, на что-нибудь похожие (зверя ли, птицу, даже и человека) или ни что не похожие, и дома покрывал их лаком, расставлял на полу и на полках, на крыше большого шкафа, на подоконниках, и даже теперь, когда он совсем уже плох, в дни, когда не совсем уж он плох, рассказывал Виктор, продолжает он ходить в лес, этот новый старик, благо городской лесок рядом, и собирать там корни, собирать там коряги, и Виктор ходит с ним вместе, и это всегда пленительные прогулки — так в лесу хорошо и тихо, и старик так радуется, когда что-то находит, и рассказывает ему всю свою жизнь, все тайны своей жизни, семейные, очень невинные, то, что до сих пор никому не рассказывал, и Виктор знает, и старик знает, что эта прогулка может оказаться предпоследней, последней и очень важно этому одинокому старику, что он доживает свои последние месяцы, может быть, и недели, у себя дома, а не в больнице, не в хосписе, хотя он всю жизнь проработал в больнице, и в той больнице, где он всю жизнь работал, за ним бы ухаживали с особенным вниманием и любовью. Все-таки это счастье для старика, что он доживает последние дни дома, среди своих коряг и корней, и если Виктор не может к нему заехать, то заезжает к нему Ирена или изредка еще кто-нибудь из их буддистского хосписа, хотя старик буддистом отродясь не был, зато теперь с благодарностью, иногда со слезами, сквозь слабость и подступающее забвение, выслушивает то небольшое, что ему читает и рассказывает Виктор, рассказывает Ирена. Тина восхищалась Виктором, но не хотела встречаться ни с каким стариком. Это Виктор может сменить одного старика на другого; это ведь чужие, в конце концов, старики... А у нее умер отец, ее отец, а не чей-нибудь, и сколько лет осталось жить ее матери? Ни-

каких сил не было думать обо всем этом, тем более не было сил ездить по больницам и хосписам, снова видеть капельницы, сестер милосердия. Хотелось, наоборот, набраться сил для грядущего. При каждом воскресном посещении, как Тина ни умоляла ее поговорить о чем-нибудь другом — хоть о цветочках в саду, хоть о варенье из померанцев, — о смерти и вновь о смерти, своей собственной и своего мужа, говорила с ней ее мама, хотя сама в ту пору, до первого, предварительного инсульта, оставалась относительно бодрой старухой, уже не помышлявшей о поездке в Калифорнию, скорее о путешествии на тот свет, но еще способной подагрическими руками окапывать в саду свои клумбы, любоваться лютиками и печь воскресные пироги. В январе, после Нового года, должна была Тина ехать с нею на франкфуртский крытый рынок (Kleinmarkthalle), потому что только в январе там продают какие-то особенные, какие-то правильные померанцы, горькие апельсины, необходимые ей для варки варенья из цедры, которым продолжала она, как всю жизнь это делала, снабжать дочерей, и внуков, и зятя; на Тинин робкий вопрос, не лучше ли будет, если Тина сама туда съездит, привезет все, что нужно, смотрела на дочку с упреком, с уже беспомощной и детской обидой, словно та хотела лишить ее ежегодного ритуала, ежегодного развлечения, того небольшого, что вообще у нее осталось. Конечно, Тина везла ее на этот крытый рынок (где место для парковки найти невозможно), и терпеливо ждала, удивляясь собственному терпению, покуда мама наговорится со знакомым турецким торговцем, в маленькие пакетики укладывавшим засахаренные фрукты, рахат-лукум, и жареный миндаль, и чурчхелу, и помогала ей подняться, потом спуститься по лестнице и держала ее своей вечно детской рукою за уже совсем старческую, скрюченную, с твердыми и большими костяшками, руку, и когда все пакеты уложены бывали в багажник, Эдельтрауд усаже-

Алексей Макушинский

на на сиденье, пристегнута тем ремнем, найти замок которого между сиденьями никогда она не могла и потому всякий раз злилась и всякий раз говорила, что в старом «Фольксвагене» было гораздо удобней, и вообще не нужны ремни эти, все это глупости, — Тина, выезжая из страшно узкой парковочной лакуны, с ужасом думала, что ведь скоро не станет и этих рук, как не стало отцовских, мягких и крапчатых, перед самым концом съездившихся, ссохшихся, как маленькие испуганные зверьки.

Смертельный страх страха смертного

Она восхищалась Виктором, о, конечно, а предпочла бы не так сильно им восхищаться, не так сильно быть обязанной им восхищаться. Трудно жить с человеком, готовым, способным по своей воле и без всякого принуждения каждый день или почти каждый день смотреть в глаза страшным истинам жизни, истинам смерти. Жизнь или смерть — уже все равно — так и так заставит нас посмотреть ей в глаза, и не только заставит нас, когда придет наш черед, если, конечно, не забьют нам мозг морфием, но жизнь, говорила мне Тина, заставляет нас смотреть ей в глаза с прекрасной периодичностью (*mit schöner Regelmäßigkeit*; устойчивое немецкое выраженье; юмор не изменял ей, хотя улыбка выходила иногда кривоватой), с прекрасной периодичностью заставляет нас жизнь смотреть в ее чудовищные, всевидящие глаза, хотим мы или не хотим, боимся мы или нет, очень сильно или не очень сильно боимся. А в промежутках мы вольны не смотреть. В промежутках мы можем смотреть в какую-нибудь совсем другую сторону: на какие-нибудь облака за окном, на бюст Боливара среди желтеющих листьев. Мы вольны, в конце концов, и не заглядывать в бездну. И это естественное, так она думала, и

так или примерно так говорила мне, когда мы сидели с ней в том же эркере или в соседнем с эркером ресторане, это такое естественное, такое понятное желание наше. Пускай это наша слабость, пускай это наша трусость. Святые ничего не боятся, а люди боятся. И это их право, разве не так? Это, разве нет? ее право — бояться смерти своей и чужой, своей и маминой, не хотеть даже думать об этом. Смертельный страх страха смертного... Она чувствовала себя виноватой, как если бы Викторovo бесстрашие было ей невольным упреком. По большому счету нужно все бросить, говорила мне Тина, все бросить — и пойти ухаживать за умирающими; все бросить — и уехать в Африку бороться с очередной эпидемией; и как вообще можно жить, когда рядом с нами и за углом нашей жизни творятся все те ужасы, которые там творятся, когда мы каждый день видим по телевизору то, что видим, этих эритрейских детей с распухшими от голода животами? А все-таки мы живем, все-таки занимаемся фотографией. Потому что мы такие трусы? потому что мы так жестокосерды? потому что нам все равно? потому что мы проводим жизнь во сне и безмыслии? Виктор не живет в безмыслии, Виктор помнит о страданиях мира и глядит в глаза истине. Виктор это может, потому что он святой, потому что он уже умер. Тому, кто умер дзенской Великой Смертью, просто смерть уже не страшна, тому, наверное, уже все равно, она думала, жить, или умереть, или вообще не родиться. Тот, кто никогда не рождался, тот, кто уже умер, умереть, понятное дело, не может. Но она не хотела ничего этого, она страшилась смерти обычной и дзенской Великой Смертью умирать отнюдь не желала. Ей хотелось, вопреки всем страданиям мира и всем упрекам собственной совести, всем больным старикам и голодающим детям, вопреки всему этому хотелось ей жить, заниматься фотографией, устраивать выставки, издавать альбомы и книги, путешествовать, любить Виктора и быть любимой

Алексей Макушинский

им, спать с ним, готовить для него обеды и ужины; радоваться премии фестиваля фотографии в Арле, полученной ею совсем неожиданно, когда ни на что подобное не рассчитывала она, заказам и предложениям, которые за этой премией сразу последовали — как если бы дернул кто-то за самую главную ниточку, — так что ей уже не нужно было снимать для местной газеты праздник пожарников в Лимбурге, а нужно было ехать в Венецию, где на очередной бьеннале выставлялись ее работы; хотелось жить всем этим; не думать или хоть не каждый день думать о страданиях и смерти. А разве истина только в смерти и только в страданиях? — спрашивала она меня. Разве нет каких-то других истин, более радостных?

Адамово яблоко, система морщин

На это я не знал, что ответить. Я писал в то время мою книгу «Город в долине», где тоже много смертей и страданий, но есть, наверное, и другие какие-то истины; я упомянул в ней, сам не знаю, какому наитию повинуюсь, тот ленинградский трамвай 1982 года, которого ждал под козырьком подъезда после первого чтения Д.Т. Судзуки, глядя на светлый дождик; упомянул и мои позднейшие дзен-буддистские опыты, знакомство с Бобом, нижнебаварский хутор; уже я, значит, догадывался, что буду писать когда-нибудь то, что сейчас пишу, или что-то подобное, уже протягивал первые нити и намечал первые тропы, ведущие в эту сторону, еще не подозревая, что Боб погибнет, Виктор исчезнет и что лишь с гибелью одного, исчезновением другого вот эта, тогда еще ни в малейшей мере не задуманная мною книга («Остановленный мир») обретет, как ни грустно, ни страшно, осязаемые черты, вообще делается возможной... Все же я вставил в «Город...»

два дзенских эпизода, с тайной мыслью о будущем, и когда заходил в дзен-до, пытался, глядя на Боба, садившегося в своем торжественном черно-золотом облачении в полный лотос на почетное место, лицом ко всем остальным, представить себе, что бы он мне ответил, расскажи я ему, что как раз описываю в некоем прозаическом тексте мои сессины в Нижней Баварии, к тому времени уже отступившие от меня самого в одиннадцати- или двенадцатилетнюю даль, и, значит, описываю — его, Боба, каким он был одиннадцать лет назад, с его сияющими глазами, сиянием его светлых, тогда еще не решившихся окончательно стать седыми волос; я так и не посмел об этом ему рассказать (а теперь рассказывать некому; или он теперь и так это знает, заседаю, как мне хотелось бы, в комитете, занятом моею судьбою). Он изменился за эти одиннадцать, эти двенадцать лет; уже и намек не осталось на былую блондинистость; еще не совсем устоявшаяся в пору нашего первого знакомства система морщин — вокруг глаз, вокруг губ — обрела ту графическую завершенность, каллиграфическую отчетливость, которая свойственна старости; Адамово яблоко ходило теперь вверх-вниз по уже помятой, уже изрезанной бороздками шее. Старым он, однако, не выглядел, а по-прежнему, как одиннадцать лет назад, выглядел сразу и моложе, и старше своих, теперь уже очень немалых лет. Молодость и старость почти не зависят, я думал, от возраста. Была в его лице и за прошедшие годы только усилилась та свобода от всего случайно-го, всего лишнего, которая свойственна (не всем, но многим) старческим лицам; еще более, чем раньше, лицо его казалось сведенным к основным, самым существенным линиям и чертам (как бывает сведен к своим существенным линиям южный, полынный и вересковый, сожженный солнцем ландшафт, с отчетливо проступающей геологией, скалистыми складками, пунктирами каменных изгородей); а в то же время оставалось

Алексей Макушинский

оно молодым, это по-прежнему сияющее лицо, в себе не замкнувшимся и на ключ не закрывшимся, как, увы, замыкаются и закрываются почти все лица, когда молодость их покидает, предает их надежды, разрушает их ожидания, очарования... Дух дзена — дух начинателя, говорил (и назвал свою книгу) Сюнрю Судзуки, *другой* Судзуки (с которым Боб еще успел познакомиться в Сан-Франциско); этот дух начинателя в нем чувствовался по-прежнему; для него происходящее в дзен-до и сангхе, повторявшееся из вечера в вечер, из года в год, не становилось рутинной, я был уверен; не совсем уверен был я, что это в той же мере относится к другим участникам из вечера в вечер повторявшихся процедур. Я впервые почувствовал его отдельность, его отдаленность от всех других людей в сангхе, его одиночество. Это была его сангха, им созданная; тем не менее он был сам по себе, все прочие сами по себе; он и сидел иначе, не лицом к стене, а лицом к этим прочим; он был для них водителем, помощником, наставником, утешителем, высочайшим авторитетом; кто из них, я думал, мог бы и вправду, не в одной лишь сборке кухни, подключке посудомоечной машины, помочь ему, если бы понадобилась ему помощь, кто мог бы утешить его, если бы нуждался он в утешении?

Ежики, усики

Я только теперь, перед ее концом и распадом, узнал эту франкфуртскую сангху, которой ведь совсем не знал до сих пор, хотя и теперь, изредка заходя на вечерний дза-дзен, оставался посторонним, случайным в ней человеком; я приходил бы чаще, наверное, но что-то почувствовал в этой сангхе и этих людях такое, что не располагало к более частым приходам, что-то почти неуловимое, необъяснимое для меня

(покуда Ирена и Виктор не раскрыли мне кое-какие тайны), чего, как по наивности полагал я, в дзен-буддистской сангхе быть не может, быть не должно, хоть я и знал из книг, что в дзен-буддистской сангхе бывает все, что угодно... А по видимости, все было так же: тот же бамбук за оранжерейными окнами, тот же запах сандаловых курительных палочек, так же воткнутых в песок и в чугунные ежики; тот же всегдашний Вольфганг — величественный Вольфганг в миллионерских ботинках, оставляемых на всеобщее обозрение в предбаннике; тот же Герхард, маленький, быстрый и резкий, с его по-прежнему зализанными залысинами, впрочем и ныне — без усиков над верхней губой, то ли (я сам себя спрашивал) им сбритых за эти годы, то ли, наоборот, ему в фантазии, в памяти, за эти годы пририсованных мною, для усиления гейдеггерообразия, все равно несомненного (в пользу первой теории говорила его, теперь подмеченная мною, манера проводить над губой большим и указательным пальцами, от носа к щекам, как будто разглаживая и раздвигая эти усики, ныне незримые); та же бледная, страшно худая жена этого Герхарда, Элизабет, возвышавшаяся над ним своей вытравленной, белой, медицинской прической, до которой все так же дотрагивалась она, проверяя, на месте ли волосы; тот же тихий, приятный Роберт; те же вечно педагогические Анна и Зильке; та же Ирена в ее темном свитере во время *сидения* и зеленой яркой кофточке, надеваемой сразу после. Эта кофточка теперь не сходилась у нее на груди. Кофточка была, надо думать, другая, но фасон, цвет и размер остались, назло времени, прежними. Ирена вышла на раннюю пенсию; уже, она мне рассказывала, почти не мучили, все реже и реже ее мучили диспетчерские кошмары, видения сшибающихся самолетов; семья, если я правильно понял, по-прежнему у нее

Алексей Макушинский

не было; а сил еще было много, и времени было теперь навалом. Время и силы отдавала она сангхе и, как выяснилось, вместе с Виктором, хоспису; все больше времени отдавала этому хоспису, сопровождению умирающих по их мучительному пути, их страшной, их все же, как она верила, туда, куда нужно, ведущей дороге; лицо у нее такое же было славянское, польское, плутовато-честное, открытое, уже очень немолодое; такие же, те же зеленые, игриво-искренние глаза. Прибавилось еще сколько-то скорее смутных для меня персонажей: некая Беттина, некая Маргарет, некий Клаус, молодой длинный парень (ненавижу это слово, но иначе не назовешь его...), всегда ходивший в брезентовых брюках с карманами на штанинах, в черной плотно-матерчатой кофте с капюшоном, который все норовил он натянуть на продолговатую голову, оставляя видимым лишь вытянутое, неподвижное, с узким лбом и долгим подбородком лицо, чуть-чуть, пожалуй, напоминавшее того Пита-голландца, с которым некогда мы виделись в Эйхштетте. Неизменно, на вечернем дза-дзене, на воскресных, иногда тоже проводившихся встречах, посвященных чтению какого-нибудь знаменитого текста, «Синьдзин-мин» Третьего патриарха, в другой раз, помню, не менее замечательной поэмы (если это можно назвать так) под названием «Сёдока», сочиненной неким Ёка Дайси (в японской транскрипции), странствующим монахом, всего на один день, по легенде, посетившим патриарха Шестого, любимого нашего (одного дня, выходит, хватило ему...) — неизменно на всех этих дза-дзенах и встречах присутствовала, дожидаясь своего звездного полицейско-потифарова часа, своего высшего взлета и патетического падения, белокурая Барбара, всем заглядывавшая в глаза, приглашавшая заглянуть и ей в самую *нутрь*, самую душеньку.

Зализанные залысины

Только, опять же, теперь увидел я, какую роль играет среди этих людей, в этом месте колючеглазый и зализанный Герхард; персонаж столь гейдеггерообразный, действительно, с усиками и без оных, что мне хотелось спросить его, читал ли он, собственно, Гейдеггера (раннего уж или позднего). Задать ему этот вопрос я не сумел, не успел; я и видел-то его, может быть, раза два или три; никаких отдельных разговоров не было с ним у меня. Я был для этого Герхарда случайным, совершенно ненужным ему человеком. А он не из тех был людей, которые другими людьми интересуются просто так... На сессины я больше не ездил; велико же было мое изумление, когда узнал я от Ирены и Виктора, что гейдеггерообразный в последние годы не просто в этих сессинах участвует, но участвует в них в качестве Бобова ассистента, вспомогательного мудреца и учителя, то есть даже, замещая Боба, проводит докусаны, тайные дзенские собеседования с адептами, предлагающими очередной неправильный ответ на заданный им коан. Как уж он проводит их, этого ни Ирена, ни Виктор не могли рассказать мне, но как-то, значит, проводит, говорила (с мягким польским акцентом, на очень чистом по-прежнему, прямо гетевско-шиллеровском немецком) Ирена, с которой сидели мы в том шумном и всегда переполненном кафе возле музея Гете (не Шиллера), где, если я правильно понимаю, Тина, вечность назад, пила капучино с плосколищею Бертою; нет, говорила Ирена под грохот голосов, звон стаканов и сыпучий, сухой стук льда в ведерке у бармена — бармен, уса-тый (вправду и без сомненья), маленький и чем-то (клянусь!) похожий на Герхарда, значит, и на самого Гейдеггера, толк этот лед в самозабвенном восторге, в полном отрешении от всего, что шумело и происходило вокруг, с размаху опуская в ведерко длинный, острый, явно убийственный металличе-

Алексей Макушинский

ский штырь, — нет, говорила Ирена, она представления не имеет, как проходят эти докусаны у Герхарда, ни на какой докусан к Герхарду она не ходила, ни за что бы и не пошла, и вообще получается так, что одни ходят к Бобу, другие к Герхарду, а учеников и участников сессингов теперь так много, и съезжаются они уже не только со всех концов Германии, но из Австрии тоже, из Швейцарии тоже, даже, бывает, из Франции, в таких необозримых количествах, что давно уже нижнебаварская идиллия кончилась — а как хорошо было, говорила Ирена, — и мест в дзен-до на всех не хватает, поэтому приходится *сидеть* везде — и внизу, и наверху, и даже в том безмянном помещении перед столовой, где раньше, если я помню, только деньги оставляли для Боба в последний день, да все стояли и болтали о чем-нибудь постороннем, перед тем как разъехаться (в той безмянной комнате, где мы сидели с ней рядом на диване, и Боб, прежде чем пройти в уборную, покраснев и смутившись, спросил у нас, не хотим ли мы еще что-нибудь узнать у него; а потом прошел, подумал, не подсесть ли к нам, не подсел замечательный баварский старик — Сепп Мюллер, Ганс Мейер, — которого я подвез после до Ландсхута, которого и она, Ирена, с тех пор больше не видела, а как отраднo было его присутствие на тех давних, славных сессинах; жив ли он вообще?..); и то, что приходится теперь делать дза-дзен в этой комнате, и в самой столовой, и чуть ли иногда не на лестнице, — это, конечно, ужасно, рассказывала Ирена, глядя на меня своими зелеными, польскими, игриво-искренними глазами, и долго так продолжаться не может, нужно искать новое место, или перестраивать это, что дорого и вообще невозможно, или им придется проводить сессины порознь: Герхарду со своими учениками, Бобу со своими, оставшимися у него. Герхард об этом только и мечтает, добавила, скривившись, Ирена. Неу-

жели у него есть *инка*? — спросил я. *Инкой* в дзене именуется торжественный документ о передаче дхармы, вручаемый учителем ученику (самому главному ученику; тому из учеников, которого он, учитель, объявляет своим наследником, своим продолжателем); учение ведь передается от одного поколения к другому, по якобы непрерывным линиям традиции: от Шакьямуни до Бодхидхармы, от Бодхидхармы до Хуэй-нэня, Шестого патриарха, и от Хуэй-нэня до наших собственных, мимолетающих дней (если верить легенде...); эти *линии традиции*, *линии передачи дхармы*, подробнейшим образом расписанные и прочерченные в разных книгах и на разных интернетных страницах, весьма, как я мог заметить, занимают умы педантов, всегда с восторгом готовых оспорить чьи-нибудь притязания, особенно ежели речь идет о своем брате-неяпонце, американце ли, европейце; никакого отношения к тем инкам, которые ацтеки, эта японская *инка* не имеет (а жаль).

Тонкости иерархии

Да нет, какая инка? — воскликнула, не без возмущения, Ирена. Полной инки у него нет и быть не может, но какое-то право на преподавание получил он от их общего с Бобом учителя, или по крайней мере, она полагает, сообщила Ирена, расстегивая свою зеленую кофточку, так и так не сходявшуюся у нее на груди (как если бы возмущение все еще душило ее), полагает, по крайней мере, что какое-то право на преподавание у него есть, не может этого права не быть, иначе Боб не поручил бы ему проводить докусан, но какое право, она не знает, не так уж хорошо она разбирается в этих оттенках и тонкостях иерархии; она знает, во всяком случае, и все это знают, что Китагава-роси, их общий с Бобом учитель, сколько-то лет назад подтвердил его, Гер-

Алексей Макушинский

хардово, сатори, и даже не просто сатори, но завершение им полного или, может быть, не самого полного, но какого-то курса коанов, достижение им той ступени и степени, начиная с которой уже можно учительствовать, что, разумеется, на невообразимые высоты подняло Герхарда в глазах многих и многих — не всех, впрочем, — адептов, почти поставило с Бобом на одну доску. А ему только этого и надобно, объявила Ирена под звон стаканов и несмолкавший сухой стук льда в ведерке, застегивая кофточку снова. Он к этому стремился с самого начала, как я мог заметить. Нет, не заметил? Зато другие заметили. А дело в том, рассказывала Ирена, отодвигаясь от столика и обводя глазами кафе, что Герхард с Бобом познакомились когда-то в Японии, давным-давно, даже страшно подумать теперь, как давно, и хотя Герхард младше Боба, и в пору их знакомства вообще был еще юношей, от своих богатеньких франкфуртских родителей убежавшим в Японию, и в монастырь попал гораздо позже, чем Боб, — а там это важно, кто попал раньше, кто позже, там есть оттенки и тонкости иерархии, в которых не-японцу почти и не разобраться, она сама, Ирена, почувствовала это очень болезненно в тот единственный раз, когда попыталась пожить в монастыре в Киото, так что прекрасно она понимает Виктора, предпочитающего одинокий, пустынный, почти заброшенный храм в горах на Хоккайдо; так или иначе, они были там вместе, в монастыре, Боб и Герхард, вместе делали свои сессины, вместе мерзли, вставали в половине четвертого, страдали от геморроя — тут Ирена улыбнулась почти плотноядно — а в японских монастырях все страдают от геморроя, как мне, наверно, известно, — вместе брали уроки японского, вместе искали и находили или скорее не находили общий язык с монахами, редко расположенными к гайдзинам, в чем и ей, Ирене, в полной мере пришлось, увы, убедиться, и для Герхарда, как она пони-

мает, немалым унижением было все эти годы, что Боб вдруг оказался учителем, причем не где-нибудь, а в его, Герхарда, родном городе Франкфурте, а он сам, Герхард, вроде бы учеником. А он считает себя с Бобом братьями-в-дхарме, как это называется на дзен-буддистском языке; он об этом ей, Ирене, говорил еще лет десять назад. А уж после признания его сатори Китагавой-роси, их общим учителем, совсем не готов он считать себя Бобовым учеником, вот еще, дхармическим братом — пожалуйста, учеником — уже нет... А Боб? А что Боб? Боб сам же и привлек его к докусану; и явно Боб не возражает против Герхардовых поползновений создать свою сангху. Он этого даже хочет, наверное! — воскликнула вдруг Ирена, пораженная, показалось мне, внезапной догадкой. Ну да, он может быть, только рад будет от Герхарда избавиться наконец; и она прекрасно понимает почему. Просто не тот человек Боб, чтобы показать это кому бы то ни было, намекнуть на это кому бы то ни было... А она прекрасно понимает это, она много дела имеет с Герхардом, рассказывала Ирена, расстегивая и снова застегивая зеленую свою кофточку, глядя на меня зелеными своими глазами, и чем больше имеет с ним дела, тем менее он ей симпатичен, хотя она не может отрицать ни его образованности, ни его способностей организатора, не позволяет себе усомниться и в его дзенских успехах, подтвержденных столь высокими авторитетами... Так или примерно так говорила Ирена, плутовато-честной улыбкой и высокопарностью выражений показывая, что очень даже может она все отрицать, во всем усомниться.

Stachanow-Arbeiter

Ведь это Герхард, точнее, он и его жена, Элизабет, открыли первый буддистский хоспис во Франкфурте, по примеру тех, что уже есть в Берлине и в Мюнхене; задумали и открыли.

Алексей Макушинский

Они могли это сделать, объявила Ирена, потому что и раньше занимались паллиативной медициной, в Японии и потому что брату Элизабет, Райнеру, принадлежит во Франкфурте сколько-то, она точно не знает сколько, домов для престарелых и немощных и еще так называемых домов с медицинским наблюдением, то есть таких домов, где старики и старушки живут в отдельных квартирах, со своей мебелью, своими фотографиями на комод, но где к ним каждый день заходит сестра милосердия и вообще они не оставлены без присмотра. Этот Райнер очень богатый человек, да и Герхард с Элизабет тоже не бедствуют. Старость и смерть — их семейный бизнес, так бы она сказала. О, конечно, не все могут заниматься уходом за умирающими безвозмездно и бескорыстно, мир не так устроен, она, Ирена, понимает это не хуже меня, кто-то должен и деньги получать за это, кто-то должен и руководить процессом, руководить всей этой... организацией достойного умирания, и свои собственные капиталы вкладывать в дело, иначе ничего не получится, она понимает, еще бы, и она даже не говорит, что это плохо, вовсе нет, под звон стаканов продолжала Ирена, и когда Герхард, возвратившись из Японии, объявил о своих намерениях и выступил со своей идеей — создать этот самый хоспис, пригласить туда другие буддистские группы, всех направлений, и тибетцев, и адептов тхеравады, из Франкфурта и окрестностей, из Оффенбаха, из Ганау, даже из Висбадена с Майнцем, — она, Ирена, первая же его поддержала, и не просто его поддержала, но еще до своего ухода на раннюю пенсию закончила полный курс паллиативной медицины, который, кстати, длится долго и стоит недешево, и на пенсию она, может быть, вышла такую раннюю, потому что очень уж трудно было совмещать все это с работой на аэродроме, как и у Виктора теперь не очень, судя по всему, хорошо получается совмещать волонтерство в

хосписе с обязанностями и тяготами его банковской службы, и все же это счастье, говорила Ирена, глядя на меня зелеными решительными глазами, это счастье, верю я ей или нет, это, может быть, важнее теперь для нее, чем дза-дзен, во всяком случае, не менее важно теперь для нее, чем дза-дзен, потому что она боялась смерти всю жизнь, безумно, безудержно и бесстыдно боялась смерти всю свою жизнь, иногда, случалось, просто так, ни с того ни с сего начинала дрожать, и трястись, и дергаться, и стучать зубами от страха, и все снились ей кошмары и катастрофы, как в самолете она падает, падает, и знает, что вот сейчас погибнет, и ничего не может поделывать, или как по вине ее сшибаются самолеты, горят, и рушатся, и обломками низвергаются на страшную, всю в трещинах, сожженную землю, и как она ни боролась с собою, сколько сессингов ни делала, все равно продолжала бояться, дергаться и трястись, и вот только теперь, когда ее собственная смерть уже близко — не стоит возражать ей, она знает лучше, — теперь, когда она каждый, или почти каждый день имеет дело с болью, страданием и смертью, с невыносимым горем и нестерпимым просветлением смерти, — вот только теперь она чувствует, как понемногу отступает от нее этот страх и, наверное, свобода от этого страха — это самая большая свобода, какая может быть, и, значит, величайшее счастье, какое может быть на земле. Так что она благодарна Герхарду — и терпеть его не может, говорила Ирена, расстегивая и застегивая кофточку, улыбаясь плутовской и честной улыбкой, и чем дальше, тем меньше может терпеть его, и его жену еще меньше, эту Элизабет, худющую халду, с ее перекисленною прической и лающим смехом. Она подумывает, да и Виктор подумывает — они уже не раз говорили об этом — перейти просто-напросто в другой хоспис, пускай не буддистский, а общий для всех — такие есть хосписы, не католиче-

Алексей Макушинский

ские, не лютеранские, не антропософские, а просто общие, открытые для всех конфессий и всех убеждений. Особенно после смерти их старика-скульптора... или не скульптора, того старика с его фигурами из корней и веток, о котором они последние полгода заботились. К стыду своему, я не знал, что он умер, этот старик. Да, он умер на прошлой неделе, говорила Ирена под грохот чашек и голосов, и так хорошо умер, спокойно, не во сне и даже, им показалось, не в забытьи, но очень тихо, мирно и просто; они держали его за руки, она и Виктор, и даже не заметили, как он отошел; вдруг поняли, что его уже нет; и это такое счастье, говорила Ирена, что он мог умереть у себя дома, в окружении своих палок, своих корней, и что Виктор успел вернуться во Франкфурт перед самой кончиною старика, успел с ним проститься; и теперь они хотят устроить выставку этих деревянных фигур, и Виктор уже договорился в своем банке, что их расставят в коридорах и в холле, а там будет видно, потому что это фигуры замечательные и нельзя дать им пропасть и погибнуть, и это последнее, что они еще могут сделать для старика, — а все-таки они подумывают перейти в другой хоспис, потому что уже сил нет терпеть Герхардово всевластие, терпеть его ревность. Для Герхарда и его жены мир делится на своих и чужих. Ах вот как? Еще бы. Герхардовы ученики, особенно новенькие, смотрят ему в рот расширенными от восторга глазами, ловят каждое его слово — что слово! каждый его намек и кивок, а Боб для них — так, что-то абстрактное... Боб там сидит, на своем почетном месте, но распоряжается-то всем Герхард. Тихой сапой забрал он себе всю власть. Боб ведь власти никогда не хотел, а Герхард хочет именно власти, с отвращением говорила Ирена, да, да, она знает! именно власти, над людьми и над душами. А есть души, которым подчиняться отрада, которых чужая власть вдохновляет. Для всех

этих Клаусов, этих Маргарет и этих Беттин Герхард — гуру, источник истины, податель надежды, непререкаемый авторитет, мудрец, святой, воплощение Бодхидхармы, Лао-цзы и Конфуция, глаза б мои не глядели. Он и сулит им черт знает что — голубизну с небес, говорила Ирена, используя расхожее немецкое выраженьице, глядя на меня совсем не голубыми глазами. Это Бобовы ученики сидят по десять лет безо всякой надежды на что бы то ни было, просто сидят и сидят, и она так сидела, и тем более Вольфганг, и Зильке, и Анна, и Виктор. Виктор примкнул к ним позже, но ведь и Виктор, если она ничего не путает, уже лет десять во Франкфурте. А тут все просто: скоростной дзен, интенсивный курс коанов, сатори в три года. Как не может быть? Очень даже может быть; не в три года, так в пять лет. Но все надо бросить, говорила Ирена, оборачиваясь к стойке, за которой усатенький, маленький, герхардово- и гейдеггерообразный бармен вновь пустился колотить свой сухой лед, с размаха обрушивая в ведроко убийственный штырь; надо все бросить, полностью подчиниться, делать, что скажут, жить жизнью сангхи. Ты думаешь, у них есть какая-то своя отдельная жизнь, у всех этих Клаусов? Этот Клаус живет на пособие, иногда подрабатывает на каком-нибудь складе, в каком-нибудь супермаркете, а на самом деле он просто мальчик на побегушках у Герхарда, и у Герхардовой жены Элизабет, и у Герхардова шурина Райнера, богатого человека, организатора достойных смертей. То он газон стрижет, то стиральную машину налаживает. Вот и взяли бы его на службу, если они такие добрые. Да нет, куда! это ж дармовая рабочая лошадка, всегда к услугам, всегда тут как тут. Ну, дадут ему при случае десятку, двадцатку... Газон стричь — пожалуйста, стены красить в доме для престарелых — да сколько угодно. Зачем нанимать маляров, если Клаус и так все делает за издевательские гроши, а то и вовсе

Алексей Макушинский

задаром. А Клаус все сделает, что Герхард скажет ему — с моста бросится в Майн, если тот пожелает полюбоваться пузырями и брызгами. Бултых — и нет Клауса. Смотреть противно, говорила Ирена, расстегивая зеленую кофточку. Она бы и не смотрела, давно ушла бы из этого хосписа, если бы... если бы... Короче, есть у нее кое-какие подозрения и сведения... не все там чисто... по финансовой части. То есть она очень надеется, что это не так, что это подозрения пустые и сведения ложные, вообще не сведения, а слухи, слухи и сплетни, очень, очень и очень она на это надеется, говорила Ирена, так часто повторив это *очень*, так глядя на меня своими зелеными, правдиво-плутовскими глазами, с такой усмешкой в глубине этих глаз, что ни на секунду не усомнился я в ее прямо противоположных мечтах и надеждах; все-таки, продолжая усмехаться глазами, произнесла Ирена, ей хочется подозренья свои проверить. То есть, еще раз, она ни в чем (ни в чем, ни в чем...) ни Герхарда, ни его жену Элизабет, ни его шурина Райнера, богатого человека, не обвиняет, доказательств у нее нет, и разговор этот, ради бога, пусть останется между нами, но если доказательства обнаружатся, то... То она будет счастлива, я продолжил, вывести их всех на чистую воду. Что ж, можно сказать и так. А если все договаривать до конца, то просто ненавидит она этого Герхарда. Пусть Виктор расскажет мне, как Герхард выживал его из монастыря в Киото, когда они вместе там оказались. А почему, я думаю, в свое время Боб уехал в Германию? Из-за Ясуко? Ясуко могла и в Осаке найти себе место. Ну не из-за Герхарда же? А вот она не уверена, отвечала Ирена, играя глазами и пуговицами. Герхард как раз тогда был в Японии, и что-то было там, она не знает, что именно, но что-то было там между Бобом, и Герхардом, и Китагавой-роси, какие-то были недоразуменья, тренья и раздраженья, ей даже сам Китагава-роси намекал на

что-то такое, в тот единственный раз, когда она жила, или пробовала жить, в монастыре в Киото, если она правильно поняла его, Китагавы-роси, невообразимый английский, и, во всяком случае, она точно знает, что последний год Боб провёл не у Китагавы-роси в Киото и не в храме в горах, куда теперь ездит Виктор, а в каком-то совсем другом месте, в совсем другом, очень традиционном монастыре школы Сото, и вот только там, вернее, только тогда, когда жил в этом монастыре, познакомился с Ясуко, вот как-то так это было, а в Сото, я сам знаю, вообще нет коанов, они есть, но это просто притчи, о которых можно поговорить при необходимости и желании, но которые никакой роли не играют во время дза-дзена, в Сото просто сидят без всякой цели, ни к чему не стремясь, и если я заметил, Боб очень редко и последнее время все реже говорит о коанах в своих, например, тей-сё, в своих проповедях, хотя и продолжает задавать их ученикам, зато о коанах непрерывно болтает Герхард, сулящий своим собственным ученикам быстрый путь к просветлению, ускоренным темпом, если, конечно, они все бросят и будут заниматься только дзеном и хосписом — и попробуй не приди на очередное добровольно-принудительное мероприятие по ремонту крыши или уборке двора в одном из богоугодных заведений, принадлежащих его шурину, богатому человеку. Я спросил Ирену, знает ли она по своему — вернее, по нашему общему с ней — социалистическому прошлому, что такое субботник. Долго смеялась она, под звон стаканов, играя глазами. Бог миловал, она отвечала, в Польше субботников не было, или не было уже в ее время, но она знает что это, ей объяснять не надо... В Польше были тоже стахановцы, *Stachanow-Arbeiter*, по-немецки, с польским акцентом, по складам и с видимым удовольствием проговорила Ирена. *Stachanow-Arbeiter*, *Stoßarbeiter*, ударники. Да, давно это

Алексей Макушинский

было... Мы оба теперь смеялись. Давно это было, да мало что изменилось. Попробуй не приходи на дзен-буддистский субботник. Уж они являются туда в полном составе, все стахановцы и стахановки, ударники и ударницы душещепотельного труда... И попробуй усомниться в чем-нибудь, Герхардом изреченном. Сразу получишь по первое число, во всех грехах обвинят тебя, будь спокоен. Ведь это все твое проклятое эго, твоя злосчастная самость — это они сомневаются, ну еще бы! Что бы Герхард ни говорил и ни делал, это все хорошо, ты сам виноват, если не понимаешь, как хорошо, и вообще какая разница между плохим и хорошим, между правдой и ложью? Ведь это наше эго проклятое делит мир на хорошее и плохое, на ложь и правду. А Высший Путь совсем не труден, надо только отказаться от выбора. Вот ты и откажись от выбора, и делай все, что тебе скажут, и не смей судить, не смей иметь свое мнение, и если Герхард разъезжает на «БМВ», а его жена, худющая халда, на спортивном «Мерседесе», а Райнер, устроитель смертей, на «Порше», то это хорошо, это так и должно быть, не смей сомневаться, и если Герхард с Элизабет живут на вилле в Бад-Фильбеле, а Райнер на вилле в Кенигштейне, то это просто отлично, не сомневайся, не выбирай, иди на субботник, вези Райнера на машине в Ганновер, чтобы он, бедняжка, не устал за рулем. А что он приставал по дороге к тому мальчику, дурачку белобрысенькому, который возил его, скотину, в Ганновер, то это она знает, и еще кое-кто знает, и никто слова не скажет, никто пикнуть не смеет. И что он спал с Анной, а раньше спал с Зильке, а теперь спит с молоденькой дурой, школьницей, так это вообще все знают, только не говорят ничего. Хорошо хоть Герхард не спит ни с учениками, ни с ученицами: его бы стерва Элизабет убила, небось, утюгом, если б узнала, что он спит с кем-нибудь, кроме нее самой. Хотя как можно спать с ней, это для нее, Ире-

ны, всегда оставалось загадкой, она сама, эта халда худющая, интересуются, похоже, молоденькими, спортивненькими девицами. А Герхард что же? А Герхард, небось, подсматривает в замочную скважину. В общем, черт их там разберет, ее это не касается, ей плевать на Герхарда, и старику Вольфгангу на него наплевать, и тихому Роберту наплевать, и Джону, и Виктору. Зато и он их всех ненавидит, страшно ревнует к ним Боба. Ну как же, это он главный, а не какой-то там Вольфганг. Хотя Вольфганг занимался дзеном, еще когда Герхард в школу ходил... Но самый заклятый враг его, разумеется, Барбара, Барбара, которую вынести тоже непросто, она вынуждена признать, со своим польским акцентом говорила Ирена, хотя ведь это она сама в свое время привела в дзен-до эту Барбару, о чем с тех пор не перестает сожалеть; эта Барбара сохнет по Бобу, уже всех замучила своими восторгами, своим обожанием — смешно! — по Бобу, который на тридцать лет ее старше... Барбара с Герхардом перестали уже разговаривать, а если и разговаривают, то шпильки втыкают друг в дружку, и ничего противнее нет, когда прямо перед дза-дзеном начинается их пикировка, и продолжается сразу после, и ты *сидишь* в этом пронзенном враждою, исколотом шпильками воздухе, и вместо того чтобы считать свои выдохи или решать свой коан, думаешь, кто из них прав, кто не прав, думаешь, что оба не правы, думаешь о том, как все это тебе надоело. А с Бобом она не говорила об этом? Говорила, еще бы! Боб, между прочим, все видит, это Барбара думает, что он ничего не видит, что его нужно предупредить, предостеречь, защитить... непонятно, в сущности, от чего. А Боб все видит — и что же? И говорит, что это пройдет. Все проходит, и это пройдет. Как во время дза-дзена проходят мысли, как проходят по небу облака... Так и недоразумения в сангхе пройдут, говорит Боб, говорила Ирена, нужно просто дать им

Алексей Макушинский

пройти, не обращать на них внимания, сосредоточиться на том, что единственно важно, на том, что ты вот сейчас делаешь, вот в эту минуту: сидишь ли в дза-дзене, подметаешь ли пол, пьешь ли кофе в кафе. Она тоже так думает? Нет, с удивившей меня решительностью отвечала Ирена, нет, она не думает так. Она привыкла во всем верить Бобу, но сейчас она чувствует недоброе, и, видимо, это... это... просто бабьи бредни, вздорные страхи, и ей самой за них стыдно, но она ничего не может поделать, говорила Ирена, глядя на меня своими правдивейшими, самыми зелеными из имевшихся у нее в расприжении глазами, она все-таки чувствует недоброе. Что-то случится, что-то, и очень скоро, ужасное произойдет.

Ворона, каштан, коан

Виктор, когда я заговорил с ним обо всем этом, ответил, нарочито небрежно, что Ирена преувеличивает, Герхард — блистательный человек, им трудно не восхищаться, а что есть у него неприятные черты и сомнительные свойства характера, так у кого же их нет, у нас у всех таких свойств в избытке, таких черт слишком много; лично он, Виктор, относится к ним или, по крайней мере, старается относиться к ним снисходительно, он сам ничем не лучше других, и вообще все это не имеет значения, вообще все в порядке. Мы встретились у Тины в тот день (опять, как некогда, осенний и солнечный, с легкой дымкой, обволакивавшей небоскребы, деревья); пошли вдвоем (то ли Тина плохо себя почувствовала, то ли позвонили ей по срочному делу, не могу уже вспомнить) по Грюнебургскому парку вверх, к Фрицем Леонгардом построенной телебашне, мимо корейского павильона с его изогнутой крышей и классически-камышовым прудом, мимо греческой церкви с ее горизонтальными кирпично-бурыми полосами, подиночке, по две, по три бегущими по белому

камню; затем еще дальше вверх, по пешеходному мостику через автостраду, через до тех пор, странным образом, не знакомый мне парк, с бетонными берегами плоских прудов, бетонными плоскими ступеньками, фонтанами, бьющими из бетона, — парк, зажатый автострадой с одной стороны и с другой — громадным, плоским, трехстворчатым зданием Федерального банка (совсем не похожим на оставшиеся внизу небоскребы, стеклянные и счастливые, но возведенным в шестидесятые годы в том брутально-бетонном, бескомпромиссном стиле, у которого теперь немного осталось ценителей...); затем по еще какому-то мостику и, обогнув телебашню, по уже обыкновенным, франкфуртско-пригородным, уставленным машинами улицам с белыми, краснокрышными, двухэтажными домиками, отдельными, одинокими многоэтажками, вдруг, к моему изумлению, очутившись в местах, где не раз бывал я десятью годами ранее, где жила моя тогдашняя, с тех пор потерянная мною из виду подруга Вика, о которой я даже, наверное, не рассказывал (подумал я) Виктору. Сам Виктор рассказывал мне о своих планах уехать зимою в Японию на подольше, на три недели или на целый месяц, нет, не на декабрьский сессин, самый суровый сессин в году — такой сессин (я не знал этого) он делал прошлой зимою, на этот раз банк его не отпускает, — в тот храм, затерянный в горной глуши, где не кто-нибудь, но сам Китагава-роси собирается провести эту зиму, старый Бобов учитель, обещавший ему, Виктору, ежеутренний докусан, не в порядке общей очереди (с очень светской усмешкой проговорил Виктор, блеснув глазами и черепом), а только, может быть, ему одному; а вообще он всерьез уже думает о том, чтобы уехать в Японию, уехать, может быть, навсегда или уехать надолго, на очень долго, он только не решил еще, как поступит: уйдет ли совсем из банка или попыбует перевестись в его, банка, киотское или,

Алексей Макушинский

скажем, токийское отделение. И то, и другое в принципе возможно, уже и японский он знает, хотя и не в совершенстве, но уже настолько хорошо, что может поставить перед банковским руководством вопрос о своем переводе. У него ведь были проблемы с паспортом, если я не ошибаюсь? Проблемы с паспортом давно улажены; он всегда сможет возвратиться в Европу. А Тина? На это Виктор ничего не ответил; по-видимому, он и не знал, что ответить. Все же он говорил как человек, привыкший принимать решения и достигать поставленных целей; был в тот день какой-то особенно сухой, жилистый, собранный; с неожиданными еще не морщинами, скорее складками на уже не совсем молодом лице; продольными складками (намекками на будущие морщины), от уголков рта уходившими вниз, огибая, охватывая и подчеркивая выступивший вперед подбородок; с такой синевой, почти чернотой на щеках и на подбородке, какой я не замечал за ним до тех пор, как если бы он не брился в то утро, хотя ясно было, что брился, что это за день пробившаяся синева, чернота... Пройдя, я помню, одинокую многоэтажку, где жила некогда Вика, пройдя супермаркет Lidl с большой парковкой перед ним, обнесенной ржавым забором, затем какие-то пустыри с гаражами, киоски, турецкие лавочки, остановились мы посреди, опять, одинаковых, белостенных и краснокрышных домиков, на впадении одной улицы в другую такую же, наблюдая за очень большой и до блеска черной вороной, пытавшейся, не обращая на нас внимания, расколоть конский каштан, подобранный ею, надо полагать, по соседству. Расколоть его она не могла. Она сначала клювом пыталась его долбить, но каштан выскальзывал из-под клюва; тогда, подумав, помахав левым крылом и еще немного подумав, взлетела она на фонарь, нависавший над улицей, уселась на нем, раскрыла клюв, каштан выпустила. Каштан не разбился.

С фонаря слетев, походив вразвалку вокруг неразбившегося каштана, осуждающе помахав крылом и снова подумав, ворона повторила все свои действия, взлетела на фонарь, уселась, выпустила каштан из клюва, слетела на мостовую. Так это еще раз три повторилось; чем чаще повторялось, тем смешней делалось. Вот так и мы, сказал Виктор с какой-то вдруг шальной улыбкой, вот так и мы с коанами нашими... А ведь это так просто, сказал он, высоко занося ногу, показывая и мне, и вороне, что он сейчас раздавит каштан каблуком своего дорогого, не менее, чем у Вольфганга, миллионерского, пожалуй, ботинка, сделал шаг, затем другой к месту действия, полю сраженья. Вот так, проговорил он уже на ходу, раз — и коан решен. Но ворона не позволила ему помочь ей; схватив свой коан, свой каштан, полетела куда-то над красными крышами, желтыми кронами, в чистом, уже вечернем, чуть тронутым дымкою небе, мимо раньше не замеченного мною подъемного желтого крана, над антеннами, скрылась из виду. Из чего мы делаем вывод, сказал Виктор, непривычно громко смеясь, что чужой коан решить невозможно. У каждого свой, и каждый решает сам. И вообще, одному нужно одно, а другому другое. Кому-то нужны коаны, а кому-то они вовсе и не нужны. Кому-то лучше просто *сидеть*... Я сказал, я помню, что в моей-то жизни, в дзенскую ее пору, совсем не о том шла речь, никаких коанов и не было. Мне хотелось, главное, совпасть со своим настоящим, избавиться от случайных мыслей у себя голове, от шороха, вороха этих мыслей. Я думаю, проговорил вдруг Виктор, что единственный способ избавиться от случайных мыслей — признать их своими. Вот как? Разумеется, ответил он с чуть-чуть даже скучающим, показалось мне, вообще не свойственным ему выражением лица, как если бы речь шла о вещах, давным-давно им понятых, преодоленных, уже неинтересных ему; разумеется, ответил

Алексей Макушинский

Виктор; если сравнить их, как в дзене принято, с волнами на поверхности того океана, в который пытаемся мы погрузиться (в скафандре или без скафандра, прибавил он вдруг и в скобках), то они ведь не из особенной какой-то воды, эти волны, а из той же, из океанской. Их не кто-то сверху набросил на океан, как разлившуюся нефть из пробоины танкера. Это не ваша дукха, или ваше беспокойство, или ваше отчаяние мыслит в вас и за вас, но это вы сами, тот же вы, что и в ваши лучшие, просветленнейшие мгновенья. Мы полагаем, говорил Виктор (уже, похоже, не включавший себя в это *мы*), что океан хороший, а волны плохие, мы выбираем океан, а не волны, но волны — это тоже океан, тот же океан, из той же воды. Примите их, перестаньте выбирать, сосредоточьтесь на том, что вы делаете, и волны сами собою улягутся... Рецепт несложный. Высший путь прост, говорит Третий патриарх, надо только от выбора отказаться.

Я отказываюсь отказываться

Я подумал, что, пожалуй, ему осталось лишь справиться с этим своим внезапно скучающим (даже, скажем, скучливым) выражением лица, с этой интонацией превосходства — и он тоже, как Герхард, не хуже Герхарда, мог бы замечать Боба на докусане; я понял Тину, несколько раз говорившую мне, что все прощает Виктору, кроме этой уверенно-снисходительной интонации. Еще подумал я, не мог не подумать, как изменился он за годы нашего с ним знакомства. Уже почти невозможно было (и тут Тина права) разглядеть того беззащитного зайку с рязанскими (чухонско-еврейскими) кудрями, каким явился он мне на берегах полощущего ветлы Альтмюля, в этом сухом, взрослом, уверенном в себе и привыкшем принимать решения банкире в пижонских линиялых джинсах, в фуфайке от Нуго Boss'a, в миллионерских ботинках. Все

обладает природой Будды, я знаю, сказал я (мы повернули обратно); я читал это тысячу раз; все правильно, все хорошо; но, видно, не удалось мне и, видно, никогда уже не удастся постичь эту самую природу Будды, услышать звук от хлопка одной ладони, увидеть мое подлинное лицо, до рождения родителей... Я ожидал, что он улыбнется в ответ. Он не улыбнулся. Этого нельзя постичь, ответил он очень серьезно, уже без всякой скучливой снисходительности в голосе и в лице; это нас само постигает, само настигает нас. Мы не познаем истину, мы и есть истина. Есмы истина, не удержался я (в память о бодяке и мордовнике). Что? — переспросил Виктор (как некогда переспрашивал Васька). Правильная форма глагола «быть», я ответил, более ничего. Какой-то если и не мордовник, если и не бодяк, то какой-то репейник, во всяком случае, с уже отцветавшими, ссыхавшимися, но еще отраднo-лиловыми, в зримых колючках, шариками, с мощным стеблем, наглыми листьями, лопастями обнаружился на обратном пути нашем, в окружении других трав (тысячелистника, может быть), у ограды супермаркета Lidl, вернее у ограды парковки перед супермаркетом Lidl, уже пустевшей, с потрескавшимся асфальтом в черных, как будто мокрых заплатах. Но разве, сказал я, когда волны успокаиваются, когда случайные мысли проходят, разве мы тогда исчезаем, разве мы растворяемся в океане? разве не прямо наоборот? разве мы не возвращаемся, не приходим к себе, не обретаем себя? Вот я, сказал я, вот этот репейник, уже отцветший, и я ни за что не поверю, сказал я Виктору (как некогда Ваське), что нет ни меня, ни репейника. Я думаю, что репейник есть и я есмь, вот сейчас, вот посмотрите на его наглые лопасти и лиловые скукоженные соцветья на фоне этой ржавой проволоки, опустевшей парковки, этого неба, этой сияющей пустоты... Я, собственно, тогда только и есмь, сказал я Виктору (сознавая,

Алексей Макушинский

что ничего не изменилось за тридцать лет, со времени наших с Васькой-буддистом блужданий по Елагину острову, что это тот же я, с теми же предпочтениями, теми же мыслями) — только тогда я есмь, когда что-то *вижу*, вот сейчас и прямо напротив, освободившись от случайного шороха мыслей, возвратившись к себе, присутствуя в настоящем. А еще я потому есмь, сказал я, что помню, как тридцать лет назад смотрел на почти такой же репейник, вместе с одним... одним приятелем моим петербургским, и говорили мы с ним о том же, о чем теперь говорим с вами, и я так же стремлюсь увидеть — вот здесь, вот сейчас — этот репейник, этот забор, увидеть — а не пройти мимо, думая о чем-нибудь постороннем, ничтожном, и значит, по-прежнему, как тридцать лет назад, выбираю в себе того, кто видит, а не того, кто проходит мимо. Я, собственно, и есть этот выбор. Отказаться от выбора значит для меня от всего, от самого лучшего в себе отказаться; я не хочу этого; я отказываюсь отказываться. Наверное, Виктор, с вашей точки зрения это очень убогие, очень примитивные мысли...

Сатори

Мне все-таки хотелось услышать, что он ответит. Но Виктор ничего не ответил; Виктор, посмотрев на репейник довольно небрежно, не спросив меня, как звали того давнего петербургского приятеля моего (а как бы мы оба рассмеялись, наверное, если бы он спросил), заговорил со мною о Китагаве-роси, своем и Бобовом японском учителе, для меня вполне неожиданно, и покуда мы шли обратно по этим пригородным улицам, с их краснокрышными, белыми домиками, одинокими многоэтажками, и когда вновь, обогнув телебашню, перейдя через мостик, очутились в до сих пор мне не известном, с бетонными ступеньками, парке, зажатом между плоским, громадным, брутально-трехстворчатым зданием Фе-

дерального банка и ровногудящей невидимой автострадой, рассказал мне, к моему изумлению, очень подробно, о своей поездке с Бобом и Барбарой в Голландию на остров Тексел (или Тексель, как по-немецки он называл его), о чайке, цапнувшей за пальчик красавицу, о Бобовых дхармических родственниках и созданном ими дзен-до, о самом Китагаве, с его прозрачно-невидимыми глазами, кретинической фуфайкой и восторгом при виде гипертрофированных овец и, конечно, когда он рассказывал мне все это, уже ничего скупчивого в голосе и в лице его не было, но он был сосредоточен, спокоен, открыт, прозрачен для себя самого и улыбался вдруг светлой, Бобову напоминавшей улыбкой, смотрел на небо, где появились уже розоватые робкие росчерки, первые, еще ученические упражнения заката в каллиграфии, затем обращал ко мне свое новое, плоское, со складками у подбородка, лицо, и я понимал, что он говорит со мною о своем самом важном, заветном, о чем он еще ни с кем в жизни, возможно, не говорил, и я был благодарен ему за это, и чем дальше, чем подробнее он рассказывал — тем лучше становилось у меня на душе, как будто передавалось мне то ощущение свободы и легкости, которое, по словам Виктора, сразу же охватило его в присутствии Китагавы, едва лишь тот, захохотав, проговорил: Достоевский и обратил к Виктору свое тоже плоское, японское, русское, узнаваемое лицо, лицо деревенского дедушки, если не деревенской бабушки, из тех, над которыми всегда посмеиваются другие старички и старушки. И нет, он так до сих пор и не вспомнил, рассказывал Виктор (мы сели с ним, помню я, на скамейку у одного из бетонных прудов) — так, увы, и не вспомнил он, кому принадлежит эта замечательная дзенская фраза, гласящая, что пережить сатори значит окончательно поселиться в здешнем несовершенном мире, окончательно обосноваться в случайной, исполненной страдания

Алексей Макушинский

жизни, — фраза, которую он так часто повторял про себя в тот день, и на следующий, и потом вспоминал все снова и снова, когда долетел до Японии, провел неделю в Токио, и неделю в Киото, и в горном храме на Хоккайдо, в префектуре Камикава, случилось с ним первое, совсем предварительное кен-сё. И это, наверное, лучшее, что ему было дано испытать, объявил Виктор, светлыми, Бобовыми глазами глядя на желто-зеленое мерцание воды в квадратном пруду, кружение уток и селезней, иногда окунавшихся в воду, медливших под водой, выплывавших, продолжавших кружение. Вовсе не ожидал я, что он станет рассказывать мне об этом предварительном кен-сё, первом сатори. Об этом рассказать невозможно. Это несравнимо ни с чем, не похоже вообще ни на что. Когда это обрушилось на него, он просто ушел из храма, не ушел — убежал, и целый день бегал потом по горам, целый день и полночи, не в силах успокоиться, и пару раз падал в какой-то овраг, то есть в один овраг и в другой, оба раза отделавшись ободранными локтями, ободранными коленками, хотя вполне мог убиться, странно, что не убился, и пил воду прямо из ручья, ледяную и ключевую, в первый и в последний раз в жизни, склонившись над ним, как Нарцисс, хохоча на свое бурливое отражение, а когда спустился с гор, пришел в храм, один старый монах его кормил с ложечки супом мисо с рисовой вермишелью — так сильно у него зубы стучали, такой озноб его бил. Было чувство, что он разлетается на куски. А если бы я спросил его, как он решил свой коан (я очень хотел спросить, но ни за что не спросил бы), то — он бы не сумел мне ответить. Это пришло к нему из ниоткуда, пришло и как будто (он подумал) прошло сквозь него, вошло и вышло, само по себе. Какие-то стены в нем рухнули, какие-то перегородки упали, он не мог понять почему, и почему

именно в этот день, а не назавтра, не накануне, и как бы то ни было, когда он отстоял свою очередь на внешней галерее, где страшно завывал в тот день ветер и страшно мерзли голые пятки, и явился на докусан к Китагаве, сделал гассё и вновь выпрямился, Китагава-роси, взглянув в его лицо вдруг посветлевшими, отчетливо видимыми, старческими и смеющимися глазами, сказал: да, вот оно, *this is it*, это твое лицо, я его вижу, *congratulations*, поздравляю, я очень за тебя рад, переходим к другому коану. И тогда какие-то последние стены, о существовании которых он даже и не подозревал до тех пор, в нем рухнули и упали, и пот, и слезы прошибли его, как грубого генерала, Хуэй-миня, ставшего Дао-минем, и он, ему казалось, раскрылся, раскололся, как орех, как вот этот каштан, который не могла расколоть ворона (несчастливая), и все стало ясно — нет, он не может сказать что именно, вообще все: и мир, и он сам.

Настоящая битва, действительное сражение

Я снова, как четырьмя годами ранее, когда впервые встретился с Виктором после его японской поездки, подумал о каких-то прозрачных, стеклянных или пластиковых часах, обнажающих свои колесики, пружинки и шестеренки. Да, он увидел шестеренки мира, колесики души — это правда. Может быть, лишь на мгновение увидел их, лишь заглянул в этот тайный, внутренний механизм. Но все-таки увидел, все-таки заглянул. Он только не знал тогда, говорил Виктор (глядя с автострадного мостика, до которого снова дошли мы, на неподвижные, друг другу в затылок уткнувшиеся машины на въезде во Франкфурт, блеск ветровых стекол на сильном

Алексей Макушинский

вечернем солнце), только не знал он, что подлинные трудности приходят потом. Что они потом вырастают, как горы, как горные кряжи вырастают вдруг перед нами, когда мы взобрались на первую нашу вершину. Ах вот как? Конечно. Мы идем к вершине и не знаем, что там, за нею. А там за нею еще вершины, еще и еще. Там только и начинается, может быть, настоящая битва, действительное сражение. Ничего там, может быть, и нет хорошего, вот в чем все дело. Лицо его показалось мне вдруг замкнувшимся, тревожным, тяжелым. У каждого из нас свой коан, снова сказал он, и никто нам решить его не поможет... Это только была минута; автострадный мостик прошли мы, автомобильный грохот закончился; и Виктор, так мне теперь вспоминается, был снова таким же, каким был в начале нашей с ним — первой из двух, как вскорости оказалось, — прогулки по Грюнебургскому парку, таким же уверенным в себе менеджером, привыкшим принимать решения и брать на себя ответственность, светски-дзенским господином, со спокойной и неколебимой улыбкой смотрящим на мир и бетон. Снова заговорил он о том, что уедет в Японию. Все равно его банковская карьера разваливается: слишком много сил последние годы уделял он дзену и хоспису. А банковские начальники этого, понятно, не любят. Они, может быть, и сами занимаются кое-каким дзеном (он так и выразился), дзеном для менеджеров, но банк остается главным в их жизни, тем более должен оставаться стержнем и содержанием жизни для их подчиненных... Но послушайте, Виктор, сам не знаю, почему сказал я, если есть лишь природа Будды, и больше ничего нет, и мы сами есмь истина, и волны — это тот же океан, из той же воды, то откуда же, сказал я, откуда зло в человеке? Только не говорите мне, что зла никакого нет... А никакого зла и нет, он ответил, все хорошо. Все хо-

рошо, он ответил, и все хороши. Все хороши, но только не знают этого. Я подумал, что не зря ходил он когда-то на мой семинар о *«Бесах» и генезисе русской революции*; не стал все-таки напоминать ему о Кириллове, тоже ведь утверждавшем что-то подобное, с известными нам последствиями. Все живут в плену своей самости, говорил тем временем Виктор, опять с какой-то, в самом деле, неприятной (я вновь понял Тину), скучливой интонацией превосходства, интонацией утомленного учителя, вынужденного изо дня в день повторять одни и те же элементарные истины — дважды два четыре и трижды три девять, которые уже до смерти надоело ему втолковывать прыщавым лентяям, патлатым оболтусам. Освободитесь из плена — и зла не будет. Зло — такая же иллюзия, как наше я, наша самость. Его нет, как и самости нет. Все это тоже, конечно, только слова, более ничего... А верит ли он этим словам? — подумал я, на него сбоку глядячи. А если не верит, то зачем произносит их? Если это только слова, то зачем (я подумал) дзенские люди повторяют их так часто и с такую настойчивостью? А может быть, он в чем-то убеждает себя самого (я подумал), потому и говорит как по писаному?.. Возле греческой церкви с не разгаданным мною ритмом кирпичных полос по белому камню катался на доске с колесиками негритенок, черней той вороны, в красной маечке до колен, в сосредоточенном одиночестве; покружив перед церковью, набрав скорость, стал съезжать — соскакивать — по длинным и плоским ступенькам, ведущим к аллее; потеряв равновесие, прыгнул на зеленый газон; залихватски подхватив свою доску, побежал обратно наверх. И вы всерьез полагаете, спросил я Виктора, что если решить все коаны, то зла уже не будет? Вот этого, он сказал, я не знаю. Нет, вот этого я не знаю, сказал он.

У варвара нет бороды

А я рад был, что не спросил гейдеггерообразного Герхарда, читал ли он Гейдеггера; особенно рад был этому, когда обнаружил в программе франкфуртской так называемой «Католической академии» — место проведения разнообразных мероприятий, так или иначе связанных с религиозными темами, в непосредственном соседстве с главным собором, — доклад Герхарда на тему (ни много ни мало...) «Дзен-буддизм и *philosophia perennis*»; мне поспеть на этот доклад после двух занятий в университете было непросто, но я все же поспел; вбежал в переполненную аудиторию перед самым началом, к осуждающему изумлению Герхардовых адептов, поднявших брови, закативших глаза. Публики было много; состояла она, как в таких местах бывает обыкновенно, из завитых старушек, любительниц религиозных вопросов. Герхард явился. Явился он в костюме довольно странном и даже вполне фантастическом, помеси черного дзенского одеяния с френчем-не-френчем, кителем-не-кителем, без погон, как и без дзенского золотого нагрудника, но с золотыми большими застежками на груди и со стоячим воротничком, упирившимся ему, едва он поворачивал голову, в подбородок с гейдеггерианским, опять же, намеком на ямочку. Явлению Герхарда предшествовало вступительное слово — опоздав, я не понял кого именно, — длинного дядьки в тоже темном, но обыкновенном костюме, с крошечным крестиком на лацкане, отмечавшем, видно, его принадлежность к монашескому (иезуитскому, что ли) ордену; несколько раз повторил этот длинный дядька, что, вот, наконец, мы имеем дело с настоящим, подлинным, несомненным, аутентичным (*authentisch*) дзенским учителем, не только живущим среди нас, но и славным своей социальной ангажированностью (*soziales Engagement*), своими неустанными трудами во благо больных и страждущих, и

что это большое счастье — иметь в своей среде и в непосредственной близости, вот прямо здесь, в нашем городе Франкфурте, такого социально ангажированного (*sozial engagiert*), настоящего, подлинного, аутентичного (*authentisch*) учителя. Когда Герхард, под аплодисменты старушек и молитвенное молчание адептов, явился, длинный, очаровательно улыбаясь, спросил его, как ему, длинному, следует называть его, Герхарда, уж не *роси* ли; на что Герхард, с улыбкой еще более очаровательной, скромно-нежной, сопровождаемой легким, изящным, ироническим взмахом руки, в восторг повергшим старушек, сообщил, что нет, упаси, Боже, на титул *роси* он, Герхард, претендовать не может, не смеет, да это и не титул вовсе, а просто, в Японии, уважительное обращение к старому учителю — оно и значит, собственно, *старый учитель*, более ничего, — он же, Герхард, еще не чувствует себя старым (умиленные улыбки побежали по лицам завитых старушек, как солнечная рябь по воде) и уж совсем не считает себя столь продвинутым, таких вершин достигшим и такие глубины постигшим дзен-буддистом, каким должен быть настоящий, аутентичный (*authentisch*), несомненный и подлинный *роси*; в самом крайнем случае, да и то не без внутренних колебаний, готов он согласиться на титул — хотя и это никакой не титул — *сенсея, старшего брата*; так, во всяком случае, к нему обращаются его верные ученики (сообщил далее Герхард, поблескивая зализанными залысинами и тем же легким жестом, с той же улыбкой указывая на ровным рядом сидевших учеников, немедленно закивавших в ответ), за что он им, конечно, благодарен, хотя все это мелочи, все это никакого значения не имеет... Покончив с preliminариями, Герхард, помню, зримо выдохнул, замолчал, уселся в черное кожаное кресло, стоявшее на низеньком (намеренно демократическом: одна ступенька над полом)

Алексей Макушинский

подиуме; подумал (показалось мне), не сложить ли руки в буддистскую мудру (как это сделали, угадав мысли своего наставника, его ровным рядком на красных стульях в зале рассевшиеся адепты: Клаус, Беттина, Маргарет и как еще звали их); поместил их (руки, а не адептов) просто-напросто на коленях; но молчал долго, так что уже и старушки забеспокоились. Явно подражал он Бобу, тоже долго молчавшему во время своих тей-сё. Начавши говорить, подражать перестал; вскочил с кресла, пустился ходить по демократическому подиуму, спускаясь с него и снова на него поднимаясь, увлекаемый своей заранее, как было нетрудно мне догадаться, приготовленной речью; иногда казалось, что даже он чуть-чуть дирижирует уверенно рукой (с тоже впервые замеченным мною золотым и рубиновым перстнем на безымянном пальце), отчеркивая особенно важные для него места взмахами, выбросами указательного, неоперстненного пальца, показывая публике, где следует ей засмеяться, где задуматься, где загрузить. Публика подчинялась его указаниям; под конец лекции оркестр сыгрался на славу. Время от времени происходили, впрочем, заминки; вдруг остановившись посреди своего хождения, выбрав одну какую-нибудь из завитых старушек в первом или втором ряду, принимался Герхард буравить ее глазами, как будто не в силах отвести от нее колючего взгляда, так что старушка начинала вздрагивать и оглядываться на соседок, товарок по религиозным устремлениям, духовным исканиям, покуда оратор не спохватывался, очередной очаровательной улыбкой заглаживая неловкость, словно предлагая старушке улыбнуться в ответ, что она с очевидным облегчением и делала... Могут ли они ответить, спросил он собравшихся, на один очень простой вопрос. Какой же? А вот какой. Почему у западного варвара нет бороды? Как, что, бороды? Вот имен-

но, провозгласил Герхард, проводя пальцами над верхней губой (где у него были когда-то гейдегеррианские усики или где никогда у него никаких усиков не было); почему у западного варвара нет бороды? Или собравшихся старушек удивляет этот вопрос? Или он им кажется неуместным, невозможным, странным, скандальным, бессмысленным? А все же именно с этого вопроса, пускай уж старушки простят его, он, Герхард, хотел бы начать свою лекцию. Старушки простили его; уже не рябь улыбок побежала по их рядам и лицам, но прямо солнце заиграло на реке во всю мощь. Он рад, объявил Герхард, что вопрос его вызвал такую веселость. Почему у западного варвара нет бороды? Да, вопрос странный, вопрос невозможный. Все дзенские вопросы странные, невозможные, скандальные, невероятные. А это, как собравшиеся уже догадались, вопрос дзенский; дзенский, как собравшиеся уже догадались, коан. Все ли старушки знают, что такое коан? Если не все знают, он сейчас объяснит. Он действительно объяснил, быстро и резко расхаживая перед стульями, поднимаясь на подиум, снова спускаясь к публике. У западного варвара нет бороды; почему? Вопрос скандальный, дурацкий, странный, невозможный, уж точно не философский. Мы не привыкли к таким вопросам. Нам кажется, что настоящие философские вопросы должны звучать по-другому, что в них должны быть ученые слова — трансцендентный, трансцендентальный, суждения a priori, эпистемология, категория, деконструкция... Он очень надеется, что в конце его маленького доклада присутствующие убедятся, что вопрос об отсутствии бороды у варвара — это не менее глубокий, не менее философский вопрос, чем те, к которым мы все привыкли. Мы увидим, что и ответ на этот вопрос не так уж сильно отличается от тех ответов, которые на свои собственные вопросы дают наши западные мудрецы и философы.

Алексей Макушинский

На самом деле, объявил Герхард, заноса ногу на подиум, все великие философы говорят об одном и том же, все мудрецы учат одному и тому же, неважно, на Востоке или на Западе, в древности или сейчас. Есть общая всем народам, единая мудрость, не без торжественности объявил Герхард — как бы от лица этой мудрости, — то, что мы иногда называем *philosophia perennis*, вечная философия — понятие, придуманное, кстати, Лейбницем, пояснил он в скобках и походя, поведя беспогонным плечом (и словно удивляясь, что Лейбниц, его старинный приятель, мог придумать такую умную вещь). Эта единая мудрость, вечная философия проходит сквозь всю историю человеческой мысли, как ее генерал-бас, ее *basso continuo*, без намека на Ген-наадиеву сладость и сахарность говорил Герхард, выхватывая, прокалывая глазами очередную несчастную, в очках и морщинах, старушку. Эта мудрость веков, объявил Герхард, обращается к нам на разных языках и является в разных обличьях, но она всегда одна и та же: вечная, неизменная, равная себе же самой.

Первый патриарх, второй патриарх

Итак, еще раз, почему — почему же? — у западного варвара нет бороды? Вопрос скандально-бессмысленный. Он перестает быть таким уж бессмысленным или становится еще более бессмысленным и скандальным, если мы будем исходить из того, что под западным варваром подразумевается Бодхидхарма, Первый патриарх школы дзен, по-китайски чань, пришедший в Китай из Индии в конце V века, если верить легенде. Знают ли эту легенду здесь собравшиеся старушки? Если не знают, то сейчас он расскажет им. Действительно рассказал он, поднимаясь и спускаясь с подиума,

о приходе Первого патриарха, о его встрече с благочестивым императором, об открытом просторе, в котором нет ничего святого, о громоподобном «не знаю», сказанном Бодхидхармой в ответ на вопрос, кто он такой. Есть множество дзен-буддистских коанов, сообщил Герхард, спрашивающих о смысле прихода Первого патриарха с Запада, то есть о смысле самого дзена, но, кажется, только один-единственный спрашивает, почему у него нет бороды. А дело в том, к новой радости заулыбавшихся старушек объявил Герхард, проводя пальцами над верхней губой, дело в том, видите ли, что у Бодхидхармы была борода. У Бодхидхармы была великолепная борода, отменная борода, всем бородам борода. По крайней мере, поколения китайских и японских художников изображали и до сих пор изображают его с густой, иногда черной, иногда рыжей, совсем не китайской и не японской, но в самом деле какой-то варварской бородой. Это символ его силы, его первобытной мощи. Во всем его облике есть что-то первобытное, необузданно-грозное. Не в одной лишь бороде оно выражается, но и в огромных ужасных его глазах, сообщил Герхард старушкам, сам ширя и наставляя на них свои маленькие колкие глазки. По легенде, которую здесь собравшиеся, может быть, знают, а может быть, и не знают, и если не знают, то он, Герхард, с радостью расскажет им, Бодхидхарма просидел девять лет лицом к стене, медитируя, и так усердствовал в своем аскетическом подвиге, так упорствовал в своих духовных усилиях, так стремился бодрствовать и боялся заснуть, что в конце концов отрезал себе веки (старушки вздрогнули при этих словах), дабы они, веки, не смели опускаться ему на глаза, и выбросил их вон из той пещеры, в которой сидел, и ресницы его упали в землю и проросли, и что же, по мнению присут-

Алексей Макушинский

ствующих, из них выросло, из этих ресниц? Из них вырос чай, вот что, с торжествующей улыбкой объявил Герхард, и вот почему чай — это самый буддистский, самый дзенский напиток, и чайная церемония тоже пронизана духом дзена. Все это поэтические легенды, и все это только звучит так ужасно, объявил Герхард с улыбкой теперь уже милостивой, снисходя к слабым нервам старушек, эти отрезанные веки — просто символ его, Первого патриарха, решимости, его готовности идти до конца, чего бы это ни стоило, не оставлять усилий на пути к просветлению. Просветление ведь то же, что пробуждение, радостно сообщил Герхард, наливая себе воды из неизвестно как и откуда появившейся на столике бутылки в неизвестно как появившийся на нем же стакан; Будда и означает, собственно, Пробужденный. Мы спим, нам надо проснуться. Но даже если вдруг ненадолго мы пробуждаемся, слишком велик соблазн снова закрыть глаза, снова заснуть, слишком легко мы поддаемся ему. Бодрствуйте, говорит Христос, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Так и в Гефсиманском саду, как все вы помните, объявил Герхард радостно закивавшим старушкам, Иисус просил учеников своих бодрствовать с ним вместе и три раза подходил к ним, три раза заставлял их спящими, а у Паскаля в его «Мыслях» есть замечательные слова, которые он, Герхард, не устает повторять про себя денно и ночью, сообщил Герхард, скромно потупившись. Иисус, говорит Паскаль, будет в агонии до конца света, нельзя спать в это время. Тут сделал он паузу и повторил то же самое по-французски, с хорошим и явно сознающим себя в качестве такового прононсом. Вновь он выдержал паузу, позволяя старушкам в полной мере насладиться прононсом, цитатой... В общем, не нужно понимать

все это буквально, как не нужно понимать буквально и следующий, не менее кровавый эпизод, относящийся к ученику и дхармическому наследнику Бодхидхармы именем Хуэй-кэ, по-японски Эка, Второму, соответственно, патриарху в традиции школы чань, школы дзен. Этот Эка, если верить, опять же, легенде, которую знают или не знают собравшиеся, которую, если собравшиеся не знают ее, он, Герхард, с удовольствием им расскажет, Эка этот, пустился Герхард рассказывать, явился к Бодхидхарме, когда тот сидел в своей пещере, с просьбой о поучении, о передаче истины и дхармы. Бодхидхарма, неистовый старец, даже плечом не повел в его сторону. Тогда Эка встал на колени перед входом в пещеру. А была зима, он должен сообщить всем присутствующим, зима суровая и снежная, какой в китайских горах ей и полагается быть. Снег занес искателя истины, едва не замерз он. Но и это не смягчило великолепного варвара, упорно смотревшего в стену. И лишь когда Эка, в доказательство своей непреклонной решимости, выхватив меч, отсек себе левую руку (старушки снова вздрогнули при этих словах) и бросил ее — вот на тебе! — к ногам старика, тот, наконец смилостивившись, спросил своего будущего преемника, чего ему надобно. Тут произошел между ними прелюбопытнейший разговор, сообщил Герхард тоном снисходительно-вкрадчивым, как если бы он сам при этом разговоре присутствовал. Наставник, произнес Эка, мой дух беспокоен. Прошу тебя, успокой его! — А, пожалуйста, сказал страшный старик. Принеси мне свой дух, и я вмиг его успокою. — Учитель, отвечал ему Эка, я искал свой дух повсюду и не мог найти его. — Вот я и успокоил твой дух, объявил Бодхидхарма.

Симона

На этом месте Герхард снова сделал долгую паузу, явно предлагая присутствующим оценить красоту ответа, силу высказывания. Руку, закричал он вдруг, ошелолив всех старушек, даже адептов, руку, отрезанную, будущий второй патриарх мог бросить к ногам первого, а вот дух (Geist), или сознание (Bewußtsein), не мог. Почему не мог? Потому что дух не есть вещь, сознание не есть вещь. Дух есть событие, сознание есть событие. Сознание есть, а сознющего нет. Звучит странно, не правда ли? — с издевательской улыбкой спросил Герхард, останавливаясь перед очередной, сразу же затрепетавшей старушкой. Мы привыкли думать, что это мы видим, слышим, обоняем или осязаем то-то и то-то: вот эту бутылку, вот этот стакан. Нам кажется, что где-то внутри у нас — может быть, в голове у нас — сидит наше сознание, наш дух, наше *я*, со снисхождением к нашей глупости говорил Герхард. Но там внутри никакого *я* нет, никакого *я* вообще нет — это главная наша иллюзия, за которую упорно мы держимся, которую должны мы отбросить, как Эка свою руку, как Бодхидхарма веки с ресницами... Здесь он хотел бы процитировать одного великого мыслителя, лучше мыслительницу, которую он любит, может быть, сильнее всех других мыслителей XX века — Симону Вейль, вот кого, которая еще потому так близка ему, Герхарду (скромно опуская глаза говорил Герхард), что сочетала удивительную глубину и бескомпромиссность религиозно-мистической мысли с социальной ангажированностью и заботой о страждущих. Мы не обладаем ничем в этом мире, пишет Симона Вейль, поскольку случай может все отнять у нас, кроме способности сказать: *я*. Вот это-то и нужно отдать Богу, то есть разрушить. Не существует никакого другого свободного действия, которое было бы нам разрешено, кроме разрушения нашего *я*... То же самое он повторил по-фран-

цузски, извлеки из глубин своего френча и кителя заранее заготовленную бумажку, наслаждаясь и предлагая старушкам насладиться красотой прононса... Конечно, логически это замечательное высказывание Симоны (он так и сказал: Симоны, словно пил с ней кофе... когда-то в Марселе) ничего общего не имеет с буддистским учением об иллюзорности я. Будда и все его последователи говорят о том, что никакого я вообще нет, Симона, в иудео-христианской традиции, говорит, что им надо пожертвовать. Если им надо пожертвовать, значит, оно есть. Оно есть, но им надо пожертвовать, надо от него отказаться. В буддизме от я нельзя отказаться, потому что его и нет, можно — и должно — лишь избавиться от иллюзии, что оно есть. Но глубинный, но — тут Герхард снова с великолепной скромностью улыбнулся — экзистенциальный смысл обоих высказываний если не совсем совпадает, то сходствует. И здесь, и там идет речь о преодолении нашей самости, нашего эгоизма, нашего обособленного существования. От этой обособленности, от этой иллюзорной самости все наши беды, все наше несчастье, наше непобедимое страдание, наша непреодолимая неудовлетворенность (наша дукха, если воспользоваться буддистским понятием). Принеси мне свой дух, и я его успокою, говорит Бодхидхарма Эке, Первый патриарх будущему Второму патриарху. — Я искал свой дух повсюду, но не смог найти его. — Вот я и успокоил твой дух... Мы успокаиваемся, когда понимаем, что внутри у нас нет никакого я, никакого «духа», никакой «личности», что волноваться, страдать и мучиться просто некому, объявил Герхард. Страдание иллюзорно, потому что нет субъекта страдания. Вы скажете, что в таком случае и радость иллюзорна, и счастье иллюзорно, и спокойствие иллюзорно. И вы будете правы, объявил Герхард. Все это иллюзорно до тех пор, куда страдает — или радуется, мучается — или лику-

Алексей Макушинский

ет наше маленькое иллюзорное я. Но когда мы освобождаемся от иллюзии, постигаем нашу истинную природу, проходим сквозь бездверную дверь и минуем заставу без ворот, тогда... тогда, провозгласил Герхард, вновь принимаясь резко и быстро ходить перед стульями, поднимаясь на подиум и снова с него спускаясь, тогда мы испытываем радость, не сравнимую с обыкновенной, маленькой, эгоистической радостью, испытываем счастье, ни в чем не похожее на наше счастье, ничтожное и земное, тогда мы сливаемся с Ритмом Вселенной, с Божественной Энергией, говорил Герхард, глубоким голосом выделяя заглавные буквы. Божественная Энергия, Вселенская Пра-Сила (Ur-Kraft) нас пронизывает насквозь, и все становится нам подвластно.

Гейдеггерианские штудии

Итак, внутри у нас никакого я нет. Кто же смотрит на этот стакан? на эту бутылку? Вновь, помнится, сделал Герхард долгую паузу, как будто раздумывая, подвергать ли старушек новому испытанию или, может быть, пожалеть; в конце концов, видно решившись, не пожалев, пустился разглагольствовать о Гейдеггере, без всякой ген-наадиевой сахарности, но совершенно по-ген-наадиевски, по-гейдеггериански разбивая ошалевшие слова на удивленные слоги, сшибая их друг с другом, протыкая дефисами (при-сутствие, тут-бытие...), и все, я помню, сворачивая на какое-то цветущее дерево, о котором говорит поздний Гейдеггер в одной из своих работ (а Гейдеггер, как, может быть, известно старушкам, бывает ранний и поздний; в особенности у позднего, торжественно объявил Герхард, мы находим множество поразительных переключек с дзенской мыслью и опытом). Что, собственно, происходит, когда мы видим цветущее дерево? — спрашивает нас великий мыслитель, как и он, Герхард, в свою оче-

редь хотел бы спросить собравшихся. Мы видим дерево — это значит, мы представляем себе дерево? Не значит ли это скорее: мы представляем себя — дереву? Или, может быть, дерево нам себя пред-ставляет, с явным удовольствием говорил Герхард, отрывая приставку от корня. Дерево и мы пред-ставлены друг другу. Дерево стоит на лугу, и мы тоже стоим на лугу перед деревом. В этом пред-ставлении — нас дереву и дерева нам — речь вовсе не идет о каких-то пред-ставлениях у нас в голове. Все это вообще происходит не у нас в голове, как думает наука, но это происходит вот здесь, на лугу, торжественно объявил Герхард, вытягивая вперед руку, как если бы перед ним был и вправду какой-то (горный, шварцвальдский) луг, а не старушки с адептами. Вот здесь, на этом лугу, на этой земле, этой почве, где мы живем и умираем, провозгласил Герхард очень торжественно, духовным взором всматриваясь через головы слушателей и слушательниц в этот луг, эту землю, так пристально, что даже некоторые старушки, некоторые адепты начали оборачиваться, в надежде, похоже, увидеть там, за красными стульями, эту землю и этот луг. Чтобы осознать это, говорит Гейдеггер, говорил гейдеггерообразный Герхард, мы должны — прыгнуть, прыгнуть из мира наших абстрактных, научных и философских пред-ставлений на ту почву, на которой мы уже и всегда стоим. Это парадокс, но это так. И вот это-то и есть дзен, объявил Герхард, именно это, более нечего. Дзен есть прыжок из мира абстракций, мира иллюзий, видимостей, кажимостей и фантазмов в то-что-есть-на-самом-деле, в наше настоящее, наше здесь-и-сейчас. Мы всегда — уже здесь, уже сейчас, всегда уже — в настоящем, на земле, где мы живем, где мы умираем. И здесь, на земле, когда мы смотрим на что-нибудь — дерево на лугу или, вот, на этот стакан, на эту бутылку, — мы, еще раз, их вовсе не пред-ставляем себе, но они сами нам

Алексей Макушинский

себя пред-ставляют, как и мы себя — им. Первичны не мы и не стакан с бутылкой, не дерево на лугу, но первичен акт видения, событие смотрения. Нам кажется, что мы — одно, а дерево — другое, что мы — это «субъект», презрительно скривившись произнес Герхард, а дерево, скажем, «объект». Мы разломали мир на две половинки, и теперь нам уже их не склеить. И конечно, мы несчастны в этом дуалистическом, разломанном надвое мире; мы чувствуем себя в изгнании, чувствуем себя на чужбине... А ведь ничего нет прекраснее, чем принести свое я в жертву, отказаться от самости, с вдруг засиявшими глазами говорил Герхард. Потому что — поверьте! — когда преодолеваем мы иллюзию своей отдельности, своей самости, когда приносим свое я в жертву, когда уже не мы живем, но живет в нас Христос, по слову апостола, или живет в нас Будда, или Вечная Пустота, или Великое Ничто, или как бы ни назвали мы это, тогда случается с нами самое лучшее и возвышенное, что вообще может с нами случиться, тогда сливаемся мы с Океаном Жизни, с Божественным Ритмом, переходим из относительного мира, из мира страдания и раздвоенности, в Абсолютный Мир Всеединства, торжественно и все более торжественно говорил Герхард, глубоким голосом, выделяя заглавные буквы. А никакого другого мира и нет, почти закричал он, пугая уже окончательно оробевших старушек. Этот относительный, раздвоенный мир — такая же иллюзия, как наша отдельность и наша самость. Освободитесь от одной иллюзии — освободитесь и от другой. Есть только подлинный, абсолютный мир, все изначально хорошо, любая собака обладает природой Будды. Отказаться от своего я значит увидеть эту Природу Будды, обрести свое Подлинное Лицо, перейти из мира относительного в мир абсолютный. А в этом Абсолютном Мире, провозгласил Герхард (с видом фокусника, извлекающего, наконец, из кармана

долгожданную курицу), — в этом Абсолютном и Подлинном Мире такие мелочи, как наличие или отсутствие, например, бороды (говорил он, вновь поглаживая пальцами, указательным и большим, то место над верхней губою, где у него были, если были они, теперь им сбритые гейдеггериянские усики) уже никакого значения не имеют. В относительном мире, вот этом нашем повседневном мире, провозгласил Герхард, широким движением руки охватывая слушательниц и слушателей, у человека или есть борода или у него нет бороды, есть усики или же нет, скажем, усиков. В этом относительном мире люди бывают молодые и старые, здоровые и больные, толстые, тонкие, высокие, низенькие, волосатые, лысые, голубоглазые. Но в абсолютном мире, в мире сущности, в мире Всеединства все эти различия отпадают, в мире Всеединства у западного варвара нет и не может быть никакой бороды, нет и не может быть никаких особенных, случайных признаков, его подлинное лицо совпадает с моим лицом, или твоим лицом (тут показал он на просиявшего Клауса, верного своего адепта, беззаветного ученика), или вот с вашим (обращаясь к очередной, хотя и очень уставшей, но явно польщенной старушке), или вот с вашим (обращаясь к старушке следующей, уставшей и польщенной не менее), или вот... мою мрачную морду он, помнится, пропустил.

Очень приятно, вы арестованы

Я узнал о Бобовом аресте от Тины, с которой встретились мы для очередной фотографической прогулки, очередного рассказа о ревности, любви и несчастье. Ни прогулки, ни рассказа не было, когда она сообщила мне эту новость. Я так потрясен был, что захотел поговорить, немедленно, с Виктором. Виктор был еще в банке; прикатил на велосипеде, в костюме с прищепкою на правой штанине брюк, в белой

Алексей Макушинский

рубашке и черном узеньком галстуке, с закрепленным на багажнике кожаным рыжим портфелем. Мы с Тиной ждали его все в том же Грюнебургском парке (и это был последний раз, кажется, когда я их видел вдвоем). Они обнялись очень быстро, очень обыденно; в голову не могло прийти мне, что через пару месяцев суждено им расстаться. Виктор прислонил свой пижонский, банкирский, из легчайшего алюминия и, наверное, с полсотней скоростей, переключавшихся и на руле, и на раме, велосипед к черной решетке у черного дерева, закрепив его сперва цепью, затем большой, тоже черной, металлическою скобою — в-в-воруют в-в-велосипеды, объявил он с такой горечью, как будто теперь, после того что случилось, ничего хорошего уже не ждал от этого мира, вот и велосипеды воруют, все плохо; вновь по Грюнебургскому парку пошли мы вверх, к телебашне, мимо корейского павильона с его изогнутой крышей, его красными завитками, мимо греческой церкви в красно-белых полосах, возле которой на сей раз не черный мальчик катался на доске с колесиками, а взрослый белый пухлявый парень (мальчик выросший или невыросший...) с компьютерчиком в руках (обеими руками он держал его) пускал летать над крестами и куполами, в пугающей близости к ним, большой, черный и фантастический, насекомообразный, с растопыренными мерзкими лапками, громко, на всю округу не жужжавший, но металлически скрежетавший аппарат, уже ничего общего не имевший ни с воздушным змеем, ни с игрушечным самолетиком. О, это дрон! — объявила, извлекая из сумки камеру, довольная Тина; она нас догонит. Никак не могли мы уйти от этого металлического насекомого звука; Виктор, покуда мы от него уходили, по Грюнебургскому парку вверх, все дергал, я помню, свой портфель (из той породы портфелей, у которых есть и ручка, и ляпка, так что можно их и в руке носить,

и на плечо вешать), все дергал и дергал этот рыжий, пижонский, из явно дорогой кожи портфель, висевший у него на плече, то есть за ручку поднимал его и сразу же отпускал, так что пораженный портфель вытягивался на своей ляжке, вниз оттягивая Викторovo плечо, бился в бок ему и вновь подвергаем был испытанью, не выскочат ли, к примеру, лялочные медные застёжки из медных же полукружий, к которым они крепились. Застёжки не выскакивали; Виктор, сам того не замечая, продолжал свое дерганье. Отобьете бок себе... Боба, он рассказал мне, арестовали рано утром, прямо в дзен-до, в присутствии всей сангхи, в отсутствие Барбары, чуть ли не в первый раз за долгие годы не явившейся на дза-дзен; арестовали очень вежливо; два вежливых полицейских вошли, поздоровались, оглядели все сборище сумасшедших; спросили, кто здесь Боб; сказали: очень приятно, вы арестованы. Виктор не смеялся, даже не улыбался, когда мне это рассказывал; мне же было от улыбки нелегко удержаться, так живо я себе представил всю сцену. К вечеру они все уже знали от Ясуко; никого, кроме Ясуко и адвоката, к Бобу не допускают. Ясуко говорит, что Боб прекрасно держится, много *сидит*, и читает, и пишет, но Ясуко ведь не поймешь, Ясуко все улыбается, японцы и японки всегда улыбаются, что бы ни происходило с ними, это у них манера такая. Сам Виктор не улыбался по-прежнему; поднимал и отпускал свой портфель, бившийся ему в бок; и глаза, я помню, странно скашивал в сторону, влево и вниз, словно видел там что-то, чего не видел, о чем даже не подозревал до сих пор... Зато их всех вызывали в полицию по какому-то он не знает кем составленному списку, который он видел у следователя; следователь сперва долго его расспрашивал о буддизме вообще, о дзене в частности, очень всему удивлялся, потом, без всякого перехода, пожелал узнать, что Виктор делал в такой-то день в такое-то вре-

Алексей Макушинский

мя, в четверг в четыре часа, и есть ли свидетели, наконец, спросил, что он думает о Бобе и Барбаре. А что он думает? что тут вообще можно думать? — говорил мне Виктор, продолжая дергать и трясти свой портфель. Дело ведь вообще не в этом... А в чем же? Дело вообще не в Барбаре, дело в Герхарде. В Герхарде и во всех остальных. У Барбары терпение лопнуло, что же тут непонятного? Ну в самом деле, годы идут, Боб все такой же, так же к ней внимателен, так же к ней равнодушен, дзен, говорил Виктор, скашивая глаза, оказался совсем не тем, что ей, наверно, поначалу мерещилось, райский сад обернулся пустыней, чудные парадоксы сменились тяжким трудом, а результатов нет, а Боб на каждом докусане все звонит в свой колокольчик, отсылая ее обратно решать все тот же, до зубной боли надоевший коан, а причаститься истине другим путем, окольным или, наоборот, прямым путем, не выходит, и понятно уже, что не выйдет, то, что сперва казалось любовью, понемногу превращается в ненависть, в жажду мести... история безнадежно банальная. Боба скоро выпустят, он в этом не сомневается, да и Барбара, чтоб ей пусто было, начала уже, по словам Ясуко, путаться в показаниях: то в четверг ее Боб насильовал, то, вдруг выясняется, во вторник валил на диван... Все это можно было предвидеть, но вот того, как поведет себя сангха, как поведет себя Герхард, этого, говорил потрясенный Виктор, нет, вот этого не ожидал он. Герхард, конечно, подонок, говорил Виктор, отпуская портфель, отстраняя рукою возможные возражения, подонок, подонок, и совершенно никакого значения не имеет, что он, Виктор, говорил мне две недели назад, вот в этом же парке, вот на этом же мостике, он меня обманывал и себя хотел обмануть, убедить себя в том, в чем убедить он себя не может, а все-таки он не ожидал ничего подобного, нет, и он думает, что Боб — а он все время думает, конечно, о Бобе, —

что и Боб там, в своей камере, страдает из-за этого больше, чем из-за самой дуры Барбары, чтоб пусто ей было, потому что и Боб, он уверен, в самом страшном сне и кошмаре не мог вообразить себе, что они так поведут себя, этот Герхард, эта его жена, халда, стерва, Элизабет, и вообще вся их свора. Да как же они себя повели? А так, говорил потрясенный Виктор, что Герхард и Элизабет, его жена, стерва и халда, с которыми Барбара до сих пор была на ножах, вдруг с ней сблизилась, вдруг встали на ее сторону, сразу же, тотчас же, как если бы они только ждали этого сигнала и случая, как если бы в них переключились какие-то кнопки и рычажки, принялись во всем обвинять Боба, и не только встали на сторону Барбары, но приютили ее у себя, просто-напросто забрали ее к себе жить, на свою виллу в Бад Фильбеле, чтобы, как они утверждают, оградить ее от — кого? От незримых врагов? Или от тех, кто еще может на нее повлиять, в том смысле, например, чтобы она изменила свои показания, забрала свое заявление, то есть, получается, от него, Виктора? от Ирены? от Вольфганга? А Ирена и вправду попыталась поговорить с ней, но наткнулась на Герхарда, которому по этому случаю и по ее же словам высказала, наконец, все, что о нем думает, все, что в ней скопилось и накипело.

Юницы и прохиндеи

Опять оказались мы в бетонном парке, зажатом между автострадой и брутальным плоским послевоенным зданием Федерального банка; поставив истерзаннный им портфель на все ту же скамейку возле квадратного желто-зеленого пруда, где мы недели две назад с ним сидели, Виктор, с никогда прежде не виданным мною на его сухом лице выражением брезгливости, извлек оттуда — из портфеля, не из пруда — сложенный вчетверо лист вчерашней газеты, «Франкфуртского обозре-

Алексей Макушинский

ния», Frankfurter Rundschau, с обведенной разгневанными росчерками красного фломастера статьей под неприятным заголовком «Новый скандал в буддистском сообществе»; куда я читал ее, отошел, помнится, по еще зеленому травянистому скату к выложенной небольшими камнями кромке болотной воды, наблюдая, похоже, за утками, селезнями, каковые — и утки, и селезни — идеально-ровными, как я вдруг заметил, кругами плавали по воде, этим идеальным кружением стремясь то ли разрушить, то ли, наоборот, оттенить бетонную квадратность доставшегося им в удел водоема, иногда окунаясь в воду, переворачиваясь — кувырк — гузкой кверху, медля под водой, продолжая кружение. Статья была подписана незнакомым мне женским именем и начиналась долгим, подробным и возмущенным рассказом о тех знаменитых скандалах, сексуальных, не только сексуальных, которые случались в буддистских сангхах в Америке и в Европе, со времени их в Европе и в Америке появления, распространения. Все было помянуто должным образом, писала явно посвященная в дзенские истории, сплетни, склоки и слухи особа, ничего не пропущено. Настроив читателя на нужную ей волну, авторесса переходила к недавним событиям у нас здесь, во Франкфурте. Опять у нас здесь сексуальный скандал в буддистском сообществе; только что был — вот опять. А только что действительно был; некий, объяснил мне от пруда к скамейке возвратившийся Виктор, вьетнамец, выдававший себя за дзен-буддистского мастера — термин сам по себе бессмысленный, — основавший на востоке Франкфурта пагоду в непонятно какой традиции, и дзенской, и тхеравадской, и тибетской, и вообще-какой-вам-угодно (там заодно занимались иглоукалыванием, и традиционной медициной, что бы сие ни значило, и чуть ли не психотерапией, что бы и сие в данном случае ни означало; Боб отказывался иметь

с ними дело, а вот Герхард как раз к ним заживал — ну еще бы, родственные души всегда друг друга находят), — вот этот-то вьетнамец, объяснил мне Виктор, уличен был во всех надлежащих прегрешеньях, в любви к люксу и «Лексусу», главное — в любви к молодым мальчикам, которых сперва он совращал, потом подвергал своей *терапии*. Дза-дзен у этих ребяток, похоже, плавно переходил в свальный грех. В такие подробности журналистка не углублялась — ей важен был, по ее собственному признанию, *контекст*. В подобном *контексте* Бобова вина, хотя и не до конца доказанная (это она признавала), выглядит весьма вероятной, почти несомненной. Разобравшись таким простым способом с Бобовой (почти несомненной) виною, негодующая журналистка обращалась, чтобы до конца статьи уже не расставаться с ними, к чувствам несчастной жертвы, простой польской девушки, студентки, посвятившей свою молодую жизнь искусствоведению и буддизму, наивной, невинной, теперь страдающей, испуганной и обманутой, разочарованной в самых лучших ожиданиях, самых светлых надеждах юницы, нагло и подло использованной очередным прохиндеем, ловцом женских душ, привлекающим благородных искательниц истины в свои сексуально-сектантские сети. (В тот день еще не появилось, но появилось вскорости письмо протеста против этой статьи, подписанное Вольфгангом от имени *всех верных учеников* Боба Р. Неверные не успокоились, на письмо протеста ответив своим собственным возмущенным письмом, напечатав затем в другой газете, за другой подписью, другую статью, еще более злобную. И, уж конечно, началось в Интернете, еще долго потом не стихало бурное, безобразное перемывание всех Бобовых косточек, всех прожилок и сухожилий, на бесчисленных буддистских сайтах и форумах, в каковом перемывании *сам* Герхард не участвовал, предоставляя своим

Алексей Макушинский

клаусам пускать по миру новые небылицы: Боб-де и прежде не отличался воздержанностью, и пять лет назад видели его пьяным, и дорогие сигары он курит, вот ведь какой развратник, и еще другая девушка, не полька на этот раз, а испанка, от его домогательств сбежала, по слухам, в Индию лет десять назад, и так он запугал ее, бедную, что даже через десять лет не отвечает она на письма, не подтверждает скандальные слухи, хотя теперь-то уж, после Бобова разоблачения, бояться ей нечего; мне, в конце концов, надоело следить за всем этим.)

Слабак и толстуха

Нет, не могу понять я, говорил Виктор, снова, как две недели назад, сидевший рядом со мною, на том же месте, глядевший себе под ноги, на песок и булыжник, нет, никак не могу понять я, зачем ему это нужно? Он хотел свою сангху, он и так мог бы ее получить, неужели Боб стал бы ему препятствовать? Боб позволял ему делать, что ему вздумается. Зачем нужно было топить Боба? Вот этого он, Виктор, никак не может понять. Мечь, злость и зависть? И как может быть, что прошедший по дзенскому пути — не до конца, конца нет, — но все же ушедшей по этому пути далеко, достигший какого-никакого, но все-таки просветления, постигший какие-никакие, но все-таки истины, — как может быть, что этот человек встает со своей подушки, говорил Виктор, складывая ладони в медитативную мудру и вновь разнимая пальцы, встает — и оказывается обыкновенным п-п-подонком, б-б-банальнейшим интриганом? Неужели это действительно его удивляет? — спросил я. Да, ответил Виктор, поднимая голову, глядя на меня страдальческими своими глазами, это все еще удивляет, все еще очень сильно удивляет его. Хотя он давно должен был бы перестать удивляться, после всего,

что видел, всего, чему был свидетелем... Что же? чему же? А, ответил он, неохота рассказывать, и так уже тошно. А он многое, многое мог бы порассказать мне... Бедный Боб, говорил Виктор, вновь опуская голову, глядя в песок и на раздолбанный бульжник дорожки, как он там, наверное, сидит и спрашивает себя: за что? А я знаю, за что, воскликнул Виктор с такой решительной яростью, на какую я не думал, что он бывает способен. За подлинность, вот за что! Людей просто злит, и мучает, и не дает им покоя, когда среди них, в их среде появляется что-то вполне настоящее, кто-то вполне настоящий. И вправду ведь это невыносимо, ведь это издевательство над человечеством. Ведь они же втайне понимают, не могут не понимать, что никогда не будут такими, как Боб, сдохнут — а не будут такими, как Боб, ясно же, говорил Виктор, сжимая, и разжимая, и вновь сжимая в кулак свою широкую, сильную, с красными костяшками руку. Это страшная бессмысленная злоба, которую вызывает у посредственностей особенный человек. Вы несправедливы к людям, сказал я. Не все же предали Боба, его старые ученики с ним остались... Зильке, перебил меня Виктор, Зильке из старых учеников, верней учениц, оказалась предательницей. Зильке?! воскликнул я, быть не может. Я ее помню; тип вечной студентки... или вечной училки... вечной училки других вечных учительниц... Вечной феминистки, ответил Виктор. Ну как же, это ведь женщину обижают, а раз женщину обижают, то все, привет, разумные аргументы заканчиваются. Женщина всегда права, а мужчина всегда не прав, все мужчины — порочные скоты, просто по определению. И вообще нет дыма без огня, и, значит, что-то было, не могло не быть, мы так хотим, чтобы было... Но ведь это же Боб, это же не какой-то просто мужик, она же молилась на него, эта Зильке. А вот в том-то и дело, ответил Виктор, а он на нее

Алексей Макушинский

совсем не обращал внимания, то есть обращал на нее ровно столько внимания, сколько на всех нас, а Барбару... Барбару чуть-чуть выделял, Барбара очень уж была молодая, хорошенькая, и Барбара всегда была рядом с ним, у Барбары никакой другой жизни вообще не было, кроме Боба и дзена, и потому ее все ненавидели, все ревновали к ней Боба, но тут сразу выяснилось, что Зильке — точно такая же Барбара, что никакой нет разницы между ними и что она точно так же готова отомстить ему за свою неразделенную страсть, свою многолетнюю бесплодную экзальтацию. А еще вы недооцениваете, помолчав и подумав, проговорил Виктор каким-то страдальчески-издевательским тоном, еще вы, б-б-боюсь, н-н-недооцениваете всех приятностей и выгод п-п-принадлежности к улюлюкающему большинству. Нет, правда, когда все травят кого-то одного, все мальчишки в школе измываются над одним слабаком, все девчонки в классе третируют одну толстуху, это ж какое наслаждение, какое счастье быть со всеми, чувствовать их сплоченную силу. Всегда ведь есть за что травить и третировать, повод найти нетрудно. Толстуху-то за что? — спросил я, смеясь (по ту сторону своего же смеха вспоминая, на совсем краткую секундочку, трех подонков, игравших в *гестапо* в моей собственной школе, моем собственном детстве, змею и жабу соблазна, шевелившуюся на илистом дне души...). А толстуха списывать не дает, а слабак учительнице наябедничал. Виктор рассмеялся, наконец, в ответ мне; тут же опять помрачнел. Всегда есть за что или ты уверяешь себя, что есть за что, и уж если это тот человек, который так долго был для тебя святым, на которого ты чуть не молился, чуть не молилась, но который тебя не выделил, с тобою не переспал — а эта Зильке на коленях проползла бы через весь Франкфурт, чтобы переспать с Бобом, ясно же, говорил Виктор, сжимая и вновь разжимая широкий кулак, —

о, тогда это счастье — сбросить его с пьедестала, растоптать его в грязи и пыли, отомстить ему за все эти годы, за всю эту боль в ногах, эти несбывшиеся надежды, нерешенные коаны, неслучившееся сатори.

Дядька и голубь

Обнаружился дядька на соседней с нами скамейке; на полубульжной, полупесчаной дорожке перед скамейками обнаружился обтрепанный голубь. Дядька был худой, модный, очень длинноволосый, лет пятидесяти, еще не седой, в пиджонских замшевых сапожках с пряжками по бокам, в узких серых брючках и рыжей, тоже замшевой, курточке; сидел на солнышке, ел из фольги какую-то, по виду, колбасно-майонезную дрянь, а голубь шел к нему, вверх-вниз дрыгая шеей, дядька же отгонял его, вперед выбрасывая замшево-сапожную ногу, ударя подошвою по земле; после чего голубь, лениво переваливаясь, отходил — и тут же опять начинал идти в дядькину сторону, втягивая и вытягивая шею, не теряя надежды на вкуснейшие, видимо, крошки. Дядька вновь выбрасывал ногу; голубь вновь отходил. Какие-то у нас с вами, Виктор, орнитологические прогулки, сказал я; по ту сторону других слов и мыслей, вспомнил, не мог не вспомнить, на коротенькую секундочку, тот приминаемый пяткою задник тупоносой туфли, тех несчастных теток и глупо гулькавших голубей, за которыми наблюдал я когда-то, в начале жизни и дзена, на Покровском бульваре, по дороге из Библиотеки иностранной литературы к станции метро, которая в прекрасное, поганое время моей молодости называлась Кировской, теперь называется как-то иначе, не могу вспомнить как. Виктору было не до моих сентиментально-исторических реминисценций. Если одно неправда, то, может быть, и все другое неправда... Если человек, переживший какое-никакое са-

Алексей Макушинский

тори, сатори, между прочим, подтвержденное одним из самых знаменитых, самых уважаемых дзенских учителей, дзенских роси, какие сейчас есть в Японии, — если этот человек встанет со своей подушки и начинает делать банальные, мелкие, мерзкие подлости, то, может быть, и сатори не — подлинное, сатори — ложь и обман? А ваше сатори подлинное? спросил я. Я не знаю, ответил Виктор. Я знаю, что это было важнейшее событие моей жизни, самое прекрасное, что со мною могло случиться. Ну так чего же вы хотите, Виктор, сказал я, вы же понимаете, что люди всюду люди, не бывает все по правде, все по-настоящему. Здесь, на земле, не бывает такого. Всегда все испорчено, все отравлено человеческими страстями, неправдой и низостью. Или вы хотите, чтобы дзен был одной сплошной сияющей истиной? чтобы ни пятнышка не было на этом солнце? ни крапинки на белизне этих риз? Да вы же сами говорили когда-то: каков человек, таков и дзен; и мне ли напоминать вам, Виктор, знаменитые слова Джаоджоу, что искренний человек облагораживает даже неправильное учение, а человек неискренний и самое правильное учение делает ложным? Вы лучше меня их знаете, говорил я, сбоку глядя на молчащего Виктора. Вдруг он повернулся ко мне. Нет, все неправда, сказал он. Все неправда, все вообще *не так*, повторил он, на одну, опять же, совсем коротенькую секундочку показывая мне такое свое *подлинное лицо*, отчаянное лицо, какого еще никогда я не видел, тут же, впрочем, это лицо опуская, опуская и руки, так что повисли они между ног, сводя пальцы, застывая в этой странной позе, которой тоже никогда я не видывал, с опущенными руками, опущенной головой. Облака неслись по небу, смятые ветром, облитые солнцем; модный дядька в замшевой курточке, доев свою дрянь, сидел, вытянув узкие ноги в сапожках, в неподвижности, прямо буддистской, устремив пустой взгляд в пустоту, ни

малейшего внимания не обращая на несчастного голубя; голубь, к дядьке не приближаясь, еще бродил по раздолбанной булыжно-песчаной дорожке, глупо гулякая, втягивая и вытягивая головку, в абсурдной, непобедимой надежде на какие-нибудь, все-таки, крошки, которых у нас не было, или хоть на крохи нашего внимания, которые мы не уделили ему. Орнитологические у нас с вами прогулки... Тина позвонила мне на мобильный — Виктор, как обычно, был выключен — с сообщением, что Виктору не дозволилась, не стала искать нас, вернулась домой, готовит ужин и чтобы мы приходили к ней, когда наговоримся о дзене. Мы еще не наговорились; Виктору, я вдруг понял, еще кое-что нужно было сказать мне. Он многое мог бы еще сказать, объявил он, головы не поднимая по-прежнему. Да что же, в конце концов? Ах, он мог бы мне рассказать, например, хотя и без того ему тошно, какая царит неправда в японских монастырях, как там все съедено фальшью, все сведено к соблюдению ничтожных формальностей. Да никого там не интересует никакой дзен-буддизм, кроме дураков-гайдзинов, несчастных идеалистов. Дураки-гайдзины, идеалисты несчастные, принимают все это всерьез, все эти правила. Монахи-японцы просто отбывают свои три года, как в армии. Они должны отбыть три года, чтобы получить приход, унаследовать храм, где будут хоронить, венчать, получать пожертвования и никогда, ни при каких обстоятельствах не заниматься дза-дзеном. Мне один монах молоденький, рябенкий, так и сказал однажды. Вот выйду отсюда — и никогда, ни разу в жизни не сяду больше на эту подушку проклятую. А как им скучно, бедненьким. Они там, бедненькие, прямо подышают со скуки. Но и развлечения находят, конечно: по ночам перелезают через ограду, к блядям бегают в соседний квартал. А главное развлечение — измываться над новенькими. Пока ты новенький, ты — никто,

Алексей Макушинский

ты — ничтожество, об тебя можно ноги вытереть, растереть тебя, как плевков и окурков. Тебе так и говорят, ты — никто, ты — дерьмо. Да хуже, чем над слабаком и толстухой в советской школе, там измываются над новичками. Среди старших монахов настоящие есть садисты. Самое отвратительное, что они не просто так себе садисты, они во имя Будды садисты. Спросишь старшего монаха, зачем он уж так-то над бедным новеньким измывается, собственную блевотину заставляет есть его, на мороз его выгоняет ночью мыть внешнюю галерею, на голых коленках по ней ползать и голыми руками держать ледяную тряпку, зачем он его бьет, и больно бьет, прямо до крови, и спать не дает ему, и унижает его, где и как только может, — зачем он все это продельывает, он тебе точно ответит, что — из сострадания. Из великого буддистского сострадания, великой любви, великого милосердия. Это он, старший монах, помогает новичку победить свое эго, одолеть свою самость. А глянешь в глаза ему — и видишь, что он обыкновенный садист, этот старший монах, армейский *дед*, вот и все буддистское милосердие. А эго у него — во какое! Тут Виктор, помнится мне, разогнулся, развел руки над головой у себя, показывая что-то огромное, что-то безмерное; затем опять повесил их между ног, опустил голову. Я спросил его, помнит ли он Пита-голландца, с которым когда-то мы, Боже мой, как давно уже, виделись в Эйхштетте. Он помнит Пита-голландца; он тогда не то что не поверил, а как-то не придавал значения его словам. Тогда еще верил он, что это так нужно. А теперь не верит? Теперь нет, не верит. Не верит, потому что людям не верит. Потому что... потому что это просто попы, произнес он, вновь поднимая голову и с такой брезгливостью на лице, какой до этого дня не замечал я за ним; просто попы, более ничего. И буддистские эти роси, эти учителя и старцы, это просто начальники, церковные иерар-

хи, генералы от дзен-буддизма. Исключения? Исключения бывают. Китагава-роси совсем не генерал, совсем не начальник. И те старые монахи, которые живут в горном храме, — настоящие монахи, без дураков. Их мало, этих исключений, вот в чем дело. Исключения потому и суть исключения, что их мало, сказал я (полагая, что разговор наш окончен и что мы пойдем сейчас вниз по Грюнебургскому парку есть приготовленный Тиной ужин).

Хвост не пройдет сквозь решетку

Разговор наш еще не был окончен. Дядька исчез, исчез голубь, потерявший, видно, надежду на вожделенные крошки; даже утки перестали кружить по квадратному бетонному пруду, отправившись дремать в камыши; один лишь селезень, упрямый и маленький, с особенно яркими, сверкающе-синими перышками на сложенных крыльях, продолжал свое, уже отчаянное, кружение, вновь и вновь, быстро-быстро окунаясь в желто-зеленую воду, отражавшую свечение взволнованного, уже вечернего неба. Это все еще полбеда, говорил Виктор, это еще *земное*... А вот если я хочу знать, что у него, Виктора, там было с Герхардом. Я хотел знать, еще бы! А знаю ли я коан про быка и хвост? Я знал (наверное), но не помнил. Есть такой коан, говорил Виктор, не разгибаясь, но поднимая ко мне голову, сам обретая неожиданное сходство с быком, — такой коан про быка, или буйвола, пролезающего в окно, или пролезающего сквозь решетку окна, это не имеет значения: ни бык, ни буйвол ни в окно, ни сквозь решетку окна пролезть, понятно, не могут. Верблюд сквозь игольное ушко тоже ведь никогда не пролезет... А бык пролез, рога пролезли, башка пролезла, ноги пролезли передние, ноги пролезли задние, а хвост не пролезает и никогда не пролезет. Вопрос: почему? Почему же? А потому что хвост — это

Алексей Макушинский

эго, остатки эго, которые у всех у нас есть, после всех решенных коанов, после всех пережитых сатори... Решить коан, испытать сатори — это так же, в конце концов, невозможно, как быку пролезть сквозь решетку, верблюду — сквозь игольное ушко. А все-таки бык пролезает, пролезает башка с рогами, ноги и туловище. А последний, самый крошечный остаток нашей самости все-таки не пролезает, не пролезает и никогда не пролезет... Вот и все тут, говорил Виктор, наука нехитрая. Это и есть правильный ответ? — спросил я. Правильного ответа не существует или, что одно и то же, правильных ответов существует бесконечное множество, любой ответ может быть правильным, если учитель его принял... Правильный ответ здесь должен быть действием. Например, каким же? А, например, нужно хлопнуть по попке учителя и сказать ему: э, дорогой учитель, это у тебя не хвост ли торчит там? Я рассмеялся; Виктор, по крайней мере, усмехнулся, быстро, печально, раздвинув вширь губы, тут же снова собрав их, поднимая ко мне свои сумасшедшие, осмысленные, преувеличенные, страдающие глаза. Он ответ этот вычитал в книжке. Вот как? Да, с неожиданно хитрой, по-прежнему печальной усмешкой — усмешечкой — объявил Виктор; в книжке Янвиллема ван де Ветеринга — был, если я знаю, такой замечательный голландский автор, зарабатывавший на жизнь сочинением детективов, а на досуге писавший книжки о своих дзен-буддистских опытах (я знал; читал его в мое дзенское время). Вот в одной из книжек Ветеринга он этот ответ и вычитал, с неожиданно хитрой усмешкой — усмешечкой — сообщил мне Виктор; а сам Ветеринг этот ответ не придумал, но тоже вычитал в книжке. Потому что есть такая тайная книжка с ответами на коаны, даже несколько таких тайных книжек с ответами, среди этих тайных одна есть самая знаменитая... он понимает, что если знаменитая, то уже,

конечно, не тайная, а все же это так, ни один дзенский учитель никогда не посоветует вам читать ее, даже не упомянет о ней, наоборот, когда она впервые, лет сто назад, напечатана была в Токио, какие-то монахи скупали ее и сжигали, а он ее просто-напросто заказал через Amazon, ему прислали из Америки, в английском переводе семидесятых годов, есть такой перевод, и тоже ни один дзенский учитель ни в Америке, ни в Европе вам о нем не расскажет, а на самом деле они все ее знают, эту тайную книжку, а молодые монахи в Японии, из тех, которые спешат пройти свой курс поскорее, чтобы получить приход, унаследовать храм, — те просто учат ее наизусть, и ничего, никто их не уличает. Все съедено фальшью, снова сказал Виктор, все сводится к ничтожным формальностям. Это просто игра такая, все эти коаны. Для игры тоже потребно вдохновение; иначе ее не выиграешь... А ведь он мне совсем другое рассказывал, две недели назад. Да, он рассказывал, отвечал Виктор, еще ниже опуская руки и голову, и он не врал, между прочим. Все так и было, как он рассказывал мне, и этот первый решенный коан, это первое маленькое сатори — это было незабываемо, прекрасно, невероятно. Что-то прекрасное, страшное случается с тобою, все стены рушатся, перегородки падают, колесики и шестеренки жизни обнажаются перед твоим внутренним взором, мир является в неопишуемой, невыносимой, сияющей красоте. И потом, через пару лет, снова что-то случается, более значительное или менее глубокое, уж как повезет. А в промежутках ты играешь в такую игру. Да он их как орешки щелкает, эти коаны, — не разгибаясь, поднимая голову, вновь превращаясь в быка, и в быка разъяренного, проговорил Виктор, — как меленькие, мерзенькие такие орешки... Но он никогда не отвечал по книжке, заглянул в нее — и выкинул, честное слово, просто взял и выкинул в мусорный бак, чтобы она его не сбивала, и

Алексей Макушинский

Боб это, кстати, одобрил, когда он, Виктор, ему в этом признался, говорил мне Виктор, еще больше, очень зримо, грустнее при упоминании о Бобе — который, в свою очередь, рассказывал ему, Виктору (говорил мне еще более погрузневший Виктор), что настоящие учителя прекрасно умеют отличать ответы по книжке от собственных, правильных или, что чаще, неправильных ответов, даваемых учениками, и если видят, что ответ по книжке, обрушивают на бедного ученика такие дополнительные вопросы, с которыми никакая книжка ему справиться не поможет. Один-единственный раз он, Виктор, ответил так, как написано у Ветеринга и в той выброшенной тайной книжонке... и, нет, он до сих пор не знает, почему он сделал это. Это как-то само собой получилось. Китагаву-роси он не посмел тронуть, а вот Герхарда, да, ухватил за задницу, очень крепко. Тут снова усмехнулся он, печально-хитрой усмешечкой. Герхард переводил в тот день на докусане, и это было само по себе довольно странно, потому что вообще-то он, Виктор, да и другой гайдзин, чех, который жил тогда в монастыре в Киото, они оба обходились без перевода, то есть как-то с грехом пополам, но объяснялись с Китагавой на его, Китагавы, фантастическом, его собственного изобретения английском; все-таки роси попросил Герхарда переводить на докусане в тот день: то ли хотел быть вполне уверен, что чех и Виктор правильно понимают его, то ли надоело ему вспоминать и выдумывать английские выражения. А Герхард не хотел переводить, злился, что должен переводить, сидел весь важный, надутый, с наклеенной кривою улыбкой. А может быть, и даже скорее всего, как он, Виктор, только потом догадался, здесь дело было не в нем, и не в чехе, и не в английских выражениях, которые учителю надоело выдумывать, а это был тайный экзамен, который Китагава-роси устраивал Герхарду; с Китагавой ведь никогда не поймешь, что он себе

думает и что замышляет, а если так, то тем более Герхард злился, он-то ведь, подонок, считает, что давно уже сдал все экзамены. А тот, кто считает, что сдал все экзамены, тот на них на всех провалился. Замечание, сказал я, истинно дзенское... Дзенское, не дзенское, а только он крепко ухватил говнюка, за жопу ухватил говнюка, возразил Виктор, поднимая, наконец, голову и с наслаждением, показалось мне, выговаривая словечки, которых никогда прежде не слышал я от него, — крепко, больно, всей пятерней за жопу ухватил говнюка, повторил Виктор, демонстрируя мне свою широкую ладонь, свои короткие, с красноватыми костяшками, пальцы, — так ухватил его, что там, наверно, синяки у него остались. Это у тебя не хвост ли под штанами, приятель? И нет, он не знает, почему он так сделал, это был ответ из книжки, но это само собой у него получилось, как дзенские ответы и должны получаться. Китагава был доволен, он видел. Китагава, отсмеявшись своим стариковским смехом, пустился задавать ему всякие дурацкие дополнительные вопросы, продолжая эту коанскую игру (Коан-Spiel, почему-то Виктор добавил вдруг по-немецки), которую, как ему, Виктору, кажется, он сам, Китагава, давно уже не принимает всерьез. Какие вопросы? Ну всякие, один глупее другого. Когда этот бык родился, и чем питается, и какого он роста, и где сейчас, и что делает, и если войдет в эту комнату, то что с ними со всеми случится? А на другой день, поманив к себе Виктора, продолжал рассказывать Виктор, вдруг хлопнул себя детской ладошкой по попке и шепнул ему с иронической доверительностью, как будто по секрету от всех гайдзинов, всех не-гайдзинов: здесь, знаешь, тоже маленький хвостик, here is also (opcoy) a little tail (э литтр тэйр), вот так-то. А Герхард был в ярости, в еще большей ярости, чем был до того, и не потому лишь, что он, Виктор, очень больно, всей пятерней за жопу ухватил говнюка, а

Алексей Макушинский

потому что ведь и правда у него вот такое эго, вот такой хвост. Тут Виктор, помнится мне, окончательно разогнувшись, вновь развел руки во всю ширь, им доступную, над головой у себя, вновь показал ими что-то безмерное, что-то огромное. Вот такой хвост у него, вот такой, как у черта. Как у датской собаки, подумал я... У нас у всех хвосты, и какие! не остатки нашего эго, а вот такие, говорил Виктор, по-прежнему показывая руками огромное что-то, в-вот такие *эгищи*, такие вот *я*, такие *я-я-ящеры*. Он сразу встал, сказав это; на обратном пути портфель уже не подбрасывал, но смотрел так же в сторону, влево и вниз, скашивая глаза, словно видел там что-то, о чем до сих пор не догадывался, или, наоборот, ожидал увидеть, как из сумерек Грюнебургского парка поползут и выползут на дорожку все эти эгищи, ящеры, ящерицы, хвосты, змеи, гады и чудища.

У тюремных ворот

Когда Боба выпустили, дней через десять после этого разговора нашего с Виктором, Виктор, и Вольфганг, и Ирена, и, конечно, Ясуко с детьми, и еще кто-то из ранних, верных учеников, учениц встречали его у тюремных ворот, прямо как в бандитском фильме, рассказывал мне впоследствии Виктор, рассказывала Ирена; стояли растерянной, счастливой и все-таки несчастной толпою на противоположной от ворот — от бесконечной, с колючей проволокой поверху, тюремной стены, от видимых за стеною решетчатых окон, — стороне улицы, стороне солнечной, не по-осеннему, но вновь и прямо по-летнему жаркой, без единого деревца, с полыхавшими окнами вытянутых, одинаковых, послевоенных, мерзко-желтых, барачно-казарменных, тюремно-арестантских домов; почему-то очень долго стояли так, переминаясь с ноги на ногу, переговариваясь о чепухе, с пересохшими ртами,

изнывая от жажды. Воды взять было негде, тень найти было негде. Бобов сын, уже взрослый, шестнадцатилетний, красивый той тонкою, ломкою красотой, какая бывает у подростков, пропадает впоследствии, стоял стиснув зубы, расставив ноги, неподвижно, все понимая, в самурайском, всех поразившем спокойствии; безумная, за эти годы нисколько не подросшая девочка, уже, значит, взрослая карлица, тоже, удивительным образом, дожидалась совершенно спокойно, как будто и она понимала, если не все, то самое важное; просто стояла, со своим японским, кукольным, красненьким, лакированным, ничего не выражавшим личиком, своими эзотропическими глазенками, расставив, по примеру братца, крошечные корявые ножки и даже внимания не обратив на улыбку и жест Ирены, звавшей ее присесть на поребрик палисадника перед одним из арестантских домов, поребрик, на который Ирена, со свойственной ей непосредственностью, в конце концов уселась сама, выставив вверх джинсовые коленки, на который, подумав, уселся затем и великолепный Вольфганг в своих на века отглаженных миллионерских штанах, миллионерских ботинках. Внезапно появился Боб на их стороне улицы, прямо из ниоткуда, из воздуха, в сопровождении усатого адвоката. Боб, из ниоткуда среди них появившись, присел на корточки, обнял безумицу и долго, тихо говорил ей что-то на никому, кроме них двоих, непонятном, журчавшем, плескавшем, булькавшем и гулькавшем языке; девочкино лицо, когда высвободилось из Бобовых объятий, было сморщенным, скомканным; затем опять разгладилось, опять стало личиком лакированной куклы; но ручонкой все ловила она Бобову руку. Боб же обнимал мальчика и тоже говорил ему что-то, похлопывая рукой по плечу; потом обнял Ясуко; и когда кончил обнимать Ясуко, выяснилось, что лицо его залито — то есть буквально: зали-

Алексей Макушинский

то, рассказывала Ирена, — она, Ирена, ничего подобного в жизни своей не видала — светлыми, на солнце сверкающими слезами, прямо и буквально: потоками, реками сверкающей влаги, изливавшимися из его по-прежнему и вопреки всем невзгодам восхитительных, на солнце и от природы сияющих глаз. И это было очень страшно, говорила Ирена; это так было страшно, что они все отвернулись, все притворились, что не видят этих безудержных слез на Бобовом, за месяц тюрьмы окончательно постаревшем, измученном, просветленном и обожаемом ими лице; и потому сами, когда дошла до них очередь, обнимались с ним, на него не глядя, глядя в сторону, наскоро и как-то постыдно.

Закрома злобы, недостаток любви

Они поехали сразу в дзен-до, по Бобову настоянию. Самое главное и первым делом — дза-дзен. Первым делом и прежде всего остального — просидеть в дза-дзене двадцать пять и еще двадцать пять минут, собираясь с мыслями, приходя в себя, возвращаясь друг к другу. Тишина была очень сильной, и сосредоточенность очень большой. Ты садишься в дза-дзен, и мир приходит в порядок. Все непорядки, все неполадки начинаются после, когда ты встаешь из дза-дзена. Все сидели, уже повернувшись лицом друг к другу, разминая затекшие ступни, занемевшие пальцы ног, ожидая, что теперь будет. Боб начал, наконец, говорить. Он говорил глухо, медленно, поначалу так тихо, что было трудно понять его, через силу, иногда только взглядывая на них на всех своими почти не сияющими глазами, вновь отводя их, сверкая белизною совершенно седых волос; говорил сперва о своей благодарности, потом о своей вине; о том, как бесконечно благодарен

он всем тем, кто поддержал его в эти труднейшие часы и дни его жизни, кто передавал ему письма, еду и книги, кто выступал в его защиту в печати, он, Боб, все время чувствовал эту поддержку, без нее было бы ему еще тяжелее; что же касается вины, то да, он виноват, он сам и прежде всех других виноват, он не понял, в каком состоянии находится эта... несчастная девушка, не оценил опасности, не настоял на том, чтобы она обратилась, например, к психотерапевту, хотя много раз думал об этом. Думать-то он думал, говорил Боб мучительно тихим голосом, а потребовать от нее этого, стукнуть кулаком по столу не сумел, не решился, всегда ему казалось неправильным вмешиваться без спросу в чужую жизнь, а ведь на самом деле спрос был, эта... Барбара, несчастная девушка, только того и хотела, чтобы вмешался он в ее жизнь, и он должен был вмешаться, должен был ее отправить к психотерапевту или запретить ей вообще приходить в дзен-до, пока она не излечится от своих... навязчивых представлений, безумных идей, он, Боб, оказался не на высоте той ответственности, которую несет за своих учеников дзен-буддистский наставник, да, наверное, и любой наставник в любой конфессии, в любой религиозной общине. Он не достоин быть их учителем, вообще учителем кого бы то ни было... Тут он замолчал с таким видом, рассказывала Ирена, как будто ожидал, что они сейчас встанут и разойдутся. Он многое понял за этот месяц, снова заговорил Боб. Он больше узнал за этот месяц о человеческой природе, чем за всю свою предыдущую жизнь, больше узнал о тех запасах зла, которые таятся в людях, во всех людях, в нем самом тоже. Есть русская поговорка, он слышал, произнес Боб, улыбнувшись глазами Виктору, включив и вновь выключив сияние этих глаз, — русская поговорка, слышал он, что не стоит-де чувствовать себя застрахованным от тюрьмы и от бедности, — поговор-

Алексей Макушинский

ка, полагает он, очень верная. Бедности он не знал, тюрьмы тоже. Вот, выходит, узнал. Он понимает это, говорил Боб, как часть существенного человеческого опыта, экзистенциального опыта, за который он даже, пожалуй, благодарен судьбе. Он теперь не хотел бы, чтобы этого опыта не было. Однажды бывшее нельзя сделать небывшим; все бывшее правильно. Если бы он еще умел молиться, вдруг и как будто для себя самого неожиданно произнес Боб, он бы молился за... Барбару, и за всех, кто повел себя так предвзято, так по отношению к нему, Бобу, несправедливо. Молиться он не умеет; но он думал и думает обо всех этих людях; думает о них, когда сидит в дза-дзене; а он очень много сидел в дза-дзене, когда сидел в камере; тут каламбур сам собою напрашивается, произнес Боб с той своей смущенной улыбкой, которую все они так хорошо за ним знали, которую в тот день впервые увидели. Улыбка эта, на секунду, прояснила их души; тут же исчезла. Самое трудное было научиться думать о них без злобы. Запасы злобы велики в человеке, закрома злобы безмерны. Все-таки, пусть постыдно нескоро, научился он без злобы думать о них обо всех, думать о них как о заблудших, мятущихся и несчастных людях, пленниках иллюзии, данниках своего эгоизма, думать о них с любовью, с прощением в сердце. Он постыдно долго боролся, говорил Боб — и в эту минуту они все боялись взглянуть на него; он победил себя. Он ни в чем не винит их. Себя одного он винит; он виноват перед всеми; всем ученикам своим, говорил Боб в затаившей дыхание тишине дзен-до (где только дымок курительной палочки колебался над алтарем, да неспешно, неслышно склонялись головки бамбука за оранжерейными окнами) недодал он... чего-то... ну, в конце концов, просто любви. Он недолюбил их — вот в чем его вина. Если бы он любил их всех в ту пол-

ную меру, в какую должен был их любить, все бы уладилось. Он поймет всякого, кто больше не захочет с ним иметь дела, но сам он хотел бы начать все сначала, исправить свои ошибки. Он сегодня напишет Герхарду, напишет Клаусу, Зильке, напишет всем остальным с предложением перевернуть эту печальнейшую страницу их общей истории, начать заново, с чистого, пустого листа. Вот его решение; он очень надеется, что старейшие члены сангхи, вопреки всему, с ним останутся и что они поймут, что они поддержат его.

Революция

Тут, по словам Ирены, в дзен-до произошла революция. Вольфганг первый, сложив ладони в традиционном гассё и сделав поклон не просто глубокий, но глубочайший, едва не упав лицом вниз со своей подушки, своего мата, объявил, что, во-первых, понимая его, не принимает Бобова покаяния — Боб, как человек совестливый, склонен во всем винить себя самого, — но он, Вольфганг, не принимает, и никто из присутствующих, он уверен, не принимает такой точки зрения, потому что здесь не Боб виноват — Бобу как раз винить себя не в чем, а за всем этим стоит злая воля людей, в самом деле заблудших, мятущихся и несчастных, но оттого не менее злых и не менее виновных в своей злобе и зависти, так что и речи, он полагает, не может быть о том, чтобы его, то есть Боба, старейшие, вернейшие ученики его, Боба, покинули. Только в одном случае они покинут его, во всяком случае, покинет его он, Вольфганг, тут же и немедленно, как это ни горько, как ни мучительно, но он покинет Боба — это главное и второе, что он хочет, должен сказать, — а именно в том и только в том случае, если сюда вернется Герхард со

Алексей Макушинский

всей своей бандой. Он так и выразился, рассказывала Ирена. Если Герхард со всей своей бандой сюда вернется, если снова здесь будут сидеть (он обвел рукою дзен-до) все те, кто интриговал, кто травил Боба, кто писал письма во Frankfurter Rundschau и давал возмущенные интервью, кто готов был упечь Боба за решетку, понимая, на самом деле, что никакую истеричку Барбару Боб и пальцем не тронул, — если это вот так все будет, то это будет без него, Вольфганга, каким бы ударом и поражением на старости лет это для него ни было... Потом заговорила Ирена, потом заговорил Виктор, заговорили Анна и Джон, заговорил Роберт, обычно молчавший. Все они, один за другим, складывая руки в гассё и кланяясь до полу, говорили, что уйдут и не вернутся, если вернется Герхард, уйдут навсегда, если здесь обнаружится кто-нибудь из Герхардовой свиты и банды. Молчание, наступившее после этого, рассказывала Ирена, можно было потрогать пальцами, нарезать ломтиками, как сыр, как лимон. Было видно только, как глубоко, тяжело дышит Боб. Сандаловый дымок колебался перед статуей Будды, головки бамбука клонились за оранжерейными окнами. Она подумала, рассказывала Ирена, что еще немного, еще полминуты, и они в самом деле начнут вставать один за другим, уходить один за другим; что Боб отпускает их этим своим молчанием, расстаётся с ними этим молчанием — не они с ним, он с ними; она уже видела их всех уходящими, еще в воображении, уже очень отчетливо; тут Боб возвратился к ним из самадхи. Это решение нелегко ему дается, но пусть будет так. Он склоняется перед мнением большинства. Он так же глубоко, чуть не до полу, поклонился, сложив ладони в гассё; и все они опять поклонились — и все было кончено; стрела вылетела; мгновение миновало. Вкуснее чая, чем заваренный в тот вечер Джоном, она, Ирена, ни разу в жизни, ей кажется, не пила.

Грустное очарование вещей

Боб чуть ли не на другой день улетел с детьми и Ясуко в Японию, так что ежеутренний, ежевечерний дза-дзен проходил сперва без него, в тесном кругу испытанных учеников; после Бобова возвращения круг не расширился; Боб начал проводить сессины на севере, в католическом монастыре недалеко от Ганновера (в Нижней, следовательно, Саксонии; Нижнюю, соответственно, Баварию уступив Герхарду и его разросшейся банде); сессины, по Викторovým рассказам, там тоже проходили теперь в тесном кругу, чудно, тихо, напоминая те первые, в которых десять лет назад участвовал он. Вообще это чудно было, рассказывала Ирена, эта сангха после очистительной бури, без Барбары и без Герхарда, без ревности, зависти, предательства, подлости, без Зильке и Клауса, это новое начало, перевернутая страница, чистый, теперь уже действительно чистый лист, на котором выводили они свои иероглифы. Это и вправду похоже было на ту сангху, какой она была десять, пятнадцать лет назад, рассказывала Ирена; было чувство большой близости, единения и понимания; почти, сказала бы она, всепрощения; все словно выздоравливали после тяжелой болезни; очень осторожно, очень бережно обходились друг с другом; и странно, смешно было, когда появлялись в дзен-до новые люди, случайные люди, приходившие попробовать, что такое дза-дзен, иногда приходившие снова, иногда исчезающие — такие люди всегда есть в буддистских группах, — странно, чуть-чуть смешно было думать, что они ничего не знают, эти новые люди, не подозревают и не догадываются о том, что происходило здесь так недавно, какие бури здесь проносились, какие драмы разыгрывались... А сами они были теперь крепко спаянной группкою ветеранов, все знающих друг о друге, пуд соли съевших вместе, огонь и воду прошедших; и потому, рассказывала

Алексей Макушинский

Ирена, эта новая, обновленная, опять, как прежде, маленькая и скромная сангха похожа — и совсем не похожа была на ту давнюю, первую, настоящую, пятнадцать и двадцать лет назад, ту сангху девяностых годов, которую она, Ирена, так хорошо помнит, которую так любила. Тогда действительно было начало; теперь было начало новое; повторение начала; попытка повторения начала. О, конечно, начало всегда; каждую минуту и каждый день начинаем мы заново; умираем и рождаемся вновь, кто же спорит; сознание дзен — сознание начинающего, как *другой Судзуки* открыл человечеству; а все же была какая-то... всеми ощущаемая неправда в этом новом начале, повторенном начале. Это ведь были те же люди, только теперь на двадцать или пятнадцать лет старше, тот же Вольфганг, тот же Джон, та же Анна и тот же Роберт, и она сама та же, Ирена. Вольфгангу, когда она познакомилась с ним, было лет шестьдесят, теперь было восемьдесят... Неправда, может быть, слишком сильно сказано. Но печаль была точно, тоже всеми ощущаемая очень отчетливо. И ничего невозможно было поделать с этой печалью, с этим чувством утекания времени, невозвратимости, неповторимости прошлого. Есть понятие в традиционной японской эстетике, которое на европейские языки переводят обычно как «грустное очарование вещей» (*моно-но-аварэ*, сказал я...); вот это и было такое «грустное очарование вещей»; даже дзен-до было грустное, как если бы они втайне с ним расставались. Грустно подымался сандаловый дымок перед статуей Будды, грустно качался бамбук за оранжерейными окнами, даже камни на деревянной приступочке, которые так всегда любила она, смотрели невесело. Печален прежде всего был Боб. Не то чтобы он не оправился от пережитого, этого она утверждать не станет, но радости уже не было в нем. Двадцать лет назад, когда дзен-до действительно начиналось, это был средних

лет, молодежавый, полный сил человек, на пороге нового этапа жизни, скажем третьего, европейского, после Америки, после Японии. Ему было все тогда интересно, почти с умилением говорила Ирена, он обустроивался в этой бывшей оранжерее, в этом франкфуртском дворике, как мальчишки обустроиваются в лесной, волшебной, втайне от взрослых построенной ими *хибарке*. Теперь он *задумывался*. Он как будто не совсем был *здесь*, не в полной мере *присутствовал* — это Боб-то, у которого все они, все эти годы, учились *присутствовать*, учились быть *здесь-и-сейчас*. Она смотрела на него во время докуса, дза-дзена; вдруг, с ужасом, видела перед собой усталого старика... И не менее печальным был Виктор, она, пожалуй, таким печальным никогда прежде и не знала Виктора, рассказывала впоследствии (когда Виктор уже исчез и Боб погиб) удивленная моим удивлением Ирена; неужели я не заметил? А я не заметил, потому что и не встречался с Виктором после наших с ним орнитологических прогулок, всю осень, всю зиму; вновь встретился с ним только весной, после его возвращения из Японии, из России...

Печаль

Эту Викторovu печаль последнего перед Японией времени упоминала потом и Тина, хотя и она, Тина, как выяснилось, все реже виделась с Виктором, чему причиной, рассказывала она, была еще не болезнь ее мамы (ее мама только зимою попала в больницу — с первым, маленьким, предварительным инсультом; большой, настоящий только пробовал ее на зубок...) и даже не ее, Тинина, бессмысленная и невозможная ревность, ее саму не меньше мучившая, чем Виктора, вспыхивавшая в ней уже механически, наподобие тех газовых конфорок, что загораются от поворота ручки, без спички, — как если бы она входила теперь в правила их взаимной игры, эта

Алексей Макушинский

ревность, так что Тина, встречаясь с Виктором, уже и не могла не подпускать яду и не колоть его шпильками своей подозрительности, не поминать поганых блондинок, не намекать на его похождения в тайландских и сибирских гостиницах; все же настоящей причиной их отдаления, говорила Тина впоследствии, была, как ей кажется, Викторова печаль. Печаль отстраняет нас от жизни, отдаляет нас от людей, в чем и состоит, может быть, одно из важнейших отличий ее от тоски. Тех приступов тоски, которые бывали у Виктора в юности, Тина уже не застала; застала лишь печаль его зрелых лет. В тоске мы пытаемся откуда-то вырваться, к чему-то или к кому-то пробиться; в печали мы замыкаемся. Он был замкнут в своей печали и к ней, Тине, пробиться уже не пытался. Он словно отпустил ее на волю. Он перестал за нее бороться, да, может быть, и она за него. Прошло их время, вышел их срок, и ей, и ему надоело, похоже, сожалеть о тех чудных отношениях, которые были когда-то, которых не было больше. Они оба поверили, наконец, что уже и не будет этих отношений, что никогда уже они не вернуться. Он звонил ей все реже, и она ему все реже звонила. Ни он, ни она и не пытались теперь рассказать друг другу о том, что занимало их мысли, их чувства; о случайном и постороннем говорить не хотели.

Темные балки под скошенным потолком

Но все-таки странно было, что и о беде своей, о первом, еще предварительном, но уже инсульте своей мамы, страшно ее напугавшем, она, Тина, ни словом не обмолвилась Виктору, хотя встретилась с ним на третий или четвертый день после того, как случился этот инсульт; он же случился ночью или под утро, в том доме возле построенной Фрицем Леонгар-

дом франкфуртской телебашни, где Эдельтрауд после смерти мужа жила в одиночестве, где дочери, впрочем, навещали ее почти каждый день и куда Тина приехала накануне вечером, по телефонному звонку почувствовав что-то неладное. Неладного ничего вроде бы не было, только высокое давление, не сбивавшееся никакими таблетками, сильная жажда, удивленно-беспомощный взгляд. В бывшей супружеской кровати отнюдь не маленькая Эдельтрауд лежала седеньким несчастным комочком. Тина говорила себе, что паниковать не надо; а между тем (потом ей казалось) все, что можно было сделать неправильно, она неправильно и сделала, по незнанию, растерянности, привычке слушаться старших. Ей самой уже было почти пятьдесят, но мама оставалась мамой, и если мама на предложение вызвать неотложку, складывая губы в свой всегдашний, детский, иронический бантик, но очень решительным, почти железным, до сих пор ей не свойственным голосом отвечает: нет, ни за что, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, от неотложек одно беспокойство, то послушная дочка, дуреха, никакой неотложки и не вызывает. Надо было в глаза ей смотреть, а не слова ее слушать, говорила себе (казня себя) впоследствии Тина. Она, однако, послушалась; принесла из подвала, где они хранились в ящиках, пару длинных, холодивших руки бутылок минеральной воды; поставила их на тумбочку возле кровати; еще раз домашним маленьким аппаратиком померила Эдельтрауд давление (не падавшее); поцеловала ее в полыхающий лоб; встряхнула ей одеяло и пошла спать наверх, в свою бывшую детскую комнату, где ночевать она ненавидела, куда даже заходить не любила и где все, почти все, оставалось таким же, каким она сама все это оставила, тридцать — или сколько? — лет назад, уезжая учиться в Дюссельдорф, с твердым намерением никогда, ни при каких обстоятельствах в этот дом, в эту ком-

Алексей Макушинский

нату не возвращаться — те же темные балки под скошенным потолком, то же узкое, выходявшее в садик и на соседские красные крыши окошко, те же, даже, фотографии на стене, которые она делала перед самым отъездом отсюда, готовясь к поступлению в Дюссельдорфскую академию, — фотографии, постыдно подражательные, в классическом стиле Бернда и Гиллы Бехеров, стиле, от которого она впоследствии ушла (убежала, улетела на самолете) так далеко, как только смогла уйти (улететь, убежать), испытав, в Америке особенно, в Америке Латинской тем более, совсем другие влияния, вообще все переосмыслив, сочинив себе другую традицию; о чем и думала она (как мне рассказывала впоследствии) в ту роковую ночь, лежа на своей когдатошной, девически узкой, жесткой, страшно неудобной кровати, не в силах заснуть, включая прикроватный торшер (надоевший ей уже в детстве), в желтом и скучном свете этого торшера рассматривая те фотографии (которые тогда, проявив и распечатав их в отцовской лаборатории при магазине, с незабытой гордостью, в темных рамках, развешивала она по стене), три фотографии таинственного, огромного, ржавого промышленного предмета, похожего на сталелитейный котел, непонятно как попавший во франкфуртский дворик, фронтально снятые в ровном и бессолнечном свете. Посреди этих мыслей о фотографии вдруг она встала, на цыпочках по скрипучей лестнице сошла вниз и обнаружила Эдельтрауд лежащей на полу, на пороге спальни комнаты, навзничь. Эдельтрауд ее заметила, все тем же решительным и даже почти железным голосом объявила, что оступилась, сейчас встанет, сейчас встать не может, пускай Тина ей подложит подушку под голову, а сама идет спать, все в порядке. Тина и вправду ей подложила подушку под голову, вновь заметила на себе ее удивленно-испуганный взгляд, пошла наверх, как будто пытаюсь додумать ка-

кую-то важную, вдруг пришедшую ей в голову мысль, то ли о фотографии, то ли о чем-то еще, тяжело села на девическую кровать, в уже окончательно бессмысленном оцепенении, в полусне, пытавшемся притвориться не-сном, просидела так минут десять — и вдруг вскочив, опомнившись, набрала, наконец, номер «Скорой помощи», почти сразу же и приехавшей.

В хирургическом свете

Затем закружилось все очень быстро, как в таких случаях оно и бывает; жизнь поменяла свои декорации; вновь возникла столь памятная Тине больница; университетская больница на берегу Майна; другой этаж и другое отделение этой больницы; но те же бесконечные коридоры с деревянными перилами вдоль стен и дверьми, открытыми в чужое страдание; те же запахи (кала, камфары, хлора, мочи); одна медсестра, милая и в кудряшках; другая, халда, лаявшая в ответ, что бы Тина ее ни спросила; молодой доктор, старавшийся поскорее убежать от пациентов и родственников; старый главный врач в профессионально вальяжных сединах, светило инсультного дела, с которым у Тины все никак не получалось поговорить... На третий или четвертый день она встретила, действительно, с Виктором; по пути из университетского госпиталя заехала к нему в Заксенгаузен, в эту по-прежнему пустую и крошечную квартиру, где жил он, где Тина не оставалась ночевать никогда; предложила ему поехать к ней, вместе приготовить, к примеру, ужин — почему бы и нет? — хотя ужин готовить было не из чего, не до покупок ей было; сперва, значит, заехать в магазин за продуктами; и не сказав сразу, с порога, что случилось с Эдельтрауд, уже ни по дороге в супермаркет, ни в самом супермаркете не находила в себе сил заговорить с ним об этом, думала, что

Алексей Макушинский

заговорит у себя дома, хотя ведь он же не мог не видеть, в каком она состоянии. Он видел, но ни о чем не спрашивал у нее. Он был по-прежнему окутан той печалью, сквозь которую она, Тина, уже и не пыталась пробиться. Они оказались в огромном, не знакомом ни ей, ни ему (потому что в стороне от их привычных маршрутов, на узкой, но оживленной и шумной улице расположенном) магазине, возле которого не сразу отыскалась парковка, так что уже подумывали они поехать еще куда-нибудь, потом все-таки дождались, чтобы освободил им место недовольный «Лендровер»; в магазине долго, нудно искали то одно, то другое, то рис, то рыбу, то еще что-нибудь, упорно прятавшееся от них в таком углу и на такой полке, где никак, по логике вещей, не могло оно находиться: оливковое масло — сразу за стиральными порошками, а масло сливочное — в бессмысленной близости от замороженных пицц, к которым ни он, ни она не притрагивались; в хирургическом свете, заливавшем их с потолка, под гомон и ропот очереди, возмущенной слишком медленным приближением к кассе, под металлический голос крашенной блондинки-кассирши, через громкоговоритель звывшей товарку на помощь, Виктор, сверкая своим синим черепом и сумасшедшими, преувеличенными глазами, сообщил ей, что уезжает надолго в Японию, оттуда заедет в Петербург и что там (в Японии, не в Петербурге) что-то должно, наконец, решиться (она не спросила его, что именно; потом жалела, что не спросила).

Bavaria Blu

Снаружи тоже свет был особенный, невозможный; пульсирующий синий свет «Скорой помощи», уткнувшейся носом, но так и не въехавшей в соседнюю с супермаркетом подворотню. Уже стемнело, хотя еще не поздно было. Во всем во-

круг отражался этот свет, эти синие вспышки: в окнах домов, в стеклах машин; в красных, белых и синих дорожных знаках; в синей же стрелке посреди улицы, показывавшей водителям, с какой стороны объезжать тротуарный островок, вкрапленный в булыжную скользь мостовой; в мутных плотных стеклах автобусной остановки; в целлофане выставленных возле супермаркета на улицу фруктов; и просто во фруктах, без всякого целлофана, в каждом отдельном яблоке и каждой отдельной груше на лотках у турецкой лавки на другой стороне этой улицы, вновь и вновь, бессмысленно и бесконечно окунаемой в мертвую синь. Ей хотелось заплакать и прижаться к нему. Вместо этого, открывая багажник машины, произнесла она свой обычный текст про хорошеньких молодых японок, с которыми, небось, он собирается встретиться в Киото. Уж наверное, у него завелась там любовница... Она правда не собиралась этого говорить; почти не думала, что говорит. Он опустил в багажник пакеты и с совершенно неожиданным для Тины, необыкновенным для него раздражением, в ярости, в синих вспышках и очень сильно заикаясь, как давно уже, пожалуй, не заикался, объявил, что да, он уезжает, уезж-ж-жает в Японию, и если ей хочется д-д-думать, что к люб-б-бовнице, то пускай она думает, ему наплевать, у него просто сил уже нет терпеть эту подозрительность, эту ревность, эту б-б-бабью б-б-банальность. Лучше расстаться. Ах вот как: лучше расстаться? Да он давно уже хочет расстаться, объявила Тина, по привычке переходя в наступление, в то же время и втайне спрашивая себя, что она делает, зачем она это делает. Ее ревность здесь ни при чем, а это ему стыдно, он стыдится ее, стыдится показаться с ней на людях, даже, вот, в супермаркете, ну конечно, она же толстая, старая, а вокруг молодые потаскушки, бляндики, кассирши и не-кассирши. Она что же, не видит, как он на них смотрит, как вот сейчас

Алексей Макушинский

смотрел на кассиршу, с каким стыдом, с каким вожделением... Виктор не дал договорить ей. Es ist aus, все кончено между нами. Не просто ярость была в его голосе, но какая-то уже брезгливая ярость. Внутренне тут же притихнув, подняв голову от багажника, где пыталась так разместить пакеты посреди штативов и отражателей, чтобы ничего из этих пакетов не вывалилось, ни сметана, ни йогурт, чтобы и отражатели не пострадали, Тина, уже не думая ни о сметане, ни о штативах, но еще не успев и как будто забыв разогнуться, виноватыми глазами, снизу вверх, посмотрела на Виктора, уже, впрочем, отвернувшегося, тоже, показалось ей, пораженного своей собственной яростью; и, глядя на него снизу вверх, из глубины багажника, впервые за последние дни увидела что-то смешное и трогательное: за Викторовой отвернутой и бритой головой, остававшейся на переднем, увидела на заднем плане, в окне ближайшего дома, отделенного от улицы палисадником, пожилую женщину, востроносую и сухую, которая, из этого окна высунувшись, с буддистской невозмутимостью, не обращая никакого внимания на вспышки и грохот улицы, трясла большого бежевого плюшевого мишку, жилистую рукою схватив его за вытянувшуюся заднюю лапу. Бедный мишка обиженной мордой вниз содрогался над улицей; был затем перевернут; потрясен еще и еще раз; убедившись, наконец, что ничего из несчастного зверя не вытрясти, востроносая старушенция уже почти любовно принялась обмахивать его разно- и яркоцветной волокнистой цилиндрической щеткой, из тех щеток, какими смахивают пыль по труднодоступным углам, самым высоким полкам; черные пуговицы мишкиных глазенок смотрели на мир, на Тину, Виктора с безмолвным, безропотным удивлением. Посмотри и сам, Виктор, на этот страшный мир неотложек; эти синие вспышки отчаяния; но посмотри и на этого мишку, эту тетеньку, эту щетку; посмотри, улыбнись; удивись, со мной и с мышкой,

абсурдной, нестерпимой красоте всего этого... Но Виктор смотрел на разложенные по супермаркетовому лотку целлофановые пачки целлулоидных фруктов: бледных, безрадостных абрикосов, несчастных нектаринов, печальных песчаных персиков, по-прежнему пульсировавших синим и мертвым светом; глядя на них, уже без всякой ярости, но с привычной печалью в голосе повторил, что уезжает в Японию на целых полтора месяца, оттуда на неделю в Россию, что, наверное, там, в Японии, что-то решится, должно решиться, не может, в конце концов, не решиться, и что когда он оттуда приедет, тогда... тогда будет видно, а куда им лучше, наверное, не встречаться, просто подумать... об их прошлом и будущем, потому что он, Виктор, терпеть эту ревность не в состоянии, да она и сама видит, что все не так, и так, как есть, не может более продолжаться. Тина, в ту же секунду, поняла, что она уж и не сумеет сказать ему об инсульте Эдельтрауд, что это был бы теперь — шантаж. А скажи она ему (ни секунды не сомневалась она), он сразу был бы весь — сострадание, весь — желание помочь. Вместо этого она спросила, с косой и противной усмешкой, что же, он теперь и ужинать к ней не поедет? Тогда зачем они баварский сыр с плесенью покупали, она, Тина-то, терпеть не может его? И не только произнесла она эту кретинскую фразу, за которую, как тут же и поняла она, еще долго ей предстояло краснеть, скрежетать зубами и смотреть на себя в зеркало с отвращением, но принялась даже рыться, вновь склонившись к багажнику, в супермаркетовых пакетах, действительно извлекла оттуда полукруглую, в баварских бело-синих ромбиках пачку этого самого сыра с надписью — готическими буквами — Bavaria Blu и даже попыталась протянуть ее Виктору, не глядя на него и потому не заметив — краем глаза заметив, но не успев осознать, — как смягчился, и улыбнулся, и подобрел его взгляд, на мгновение; но и это мгновение прошло; и не взяв у нее

Алексей Макушинский

никакого баварского сыра с плесенью, Виктор, снова глядя на песчаные персики, пробормотал: вот так-то, *so ist es*; и в последний раз, уже искося, наскоро, стараясь не встречать ее глаз, скользнул по Тине своими, как всегда восхитительными глазами и уже, не оглядываясь, пошел вниз по улице, в болотной барбуировской куртке, сквозь субботнюю толпу и мимо других лотков, других лавок, опустив плечи, но все равно спортивной, легкой, сознающей себя походкой. Они не в первый раз ссорились, и не в первый раз уходил он в ярости от нее. Всегда он возвращался, вернется и на этот раз, попыталась она подумать. А на самом деле не сомневалась, что не вернется. Что-то было в его голосе и даже теперь в походке, говорившее ей, что на сей раз это всерьез, что это взаправду, нисколько не понарошку, что это не игрушки, не мишки, что это, может быть, навсегда... Мишки не было больше; окно закрылось; но все еще стояла, мигала «Скорая помощь», уткнувшаяся в подворотню, и синие мертвые отсветы все пробегали, пульсируя, по стеклам, и лицам, и дорожным знакам, и веткам, и кронам уходивших в ночное небо черных деревьев; Тина, завезя пакеты домой, распаковав и понюхав пресловутый сыр, с омерзеньем бросив его в помойное ведро под раковиной, но сохранив почему-то полукруглую упаковку с баварскими ромбиками, вышла, чтобы дома не оставаться и одной не готовить, на улицу, спустилась в город, прошла мимо Lifestyle-лавочки, где иногда обедал Виктор, где пару раз обедала она вместе с ним, свернула во *Freibgass*, *переулок жратвы и обжорства*, съела, на прогорклом масле, мясную дрянь, еще долго отзывавшуюся изжогой, тошнотой и отчаянием, и наутро вновь отправилась, уже как на работу, в больницу, где наконец нашедший для нее время самый главный врач, светило инсультного дела в профессионально вальяжных седилах, сообщил ей, что перспективы у ее матери,

с поправкой на возраст, совсем неплохие, речь не затронута, а левую руку и левую ногу можно будет потихоньку разработать, главное — не волноваться, не ставить себе невыполнимых задач и не пытаться выздороветь завтра. Нужны уход и покой, десять дней в больнице, затем реабилитация в санатории. Бывает хуже.

Не инсульт, а инсультик

Эдельтрауд, еще через пару дней, впервые попробовала без посторонней помощи встать — и это, по ее же словам, подтвержденным синевато-завитой старушкой, лежавшей у окна с глянцевым журналом в руках, удалось ей утром на удивление легко; когда же вечером решила продемонстрировать дочери вновь обретенную свободу движений — нет, нет, я сама, не надо меня поддерживать! — сразу, никем не поддержанная, грохнулась на пол, сильно и звонко ударившись об него затылком; Тина, попытавшись поднять ее, почувствовала какую-то уже нечеловеческую, неживую тяжесть этого распластанного возле койки, всей силою гравитации притянутого к земле тела; и с той обостренностью восприятий, какая даруется лишь непридуманным горем, внутренне сфотографировала, прежде чем побежать за сестрами и за помощью, навсегда запомнила разбросанные по полу лиловые ноги (с густыми подтеками, черными синяками, струеньем отдельных жилок), задравшуюся сорочку. Все же это был инсульт еще предварительный; не инсульт, а инсультик; репетиция окончательного удара. Эдельтрауд вскоре научилась вставать (рассказывала мне Тина впоследствии); ходила по бесконечному коридору, держась правой рукою за поручень или поддерживаемая специальной сестрой, вообще учившей ее вставать, ходить и садиться, поднимать руки и опускать их, даже кидать пупыристый твердый мячик, всегда, впрочем (она го-

Алексей Макушинский

ворила Тине) норотивший улететь не в ту сторону, по возможности прямо в окно; левую ногу волочила она, впрочем, по-прежнему и левую руку носила согнутой в локте, рядом с собою, как отдельный, ей самой (она говорила) противный предмет, с опущенной вниз чужой, беспомощной, подагрической кистью. Тем не менее она поправлялась, посмеивалась (едва лишь с Тиной оказывались они в коридоре) над другой старушкой (собственное ее выражение), завитой, как и она сама (хотя она-то еще в синий цвет не красилась; надо попробовать), обложенной глянцевыми журналами с последними, самыми горячими новостями из жизни принцесс и автогонщиков, князей и баскетболистов и вечно требовавшей, чтобы все у нее было, как у Эдельтрауд (мне утку принесли, так и ей утку подайте...), посмеивалась и над сестричками (медичками, кретиничками...), губы складывала всегдашним шкодливым школьным ироническим бантиком. Тем более потрясена была Тина, когда Эдельтрауд пожелала принять участие и в самом деле пришел к ней краснощекий больничный дьякон, долго с ней разговаривал, затем пришел крошечный, старенький священник, ее исповедовавший, вложивший гостю в ее бледные, еще не совсем послушные ей уста, потом опять стал ходить краснощекий диакон. Дьякон хороший, добрый (говорила Эдельтрауд), только чувства юмора нет у него; впрочем (сложивши губы в свой бантик, опять распустив их...), чувство юмора ему и не требуется. Вновь возникла тема фотографических альбомов, не тех военных, которые когда-то рассматривал я вместе с Винфридом, но альбомов из ее собственного детства, из детства Тинино, из детства Вероники; то один, то другой просила она принести ей в больницу, затем привезти ей в санаторий в Таунусе, куда вскоре ее отправили; Тина, заезжая за ними в свой родительский дом, впервые осознала, сколько их, этих альбо-

мов, какое невероятное, необозримое множество — что, конечно, в семье фотографа неудивительно, — и сколько вообще фотографий, в альбомы не собранных, негативов, так и не распечатанных, на чердаке, в подвале, повсюду. На чердаке, где она тоже с детства, казалось ей, не бывала, хотя он всего лишь стенкой отделен был от ее когдатошней комнаты, обнаружались предметы забытые, прямо из прошлого кидавшиеся навстречу: хулахуп, который она крутила девочкой, который не спас ее талию, алюминиевый обруч, такой же холодный на ощупь, каким когда-то бывал он (покуда кручение вокруг неспасенной талии не разогревало его); огромный торшер с желтым, мягким, матерчатым и бахромчатым абажуром, под которым, ей казалось, она все свое детство и просидела, читая что-нибудь (какую Астрид Линдгрэн? в стране каких чудес какую Алису?) или рассматривая, уже тогда, фотографии, рассматривая картинки (не комиксы; комиксы она ненавидела), и который оказался разъятым на части с обиженно и отдельно, в самом дальнем углу чердака, притаившейся головою и трехступенчатым туловищем, просто положенным на пол перед полкой с альбомами. Она и сама садилась на пол, вынимая старые пленки из огромных конвертов, поднося их к свету, не очень уверенно проникавшему на чердак сквозь узенькое слуховое окошко; спрашивая себя, почему так долго не видела ничего этого. Здесь были ее собственные первые снимки, те, давно потерянные, которые она делала в семидесятом году в Болгарии на свою первую камеру, Kodak Instamatic 1963 года, на том мифологическом курорте, названия которого она по-прежнему не могла ни вспомнить, ни выговорить, что-то золотое, что-то песчаное, и на этих снимках — да, вот он! — тот бесконечный, сожженный солнцем пирс, который, в сущности, только один ей и виделся все эти годы, так далеко уходивший в море, что бе-

Алексей Макушинский

рег, и белые здания на берегу, наверно гостиницы, снятые с этого пирса, и даже облака над гостиницами как будто заваливались за край горизонта, край жизни; и — да, вот они! — эти глиняные рыбаки, с ней дружившие, ее обнимавшие, их лица в керамических трещинах, их веселые, сияющие глаза. Их, наверное, никого уже нет на свете. А той девочки, которой была она, с Instamatic'ом в толстых ручонках — ее тоже нет больше на свете? На этом свете, падавшем из слухового окошка? Она шла, или так я это представляю себе, опять вниз, в ту громадную гостиную, где когда-то Винфрид рассказывал мне о лучших, вопреки всему и несмотря ни на что, годах своей жизни во Франции, о Гюнтере, своем добром товарище, и не менее добром товарище Ульрихе, о беззаветном братстве и большом приключении, которым была для него война, о свободе и дисциплине, и где Тина теперь обнаружила пять или шесть огромных альбомов, целиком посвященных ей самой, ее успехам, ее фотографиям. Они вырезали, как выяснилось, ее снимки, статьи с упоминаниями о ней из газет и журналов и так аккуратно подклеивали эти вырезки в очередной альбом, как она сама бы никогда не сумела; тем старым шрифтом, так называемым Sütterlin'ом, каким еще писало поколение ее родителей, отцовским, мелким и тщательным, или материнским, размашистым почерком сообщалось под почти каждой вырезкой, что вот это Тинины работы, сделанные в дюссельдорфской Академии художеств в первом семестре, во втором семестре, в третьем семестре, а вот ее первая публикация в мексиканской газете, первая публикация в «Шпигеле», отчет о выставке в меценатствующем франкфуртском банке, той самой (она сидела и думала), куда так неожиданно пришел Виктор, где, кажется, он в нее и влюбился, а вот и она сама, снятая случайным корреспондентом локального приложения к «Франкфуртер Альгемейне», какой она была на той

выставке, с распущенными по плечам волосами, с молодым счастливым лицом. Вдруг поняла она — и это было открытием для нее самой важнейшим и поразительным, — что совсем не так относились к ней и смотрели на нее всю жизнь ее папа и мама, как почему-то казалось ей, что они к ней относятся, хотя она, может быть, и не задумывалась об этом. Она не задумывалась, а почему-то казалось ей, как вдруг теперь она поняла, что ее папа и мама, при всей их любви к ней, должны были смотреть на нее с удивлением, с недоумением, как на не совсем удавшуюся дочку, слишком толстую, вообще какую-то странную, то заводившую роман с другой женщиной, страшно подумать, то с мальчишкой на пятнадцать лет себя младше, еще к тому же и русским, еще и каким-то бритоголовым сектантом, не создавшую семьи, не нарожавшую для них внуков; она как будто вкладывала в их глаза (она думала или я думаю теперь, что так она думала), в отцовские карие и в материнские синие, тот ужасный, непрощающий взгляд, которым сама на себя смотрела в свои худшие, несчастнейшие минуты, когда за что-нибудь себя ругала, себя ненавидела, когда в себе сомневалась и в своей жизни отчаивалась; и то, что она — почему? с какой стати? — вкладывала в их глаза этот взгляд, это, может быть (она теперь думала) ее величайшая несправедливость по отношению к родителям, ее грех перед ними. А потом начинала думать, что сейчас несправедлива к себе самой, как и вообще слишком часто бывает несправедлива к себе самой, и что если ей казалось, что так они на нее смотрят, то, значит, были для этого какие-то не признаваемые ею причины, да и вообще была какая-то тайна во всем: в ее детстве, в ее взрослой жизни, и вообще все не так, как мы полагаем и думаем, и самого главного, самого важного мы никогда, наверное, не узнаем; так думая, вспоминала свои встречи с Селестой, папиной

Алексей Макушинский

французской возлюбленной, за эти годы превратившейся в крепкую старуху, не выходящую из дома без палочки с резиновой присоской, но еще способной встретиться с Тиной в том же кафе на бульваре Сен-Жермен, когда Тина приезжала в Париж; потом говорила себе, что все это сейчас никакого значения не имеет, что уже не об этом, но о чем-то совсем ином идет речь, вообще не о ней самой, но о ее маме, и только о ее маме; и прихватив очередной альбом с фотографиями, ехала в тот курортный таунусский городишко, где Эдельтрауд приходила в себя в санатории и где Тина в каждый свой приезд встречала человека в коляске, не просто человека и не просто в коляске, но в коляске какой-то особенной, с великим множеством пультов и проводов, человека, который голосом управлял этой необыкновенной коляской, отдавая команды микрофону на железной палке, протянутой прямо к его устам; кроме уст и глаз, ничем, по-видимому, пошевелить он не мог. Мог слушать музыку и всегда являлся Тине в больших черных наушниках. В этих наушниках, в бейсбольной кепке с оранжевым козырьком, человек, которого возраст Тина определить не могла, от тридцати до пятидесяти, выезжал во двор санатория, на солнце, несильное, зимнее, подставляя этому солнцу свое тонкое, очень осмысленное, не казавшееся Тине несчастным, даже печальным, хотя и счастливым не казавшееся, конечно, лицо, тоже как будто оранжевое — то ли отсвет от козырька на него так ложился, то ли так загорело оно на этом несильном солнце; впрочем, рассказала Тине пожилая сестра милосердия, с которой она однажды разговорилась, этот, по выражению сестры, вернейший их пациент и летом, и в жару выезжал на самый солнцепек и в самое пекло и часами сидел так, слушая Моцарта, и отговорить его от этого никакой возможности не было.

Убегая от прошлого

Когда Эдельтрауд настолько оправилась, что можно было забрать ее домой, пришлось Тине переехать в свою детскую комнату (в которую мечтала она не возвращаться никогда и ни при каких обстоятельствах), потому что Эдельтрауд уже одна, сама, не справлялась со своей жизнью, уже не выходила на улицу без так называемого роллатора — четырехколесной колясочки, дающей упор не уверенным в себе старикам, — уже не могла помыться без Тининой помощи. На пару часов каждый день приезжала, впрочем, сестра милосердия из соседней католической службы по уходу за теми, кто в уходе нуждается; была Вероника, занятая детьми и фотолавкой, но тоже заезжавшая к матери; были старинные подруги, в свою очередь, впрочем, старевшие; и хотя Тина еще оставляла ее одну и даже могла уехать, если по фотографическим делам это требовалось, в Италию, в Англию, все-таки, если уезжать никуда не нужно было, ночевала в своей комнате на втором этаже, стараясь не обращать внимания на ту скребущую тоску, которую испытывала всякий раз, входя в эту бывшую детскую, ощущение безысходности, тщеты всех усилий, неподвластности ее жизни — ей же самой, как будто прошлое настигло ее, заманило в ловушку и за нею захлопнулось, над нею сомкнулось, как будто нагнало и накрыло ее что-то — она сама не знала, что именно, — от чего с самой ранней молодости она убегала. Мы все убегаем от своего детства, думала (наверное) Тина, тяжело сидя на узкой кровати, глядя в узкое, потому что тоже под крышей, окошко, в котором, над другими красными крышами, виднелась стрела построенной Фрицем Леонгардом франкфуртской телебашни на фоне розовых завитков и красных разводов распянутого вечернего неба. И если думала так, то сразу же и думала, должно быть, о Викторе, тоже ведь откуда-то и от чего-то убегавшем

Алексей Макушинский

всю свою жизнь, до чего-то, быть может, и добежавшем, какую-то истину и какой-то покой обретшем... или уже опять их утратившем? — спрашивала себя Тина, вспоминая Виктора в последнее время, его печаль последнего времени, их встречу, вернее их расставание, в синих, мертвых электрических отблесках. По ее расчетам он должен был вернуться, наконец, из Японии. Она ждала, что все-таки он позвонит; не дождавшись, в один из таких вечеров, тяжело сидя на узкой кровати, вертя в руках айфон, бессмысленно заходя в Интернет и снова выходя из него, набрала, наконец, Викторов номер, услышала его голос, рассказала об инсульте Эдельтрауд, о больнице, о санатории, о том, что теперь ухаживает за матерью, живет в своей детской комнате, смотрит в окно. Нет, помогать ей не надо, она отлично со всем справляется. А как он? Он был в Японии, был в Петербурге, ответил Виктор, все хорошо, все по-прежнему. Как он на самом деле, из этого ответа понять она не смогла. Помощь она отвергла, а просто так встретиться не предложила ему. Он тоже не предложил (а она бы согласилась, если бы предложил он). Голос у него в телефоне был по-прежнему грустный. Что бы (думала Тина) ни должно было там решиться, в Японии, ничего, наверное, не решилось.

Изменить свою жизнь

А он так надеялся, что решится. Он скорее не ждал большого прорыва, большого сатори, как (особенно в начале пути) ждал его едва ли не перед каждым сессингом, и если отчасти (какой-то частью души) все-таки ждал его, то просто потому что вообще и всегда его ждал, всегда, пусть втайне, надеялся, что снова случится с ним то огромное, ужасное, невероятное, ни на что не похожее, ни с чем не соизмеримое, что уже однажды случилось с ним в японских снегах

и горах; и вовсе не потому, опять же, надеялся, что так уж хотелось ему снова бегать по этим горам, проваливаться в овраги и пить ледяную воду прямо из ручья, склонившись над своим отражением, — скорее даже страшновато ему было при мысли о том, каких душевных сил вновь потребует от него, если все же случится, это крушение всех стен, падение всех перегородок, — а потому что нельзя ведь, вступив на путь просветления, не надеяться, пускай втайне, что это просветление произойдет, просветление не окончательное (окончательного не бывает), но, может быть, чуть более окончательное, чем просветление предыдущее, что еще ясней, еще ярче ему увидятся, на этот раз, шестеренки мира, пружины души. А в то же время он говорил себе (как и должен говорить себе дзен-буддист), что и это неважно, что надеяться не на что, незачем, ни к чему стремиться не надо и что его дзенские усилия тем-то и хороши, что не имеют ни цели, ни смысла, ничего не обещают, никуда не ведут... Во всяком случае, Виктор, улетаая в тот раз в Японию (или так я понял с его слов на майнской набережной, по возвращении его во Франкфурт; а я, в отличие от Тины, с ним сразу встретился по его возвращении — он сам позвонил мне, — и затем еще раз встретился, и затем еще один раз; из каких-то встреч в особенности последняя, под бомбежными тучами, забываема для меня...) — Виктор, улетаая в Японию, вовсе не чувствовал себя на пороге просветления, в соседстве с сатори, как это было (он рассказывал мне) перед его первым, и перед вторым кен-сё, случившимся через год после первого, на нижнебаварском хуторе (в тот единственный раз, когда Китагава-роси приезжал туда, чтобы провести сессин вместе с Бобом); скорее (так он рассказывал) чувствовал себя дальше от всякого сатори, чем еще год назад или два года назад, и если чего-то ждал, на что-то надеялся, так это на

Алексей Макушинский

то, что там, в горной глуши, в сиянии снегов и отстранении от мира, то ли он сумеет найти, то ли само придет к нему то решение, которое никак он не мог принять, исчезнет та нерешительность, от которой страдал он, ругал себя за которую... Что-то нужно было ему менять в своей жизни; после разрыва с Тиной он понимал это ясней, чем когда-нибудь; он только не знал, что менять, как менять. Печаль обволакивала его, как липкая пленка, не давая пробиться к решению. Вновь и вновь продумывал он имевшиеся у него возможности, перебирал варианты будущего, старался разглядеть хоть что-нибудь в туманных перспективах дорог (с ключьями влаги над смутным снегом, среди черных деревьев...), открывавшихся перед ним. Он даже (признавался он мне), в один, особенно грустный (воскресный и мутно-зимний) день перед самым отъездом (один из тех дней, когда утренние сумерки прямо переходят в вечерние), прежде чем отправиться бегать по набережной, записал на отдельных листах бумаги эти варианты будущего (Япония, монастырь, работа в Токио — или все оставить как есть; еще, наверное, что-то, о чем он мне не рассказывал...), развесил их, закрепив клейкой лентой, на голый, белой стене своей пустой комнаты, сел на подушку, стал смотреть на них — затем рассмеялся, сорвал их все к черту, скомкал и выкинул, пошел бегать по набережной, ничего не решил. Он мог переехать в Токио, но остаться работать в банке. Его карьера в Германии застопорилась (слишком часто он отлучался, слишком много времени отдавал дзену и хоспису), но японские банковские генералы благоволили к нему по-прежнему — и те двое, с которыми когда-то познакомился он во Франкфурте, из которых старший ушел на покой и на пенсию, младший, длинно- и седовласый, превратился в генералиссимуса, и какие-то еще генералы, завсегдатаи дзенско-мирянской группы, закрытой для простых смертных,

открытой для Виктора, которому помогли бы они с работой. А мог вообще все бросить, мог уйти в монастырь в Киото, мог надолго, если не навсегда, остаться в горной обители, куда теперь летел, прилетел, до которой с трудом добрался из соседнего с ней городишки; Китагава-роси предлагал ему и то, и другое. И почему, собственно, он не ушел в монастырь десять лет назад, когда так хотел этого? Зачем потратил столько времени на этот банк, эту франкфуртскую жизнь, эту, как представлялось ему теперь, заранее обреченную на провал любовную историю с Тинной, почему сразу не уехал в Японию, не стал монахом настоящим, заправским? Но хотел ли он этого? На самом деле и положила руку на сердце, хотел ли еще он этого после всего, что уже видел, с чем столкнулся в дзенских монастырях, во франкфуртской сангхе? Руку на сердце положила, он сам не знал, чего он хотел. Все опять казалось неправильным. И все, что он делал до сих пор, казалось неправильным, все прошлое казалось ошибкой. Он пытался, сопротивляясь, вызвать в себе то знакомое ему по сессинам, вообще по жизни, в какие-то лучшие годы почти не покидавшее его чувство *правильности*, которое (как он сам рассказывал мне) с особенной, повелительной, непререкаемой силой охватило его после первого и после второго сатори, — это чувство, что все *так* в своей *таковости*, и всегда было, и всегда будет *так*, что и не может быть как-то *иначе*, что все, и в настоящем, и в прошлом, и в будущем, понятно, просто, совершенно в своей простоте и понятности, и потому беспокоиться не о чем, ничего плохого по определению не может случиться... Он больше не находил в себе этого чувства; ужасаясь, вспоминал свою раннюю молодость, с ее приступами тоски, ее страхом один какой-нибудь приступ не пережить и не выдержать. Перемены в нашей жизни созревают медленно, назревают издалека. Мы боимся их, мы откладываем

Алексей Макушинский

решение на потом, на когда-нибудь. Все же рано или поздно подходим мы к той черте, за которой решение должно быть принято, как бы страшно нам ни было. Он надеялся, скажу еще раз, что это решение само придет к нему, в снегах и горах, придет к нему как важнейшие наши решения, он думал, и должны приходиться к нам, из тишины и молчания, из ниоткуда, из даосского не-деяния, буддистского небытия.

Человек Пути, лентяй и бездельник

Еще надеялся он на ежедневный докусан, обещанный ему Китагавой. Не просто надеялся он на докусан с Китагавой, но надеялся на близость к нему, силу его присутствия, силу его воздействия. Всегда счастлив был он, оставаясь с учителем наедине; незаслуженным подарком казались ему эти три, эти четыре недели, которые предстояло ему провести там, в горах, вдали от всех и вся, с Китагавой-роси, в свою очередь свободным от обычных своих обязанностей, а потому, надеялся Виктор, имеющим возможность, и время, и (надеялся Виктор) желание ответить на его, Викторovy, вопросы, разрешить, может быть, его, Викторovy, сомнения, вообще и просто поговорить с ним на той смеси очень плохого английского и совсем плохого японского, на которой они разговаривали. Но не за тем удалился Китагава-роси в горную глушь, чтобы беседовать с молодым, или уже не совсем молодым, гайдзином, учеником своего бывшего ученика, а затем, как выяснилось, чтобы, не отвлекаемый обычными своими обязанностями, монастырскими и мирскими делами, закончить очередную книгу, очередной — их множество — комментарий к одному из тоже знаменитых дзенских текстов, уже однажды мной упомянутому на правдивых этих страницах, — к

«Сёдока», или (как иногда переводят это заглавие) «Песне Пробуждения», сочиненной странствующим монахом по имени (в японском варианте) Ёка Дайси, тем самым Ёка Дайси, который всего лишь один день провел, по легенде, в беседе с Шестым патриархом, сразу же отправился странствовать дальше. Нет, он не сам записывал этот комментарий (рассказывал мне возвратившийся из Японии Виктор), а диктовал его в утренние лучшие часы одному из старых, суровых монахов; по вечерам, случалось, читал надиктованное другому монаху и Виктору, причем другой монах понимал, наверное, все, Виктор же, с его еще неуверенными познаниями в японском, понимал в лучшем случае отдельные слова, вспыхивавшие, ничего не освещая, и тут же вновь гаснувшие в темноте его не-понимания, не-ведения... О Ёка Дайси, Виктор видел, только и хотелось говорить Китагаве во время их так называемого докусана, на докусан (рассказывал впоследствии Виктор) не очень похожего, совсем не похожего. Всякий раз, входя к роси, в его пустую и холодную комнату, где только сосновая одинокая ветка стояла в вазе перед статуей Будды и чуть-чуть потрескивали, случалось, дрова, Виктором же накануне наколотые, в черной маленькой кубической печке, изредка выпускавшей из щелей своих красное пламя, бросавшей отблески на бумажные стены, — всякий раз заставлял его Виктор неподвижно сидящим на помосте, на подушке или на двух, в дремоте, то ли дзенской, то ли уже просто-напросто старческой, в двух свитерах и черном кимоно, поверх которого Виктор, опять же, и помогал ему надеть золотой ритуальный орнат, затем, после пятнадцати- или двадцатиминутного докусана, не-докусана, снять его, хотя зачем, собственно, нужно было надевать его и снимать, Виктор понять не мог, докусан все равно на докусан похож не был. Зачем-то нужно было, наверное; Виктор спросить не решался. Зато Китага-

Алексей Макушинский

ва-роси, хотя и надевал свой орнат, задавал Виктору вопросы к докусану, дзену, коану, вообще — ко всему этому, никакого отношения не имевшие, например — читал ли он Достоевского? Читал ли он — Достоевского? Ну да (рассказывал мне Виктор впоследствии, на майнской набережной, смеясь моему изумлению). А читал ли он сам Достоевского? Читал, как выяснилось; был доволен, когда выяснилось, что и Виктор читал; но никак не прокомментировал это; просто принял к сведению; покивал, по-старчески, головою; посмотрел своими всепонимающими, обычно невидимыми, вдруг, всякий раз неожиданно, из-под густо-седых бровей, из складок кожи и сложной композиции морщин, появлявшимися глазами. А правда ли, что в России тоже очень любят пить чай, как в Японии? Да, правда, в России, как и в Японии, тоже очень любят пить чай. Прекрасно, замечательно; чай — полезная вещь... В лучшем случае заводил он речь о «Сёдока» и о самом Ёка Дайси, о котором мы вообще-то мало что знаем (все-го на день появляется он на сцене дзен-буддистских легенд и преданий, в монастыре, где, окруженный учениками, провел вторую часть своей бурной жизни Хуэй-нэнь, Шестой патриарх, после всех пережитых им приключений, скитаний по охотничьим урочищам и грозным горам). Видно было, что все мысли учителя заняты новой книгой, комментариями, которые диктовал он, что это его игрушка, которую мог бы он отложить в сторону, но которую так ему не хотелось откладывать в сторону, выпускать из старческих рук, что он и не делал этого, снисходя к своей слабости, улыбаясь, впрочем, все загадочней, не извиняющейся, но (казалось Виктору) какой-то общиннической, едва ли не заговорщицкою улыбкой, всякий раз пробуждавшей и обострявшей в нем (Викторе) то чувство легкости и свободы, которое всегда он испытывал в присутствии Китагавы. Посмотри на этого лентяя, этого без-

дельника, этого праздношатающегося, так или примерно так (переводы с китайского и японского всегда очень сильно разнятся, иногда так сильно, что и не поверишь в тождественность оригинала) начинается бессмертный текст, посмотри, короче, на этого дзенского монаха, этого человека Пути, человека дао, забывшего все, что он знал. Он не ищет истины и не стремится избавиться от иллюзий. Он знает, что иллюзии призрачны и что истина — это он сам. Он сам — источник всего, его подлинная природа — лишь другое название вечного Будды. Вещи этого мира и мысли у нас в голове появляются, исчезают, как облака на голубом небе. Жадность, гнев и невежество проходят, как отсветы облаков в безбрежности океана... Что думает обо всем этом Виктор? — спрашивал Китагава. Виктор думал, что он ничего уже об этом не думает, что это вошло в его плоть и кровь, стало его дыханием, его молчанием, что и он уже все забыл, и к истине не стремится, и от иллюзий избавиться не пытается... а вот: ничего больше не понимает, во всем сомневается, не видит выхода и не знает, что делать. А ведь все так просто, он думал. Просто сидеть здесь, смотреть в эти внезапные, удивленные, старческие глаза, чувствовать этот холод вокруг, этот жар от железной печки, этот свет сквозь рисовую бумагу, это безмолвие; ничего больше не надо; так просто. Все же он пытался сказать что-то, по-английски с добавлением японских слов; Китагава никак не комментировал его комментарии; не одобрял и не отвергал их; иногда кивал головою, изредка улыбался; и если сам читал вечером комментарий к тому же месту, свой собственный, то читал его вроде бы просто так, не для Виктора (как ни хотелось Виктору верить, что это его, Китагавы, тайный ответ ему или тайный намек на что-то, чего по-прежнему Виктор не понимал). Пару раз (он впоследствии мне рассказывал) пытался он заговорить с роси о каком-нибудь

Алексей Макушинский

новом коане, который тот мог бы ему задать; но роси только рукою махал; выставлял вперед свою детскую ладошку и опускал ее, затем опять поднимал, опять опускал, словно похлопывая или даже пошлепывая кого-то по плечу ли, по попке; легкое, едва уловимое колебание холодного воздуха доходило до Виктора; дуновенье тайного ветра... Просто иди и сиди, go and sit, в лучшем случае, отпуская его, говорил Китагава — то ли потому что сам на старости лет убедился в ничтожности, ненужности коанской игры (той, которую ленивые молодые монахи, мечтающие о собственном храме, разыгрывают по одной из тайных книжек, из-под полы — из-под рясы и кимоно — передаваемых ими друг другу), то ли потому что считал ее ненужной именно для него, Виктора, и значит, предлагал ему перейти к чистому сидению, без всяких подпорок, к сидению просто и сидению вообще, лицом к лицу с Пустотою. Это считается самым сложным в дзене, и если именно это предлагал ему Китагава, то это было знаком отличия, и он мог бы этим гордиться. Он не гордился, не до того ему было. Он выходил на внешнюю галерею, всегда и сызнова заметенную снегом; не задумываясь, с той быстротой, простотой перехода от мысли к действию, которая была ему (все более) свойственна, сметал этот снег длинной, из березовых прутьев, метлой, всегда стоявшей в углу; чувствовал в мерзнущих руках древесную ткань рукояти; субстанцию и струенье волокон; смотрел, отрываясь от подметания, на далекие и совсем далекие горы, все более туманные, все более облачные; пласты снежного света, положенные друг на друга; слепящий снег плоскогорья; или, обходя галерею, на ближние склоны, с двух сторон укрывавшие храм от ветра, на серые кельтские камни, разбросанные по этим друидическим склонам (как в долине Альтмюля), на низенькие гнутые сосны, густо-синие тени этих сосен, этих камней, в замирающем снежном мерцанье. Я удалился в глу-

хие горы (говорит Ёка Дайси), в молчание и красоту, в глубокую долину под высокими скалами, я сижу в хижине под сосною, дза-дзен — это одиночество и покой, как хорошо... Он повторял эти строки, опираясь на березовую метлу, затем опять принимаясь мести, перемещаясь по галерее, вновь останавливаясь, чтобы послушать потрескивание бамбука, мерно и мирно колебавшего свои черные, присыпанные снегом верхушки, костяное постукивание друг о друга длинных полых стволов, не раз, наверное, напоминавшее ему о камушке, который разбудил, по известной дзенской легенде, Кёгэна (того самого, который впоследствии спрашивал своих учеников, что делать человеку, висящему на ветке, ухватившись за нее зубами, если кто-нибудь вдруг спросит его об истинном смысле прихода Бодхидхармы с Запада). Кёгэн, как мы помним, мел метлой дорожку в своем саду или, по другой версии, на своем кладбище, и когда камушек, отлетевши, ударился о бамбук, все вдруг стало ему понятно. В руках у Виктора тоже была метла, и он тоже подметал галерею, и за камушком, в конце концов, мог бы спуститься в сад, в сад камней за бамбуковой рощей, мог бы согреть в руке этот камушек, бросить его в бамбук, прислушаться к удару и звуку; он не делал этого — просто стоял и смотрел, с чувством одновременно пробужденности и невозможности пробудиться; впрочем, стоял недолго (в дзенской жизни пауз почти не бывает); но отправлялся или колоть дрова, или топить печь, или варить рис на кухне, или вместе с одним из старых суровых монахов разгребал лопатой снег, прорубал дорожку в снегу, чтобы спуститься в долину за провизией и лекарствами для роси — дорожку, которую в иные дни им приходилось на обратном пути прорубать еще раз, иначе было до монастыря не добраться, — по-прежнему повторяя про себя — как свой коан, свою мантру — все те же или другие строчки из «Сёдока», те, например, не менее им любимые,

Алексей Макушинский

где таинственный Ёка Дайси сообщает поколениям дзенских адептов, что внезапно постигнутая пустота уничтожает цепь причин-и-следствий, порождающих несчастье, хаос и душевную смуту, но держаться за пустоту, отвергая мир, — это тоже болезнь, это как если бы ты бросился в огонь, чтобы в воде не утонуть; строчки, о которых не один, но два и даже три раза заговаривал с ним Китагава; и наверное, не случайно заговаривал с ним (думал Виктор, устраиваясь на своей подушке в дзен-до, перед очередным бесконечным дза-дзеном); во всем, что старик говорил и делал, всегда ему, Виктору, виделся тайный умысел, хотя никакого умысла и не было, вероятно, ни в том, что он делал, ни в том, что он говорил.

Мышка, Маришка

Прошлое, как всегда и конечно, оживало в нем, когда он сидел на своей подушке, в холодном пустом дзен-до, рядом с двумя стариками, не Китагавами (сам Китагава присоединялся к ним ненадолго, изредка), но стариками тоже, по-своему, замечательными, сидевшими так неподвижно, так твердо, так величаво, как (ему казалось) он еще не видывал, чтобы кто-то когда-то сидел, как он сам сидеть не надеялся; прошлое, о котором вовсе не думал он, не хотел думать, хотя и не старался не думать, которое само возвращалось к нему, из тишины и холода, со всех сторон его окружавших, из этого снежного ландшафта за раздвижными, зимою закрытыми рисово-бумажными стенами, ландшафта, значит, невидимого, но осязаемого, проникавшего внутрь то более, то менее сильным свечением рисовой бумаги, мутным блеском, бегущим по циновкам, подушкам. Не внешним, но внутренним зрением видел он это внешнее, эти горы, этот снег, эти сосны; как будто он одновременно сидел здесь, внутри, в одиночестве и покое дза-дзена, и был там, снаружи, среди этих снегов и сосен,

шел там по каким-то, ему, Виктору до сих пор не знакомым тропинкам, кем-то проложенным, или без всяких тропинок; как будто шел там на лыжах, как почему-то никто не ходил здесь на лыжах, хотя в какой-нибудь сотне километров отсюда, он знал это, на противоположном склоне самой высокой, ему сейчас за бумагой невидимой, с галереи и внутренним взором хорошо различимой, в ясные дни сияющей и вечно-снежной горы, был горнолыжный курорт, куда обычно ехали в скоростном поезде, на котором он добирался досюда, всегда веселые, возбужденные предстоящим катанием спортсмены или семьи с детьми, тоже предвкушающими свои зимние забавы, каникулярные удовольствия; все они оставались в поезде, когда он, Виктор, под их удивленными, улыбающимися взглядами сходил в ближайшем к монастырю городишке (где, наверное, ни одному горнолыжнику и в голову не пришло бы сойти). Это все было где-то там, на другом склоне, и к нему отношения не имело. Он и не думал ни о каких горнолыжных курортах, ни о каких горных лыжах, и если думал вообще о каких-нибудь, то о лыжах самых обыкновенных (или лучше тех лыжах, которые в России считаются обыкновенными, а например, в Германии, он не знал, как в Японии, наоборот — экзотическими, нордическими, потому что ни у кого нет русской привычки ездить по выходным дням за город или ездить на дачу ради лыжных прогулок, да и дач таких нет, да и таких снегов, таких лесов нет, таких зим не бывает...), о своих детских, коротеньких, потом настоящих, уже выросших лыжах, которые были у него в Петербурге (что с ними стало? уже их выбросили? или где-то они хранятся?), на которых в последний раз — когда же он ходил в жизни?.. Он старался — или не старался — не думать; просто сидел, как всегда сидел, глядя в деревянные снизу, рисово-бумажные сверху прямоугольники раздвижной стены перед ним,

Алексей Макушинский

откуда страшно тянуло ветром, снегом и холодом, сперва считая, затем уже и не считая дыхание, сосредотачиваясь — ни на чем, на ничто, на пустоте внутри и снаружи, говоря себе, что и за пустоту не надо держаться, что держаться за пустоту — это как броситься в огонь в надежде не утонуть, позволяя и этим мыслям, этим словам Ёка Дайси пройти и прейти в нем, как облакам по небу и отблескам в океанской безмерности, продолжая *просто сидеть* — ничего нет труднее этого *просто*, — вновь и вновь теряя эту простоту, пустоту, воображая пространство вокруг, снега и горы, по которым он шел как будто на лыжах, скользя вниз с поросших редкими соснами склонов, уезжая неизвестно куда по узким долинам, по проложенной кем-то лыжне, вспоминая те лыжи, которые ведь и вправду были у него в Петербурге (что с ними случилось?), на которых в последний раз, если память не подводила его, ходил он в свои студенческие годы с Мариной, его, Викторовой, сокурсницей, с которой, со второго курса по четвертый, тянулся у него бестолковый, не совсем понятно как и почему завязавшийся и тоже (он думал) с самого начала обреченный на неудачу роман; с этой Мариной, завязтой лыжницей и вообще отменной спортсменкой, о которой он, Виктор, почти не вспоминал, уехав в Германию, сделавшись банкиром, сделавшись дзен-буддистом. И это очень удивительным казалось ему теперь. Прошло так много лет; лет, наверное, пятнадцать с тех пор, как он в последний раз ее видел. Он измерял теперь эти годы, внутренним зрением, сидя по-прежнему перед светящейся бумажной стеною; невольно, вовсе не желая вспоминать что бы то ни было, вспоминал ее, эту Марину, Маришу, Маришку, серую мышку (ничем, помимо своих спортивных успехов, из числа его сокурсниц не выделявшуюся); впервые за пятнадцать лет снова видел ее, пусть внутренним зрением, в рассеянном,

снежном свете, в электричке по дороге на Токсово, где у ее родителей была дача, куда на выходные дни, случалось, они уезжали — кататься на лыжах, заниматься любовью. И в том, и в другом была она, как на втором курсе он выяснил и вплоть до четвертого вновь и вновь убеждался, неуголима, неуголима; а предположить это было трудно при первом на нее взгляде. Никто и не предполагал; в университете он считался безумцем, она — воплощенной банальностью. Брак банальности и безумия, аллегорическая картина... Он сдерживал смех в дзен-до, не желая тревожить суровых стариков, сидевших с ним рядом, хотя они-то, наверное, ни малейшего внимания не обратили бы на его смех, не обратили бы и на его слезы, если бы вдруг он заплакал. А на помощь, он не сомневался, всегда пришли бы ему, все бы для него сделали. О браке же и речи не заходило между ним и Мариной; он вообще был мальчишка; она мечтала о браке с менеджером, бизнесменом, миллионером. Все-таки он видел ее, в электричке, на даче, с ее пригородно-простецким личиком и блеклыми волосами, которые, предаваясь любви и спорту, собирала она в жидкий пучок, что необыкновенно ее портило (по крайней мере, норвила собрать в пучок, покуда Виктор не распускал их; с этими распущенными волосами, в зимнем свете, бывала даже хорошенькой), в красной вызывающей маечке, которую она мало кому показывала, в черном ажурном белье, которого не показывала якобы никому, только Виктору — если не было у нее других любовников, в чем он со второго курса и до четвертого не был вполне уверен, потому что и в самом деле (думал он, в зимнем и рассеянном свете, падавшем на него сквозь рисовую бумагу) за этой серенькой внешностью, простецким личиком и блеклыми волосами бушевали мечты и страсти — мечта о богатеньком муже, сделаться каковым у Виктора, по ее мнению (скрывать кото-

Алексей Макушинский

рое она отнюдь не считала нужным), никаких шансов не было, о разнообразных Багамах и всевозможных Бермудах, о которых болтала она с большим знанием дела, почерпнутым из журналов и телевизора, о земном, значит, рае в его курортно-туристическом исполнении — упорные мечты и угрюмые страсти, отлично уживавшиеся с какой-то неторопливой изворотливостью похоти, неодолимо его к ней тянувшей, не дававшей ему с ней расстаться, хотя и не совсем понимал он, какого черта она-то связалась с ним, в ее глазах тоже, наверное, полубезумным заиком, уже очень сильно увлекавшимся в ту пору буддизмом, ходившим в дзенский кружок, тот самый, куда затащил его Василий Васильевич, бывший Васька, однажды встреченный им на Невском, где оба они наблюдали за шествием кришнаитов в их, Харе Кришна, разноцветных разлетайках и размахайках. Говорить с ней обо всем этом никакого смысла не имело; он и не говорил. А, собственно, о чем они говорили? О других студентах, об общих преподавателях, экзаменах и зачетах... И где теперь все это? — спрашивал себя Виктор. Как будто и не было ничего этого, ни зачетов, ни экзаменов, вообще никогда. А ведь было, и он сам был, тот, тогдашний, с теми рязанскими, в действительности чухонско-еврейскими кудрями, которых он даже представить не мог себе теперь, как тогда не мог представить себе, что их сбреет, и с этими чудовищными приступами тоски, которых так боялся он, предполагая, что одного из них не переживет и не выдержит. В тоске утешала его эта Марина, эта втайне презируемая им, иногда просто противная ему и затем все-таки, вновь и вновь, его привлекавшая к себе девица с ее не очень чистой кожей и очень нечистыми помыслами, с ее изобретательным бесстыдством в постели, еще более изобретательным бесстыдством вне оной, под совместным, всегда горячим, душем, где нравилось ей раз-

влекаться, с ее мокрыми, скошенными, в утехах расплывавшимися губами. А что бы она сказала, если б его увидела? не сейчас, не здесь, но во Франкфурте? но в роли преуспевающего банкира, в часах за двадцать пять тысяч евро? в этой роли, которую он, Виктор, еще несколько лет назад играл ведь даже не без удовольствия, из которой теперь, похоже, вываливался — или она сама от него отваливалась, как личина и маска. Личина, личность, личико, Гюльчатый, повторял он, как некогда, на баварском хуторе, стараясь по-прежнему не смеяться. Как давно он не ел личи, тем более с Тиной. А как она очищала для него эти личины, с ударением на первом слоге, своими толстыми пальцами, снимала колючую кожицу и выковыривала черную косточку — и как ему нравилось потом облизывать ее пальцы, как ей самой это нравилось, как это их возбуждало. Все это тоже было, тоже исчезло, думал он, чувствуя, как разные эпохи и времена его жизни наплывают на него и друг друга — из тишины и холода вокруг, из этого горного зимнего ландшафта вокруг дзен-до, его *хижины*; ландшафта, который по-прежнему видел он внутренним зрением и который сам, в свою очередь, наплывал и сливался с какими-то зимними другими ландшафтами, с теми склонами, по которым уезжала от него, в уже намечавшихся сумерках, в белой вязаной шапочке и белой же куртке, Марина (мышка, Маришка...), под низким небом с уже бирюзовыми, уже почти зелеными в нем провалами, отсвечивавшими на снегу, на лыжне. А потом видел он бабушку и дедушку, тоже на лыжах, в его еще-детстве, или почти-еще-детстве, бабушку Руфину и дедушку Витю, тогда еще даже не старых, с их геологическими обветренными лицами и привычкой к свежему воздуху, вечно таскавших его то в летние, пешие, то в зимние, соответственно лыжные, походы, которые они по укоренившейся привычке называли так, хотя дело сводилось к простым, правда долгим, прогулкам вокруг

Алексей Макушинский

той дачи в Сиверской или той, наоборот, в Сестрорецке, где сначала Юра и он, в его раннем детстве, затем он один оставался с дедушкой и бабушкой на каникулы летние, каникулы зимние, при том, что на зимние (он думал; я думаю, что он думал) его папа и мама не уезжали ни на Сахалин, ни в Вентспилс, ни на Тихий океан, ни на Балтийское море, как (ему казалось всегда; за одним роковым исключением) уезжали летом и могли бы, наверное, сами провести хоть выходные дни в этой Сиверской, или в этом Сестрорецке, или где они снимали дачу в тот или иной год, но почему-то нет, он не помнил их там, не мог вспомнить, да и не старался вспомнить что бы то ни было, просто сидел по-прежнему, сквозь боль в ногах, боль в спине, в светящемся холоде пустого дзен-до, воображая себе внешний, за рисовую бумагой скрытый ландшафт, снежный, горный и зимний, сливавшийся с другими ландшафтами, зимними, снежными, с горками и склонами в Кавголове, лесами вокруг (кажется) Сиверской, где в детстве катался он с бабушкой Руфиной, дедушкой Витей, хотя там, в детстве, или так ему помнилось, никаких гор не было, была разве что одна-единственная горушка, с которой он съезжал, бывало, на санках, бывало, на лыжах, была река, вот что, вдоль которой они так долго шли однажды (но когда это было?), что он уже из сил выбился, и лыжня вдруг кончилась, и пришлось им уже в темноте возвращаться прямо по льду, заметенному, впрочем, снегом, и это было для него, Виктора, приключением, о котором еще долго он помнил и вспоминал, которое потом он забыл, как забыл, ему казалось теперь, вообще все — этот снег, этот лед, эту лыжную мазь в разноцветных брикетах, ее резкий, на морозе радостный, запах, и как останавливался дедушка во время их долгих прогулок, у какой-нибудь поваленной березы, якобы для того, чтобы заново натереть им всем лыжи, на самом деле, может быть, чтобы передохнуть и чтобы доставить

удовольствие внуку, обожавшему эту скрипучую, пахучую процедуру, с тех пор все забывшему, вот теперь вспоминавшему; забывшему, вспоминавшему горячий, сладкий чай в термосе, пар над железной крышкой, она же кружка, и те бутерброды с русским черным хлебом и русской копченою колбасою, которые бабушка извлекала из рюкзака, желтоватые глазки жира, составлявшие этой колбасы главное, непобедимое очарование. Виктор никакой колбасы не ел уже лет пятнадцать. Вдруг страшно, до судорог в животе, хотелось ему этой русской, пахучей не менее лыжной мази, неизвестно из чего сделанной колбасы; он уже вкус ее чувствовал на губах. Да он был просто голоден, да и надоел ему уже до смерти этот буддистский рис, эти маринованные овощи, этот суп мисо с гладкой, скользкой, без мерзкого чмока не переползающей из миски в рот вермишелью.

Финики-руфиники

А что бы *они* сказали, если б его увидели, его дедушка, его бабушка, не там, во Франкфурте, в банковском великолепии и костюме, а здесь, в джинсах и свитерах, рядом с двумя японскими стариками, перед светящейся бумажной стеною, как бы они расстроились. Совсем, сказали бы, свихнулся наш Витенька... Да они и расстраивались, на него глядячи, в конце жизни, в девяностые годы, особенно бабушка Руфина расстраивалась — дедушка уже болел, дряхлел и не до того ему было, — не понимали, что он вообще такое, почему связался с такой неприятной, неопрятной девицей, с такой серой мышкой, Маришкой, неужели хочет на ней жениться? и зачем ходит к каким-то буддистам, о которых однажды, не удержавшись, он рассказал им, к какому-то корейцу, в какую-то секту? и зачем учится на экономическом факультете, хотя явно до экономики нет ему ни малейшего дела? А до чего

Алексей Макушинский

ему есть дело? есть ли у него вообще дело в жизни, дело жизни? А они принадлежали к тому, он думал, счастливому поколению советских людей, которое без дела свою жизнь не мыслило. И они правда любили эту свою геологию и с каким, бывало, ностальгическим вдохновением рассказывали ему о Памире, о Забайкалье. Как они были бы счастливы, если бы тоже он увлекся Памиром или увлекся бы океаном (как мама с папой — впрочем, уже не столь увлеченные), картографией морского дна, экологией коралловых рифов. Но он ничем таким увлечен не был, увлечься не мог, и даже математика, к которой имел неизвестно от кого унаследованные, поражавшие всех способности, по которой получал призы на школьных олимпиадах, и районных, и городских, интересовала его только *так*, только вчуже. Они были, теперь он думал, разочарованы в нем, как были вообще и во всем разочарованы в те девяностые годы, не потому что так уж сильно верили в советскую власть, ничуть в нее, пожалуй, не верили или давно разуверились, а потому что рухнул мир, в котором они прожили свою не то чтобы очень счастливую, но свою жизнь, такую, какой уж она была, с геологией, Забайкальем, Памиром, друзьями, походами, песнями у костра. Вот и он, значит, проживает свою... А как ему жалко было теперь, что он не может им что-то объяснить, их как-то утешить. Их тоже видел он, закрывая глаза, чувствуя на веках снежный свет, проникавший сквозь бумажные стены; видел, под веками, deduшку Виктора, почему-то вдруг в шортах, и, значит, летом, у смутно мерцавшего (так видел он) озера (или реки?), с уже старческими, венозными ногами, в клетчатой фланелевой рубашке-ковбойке, похожей, пожалуй, на Бобову, большого и под конец почти грузного, с пышной сединой и вмятиной на подбородке, оставшейся от неудачного падения во время их с бабушкой чуть ли не самой первой совместной экспедиции,

он только не мог вспомнить куда и когда, неужели еще до войны? или сразу после? на Алтай? на Урал? и очень горько ему было, что не мог он этого вспомнить, как будто виноват он был перед ними, а по-прежнему видел их, не в силах открыть глаза: и дедушку в шортах, большого и грузного, и бабушку Руфину с ее шапкою мелко вьющихся густо-черных волос, странно седевших отдельными прядками, особыми завитками, с ее тонким, очень восточным, каким-то (по любимому дедушкину выражению) финикийским лицом — а всем другим сладостям предпочитала она действительно финики, всегда имела их где-то в запасе, — личи никогда, наверно, не видела, а финики обожала, — почему и полагал он в детстве, что из-за любви к этим липким финикам дедушка ее так называет, и даже что само ее редкое, он и в детстве понимал, что редкое, необыкновенное имя как-то связано с этими финиками, этими финикийцами (и как же она смеялась над его этимологическими соображениями...), и в общем выходили руфиники, и нет, он не мог вспомнить, как ни старался, откуда в нем это словечко, кто говорил так, и чуть ли, ему казалось, не его брат Юра, в его, Викторовом, самом раннем детстве говорил так — руфиники, и это слово теперь звучало в нем, снова звучало в нем, заполняя собою внезапные, внутренние, в нем открывавшиеся пространства — руфиники, финики, финики-руфиники, — отчетливо, долго, со своим же собственным эхом звучало в нем, на все дзен-до и на всю буддистскую пустоту; ничего больше не было в мире, кроме этих руфиников... А он бы, наверно, и не уехал в Германию, если бы еще жива была бабушка — дедушка умер раньше, — или все равно бы уехал, кто теперь это знает? — а как-то все закончилось с этой смертью (в больнице возле Витебского вокзала, куда он так постыдно редко ходил к ней...): и в университете он отучился, отучился, и Марина, мышка, Мариш-

Алексей Макушинский

ка вышла замуж за мальчика из успешной семьи, спортсмена почище ее самой, из института Лесгафта, с большими, видно, карьерно-коммерческими перспективами, и он не понимал, что дальше, главное зачем и ради чего, и глупо слонялся по городу, подолгу простаивал на Стрелке и у Ростральных колонн, как в свое время любил стоять еще школьником, глядя на этот безумный, безудержный разлив Невы перед ним, эти волны, поднятые прогулочным катером, набегавшие на зеленый гранит ступеней, эти редкие, легкие балтийские облака над дворцами, над рекою и крепостью, — и когда подвернулась стипендия в Германии, сразу уехал, и сразу началось что-то другое, начался настоящий дзен, появился Боб в его жизни, и — как же он теперь, Боб, после всего, что случилось? думал (или я думаю, что думал) Виктор, сидя по-прежнему на своей подушке в дзен-до, в снегах и в горах, в одиночестве и покое, открывая глаза, следя за перемещениями света, ничего не стараясь вспомнить, не стараясь не вспоминать, все-таки вспоминая, — вспоминая эйхштеттские странные годы, знакомство со мною, посиделки с Кристофом, Пита и пигалицу, переезд во Франкфурт и первые мучительные месяцы в банке, когда казалось, что он не выдержит всех этих акций, дебетов, кредитов, этих ранних вставаний, этого громадного бюро, где он сидел за двумя компьютерами, пытаюсь сосредоточиться на прогнозах падения акций «Роснефти», роста акций «Газпрома», пытаюсь не слушать шушуканья так называемых коллег за другими компьютерами, не спрашивать себя, как он сюда попал и что он здесь делает, и только близость к Бобу, участие в сангховой жизни, еще не дружеские, уже, по крайней мере, приятельские отношения с Иреной, с тихим Робертом поддерживали его; вспоминая свое знакомство с Тиной в кронбергской электричке, тот вернисаж, куда заявился он, сам не зная, какому наитию повинуюсь, внезапное

возбуждение, охватившее его при виде Тининых рубенсовских фотографий, — и как он сумел и осмелился позвонить ей по телефону, как страшно он нервничал, как мучительно заикался; вспоминая каменоломню, старушек, улетающих сбитые сливки, облака над Хунсрюком; вспоминая все это, с уже, за самые последние годы, потерянным чувством драгоценности воспоминаний; невольно спрашивая себя, как же так получилось, что он это чувство потерял и утратил; вновь возвращаясь к чему-то совсем давнему, раннему, к финикам и руфиникам своего детства; возвращаясь в тот день, когда перестилали пол на даче и ему строго-настрого запретили заходить в их с Юрою комнату, а он все-таки забыл, зашел, упал на твердую землю, в белых пятнах, в краске, извести и щебенке; возвращаясь в тот, другой, самый страшный, самый ветреный день, какой выпал ему на долю, в Майори, в Меллужи, или как назывался поселок, к той реке, из которой он выплыл, в которую вновь, казалось ему, погружался; одним отстраненным взглядом охватывая все это, все эти разные времена и события, все это прожитое, всю свою жизнь.

Поворот

Вот тут-то (если я правильно понял его слова и намеки, впоследствии, на майнской набережной) случилось с ним самое главное, что вообще случилось с ним в этом снежном уединении, совсем не то, чего он ждал и на что он втайне надеялся — и уж точно совсем не похожее на то величественное, грозное, потрясающее, прекрасное, что с ним случилось здесь несколько лет назад (когда он бегал по горам и падал в овраги, увидев, пусть на мгновение, сквозь щелочку, тайные механизмы мира, показав старому роси свое подлинное, нерожденное, от него самого с тех пор снова, может быть, скрывшееся лицо...); и это было, на сей раз, что-то едва

Алексей Макушинский

уловимое, почти незаметное — как поворот тропинки или лыжни, — поворот мысли, или даже не мысли, но какой-то поворот в нем самом, как если бы он шел и шел внутри себя и по внутреннему ландшафту, похожему на ландшафт внешний, снежный и зимний, со всех сторон окружавший его дзенскую хижину, его покой и молчание; шел, на лыжах ли, не на лыжах, сквозь разные эпохи и времена своей жизни — и вдруг свернул куда-то, за какую-то одну, ничем не примечательную, горюшку, за какой-то выступ, холмик, какую-то рощицу, и там вдруг все увиделось по-другому, в другом свете, под другим солнцем; и мысль, на которую внезапно набрел он, если это вообще была мысль — а это если и была мысль, то настолько простая, что он не мог найти даже слов для нее, все слова казались смешными и неуклюжими по сравнению с ее, этой мысли, или не-мысли, неопровержимой, сияющей простотой, — эта мысль, или не-мысль, уже не отпускала его или отпускала ненадолго, как ни стремился он отделаться от всех своих мыслей, да и не-мыслей тоже, дать им всем пройти и погаснуть. Они проходили, гасли, как бывает во время дза-дзена, и он оставался один, один на один с сияющей пустотой, с чистым небом, которого тоже не было. И неба не было, и Виктора не было, и ничего вообще не было. А вместе с тем все было, все сверкало, сияло, мир и жизнь лежали перед ним в ясных линиях, отчетливых очертах, все было навсегда хорошо в своей *этости*, своей *такювости* (*its itness and suchness*, говоря по-бобовски...), ничего не надо было искать, ни к чему не надо было стремиться, можно было идти, можно было и не идти, на лыжах ли, не на лыжах, по этому внешнему и внутреннему ландшафту, сквозь разные времена и воспоминания, можно было всматриваться, можно было в них и не всматриваться. Все же там, в этом зимнем, снежном, внутреннем и внешнем ландшафте, там на-

мечалось и сгущалось что-то, не менее для него важное, мысль, или не-мысль, оттенок мысли, изгиб не-мысли, для которого он никак не мог найти подходящих слов, все слова казались ему смешными, казались неправильными, почему он и не произносил про себя никаких, просто сидел и всматривался в эти разные времена и эпохи своей жизни, вновь и вновь наплывавшие на него. Эта была его история, его жизнь. Она ему нравилась. Она вовсе не потому ему нравилась, что была его историей, а просто потому, что была. Он смотрел на нее почти без всякого чувства своего участия, своей причастности к ней. Это могла быть чья-то история, чужая история. Он мог бы прожить другую жизнь или не проживать никакой — это не имело значения. Но она была, и была хороша. Потому что все хорошо, все правильно, все *так* в своей *таковости*... Была какая-то, ничем, может быть, и не примечательная история мальчика, в самом раннем детстве потрясенного смертью брата, своей воображаемую виною, потом выросшего, потом уехавшего в другую страну, искавшего истину, мечтавшего об окончательном ответе на главные вопросы жизни, потом полюбившего, потом, видимо, разлюбившего, давшего, ненадолго, увлечь себя деньгам и успеху, сострадавшего чужому несчастью, вот теперь здесь сидящего, не знающего, что дальше и что ему делать. Эта история, он думал, никогда больше не повторится. Это единственная история, его, ни на чью другую не похожая больше жизнь. Она не тем хороша, что — его, но тем, что — единственная. Он знал ее изнутри. Он так знал ее, как не знал, не мог знать никакой другой истории, ничьей чужой жизни. И никто, он думал, не знает о нем того, что он знает, не помнит того, что он помнит. Это он помнит про финики и руфиники, больше не помнит никто. И даже если его мама о них помнит, то помнит по-другому, по-своему. Это только он помнит, как

Алексей Макушинский

бросал в деревья свой десятилезвенный, потрясающий, французский ножик, как искал его в траве среди елок. И как он выплыл из водоворота, в тот самый страшный и самый ветреный день своей жизни, этого вообще никто не знает, никогда не узнает, и как звал Юру, метался по берегу, как там пахло — тиною, глиною, как сбегались рыбаки, побросав свои удочки, как оттолкнул плоскодонку и поплыл на поиски патлатый парнишка, которого он никогда прежде, никогда после не видел, и как он шел домой, в деревянный домик с башенкой (в Майори, в Меллужи...), понимая, что его папа и мама приедут сейчас из Риги — и что он тогда им скажет?.. А как он играл самозванца в школьном спектакле по «Борису Годунову», безжалостно сокращенному, — в восьмом, что ли, классе, или в девятом классе, не так уж и задолго, казалось ему теперь, до того, как Василий Васильевич, бывший Васька, подобрал его на Невском проспекте. И хотя он плохо играл — какой из него актер? — все же хвалил его их учитель, затеявший постановку, едва ли не единственный, кого он теперь мог вспомнить по имени из своих школьных учителей, потому что у него редкое было имя, вернее, отчество, имя было как раз банальное — Сергей Емельянович, вот так его звали, — и он такой был длинный, этот Сергей Емельянович, длинный и узкоплечий, и казался Виктору уже старым, хотя ему и сорока еще, наверное, не было, то есть столько же было, сколько теперь самому Виктору, думал Виктор (или я думаю, что он думал) на своем краю света, в горах и снегах, в буддистском храме в префектуре Камикава, в отрешенной глуши; совсем плохо играл он в этом школьном спектакле по безжалостно сокращенному «Борису Годунову», но играть ему нравилось, и репетиции ему нравились, и сам спектакль для него был событием, был его внутренней (так он думал) победой, и потому особенно ему нравилось все это, потому и было побе-

дой, что он почти не заикался на сцене; сходя с нее, начинал заикаться; а снова на нее поднимаясь, терял свое заикание, освобождался от пут и скреп, мешавших ему всю жизнь; и только он один помнит, никто не помнит больше, как он стоял на этой освещенной жаркими софитами сцене, в пыльном актовом зале, с каким чувством освобождения, пусть плохо играя, под глухое погогатывание отдельных патлатых придурков, не способных все-таки не смеяться, почти, к счастью, невидимых в темноте зала; как говорил, обращаясь к забытой им девочке из параллельного класса, пытавшейся, еще хуже, чем это у него получалось, изобразить Марину Мнишек: царевич я, довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться... Марина Мнишек, мышка, Маришка... И что же, все это умрет вместе с ним? Ему впервые, может быть, стало жаль этих воспоминаний, даже самых страшных, самых мучительных. А ведь их много, это целая вселенная воспоминаний, он думал. Я не знаю того, что знает Тина, того, что знает Боб, Китагава-роси, вот эти безмолвные старики. Мы все живем в разных мирах, каждый в своей вселенной. Это только кажется, что есть какой-то общий для нас для всех мир. Вот этот общий для нас для всех мир и есть, может быть, самая большая иллюзия. Есть только мой мир, твой мир... А ведь он до сих пор считал, что его я иллюзорно. Не только считал он, что его я иллюзорно, как буддисту считать и положено, но уже утратил, уже много раз утрачивал эту иллюзию, забывал о себе, преодолевал свою самость, свою отдельность, свое одиночество. Это тоже, теперь он думал, было, наверно, иллюзией... Тут становилось ему очень страшно; почти пот прошибал его на подушке; он дрожал от холода и тут же покрывался испариной; бывал счастлив, когда один из стариков ударял деревянной битой по большой медной миске, изда-

Алексей Макушинский

вавшей глубокий, темный, долго не замиравший звук — и можно было выйти, наконец, на внешнюю галерею, увидеть облака, увидеть сосны на склоне, далекие горы в их неизменном, непреложном сиянии.

Струение любви

Эти мгновения блаженного, почти полного от себя отречения, отрешения — неужели они были иллюзией? Никакой иллюзией они не были, говорил он себе, они были самым настоящим, самым подлинным, что с ним вообще было. Он вспоминал, как сидел со стариком, собиравшим коряги и корни, за сколько-то дней и потом в самый день его смерти, как держал его за красную костлявую руку, сознавая, что уже не делит смерть на свою и чужую, что мог бы умереть за него, вместо него и что никакого значения не имеет, кто из них жив, а кто нет. И ничего прекраснее не было в его жизни, чем эта свобода от страха смерти, как будто и от самой смерти, от сознания своей самости, своей отдельности, своего одиночества... Тина, он помнил, восхищалась им, не понимала его, ревновала его ко всему, даже к работе в хосписе, к паллиативной медицине и сопровождению умирающих. Как ты выдержишь все это? Эти громады горя, эту безбрежность боли? А это очень легко выдержать, он думал, хотя, наверное, и не отвечал ей так. Надо просто любить и не бояться. Что, в сущности, одно и то же. Он не боялся и он любил. Он чувствовал в себе струение этой любви; даже не в себе — сквозь себя; струение любви, или струение дхармы, или струение — чего угодно. Какая разница, как называть это? Это струилось сквозь него, как река, как поток. Поток сужался, проходя сквозь расщелину его я, между мрачными скалами, бурлил, пенился и кипел — и затем опять обретал

свою ширь, свою мощь и разливался по равнине сплошным непобедимым сиянием. Эти мгновения множились последние годы; переставали быть исключением; исподволь делались едва ли не привычнее для него, чем свойственное всем людям, ему тоже все еще свойственное, понемногу его покидавшее, ощущение себя — несчастной, крошечной, оторванной от мира частичкой, противостоящей миру, не согласной с ним, всегда готовой сопротивляться ему. Он не сопротивлялся больше, а потому ничего плохого не могло уже с ним случиться...

Я — это история

Он и сейчас обретал все это в себе; посмотрев на горы и небо, пробежав по внешней галерее или сбегав в страшно холодное отхожее место в углу монастырского сада, умыв лицо снегом, возвращался в дзен-до, к сидевшим на своих подушках неподвижным, маленьким, величественным старикам; и снова думал, и даже не думал, а знал, что все хорошо, все прекрасно, даже смерть хороша в своей *таковости*, своей *смертности*, своем совершенстве, что он готов умереть вот сейчас, что он уже умер и поэтому совершенно свободен; и потом опять заворачивал за какой-то невидимый выступ, незримый угол — и снова начинались его сомненья, мученья. Он-то был готов умереть хоть сейчас, но что тогда будет с руфиниками? Руфиников по-прежнему было жаль. С гибелью руфиников он больше не был готов примириться. Он умрет, и руфиники умрут вместе с ним. Все умрет, что он помнит, вся вселенная воспоминаний, которую он проносит в себе, вся его история, которая и есть он сам, Виктор. Его я и есть его история, вдруг он понял, вот эта история, которую видел он здесь, в тишине и снежном покое, как некое целое, еще незаконченное, однажды начавшееся, длящееся в нем са-

Алексей Макушинский

мом, сквозь все его мысли. Он больше не готов был отбросить ее как что-то ненужное и неважное, как помеху на пути к просветлению, на пути к пустоте. Он готов был пожертвовать своим я, но историей этого я пожертвовать был не готов. Тут мысль его упиралась в противоречие неразрешимое. Он не любил свое я, казалось ему, но свою историю он любил. Она ему нравилась, как нравилось все, что есть: вот эти татами, эти черные подушки, эти бумажные стены. Не только он видел ее, в снежном свете, одним отстраненным взглядом, но словно слышал ее, в тишине дзен-до, как некую мелодию, все отчетливее звучащую в нем... Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps? Он уже так давно не ходил ни в какую оперу, не возобновлял своего абонеента, уже забыл и думать о Массне и о Верди. И Массне, и Верди выпали из его жизни, как выпало аргентинское танго, колумбийская кумбия, как выпал взвихренный Игги Поп, Hard Rock, Red Bull, Heavy Metal. А ведь это было, он думал, это все было — с ним, все это был он сам, это он, Виктор, гонял по ночным автострадам, он ездил с Тиной слушать Сезарию Эвору... Все это были части его истории, эпизоды его истории. И его отречение от самости, отрешение от себя самого, его умирание великой буддистской смертью вдруг тоже оказывалось, к его ужасу, содроганию, восторгу, всего лишь частью этой истории, эпизодом этой истории, не более, хотя и не менее важным ее эпизодом, он думал, чем все остальное и прочее, чем те лыжи, тот лыжный крем, те бутерброды с колбасой на морозе, чем то мгновение у замкового парашюта над Рейном, когда он впервые положил свою руку на Тинину, чем то другое, незабываемое мгновение, когда, очнувшись в больнице, сбитый с велосипеда громкогласой машиной, он увидел Тину справа от себя, Боба слева и долго смотрел на них, не показывая им, что очнулся, с чувством безмерной благодарности кому-то или чему-то,

судьбе, может быть, за то, что она послала ему этих двух любимых людей. И что же, думал он, те облачные области, которые открылись ему в ту пору, куда они делись, что с ними случилось? Тот млечный мир умиления, восхищения, в который Тина позволила ему заглянуть? Те перспективы души, которые перед ним распахнулись? Они закрылись опять, думал он. Они закрылись здесь, вот в этом дзен-до и в этих горах, по которым бежал он, решив свой первый коан. Ему тогда казалось, что он раскрылся. Что он раскрылся, разбился, разлетелся на части. А может быть, как раз наоборот? — думал он (с содроганием, ужасом и восторгом). Может быть, все не так, все неправильно, может быть, ошибался он в основном и важнейшим? Он закрылся, замкнулся, он сделался человеком без оттенков, без красок, сухим и выжженным человеком, он думал. Неудивительно, что Тина с ним так мучилась последние годы... Ему казалось, что он проснулся; а может быть, наоборот, он заснул? Что ж, он снова может проснуться. И что, в конце концов, заставляет его сидеть здесь, на этой чертовой черной подушке, в этом дьявольском холоде? Он может встать и уйти, вот сейчас. Встать, уйти, прорвать бумажную стену, уехать в Европу, и — что же? что тогда будет? Он упорно продолжал сидеть, лицом к лицу со своей историей, своей жизнью, ее разными персонажами, разными временами. Все это был он, Виктор, и все это исчезнет с ним вместе, и с исчезновением всего этого он больше не соглашался. А разве кто-нибудь его согласия спрашивал? и к кому, собственно, мог бы он обратиться — со своим не-согласием?

Уганда, Бурунди

Роси, когда во время одного из их удивительных докусанов, на докусаны совсем не похожих, Виктор попытался заговорить с ним об этой ему открывшейся вселенной

Алексей Макушинский

воспоминаний, ответил, подумав, что воспоминания — это очень хорошо, вери гуд, он сам, как все старые люди, много и подолгу вспоминает прошлое, вспоминает молодость, своих родителей, рано умерших, своих сестер и братьев, своих школьных товарищей, своего дядю, которого любил, как отца. Жаль прошлого, сказал Виктор. Конечно, очень жаль прошлого, ответил роси. Но ведь мы не должны сожалеть о прошлом, сказал Виктор, не уточняя, кто эти *мы*. Мы должны ведь жить в настоящем, в здесь-и-сейчас. Это как Виктору будет угодно, ответил роси, глядя на него своим прозрачным взглядом, всякий раз неожиданно появившимся из сложной системы морщин, из складок лица, как из складок ландшафта. Он, Китагава, о прошлом всегда сожалел, теперь больше, чем когда-нибудь, жалеет. Но ведь оно же исчезнет вместе с нами, сказал Виктор; все, что мы помним, чего больше никто не помнит. Да, сказал роси, оно исчезнет, и это бесконечно печально, *infinitely sad*. И больше Виктор ничего от учителя не добился; и чувствуя печаль какую-то, в самом деле уже бесконечную, со всех сторон окружавшую и обволакивавшую его, заодно и храм, и горы, и внешнюю галерею, побрел в очередной раз по этой внешней галерее обратно в дзен-думать уже становившиеся привычными мысли о своей неготовности проститься с прошлым, расстаться с воспоминаниями. Он умрет, он думал, и вселенная воспоминаний рассыпется вместе с ним. А Юра? — спрашивал он себя. Еще Юра жив, куда он о нем помнит. Он откажется от себя, но от брата он не откажется, второй раз не позволит ему утонуть. Вновь и вновь повторял он, даже, кажется, вслух, к изумлению или не-изумлению безмолвных стариков, сидевших с ним рядом, эту фразу, вполне, как сам понимал он, бессмысленную. Второй раз он Юре утонуть не позволит... Вдруг слезы наворачивались ему на глаза, вдруг текли по лицу. Сквозь

эти слезы пытался он увидеть Юру таким, каким помнил его, не того юношу, всего вытянутого вверх, с гордой посадкою головы, заведенными назад волосами и прекрасной, не тонкой, но тоже длинной, тоже тянущейся вверх шеей, который смотрел на него всякий раз, когда он заезжал в Петербург, с фотографий, расставленных его папой и мамой на всех полках и полочках их квартиры на Полюстровском проспекте, но того Юру, который еще в коммуналке на Лиговском — до Полюстровского он не дожил, не доплыл, — бережно, яростно раскладывал на диване свои марки, не позволяя ему, Виктору, дотронуться ни до одной из них; приходил злой из школы, побитый, верно, лиговскими мальчишками, которым он, Виктор, впоследствии, побить себя не давал, шпаной из подворотни, с которой Виктор чуть ли потом не дружил, — и тут же, еще не сняв школьной формы, принимался яростно, бережно раскладывать на диване свои марки, вынимая их и снова засовывая в альбом, ощупывая пальцами зубчики по краям их, — и как если бы что-то важнейшее зависело от расположения этих марок сначала на диване, после в альбоме, как если бы ему дано было — а не дано было — изменить мозаику своей судьбы, заново разложить пасьянс своей жизни, который на этот раз должен был, наконец, сойтись, который так ни разу и не сошелся; и если Виктор, тогда шести-, тогда семилетний, тянулся к какой-нибудь марке, больно бил его по руке, с искаженным лицом, вымещая на нем свою обиду и ярость, затем, замечая слезы в Викторовых глазах (те же слезы, которые до сих пор стоят в них...), закусывал нижнюю губу, дергал длинной прекрасной шеей и с лицом, теперь виноватым, несчастным и прояснившимся, протягивал ему — на, бери, вот, дарю — одну из своих заветных, драгоценных марок, не самую, наверно, заветную, не самую драгоценную, не какую-нибудь, например, африканскую —

Алексей Макушинский

Уганда, Бурунди, — а марку французскую, тоже, видно, представлявшую немалую ценность, с изображением надменного короля в берете, в великолепном одеянии с широченными рукавами, при том, что Виктор еще и не сознавал, какой это был царский, какой королевский подарок, да и впоследствии не смог бы отдать ему должное в полной филателистической мере, поскольку и позже, подрастая без Юры, не делал ничего или почти ничего из того, что тогда еще полагалось делать образцовому советскому мальчику, которым никогда он и не был, которым отчасти был Юра: и в шахматы не играл, и марками не увлекался; и кто знает, где теперь эти Юрины марки, где теперь тот король, думал он, сквозь боль в ногах, слезы в глазах, в японском уединении, на другом краю мира, а он хотел бы, чтобы всегда длилось, никогда не кончалось это мгновение, этот царский жест — вот, дарю, на, бери, — чтобы всегда звучали эти слова, и слова не сказанные — не плачь, прости меня, — чтобы тоже звучали; да они и звучали в нем, в немыслимой тишине дзен-до, в снежном холоде; да и мгновение длилось, действительно, где-то в нем, Викторе, в тех внутренних пространствах, которые раскрывал или создавал в нем дза-дзен, во внутренних, уже совсем, наверное, не буддистских пустотах.

Изюм

А мгновение — оно, вообще, сколько длится? Вдруг смех, сквозь слезы, в нем прорывался; на подушке сидя по-прежнему, лицом к лицу с бумажной стеной и всем своим прошлым, вспоминал он, как они шли с Тиной по Франкфурту, в первую пору их любви, в счастливое время жизни, и как ей захотелось съесть булочку с изюмом (ей часто хотелось съесть булочку, с изюмом или без него), и они зашли в хорошую булочную, недалеко от Пальмового сада (Palmengarten), и

булочка была вручена им в кулечке, который Тина долго рассматривала, разглаживала, потом принялась хохотать, хохоча, вручила Виктору — и как они еще долго потом смеялись (как они умели смеяться в ту первую пору их любви, в счастливое время жизни), читая, что там было написано — там же, на этом кулечке, сообщалось, что время: время не только относительно, оно еще и делимо. Согласно данным науки (сообщалось на кулечке) мгновение длится ровно 2,7 секунды. У хлеба нашей фирмы (название фирмы он не мог вспомнить, как ни пытался) есть в запасе 32 000 мгновений (цифры Виктор запоминал хорошо), чтобы достичь совершенства. Потому что (сообщалось далее), прежде чем он (т.е. хлеб) попадет в продажу, должно пройти до 24 часов, в течение которых его медленно и вручную готовят. Поэтому в каждом ломтике содержится наш ценнейший ингредиент — время. И была подпись — имя хозяина (которое он забыл), с пометой — мастер-пекарь. Это может быть только в Германии, говорила Тина, смеясь, отламывая крошечные кусочки от булочки (по ее уверениям вкуснейшей; но Виктор даже отдельно выковыренную изюминку попробовать отказался); только в Германии, говорила Тина, можно обнаружить кретинические рассуждения о природе времени — или чего бы то ни было — на бумажном кулечке, в который тебе положили булочку, да, в самом деле вкуснейшую. Жаль, что Виктор отказывается. А почему мгновение длится именно 2,7 секунды? Вот часы, Викторовы, миллионерско-банковские, вот одна секунда, другая секунда, еще семь десятых. Один щелчок пальцами, еще один, и даже еще один. Значит, три щелчка — мгновение? Почему не один щелчок? Какой бред, кто это выдумал? Они шли вдоль Пальмового сада к Бокенгеймерландштрассе; смеялись и смеялись по-прежнему. А какой день был? солнечный, ветреный? с какими облаками? Как жаль этих облаков,

Алексей Макушинский

не запомненных, не замеченных, навсегда пролетевших... А у нее было однажды что-то вроде видения, объявила вдруг Тина. Это было в Аргентине, на юге, в Рио-Давиа, одном из самых странных, удивительных, прекраснейших городов на земле, куда страшно долго она добиралась, где целыми днями фотографировала, на улицах, и в кафе, и у моря, и на знаменитом мосту, с которого едва не сдул ее ветер, под сперва безжалостным солнцем, затем и к счастью для ее фотографий сменившимся громадно-грозными, с океана налетевшими облаками. После такого дня фотографирования она пришла в гостиницу возле университета, рухнула на кровать. Ей показалось, что она сейчас заснет, но она не заснула, она лежала в том сумеречном, тревожном и таинственном состоянии, когда уже видишь первые сны, но еще знаешь, что видишь сны, что лежишь на кровати, еще чувствуешь свое тело; и в этом тревожно-таинственном состоянии ей, рассказывала ему Тина на Бокенгеймерландштрассе, вспоминал теперь Виктор в Японии, увиделось что-то вроде бесконечного архива фотографий, бесконечные коридоры с выдвигаемыми узкими ящиками, где было собрано все, в сотнях ракурсов, все мгновенья всех жизней, вот это, вот это и вот это, рассказывала Тина, прищелкивая пальцами, поворачиваясь своим мощным корпусом слева направо, как будто обводя рукою и взглядом перед ней замершие, покорные ей мгновенья; все, она рассказывала, что когда-либо она видела в жизни, и что кто-либо когда-либо в жизни видел; и она какие-то ящики сперва выдвигала, смотрела; и в одном, вот это она запомнила, была большая бродячая всклокоченная собака, которую в тот день она сфотографировала на окраинной пыльной улице, которой уделила всего один кадр, которая здесь повторялась и повторялась, так увиденная и этак, с разинутой лиловою пастью, с опущенной, несчастной, грязной и мокрою мордой; и потом были люди в кафе, которых тоже снимала она в тот день, в

сотнях тысяч ракурсов, в миллионе, отраженные в больших зеркалах, в высоких окнах, изнутри и снаружи; и потом она уже не выдвигала ящиков, но шла и шла, сознавая, что почти уже спит, по этим бесконечным, бесчисленным коридорам, хранящим память обо всем, что с кем-нибудь когда-нибудь было и приключилось, что кому-то и когда-то увиделось, и ей само это было смешно, рассказывала Тина, вспоминал Виктор, и сквозь почти-сон она еще успела подумать, что в стране Борхеса такие видения напрашиваются, и чуть не вслух рассмеялась, а вместе с тем она понимала, что с ней происходит что-то важное, что-то такое, что не каждый день, не каждую ночь происходит; и чем дальше она говорила, чем дальше шли они по Бокенгеймерландштрассе, по Таунус- и Галлусанлаге, вспоминал теперь Виктор, тем яснее и сам понимал он, что она говорит о чем-то для нее важном, нешуточном. Она смеялась — и тогда, в таинственном Рио-Давиа, и теперь, в обыденном Франкфурте, и во сне, и наяву, и в предсонье, — и словно предлагала ему вместе с ней удивиться, какой вздор иногда лезет в голову усталой фотографии (как Виктор, случалось, называл ее в то счастливое время), а он видел, что говорит она не совсем не всерьез, и удивлялся не столько самому вздору, залезшему усталой фотографии в ее голову, подставленную южному солнцу, океанскому ветру, сколько тому, думал он, что каким-то краем души она, очевидно, на этот вздор отзывается. Теперь удивлялся он своему удивлению. Только он хотел бы не мертвых фотографий, он думал. А чтобы все всегда оставалось живым. Чтобы все, что он помнит, чего больше никто не помнит, каким-то образом длилось, чтобы все это было сохранено, спасено. И чтобы Юра не тонул в проклятой реке, чтобы и бабушка Руфина не умирала возле Витебского вокзала в больнице. Какая безумная мысль, какая призрачная мечта.

Полнота вечности

Почему, собственно? Мир провалится, а лицо твое не исчезнет, вспоминал он слова Мумона в том, для него, Виктора, первом и самом важном коане, который будто бы решил он когда-то, вот здесь, на этой подушке, перед этой бумажной стеною, который теперь снова казался ему нерешенным, неразрешимым. Этого нельзя ни описать, ни нарисовать, говорит Мумон в своем стихотворении, вместе с комментарием (том, где личи) приложенном к самой истории (о грубом генерале, преследовавшем Хуэй-нэня, любимого нашего). Этого нельзя ни описать, ни нарисовать; ни к чему все твои славословья, твои восторги. Перестань и не пытайся понять это разумом. Изначальное лицо негде скрыть, негде спрятать. Даже если весь мир провалится, лицо твое не исчезнет... Лицо твое не исчезнет, повторял про себя Виктор. Но ведь это именно мое лицо, не Боба, не роси, не вот этих двух стариков. Почему *они* думают, что это какое-то общее всем нам лицо, какое-то безличное лицо? с внезапным возмущением спрашивал он себя. Безличное лицо, быть может, и сохранится, но мое-то погибнет. А он ведь и хотел, чтоб погибло. Чтобы отвалились все личины, все личности. Хотел ли он этого? Он уже не знал, чего он хотел. Он ничего не знал больше, ничего не понимал, во всем сомневался. Он знал только, что от руфиников не откажется. А ведь надо от всего отказаться. Опять-таки: почему? Если нет руфиников, то нет его, Виктора. Если отбросить все, что он помнит, все руфиники и все личи, ничего не останется. Отбросишь личи — и останется только безличность. Его лицо — это и есть личи, думал он, уже путаясь в мыслях. Это личи, которые давала ему Тина своими толстыми пальцами, это черника, которую он нес для нее в горсти. Его я — это его история... И чего же он действительно хочет? Он и вправду хочет, чтобы всегда это длилось? Чтобы всег-

да он нес в горсти чернику для Тины, в таунусских горах, на вершине их счастья? Чтобы всегда ему Юра протягивал королевскую марку? Да, он именно этого хочет. Он этого хочет, говорил он себе, именно этого и ничего другого не хочет он. Какой вздор, какая призрачная мечта... К таким мечтам, да и к любым мечтам, он до сих пор относился враждебно, презирал их, презирал тех, кто им предается. Он считал себя человеком рациональным, чуть-чуть безумным, а все же рациональным, экономистом и математиком, не принимающим на веру ничего, никогда. Он потому и выбрал дзен на рынке мировоззрений, что дзен никакой веры не требует, а предлагает самому во всем убедиться. Дзен — религия опыта. Забудь о Будде, не думай о Боддхидхарме, убедись своими глазами. Если дважды два не четыре, а шесть, семь или девять, то это ты сам узнаешь, потому что увидишь. Или не увидишь, не узнаешь, но сам. Если дважды два четыре — это стена (бумажная? каменная?), то никто тебе не станет рассказывать о райских красотах за нею, но ты должен прорвать ее, эту стену, пробить ее, эту стену, увидеть своими глазами, есть ли что-то за ней и что именно... А на самом деле он просто поверил какому-то небольшому набору истин, или не-истин, будто-бы-истин, якобы-истин, просто взял и поверил, что я иллюзорно, что нет никакого я, есть лишь сменяющие друг друга мгновения, есть только дверь, что открывается при вдохе, закрывается при выдохе, как пишет *другой* Судзуки. А это так же правильно или так же неправильно, как все вокруг и все остальное. Это только мнение, среди прочих возможных. А верно, быть может, обратное. Ничего и нет, может быть, кроме этого я, с его воспоминаниями, его прошлым и с его (он думал) тоскою, его отчаянием, его печалью, его несогласием. Все прочее — иллюзия, а вот это его несчастное, маленькое, мятущееся я — это-то как раз правда. И он совсем

Алексей Макушинский

не того ищет, что ему до сих пор казалось, он ищет. Не пустоту настоящего, а полноту вечности, в которой все живо, все живы. Полноту вечности, а вовсе не пустоту настоящего, повторял он про себя и по-русски, даже, вдруг, по-русски и вслух, к удивлению или не-удивлению суровых стариков, недвижимыми глыбами сидевших с ним рядом, перед той же бумажной стеною.

Руфиников я не отдам

Чем дальше шло время, чем дальше продвигался он вглубь этих четырех недель, в снежном свете, в горной глуши, тем сильнее становились его сомнения, тем мучительней не отпускавшие его мысли, пускай только мысли (а ведь важно то, что за мыслями, по ту сторону мыслей...), но такие мысли, от которых ему некуда было деться, некуда спрятаться. Все рушилось под ударами этих мыслей, как будто набок, треща и вздрагивая, валилась его дзенская хижина, стены падали, перегородки ломались, тот мир, тот мирок, в котором, как он вдруг понял, жил он все последние годы, в котором было ему так тепло и уютно, не существовал больше, исчез. Исчез и рухнул этот уютный дзенский мирок, эта чудная дзенская хижина, набор затверженных мнений, заученных истин, не-истин. Ничего больше не было внутри, все было теперь снаружи. Он сам сидел снаружи, в снегу и холоде, как Эка перед пещерою Бодхидхармы, дрожа и замерзая на ледяном, враждебном ветру. Но ведь так и должно быть, великие сомнения предшествуют великому просветлению, говорил он себе, и разве не было у него этого чувства крушения стен, падения перегородок, когда случилось с ним первое кен-сё и сатори? Теперь это было иначе, во сто крат мучительней. Тогда было чувство победы, а теперь было чувство поражения, все более острое. Но именно так и должно быть, говорил

он себе, и сомнения должны нарастать, и чувство поражения должно усиливаться... Он только не знал, еще ли дзен то, что с ним происходит, или уже не дзен, еще идет ли он по своему буддистскому пути, или путь этот вывел его в совсем другую сторону, куда вовсе не собирался он выходить, завел его за такой угол и поворот, за который вовсе он не предполагал заворачивать. А может быть, это только уловка его я, его самости, его эго? он думал. Его эго обманывает его, подсовывая ему все эти мысли? Его я, его ящер... Оно не хочет гибнуть, оно борется с ним. Это уловка и хитрость, ничего более, убогая уловка, примитивная хитрость. Поэтому надо просто сидеть, не бояться, надо выдержать эту борьбу с собой на подушке, эту — кто знает? — решающую схватку с самостью, которую вот сейчас, вот сейчас победит он.

Прорванная стена

Он не побеждал, он терпел поражение. Уже и не пытался он сказать что бы то ни было Китагаве-роси, по-прежнему смотревшему на него своими внезапными, старческими, всепонимающими глазами, из мира своих морщин, и возвратившись с докусана, пробежав по внешней галерее, опять заметной снегом, думал, дрожа от холода на своей подушке в дзен-до, что он попытается сказать все это, или хоть что-то из этого — Бобу, когда возвратится во Франкфурт, и в то же время так ясно понимал, что именно Боб ответит ему, что и смысла не было, думал он, говорить Бобу что бы то ни было, едва ли не слышал он Бобов ответ, на своей подушке по-прежнему сидючи, и если все-таки не мог удержаться, то как будто и говорил с Бобом, обращался к Бобу, на подушке сидючи и даже выдохи свои не считая, и говорил ему, что — пускай, если это действительно так нужно, его я погибнет и уничтожится, но своим братом Юрой он не по-

Алексей Макушинский

жертвует, не даст убить его вновь, и так ясно представлял себе Бобов ответ, как если бы тот и в самом деле, вот здесь, в этом японском дзен-до, в снегах и горах, отвечал ему, говоря, что — вот и отлично, вот и уничтожь свое я, умри сейчас, умри окончательно, на этой подушке, умри — и стань навсегда свободным, вот что важно, только об этом идет сейчас речь, и только о тебе, только о твоём я идет речь, о других не надо заботиться... Но если меня не будет, кто будет помнить о Юре, кто будет любить его? Любить именно Юру, а не всех людей одинаково? Все это вздор, пустые отговорки, говорил ему Боб, уловки эго, не желающего умирать на подушке. И разве не чувствует он, отрываясь от своего я, своего ящера, своего эго, разве не чувствует он струенья любви и дхармы? разве любовь убывает в нем? Нет, в нем любви все больше; ее хватит на всех; ее не надо делить; да и нельзя поделить; она Юре достанется вся безраздельно, и вся безраздельно его маме, или его бабушке, неважно, кто из них жив и кто умер. Да, это так, думал Виктор, но любовь — это предпочтение, любовь — это выбор, любовь каждый раз особенная, и он не так любит Тину, с которой он как мужчина расстался, но которую ведь любит по-прежнему, совсем не так ее любит, как любил, любит брата, или Китагаву-роси, или этих двух суровых стариков, сидящих сейчас рядом с ним. Ну и что, думал Виктор, и разве не любит своих детей, свою жену тот же Боб, большую девочку и здорового мальчика, разве он не любит их всех по-разному, всех и каждого особенную любовью? А вот он, Виктор, как раз и не знает, кого и как любит Боб; Боб любит, кажется, всех одинаково. Он, Виктор, во всяком случае, никогда не чувствовал себя — предпочтенным и выбранным; его, Виктора, Боб точно любит не так, как Виктор хотел бы, чтобы любил его Боб, это он, Виктор, должен Бобу сказать наконец. *This is something that I have to tell you at last, dear Bob...* И кто, он думал, стуча зубами от холода, кто

будет помнить о Юре, любить Юру, если он сам, Виктор, вот сейчас, на этой проклятой подушке, исчезнет? И кого он будет любить, если ничего нет, никого нет, если я иллюзорно? Иллюзия, изнывающая от любви к иллюзии, от своей иллюзорной вины, своей иллюзорной печали... Вина и вправду выдуманная, но печаль-то реальна. Это его печаль, это его настоящая, подлинная печаль, с которой вовсе не хочет он расставаться... А ведь Юры уже — сколько? — Боже мой! уже четверть века нет на земле. Его нет, а все же он есть, раз он, Виктор, по-прежнему его любит. Он любит не воспоминание о нем, не фантом и не призрак, но он любит того Юру, на которого в детстве смотрел с обожанием, с надеждой, что тот сам, наконец, на него взглянет, его увидит... Тот так, похоже, и не увидел, так и не заметил его, а он видел Юру теперь и по-прежнему, закрывая глаза, в снежном свете, пробежавшем по векам, не Юру с фотографий, расставленных по полочкам у родителей, но живого Юру с маркой в руке, или Юру, вылезающего из своей кровати, с такой неохотой, потягиваясь и крутя головой, в одно из тех летних, дрожащих от света утр, когда Виктор, уже проснувшись, следил за перемещениями солнца по дощатому, буро-красному, свежей масляной краской остро, отравно и сладостно пахнущему полу; и не только видел он Юру, но почти, ему казалось вдруг, чувствовал его живое присутствие, где-то рядом, в немыслимой тишине дзен-до, со всех сторон окруженного тишиной снегов, безмолвием гор, как если бы, вызванный — но откуда? — его, Викторовой, упорной мыслью о нем, тот дотрагивался, легчайшим касанием, до его, Викторова, плеча или, скажем, ключицы, до того места, до которого Боб, бывало, во время сессина, сперва тоже дотрагивался, примериваясь, по которому бил затем плоской палкой — киосаку, — пробуждавшей его от предыдущего бодрствования. Он сам дотрагивался правой рукой до левой ключицы, нарушая неподвижность

Алексей Макушинский

дза-дзена; затем левой рукой щупал правую; надавливал пальцами, чтобы причинить себе боль; следил за постепенным замиранием этой боли; ловил ее отзвуки; когда боль успокаивалась, снова чувствовал чье-то присутствие — как если бы там ходил кто-то — Юра, не Боб — с киосаку в руке, как если бы Юра и был его, Виктора, настоящим наставником, его самым главным учителем, каким он, возможно, и стал бы, если бы выплыл тогда из водоворотов Лиелупе, стремнин Курляндской Аа, — и хотя Виктор точно знал, что никого там нет, у него за спиной, кроме все той же тишины, того же холода и того же снежного света, все-таки вздрагивал он в восторженном ужасе, в ожидании окончательного удара, от которого уж точно проснулся бы он, навсегда. Удара не было, но касание было, легчайшее, нежное, даже, пожалуй, робкое. И как ни пытался убедить себя Виктор, что это галлюцинация, одна из тех, продвинутым и очень продвинутым ученикам хорошо известных галлюцинаций, которые, как много раз читал он в книгах и как рассказывал ему Боб, рассказывал старик Вольфганг, знавший толк в этом деле, имеют обыкновение отвлекать и запутывать дзенских адептов на ближайших подступах к решающему прорыву (почему все учителя и наставники советуют просто не обращать на них внимания, сосредотачиваясь на счете выдохов, решении коана, или на чистом сидении лицом к лицу с пустотою) — как ни пытался он убедить себя в этом, как ни усердствовал, по-прежнему — плечом, ключицей, всем телом — чувствовал Юрино, где-то рядом, присутствие, его легчайшее, любящее касание; если Юра вот сейчас ему явится (говорил себе Виктор), если он, Виктор, откроет глаза и Юру вот сейчас, в этом снежном свете увидит, то — что же? — то он встанет, сразу, с проклятой подушки, прорвет бумажную стену, уйдет, уедет отсюда — и со всяким дзеном, тоже навсегда, будет кончено.

Три встречи

Юра ему не явился, сквозь бумажную стену он не прошел, отсидел весь свой срок; возвратился в Европу, в Петербург и во Франкфурт; возвратившись во Франкфурт, почти сразу позвонил мне, как я теперь понимаю; сказал, что очень уж д-д-давно мы не виделись и что н-н-надо бы повидаться. Мы повидались, действительно: один раз, и (через неделю) второй, и затем вскоре третий (последний). Что-то было странное, тревожное в этих встречах. Уже то было странно в этих встречах с Виктором, теперь я думаю, просматривая мой тогдашний дневник, что они каждый раз начинались в одном и том же месте, в том Музее кино с его стульями-лицами (или креслами-лицами), где я сидел некогда с Тиной, после покупки фотоаппарата в ее родительско-сестринском магазине, то есть, собственно, в кафе при Музее кино, где, мне показалось, Виктор ни разу до тех пор не бывал, хотя этот музей, соответственно и это кафе, расположены в каких-нибудь двух кварталах от его дома (теперь уже его бывшего дома) и он каждый день проходил, пробегал, проезжал на велосипеде мимо, все свои франкфуртские годы. Он не сразу даже и понял, что я имею в виду, когда я предложил ему встретиться там; войдя в фойе, с таким изумлением уставился на пресловутые лица-стулья, словно неведомых зверушек ему показали, уселся в одном из них, опасливо пробуя, вправду ли можно сидеть в нем, тут же встал, с не меньшим изумлением взял из моих рук месячную кинопрограммку, выложенную в особенных пазухах у входа (тоже, видно, впервые он узнал от меня, что здесь почти каждый вечер показывают новые и старые, всем известные и никому не известные фильмы, такие, каких больше нигде не посмотришь; я очень люблю здесь бывать, в подвальном кинозальчике с глубокими красными креслами,

Алексей Макушинский

вовсе не лицами). Не только мы все три раза встречались в этом кафе, но и шли потом, все три раза, не стовариваясь, по берегу Майна, всегда в одну сторону, к Восточной гавани, к тогда еще не достроенному двусторчатому зданию Европейского центрального банка (спланированному австрийским архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au) — зданию, за постепенным развитием и ростом которого я наблюдал все последние годы с восхищением, растущим вместе с самим этим зданием, — затем по железнодорожному, окраинному мосту на другой берег, и возвратившись в город, еще куда-нибудь — к Эшенгеймским воротам или к Старой опере, ни разу, впрочем, не доходя до Тининого дома, университетского кампуса, Грюнебургского парка, бетонного садика за автострадой (где еще так недавно, уже давно, он рассказывал мне о своей ссоре с Герхардом, если это и вправду была ссора, о хвосте быка, или буйвола, проходящего сквозь оконную решетку, о тайных книжках, по которым отвечают на дзенские вопросы ленивые, мечтающие о наследственном храме монахи, о том, что все съедено фальшью, превращено в пустой ритуал). Он изменялся от одной встречи к другой. В первый раз, или так мне тогда показалось, так помнится, он был еще окутан, еще осиян тем себя сознающим светом, который светит в нас и сквозь нас первое время после сессина, после просто длительных, ничем не нарушаемых медитаций; уже, конечно, начал в нем тускнеть этот свет — как-никак летел он из Токио в Петербург, из Петербурга во Франкфурт, — а все-таки, на него глядячи (на его голый череп, преувеличенные глаза, отчетливые движения), я не мог не думать о том ощущении всевластья, всеилья, которое лишь постепенно меня покидало после моих собственных двух сессинов, тоже и в свою очередь уже отступивших от меня в почти легендарное, почти мифологическое (думал я) прошлое. А вместе

с тем (как пробивается вдруг на юге, сквозь тропическую влажную духоту, не отменяя ее, холодный, резкий и трагический ветер) тревога в нем чувствовалась. Он был в растерянности, по-прежнему не мог ни на что решиться, не знал, что дальше делать с собою, со своей жизнью. И явно хотелось ему рассказать мне о том, что случилось — или, наоборот, не случилось — с ним, в японском уединении, в горах и снегах, он за тем и позвонил мне, как очень быстро я понял, чтобы рассказать мне об этом, а все никак не мог приступить к своему рассказу, заикался и мялся, надевал, я помню, и снова снимал свою идиотскую, с помпончиком, шапочку, расстегивал, затем опять застегивал пижонскую, болотную, от *Varbouc*, куртку; вздохнул с облегчением и взглянул на меня почти с благодарностью, когда после чая с пирожными (очень вкусными; Виктор, к несказанному моему изумлению, слопал сперва две штуки, обе с обильными облаками пухлого крема, потом, покраснев, взял третью; такого себе и Тина не позволяла), уже на набережной (с ее голыми, растопыренными платанами, тенями платанов на влажной скользкой земле), я вспомнил и заговорил с ним о том, как поразил он меня на этой самой набережной давным-давно, в 2004 году, своим сообщением о проделанных им десяти сессинах и тем, что он, значит, мог эти сессины проделать, и познакомиться с Бобом, и вступить с ним в важнейшие для всякого дзена отношения ученичества (в которые сам я с Бобом так и не вступил никогда) — и на наших посиделках с безликим Кристофом в Эйхштетте ни разу, ни единым словом ни о чем из этого не обмолвиться, не выдать себя ни намеком... Он и заговорил со мною об Эйхштетте, о своей жизни там, первом опыте одиночества, о своем равнодушии к учебе и студенческой жизни, тоске *общаги*, пускай немецкой и по-немецки чистой, но все же *общаги*, где он ни с кем не сошелся, и как

Алексей Макушинский

он впервые поехал на нижнебаварский хутор на поезде, потом на автобусе, безумно долго до него добирался, и какое впечатление на него произвел Боб (оглушительное), как он осознал себя дзен-буддистом, как жизнь, наконец, получила содержание и смысл... Во время этих прогулок вдоль Майна, к Восточной гавани и затем назад в город, он, собственно, и рассказал мне все то, что я использовал в моем сочинении; и во вторую нашу встречу явился мне, быть может, по невниманию моему, успокоенным, обыкновенным, почти таким же и тем же Виктором, какого знал я последние годы; все, однако, не мог приступить к повествованию о пережитом в Японии, все только подбирался к нему и потому говорил о Тине, с раскаянием, о первых и счастливых годах их любви, потом о Марине, мышке, Маришке, о лыжных походах и любовных похождениях в Токсове, в Кавголове, о детских лыжах в Сестрорецке и в Сиверской, о дедушке, бабушке, финиках и руфиниках, от руфиников, понемногу и исподволь, но переходя все-таки к своим новым мыслям — от себя он откажется, но руфиниками, нет, не пожертвует, — под ударами коих дрожала, трещала и колебалась его дзенская, еще недавно столь уютная хижина.

Выйти из своей жизни

Все дрожало, все колебалось в нашу с ним третью встречу (последнюю). Громадные, рваные, клокастые, языкастые фиолетово-черные тучи бродили над рекой, над мостами; Виктор, в Музее кино чаю выпивший, но от пирожных и пирогов отказавшийся, так смотрел на эти тучи, как если бы что-то важнейшее от них зависело, его судьба там решалась. Никакой успокоенности в нем не было; он был печален, задумчив, растерян; заикался мучительно и уж совсем не похож был на того Виктора, каким в последние годы я знал его, на того уве-

ренного в себе, преуспевающего, привыкшего принимать решения и брать на себя ответственность банкира и менеджера, каким он явился мне еще во время наших орнитологических прогулок по Грюнебургскому парку, бетонному садику и краснокрышным улицам прозаического предместья, по крайней мере во время первой из этих прогулок, покуда не случилось с Бобом то, что случилось; скорее уж, как после Бобова ареста и Герхардова предательства, напоминал сквозь внешнюю взрослость, сухость и синеглавость того еще-почти-мальчишку с трясущимися кудрями, который скучал в Эйхштетте на моих семинарах, а встреченный у реки, возле полошущих ветки ветел, сообщил мне, что он всегда и много лет бегал, что от себя не убежишь, что он убежать, да, хотел бы. Теперь, стоя на Железном мосту через Майн (где давно уже начали вешать разноцветные, большие, маленькие замки на перила, в надежде, видимо, удержать таким образом чью-то любовь, скрепить чью-то верность, связать кого-то с кем-то навеки...), глядя, как и я, на эти необыкновенные, рваные, клокасто-языкастые и фиолетово-черные тучи, бродившие над рекой и другими мостами, над растущим, уже почти доросшим до своей окончательной высоты на востоке города двусторчатым небоскребом Европейского центрального банка, — тучи, похожие на пороховые ключья после артобстрела, на свинцовый дым, оставшийся от бомбежки, на пыль и щебень, еще висащие в ужаснувшемся воздухе, — глядя на эти тучи, на воды Майна, почерневшие и вздыбившиеся под тучами, сообщил он, что всегда у него было желание — не убежать, но уйти. Просто выйти из своей жизни и дверь закрыть за собою. Я так часто представляю себе это, говорил он. Просто выйти и не вернуться; выйти так, как мы каждый день выходим, когда идем на работу; не пойти на работу. Выйти, запереть за собой дверь, выбросить ключ в реку или не выбрасывать его в реку, обойтись без красивых жестов,

Алексей Макушинский

говорил Виктор, бренча, в самом деле, чем-то в кармане своей болотной барбуровской куртки, то ли мелочью, то ли вправду ключами. Он смотрел на воду; смотрел, как и я, на бесчисленные замки, повешенные на перилах и решетках моста. Я подумал, что ключи в его кармане не подойдут ни к одному из этих замков. Просто выйти, перейти через мост, пойти вдоль реки. Налево или направо, на восток или на запад? Да все равно, пойти на запад, к Рейну, потом на север или на юг? Пойти на юг, неважно куда, ночевать в гостиницах, покуда не кончатся деньги, когда закончатся, ночевать на вокзалах... Ничего этого не будет, говорил Виктор, снова глядя на бомбежные тучи, словно вынужденный признать, что под таким, такие несчастья сулящим небом о побеге нечего и мечтать; мечтать можно, но осуществить его под таким небом, такими тучами никак нельзя, надо ждать чего-то другого, лучшего времени или хоть более милостивой погоды.

Достоевский

Мы не перешли через мост в тот день — просто постояли, странно, на этом мосту и вернулись обратно, на заксенгаузенский, левый берег; пошли по левому берегу, не стовариваясь и не обсуждая, как нам идти, на восток; и чем дальше мы шли, тем сильнее, острее ощущал я в себе самую ту вздернутую, как-то связанную или никак не связанную с этими зловещими тучами тревогу, которая так очевидно сказывалась в его, Викторовых, глазах и словах, во всем его облике; поначалу очень мучительно, потом чуть менее мучительно заикаясь, но уже без всяких обиняков, отвлекающих реминисценций, заговорил он со мною о том, что с ним случилось (не случилось) в Японии, о том, как он сидел там, в снежном свете, проникавшем сквозь бумажные окна, и как старик Китагава диктовал одному из старых суровых монахов свои

комментарии к Ёка Дайси, как потом читал их другому монаху (все, наверное, понимавшему) и ему, Виктору (вообще переставшему понимать что бы то ни было); по окраинному железнодорожному мосту мы перешли все-таки через Майн; пошли вдоль забора, за которым уже дорастал до предназначенной ему высоты двусторчатый небоскреб Центрального банка, еще окруженный всем тем восхитительным, что свойственно большой стройке: бетономешалками, вагончиками для рабочих, узкими рельсами, горками из песка и щебенки, трема, если память меня не подводит, празднично-желтыми, паутинно-тоненькими и неправдоподобно высокими подъемными кранами, перераставшими сам небоскреб, так что их игрушечные кабинки оказывались уже прямо среди бомбежных, иссиня-фиолетовых туч. Я писал в ту пору «Пароход в Аргентину», роман, посвященный жизни великого русско-балтийско-французско-аргентинского архитектора Александра Николаевича Воскобойникова, более известного просвещенному человечеству под своим галлицизированным именем Александр Воско, и не только писал уже этот роман, но как раз собирался — на другой день — лететь в Ригу, чтобы посетить те места, где рос, жил, учился и воевал мой герой, и потому смотрел теперь, отвлекаясь от Викторова рассказа, на эти праздничные желтые краны и прозаические вагончики, эти внизу уже спрятанные за стеклянным фасадом, наверху, в приближении к бомбежным тучам, еще обнаженные перекрытия и квадраты каркаса, прозрачные соты грядущей, пускай не человеческой, но деловой и банковской жизни, и на эти косые, мощные поперечины, скрепляющие башни друг с другом, железобетонные (наверное) балки, с тех пор и в свою очередь тоже забранные стеклом, так что двусторчатость всей конструкции уже не столь очевидна, как была она очевидна в тот ранне-весенний, пороховой и тревожный

Алексей Макушинский

день, — смотрел на все это глазами человека, которого все это касается непосредственно и впрямую, не менее непосредственно и прямо, чем Викторов рассказ о странностях Китагавы-роси, о его любви к Достоевскому. К Достоевскому?! Вот именно: к Достоевскому. Перепрыгнув через пару строительных луж, поскользив по разъезженной, со следами толстых шин и тракторных гусениц, глине, мимо арабского кафе с кальянами и африканской лавочки с неведомым никому содержимым, вышли мы к Восточному вокзалу, к Данцигской площади, а значит, и к русской книжной лавке, на этой площади находившейся, до сих пор находящейся; Достоевский был представлен там двумя или тремя (новыми, разухабисто-глянцевыми) изданиями; из тех новых изданий, которые стараюсь я и в руки не брать, сказал я Виктору, ни разу, как выяснилось, не заходившему до сих пор в эту русскую книжную лавку, не подозревавшему даже о самом существовании оной... Настроение у нас обоих по-прежнему было тревожное, тревожно-вздернутое, другого слова не нахожу; но и мы не могли не рассмеяться, когда на обратном пути по набережной появился вдруг — или как раз не вдруг, но заранее, долгим и глубоким гудком предупредив о своем появлении, своем приближении — по тем старинным и ржавым рельсам, которые с незапамятных времен, как всегда мне казалось, со времен первой индустриализации лежат на майнском берегу, — загудел, появился, приблизился поезд, влекомый старинным же, после каждого гудка выпускавшим черный дым из трубы своей паровозом, маслянисто-черным, огромным, с красными колесами и красным кокетливым наметельником; поезд, состоявший, помимо паровоза и тендера, из немногих маленьких, тоже старинных и откровенно деревянных зеленых вагончиков, из окон которых высовывались веселые туристские физиономии, анекдотически длинные объективы

их фотокамер. Поезд влекся тоже анекдотически медленно, испуская дым, гудки и приветственные возгласы не чуждых пиву пассажиров, то махавших руками прохожим, нам с Виктором, то опять принимавшихся изо всех сил щелкать своими гипертрофированными фотоаппаратами, снимая все подряд, без всякого смысла. Понятно было, что в лучшем случае такой поезд может доехать от Западной франкфуртской гавани до Восточной франкфуртской гавани; все же этот исторический — доисторический — паровоз, этот наметельник и этот тендер, эти хохочущие вагоны — все это как будто отвечало Викторовым словам о побеге, уходе; говорило о других местах, других временах. Настроение наше из тревожного просто превратилось в игриво-тревожное. А почему бы нам с вами, Виктор, тоже, например, не напиться? А что, в самом деле, вы меня еще не видели пьяным, и я вас еще пьяным не видел, у вас, кажется, есть повод напиться, и у меня, сообщил я Виктору, хотя вовсе не собирался ему рассказывать о своих сердечных невзгодах, как и здесь не собираюсь этого делать, у меня тоже, если хотите знать, есть повод напиться, и хотя мне-то уж точно напиваться бы не следовало, завтра утром я улетаю, но почему бы все-таки не зайти нам в какой-нибудь бар, не пропустить, как говорится, по рюмке?.. Но еще мы долго шли по набережной, потом через город, долго плутали по привокзальным бандитско-блядским улицам, прежде чем, совсем недалеко от фотографической лавки Тининых родителей и сестры, кувырнуться (возьмем достоевское словечко, в продолжение только что звучавшей темы) в подвально-плюшевое, мрачно-бархатное заведение, над входом в которое винно-красными, прыгающими в сумерках буквами в самом деле написано было Bar и где тут же охватил нас затхлый запах дешевого разврата, застоявшейся пыли, сивухи, пота, мочи и марихуаны.

Семь миллиардов это

Мы пришли слишком рано; настоящий праздник жизни в таких местах начинается ближе к ночи. Никого и не было в заведении, кроме добродушно-грубого бармена, пожилого дядьки в зеленой жилетке, с седой косичкой и седой же бородкой, напоминавшей бородку-бороздку симпатяги Гельмута, когда-то в Эйхштетте познакомившего меня с буддистом Кристофом (бхагаваном и рама-кришной...), толстого и все более толстого Гельмута, любителя порассуждать о продажности политиков, ужасах войны, прелестях мирной жизни. Желаем ли мы, поинтересовался симпатяга нынешний, не столь толстый, как Гельмут, отведать его коронный коктейль? Мы, по глупости, пожелали. Если водку смешать с мартини и ромом, то посетитель будет быстро нокаутирован. На высокой табуретке сидючи, как и я, довольно скоро стал Виктор раскачиваться, проверяя, похоже, свалится он или нет; веселее нам с ним не сделалась. Музыка, кстати, в баре была хорошая; по крайней мере, негромкая; Виктор был удивлен моим джазовым невежеством, сообщил мне, я помню, что-то, только не помню, что именно, о Чарли Паркере и Джоне Колтрейне. Он и в джазе разбирается, следовательно? Еще бы он в джазе не разбирался, не все же слушать ему сякухати. А может быть, и хорошо, что хвост не проходит, провозгласил он, раскачиваясь на стуле, тем же тоном, каким говорил о Колтрейне, о Паркере. Что за хвост? вы о чем? Не повторить ли коронный коктейль? — поинтересовался симпатяга-бармен. А валяйте, повторяйте, чего уж... Может быть, это здорово, может быть, это как раз замечательно, что весь буйвол прошел, рога пролезли, башка пролезла, туловище пролезло, а хвост не пролезает сквозь окно и решетку. Не пролезает и никогда не пролезет. Хвост, последнее достояние наше,

провозгласил Виктор, поднимая стакан, позвякивая льдинками и обращаясь к бармену, как будто предлагая ему с ним чокнуться, хотя тот ни слова не понимал в нашей русской беседе, только смотрел с профессиональным одобрением, играя глазами, потряхивая косичкой, закидывая за плечо полотенце. Конечно, Виктор преувеличивал свое опьянение. Без рома с мартини он, наверное, не сказал бы мне того, что сказал, думаю я теперь; но сказал ли он все это, потому что и в трезвом виде так думал, я не знаю, не могу решить для себя. Все сильнее и сильнее он раскачивался, так что уже и бармен-симпатяга на него посматривал с опаской, подергивая седую бородку (седую бороздку). Сейчас свалитесь. Ну и что? ну и свалюсь. На земле семь миллиардов человек, на земле даже семь миллиардов четырнадцать миллионов человек, по крайней мере было недавно, он смотрел в Википедии, семь миллиардов четырнадцать миллионов человек, говорил Виктор, продолжая раскачиваться, подлинно пьяными или наигранно пьяными глазами глядя на меня и бармена, если с тех пор как он заглядывал в Википедию, не народился еще миллиончик, и ежели один из этих семи миллиардов четырнадцати, а то и прямо пятнадцати миллионов человек, живущих на земле и под небом, сейчас свалится с табуретки и бухнется на пол, то ей, земле, и ему, небу, провозгласил Виктор, тыча пальцем в направлении черного потолка, нет до этого ни малейшего дела, ей, вселенной, на это в высшей степени наплевать. А мы ведь все хотим, чтобы ей было не наплевать, мы все кричим: вот я, вот он я, с моим эго, моим маленьким, моим трепетным ящером, моими драгоценными воспоминаниями, моей единственной жизнью. И что же, очень прямо глядя на меня своими подлинно и наигранно пьяными, по-прежнему страдальческими, сумасшедшими и,

Алексей Макушинский

вопреки мартини, совершенно осмысленными глазами, что же, говорил Виктор с ироническим вызовом, я жду от него, что он поверит, будто вселенной не наплевать, будто кому-то в ней есть до нас дело? Нет, уж лучше он грохнется сейчас об пол и все будет кончено. А по расчетам одного умника с самого начала истории, до-истории, прочих до-ископаемых, на земле и под небом жило сто семь, если не прямо сто восемь миллиардов человек, каждый со своей мечтой и судьбой. Вы можете себе представить сто восемь миллиардов человек? Вряд ли можете вы представить себе сто восемь миллиардов человек. Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи. И что же? каждый из этих ста восьми миллиардов человек на учете? каждый из них что-то значит? Один из них, во всяком случае, пьян, и очень рад, что он пьян, и сейчас допьет свой убойный коктейльчик, и закажет новый, а вы как хотите, а что хвост не проходит, это все-таки замечательно, это лучшее, последнее достояние наше... Он словно примерял на себя роль и обличье человека, одного из ста восьми миллиардов, живших когда-либо на земле, который, напившись, стал бы говорить то, что он говорил, но другого способа сказать все это у него, наверно, и не было. Он смеялся, а глаза его не смеялись. А Бобу вы говорили это? Нет, зачем, только его расстраивать. Боб хороший, Бобу все равно. Бобу по-настоящему все равно, вот в чем дело. Он очень хороший, он замечательный, он всех любит, всех любит одинаково, и, в сущности, ему наплевать, наплевать тоже на всех одинаково. А ведь любовь — это выбор, любовь — предпочтение. А нам, дзен-буддистам, не положено выбирать, мы должны убить в себе *выбиральщика*. А без *выбиральщика* какая любовь? Всеобщая любовь, разбавленное вино. Не то что этот убойный коктейльчик. Да повторяйте, повторяйте, чего уж... Остались мы на бобах с вашим Бобом. С моим Бобом? Хорошо,

с моим Бобом, с ничьим Бобом, с самим-по-себе-Бобом, с наплевать-на-всех-Бобом. Нет, я не свалюсь с табуретки. А если я и свалюсь с табуретки, какая разница? На земле семь миллиардов пятнадцать, или уже шестнадцать, миллионов эго, семь миллиардов шестнадцать миллионов хвостов, ящеров, центров вселенной, и если один из них бухнется с табуретки, то наплевать ей, этой вселенной. Ей, как Бобу, наплевать на всех одинаково. Остались мы на бобах с вашим Бобом, с вашим дзеном, со всеми этими коанами вашими, всеми этими шутками вашими. Они думают, все зло от самости, говорил Виктор, не уточняя, кто эти *они*, продолжая раскачиваться, смеясь, с несмееющимися глазами, изображая философствующего пьяницу, трактирного резонера. А зло, может быть, как раз от ее отсутствия, или от ее недостатка. Последнее отдайте, возможность сказать: я. А вот фиг ей, накося выкуси. Они все хотят, чтобы мы от себя отказались, говорил Виктор, не уточняя по-прежнему, кто эти *они*, кто эти *мы*. Ну и черт с ними со всеми. В споре человека с религией прав человек. Боб — да, Боб хороший. Боб хороший, и на всех ему наплевать. Вот Барбара, роковой ангелочек. Дура была эта Барбара, а ведь он ее понимает. Ей тоже хотелось, чтобы, наконец, ее выделили, наконец, предпочли. Любовь и есть предпочтение. А он мог переспать с Барбарой в Голландии, на острове Тексель; дурак, что не переспал. Китагава тоже хороший. И старики в горах настоящие. А в монастырях одна фальшь. И нет никакого дзена: каков человек, таков и дзен. Мы мечтали о великой свободе, а попали просто в секту. В споре человека с религией прав человек, смеясь и раскачиваясь, повторил Виктор свою странную формулу. И он всю жизнь потратил на погоню за химерами, на бобах остался, вот так-то. Остался с Бобом на бобах. Боб хороший. Боб на бобах. Еще один коктейль — и он действительно свалится с табуретки.

Алексей Макушинский

Невыигравший билет

С табуретки он не свалился. На табуретке через одну от Викторовой, в моргающем свете зеленых и синих лампочек, включенных барменом, обнаружился первый пришедший после нас посетитель, тяжелый дядька в грубом свитере и кожаной куртке, которую почему-то он не снимал, хотя в баре было не холодно, и с одним из тех лиц, которые кажутся сработанными топором, причем наспех: большой, прямой нос, длиннющий подбородок, резкие морщины на лбу, двумя ударами прорубленный рот (на губы у рубильщика уменья уже не хватило; приклеить волосы он просто забыл), глубоко и небрежно пробуравленные глаза. К нашему разговору прислушивался дядька вполне беззастенчиво; все ждал я, когда пересядет он на соседнюю с Виктором табуретку. Русские? — спросил дядька, наконец пересаживаясь. Русские, ответил Виктор. А он дурак, объявил дядька, поднимая пивную кружку, другою рукою закручивая картонную подставку для этой кружки (с надписью, кажется, Jever), следя за ее замедляющимся, все более валким вращением. Руки у него были как две лопаты. Он дурак, еще раз объявил дядька, когда подставка упала на стойку. Дурак-полицейский, прибавил он, прихлопывая подставку лопатой. Тут нам было трудно не засмеяться. Он полицейский, и он дурак, провозгласил дядька, нимало не обиженный, показалось мне, нашим смехом. Хотим ли мы узнать почему? Мы хотели; Виктор даже раскачиваться перестал на своей табуретке. Сегодня авария была на АЗ, мы слышали, может быть? Нет, не слышали? Большая авария на АЗ, Кельн — Франкфурт, десять машин друг в дружку впилилось, пять тяжелораненых, один человек погиб, неужели мы радио даже не слушаем? Виктор вообще не слушал, наверное, радио; я, во всяком случае, не слушал в тот день, хотя я слушаю, бывает, локальное радио, когда сам

сiju за рулем. И я всю свою автомобильную жизнь терпеть не мог эту автостраду А3, в особенности этот отрезок между Кельном и Франкфуртом, сообщил я дядьке, хотя, признаться, А9, Нюрнберг — Мюнхен, не менее мне отвратительна. Дядьку мое сообщение не заинтересовало ни в малейшей степени; я же очень ясно вспомнил (помню теперь, что вспомнил) ту аварию 1995 года, в которой погибла моя первая машина, красный маленький «Фольксваген» — и как я вылез из этого смятого «Фольксвагена», посреди хмельных баварских полей, глядя на небо, удивляясь, что жив. Он к погибшему подошел первым, еще даже «Скорая» не подъехала; сразу, объявил дядька, констатировал смерть; без врача было ясно, что все, ты-тю, до свиданья; установил личность; достал бумажник из внутреннего кармана. Тут он и сам полез во внутренний карман своей куртки, долго шарил в нем правой лопатой, морща лоб, дергая головою; ничего не извлек из кармана. А погибший-то кто? — спросил сочувствующий бармен. Молодой парень, тридцать два года. Сразу насмерть; он избавит нас от подробностей. А он сам — дурак. Парень — насмерть, а он — дурак, полицейский. Там были документы в бумажнике, удостоверение личности, автомобильные права, карточка банковская и кредитная, карточка железнодорожная, Bahncard 25, три карточки из разных магазинов, из магазина «Метро» (с неожиданным наслаждением, заблиставшим в его небрежно пробуравленных, глубоко засевших глазах, гордясь своей полицейскою памятью, перечислял дядька, не загибая, как это делают русские, но отгибая прямоугольные пальцы, выпуская их из крепко сжатого кулака), бонусная карточка магазина «Сатурн», магазина «Медиа Маркт», затем карточка какой-то столовой в Кельне и карточка еще какой-то столовой другой, с надписью «Посетитель», Besucher (видно, парень ходил в столовую своей фирмы, компьютерной, они уже

Алексей Макушинский

выяснили, а иногда еще в другую столовую, по соседству, они выясняют), затем карточка больничной кассы АОК (медицинское страхование), карточка ADAC (всегерманского автомобильного клуба, славного своей аварийною службою; с внезапным ужасом я подумал, что и в моем бумажнике лежат, в отведенных им пазухах, примерно такие же карточки), затем, с неисчезающим наслаждением в глубоких глазах продолжал полицейский, две фотографии любимой девушки, одетой и в бикини, почти голой, довольно хорошенькой, сорок девять евро наличными, квиточек из прачечной, квиточек от лотерейного билета. Тут всякое наслаждение исчезло из дядкиных глаз. Квиточек от лотерейного билета, повторил он, глядя на отогнутый им палец (большой), как если бы этот палец и был квиточком, извлеченным из бумажника на автостраде АЗ, Кельн — Франкфурт. Извлеченным и обратно положенным, вот в чем весь ужас. Он квиточек извлек, на него посмотрел, цифры запомнил, положил обратно в бумажник. У него память фотографическая, провозгласил полицейский, почему-то по складам выговаривая: фо-то-гра-фическая. Память у него фо-то-гра-фическая, а сам он дурак. Он только сказал себе: возьми квиточек, не будь дураком, никто ж не видит, чего ты? А вот не взял, говорил полицейский, уже звучно и зримо всхлипывая, шмыгая носом. А теперь миллионы кому достанутся? Коллегам, будь они прокляты? Даже им не достанутся, никому не достанутся. Он им ничего не сказал и не скажет, а то станут над ним потешаться. Есть за что, еще бы не потешаться. Вот на, напиши на бумажке шесть чисел, решительно повернулся он к Виктору, пододвигая ему узенькую бумажку, бывший счет, пожертвованный барменом, на вот, напиши на обороте шесть чисел. Виктор, смеясь, написал. Нет, не те, с мрачной радостью объявил полицейский. И ты напиши, он потребовал, лопатообразной ладонью

накрывая счет, почти падая на Виктора, проводя лопатой по стойке, снова отодвигаясь. Я тоже написал какие-то шесть чисел; тоже неправильных. А вот правильные числа, провозгласил полицейский, неожиданно четким почерком, сильно нажимая на карандаш (барменом тоже пожертвованный), выводя под нашими случайными цифрами свои, настоящие, ровный ряд в тот день выигравших чисел, из которых я запомнил только два — девять, тридцать один, — Виктор, с его математическим умом, запомнил, наверное, все (но спросить я у него не могу). Вот, сказал полицейский, отстраняясь от бумажки, от стойки, словно стремясь издали посмотреть на нее, как души смотрят с высоты, я подумал, на ими брошенное тело. Вот, купите газету, проверьте и убедитесь. Сегодняшний джекпот, вот эти шесть чисел. А я дурак, продолжал говорить полицейский, я законченный кретин, я болван и ничтожество. Приложил к делу, понимаешь ли. Какой честный выискался. А мог бы завтра разъезжать на «Феррари». Тут мы с Виктором переглянулись, оба подумав, что это и есть его заветнейшая мечта, символ счастья и образ богатства, который всю жизнь, может быть, он вынашивает в душе. Вот они, цифры выигрышные. А что толку, говорил (почти уже голосил) полицейский, что толку, квиточка-то нету, нет квиточка-то, что теперь делать? Да уж, посмеялась над ним судьба, уж посмеялась так посмеялась. Над погибшим парнем посмеялась еще страшнее. Это ж надо было разбиться с джекпотом в кармане. Вот тебе и Северозападногерманская лотерея, Nordwestdeutsche Klassenlotterie; так-то... А вы когда-нибудь видели плачущего большевика? — шепнул мне Виктор. Нет, вы не видели плачущего большевика. Вы не знаете украинской ночи. Ночь, в которую, смеясь и шатаясь, о Бобе не думая, мы вышли из бара, была мрачная, ветреная. Вновь появились, теперь уже прямо над нами, в черно-светлом, городскими огнями пронзенном и

Алексей Макушинский

прореженном небе эти громадные, дымно-хлокастые артиллерийские облака, предвещавшие всевозможные несчастья, сулившие разнообразные беды, и мы простились с Виктором на каком-то случайном углу, и я пошел к вокзалу по страшноватой улице, той улице, в непосредственном соседстве с фотографом Тининых родителей, теперь сестры, где пульсируют красными лампочками на дверях и окнах самые, кажется, дешевые и грязные во всей Германии публичные дома (двадцать пять евро за одно отвратительное соитие), в не самый (как показалось мне) грязный из которых (до последней электрички еще оставалось сколько-то времени) я, помнится, и зашел, подумавши, что это будет достойным завершением бомбежного дня; тут же, впрочем, оттуда и вышел — брезгливость, после недолгой борьбы, одержала победу над похотью.

Призыв, невозможность ответить

На другой день, в сильном похмелье, улетел я в Ригу, чтобы (прежде всего) посмотреть те места, где жил, рос, учился и воевал герой моей недавно начатой (и после этого вскоре уже дописанной) новой книги («Пароход в Аргентину»), Александр Николаевич Воскобойников, Alexandre Vosco; но, конечно, чтобы увидеть и места моей собственной молодости (тем более что отчасти они совпадают; все в мире связано); и, значит, не только съездил с рижскими друзьями в Либаву, теперешнюю Лиепаяю, где ранней весной девятнадцатого года зачиналось германо-русско-латвийское антибольшевистское движение в Курляндии, в конце концов, в мае, приведшее к освобождению и самой Риги от адептов красной утопии, любителей пограбить награбленное, — где теперь, спустя столетие или почти, удалось нам найти экскурсовода

и краеведа, немолодого, поджарого земессарга, бойца Латвийской национальной гвардии, знавшего все о том прошлом, пораженного и моими познаниями в этой давней истории, но все-таки избегавшего говорить со мною по-русски, — не только, следовательно, в теперешнюю Лиєпаю (когдашнюю Либаву) я съездил, и не только в рижском военном музее провел несколько вдохновенных часов, рассматривая униформы и знаки отличия балтийского ландесвера, ливенского отряда, но побывал и в той (моей) деревне за дюной, где жил когда-то каждое лето, иногда и зимою, весною, застав ее, несмотря на с тех пор построенные богатыми рижанами виллы (а мне смотреть на них было незачем; да и построены они по окраинам, в лесу и по дороге к деревне соседней, на поле, через которое мы ходили когда-то к шоссе, в магазин у шоссе) — застав ее, следовательно (если отвлечься от вилл; я отвлекся от них с удовольствием) такой же или почти такой же, какой была она в моей юности — впечатление, которое вряд ли бы она произвела на меня, если бы я оказался там летом, в разгар дачно-каникулярного сезона, но которое совсем нетрудно было ей произвести на меня зимой, в начале весны, в ее зимней, ранне-весенней, такой знакомой мне пустоте и заброшенности. Все было так же, те же, столь мне памятные, дома, с их мансардами и верандами, их внешними лестницами, перилами этих лестниц; дома, старинные и не очень, выдавшие (думал я) и большевиков, и балтийский ландесвер, и Бермонта-Авалова, и немцев, и снова большевиков, и если не выдавшие сами, своими окнами, то построенные на месте выдавших; дома (я думал, стараясь и не в силах согреться; было холодно, ясно, ветер был сильный), в одном из которых (вон в том, с мансардой и лестницей) я жил тридцать три года, в другом тридцать, в третьем (с высокой крышей и чернобровными стенами) двадцать пять лет назад, в 1980,

Алексей Макушинский

1983 и в 1988 году соответственно; те же, главное, сосны и дюны; тот же выход к морю между песчаными отрогами, так же, как всегда, как когда-то, взмывавшими в чистое, густо-синее небо; те же тропинки между кустиками колкой травы. Пресловутая речка-вонючка оказалась почти схваченной льдом; между ледяной коркой слева и ледяной коркой справа струилась она бурливым, настойчивым потоком, не отражавшим никаких облаков, никаких стиральщиков и стиральщиц, местных нимф, заезжих Нарциссов, не отражавшим вообще ничего, но все-таки не сдававшимся, не замерзавшим; со скользких бревен мостика чуть мы в него не свалились. Замерзшим оказалось море, когда мы вышли к нему в тот день; море лежало перед нами почти ровной, с отдельными торосами, сверкающей гладью; только почему-то совсем далеко, на полпути к горизонту, смутно синела полоса свободной воды, перекликавшаяся с узкой желтой полоской песка, которая, в свою очередь, тянулась, проступая из-под яркого снега, сверкая и блестя, как сам снег, вдоль всего берега, по самой кромке его. Были сильные синие тени сосен и дюн, явно стремившиеся отрезать кусок побольше от всего этого сверканья, слепленья; и больше ничего, никого не было на берегу; когда с моими рижскими друзьями мы сделали все фотографии, они сняли меня, я их, вместе, порознь, я отошел в сторону на пару шагов; я думал, я помню, что все это — этот свет, эти сосны, такие же, как тридцать лет, как тридцать три года назад, — что все это был призыв, прямо ко мне обращенный, призыв, на который я не знал, как ответить. Я этого и теперь не знаю, я думал. А на него и невозможно ответить. Он превышает наши силы, наши возможности. Еще я думал, что уже говорил себе все это, вот здесь, вот на этом же самом месте, и тридцать лет назад, и тридцать три года, теми же словами (призыв, ответ, невозможность ответа...). А может быть,

думал я, стоя по-прежнему на этом снежно-слепащем, синетенном берегу, перед замерзшим морем, — может быть, вся моя жизнь была лишь попыткой ответить на тот, когда-то, в мифологической молодости, вот этими соснами, сквозь эти сосны ко мне обращенный призыв... Одна только черная точка двигалась в окружавшей нас белой безмерности, черная и растущая точка, при более близком рассмотрении оказавшаяся лыжником, при рассмотрении ближайшем — лыжницей, в черной блестящей курточке, черной же вязаной шапочке, из-под которой вполне соблазнительно выбивались светлые локоны; лыжницей, размашисто, очень быстро катившейся по не замеченной мною сразу — в тенистой части пляжа, ближе к соснам — лыжне; проехавшей мимо нас, в нашу сторону даже и не взглянувшей.

Париж

Возвратившись из этой поездки, я не сразу позвонил Виктору, не почему-либо, а просто занятый другими делами и мыслями (архитектурой, Гражданской войною в Курляндии), а когда позвонил, то, помню, не дозвонился, сказал что-то на автоответчик, он мне не отзвонил (что меня вовсе не удивило тогда, чуть-чуть удивляет теперь). С Тиной мы созванивались; о своем расставании с Виктором упомянула она так быстро и вскользь, что я большого значения не придавал ее словам, подумавши, что еще они, кто знает? помирятся... В начале осени с Эдельтрауд случился второй удар, разбивший ее уже окончательно (отбивший у нее половину лица и тела); Тина, которая и на этот раз (или так, казня себя, говорила она себе) неправильно сделала все, что только могла сделать, была в тот роковой день в Париже, где вместе с двумя другими немецкими фотографами выставлялась ни много ни мало в Центре Помпиду, в том, впрочем, нижнем неболь-

Алексей Макушинский

шом помещении, где обычно и проходят в этом вывернутом наизнанку здании, если я ничего не путаю, выставки фотографий. Ей за это казнить себя было нечего; во Франкфурте оставалась Верónica, и медсестра должна была прийти в тот день утром; но медсестра, как впоследствии выяснилось, в тот день не пришла, и ни до кого из сестер не дозвонилась, не очень-то и пробовала, наверное, дозвониться, поскольку Тина была в Париже и айфон у нее в сумке то ли не сработал, то ли она его не услышала, Верónica же, как раз в тот проклятый день, положившись на сестру милосердия, уехала с детьми в Шпессарт бродить по горам, где тоже, видно, с мобильной связью не хорошо обстояло дело; поговорив с матерью накануне, не дозвонившись до нее утром, но еще не начав беспокоиться, Тина, как некогда, в далекую, уже призрачную эпоху Берты, поехала на бульвар Сен-Жермен на встречу с той же самой Селестой, французской и военной возлюбленной своего папы, Селестой, которая за эти годы превратилась в сухую старушку, но бодрую, уже не выходявшую без палочки с резиновой присоской на улицу, но еще ни в каком роллаторе не нуждавшуюся и, во всяком случае, способную без посторонней помощи вызвать такси, доехать на нем до любимого кафе, от ее парижской квартиры совсем, кстати, недалеко расположенного, чтобы встретиться там, уже не в первый раз, со старшей дочерью своего теперь покойного друга, к которой относилась она чуть-чуть как к своей, не рожденной ею, Винфриду и ей не дарованной дочке; и как ни убеждала себя Тина впоследствии, что ничего в этом страшного не было, что Эдельтрауд, судя по всему, последние годы если не твердо знала, то догадывалась, что ее муж вновь встречается со своей первой любовью, предметом ее пожизненной ненависти, догадывалась, может быть, что и Тина с ней видится, когда бывает в Париже, когда та приезжает во Франкфурт, все же впоследствии ничего не могла с собою поделать,

чувствовала себя предательницей, изменницей: в то самое время, значит, когда ее мама лежала на полу, умирая, не в силах позвать на помощь, дотянуться до телефона, в это самое чертово время, чертово утро спокойно сидевшей с возлюбленной отца на теперь не забранной никаким пластиком, еще открытой, еще почти летней, очень парижской террасе кафе за спокойной, мирной, уже привычной, уже продолжавшей их прежние разговоры беседой о том бесконечно далеко, чудовищном и прекрасном прошлом, когда Селеста и Винфрид так лихо наладили поставку французских бюстгальтеров в разоренный войною Рейх. Не только бюстгальтеров. Еще и трусики они продавали, кружевные и шелковые, сообщила Селеста с тем игривым удовольствием, с каким любая француженка, независимо от возраста, говорит о вещах хотя бы отчасти скабрёзных; замечательные трусики; таких трусиков теперь уже, наверное, не бывает. Что же, у Тины никакого не появилось нового *ami*? или все еще тоскует она по своему русскому? — спрашивала Селеста, большой, по-прежнему красивой, с теми же кольцами на пальцах, рукою отгоняя медленную, ленивую, тоненькую осу, почему-то облюбовавшую именно их столик, именно Тинин *stêpe-brulée*, после недолгой и неудачной борьбы с собою взятый ею на десерт после слишком раннего для нее, по-парижски, обеда. Глупо держаться за эту старую любовь, если уж так все печально сложилось, говорила Селеста, укладывая поудобнее свои все еще полные, как будто чуть выпяченные губы; надо хоть постараться забыть. Она сама не могла забыть, это правда; но она никогда и не ссорилась с Тининым папой; их развели война, история; это другое дело. Тина мне признавалась впоследствии, что никогда ни с кем, даже со мною, ей не было так легко говорить о себе, никем другим она не чувствовала себя так хорошо понятой и ни с кем не бывала так откровенна, как с этой Селестой, смотревшей на нее серыми, старыми, любящими, с течением времени

Алексей Макушинский

все сильнее напоминавшими ей отцовские (цвет был другой, но взгляд тот же) глазами. Уж точно не бывала так откровенна с мамой (с которой вообще никогда не говорила о своих любовных невзгодах, ни о Викторе, ни, в прошлом, о Берте; обижалась на редкие, робкие попытки Эдельтрауд заговорить с нею об этом); сидя теперь в кафе, вновь спрашивала себя, как сложилась бы жизнь той — навсегда безымянной, потому что несуществующей, — девочки, которую могла бы родить Винфриду его французская возлюбленная, если бы не разлучили их история и война; по-прежнему казалось ей, что счастливее, чем сложилась ее.

Да, Париж

А между тем она сама была почти счастлива в эти осенние парижские дни (она мне рассказывала впоследствии); и не только потому, что выставка в Бобуре, пускай и с двумя другими фотографами, означала очень большой успех, успех же, как все мы знаем, улучшает настроение, даже и самочувствие. Особенно прекрасным на этот раз ей показался Париж; она много ездила по нему на автобусе, не жалея времени, не желая спускаться в метро, глядя с новым, для нее самой неожиданным восхищением на открывавшиеся ей перспективы, площади, улицы, залитые золотым светом, спокойные даже в своей суете; еще она не позволяла себе думать об этом, строить планы на будущее без мамы; все-таки, помимо ее самой, по ту сторону всего остального и прочего, уже намечалась в ней если еще не мысль, то уже, пожалуй, мечта, и в сущности созревало решение — просто-напросто переехать в Париж, когда мамы... она не додумывала. Простившись с Селестой, она спустилась к Сене по rue du Vas, перешла на правый берег, совсем ненадолго заглянула в Тюильри, вышла вновь к Сене, сошла вниз к самой воде, села на не очень гряз-

ную, каменную, даже на солнце холодную лавочку в приятном соседстве с гладкоствольным деревом, породу которого определить она не смогла, изрезанным разными ножичками, в сердечках и всеязычных надписях, вместе с естественными крапинами и сучками создававших узор из каких-то, она подумала, еще никем, никаким синологом, никаким египтологом не расшифрованных иероглифов. Солнце пекло здесь почти по-летнему; было счастьем чувствовать его на руках и лице. Сквозь своды пешеходного моста Искусств, Pont des Arts, виден был Pont Neuf, Новый мост, обе его части, отделенные друг от друга желтой зеленью на Сите, и дальше восстающие над крышами башни Нотр-Дам, и гораздо ближе к ней, на левом берегу, но от нее по правую руку купол Института Франции с его резкими ребрами. Она сфотографировала все это; сфотографировала и вид в другую сторону, где точно так же, под сводами одного моста, Pont du Sarcoussel, проступал другой мост, Королевский. Что-то было для нее символическое в этом выглядывании одного моста из-под другого моста, хотя она и не могла бы сказать, что именно. Она ведь вовсе не собиралась возвращаться во Франкфурт, тогда, когда-то, после Америки, Мексики, Аргентины. Правда, и о Париже она не думала. Она думала поселиться опять в Дюссельдорфе или еще где-нибудь, она теперь не могла вспомнить, что тогда думала, но уж точно не во Франкфурте, из которого всю свою молодость, в сущности, убегала. Мы все убегаем, не можем убежать от чего-то. Это Берта соблазнила ее, во всех смыслах слова. Не встретить она Берту у Железного моста, все бы сложилось иначе. Теперь уже все равно, она думала, маша рукою веселым, неизбежным американцам, с прогулочного катера что-то кричавшим ей; ничего уже ни исправить, ни переделать в жизни нельзя. Исправить нельзя, но изменить можно, она думала дальше, стыдясь своих мыслей, вставая,

Алексей Макушинский

оглядываясь на эту не очень грязную каменную скамейку, это дерево с нерасшифрованными иероглифами (а как бы хотелось расшифровать их, найти код жизни, тайный язык бытия, она думала... или это я теперь думаю за нее); потом пошла на Сите, мимо Нотр-Дам и по маленькому мостику на остров Святого Людовика, где по-прежнему снимал студию ее старинный приятель Томас Б. (имя слишком известное, чтобы называть его полностью; знатоки современной фотографии, впрочем, уже догадались...), утративший страсть к вечеринкам, но в остальном остававшийся все таким же, модным, легким, богатым; даже не постарел он за эти годы. Она помедлила, как всегда медлила, на той тихой, пустынной оконечности острова, с ее скамейками и пятью тополями, где обкуренная и пьяная Берта заигрывала некогда с идальгообразным клошаром, пила из обсосанного им горлышка, назло Тине, красное копеечное вино; Томас Б., к которому она поднялась на крошечном, как в Париже часто бывает, даже для одного человека, тем более для такого человека, как Тина, слишком узеньком лифте, первым делом взял с нее слово непременно прийти к нему назавтра, потому как завтра будет у него в гостях галерист, из выставяющих фотографии в Париже едва ли не самый известный, тем более что тот о ней уже спрашивал, и если бы удалось с ним договориться о выставке, то это было бы лучшее, что с фотографом в Париже может случиться; поздно вечером ей позвонила Вероника, сообщив, что она с мужем съездила к матери, обнаружила ее на полу, что, судя по разным признакам — каким, Вероника не сказала, но догадаться было нетрудно, — Эдельтрауд на этом полу пролежала с прошлого вечера, что сейчас она в реанимации, что все очень плохо. Приезжать ночью незачем; теперь-то какая разница? да и на чем, собственно, Тина думает добраться среди ночи до Франкфурта?

Звонки, почтовые ящики

Когда на другой день до Франкфурта она добралась, к маме ее не пустили. Она прямо с вокзала, оставив вещи в грязной, затхло пахнувшей камере хранения, в одной из этих обшарпанных железных ячеек, куда обычно не хочет влезать чемодан, поехала в столь хорошо ей знакомую университетскую клинику; заплаканная Вероника, дожидавшаяся в фойе, бурным шепотом, продолжая вчерашнюю повесть, сообщила ей, что отказали все важнейшие органы — отказала печень, отказали почки, даже легкие, если она правильно поняла, отказали; сквозь матовое стекло для них запретной реанимационной палаты разглядели они что-то грузное, смутное, лежавшее уже мертвым пластом, в окружении разнообразных шлангов, разноцветных перекрученных проводков; пробежавший мимо молодой врач вдруг открыл для них эту матовую реанимационную дверь, объявивши, что, в сущности, все равно, теперь уже никакой разницы нет. Никакой разницы и не было; даже хотелось поскорее уйти обратно за это стекло, эту дверь, не стоять так тупо и так беспомощно перед мертвой грудой, к которой и подойти было страшно, из-за проводков, и шлангов, и собственного отчаянья. Выйдя вновь из больницы, Тина, в своем отчаянии, набрала Викторов номер, решивши с ним непременно, немедленно встретиться, сама не зная зачем и на что рассчитывая, ни на что не рассчитывая; в ответ услышала автоматический женский голос, сообщивший ей, что абонент неизвестен, номер отсутствует; набрала Викторов банковский мобильный, которым почти никогда он не пользовался; услышала странные, пиликающие гудки, не короткие и не длинные, вскоре оборвавшиеся совсем; на другое утро проделала то же самое; получила тот же результат и ответ; и тогда уже набрала мой мобильный, застав меня (см. начало сей правдивой книги) за поедани-

Алексей Макушинский

ем раблезианского завтрака в приавтострадной гостинице в Вейле-на-Рейне, куда, совсем незадолго до этого закончив жизнеописание Александра Воско, великого архитектора, я отправился просто так, без особенной цели, потому что давно уже собирался туда съездить, посмотреть на Музей дизайна Фрэнка Гери и на пожарную часть Захи Хадид, в продолжение той архитектурной темы, которая так занимала меня все последнее время. Я ничего не мог сообщить ей о Викторе; вечером этого дня — проведенного мною на территории фирмы Витра, в первом приближении к тадао-андовскому бетону, в обществе восхитительной харьковчанки — Тина, совсем иначе проведшая этот день, среди больничных звуков и запахов, не выдержав, вечером пошла пешком по набережной, по Музейному берегу (все во Франкфурте близко), глубоко вдыхая посвежевший воздух, глядя на отражения небоскребов, их огни в дрожащей воде, мимо Музея скульптуры, во дворике которого любила пить кофе, как многие франкфуртцы это любят, мимо галереи Städel, мимо Музея теле- и прочих коммуникаций, построенного, кстати, Гюнтером Бенишем, мимо Музея архитектуры, совсем втайне от себя самой прощаясь со всем этим, хотя ни о каком Париже она себе думать не позволяла; за маленьким Музеем кино, не заглянувши в кафе и на стульях-лицах не посидев, свернула направо, к Швейцарской площади, и затем в переулок, к тому дому, где с самого своего переезда во Франкфурт жил Виктор; протянув руку к звонкам возле входной двери, обнаружила, что его имени больше нет среди этих звонков, вместо имени пустой, прикрытый пластиком прямоугольник. Она позвонила наудачу в чью-то чужую квартиру; дверь ей открыли. Среди почтовых ящиков, в темном парадном, был один с пустым прямоугольником, тоже прикрытым кусочком прозрачного пластика, под который бумажка с именем и просовывается обычно. Из всего этого по

крайней мере следовало, что Виктор съехал недавно. На другое утро она позвонила в банк, где Виктор работал; в банке ответили ей, что Виктор здесь не работает больше, а что делает, где живет и когда закончил работать, сообщить ей не могут, берегут частную информацию. В Германии всегда берегут частную информацию: нельзя узнать даже, кто какую книгу брал, к примеру, в библиотеке... Будь она проклята, эта частная информация, думала (может быть) Тина по дороге в дзен-до, где бывала пару раз вместе с Виктором, в пору их счастья, в пору несчастья; буддисты не банкиры; частную информацию берегут не так тщательно. На двери была табличка: wir trauern...; и сидевший во дворе под каштаном судзукобровый старик сообщил ей, что дзенист разбился на машине, а какой был замечательный человек, святой человек; выйдя, она мне рассказывала впоследствии, из дворика на тихую улицу, присев на красную пожарную тумбу, которой до сих пор не замечала она, потрясенная Тина (см. начало второй части сей правдивейшей книги) вновь позвонила мне, как раз собиравшемуся, после бессонной, дзенским и юношеским воспоминаниям посвященной ночи в приавтострадной гостинице, сфотографировать, снова и в разных ракурсах, в другом освещении, тадао-андовский, всякий раз заново, из буддистского небытия, на зеленой лужайке со скульптурами вишневого дерева возникающий конференц-павильон...; я тут же возвратился во Франкфурт.

Мы уедем в другую Баварию

Затем была осень; была наша с Тиной поездка в Бад Крейцнах, в Бад Мюнстер; была книжная ярмарка, где Васья-бывший-буддист рассказал мне о шестнадцатилетнем Викторе, трепетном мальчишке, впервые соприкоснувшемся с дзеном и всерьез собиравшемся умереть в тот день, когда ему испол-

Алексей Макушинский

нится столько же лет, месяцев, дней, сколько было его брату Юре во время рокового купания в Лиелупе (Курляндской Аа); но только зимою, через три месяца, я пересказал все это Тине; осенью ей было не до того; слишком она занята была другими, горестными делами. Уже и речи не могло быть о том, чтобы забрать Эдельтрауд домой; нужно было искать для нее приют по уходу за безнадежно больными; выбирать из многих, один дороже другого; вести переговоры с начальниками, начальницами этих приютов; ждать, пока освободится место в каком-то самом правильном, самом дорогом и хорошем приюте. Вся левая ее половина оставалась, и было ясно, что уже навсегда останется, деревянной; есть, глотать, даже пить она уже не могла; лежала неузнаваемая, с седыми разметававшимися волосами, вся исколотая, вся в катетерах и на искусственном питании, вся в капельницах и вся в синяках; но через две недели стала шарить скрюченную рукою по одеялу, стараясь, похоже, написать на нем что-то. Тина поднесла ей лист бумаги, вложила шариковую ручку в негнущиеся красные пальцы; ничего, кроме взвизренных загогулин, на бумаге не появилось. Все-таки и говорить начала Эдельтрауд, шаря по одеялу, бессмысленно и бессвязно, сперва совсем бессмысленно, затем с внезапными всплесками, или отзвуками, или (подбирая слова, рассказывала мне впоследствии Тина) осколками какого-то разбившегося, невозстановимого смысла, вдруг загоравшимися (как осколки стекла на дне речки в солнечный день) в потоках ее бессвязных слов, оборванных фраз; и это было смешно, вот что страшно. Страшно, стыдно, а Тина не могла не смеяться, говоря с ней. Вот доктор, говорила Эдельтрауд, доктор — дурак. А вот сестричка-кретиничка, глупая гусыня, что возьмешь, они все такие, глупые гусыни, сестрички-медики. Ну еще бы, говорила Тина, стараясь не смеяться, а вот профессор идет, профессор

тоже дурак. Нет, с прояснившимся лицом, совершенно отчетливо, но как будто удивляясь поразившей ее саму мысли, произнесла Эдельтрауд, нет, профессор не дурак. Профессор не дурак, с удивленной и решительной интонацией повторила она; на другой день потребовала, чтобы привели к ней профессора, профессора разных наук, всех наук, ее профессора, профессора всех ее разных наук; и потом сообщила, что с профессором бывала в Баварии. Она с профессором бывала в Баварии? Бывала, с профессором. С профессором всех ее наук она бывала в Баварии. Только Бавария оказалась неправильная. Почему же неправильная? — сквозь слезы спросила Тина (вспоминая ромбовую обертку от сыра Bavaria Blu, еще зачем-то валявшуюся у нее на кухне, рядом с электрическим чайником). Неправильная, ненастоящая. Мы выздоровеем, отчетливо, удивленно, с ясным взором произнесла Эдельтрауд, шаря рукою по одеялу, выздоровеем и уедем в другую Баварию. Это в какую же? В правильную. И вообще не понимает она, почему к ней Тина без гитары приходит. Надо на гитаре тренькать. Разве Тина на гитаре когда-нибудь тренькала? Ее сестра тренькала. Вероника? Нет, другая сестра, тоже Тина. А негров она совсем не боится. Каких негров? А тех, что здесь сидят под кроватью. Здесь под кроватью негры? — спрашивала Тина, ужасаясь, смеясь, ужасаясь своему смеху, не смеяться не в силах. Здесь под каждой кроватью по негру, такому маленькому, очень курчавому. Она их не боится, они добрые, негрятки, негритосики, негритоски. Негритоски, детки, ясно произносила Эдельтрауд, складывая губы в теперь совсем криво выходивший у нее бантик, осмысленными глазами глядя на дочку. Здесь много деток, говорила она. Детки бегают, какают. Ну и пускай какают, ей же не жалко. А вот старушек везут, утепляют, говорила Эдельтрауд, когда в приюте, где, наконец, освободилось для нее место, ее саму

Алексей Макушинский

начали вывозить в кресле в коридор и даже на улицу, везут и утепляют, говорила она к Тининому увеселению и ужасу, складывая губы в кривой, но бантик, как всю жизнь их складывала, когда смеялась над кем-нибудь, над собою; утепляют и снова везут. А детки какают, бегают. А негров здесь уже нет? Негры здесь на гитаре тренькают, под кроватью и под столом, очень добрые, очень курчавые, негритосики, негритоски, она нисколечко их не боится. Тинина сестра тоже тренькала, жаль, что уехала. Куда уехала? В другую Баварию.

Бегущие суши

Была осень сначала дождливая, слякотная, потом началась вдруг бессмысленная жара, духота, потом опять все подернулось тучами, дробившимися в зеркалах небоскребов. В какой-то уже декабрьский, мокрый и хлюпающий, с вдруг налетавшим ветром, намечавшимся снегом, день Тина решила сперва заехать к маме, потом пообедать в городе, потом вернуться к себе, заняться фотографиями, вечером снова заехать к маме. Кто-то ей рассказал накануне, что в банковской части города, где вообще много японцев, много японского, открылся новый, очень хороший, лучше всех бесчисленных прочих, ресторан *бегущих суши*, *running sushi*, то есть такой ресторан, где все сидят за маленькими столиками или за стойкой возле движущейся ленты, гастрономического конвейера, по которому едут, на радость обжорам, крошечные тарелочки с суши, сашими и всеми их бесчисленными вариациями, с поджаренными в соусе терияки или не-терияки, нанизанными или ненанизанными на деревянную острую палочку разными разностями и всякими вкусностями, — уткой ли, красной ли рыбой, — и тот, кто сидит у конвейера, может за не очень большую плату взять сколько ему будет угодно этих тарелочек, этих мисочек с супом мисо, этих, на десерт, в меду зажарен-

ных кусочков банана, причем никогда еще, мне рассказывала Тина, ни в одном таком ресторане не удавалось ей съесть столько вкусностей, чтобы выйти на улицу без отвратительного ей самой чувства чрезмерности чревоугодия — тарелочки такие маленькие, мисочки еще меньше, а суши, сашими и все их родственники, братья и сестры, так легко и ловко, подцепленные палочками, запрыгивают в тебя, что наедаться до отвала, сам не замечая этого, не понимая, как это в очередной раз случилось, хотя ведь сколько раз ты уже клялся себе в умеренности и давал обет воздержания... Все-таки Тине хотелось попробовать этих новых бегущих суши; уже с утра она о них думала, потому, может быть, что день был такой промозглый, такой декабрьский; первый, резкий и хлопкий снег посыпался из разорванных туч, когда она ехала к маме; застучал по ветровому стеклу ее «Гольфа», заскрипел под недовольными дворниками. Эдельтрауд в тот день ничего не говорила ни о курчавых негритосиках под кроватью, ни о другой Тине, тренькавшей на гитаре. Тина сама говорила о том и о сем, о Веронике и ее детях, о погоде, о приглашении участвовать в выставке, полученном ею из Бирмингема, без всякой уверенности, что мама ее понимает. Она просто болтала; ей это приятно было; да и врач ей советовал так говорить с мамой, как она с ней всегда говорила, не исключая ее из жизни, идущей где-то там, за стенами приюта и за больничными окнами, даже если ей недоступны подробности. Эдельтрауд высоко лежала на волшебной кровати, умевшей по нажатию кнопки вздымать и опускать изголовье, причесанная и вымытая в то утро сиделкой-индуской, маленькой, очень темной и доброй, всегда пахнувшей чем-то едким, кардамоновым, совсем не противным; лежала неподвижно, рукой по одеялу не шарила; широко открытыми, синими, прозрачно-ясными глазами смотрела на Тину; резкий снег

Алексей Макушинский

ударял в стекло, в жестяной карниз за стеклом; в разрывах и прорезях облаков намечалось что-то сизое, смутно мерцающее; держа в своих плотных, по-прежнему и навсегда детских ладонях исколотую мамину руку, Тина ощутила вдруг легкое даже не пожатие, но шевеление этой руки, перебор подагрических пальцев, то ускорявшийся, то почти затихавший, с краткими, затем долгими перерывами, перебоями, как если бы эти пальцы выстукивали последнее сообщение никому, кроме них самих, не ведомой азбукой Морзе. В конце концов Тина объявила, что очень проголодалась, что сейчас поедет в город, поест бегущих суши, если Эдельтрауд знает, что это такое, — это такие маленькие тарелочки и мисочки с суши, сашими и всеми их родственниками, едущие по конвейеру, — в новом, говорят, очень хорошем ресторане возле Коммерцбанка, а вечером опять постарается к ней заехать. Взгляд, которым посмотрела на нее Эдельтрауд, ей суждено было вспоминать впоследствии снова и снова. Она не поняла его, поняла только задним числом, лучшим умом. В этом взгляде ничего не читалось на тему бегущих суши, родственников сашими; читалась только любовь. Это был взгляд уже не отсюда, уже из ниоткуда, из тех областей, может быть, где только любовь и остается от жизни. Суши оказались обыкновенными. Она вернулась домой, занялась фотографиями, заодно написала электронное письмо парижскому галеристу, с которым не познакомил ее Томас Б., с которым из Франкфурта вступила она в переписку, потом решила почитать, наконец, В.Г. Зебальда, которого я уже давно советовал ей почитать, улеглась на черный диван с «Аустерлицем» в руках, потом подумала, что долго ей лежать так не следует, а надо встать, поехать снова в приют, посмотрела в уже сгустившуюся за окнами эркера черноту, приподнявшись, увидела там себя, лампу, компьютер, фотографию Рут Бернгард на стене

над компьютером, в окружении экзотических листьев, подумала, как ей не хочется выходить снова в слякоть и скользь, нажала на зеленую трубку в зазвеневшем айфоне, бездумно выслушала сообщение сиделки-индуски, сказавшей, что ей, индуске-сиделке, ужасно жаль, что это и выговорить ей трудно, что Тинина мама умерла двадцать минут назад; нажала на красную трубку в айфоне, по-прежнему ни о чем не думая, глядя в эркерное окно, в отражения и в черноту за окном.

Ушанка-иностранка

Только один день, пусть не зимний, но хоть с намеком на зиму, и пришелся, кажется, на тот декабрь во Франкфурте; в очередной раз не сбывалась извечная немецкая мечта о настоящем *белом Рождестве*, как это здесь называется, о Рождестве со снежком, морозцем, счастливым солнышком, сверкающим на крепких сугробах; последние годы эта мечта вообще перестала сбываться; всегда все черное, мокрое, осеннее, несчастное, брошенное. Тине на Рождество было решительно наплевать; ей просто хотелось, чтобы этот декабрь поскорее закончился, этот год прошел поскорее. Она все видела очень ясно, с той беспощадной ясностью, которая даруется нам большим горем, — и разрывы облаков, и дрожащие капли на ветках деревьев, и ворон на кладбище, и как залихватски, с добавочным подергиванием на взлете махал кадиллом статный диакон в белом орнате с длинной красною лентою поверх черной рясы, из-под которой выглядывали очень обыкновенные, стоптанные башмаки; узнав же из разговора со мною, что я собираюсь на рождественские и новогодние каникулы в Петербург, объявила, что составит мне компанию. Она давно уже в Петербург хотела поехать, и вообще надо сделать что-нибудь, чтобы... ей незачем было говорить, чтобы что; слишком понятно было, что ей нужны другие впе-

Алексей Макушинский

чатления, другие дома, другие лица на улицах. А может быть, и о Викторе надеялась она разузнать что-нибудь... Разумеется, никакой возможности отказать ей у меня не было, хотя брать ее с собой в Петербург вовсе мне не хотелось. Я ехал в любимый город по делам литературным и, скажем, личным (бракоразводным, так скажем); дел было много, дней мало; помимо всяких дел, хотелось встречаться с друзьями, говорить с ними по-русски; и уж менее всего привлекала меня перспектива водить Тину в Эрмитаж, возить ее в Петергоф. Она это понимала, кстати. Ах нет, она не будет мешать мне, она снимет гостиницу, просто одной ей страшновато было бы ехать в страну, языка которой она совсем не знает, странно, десяти слов не выучила за все годы с Виктором, даже разбирать кириллицу не научилась, а говорят, если кириллицу разбирать не умеешь, то в метро потеряешься, пропадешь ни за что, поэтому здорово было бы вместе прилететь, вместе улететь, ну и, конечно, если будет у меня время, пару раз встретиться, а всю туристическую программу она сама проделает, и в Эрмитаж сама ходит, и в этот... Peterhof сама съездит, да и черт с ней, с программой... Все-таки и смешно, и чуть-чуть, в самом деле, страшно мне за нее стало, когда на франкфуртском аэродроме я увидел ее — в ушанке, накануне купленной ею. Ну как же, для поездки в Россию зимой требуется ушанка. Я даже не знал, что такую ушанку можно купить в Германии. Отчего же нет? можно; в магазине шляп и шапок возле франкфуртского крытого рынка. Уши были кожаные; завязанные сверху, как я тут же Тину научил это делать, выворачивались светлым мехом наружу. Смешно было главным образом то, что ушанка эта, и с опущенными, и с завязанными ушами, просто и откровенно шла ей, даже какое-то ориентальное обаяние ей придавала, а в то же время делала Тину, при ее размере и росте, иностранкою опереточной, неизбежным объектом раз-

нообразных посягательств и попыток получения профита (на взгляд питерской подворотни, которым, силясь сдержать смех, невольно я смотрел на нее). Ясно было, что отговорить ее от ушанки мне уже не удастся, хотя решительно не подходила она и к погоде, в те дни в Питере тоже совсем не зимней: сырой, серой и ветреной, безморозной, бесснежной.

Дима-фотограф

Путешествовать вместе с Тиной оказалось одним удовольствием. Я видел, что, почти не отрываясь, думает она о своем горе, как это всегда бывает в первые недели и первые месяцы после утраты, все же наши прогулки по Петербургу похожи были на фотографически-франкфуртские, такое же в них было спокойствие. С туристической программой она справилась быстро (не затем вообще-то и ехала); да и я на удивление быстро покончил со своими делами (литературными, бракоразводными); времени у нас было достаточно. Гулять, впрочем, по Петербургу под этим мелким, колким, как будто из зернышек или песчинок составленным дождиком, прилетевшим вместе с нами из Франкфурта, можно было лишь на излюбленный манер всех поэтов (по Тининому чудному выраженью) — из одного кафе в другое кафе, спасая ушанку-иностранку (как я прозвал ее про себя) от окончательного превращения в выдру; из итальянского кафе на Итальянской улице в «Кофе-Хауз» на Литейном, возле Фонтанного Дома, из «Кофе-Хауза» в то новое кафе на Гагаринской, где кофе и не-кофе, чай и не-чай, грибной суп и блинчики с ежевикой подаются в отрадном окружении книг, отчасти, как мне показалось, случайных, каковые книги, случайные или нет, можно при желании купить, а можно просто читать, попивая чай и не-чай; за этим-то занятием и застали мы Ваську-буддиста, условившись с ним о встрече, совершенно такого же

Алексей Макушинский

Ваську-буддиста, в том же костюме, каким, в каком он был на Франкфуртской ярмарке, два с половиною месяца назад, с удивленными глазенками, рыже-седой бородкой и толстовским носом на гоголевском лице, совсем не такого, каким был он когда-то, в исчезнувшем прошлом. С Тиной галантно объяснялся он на вполне сносном английском, о Викторе ничего нового не мог сообщить нам, как и мы не могли ему. Услышав о Тининых занятиях, увидав ее великолепную фотокамеру с раструбом многосильного объектива, тут же, извлекая из нагрудного кармана футляр и очки, из кармана бокового — айфон, объявил, в айфон глядячи, что позвонит сейчас Диме-фотографу, который так и так хотел со мной встретиться, теперь тем более захочет, Васька уверен, встретиться с нами обоими; ответа нашего не дождавшись, уже говорил с Димой, накануне, как выяснилось, возвратившимся из Берлина, вот как удачно, попросившим нас через Васькино посредство дождаться его в этом кафе на Гагаринской — у него как раз встреча с одним голландцем, скоро она закончится, а потом должна быть встреча с одной американкой-художницей, но это ничего, он, в крайнем случае, захватит ее с собою; в ответ на возражения наши, ему переданные Васькой, что времени у нас немного, нам нужно ехать вечером на Полюстровский проспект, через Ваську опять-таки передал, что все чепуха, на Полюстровский он отвезет нас, совсем не нужно нам тащиться туда на метро, потом на автобусе, американка же нам точно не помешает, она неназойливая. Я этого Диму-фотографа помнил смутно; помнил его сякухати; одну его фотографию; его антисоветские длинные волосы. Зато я сразу узнал его, едва он вошел в кафе. Васька-буддист изменился полностью, Дима-фотограф не изменился ничуть; даже, в первую минуту мне показалось, не постарел. Где же американка? Американка не пришла; продинамила. Он был худой, стройный, модный,

в брезентовых брюках с карманами на штанинах — каких тогда, в нашей юности, не водилось, которые, в рассуждении хиповости и пижонства, вполне соответствовали, я подумал, нашим тогдашним «левисам» и «мустангам», — в дутой короткой курточке, сняв которую явил он кафе и миру не менее пижонский черный свитер с воротником на серебряной молнии. Волосы, тоже черные, не тронутые милостивым к нему временем, заплетены были в хвостик, болтавшийся за спиной: черный на черном. А вот как я мог забыть легкую лошадиность его лица, я не знал и не знаю. Я лошадиность эту вспомнил тут же, как только он появился; вспомнил и его манеру дергать головой, трясти хвостиком. Зеленые искры в серых глазах? Никаких искр я не заметил, а глаза были по-прежнему серые, вовсе не голубые, и смотрели на меня, показалось мне, с теми же чувствами, с какими я смотрел на него, с тем же чувством узнавания — и не-узнавания — в этом седом дядьке того очкарика, который так часто приезжал из Москвы в Ленинград в начале восьмидесятых, в эпоху прекрасную и поганую, погибшую так давно, как будто вообще ее не бывало; с тем же ощущением невозможности перепрыгнуть через бездну времени, разверзшуюся у нас у всех под ногами, вот здесь, в кафе на Гагаринской.

Ужас жизни, Ген-наадий

С Тиной, сразу и тем не менее, вступил он в свой фотографический разговор. Не только он говорил по-немецки, но прекрасно знал, как выяснилось, Тинины работы, Тинины книги; был явно доволен знакомством; немедленно подарил ей буклет со своими собственными фотографиями, очень хорошими; сразу же пригласил нас встретить у него Новый год, посулив нам знакомство с разными, по его словам, замечательными людьми, которые, говорил он, тоже будут счастли-

Алексей Макушинский

вы завязать с Тиной отношения деловые и дружеские. Можно будет и о каких-нибудь совместных проектах подумать... А вот знает ли он что-нибудь о Ген-наадии? О ком, о ком? переспросил Дима-фотограф, с трудом и без удовольствия отрывая свою мысль от деловых и дружеских перспектив, перед ним вдруг открывшихся. О Ген-наадии, ответил за меня бывший Васька; помнишь, был такой? Я вот Алексею ничего не мог о нем сообщить... Ген-наадия убили, чуть-чуть, но все-таки зеленея глазами, ответил Дима-фотограф; убили, в девяностые годы; he was killed; er wurde ermordet; да, на улице; ночью; не на улице, а на набережной; на набережной Лейтенанта Шмидта, в конце, у дальних линий, у Горного института. Он это точно знает, он дружил, до сих пор дружит с тогдашней girl-friend Ген-наадия, Ниной, я, может быть, ее помню (я был не уверен); ну, уж Васька-то ее должен помнить (Васька тоже был не уверен); с Ниной, ну как же? с наигранным возмущением переспросил Дима-фотограф, бросив быстрый взгляд в Тинину сторону и показывая руками какой-то особенно выдающийся бюст... А, эта? сказал Васька; да, была такая Нина; конечно. Она и до сих пор есть, с удовольствием сообщил Дима-фотограф, заказав себе, по нашему примеру, стакан облепихового (обжигающего) чая, усердно дую на оный; к нему на Новый год прийти собирается. Они как раз тогда из Америки возвратились, она и Геннадий, Геннадий уехал в Америку году, он думает, в девяностом, и Нина за ним поехала, но что-то там у них не сложилось, у них друг с другом, говорил Дима, или у Ген-наадия с университетской карьерой, а оно и не могло, наверно, сложиться, Ген-наадий ведь знал все и ничего не знал толком, знал двадцать языков, но никогда не занимался лингвистикой, то есть, может быть, и занимался лингвистикой, как занимался всем на свете, но занимался для себя, про себя, как всем на свете и занимал-

ся, и никакого образования у него не было, то есть было какое-то, даже какое-то по-советски престижное, но какое-то такое, к какому сам Ген-наадий относился с презрением, и кажется, он затем еще уехал в Америку, чтобы заняться там чем-то таким безумным, чем он всегда, чем никто в городе, кроме него, и не занимался — хеттским языком, аккадской клинописью, шумерскими письменами, но ничего не получилось из этого, не допустили его до клинописи, не подпустили к хеттскому языку, никому он там оказался не нужен, и Нина очень скоро соскучилась в академическом городишке, в который они попали, и вернулась в Питер, и теперь уже он вслед за нею, и здесь он ничего, Дима думает, особенного не делал, жил опять у родителей, на Невском в генеральской квартире, и таким же был всезнайкой, зазнайкой, и очень скоро его убили, на набережной. А потому что не надо было в девяностые годы ходить ночью одному по набережной Лейтенанта Шмидта, у дальних линий, в соседстве с Балтийским заводом, а вот почему он шел там ночью один, этого не знает никто, знает Нина, но никому не говорит и никогда, наверно, не скажет, видно, чем-то виновата она, не от Васьки же буддиста он шел, говорил Дима, показывая на Ваську, в свою очередь с негодованием отвергшего такую возможность, он-де, Васька, к тому времени с Васильевского уже, скорее всего, переехал, и никаких контактов с Ген-наадием у него не было, он и вообще этого Ген-наадия помнит смутно, что же до убийц, продолжал Дима, то убийц, разумеется, не нашли, наверно, и не искали — нашли ограбленного, ободранного Ген-наадия с ножевыми ранениями, на пандусе причала, почти у самой воды, куда его, похоже, сбросили с набережной, полагая, что он скатится в воду, не заметив, что не скатился, а может быть, поленившись или побоявшись спуститься вниз

Алексей Макушинский

и столкнуть его с пандуса, убежав, может быть, в ужасе от содеянного. У него были с собой какие-то деньги, какие-то жалкие двести долларов, он, Дима-фотограф, это знает с Нининых слов, а в Питере убивали тогда и за меньшее, да ведь и просто так могли пырнуть ножиком... Его самого, Димы, говорил Дима (отхлебывая, довольно шумно, лошадиными губами, свой чай), не было в городе, когда это случилось, он как раз уехал, впервые в жизни, в Японию, на первые заработанные им деньги — не вообще первые деньги, которые он заработал в жизни, но первые настоящие деньги, огромные по тем временам, которые заплатил ему за большую серию фотографий журнал Newsweek, ни много ни мало, — на эти-то деньги он уехал тогда в Японию совершенствоваться, как мы уже догадались, в благородном искусстве игры на флейте сякухати, и глупо счастлив был в этой Японии — сбылась мечта идиота! — и таким же глупо-счастливым, идиотически-окрыленным вернулся в Питер, где в тот же день рыдающая Нина сообщила ему, что какие-то мерзавцы, мазурики убили ее Геннадия, банальнейшим образом ограбили и убили на набережной и что она одна во всем виновата. И было это уже двадцать лет назад, и сказать правду, давно уже он не вспоминал о Ген-наадии, и с Ниной, встречаясь, давно уже не говорил о нем, да и кто теперь о нем вспоминает, может быть, и никто, родители его, наверное, умерли, и как же глупо все это, если вдуматься, а что они когда-то с Ген-наадием ссорились, и тем более, что он, Дима-фотограф, на Ген-наадию прямо набрасывался, как я теперь утверждаю, что он, Дима, над Ген-наадием прямо, как я утверждаю теперь, издевался и всячески его задирали, в присутствии и при поддержке буддийствовавших девиц, — то нет, не было этого, не было и быть не могло, это все придумал я задним числом, они с Ген-наадием были приятели, и вообще у них не принято

было издеваться над кем бы то ни было, это ваши, объявил Дима к Васькиному удовольствию, московские штучки, у них в Питере другой стиль отношений, а уж что он, Дима, своей флейтою прямо тыкал в Ген-наадия, это, пардон, вообще чепуха, сякухати для любого, кто всерьез ей занимается, предмет священный, ее даже и не достают просто так из футляра, короче нет, нет и нет, не было этого, а вот что было и что Нина, когда мы с ней встретимся, наверняка подтвердит, так это то, что он, Дима, их с Ген-наадием познакомил у Васьки, чего, тут же объявил Васька, тонкими и брезгливыми пальцами снимая с пиджака незримую ниточку, он, Васька, напрочь не помнит, поскольку вообще этого мифического Ген-наадия помнит смутно, и уж точно никто из них не берется теперь сказать, присутствовал ли я при этом знакомстве; если мне кажется, что присутствовал, то присутствовал, с той, еще раз, оговоркою, что знакомство было, а никакой ссоры не было, издевательств над Ген-наадием не было тоже, и, во всяком случае, он, Дима, меня при этом не помнит; он помнит совсем другие эпизоды нашей общей, в меру безумной юности; помнит, как я приезжал к нему в Парголово с моим долговязым, тоже московским, приятелем в окружении целой стаи возбужденно чирикавших иностранок: двух или трех французенок, парочки то ли англичанок, то ли голландок, дико напуганных моряками, целым, что ли, взводом моряков с автоматами, которых видели они в электричке; что же до мальчика *Вити* — как странно, что я знаком с ним! — то нет, говорил Дима-фотограф, тряся хвостиком, отвечая на мой вопрос, мальчик Витя Ген-наадия уже не застал, мальчик Витя был подобран, вот, Васькой, Василием Васильевичем, на Невском проспекте года через два, Дима думает, после Геннадиевой гибели, такой чудовищной, такой несуразной.

Алексей Макушинский

Мальчик Витя, стипендия DAAD

Ни тот, ни другой из этих двух взрослых дядек, с которыми мы сидели теперь в кафе на Гагаринской, продолжая облепиховое чаепитие, и не догадывался, я думал и думаю, о том, какие отношения связывали Виктора с Тиной, сидевшей теперь между Васькой-буддистом и Димой-фотографом, что значил Виктор в ее, что она в его жизни; она же сразу поняла, о ком пошла речь, хотя мы все трое уже и забыли переводить для нее; повернулась к Диме своим широким, открытым и для радости, и в те дни скорей для горя лицом. Да ничего особенного он рассказать и не может о Викторе, ответил Дима (в свою очередь заметивший, как мы переглянулись с Тиной, своим взглядом спросивший у нас, в чем дело, ответа не получивший). Да, ходил к ним в дзенскую группу такой мальчик Витя, Витенька, подобранный Васькой, такой смешной, трепетный мальчик (это, видно, была у них устоявшаяся формулировка); ходил; потом уехал в Германию. Гораздо удивительнее то, что я рассказывал Ваське о Витеньке и что Васька тут же пересказал ему, Диме, возвратившись из Франкфурта; никогда не думал он, что мальчик Витя способен сделать карьеру какую бы то ни было, тем более банковскую; вот это правда поразительно; в это как-то даже невозможно поверить. Он думал, мальчик Витенька кончит плохо, говорил Дима-фотограф, уж очень был трепетный. Перед отъездом выглядел он покрепче... или так Диме помнится, и все потому, что спортом стал заниматься, очень усердно: бегал целыми днями, ходил в спортзал, тогда еще, похоже, не спортзал, а подвал, где *качался* с лиговской шпаной, героями его детства, друзьями и одноклассниками, да, вот удивляйтесь, а что до дзена, то лично он, Дима, всегда считал, что дзен — это несерьезно, что это просто такое

увлечение питерское, что рано или поздно все это бросают, вот как Васька бросил (бросил, подтвердил Васька со вздохом) и как он сам бросил, хотя сам он, Дима-фотограф, и вообще-то интересовался всем этим не так уж сильно, для него это скорее было связано с сякухати, с его увлечением Японией, а что они в Иволгинский дацан тогда ездили, ну, это же было чудное приключение, одно из тех, о которых вспоминаешь потом всю жизнь, вот только Аня, тогдашняя их подруга, ушла в буддизм, это правда, она одна и ушла, она, кстати, пишет ему из Непала — там, в Непале, тоже случается Интернет, — а так все бросили, полубросили, продолжал Дима-фотограф, и все эти люди, с которыми они читали Догена в девяностые и пробовали *сидеть* под руководством корейца, оказавшегося, похоже, прохвостом, все они тоже теперь занимаются другими делами, мирскими делами, потому он уверен был, что и у Виктора когда-нибудь это пройдет. Вы ведь знаете Виктора? — спросил он вдруг Тину (о чем-то, похоже, догадываясь); Sie kennen doch Viktor? Она знает Виктора, ответила Тина, обратившись к нему всем своим открытым лицом. А между прочим, это он, Дима-фотограф, посоветовал мальчику Вите подать документы на стипендию DAAD — да, да, Алексей, что вы так смотрите? — как быть не может? не только может, но именно так и было: он, Дима, тогда, в конце девяностых, в начале двухтысячных, живал уже подолгу в Берлине, ни в какую группу читателей Догена уже не ходил, да она к тому времени уже и распалась, устраивал только концерты сякухати у себя в студии, где и сам играл, и другие играли, куда и мальчик Витя заходил; там-то, по случаю, и рассказал он мальчику Вите, что есть в Германии разные стипендии, разные фонды, что он и сам, Дима-фотограф, в первый раз в Берлин попал по стипендии, и что если мальчик Витя не знает, что ему делать по окончании университета — а он этого явно не знал и вообще производил впечатление

Алексей Макушинский

человека, не понимающего, как ему распорядиться собой и своей жизнью, — то почему бы ему тоже не поискать в Интернете стипендию, не попытаться своего счастья? Тот искал, попытал, нашел, подал и получил; и перед отъездом в баварский городишко, где обнаружилось для него место, в последний раз звонил Диме и взял его берлинский номер, и он, Дима-фотограф, был, он должен признаться, чуть-чуть разочарован, даже — хотя, в сущности, ему наплевать — раздосадован тем, что мальчик Витя так и не позвонил, ни разу за все эти годы, то есть он понимает, что от баварского городишки до Берлина путь неблизкий, но позвонить-то можно было, дело нехитрое. Что до Викторových родителей, объявил Дима-фотограф, уже вставая, надевая на пижонский свитер дутую курточку, то он их никогда не видел; вообще не задумывался о том, что есть у него родители (Васька, вставая тоже, снимая пальцами последнюю ниточку, объявил, в свою очередь, что и он не видел, и он не задумывался); но раз эти родители есть и раз мы к ним, непонятно зачем, собираемся, то он нас отвезет, как обещал, на Полюстровский, а Ваську... Васька (мы были уже на улице) возразил на это, что его отвезить никуда не надо, он пешком пройдет к себе на Садовую; в том легком обалдении, которое часто наступает, когда из кафе или ресторана выходишь на улицу, мы все трое, вдыхая промозглый ветер, долго смотрели вслед ему, Ваське, как он уходил по Гагаринской, в длинном пальто, заложив руки за спину и поворачивая рыже-стриженую голову вправо и влево, к верхним этажам домов с одной и с другой стороны, из чего, в общем, следовало, что никаким он не был, по своей сути, Василием Васильевичем, создателем и владельцем издательства, специализирующегося на научно- и антинаучно-фантастической литературе, переведенной и не переведенной с английского, но был, в глубине души и по сути, все тем же Васькой-буддистом, удивленно глядящим

своими глазенками на непонятный ему, странный и чуждый мир. На площадке у школы между Гагаринской и Соляным переулком многогласно галдящие дети бегали за одним несчастным резиновым мячиком, явно не желавшим закатываться в ворота; крупистый дождик струился под фонарями; городское, прозрачно-розовое сияние стояло над крышами, намечая контуры уже ночных, уходящих в черноту облаков. Дима-фотограф, перейдя на немецкий, принялся говорить с Тиной (натянувшей на голову свою ушанку-иностранку, появление коей отмечено было ироническим поднятием Диминых бровей, зеленым блеском, проскочившим в глазах) о, конечно, обнаружившихся у них общих знакомых, приятелях, галеристах; очень светски, качнув головой, тряхнув хвостиком, открыл ей переднюю дверцу своего (как в России принято теперь выражаться) внедорожника (фирмы Nissan), темно-синего и огромного, в бесшабашных брызгах городской грязи, загородной глины, припаркованного в не совсем положенном месте, на повороте в столь, по другим обстоятельствам, памятную мне Гангутскую улицу.

Полюстровский проспект

Все (в очередной раз скажем) как-то связано в мире, все как-то в мире взаимодействует. Тем не менее мир (и это скажем еще раз) распадается для нас на отдельные, по внешней видимости и по нашему ощущению никак друг с другом не связанные миры; переходы от одного к другому чем внезапней, тем удивительней. Из Диминого внедорожника вывалившись, очутились мы в окружении желтогрязных башен с откровенными ребрами, низеньких зеленых заборчиков, ржавых жестяных гаражей. Балконы башен забраны были где фанерою, где узкими и тоже, от гари, грязи, беспросветными стеклышками; в парадном стоял тот затхлый запах, ко-

Алексей Макушинский

торый стоит во всех таких домах, во всем мире, по ту и по эту сторону бывшего железного занавеса; не успел я спросить у Тины, виделась ли она после незабвенного Нового года с Хэмфри, диджеем, плейбоем, как уже, не очухавшись, не отдышавшись, стояли мы в лифте, скрипучем и узкодверчатом, с нацарапанными на его пластиковых синеньких стенках залихватскими непристойностями, перевести которые для Тины тоже я не успел. Она очень волновалась, я видел. Волноваться ей было незачем; Викторovy родители, в темноте, тесноте прихожей, заставленной, как это бывает в России, вешалками, шкафами и шкафчиками, явились нам серенькой, седенькой парой — он очень высокий, она очень маленькая; — после долгого толкания, топтания, снятия ботинок, подбора тапочек, по узенькому, книжными полками и еще какими-то шкафчиками сжатому коридору, впихнули нас в низенькую, тоже набитую мебелью комнату, где, с трудом протиснувшись между диваном и столиком, между креслом одним и креслом другим, в последний раз толкнув друг друга коленками, уселись мы за столом и где окончательно выяснилось, что волноваться Тине совсем было незачем, и прежде всего потому, что ни Галина Викторовна, ни Ростислав Михайлович (уже, выше, упоминал я их имена) ни по-немецки, ни, в сущности, по-английски не говорили, к Тине, соответственно, не обращались или изредка обращались к ней через меня и только с тем, чтобы предложить ей еще чаю, еще кусочек лимонного кекса, и не очень хорошо, показалось мне, понимая — вообще, может быть, не понимая, — кто она такая, держа ее, может быть, за мою подругу или жену, во всяком случае, мне показалось, не связывая эту немолодую увесистую немку со своим младшим сыном, продолжающим переводить им деньги, так что они не сомневаются, что он жив, но нет, нет, вот в чем ужас, все еще и по-прежнему не подающим никаких ве-

стей о себе; да и кто я такой, не знаю, понимали они или нет, так что мне хотелось еще раз (что уж совсем было бы глупо) рассказать им историю моего с их сыном знакомства. Вообще они выглядели растерянными, как будто однажды и навсегда удивленными чем-то и потому не способными сосредоточиться на происходящем с ними, вокруг них. Главное никак они не могли решить, поить ли нас чаем и только, или кормить нас ужином, причем всего менее интересовало их наше мнение по этому волнующему вопросу. Да нет же, Галя, говорил своей маленькой, пухленькой, суетливой, все вскакивавшей из-за стола, опять садившейся, опять вскакивавшей жене высокий Ростислав Михайлович, еще красивый, с почти преувеличенно мужественным лицом (лицом, напомнившим мне какого-то советского актера, из тех, что играли героических комиссаров, героических партизан: раздвоенный подбородок, честные глаза, резкие губы...); нет же, Галя, их нужно покормить ужином, что им пряники, что им зефир? Люди целый день на ногах, принеси хоть котлеты. Ну и что, что холодные? Пусть будут холодные; с хлебом, с маслом, самое милое дело. Погреть? Конечно, можно их и погреть. Тогда уж с пюре. Как не нужно пюре? Если греть, то с пюре, что ты, Галя, прямо как девочка... Я рад был, что Тина не понимает их вдохновенного диалога; сам, почти не слушая, наблюдал за обоими, оглядывал комнату. Была вещь в этой комнате, какой давненько уже я не видывал, вещь (еще не обшарпанная, но уже очень не новая, состарившаяся вместе с хозяевами) под названием *стенка*, гибрид шкафа с буфетом и книжными полками, неременный атрибут позднесоветского благополучия, предмет законной гордости *прибрежного* человека, создающего свой скромный кооперативный мирок под сенью бессменных бровей; предмет, произведенный, как правило, в братской *сисилисической* стране (Польше, Чехии, Венгрии...);

Алексей Макушинский

в застекленной части конструкции, и на полочке над телевизором, и еще на другой полочке, над не-помню-чем, стояли, молчали, влекли к себе взгляд фотографии; не фотографии, но фотографий безумное множество; такое множество, что слишком тесно им было на этих полочках, за этим стеклом; теснясь, норовили они залезть друг за дружку, друг дружку отстранить, отпихнуть; множество и безумное множество детских и юношеских, как сразу же я догадался, фотографий Юры, Викторова старшего брата, утонувшего в столь мне памятной реке Лиелупе (Курляндской Аа), страшным далеким летом, прекрасным ветреным днем, когда даже этой кооперативной квартиры еще у них не было, была лишь коммуналка на Лиговке, и этой чешской (польской, венгерской...) *стенки* не было, наверное, тоже. Подойти к фотографиям я не мог, не в силах выбраться из-за низенького, валкого, зараставшего яствами столика, за которым так сидели мы, что только хозяйка могла подняться, не поднимая всех остальных, не роняя посуду на пол и не проливая чай на услужливо подставленные колени; даже со своего места видел я и мог оценить строгую, подростковую, кинематографическую красоту этого старшего брата, явно унаследованную им от отца (Виктор скорее уж походил на свою маму... или не походил ни на кого в этой бестолковой семье). Котлеты, надо признать, были отменные; и разогретое на сковородке картофельное пюре образовало ту темную корочку, в которой, при таком обращении, и заключается самый смак, самый вкус; да и тертая свекла с черносливом, грецкими орехами и крошечными кусочками кураги не оставила бы равнодушным гурмана. Ну вот, теперь можно и чаем их напоить, говорил (величественно) Ростислав Михайлович. У нас ведь были пряники, Галя? Вы знаете пряники? — спрашивал он, поворачиваясь к

Тине всем своим героическим и комиссарским лицом. Do you know, rjjaniks, Russian bread? Пряники, русский хлеб. Это было очень смешно, но смеяться мне не хотелось. Принеси же пряники, Галя, и пастилу не забудь... Явились пряники, явилась и пастила. Но когда мы и чаю попили, и пастилу попробовали, и rjjaniks, Russian bread оценили, все продолжала вскакивать и мелкими шажками убегать на кухню Галина Викторовна, все передвигала, переставляла что-нибудь на валком столике — тарелочки, вазочки — мелкими, суетливыми движениями чуть-чуть трясущихся рук, когда-то красивых, теперь просто пухленьких, и взглядывала испуганными глазами на мужа, словно спрашивая у него совета в вопросах важнейших, неразрешимых — не принести ли еще варенья? — он же сидел все так же величественно, покоясь в своей кинематографической красоте, не в силах отвести честных глаз от другим людям, простым смертным не зримого зеркала, которое было всегда перед ним, в котором он любовался собою. А я все ждал, по наивности своей, что вот сейчас она успокоится, что он, наоборот, выйдет из своего героического покоя и что они хоть спросят меня о Викторе что-нибудь, о том, как жил он все эти годы во Франкфурте, про который, как выяснилось, не знали они ничего, не знали даже, что это единственный в Германии город небоскребов, не знали, что там родился Гете, вообще, показалось мне, не очень хорошо, как многие советские люди, отличали его от Франкфурта-на-Одере, полупольского захолустья, с которым никогда и ни одному немцу не придет в голову спутать банковскую столицу Европы. Но вопросов все не было; в конце концов я понял, что их и не будет. Уже не было сил сидеть; столик не повалив, добрался я до теснящихся фото. Детские фотографии Викторова боготворимого брата были просто

Алексей Макушинский

детскими фотографиями, ничего более. За пару лет до Курляндской Аа превратился он в прекрасного юношу — другого слова не подберу — с чуть вытянутым лицом, длинной и гордой шеей, с откинутыми назад волосами, стремлением ввысь во всем облике и с легкой, в то же время, одутловатостью, даже припухлостью вокруг губ, совсем его не портившей, но придававшей его лицу и облику ту мягкость и ту незаконченность, которая всегда говорит о будущем, о возможностях, еще не исчерпанных, даже еще не испробованных. Его глаза не казались, совсем нет, ни сумасшедшими, ни страдальческими, ни глазами со старинных снимков, времен немного кино, но какой-то был в них излишний напор, как-то уж слишком пристально смотрели они на мир, словно упрекая тех, кто старался сохранить их на пленке, то ли за сами эти старания, то ли за тщетность стараний.

Фрегаты и бригаи

Я спросил, наконец, где же Викторова комната; ее нет, мне ответили; есть бывшая Витина комната, маленькая, рядом с кухней, против прихожей. Там не убрано, там беспорядок; там Ростислав Михайлович клеит свои корабли. Что он делает? Ростислав Михайлович клеит модели парусных кораблей, в меру отпущенной ей торжественности объявила Галина Викторовна, указывая чуть-чуть трясущейся пухлой рукой на скромно и великолепно молчащего мужа. Я заглянул тайком в эту комнату, по дороге из микроскопической уборной, микроскопической ванной (советский шик, *раздельный санузел*). Посредине крошечной комнатки, заполняя ее собою, стоял не городской, но дачный, из неотесанных досок, стол (мечтавший, видимо, попасть в верстаки), весь заваленный дощечками, веревочками, кусочками белой ткани, тубиками с клеем и краской; вдоль стен, на полу и на полках, обнаружи-

лись, действительно, белоснежные, что-то очень детское воскресившие в памяти парусники (*бриги*, может быть; *фрегаты*, наверное...); сработаны они были, если я смею судить, прекрасно. Ничего больше не было; и что они сделали с Викторowymi вещами, спросить я у них не решился. Решился спросить о других фотографиях, Викторových фотографиях в детстве. Да, у них много фотографий; поищи, Галя; они в синем чемодане должны быть. Нет, в синем чемодане их нет, быть не может; они в красном чемодане, вот они где. Ну что ты, Галя, в каком красном чемодане? в красном чемодане никогда их и не было, в синем чемодане они должны быть. Синий чемодан на антресолях. На каких антресолях, Галя? Синего чемодана на антресолях отродясь не бывало. Как же не бывало, когда она сама его видела? Да нет, Галя, ты все путаешь, всегда ты все путаешь. Синий чемодан в спальне за шкафом. А, ладно, он сейчас сам сходит, посмотрит. Он сходил, посмотрел, возвратился с окончательно комиссарским лицом и синим (в самом деле), клеенчатым, на молнии, чемоданом (каких тоже я давненько не видывал) в покрасневшей от напряжения руке; так же долго обсуждали они, куда его поставить, на какой стул, не стереть ли первым делом пыль с его скользкой поверхности. Пыль надо было раньше стирать, Галя, что ты, да и нет на нем пыли. Как же нет, когда вон у тебя на пальце... Там все было просто свалено, в этом синем клеенчатом чемодане — и фотографии, и бумаги, в папках, без папок, и какие-то грамоты, вымпелы, дипломы школьных *олимпиад*, соревнований по математике, и студенческие, по виду, билеты, *зачетки*, и какие-то конверты, и какие-то еще фотографии. Ужасаясь, подумал я, что это все Викторово добро, все его барахлишко. Так не может быть, сказал я себе; наверное, есть еще один чемодан, зеленый, клетчатый, за шкафом, на антресолях... Дизайн дипломов, показалось мне, не изменился с самых советских

Алексей Макушинский

времен. А вот Витя с бабушкой, вот с бабушкой и дедушкой, да, вот, на даче... Они держат его, наверное пятилетнего, за руки на этом блеклом и очень любительском снимке, который я тут же протянул, помнится, Тине: его бабушка Руфина Борисовна, еще совсем не старая, в походной брезентовой куртке, с лицом действительно финикийским, иначе не скажешь, с тонким, точным рисунком носа и губ, смешной шапкой мелко вьющихся, почти не седых волос, и дедушка Виктор Семенович, большой и тоже брезентовый, впрочем, не вышедший, смазанный и словно стремящийся исчезнуть среди солнечных бликов; причем держат его за руки, поднимая их кверху, явно готовясь поднять и его самого, чтобы он пролетел над землей, сколько хватит их следующего широкого шага, к которому они уже изготовились, чтобы пролетел еще дальше, выброшенный ими, к его восторгу, вперед; лицо у Виктора, пятилетнее, громадноглазое, такое, на этом снимке, в предвкушении полета, отчаянное и такое счастливое, каким его я ни разу во взрослой жизни не видел... Когда мы уходили, все в той же прихожей, забитой шкапами, Галина Викторовна взяла мои обе руки в свои мягкие руки и, глядя снизу, прямо в глаза мне, произнесла: помогите нам Витю найти; и это были, теперь я думаю, первые (впрочем, и последние) подлинные слова за весь вечер, как если бы на один (но и всего на один) краткий миг приоткрылась та завеса бестолковщины, за которой эти люди прятали от себя свою жизнь. Бедный Виктор, сказала Тина, когда, спустившись на лифте, снова вспомнив о Хэмфри, мы вышли с ней на Полюстровский. Бедный Виктор, повторила она, натягивая на голову свою ушанку-иностранку, даже опускающая уши, как если бы вдруг стало ей холодно (хотя холодно не было).

Квартиры, узоры

О Хэмфри (диджее, плейбое) говорили мы по дороге к Диме-фотографу, тридцать первого декабря. Хэмфри, как выяснилось, в этот вечер снова, по своему обыкновению, собирал друзей, подруг и блондинок на празднование Нового года, поедание острочечевичной похлебки, о чем писал ей по электронной почте еще до нашего отъезда из Франкфурта. Как хорошо, что мы здесь, а не там... Хорошо идти здесь, вдоль почти не замерзшей, жалко, что совсем не замерзшей, Невы, мимо этих сфинксов — да, вот они, сфинксы, — по Английской набережной, к Диме — или Дмитрию? или Димитрию? — что все-таки русские делают с именами? — и нет, она с тех пор не бывала у Хэмфри, хотя он упорно ее приглашает, отдадим ему должное, и да, это была ужасная, ужасно важная для них с Виктором ночь, что-то, хоть она этого тогда, наверно, не поняла, надломившая в их отношениях, и это она во всем виновата, она одна, больше никто... Я же вспоминал ту темную квартиру на Исаакиевской площади, где Дима (Дмитрий, Димитрий...) устраивал более или менее подпольную выставку своих фотографий, более или менее дзенских, и где я был — тогда, когда-то — со своей безнадежной любовью, своей смуглой широкобедрой леди, равнодушной ко мне, давным-давно, наверно, забывшей меня и кто знает, в каком Нью-Йорке или в какой Барселоне с тех пор потерявшейся — если, конечно, по-прежнему не живет она, не прожила всю жизнь на Исаакиевской площади, в соседнем доме с тем, где когда-то устраивал свою более или менее подпольную, более или менее дзенскую выставку Дима-фотограф, — и совсем недалеко от того, где он теперь жил, куда мы шли вместе с Тиной вдоль черно-белой, необозримой и почти не замерзшей Невы, под крупистым дождиком, в новогоднюю

Алексей Макушинский

ночь. Если один раз внимательно посмотришь вокруг, то уже не перестанешь, никогда, удивляться. И чем-то похожей оказалась нынешняя Дими́на квартира — вполне себе барская, по тем новым понятиям, которые успели сложиться в России за годы моих скитаний по баварской и не-баварской провинции, с такими золотовыгнутыми кранами в ванной и такой ванной самой, на таких золотовыгнутых ножках, каких в баварской и не-баварской провинции я никогда и не видел, — все же чем-то напоминала эта барская (не баварская), темная и большая квартира ту, тогдашнюю и чужую, на Исаакиевской площади, если барскую, то по понятиям смешным и советским, которую Дима-фотограф то ли и вправду не помнил, то ли не хотел вспоминать — давно это было! — и да, была какая-то квартирная выставка, было много квартирных выставок, всех не упомнишь; а так же — я ничего не мог с собою поделатъ, но я видел, что так же, — из бестолковой прихожей вводил куда-то вглубь, в непонятные дебри, длинный и пустой коридор, и так же, по правую руку, шли комнаты: сначала одна маленькая, потом другая, побольше, и самая, наконец, большая, в два света, или в две темноты, под углом выходившая в классический колодец, в Достоевский двор, горевший чужими окнами, — большая и квадратная комната, с теперь тоже, но не для выставки, развешанными по стенам Дими́ными фотографиями, отчасти и по-прежнему дзенскими, впрочем, дружелюбно соседствовавшими с еще всякими фотографиями другими: фотографиями легендарных петербургских художников, фотографиями — замечательными — Бориса Смелова, с которым Дима, как выяснилось, дружил; комната, где тогда, наверное, не было, или он был чем-то заставлен, теперь был, и заставлен ничем не был, камин, горевший, впрочем, поддельными поленьями, без дыма

и запаха, возле которого дожидались нас Димины, мне дотоле не ведомая жена, тип берлинской блондинки, и пришедшая раньше нас дама, сухопарая, очень немолодая, с выдающимся бюстом и красными бусами, Нина.

Все было не так

Что до вечеринки, то вечеринка была скучная, как все вечеринки; повеселее многих; для Тины уж точно повеселее той франкфуртской, с ее блондинками и бляндинками, чечевичной похлебкой; хотя ей было не до веселья. Но и портить людям праздник, навязывать им свое горе ей тоже, ясно видел я, не хотелось; в прихожей, оглядев и обдернув на себе, по обыкновению, свои черные джинсы, свой черный свитер, заодно уж и лицо разгладила она перед зеркалом, как будто новое лицо на себя натянула. Лицо отваливалось; в золотоножной ванной приходилось ей то и дело его натягивать заново, не без помощи, понятное дело, губной помады, ресничных теней. Ее встречали здесь как более или менее королеву. Я впервые, стыдно признаться, понял, как она знаменита, то есть знаменита той особенной, узкой знаменитостью, которая только и достается в удел фотоаграфам, если ты не Картье-Брессон или, в наши дни, не Андреас Гурски, с которым Тина была знакома еще по дюссельдорфской Академии, а Дима, как выяснилось, впрочем скорее шапочно, по какой-то нью-йоркской фотографической, как он, увы, выразился, *тусовке* (слово, от которого я заболелаю), на зависть вскоре подошедшему другому питерскому фотографу, художнику, автору инсталляций (просто инсталляций и видеоинсталляций, что бы сие ни значило), классическому потерто-джинсовому, клоако-бородатому художнику именем Петр, какими они, художники, бывали еще в моей юности, на хорошо скрытую зависть и жене этого художника, гордой грузинке, оказавшейся зато

Алексей Макушинский

давной приятельницей чешской галеристки Милены, у которой клокасто-джинсовый Петр то ли уже выставлялся, то ли вскорости должен был выставляться. Конечно, мы заговорили о Франтишке Дртиколе, гении ар-деко, об этом, тут она, гордая грузинка, не может не согласиться со мною, единственным в своем роде и жанре, таком далеком от наших нынешних эстетических устремлений фотографе; Петру и его жене Милена, как выяснилось, тоже подарила тот альбом, он же сборник статей, который рассматривал я, так недавно и так давно, в итальянском ресторане под одобрительными взглядами спагеттопоедающих гурманов, гурманок. Как все-таки уживался в нем коммунизм с эротической эзотерикой? На этот вопрос ни у Петра, ни у его жены ответа не было; не было его и у Димы, никогда и не слышавшего, как оказалось, о Дртиколе, с пражской галеристкой Миленой, однако, встречавшегося на какой-то берлинской (как, увы и по-прежнему, он выражался) *тусовке*. Мир фотографический, я полагаю, не шире, хотя и не тесней дзен-буддистского. Дима явно и хорошо подготовился к Тининому приходу. На журнальном столике у искусственного камина лежали — так, что нельзя было не заметить их, — Тинины альбомы и книги, Димой, как сообщил он, зеленея глазами, давным-давно уже купленные в Берлине; по-приятельски глянули на меня раздевающиеся албанцы, ожившие статуи, которых снимали мы в дворике возле Рёмера, главной франкфуртской площади... Среди (немногих) Диминых работ, развешанных по стенам гостиной в соседстве со снимками легендарными питерских фотографов, его друзей и приятелей, Бориса Смелова, и другого Бориса — Кудрякова (Пти-Борис и Гран-Борис, как называли их в городе), были и на этот раз замечательные; той давней, которая так меня поразила, так меня пробудила, с одинокой, безоконной, потому что — торцом к

зрителю, игрушечной многоэтажкой на пустыре и человеком, тоже игрушечным, державшим в руке абсурдный портфель, созерцавшим, вместе с портфелем, многоэтажку и облака, их грозную, их величественную архитектуру, пустоту и сияние за ними, — не только не было среди всех этих фотографий той давней, но ее тоже Дима не помнил, вспоминать отказывался очень решительно. Какая многоэтажка, какой пустырь, что такое? Это вы, Алексей, все придумали, все себе сочинили. У него не было такой фотографии, и над Ген-наадием никогда он не издевался, своей сякухати в него не тыкал, и квартирной выставки возле Исаакиевского собора он вспомнить не может, их много было, квартирных выставок, в то далекое, прекрасно-поганое время, и уж никак я не могу ожидать от него, чтобы он помнил, что там случилось, тридцать лет назад, с моими очками, как я их смахнул со стола и наступил на них ногой — это правда слишком, я должен с ним согласиться. Те же искры, зеленые, пробегали в его глазах, голубых и серых одновременно; лошадиность лица вдруг усиливалась. Очки я вам прощаю, Бог с ними, они разбились и ладно, хорошо, что теперешние целы, у меня на носу, но как же, Дима, вы можете не помнить той выставки? Та выставка точно была, возле Исаакиевского собора, здесь рядом и в квартире, похожей на эту, и я там был не один, я был с прекрасной смуглой спутницей, сразу нашедшей своих знакомых среди ваших знакомых, к моему огорчению. А та фотография, с этим сиянием пустоты, этим одиночеством архитектуры земной на фоне архитектуры небесной?.. Мои усилия были напрасны, мои старания тщетны. Я один, похоже, обречен все помнить, я думал, из угла гостиной поглядывая на Нину, сухую, почти старую женщину, с тем же выдающимся бюстом, теми же красными крупными бусами. Глаза у нее оказались совино-сонливые, очень приятные; брови тоже, совсем по-совиному, уходили от переносицы вверх. Все

Алексей Макушинский

всё забыли, никому нет дела до погибшего прошлого, я один обречен хранить его, склоняться над ним — так я думал, покуда Дима-фотограф вынимал из матерчатого футляра бамбуковую темную флейту, не знаю, ту же или другую, столь же прекрасную, еще более, наверно, старинную. По-прежнему шевелил он губами, примеривался к своей флейте, прежде чем извлечь из нее один-единственный, иногда как будто дрожавший, вместе с Диминым хвостиком, глухой, глубокий, упорно не затихавший звук, создававший вокруг себя свою собственную, зримую тишину. Долго, впрочем, Диме-фотографу играть не пришлось, да он, по-моему, и не очень хотел, — уже мешали петарды, начавшие рваться за окнами, ракеты, рассыпавшиеся в прозрачном питерском небе, окунавшие достоевский двор и соседние крыши то в кобальт, то в киноварь, то в кровь, то в зеленку, да и не за тем собрались мы здесь, чтобы слушать его сякухати, объявил, сверкнув глазами, Дима-фотограф, приглашая гостей к столу, а чтобы напиваться, угощаться, вообще веселиться, и я тоже, как выяснилось, обреченный все помнить, не помнил многого из того, о чем они, Дима и Нина, еще не напиваясь, но уже веселясь, с наслаждением рассказывали собравшимся. Мы все помнили вино «Прибрежное», которое пили при Брежневе; но постыдные, под действием «Прибрежного», подробности моего поведения, о которых, под действием теперешних, несравненно более благородных напитков, перебивая друг друга, рассказывали они мне и всем прочим, исчезли из моей памяти начисто, как будто кто-то стер их резинкой, выскоблил ножиком. Я в них и верить отказывался, но Дима, искрясь глазами, настаивал, и Нина, колебля бюст, тряся бусами, подтверждала. Мы с этой Ниной и виделись-то всего однажды, у Васки-буддиста, когда Дима с Ген-наадием спорил о Гейдеггере. Ничего подобного, ни о каком Гейдеггере с Ген-наадием Дима

не спорил, не будем преувеличивать его образованность, а с Ниной я танцевал рок-н-ролл, под действием «Прибрежного», у него, Димы, в Парголово. Я с Ниной танцевал рок-н-ролл? вот я, такой, каков я есть, танцевал рок-н-ролл? Ну конечно, мы так с Ниной отплясывали, что чуть всю комнату не разнесли, всю мебель не повалили, так я ее закручивал, так она отлетала на вытянутой руке. Вот на этой моей руке, вот эта Нина с ее красными бусами? Дима кивал, Нина тоже, гордая грузинка, жена Петра, смотрела оценивающе, клокастый Петр одобрительно ухмылялся. Что же, я и скабрёзных стишков не помню, которыми всех смешил, которые сочинял на ходу? Стишков? скабрёзных? помилуйте... Как! я не помню стишков про сутру? Стишков про сутру? о чем вы? Тут они стали цитировать неслаженным хором, и Дима, тряся хвостиком, и, тряся бусами, Нина: С утра читаю сутру я — в ней смысла нету (восторженная пауза) никакого! Дима хохотал, и Нина хохотала, и жена Димина, тип берлинской блондинки, и жена Петра, и сам Петр. Петр хохотал, густо уха, жена Петра, подруга пражской Милены, снисходительно подхохотывала ему. Тина тоже стала смеяться, зараженная общим хохотом и, кажется, впервые за все время нашего с ней путешествия. С утра читаю сутру я — в ней смысла нету ни... какого! Да я же это горланил на весь Васильевский остров, когда мы вышли от Васьки-буддиста. Который сегодня прийти не смог, который передает всем привет. Да, встречает Новый год со своим семейством: с женой, сыновьями и дочкой. И если не на весь Васильевский остров, то на весь Средний проспект Васильевского острова. Я — горланил? Я горланил, и они со мною горланили. Все-таки еще молодые были, еще очень глупые, да и вино «Прибрежное» действовало безотказно, не подводило никого, никогда.

Алексей Макушинский

Ген-наадий, в самый последний раз

Мы и теперь, состарившись, вышли на улицу, на Английскую набережную, тридцать лет спустя, в новогоднюю ночь. По-прежнему не было снега, был лед у берега, очень тщательно — как будто человеческой, сознательной рукою — нарезанный на многообразные многоугольники, мерцавшие синим, смутным мерцанием, с пивными банками, ракетными гильзами, разбросанными по ним, дальше — беспросветная чернота ночной невской воды; совсем близко от моих оказались вдруг Нинины приятно-совиные глаза под расходившимися кверху бровями. Мы оба смотрели налево, а не направо, нам дела не было ни до Двенадцати коллегий, ни до Кунсткамеры, на которые косматый Петр указывал Тине, протягивая руку в их сторону и топыря пальцы, почти как сам Медный всадник, его царственный тезка. Нам дело было до Горного института, дальних линий и набережной Лейтенанта Шмидта, ее окраинной части, откуда какие-то мазурики еще пускали свои петарды, разрывавшиеся над бело-черной пустыней Невы. Геннадий часто поминал меня, рассказала мне Нина, очень часто, в разные годы. Я, видно, произвел на него впечатление. На нее я тоже произвел впечатление нашим с ней рок-н-роллом, но тут было впечатление иного рода, куда более сильное. Никто будто бы не понимал его в жизни, а вот Алексей из Москвы, тот понимал. Не может быть, неужели он говорил так? И не один раз. Опять его не поняли, не оценили, а вот был бы здесь Алексей из Москвы, он бы оценил, он бы понял. Я вдруг прочитал осуждение в ее совиных глазах. Я ведь, на самом деле, не понял, не оценил. Я считал его болтуном, этого Геннадия (Ген-наадия), каким все считали его; я ничем не лучше был этих всех. А он любил поболтать, кто же

спорит, говорила Нина, отвечая на мои мысли, еще более приближаясь ко мне; конечно, любил он, кто ж спорит, поболтать, потрепаться, показать всем и каждому, какой он умный, как хорошо знает Фому Аквинского, Бхагават-гиту, хеттский язык, заодно уж и структурализм с сестрой его семиотикой, как вы, Алексей, когда-то шутили (я шутил так? впервые слышу...) — а на самом деле за всей этой интеллектуальной пеной и псевдофилологической пылью, которую он пускал в глаза случайным приятелям, так (или примерно так) говорила Нина, снова отводя от меня свой совиный, сонливый, со вдруг накатившейся на него влагою взгляд, — на самом деле за всей этой пылью и пеной, на которую она, Нина, в конце концов научилась просто-напросто не обращать внимания, что обижало его, она вынуждена признать, — он был несчастный, страдающий, очень ранимый, очень добрый и никак не осуществивший себя человек. Способностей было много, а что осталось, что получилось? Две-три статьи, которых никто не читает. Все забыли о нем, как будто его и не было. Она и сама не вспоминает о нем неделями, вот вспомнила, потому что со мной повстречалась... И нет, она не рассказала мне, если знала сама, что там делал Геннадий, в ту роковую ночь, в том конце набережной двадцать лет назад, с двумя сотнями долларов в кармане. Мы оба повернулись, наконец, к Коллегиям и Кунсткамере, куда косматый Петр по-прежнему советовал съездить кутавшейся в свою ушанку-иностранку и, похоже, о чем-то совсем другом думавшей Тине.

Соратники и сорайцы

Первое января — день, как известно, игрушечный, невзрачный, словно снятый с елки, как шарик, блестящий, хрупкий и бесполезный. Ему начинаться не хочется, начинается он всегда поздно. Мы за то и любим его, этот первый,

Алексей Макушинский

самый тихий день года. Не столько выпадает он из привычного течения времени, сколько, кажется нам, еще не успел впасть во время, отдаться навыкам бытия, скрывающим от нас бытие. Как будто предлагает он нам не принимать уж слишком всерьез и прочие триста шестьдесят три или, в высокосные годы, триста шестьдесят четыре дня, идущие вслед за ним; они того и не стоят; они тоже игрушечные. Усато-кавказский водитель, на пойманном мною случайном «Жигуленке» подвозивший нас по Приморскому шоссе к буддистско-бурятскому храму (дацану), прислушивался к нашей мирной немецкой беседе о свойствах первого января (я видел в зеркальце) с одобрительною усмешкой, может быть, и вправду понимая ее, или понимая, или думая, что понимает про нас двоих что-то другое, более важное; на Тину, как все восточные люди, смотрел он с восхищением, с вождением (замеченным и тоже одобренным ею). Возле дацана, теперь за забором не спрятанного, отделенного от мира чугунной, для любопытных взоров проницаемой изгородью, обнаружили мы желтый жилой дом «для лам и паломников», как сообщала беленькая табличка, построенный, по сообщению той же таблички, одновременно или почти одновременно с самим дацаном, в прекрасном начале прошедшего страшного века; обнаружили на табличках других, черных и скорее напоминавших надгробия, список знаменитых постояльцев этого дома, напоминавший скорей мартиролог, который оба мы сфотографировали, конечно, так что мне теперь нетрудно процитировать хотя бы его начало: Бадмаев Николай Николаевич (1879—1939), врач, директор клиники восточной медицины, расстрелян; Барадийн Базар Барадиевич (1878—1937), востоковед, драматург, расстрелян; Барченко Александр Васильевич (1881—1938), биофизик, парапсихолог, расстрелян; и далее, в азбучном порядке, вплоть до таинственного:

Ювачев Д.И. (Даниил Хармс), 1905—1942, поэт, писатель, арестован в 1932, 1941; как он здесь очутился, я не знал и не знаю. В самом храме все показалось мне экзотическим, очень чуждым, ничуть не похожим на те дзенские заведения, которые доводилось мне видеть в Германии, с их простотой, пустотой, чистотой, однозначностью их порядка: вот эта вещь должна быть на этом месте, на другом быть не может, даже если это всего лишь камень, только коряга на какой-нибудь ступеньке или приступочке, на подоконнике или полке. Здесь все было какое-то сдвинутое, словно только что переставленное, переложенное со своего правильного места — но где оно? — на другое, случайное. А так оно и всегда бывает в России (я думал); буддизм здесь, может быть, даже и ни при чем. Всего было много, и все было пестрое, золотое и красное — подушки, циновки; на ветках в садике, на веревочках, протянутых от одного дерева к другому, развешаны были многоцветные тряпочки, с надписями и без оных, шелестевшие, колыхавшиеся на влажном, свежем, уже морском, уже очень вольном ветру. Ни одного ламы, увы, мы не встретили; поговорили с очень спокойной, в тяжелых очках, буряткой, продававшей брошюрки в сенях; пошли к Елагину мосту, на Елагин же остров. По жизни, в очередной раз я думал, мы ходим кругами. На Елагином острове была, наконец, зима; был снег, лежавший многообразными, по разным лекалам выведенными пятнами на черной земле, желтой траве; и был снег, вдруг и впервые посыпавшийся на нас сверху, ни из какой не тучи, но прямо с неба, впрочем, волнистого, белесого, в светящихся разрывах, сгущавшихся клочьях. Первым делом обнаружился тир, к немалому моему умилению; обшарпанная зеленая будка с надписью бежевыми буквами «Тир». У меня в памяти стояла она не там, выглядела не так; дверью — в другую сторону; думаю все же, что эта будка

Алексей Макушинский

была та же самая, за прошедшую вечность пару раз, наверно, покрашенная, опять полинявшая; дверь, конечно, была теперь заперта. Я рассказал Тине, откуда мы шли с ней от одного замерзшего пруда к другому замерзшему, о стрелковых подвигах Васьки-буддиста, о девушке с «Аэлитой» в руках (был такой писатель; «третий Толстой»; не путай, bitte, со Львом Николаевичем), о помятых пулями эйдосах, падавших непонятно куда, в Платонову, похоже, пещеру... Ничего этого не было больше; были только дети с санками, нам попадавшиеся навстречу; старушки без санок, следившие, чтобы дети не скатились на лед, не плюхнулись в пруд (две счастливые категории петербургского населения, чуждые возлияниям протекшей ночи); в конце концов мы устроились посидеть на мокрой скамейке (на той же, где я сидел когда-то с Васькой-буддистом, или на соседней с ней, или вообще в другой части парка — я не мог уже вспомнить), причем так устроились посидеть на этой мокрой скамейке, как я никогда не сидел, как сидит какая-нибудь шпана фиксатая (я подумал), балансируя на спинке (что у Тины не совсем хорошо получалось), ноги поставив, соответственно, на сиденье. Никакой (другой) шпаны не было; не было и бодяка с мордовником, понятное дело; не было ос, не было даже уток. Было только это ощущение большой и необъятной воды где-то рядом, озерного и морского простора поблизости; и было это сияние, на сей раз усиленное снегом, лежавшим вокруг нас, медленными снежинками, падавшими со светлого неба; это, если угодно, сияние спасительной, избавительной пустоты за вещами, той пустоты, из которой все исходит, в которую все возвращается. Мы не изменяемся за тридцать лет, мы думаем те же мысли, мир видим так же. Но что будет с этими мыслями, когда я умру? Вот вопрос всех вопросов... О чем ты думаешь? Так, ни о чем. Перейдя через Большую Невку, полюбо-

вавшись сложным узором разбросанных по льду пивных банок, ракетных гильз и шампанских бутылок, опять дошли мы до буддистского храма, вновь почитали мартиролог на стене гостевого дома (Будаев Осор Будаевич, 1887—1937, лама-художник, расстрелян; Гармаев Цырен-Доржи Дондукович, 1902—..., лама, репрессирован в 1935; Цыбиков Жан Цыбикович, 1892—1937, лама, служащий тибето-монгольской миссии, расстрелян), и поскольку я уже давно связал одно с другим, а по жизни мы ходим кругами, проехали пару остановок на трамвае, не изменившемся, показалось мне, с 1982 года, таком же шатком и громком, до Серафимовского кладбища, по улице Савушкина, но, конечно, в другую сторону, не так, как ехал я тем незабвенным для меня майским дождливым днем, после первого чтения Д.Т. Судзуки; но так же прошли мимо кубических, двухэтажных и одинаковых домиков, после войны, по преданию, построенных пленными немцами, и мимо тех же бабушек с их цветочками, в тех же платках крест-накрест и с пластмассовыми ведерками теми же, мимо этих безнадежно, безропотно тридцать лет простоявших здесь, и даже в новогодний день, пустой и безлюдный, продолжавших стоять здесь бабушек; перешли через железнодорожные пути, все те же; и мимо мемориальных досок погибшим блокадникам, мимо прелестной, той же, деревянной церкви Серафима Саровского пошли, наконец, к высокой, теперь безлиственной, над всем плоским кладбищем возвышавшейся черной березе, к могиле моих *grands-parents* и теперь моей мамы; и в общем, из-под своей ушанки-иностранки сказала вдруг Тина, покуда мы шли с ней к этой березе, этой могиле, вопрос всех вопросов — увидим ли мы их еще когда-нибудь или уже не увидим (*ob wir sie noch sehen werden oder nicht mehr*), а все прочее (*alles andere*) никакого значения не имеет; и это так было неожиданно сказано, что я не сразу и понял, о чем, о ком она говорит, кто эти *они*, эти

Алексей Макушинский

sie; и только когда мы дошли до могилы с ее серым надгробным камнем, гладким с лицевой и неотесанно-утесистым с другой стороны, с ее окончательно, за тридцать лет, завалившейся навзничь скамейкой, сообразил, кого и что она имеет в виду; с такой силой, наверное, она думала о своей маме, стоя на могиле моей, что и я, казалось мне, почувствовал живое присутствие этой Эдельтрауд, всего ведь каких-нибудь двадцать дней тому назад отправившейся — кто знает, в самом деле? — в тот мир, где Тина когда-нибудь еще сможет поддержать ее за уже, наверное, не подагрическую, в том мире, руку; но вместе с тем чувствовал, казалось мне, и живое присутствие Боба, тоже ведь всего каких-нибудь три с половиной месяца назад отправившегося — кто, в самом деле, знает? — в этот мир невообразимых отсюда встреч; так же, хотя и не так, может быть, остро чувствовал его живое присутствие, как тогда, в пробке, по пути во Франкфурт из Вейля-на-Рейне; и вновь думал о том, что в комитете, занятом моей земною судьбою, отвел бы ему, если бы кто-нибудь спросил меня, не председательское, но одно из почетнейших мест; и в общем, чувствовал себя так, как если бы мои мама и бабушка, и моя няня, похороненная в той же могиле, и мой дедушка, которого я не помню, на которого, мне всегда говорили, я немного похож, — как если бы все они, чье живое присутствие я почти всякий раз, то отчетливей и острее, то менее отчетливо, менее остро ощущаю возле этой березы, этой скамейки, — как если бы, где-то там, в том невообразимом отсюда мире, они отошли чуть в сторонку — с какими словами на улыбающихся устах? есть ли, нужны ли слова там? — уступая дорогу к нашим душам своим позже их прибывшим в ту невообразимость — в тот мир, где от всей земной жизни остается только любовь, — соратникам и сорайцам. Пахло морем, дымом, углем и водою; по-прежнему прямо с неба сыпался редкий снежок; переставал сыпаться; солнце поблески-

вало на гладкой серой лицевой стороне утеса; слезы в Тининых глазах стояли, не проливаясь, превращая эти глаза в новые, посреди всех прочих прудов пруды, дополнительные озера. И почему он думает, что речь идет в жизни о чем-то еще, о чем-то другом? — спросила Тина, с шапкой-иностранкой в руках, перекручивая уши и дергая за шнурки, как будто ожидая от них ответа; и я снова сразу не понял, о чем, о ком говорит она; когда же понял, про себя усмехнулся. Конечно, вспомнил я мои последние встречи с Виктором на майнской набережной и то, что он говорил мне, путаясь и долго не решаясь приступить к разговору, о своих собственных мыслях в Японии. Он там сейчас, наверное, и сидит где-то в Японии, в каком-нибудь другом горном храме, скрываясь от всех, пытаюсь додумать до конца свои мысли, сказал я Тине... или, может быть, она мне сказала, уже не помню... в очередном снежном дзен-до, на очередной черной подушке, пытаюсь, наверно, пробить... сказал или не сказал я Тине... самую непробиваемую, самую крепкую, вовсе не бумажную стену, решить задачу самую неразрешимую, найти ответ на самый важный вопрос.

Глядя на облака

А Тина, как выяснилось, ничего не знала о моих встречах с Виктором ранней весной, на майнской набережной, за каких-нибудь, получается, девять или девять с половиною месяцев до этой нашей поездки и сразу после его собственного возвращения из Петербурга, куда (как уже известно читателю) заезжал (залетал) он по пути из Японии, после всего, что с ним там случилось и не случилось. Он улетал еще из старого Пулкова, думал я и говорил Тине, когда мы с нею улетали из нового. В ожидании вылета сидели мы в дорогом, очень невкусном кафе на этом новом и замечательном, за, наверное, месяц до нашей поездки в Петербург открывшемся

Алексей Макушинский

аэродроме; Тина, помнится мне, подняла голову от альбома с работами легендарных петербургских фотографов (Бориса Смелова и Кудрякова, Бориса же) подаренного ей (в последнюю, почему-то, минуту) явно собравшимся дружить и сотрудничать с нею Димой, на своем забрызганном внедорожнике марки «Ниссан» отвозившим нас по новой автостраде на этот новый аэродром. Как это похоже на Виктора, *typisch Viktor*, она рассмеялась, когда я рассказал ей о Викторовом, очевидно первом, посещении Музея кино, в трех кварталах и за двумя углами от того дома, где он прожил все свои франкфуртские годы, и с какой опаской садился он в кресло-лицо, с каким изумлением рассматривал глянцевую программку музейных фильмов, которых больше нигде не увидишь. *Typisch Viktor*, как это мне знакомо... Как это знакомо мне, говорила Тина, закрывая, наконец, альбом с легендарными фотографиями, всем своим широким лицом слушая мой рассказ о повторившихся прогулках по майнской набережной, о бомбежных тучах и клочьях артиллерийского дыма и Викторовом желании уйти, просто выйти из своей жизни — и дверь закрыть за собою, и о том, как мы с ним дошли до русской книжной лавки на Данцигской площади, о существовании которой он, видимо, тоже не подозревал до тех пор (да, *typisch Viktor*), и потом очутились в бандитском баре возле вокзала, и что поведал нам плачущий полицейский, подшивший к делу лотерейный билет с миллионным выигрышем, и как простились мы на случайном углу, вблизи от борделя, в который (но этого рассказывать я не стал) зашел я, чтобы тут же из него, впрочем, и выйти... Сидя рядом с задремавшей Тиной в самолете из Петербурга во Франкфурт, глядя в иллюминатор на всякий раз и при каждом полете неожиданные, всегда неправдоподобные облачные поля, сияющие млечные россыпи, предназначенные для ангельских стоп, не для человеческих

глаз, думал я (думаю и теперь) о том, как прошли для него, Виктора, эти несколько месяцев между его возвращением из Японии, из Петербурга и Бобовой гибелью, эти, значит (поставим уж точные даты), весна и лето 2013 года, столь мучительные для Тины, столь прекрасные для меня. А для меня это были прекрасные месяцы; я дописывал «Пароход в Аргентину»; уезжал в Мюнхен, когда только мог; Виктору не звонил; позвонивши, не дозвонился; сказал ему что-то на автоответчик; ответного звонка не дождался и снова звонить не стал. Он мне тоже не стал, значит, звонить. А между тем он еще прожил всю весну и все лето во Франкфурте; я это знал от Ирены, от Вольфганга; они оба видели его в дзен-до, на дза-дзене вечером и утреннем; о своих японских переживаниях он им ничего не рассказывал. На дза-дзен он ходил, а на сессин в Нижней Саксонии, куда Ирена вместе с Бобом ездили в мае, не поехал, Ирена не знала или не помнила почему. Может быть, в банке не отпустили его. Не поехал с Бобом и в сентябре. В сентябре с Бобом никто не поехал: ни она, ни Виктор, ни тихий Роберт, никто. И неужели я всерьез полагаю, что они сумеют когда-нибудь простить это себе и друг другу?.. Нет, она не может сказать мне, каким был Виктор в эти последние полгода; был как всегда; был таким же. Печальным? Наверное; они все тогда были печальные (рассказывала Ирена), после истории с Барбарой, после Герхардовой измены. Они начали все сначала, да, правда, но начало оказалось лишь повторением начала; радости не было. Они думали, что радость вернется, что пройдет время, забудутся обиды и раны, измены и подлости и вновь появится какое-то движение, какая-то динамика, какие-то перспективы, но ничего этого не появлялось, и чем дольше не появлялось, тем сильнее делалось чувство, рассказывала Ирена (с которой шли мы, как когда-то с Виктором и Рольфом-Дитером, по не-

Алексей Макушинский

прибранным парковым аллеям, окружающим старый город вместо исчезнувшего рва и снесенной стены), что это все временно, эта новая старая сангха, что все должно измениться, разрешиться как-то и чем-то, никто не знал как, никто не знал чем. Это чувство было, я думаю теперь, и у Виктора. И в сангхе, и в самой его жизни что-то должно было, наконец, разрешиться, решиться. Он так надеялся, что решится в Японии; не решилось. Он просто ждал, не решится ли как-нибудь... Он, теперь мне кажется, затаился. Потому, наверно, и не звонил мне; и если было что-то новое в его жизни — новые отношения, новые люди, то, во всяком случае, мне о них ничего не известно; и ни Ирене, ни Вольфгангу, ни тихому Роберту он о них не рассказывал; если рассказывал Бобу, то Боб уже не расскажет о них ни мне, ни Ирене.

Столпотворение святых

Еще удивительней, что он не позвонил мне, узнав о Бобовой гибели. А он узнал о ней все от той же Ирены (как Ирена мне рассказывала недавно) вечером того рокового дня, когда Боб, возвращаясь из Северной Германии, Нижней Саксонии, разбился на автостраде А3, между Кельном и Франкфуртом. Чудовищно спокойная Ясуко позвонила Ирене, Ирена, в свою очередь, Виктору. Она слышала, как он пытался сглотнуть, словно у него сразу пересеклось дыханье. Он долго молчал, глотал, потом, не заикаясь, произнес, что этого не может быть, *das kann einfach nicht sein*. Этого не может быть, это совершенно невозможно, сказал он, глотая, не заикаясь. Боб уже в морге, сказала Ирена. За что? — сказал Виктор. Затем, по словам Ирены, началось безумие, безумие буддистских ритуалов, бюрократическое безумие немецких похоронных предписаний. Съехала вся дзен-буддистская рать, дзен-буддистская знать, со всей Европы, два японских роси,

живущих, как выяснилось, один в Голландии, другой в Швеции, штук пять европейско-американских, роси в традиции Сото, роси в традиции Риндзай, в традиции Санбо Киодан; она такого количества мудрецов на один квадратный метр, такой толкотни учителей жизни в одном небольшом помещении никогда и не видывала, не знала даже, что бывает такое. Китагава-роси? Нет, Китагава-роси не прилетел; слишком уже был слаб. Она помнит Виктора в крематории, рассказывала Ирена, в крематории, перед сожжением трупа, ужасное слово, то есть не прямо перед сожжением — в Германии, как выяснилось, крематории работают по ночам, дабы ни дымком, ни запахом не потревожить окрестных жителей, не дай Бог не напомнить им о том, что их ждет, что их жжет, — помнит Виктора накануне сожжения, и между прочим, там, в крематории, накануне сожжения, никакой еще церемонии не было, просто все собрались, вся сангха, и кто успел приехать из дзен-буддистской рати и знати, и просто сидели в огромном зале, предназначенном для прощания с покойниками, у закрытого гроба — открыть его Ясуко не разрешила, так страшно был Боб изуродован — и потом толпились у ворот, в совершенной растерянности. Для буддистских ритуалов, этого она тоже не знала раньше, рассказывала Ирена, важен не сам покойник, а его прах. Покойник должен быть поскорее сожжен, вот и все тут; впрочем, и речи не могло быть о том, чтобы сжечь Боба так, как, оказывается, сжигают умерших в Японии; а там их так, оказывается, сжигают, чтобы, помимо пепла оставались еще и мелкие косточки, хранимые затем как реликвии, то есть все дело в этих мелких косточках, а вовсе не в самом пепле, но никакой возможности не было уговорить немецких похоронных чиновников поступиться принципами и погрешить против инструкций, никакие ссылки ни на какой дзен-буддизм не произвели на них ни малейшего впечатления; мало того, рассказывала Ирена, по

Алексей Макушинский

инструкциям этим, как выяснилось, урна с прахом вообще не выдается родственникам, буддисты они или нет; урна с прахом, гласит немецкий закон, хранится в крематории, оттуда доставляется в колумбарий — какие чудовищные слова (с вдруг полными слез глазами и сильнейшим польским акцентом рассказывала Ирена), в том же редком случае, когда родственники намереваются захоронить заветную урну в другой стране, на другом континенте, она вручается им, при предъявлении билета, в день вылета в эту другую страну и на этот другой континент, и обойти эти предписания, эти законы не удалось даже Вольфгангу, несмотря на все его великолепие и все его связи, весь блеск его миллионерских ботинок, удалось зато Ясуко, обманным путем, — Ясуко, с ужасной японской вежливостью и страшным японским спокойствием, не переставая улыбаться, объявила похоронному чиновнику, что она звонила только что в американское консульство, где, в свою очередь, сообщили ей, что для въезда в Штаты с урной и прахом в сумке необходим досмотр урны в консульстве на предмет обнаружения в ней бомбы, наркотиков, обогащенного урана и других радиоактивных субстанций, к примеру полония, каковой досмотр занимает столько-то рабочих дней (кажется, пять); все это (как с явным удовольствием, сильнейшим польским акцентом и полными слез глазами мне рассказала Ирена) было чистойшей ложью, которой чиновник поверил то ли по обычной чиновничьей глупости, то ли потому, что от американцев все всегда ждут чего-то подобного. Вот на эти-то пять рабочих дней урна и переместилась в дзен-до. В дзен-до так тесно было, что стояли и в первом дворе, и даже во втором, и под аркой, причем, что поразило ее, рассказывала Ирена, никто из соседей не возражал, не протестовал, не вздыхал — когда это кончится? — но даже из окружающих домов приходили люди послушать чтение сутр, посмотреть на собравшихся, почтить Бобову память, и всегда,

во все дни присутствовал старик с разлетающимися бровями, в самом деле, говорила Ирена, тут она согласна со мною, чуть-чуть похожий на фотографии Д.Т. Судзуки, странно, что ей это не приходило в голову раньше, и все время сутры читали, конечно, «Сутру сердца», и «Алмазную сутру», и вновь «Сутру сердца» — гате гате парагате парасамгате бодхи сваха, — то читал ее один роси, то другой роси, то священник школы Сото, то риндзайский монах из Голландии. Чаще всех читал Бобов сын, с горевшими от горя глазами и неподвижным лицом, по-прежнему прекрасный той ломкой, тонкою красотой, какая случается у подростков, читал сутры с самурайским спокойствием, с сознанием, видимо, своей новой роли старшего мужчины в семье, иногда, словно удивляясь их здесь присутствию, обводя горящими глазами собравшихся, вновь углубляясь в чтение.

Неподвижную глыбою

Виктора она не просто там видела, рассказывала Ирена, — она два раза его видела ночью; два раза она оставалась на ночь медитировать в присутствии Бобова праха; оба раза видела Виктора, сидевшего на своем обычном месте у оранжерейных окон, лицом к ним, в черном дзенском кимоно, которого никогда на ее памяти не носил он. В те ночи окна не забирали циновками, как это раньше иногда делали, чтобы медитирующие не гляделись в свое отражение, не превращались в Нарциссов; может быть, просто забыли забрать их циновками, никто не подумал об этом — с уходом Боба все стало рушиться, и было странно видеть в оранжерейных окнах отражения тусклых ламп, огоньков от ароматических палочек, Викторова лица, других лиц. Сказать, что он неподвижно сидел, значит ничего не сказать. Она вставала, выходила и возвращалась — там каждый сидел, как хотел, вставал,

Алексей Макушинский

когда хотел, уходил, приходил — Виктор оставался все в той же позе, на том же месте, как если бы это он умер, она вдруг подумала, умер, окаменел, превратился в черный валун. Она задремала на вторую ночь на подушке; когда проснулась и поднялась, увидела, что уже светает за огромными окнами, за проступившим сквозь отражения ламп и лиц черным и неподвижным бамбуком, что уже первые сиреневые отблески пробегают по двору, каштану, соседнему дому, а Виктор все сидит и сидит, черным валуном, черной скалою. Получается, что таким она его и видела в последний раз, рассказывала Ирена с польским акцентом, с полными слез глазами, и нет, она не знает, все ли пять ночей он так отсидел, или только две, только три — от Виктора можно ожидать чего угодно, даже и пятиночного бденья, — и еще ей вот сейчас стало ясно, что она не говорила с ним в эти страшные дни, и, кажется, он, Виктор, вообще ни с кем не говорил в эти дни, она не помнит, чтобы с кем-нибудь он разговаривал, хотя они уже говорили друг с другом, то есть она сама и, например, старик Вольфганг, и Анна, и Джон — они все, особенно под конец, уже начали говорить друг с другом, не в дзен-до, но во дворе и на улице, а как им было не говорить друг с другом, если у них — не у всех, но точно у нее самой, и, она знает, у Анны, и, наверное, у Джона, — крутилась, и ныла, и вдавливалась в мозг мысль, что вовсе Боб не случайно разбился, вовсе не заснул за рулем, как утверждала полиция, утверждала судебная экспертиза, что если он и заснул, то заснул он нарочно, заснул за рулем, потому что хотел заснуть за рулем, и об этом они не могли не говорить и не шептаться друг с другом, к возмущению старика Вольфганга, с самого начала эти вздорные подозрения отвергшего, — но никогда, ни в каких таких разговорах, шептаньях и перешептываниях не участвовал Виктор, как вот сейчас она поняла, рассказывала Ирена, и только однажды, под самый уже конец, он вдруг подошел

к ней, во дворике возле каштана, где она сидела почему-то одна, не по-дзенски, а просто так сидела на лавочке, в том обалдении, в котором все они находились, и на секунду присев с ней рядом, посмотрев на нее своими безумными, невероятными, переполненными горем и светом глазами, сказал ей, что это его, Викторова, вина, что он мог и должен был поехать с Бобом, а вот не поехал, вот, все-таки, не поехал, и она даже не успела ему ответить, что это ничья вина, или их всех вина, как он уже отошел от нее, так что она потом не была даже уверена, подходил он к ней или нет, и зайдя в дзен-до, увидела его опять на подушке — безмолвной глыбой и черной скалою на фоне оранжерейных окон, на фоне сиреневого, на этот раз не рассвета, но тоже, ей навсегда запомнилось, сиреневого заката, отражавшегося в высоких окнах соседних домов, и затем уже я ей позвонил с автострады, из пробки, с удивительным сообщением, что Виктор исчез, а сколько, собственно, времени прошло между тем и другим, между отъездом Ясуко в Америку, закончившим все церемонии, и моим звонком с автострады, она, нет, сказать мне не может, наверное, дней семь, или восемь, или, может быть, десять.

Его видели. Видели?

И что он делал эти семь или восемь дней? — спрашивал я себя; или он сразу исчез, и только мы все узнали об этом через восемь дней или девять? и самое главное, как он исчез? куда он делся? почему он исчез? — на эти вопросы у меня ответов не было, быть не могло; и, как бы то ни было, прошла и пролетела осень (еще раз вспомним и скажем), и на книжной ярмарке вновь обретенный Васька-буддист рассказал мне про трепетного мальчика Витю, каким он был в девяностые годы, и на Рождество и на Новый год мы слетали с Тиною в Петербург, где встретили и Ваську-буддиста, и Ди-

Алексей Макушинский

му-фотографа, и родителей трепетного мальчика, все решавших, кормить ли нас ужином или ограничиться чаем, и по пути обратно, на новом Пулковском аэродроме, я рассказал Тине о моих собственных последних с Виктором встречах, под бомбежными тучами, и так прошел год, примерно год, с этих встреч (и полгода, примерно полгода, после Викторова исчезновения, Бобовой гибели...), и опять была ранняя, еще неуверенная весна, и мы шли с Тиной вдоль все той же реки, того же Майна, не переходя через мост, по заксенгаузенскому берегу, чтобы посмотреть оттуда на уже почти достроенный небоскреб, совершенно замечательный, новое здание Европейского банка, за постепенным ростом которого я наблюдал все последние годы, и почти такие же — не столь великолепные и не столь бомбежные — тучи ходили где-то дальше над Майном, когда мне позвонила на мобильный телефон из Петербурга Галина Викторовна, Витина мама, возбужденным и плачущим голосом сообщившая мне, что Виктора — видели. Видели; в Лиссабоне. Их друзья, Виктора знавшие с детства, ездили в Португалию и Виктора — видели. Да, в Лиссабоне, в кафе, возбужденно-плачущим голосом сообщала мне из Петербурга во Франкфурт Галина Викторовна, Витина мама. Видели Витю — в кафе. Нет, поговорить с ним не смогли. Сразу его узнали, сразу к нему обратились, он сразу ушел. Сразу встал и ушел. Да, они уверены... почти уверены, что это был он. Они побежали за ним, повернули за угол, увидели его за углом, повернули за другой угол, за третьим его потеряли. Вот сейчас звонили ей и рассказали все это. И — что же? И — вот, она мне это тоже хотела рассказать, говорила в трубке, тяжело дыша, Галина Викторовна, Витина мама. У них нет денег ехать разыскивать его в Португалии. То есть деньги-то можно занять, но они не знают, как искать, куда ткнуться... Главное, что он жив... Мы сразу решили ехать в

Лиссабон, Тина и я, стоя на берегу Майна, глядя на доросший до своей вершины двусторчатый небоскреб и не совсем бомбежные тучи, ходившие над рекою. Мы сперва немного поудивлялись: как так Виктора видели — в Лиссабоне? почему в Лиссабоне? в каком-то Лиссабоне? Его видели в Токио, в Киото, в Осаке... это было бы понятно. Его видели в Нью-Йорке... о'кей; его видели в Сан-Франциско... Но что за Лиссабон? откуда вдруг Лиссабон? Я всегда мечтал попасть в Лиссабон, сказал я. И она тоже всегда мечтала попасть в Лиссабон, ответила Тина. Она везде была, а в Лиссабоне еще не была. Она все-таки думала, что Виктор в Японии. Я тоже так думал, сказал я.

Шопенгауэра, брат, Шопенгауэра

Мы не могли сразу вылететь; мне еще нужно было додумать семестр, принять пару экзаменов; у Тины тоже были свои фотографические дела. В последнюю неделю того зимнего семестра в Майнцском университете, где я работал и работаю до сих пор, проходила очередная философская конференция, организованная, если ничего я не путаю, Шопенгауэровским обществом, центр коего в этом университете и располагается (Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежней, Шопенгауэра, писал Тургенев Герцену в 1862-м, что ли, году...); на конференции же этой должен был выступить, и действительно выступил, Рольф-Дитер М., с которым последние двадцать лет мы встречаемся на разных мероприятиях, более или менее философских, в разных городах Германии и Европы. На его докладе я не был, потому что сам в это время должен был рассказывать студентам что-то о Мандельштаме; встретился с ним в тоскливо-бетонном коридоре, где для философов были выставлены столы с жидким кофе и жухлыми вафлями, дабы поддержать их силы физические, интеллектуальные и

Алексей Макушинский

моральные в перерывах между докладами. Рольф-Дитер был все такой же, только, показалось мне, еще более огромный, чем раньше; в таком же костюме с бабочкой (порывающейся взлететь); так же лучился лысиной, готовой лопнуть от внутреннего своего электричества. Мы говорили об академической чепухе, о том, что вот и этот семестр кончается, отмучились, слава Богу; о том, что профессор Краузе скоро уходит, скатертью дорожка, на пенсию; о французской биографии Льва Шестова, только что вышедшей, очень плохой; об ужасах болонского процесса, кретинизме credit points, мерзости модулей, непобедимой тупости брюссельских бюрократов. Уже почти в дверях обернулся он с просьбой передать привет моему буддистскому другу. Я сообщил ему, что Виктор исчез. Боб погиб (это он знал); Виктор исчез. Как исчез? Так, исчез... Он его осенью видел, объявил Рольф-Дитер со своей электрической высоты. Как видел? Так, видел... Виктор проездом был в Тюбингене, вдруг ему позвонил. Когда? когда это было? этой осенью? Да, этой осенью. Он должен сейчас идти, уже двери в аудиторию закрывают. Тут я преградил ему дорогу очень решительно; потребовал подробностей; не тот, однако, человек был Рольф-Дитер М., чтобы остановить его в дверях аудитории, если уж он решился послушать очередной доклад о влиянии (или не-влиянии) Шопенгауэра на неокантианцев (Зиммеля, Гартмана...). Мы договорились встретиться вечером, в промежутке между собственно конференцией и ужином в городе (Майнце), на который приглашены были участники оной. Я отвез его в город (университет на окраине); припарковался на набережной; вдоль Рейна пошли мы к собору, к тому ресторану возле собора, где он должен был ужинать. Всегда идем мы вдоль какой-нибудь реки, всегда смотрим на воду, на дробь и дрожь огней, фонарей. На бесконечном мосту через Рейн машины еще стояли

в той безнадежной пробке, которой знаменуется завершение рабочего дня. Было холодно, ветрено; все-таки бегуны и бегуни в марсианских костюмах, со счетчиками пульса на руках и предплечьях, скрипели светлым гравием в аллее между белыми, голыми, топырившими ветки платанами; не было ни одной бегуни, которая не оглянулась бы на Рольфа-Дитера в его зеленом альпийском пальто, альпийской же охотничьей шляпе. То есть Виктор просто-напросто позвонил ему? быть не может! Отчего ж быть не может? отвечивал Рольф-Дитер из-под своей шляпы, со своей высоты. Позвонил, сказал, что он в Тюбингене проездом, что если Рольф-Дитер его помнит, был бы рад с ним увидеться. А Рольф-Дитер сидел дома и писал срочную статью, не для этой — для другой конференции. Удивлен? Конечно, он был удивлен; а потом перестал удивляться; сказал себе, что такие люди вообще ведут себя странно. Какие такие? Ну, такие; адепты разных учений. Он пригласил Виктора просто зайти, остаться ужинать, если у него будет желание. И Виктор остался? Виктор остался.

Метафизическая ересь

Я вновь спросил его, когда это было, в какие числа какого месяца, в какой день недели? Я ведь тоже звонил вам, Рольф-Дитер, вы помните? Помилуйте, неужели не помните? Я звонил вам в начале сентября, Боже мой, я ведь тоже собирался заехать к вам в Тюбинген — а потом позвонил с дороги, что не заеду, потому что мне нужно во Франкфурт... Ах, точно, точно, ответил Рольф-Дитер, останавливаясь и приподнимая шляпу (как если бы она мешала ему вспоминать, выпускать электричество). Так это было до или после? Чего? Викторова визита. Рольф-Дитер честно пытался вспомнить, снимая, вновь надевая шляпу, глядя на дробящиеся огни, на

Алексей Макушинский

по-прежнему застывшие на мосту через Рейн машины. Нет, объявил он, наконец; он не помнит; он только помнит, как Виктор вдруг позвонил — и потом появился в дверях, темной тенью, с синею головой. И когда они прошли в его кабинет, без всяких предисловий, вступлений и околичностей, очень прямо сидя в кресле и сложив руки, как дзен-буддисты их складывают перед собой, соединяя концы больших пальцев, сообщил, что когда-то, давным-давно, он, Рольф-Дитер, — он, Рольф-Дитер, этого тоже, кстати, совершенно не помнит — говорил, что еще не видывал буддиста, пришедшего к *другим выводам*; так вот теперь он может поглазеть на такого буддиста... пожалуй; да, пожалуй, может он теперь, если хочет, поглазеть на такого буддиста. Тут их позвали ужинать, и в общем, что же? в общем он, Рольф-Дитер, оказался не на высоте положения. Мы ведь не всегда можем все бросить и вступить в философский диспут с бритоголовым аскетом, вдруг возникающим у нас на пороге. Да, они оставили его ужинать, и, конечно, дети были в восторге, точнее его дочь Паула была в совершенном восторге, всячески расспрашивала Виктора о Японии, дза-дзене, коанах, сатори и прочих экзотических прелестях, а вот его сын, Нико, был, он помнит, не в духе и время от времени, как это ему, увы, стало свойственно, вставлял шпильки и колкости, но Виктор не затем ведь приехал, чтобы есть у них на ужин салат с моцареллой, а, видимо, затем, чтобы поговорить с ним, Рольфом-Дитером, о своих *других выводах*, но у Рольфа-Дитера правда не было времени, не было, главное, свободного места в башке (*in der Birne*), рассмеялся он, снова снимая альпийскую шляпу и звонко стуча по электрической лысине, он все думал о том, что надо писать статью, статью, между прочим, о Бердяеве и Канте, и что именно он в ней напишет, и когда они после ужина опять сидели у него в кабинете, вообще никакого разговора

не получилось, а если и получился какой-то, то не Виктор говорил, а он, Рольф-Дитер, ему стыдно теперь признаваться в этом, просто стал пересказывать ему то, что писал, или собирался писать, думал, как написать, и Виктор слушал очень внимательно, с этим дзенским невероятным вниманием, хотя и не затем он приехал, чтобы Рольф-Дитер мог обрушить на него свои рассуждения о рецепции Канта у Бердяева и о кантовском дуализме, кантовском и бердяевском отвержении монизма (поскольку всякий монизм, по Бердяеву, есть метафизическая ересь, отрицание двух начал, двух природ, действия Бога и отвечающего Богу действия человека...). Лампа горела, и корешки книг блестели, рассказывал Рольф-Дитер, смеясь по-прежнему, их голые головы тоже, наверное, блестели одинаковым блеском, и в общем, со стыдом и честно он признается, он чувствовал себя в привычном покое своего тюбингского кабинета так хорошо и уютно, что почти и забыл о Викторе, удивительным образом, как если бы сделался незаметным, утончился и просто-напросто исчез этот Виктор, в своем буддистском отсутствующем присутствии, так что он даже и вспомнить теперь не может, как они попрощались; попрощались — как-то; вдруг встал Виктор и объявил, что опоздает на поезд, если сейчас не уйдет, а он, Рольф-Дитер, проводил его до дверей и тут же вернулся к своей статье, к мыслям о бердяевском персонализме, о возможном, хотя и недоказанном, влиянии на этот персонализм другого Николая, Николая Кузанского, с его потрясающей идеей о том, что Бог дарует себя лишь тому, кто сам себе дарует себя, и статья, он полагает, получилась хорошая: какие-то важные для него вещи он, Рольф-Дитер, в ней сумел сформулировать, и если вы найдете Виктора в Лиссабоне, то (закончил Рольф-Дитер) поклонитесь ему от меня.

Бесконечное странствие

Машины ехали теперь через мост; я ехал домой с ощущением большой растерянности и большой благодарности — кому-то или чему-то — не оставившему меня без этого (сверкающего, прозрачного) камушка в той мозаике, которая складывалась во мне. Рольф-Дитер был, значит, последним, кто видел Виктора перед его уходом? Или, наоборот, он был первым, кто видел Виктора после ухода, Тюбинген — первой остановкой на Викторовом пути? Виктор пошел, значит, в Тюбинген? Почему он — пошел? Он поехал на поезде, и на поезде поехал дальше — куда? — сам же и сказал Рольфу-Дитеру, что должен уходить, иначе не успеет на поезд. Или он просто съездил в Тюбинген, а потом ушел, уехал, улетел... в Лиссабон или не в Лиссабон... Так ли, иначе ли, но в последние дни (и ночи) перед нашим собственным отъездом (отлетом) с Тиной в Лиссабон, когда я думал о его, Викторовом, исчезновении, его, Викторовом, уходе (а я только и думал о нем в эти дни) — я представлял себе этот уход как — уход, в самом буквальном смысле, пешком и с какой-то, что ли, котомкою за плечами, — и как уход внезапный, заранее не задуманный, или как раз задуманный давно, со времен уже незапамятных, но осуществленный внезапно, в мгновенной вспышке решимости и отчаяния; то есть, в сущности, представлял себе этот уход таким, каким сам Виктор описал мне его когда-то, на мосту через Майн, в последнюю нашу встречу; представлял себе, как он вышел из дому, через сколько-то, семь или восемь дней после отлета Ясуко в Штаты, окончания всех церемоний, — вышел из дому и дверь закрыл за собою, — и еще сам не подозревая, что не вернется, остановился, например, все на том же, пешеходном и Железном мосту через Майн, с его бесчисленными, бессмысленными замками, не способными ничего скрепить, никого удержать, и вдруг

спросил себя — что? что, теперь, когда и Боба нет, и с Тиною он расстался, что, собственно, он здесь делает? что его держит здесь, в этом Франкфурте? и хотя это так не могло быть (говорил я себе), потому что должен же был он отказаться от квартиры, расквитаться с банковской службой, куда-то деть немногие свои вещи, свои татами, свой матрас, свою статую бодхисаттвы Манджушри, рассекающего наши иллюзии, и, наверное, кто-то помогал ему (говорил я себе) или просто нанял он перевозчицью фирму, запихавшую пожитки его в грузовик, чтобы — куда? — отвезти их, и на все эти сборы, отказ от квартиры, прощание с банком и ушли, вероятно, эти восемь и девять дней между отлетом Ясуко в Америку и Викторовым отъездом неизвестно куда; все-таки в последние дни (и особенно ночи) перед нашим собственным отлетом в Лиссабон, где мы надеялись найти ушедшего Виктора, вопреки моим же апелляциям к разуму, я упорно воображал себе этот уход как — уход, и уход внезапный, и значит, воображал себе, как он, Виктор, — в тот же самый, может быть, осенне-солнечный, с прозрачно-синим небом и легкой дымкою в воздухе день, когда я ехал в Вейль-на-Рейне, чтобы посмотреть архитектурные шедевры, собранные фирмой Витра на своей территории, или за день, или за два дня до этого, — как он вышел из дому, и дверь закрыл за собою, и остановившись на Железном мосту, глядя на воду и катера у причала, на это сине-осеннее небо с отраженными в небоскребах и воде облаками, сказал себе, что — какого черта? что он здесь делает? — Боб разбился — за что? — и все теперь бессмысленно, лотерейный билет не достался никому и никому не достанется, — и вдруг бросил, про себя и себе же крича: ты с ума сошел, Виктор, что ты? — но все-таки бросил, вдруг, ни одной минуты не собираясь этого делать, ключи от заксенгаузенской квартиры, где прожил все эти годы, в майнские изум-

Алексей Макушинский

ленные волны, как раз поднятые проходящим под мостом прогулочным катером, эти ключи — от входной двери, и собственно от квартиры, и от подвала, и от почтового ящика, — только что бренчавшие у него в руке, согревавшиеся в кармане (все равно, он подумал, не подходящие ни к одному из повешенных на перила моста замков, тщетных попыток удержать неудержимое, спасти неспасаемое), — и сквозь грохот города услышал короткий всплеск, с которым плюхнулись они в воду, и вспомнил — как тут было не вспомнить? — бессмертное хайку Басё со старым прудом и прыгающей лягушкой, и пошел, уже не сомневаясь и не оглядываясь, по тропинкам Севера, но все же скорее на юг, точнее сначала на запад, по течению Майна к Рейну, в сторону Майнца, по каким-то мне совершенно неведомым путям и дорожкам, которые — кто знает? — заранее присмотрел он во время своих одиноких спортивно-велосипедных прогулок; и хотя ничего этого не было, не было, говорил я себе, все-таки, думая о его уходе, представляя себе этот уход как — уход и ход в буквальном и классическом смысле, как пеший ход по неведомым мне путям, я в последние (особенно) ночи перед отлетом в Лиссабон, закрывая глаза и не надеясь заснуть, доводил его в воображении до Майнца (пешего ходу, утверждает программа Google Maps, семь часов сорок девять минут), где пришлось ему (если бы так это было, но так это не было) заночевать в старом городе, в дешевой гостинице (деньги теперь нужно было бы ему экономить) и где наутро в спортивном магазине (я знал воображаемым знанием, в каком именно, недалеко от собора) он купил себе снаряжение: две пары пешеходных ботинок, нож, флягу и компас, ветровку и свитер, купил себе, на правах котомки, со множеством кармашков, рюкзак, брезентовые брюки, у которых с кармашками тоже был полный порядок, в примерочной спортивного магазина

облачился во все это, банковскую одежду сложил в пакет, засунул в рюкзак (или выкинул в ближайшую урну?) — и пошел сначала по набережной, той же самой, по которой мы только что шли с Рольфом-Дитером, затем какими-то пешими, мне не ведомыми путями, то отклонявшимися от Рейна, то снова к нему приближавшимися, на Вормс, на юг и вверх по течению реки, здесь и на этом своем отрезке совсем не такой скалисто-замковой, живописно- и открыточно-романтической, какой она становится, если от Майнца идти или ехать в другую сторону, по течению вниз и в сторону Кобленца, — пошел, следовательно, на юг, уже задумав посещение Тюбингена, сперва на Вормс, до которого я уже не мог себе представить, дошел, не дошел он (пешего ходу, утверждает Google, девять часов двадцать четыре минуты...), и если не дошел, то просто сел в поезд или поймал попутку и через Маннгейм, Гейдельберг и Штутгарт добрался до Тюбингена, где предстал перед Рольфом-Дитером, который слишком был занят своей статьей о Бердяеве и Канте, своими мыслями о метафизической ереси монизма и о том, что Бог дарует себя тому, кто сам себе дарует себя, и потому не смог выслушать Викторovy *другие выводы*, если действительно они у него были, так сильно — или все же не так сильно? — отличавшиеся от его *исходных посылок*, — и разумеется, мне совсем нетрудно процитировать то место из Николая Кузанского, которое в своей с тех пор опубликованной статье (я сам же и поспособствовал ее публикации в журнале *Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte*, в редколлегии коего числюсь еще с моих эйхштеттских времен) цитирует и Рольф-Дитер, место, в самом деле, вполне поразительное, где Кузанец, с великолепной непосредственностью обращаясь прямо к Богу, говорит ему, что Ты, Господи, даровал мне свободу принадлежать самому себе, если я захочу, и что Ты будешь моим, лишь ког-

Алексей Макушинский

да я сам стану своим, поскольку Ты создал меня свободным и ни к чему не принуждаешь меня, но терпеливо ждешь, чтобы я сам себя выбрал; Виктор же, сказав себе, что все это не имеет значения, что важны выводы, выборы, а не разговоры о них, Рольфу же Дитеру сказав что-то полупридуманное по поводу поезда, на который может он опоздать, дошел, уже поздно вечером, до вокзала, никем не замеченный и, даже, наверное, не полюбопытствовав посмотреть на знаменитую башню над Неккаром, где последние (почти) сорок — сорок! — лет своей жизни, окружающими принимаемый за безумца, в семье сердобольного столяра провел Гёльдерлин (изредка, особенно поначалу, еще сочинявший кое-какие стихи, даже отдаленно не похожие на его прежние, настоящие, с их головокружительной сложностью, как будто не он, но другой человек сочинил их, как будто тот, кем он был, или тот, кто был им, распался, рассыпался и расплылся в охватившей его душевной болезни, оставив после себя лишь несчастного, иногда буйного, чаще задумчивого другого, еще способного рифмовать и складывать простенькие строчки о природе, погоде, временах года, но уже не способного сделать эти строчки своими, наложить на них свой единственный отпечаток...); и хотя ничего этого не было и не могло быть, пытался я убедить сам себя, все-таки, в последнюю ночь перед нашим отлетом в Лиссабон, я продолжал придумывать его дальнейший путь на юг, через Шварцвальд, по уже, значит, горным, вьющимся и змеистым дорогам, на попутных машинах — и как он выходил из очередной машины, прощался с очередным (молодым, старым, усатым, веселым...) водителем, желавшим ему удачи, как стоял у обочины, голосуя, в надежде, что подхватит его вон тот тархтящий грузовичок, вон та зеленая легковушка — в самом деле увозившая его все дальше, минуя озеро со смешнейшим названием Титизее, минуя Тодт-

науберг, где Гейдеггер из своей пресловутой хижины созерцал мифическое бытие, минуя Фрейбург (с которым так много связано в моей жизни, первый германский город, где некогда я оказался), дальше, на юг и на Базель; и в этом его путешествии, или в этом моем видении, Европа вновь превращалась в свою же карту, по которой легко я двигался, или он двигался, или мы оба двигались, пересекая границы и реки; и почему бы, собственно (так я думал), не заночевать ему в той же самой чудовищной приавтострадной гостинице в Вейле-на-Рейне, куда я приехал по доброй воле, заранее забронировав себе номер, куда его, Виктора, завез (завез бы, если бы все это было правдой...) водитель какого-нибудь рычащего, с бесконечной фурой, грузовика — и где мы с ним, кто знает? на один только день разминулись — или вообще, быть может, не разминулись, где мы с ним спали, кто знает? в соседних и одинаковых, кондиционерно-простудных или, если кондиционер выключить, одинаково удушливых номерах, и не послушайся я в ту первую, еще не бессонную ночь, косоглазую албанку-румынку с ее просьбой не спускаться к завтраку до половины девятого, покуда гогочущие автобусы не уедут в туристскую даль, спустись я к завтраку в восемь, кто знает? обнаружил бы Виктора, в самом дальнем уголку поедающего тюрю из мясли, йогурта и фруктов, живых и засушенных, с полным равнодушием к раблезианским соблазнам, расставленным на шведском столе, и — что было бы? — спрашивал я себя, — и зажигая свет, глядя на будильник, не пора ли вставать, наконец, к лиссабонскому самолету, снова гася его, поскольку вставать еще было рано, отвечал себе, что не было бы ничего, вряд ли он поехал бы со мною осматривать архитектурные шедевры, совсем-шедевры и не-совсем-все-же-шедевры, собранные фирмой «Витра» на своей территории, чтобы я в самом деле и наяву (что значит здесь:

Алексей Макушинский

наяву?) мог показать ему герцог-де-мероновский «Витра-Хаус», двенадцать домиков из нашего дачного детства, поставленных друг на друга, и разлетающийся во все стороны музей Фрэнка Гери, и безумную пожарную часть, построенную Захою Хадид, и наконец, всего важнее, тадао-андовской конференц-павильон, из буддистского небытия, из сияющей пустоты возникающий на зеленой лужайке, среди скульптурных деревьев, — конференц-павильон, который хотел бы знать я, какой отклик нашел бы в нем и какое произвел бы на него впечатление; а все же это ничего бы, я думал, не изменило, и даже если бы, паче чаяния, я уговорил его съездить со мною в Витру или поехать со мною в Базель, все равно и точно не уговорил бы его возвратиться со мною во Франкфурт, но, я думал, простившись со мною, как ни в чем не бывало — и, конечно, обошедшись без объяснений — продолжил бы он свое паломничество к неведомой цели, — паломничество, которое я придумывал для него, за него, в бессонную ночь перед отлетом с Тиною в Лиссабон, воображая себе, как он вышел ранним, еще зябким и синетенным утром из приавто-страдной поганой гостиницы, где мы с ним не встретились, где все-таки разминулись, как перешел через Рейн на французскую сторону по замечательному, с его заливчатской дугою, пешеходно-велосипедному мосту, построенному инженерным бюро «Леонгард, Андрэ и партнеры» по проекту австрийского, в Париже живущего архитектора Дитмара Фейхтингера, и уже не оглядываясь, не думая о прошлом, отправился дальше, пешком и на попутных машинах, по карте вниз, через Альткирх, Бельфор, Безансон, по большим и малым дорогам, в места, для него самого уже мифические, до сих пор неведомые ему — в Лион, в Авиньон, в Прованс, в Лангедок, по Южной Франции, где еще было лето, где еще он мог — и даже не мог не — поплавать в море, в La Grande

Motte или в Сете, где на берегу (вообразал я себе) оставил он свой рюкзак со всеми его кармашками, и брезентовые штаны, в рассуждении кармашков тоже отменные, и походные ботинки, и флягу, и компас, и все прочее снаряжение, воскрешавшее в памяти бабушку Руфину, дедушку Виктора, в надежде, что не украдут ничего из этого, покуда он будет плавать, не вытащат из рюкзака бумажник с банковскими и кредитными карточками, положившись на судьбу и порядочность прочих купальщиков, заплыл далеко, до буйков, за буйки; обернувшись, увидел берег, отступивший от него, как вся его жизнь, белые кубики гостиниц, полыхающие на солнце, игрушечные пальмы, пинии, тоже ненастоящие; с наслаждением натянув новую майку с дурацкой какой-нибудь надписью, купленную в местной сувенирной лавчонке (*Languedoc top amour...*), пошел и поехал, через Безье, Нарбонну и Перпиньян — в Испанию, в Каталонию, в Сарагоссу, Мадрид и Толедо; и чем дальше шел, дальше ехал он по этой, для меня не очень вообразимой, потому что неведомой мне Испании, по этим, или такими я все же воображал их, пыльным, вересковым равнинам, сквозь этот сухой, суровый, сожженный солнцем, к своим существенным линиям и чертам сведенный ландшафт (с его отчетливой геологией, скалистыми складками, пунктирами изгородей...), тем сильнее и его самого сжигало южное солнце, тем решительней, тем окончательней сводило его, Викторovo, то ли, наконец, им найденное, то ли, наоборот, им навсегда потерянное лицо к последним линиям и чертам, удаляя все лишнее, что в нем еще было, все случайное, что в нем еще оставалось, и он видел сам это новое, старое, молодое, страшно загорелое, все более уподоблявшееся Бобову, безвозрастное лицо в зеркале какой-нибудь сельской гостиницы, уже где-то в Эстремадуре, видел это исхудавшее, уже неузнаваемое лицо и, наверное, радовался этому лицу, самому подлинному из всех, лицу, он думал, от которого от-

Алексей Макушинский

пали все личности, все личины, и думал, что он никто, просто кто-то, идущий, вот, по этой дороге, мимо этих изгородей, сложенных из плоских камней, этих олив, с их переплетенными ветками, их дырчатыми и жилистыми стволами, паломник среди других паломников, куда-то вечно идущих по этим вечным каменистым дорогам, и не только думал он так, вернее, я думал так за него, но его и вправду, я воображал себе, принимали пару раз за паломника, сбившегося, что ли, с пути, или идущего не как идет большинство паломников, в Сантьяго-де-Компостела, оставшееся на севере, а на поклонение какому-нибудь другому святому, какой-нибудь местной мадонне, и он всякий раз был счастлив, когда его спрашивали — какой мадонне, какому святому? хотя и не знал, что ответить на этот вопрос, уходил от ответа, уходил все дальше от себя самого — и тут же думал, что это он, Виктор, идет здесь, он, а не кто-нибудь, пускай один из семи миллиардов шестнадцати миллионов человек, живущих сейчас на сожженной или еще не до конца сожженной солнцем земле, один из ста восьми миллиардов, по расчетам какого-то умника живших на земле и под солнцем с основания времен, один из всех этих миллиардов, неведомый никому и потерявшийся в мире паломник, но все-таки и неотменяемо он, с его единственной историей и судьбою, и что он чем-то самым последним, самым важным в себе не жертвует, что, совсем напротив, он сам себя выбирает, хотя бы потому, что ведь должен кто-то думать и помнить о Юре, о Бобе, о бабушке Руфине, о руфиниках в ее старческих пальцах...; и когда он дошел, или на попутной машине, или снова на поезде доехал до Лиссабона, выяснилось, что идти дальше некуда, карта кончилась, Европа оборвалась; но представить его себе в этом таинственном Лиссабоне уже никак не мог я: мечта умолкала и воображение отказывалась работать; не потому отказывалось, не потому умолкала, что я не бывал там, впервые летел туда, а потому

что Викторovo, пусть мною придуманное, странствие завершилось, потому что пришел он, дошел он, и — что же? спрашивал я себя, не в силах ни заснуть, ни проснуться, зажигая свет и открывая компьютер, чтобы посмотреть еще раз фотографии снятой нами квартиры, заодно и фотографии этого трамвайно-гористого города у бескрайней реки, предлагаемые программой Google Maps; мы же с Тиной пересмотрели великое множество фотографий, готовясь к поездке: ни ей, ни мне не хотелось, да и дорого было, жить две недели в гостинице, так что мы воспользовались, в конце концов, услугами чудесного сервера Airbnb, предлагающего частные апартаменты в любой столице, любом захолустье.

Клыкастые тучи

Тина тоже, как на аэродроме выяснилось, почти не спала; чувствовала себя отвратительно; с остервенением катила за собою чемодан на колесиках, тащила, на покато плече, фотографическую тяжеленную сумку; помочь себе, по обыкновению своему, не позволила. А франкфуртский аэродром мучителен, бесконечен; с бесконечными, мучительными переходами — никуда ниоткуда и посреди ничего, — бесконечным бегом по самодвижущимся дорожкам, до и после досмотра, всегда оскорбительного, мимо модных лавок с никому не нужными аксессуарами миллионерской глянцевои жизни, мимо мерзких кафе с космическими ценами и отравной едой, в искусственном мире, в неоновом свете; от чемоданов мы избавились — от сумок и недосыпа избавиться не могли. Она вчера виделась... с кем? Она весь вечер провела вчера... с кем же? С Бертой... если я помню; она мне когда-то рассказывала... Я помнил, еще бы; на мгновение замер в нашем беге по самодвижущейся дорожке, в стремлении к недостигаемому, самому дальнему выходу на посадку. Она просто стару-

Алексей Макушинский

ха, говорила Тина в запыхании ярости, не прекращая своего и нашего бега; просто мерзкая, канадская, американская, канадско-американская сделанная старуха, произведение косметического искусства, в ужасных, искусственных, подтяжками и лифтингами порожденных морщинах; страшная, страшно стервозная, американско-канадская, отвратительная старуха; она во Франкфурт приехала оформлять немецкую пенсию. И она сама не знает, Тина, какого черта с ней встретилась, вовсе незачем им было встречаться, да никогда они больше и не будут встречаться, да и улетит эта Берта в свою Канаду, и пускай улетает, а все-таки весь вечер просидели они друг с другом, и только гадости друг другу и говорили, лучше сразу бы разбежались в разные стороны, а вот не разбегались, весь вечер сидели, говорили друг другу гадости, и после этого она, Тина, разумеется, не спала, глаз вообще не сомкнула, и если не поспит в самолете, то уж и не знает, что будет; в полном ошалении, короче, плюхнулись мы каждый в свое, для нас обоих слишком узкое кресло. Но ничто не сравнится со взглядом сверху на эти всякий раз и при всяком новом полете неожиданные облачные поля, эти не для человеческих глаз, но для ангельских стоп предназначенные млечные россыпи... В не меньшем ошалении прилетели мы в Лиссабон, где, по глупости и равнодушию к прогнозам и проказам погоды, предполагали застать южную весну, южное солнце, цветение всего, чему полагается южной весной и под южным солнцем цвести, где, уже сходя с самолета по трапу, обнаружили тяжело-влажную духоту, перемежаемую, но удивительным образом несколько не нарушаемую порывами сильного, резкого, тоже влажного, даже душного, при этом холодного ветра, и какие-то неестественно низкие, мрачно-мохнатые и клокасто-кlyкастые тучи, мечтавшие ливнем обрушиться на несчастных новоприбывших.

Тежо

Я несчастным себя и чувствовал; еще чувствовал, что засыпаю; что эти низкие тучи, эта тропическая влажность повергают меня в окончательную сонливость; едва не заснул, в самом деле, в машине милейших хозяев снятой нами квартиры — смуглого господина с седою бородкой и смуглой дамы с собранными в пучок черно-белыми волосами, — встретивших нас на аэродроме, смешно обрадовавшихся, когда выяснилось, что с английского можно перейти на французский. Все налетал ветер; налетал, действительно, дождь; когда мы вышли из дому, дошли до метро — мы жили в десяти подземных минутах от центра — и потом, когда вышли из метро в Байше, пошли по узкой улице вниз, потом вверх, по другой узкой улице, в светящихся витринах, отраженьях на тротуаре, — выяснилось, что Лиссабон весь выложен мелкими почти белыми камушками, не знаю, подпадающими ли под понятие *бульжник* или *брусчатка*, но точно подпадающими под понятие *каток*, когда смочит их небесная влага. По-прежнему засыпая, скользил я на этих камушках, на этих отраженных витринах; вот-вот, казалось мне, я упаду; Тина тоже хватала меня за рукав. Даже туристов почти не было под этим дерганым, залихватским, заливавшим нас со всех сторон, и сверху, и сбоку, дождем. Мы вышли, наконец, на прямую пешеходную rua Аугуста, где отыскалось все-таки несколько косимых ветром, как и мы, странников, любителей экзотических городов, искателей фотографических впечатлений; в сиреневых сумерках открылась нам торжественная площадь с перебегавшим ее маленьким желтым трамваем, выложенная на сей раз квадратными и большими, но столь же скользкими плитами, еще лучше, чем всякие камушки, отражавшими разрывы клокастого неба, их затихающее свечение, вспышки светофоров, мерцание загоревшихся фонарей;

Алексей Макушинский

на берегу взвихренной Тежо, океанской необозримости, где только совсем молодые, негибаемые туристы, мне показалось, что из Хорватии, хохоча, снимали друг друга на свои айфоны, смартфоны, стояли мы, впервые всерьез, пусть во сне, обсуждая, что делать дальше. Была географическая ирония в открывшейся перед нами безмерности; казалось, что океан от нас слева, там, где другого берега не было видно, видны были только далекие, мечтательные огни в своем собственном сне куда-то уплывавшего парохода; мы знали, однако, что океан не там, что он справа, нам не видимый, соединяемый речной горловиной с этой на глазах темневшей безмерностью, которую одни считают бухтой, другие эстуарием Тежо, и которая, чем бы ее ни считать, словно ставила под вопрос и сомнение наши мысли и наши планы, как это всегда делает неохватное, неподвластное взгляду пространство.

Спящий город

Мы представления не имели, как искать в этом городе Виктора; единственное, на что могли рассчитывать, был адрес (без телефона) дзен-буддистской группы, найденный мной в Интернете и (с телефоном) адрес другой группы, буддистской просто, в Интернете найденный мною тоже. Ни та, ни другая группа на электронные письма мои не откликнулась; в снабженную телефоном мы позвонили еще из Франкфурта; не дозвонились; из Лиссабона тоже не могли дозвониться; на другой день ответил нам мужской молодой, по звуку заспанный голос; толку было от него не добиться. А как объяснить ленивому лиссабонскому буддисту, если и вправду он был буддист, с сомнительными познаниями в английском и с произношением таким, что сразу мог бы говорить он по-португальски, — как объяснить ему, что ты ищешь русского, а Russian, именем Виктор, который долго жил во Франкфурте,

you understand, don't you? неизвестно куда уехал, пропал, исчез, disappeared, и которого три недели назад видели в Лиссабоне. А что он здесь делает? Да мы вот и сами бы хотели узнать, что он делает здесь. Он дзен-буддист; может быть, он ходит к вам медитировать. К нам медитировать? Ну да, к вам медитировать, вы же понимаете, you understand? Я не знаю, ответил сонливый голос, мне надо спросить у родителей. Спросить у родителей? Да, спросить у родителей. Так вы у них спросите? Перезвонить вам попозже? Перезвоните; только родителей нет. А когда они будут? Я не знаю, снова ответил голос. Так вы не сможете нам помочь? Я не... Спасибо. Другую группу, лишенную радостей телефонной связи, искали мы следующие полдня. Она должна была, если верить карте (а что оставалась нам?), находиться возле станции Рато, в местах нетуристических и в другую погоду, в другом настроении тем-то, наверно, и привлекательных; ничего привлекательного на сей раз в них не было. Дождь лил так же, то есть лил и потом не лил, уставал, и духота была такая же, и холодный ветер такой же, и так же спать хотелось, и улица уходила все вниз и вниз, все резче и круче, и скользко было еще пуще и страшнее, чем накануне; Тина, балансировавшая на маленьких белых камнях со своей фотографической сумкой (которую в качестве эмансипированной немки она мне по-прежнему не позволяла нести), опустилась, наконец, на подвернувшуюся приступочку у кафельной (типично лиссабонской) стены; тяжело выдохнув, объявила, что дальше не пойдет, будь что будет, что голова у нее кружится и вообще все ужасно, все надоело; по счастью, проезжало мимо такси, водитель коего долго объяснял нам что-то по-португальски, качал головою и ехать отказывался, тут же, впрочем, подобрел и даже заулыбался, когда я — мне тоже все надоело — просто сунул двадцатку в его крестьянскую, толстопало-за-

Алексей Макушинский

скорузлую руку; искомый адрес оказался за поворотом. За этим поворотом открывшаяся нам улица могла участвовать в конкурсе на звание печальнейшей улицы меланхолической португальской столицы; имела шанс, сказал я Тине (надеясь, что она улыбнется), оный конкурс выиграть. Надежды мои не сбылись. И никакой, конечно, группы, ни дзен-буддистской, ни буддистской просто по искомому адресу не было; не было ни таблички, ни надписи; был просто дом, трехэтажный, с закрытыми зелеными ставнями, перед которым долго стояли мы, не зная, что делать дальше, с уже окончательным ощущением, что все это происходит во сне, без всякого желания проснуться, с падающими веками, из-под падающих век глядя то вправо, то влево — а все равно было куда смотреть, что вправо, что влево — одинаково безнадежно уходила эта печальнейшая из улиц, бездревесная и пустынная, с подъемом, спуском и снова подъемом, как в левой стороне, так и в правой, с обшарпанными серенькими фасадами зеленоставенных трехэтажных домов, вкраплениями голубенького кафеля на этих фасадах. Так стояли мы, покуда не вышла к нам молодая — молоденькая, — в сером плащике, маленькая, скорее толстенькая, как почти все португалки, женщина, вытянувшая из темноты парадного коляску с то же — как все вокруг нас, в самих нас — спящим младенцем. Глаза ее, очень черные, казались подведенными — но не краской, а от природы, как если бы уже родилась она с тушью на ресницах, хотя никакой туши (утверждала Тина) на ресницах у нее не было. По-английски говорила она отлично; улыбалась; все понимала; явно хотела помочь. Она живет здесь три года, объявила молодая мать, почему-то указывая на своего под козырьком коляски спрятанного ребенка в белой шапочке, с розовым личиком; и — нет, никогда не слышала ни о какой буддистской группе в этом доме; нет, никогда. Она

может спросить у своего друга, her boy-friend, он, наверное, спит, но... Мы не успели остановить ее, как уже она крикнула что-то по-португальски в глубину, темноту парадного, для верности принялась еще жать на звонок, то отпуская его, то вновь в него вдавливая побелевший от усилий лакированный пальчик. Появился беспробудно заспанный boy-friend, в косо сидящей красной майке, с черными, длинными, давно нечесанными курчавыми волосами; по-английски то ли не говорил он, то ли смущался говорить при своей бойкой подруге; потягиваясь, потирая глаза и лицо, еще больше взбывая нечесанные курчавые волосы, объявил, что никакой буддистской группы в их доме нет, не было, не бывало; после чего завязался у них долгий, совершенно португальский разговор, во время которого то он делал, то она делала в нашу сторону успокоительный жест рукою — вперед ладонью — подождите, мол, сейчас все решится (все наладится, все образуется). После одного из таких жестов boy-friend исчез в темноте парадного; у него есть друг-буддист, объявила молодая мама, покачивая коляску с упорно, нам на зависть, не просыпавшимся младенцем; сейчас он, boy-friend, ему, просто friend'у, позвонит, все узнает. Действительно, boy-friend возвратился с двумя записочками в руке. Есть буддистская группа тибетская, перевела нам его подруга; в центре, в Байше; вот адрес. И есть группа еще какая-то, они не знают и не понимают какая; и это здесь, кстати, недалеко; то есть не очень далеко; то есть вы сейчас сядете в трамвай, объявила молодая мамаша, проедете на нем — сколько? (она вновь принялась совещаться по-португальски с взбывавшим нечесаную шевелюру boy-friend'ом) — проедете на нем шесть остановок, сойдете у парка, пройдете через парк насквозь, just straight through the park, сядете на трамвай номер... с тех пор я забыл какой... проедете на том трамвае еще три остановки в

Алексей Макушинский

сторону госпиталя, а когда сойдете (с таким видом говорила молодая мать, глядя то на меня, то на Тину своими подведенными от природы глазами, словно и мысли не допускала, чтобы мы поступили иначе, взяли, к примеру, такси или вообще не поехали по этому адресу), когда сойдете, поднимитесь по одной лестнице... там будет лестница... а затем по другой. А там... там вы спросите. А телефоны? Телефон есть только у тибетской группы, в Байше; у другой группы нет телефона.

Меланхолический доктор из непрочитанного романа

Трамвай стучал и трясся по бесконечной, бездревесной и безлюдной улице, от подъема к спуску, от спуска к подъему; дождь тек по стеклам, как и должен дождь в таких случаях, как некогда он тек в Ленинграде, косыми каплями, полосами, потоками; на остановках полосы пробовали течь просто вниз; тут же, как только трамвай трогался, сбивались на сторону и текли снова наискось; в парке был чудный, красный, наконец не скользкий, гравий дорожек; громады гладкоствольных пальм, в разорванное небо возносивших недостижимые кроны; еще пальмы с корою в разумных ромбах; когда же и на другом трамвае проехали мы предписанные нам остановки и поднялись по обеим лестницам, тогда уже никого нам спрашивать не пришлось, но прямо уткнулись мы в дверь с табличкой Associação Budista de Lisboa; самое же прекрасное было то, что океанская Тежо снова открылась нам, за черепичными крышами, под когтистыми облаками. Речная гладь (гладь бухты или гладь эстуария, как угодно присутствующим) была, на сей раз, исчерчена беззвучными катерами, как бывает небо исчерчено самолетами. Катера эти двигались, и

паромы двигались тоже, но так далеко вниз это было, что неподвижным казалось само их движение, они сами казались просто точками на окончании проведенных ими же кильватерных линий. Всегда надеемся мы найти что-то осмысленное в тех узорах, которые предлагает нам жизнь. Никто, разумеется, не отозвался на наш звонок. Мы решили все-таки ждать, да и делать было больше нечего, идти больше некуда. Обнаружилось, наискось от заветной двери, кафе. В нем самом двери не было, да и передней стены не было, куда-то ее подевали, или раздвинули; мы спрятались в самую глубь помещения; все равно тянуло снаружи трагическим холодом, влагой и духотою; за отсутствующей стеной блестел под дождем бульжник, слышны были, изредка, чьи-то шаги по нему, клацанье кожаных каблучков, скрип и всхлип резиновых спортивных подошв, внезапные негромкие голоса. В Лиссабоне все едят маленькие кругленькие пирожные, посыпаемые свежей корицей, необыкновенно вкусные, другим столицам других стран, мне кажется, незнакомые; в метро, как в первые же дни мы заметили, продают такие пирожные в крошечных киосках маленькие, толстенные (от поедания тех же пирожных) и вообще прелестные девушки, любительницы (помимо пирожных) «Фадо», самой печальной, самой меланхолической музыки на этой невеселой земле; ни одного не встретилось нам киоска с такой девушкой и такими пирожными, из которого не раздавались бы *разрывающие сердце* звуки португальской многострунной гитары и *надрывающий душу* голос Амалии Родригес, всегда и на любой станции готовый рассказать вам о своей надорванной душе, разорванном сердце. В кафе рассказывала нам обо всем этом другая певица, и слушать ее было чистое наслаждение. И пирожные в этом кафе оказались еще вкуснее метрошных. Здесь, в Лиссабоне, Тина была уже не такой печальной, какой была в Петербурге зимою; и если была печальной по-преж-

Алексей Макушинский

нему, то уже не была такой несчастной, какой была в Петербурге. Когда же в третий — мы оба решили, что и последний — раз мы позвонили в дверь с табличкой Associação, околodверное говорительно-слушательное устройство вдруг, зашипев, ответило мужским и тоже отраднo-меланхолическим голосом; в ответ на наши английские объяснения щелкнуло, замолкло и выключилось; потом опять зашипело, даже звякнуло, дверь подалась — и мы очутились в смутном помещении, на дзен-до нимало не походившем, походившем скорей на приемную скромно практикующего врача, специалиста по каким-нибудь кожным болезням, с расставленными вдоль стен безликими стульями и низким столиком из той породы столиков, на которых лежат у таких врачей затрепаные глянцевые журналы, сообщающие миру о светских свадьбах, светских скандалах. Здесь таких не было, но были — в самом деле! — на разных языках, журналы и проспекты буддистские, Tricycle, и Regard Bouddhiste, и Shambala Sun, и Buddhismus aktuell, и Ursache und Wirkung. Я из этих журналов некоторых никогда и не видел; если видел, то в Интернете. Висела мандала на стене, на том месте, где, будь здесь и вправду приемная скромного доктора, полагалось бы висеть вихрясто-морскому пейзажику. Мандала была замечательная, очень сложная, очень яркая, наверное драгоценная, спрятанная под толстым стеклом. Не менее замечательный господин появился из соседней комнаты — едва ли не самый не-буддистский человек из всех, встретившихся мне на буддистском пути, — пожилой, маленький, с тем желтоватым оттенком кожи, который так характерен для португальцев, с седой аккуратненькою бородкою, в темно-синем костюме с жилеткой, галстуком и тоже синим, но другого, светлого оттенка платочком в нагрудном кармане; персонаж романа (я тут же подумал): меланхолический доктор из какого-нибудь (мною

до сих пор непрочитанного) португальского романа конца, что ли, XIX, начала XX века (любимого времени, по которому всю жизнь обречен тосковать я). По-английски говорил он неплохо, хотя и с сильным акцентом; превосходно говорил по-немецки, с акцентом тоже довольно сильным и с оборотами такими, как если бы он учился где-нибудь в Гейдельберге если не перед Первой, то уж точно перед Второй мировой войною. Ему жаль нас разочаровывать, *es tut ihm leid, uns enttäuschen zu müssen*, но нет, никогда он такого человека не видел, сообщил он, внимательнейшим образом изучив предьявленные ему Тиной в айпаде, мною в айфоне, фотографии Виктора; засмеялся, по-детски и стариковски, когда понял, что от одной фотографии можно перейти к другой, просто пальцем проведя по экрану — никаких айпадов, айфонов в его мире, конечно, не существовало. Все же нет, как ни жаль ему огорчать нас, но такого человека никогда он не видел; какое интересное, значительное лицо; удивительные глаза. Русский, говорите вы? живущий в Германии? Нет, милостивая государыня (он правда — клянусь! — сказал Тине *gnädige Frau*, к полнейшему Тининому восторгу), нет, не знаком ему такой человек. Здесь буддистское общество, да, ответил он на мой робкий вопрос, даже ассоциация буддистских обществ, пояснил он, узкой, смуглой, благородной рукою показывая на пустые стулья у стен — как если бы на каждом стуле сидело по невидимому представителю какого-нибудь буддистского общества, а то и прямо по бодхисаттве — а он... он у них председатель, *Vorsitzender*. У них бывают собрания... и лекции... и эти... доклады. Не очень часто, добавил он с извиняющейся интонацией. Бывают... но не очень часто. Дза-дзен? Что вы хотите сказать? Ах, дза-дзен, сидячая медитация? он уже слышал об этом... Жаль, что он не может помочь нам. Знаете что! — воскликнул он вдруг, узкой и

Алексей Макушинский

смуглой ладонью ударяя — в самом деле ударяя — себя по лбу; знаете что, wissen Sie, вам надо съездить в дзен-буддистский монастырь, там, в горах (он протянул руку, куда-то указывая; задравшийся рукав его пиджака продемонстрировал мне и Тине изумрудные запонки на манжетах); там, в горах, за Коимброй. Да, там есть дзен-буддистский монастырь, сообщил он в ответ на наше с Тиной изумление; там, в горах, высоко, далеко. Чем чаще он повторял это *там*, тем труднее было поверить, что в самом деле оно существует. Тем не менее, вышедши в соседнюю комнату (за полуоткрытой дверью увидели мы огромный письменный стол, из того же романа), в столе порывшись, нашел и записал он для нас четким почерком на узком листочке (напоминавшем рецепт) длинный, сложный адрес монастыря, с указанием ближайшего города, ближайшей деревни, какого-то поворота, которой важно было не пропустить. Нет, разумеется — с усталым вздохом отверг он эту вздорную мысль — он не бывал там; он редко выезжает из Лиссабона. Мне очень хотелось спросить его, доктор он или нет; я не решился. Тот доктор, в том романе, мною не читанном, вообще никогда, наверное, не выезжает из Лиссабона, я думал; каждый день ходит по тем же улицам, смотрит на ту же Тежо. Он не выезжает, а вы съездите, говорил господин, хотя, он слышал, без автомобиля (ohne Wagen) туда не добраться, но автомобиль, он слышал, можно взять напрокат. Или мы могли бы по железной дороге (mit der Eisenbahn) доехать, например, до Коимбры, а оттуда уж отправиться в горы. Он желает нам счастливой поездки; он почему-то уверен, что мы найдем то, что ищем, того, кого ищем. Только он советует нам подождать пару дней; погода, если верить барометру (sollte man dem Barometer Glauben schenken), должна скоро наладиться.

Архитектура

На другой день я начал писать вот эту книгу, которую заканчиваю теперь. Погода и не думала налаживаться; в очередном кафе в нетуристической части города, в котором обнаружили, на наше счастье, четвертая стена и закрытая дверь, седой, но густо- и чернобровый официант, с насмешливой печалью в глубоко сидящих глазах, тоже казался персонажем непрочитанной португальской прозы конца позапрошлого века; кофе был отличный, но проснуться мы не могли. Тина переносила на айпад свои фотографии, затем принялась подкарауливать официанта, поставив камеру на стол и нажимая на спуск так, чтобы тот не видел. Тот видел, но не подавал виду, что видит. Я сказал себе, что вовсе не обязательно находить Виктора, чтобы начать писать эту книгу, которую я задумал когда-то (которую начал задумывать), полгода назад, в приавтострадной гостинице в Вейле-на-Рейне, бессонной буддистской ночью. Достаточно Виктора исчезнувшего, сказал я себе. В жизни я бы мечтал найти его, но для литературы он, найденный, уже мне не нужен. Найдем мы его или нет, не имеет значения. Все уже есть, я сказал себе, и то, что я знаю о нем, и то, что знаю о Бобе, и мои собственные воспоминания, и то, что я могу додумать, придумать. И все со всем связано, пусть мы и не понимаем, как именно, все со всем соприкасается, соотносится, все в мире, как-то, взаимодействует... Я сказал — не себе, но Тине, — что напишу или попробую написать, кое-что о Викторе, о дзене, о Бобе, о разных других людях, с которыми пришлось мне столкнуться на моем буддистском пути, значит, наверное, и о ней, если она не против. Она всегда подозревала, что этим все кончится, она ответила со своим всепонимающим, всепрощающим, здесь в Португалии заново обретенным ею смешком... И затем мы не знали, чем заняться, и даже попробовали, в ожидании более

Алексей Макушинский

милостивой погоды, снисхождения барометра, превратиться в туристов, съездили в курортный Кашкайш, съездили на другой день и в другую сторону на Восточный вокзал (Oriente), построенный ко Всемирной выставке 1998 года Сантьяго Калатравой, испанским архитектором, славным в особенности своими мостами (вокзал, показавшийся нам обоим довольно чудовищным, особенно изнутри; показавшийся нам бетонными дебрями, более всего похожими на кошмары Пиранези, его воображаемые темницы); затем долго ходили, фотографируя и не фотографируя, по огромной территории выставки, где, среди прочих, скорее не вдохновивших нас, созданий современной архитектуры, обнаружился белый, строгий и плоский павильон Альваро Сизы Вьейры, самого, наверное, знаменитого из всех португальских зодчих — Сизы Вьейры, который там, в Вейле-на-Рейне, где я блуждал полгода назад и в начале романа, представлен был наименее, может быть, примечательным зданием, фабричным корпусом, намеренно никаким, — здесь же, по нашему общему с Тиной мнению, построил лучшее и прекраснейшее из того, что здесь было, — павильон, своей простотой и отчетливостью, своими колоннами и портиками, окруженными серой и зыбкой в тот день водою, пробуждавший воспоминания классические и замечательный, может быть — прежде всего, своим огромным, легко летящим, провисающим — как если бы он был из парусины, холстины, — бетонным навесом между двумя частями здания; навес этот мы тоже долго, я помню, фотографировали, долго рассматривали (особенно хороши в нем стальные тросы, оставленные открытыми по краям, там, где навес примыкает и крепится к портикам; еще лучше были их зубчатые тени на внутренних поверхностях прямоугольных вытянутых колонн); потом опять вышли к океанской Тежо (к бухте, эстуарию, как угодно); пошли в сторону моста (самого

длинного в Европе; сообщил мне путеводитель), названного в честь Васко да Гамы (как еще и называть мосты в Португалии?), моста вантового, совершенно прекрасного, в свою очередь уходившего в серую, по-прежнему взвихренную непогодой безмерность, не подвластную взглядам. Спать, однако, хотелось нещадно; голова болела и у меня, и у Тины; болели ноги — у меня нет, у нее все сильнее. Что-то в тот день не заладилось у нее с обувью. Мы сели на лавочку у бескрайней реки. Нет ли у меня ваты? Ваты у меня не было. Ей пришлось воспользоваться бумажным носовым платком фирмы Тетро, из тех бумажных платков, какие порядочная немка всегда носит с собою, в сумке ли, в рюкзаке; она отрывала кусочки, в комочки их скатывала, вставляла между пальцами ног (с лиловым лаком ногтей). Это долго продолжалось, в духоте и на холодном ветру. Сначала левая нога, потом правая, с уже довольно отчетливою подагрической косточкой возле большого пальца. Чем дольше это продолжалось, тем смешней делалось. Солнце выглянуло, и настроение тоже начало подниматься. Удивительно маленькие для такой большой полной женщины оказались у нее ноги, с высоким, почти балетным подъемом. Терпсихорина ножка при Дианиной груди и ланитах вполне себе Флориных. Покончив с запихиванием бумажных катышков между пальцами правой ноги, еще не надевая ни прозрачных носков, ни слишком узких туфель, она извлекла фотоаппарат из сумки, подумывая, похоже, не сфотографировать ли их, эти ноги, на фоне океанской безмерности, сперва левую, потом правую, потом обе вместе, отбрасывая эту вздорную мысль, усмехаясь своим всепонимающим, всепрощающим, чудесным смешком, заново обретенным ею здесь в Португалии. На следующий день мы отправились на север, в Коимбру и дальше в горы, на маленькой, очень красной машине, взятой нами, наконец, напрокат.

Алексей Макушинский

Мы живем благодаря пробуждениям

Погода, вопреки предвещаниям барометра, не наладилась, но ждать уже не было у нас сил. Не было и машины с автоматическим управлением — по крайней мере, в тех трех фирмах, куда мы позвонили; я же переключать скорости, главное — выжимать сцепление, за долгую автомобильную жизнь так и не научился. Тина объявила, что сама поведет машину и туда, и обратно, ей плевать, ее это только отвлечет от мрачных мыслей. По автостраде до Коимбры ехать было одно удовольствие; другое дело, что ехать туда нам было не нужно, как впоследствии выяснилось, а нужно было свернуть на Кастело Бранко и держать путь на Гуарду; не произнеси меланхолический доктор слово Коимбра (такое загадочное, такое влекущее...), мы бы это сразу, наверно, сообразили. Мы вообще мало что соображали в нашем португальском сне, от которого уже и не пробовал я пробудиться. Веки падали, и глаза закрывались. Я мог закрыть их, Тина, конечно, нет. Тина, я видел, дергала себя за мочку уха, растирала ее большим и указательным пальцами — старинный способ не заснуть за рулем, она утверждала, которому в Америке научила ее Рут Бернгард. В Коимбру мы не заехали; свернули, по карте, направо; если бы свернули налево, я бы и не заметил. Мне все равно было; я пару раз заснул в самом деле; просыпаясь, продирая глаза, видел, не видя, горы, выраставшие перед нами, вокруг нас, исчезавшие в грозных тучах, вновь принимавшиеся расти; какие-то камни, огромные; обломки скал, разрубленных топором великана; каменные деревни со средневековой церковью в каждой; промельки чистого неба; проблески солнца, вновь и вновь пытавшегося что-нибудь выхватить и отметить: гнутую скобку моста через быстрюю

мелкую речку, айвовые деревья за низенькою оградой; и за очередным перевалом — сосновые склоны, гряды и края, градации синего, серого. Заветный поворот проскочили мы, разумеется; еще час плутали по дорогам, все более проселочным, прежде чем к нему возвратиться; ландшафт, за ним открывшийся, перехватывал дыхание, так далеко было видно, почти, нам показалось, до океана. Целый и цельный мир лежал перед нами — равнина, и за ней опять горы, и за горами горы еще, со всеми прелестями сфумато, и на равнине свои собственные холмы, и холмики, и овраги, и река, и еще одна река, или озеро, блестящее темной сталью, и плоские белые промышленные ангары у этого озера, и густо-зеленые рощи, и деревни, или, может быть, городки, с колокольнями, куполами, громождением красных крыш, и тени туч на полях. Безмерность пространства, земного, морского ли, требует от нас ответа, превышающего наши возможности, даже когда мы бодрствуем, тем более когда мы спим, когда душа молчит, веки падают. Едва увидел я этот ландшафт, едва увидел на очередном склоне, на выезде из деревни, но в отдалении от всех прочих, сам по себе стоявший дом с оградой из плоских камней, с красными воротами и красными, гнутыми, несомненно не-европейскими скатами крыши, не спрятанными оградой, — едва увидел я все это, как тут же понял, что мы — нашли, что Виктор здесь, потому что где же еще и быть ему, как не здесь? Вот, подумал я, сейчас я ударю в гонг (там был гонг, подвешенный к перекладине между двух красных столбиков) — и Виктор нам откроет ворота; уже я видел Виктора, из них выходящего, совсем худого, сожженного солнцем, сведенного к своей окончательной сути, как вон те скалы, в которых ничего нету лишнего... В гонг я ударил; но ворота и после третьего удара не отворились; Виктор не вышел; вообще никто к нам не вышел. Тина зато

Алексей Макушинский

обнаружила, что ворота не заперты; двор за ними был уже очень японский, с бамбуком, прудами, камнями, расчесанным песком вокруг них. Дом был тоже не заперт; из темной прихожей две ступеньки вели в дзен-до. Никто не вышел к нам и не откликнулся на наш гонг, потому что они сидели; их было, впрочем, только двое: девушка и юноша (тоже похожий на девушку); Виктора среди них точно не было. Они не встали, не обратили на нас внимания — продолжали сидеть, смотреть, он — в одну, она — в другую стену, такую же белую и пустую, в таких же, даже, пупырышках и подтеках масляной краски, как в том, для меня незабвенном, дзен-до на хуторе в Нижней Баварии; деревенских квадратных окошек здесь, впрочем, не было; под потолком, во всю длину стен была вытянута узкая стеклянная лента, пропускавшая пасмурный, сверху падавший свет... Мы сперва решили ждать во дворе; прошло двадцать минут, прошло двадцать пять; я вновь почувствовал, что засыпаю; еще почувствовал, что умираю от голода; мы снова вышли на покату, по-прежнему пустынную улицу, если можно было назвать ее так; сидя в машине, съели купленные по дороге, на автострадном привале возле Коимбры, очередной пухленькой португалкой очень тщательно упакованные сэндвичи — не столь бесконечные, каким был тот незабвенный Тинин сэндвич, когда-то, в поезде из Нюрнберга во Франкфурт, но все же весьма внушительные, с местной вяленой ветчиной, вполне экзотической, и сухим козьим сыром, тоже местным, пахучим и острым, экзотическим не менее ветчины. Тина сидела на своем водительском месте; крошки, как некогда, падали на ее гигантскую грудь, на черную майку с треугольным вырезом под тоже черной, всегда расстегнутой (потому что, по-моему, ни на груди, ни на животе не сходявшейся) кожаной курточкой, в которой щеголяла она в Португалии; вновь, как

некогда, она снимала с груди эти крошки; и лицо ее, впервые, может быть, за последние годы было таким же, каким бывало когда-то — успокоившимся, погруженным в себя. Десять (девять с половиною) лет прошло со времени нашего с ней знакомства; все изменилось в жизни... В жизни может быть, но в дзен-до, когда мы снова зашли туда, все было так же; так же, по-прежнему или снова, сидела у одной стены черно-волосая девушка в голубых джинсах и белой рубашке, у другой — светловолосый голубоджинсовый юноша в бежевом свитере, с откровенно и нежно женственными чертами лица, всего облика. Подушки и маты сложены были в углу; я соорудил себе медитативное место у свободной стены; Тина тоже устроилась посидеть рядом с юношей. Вы спите, а вам надо проснуться. У вас есть шанс проснуться; проснитесь сейчас. Только тут, сидя на дзенской подушке, в бирманской позе и со сложенными в мудру руками, я почувствовал, что, наконец, пробуждаюсь — в смысле буквальном и не-буквальном, буддистском и не-буддистском. А ведь мы и живем, думал я, благодаря этим кратким, всякий раз неожиданным, преодолевающим жизнь пробуждениям.

Ухабы и ямы

Девушка ударила, наконец, деревянной битой в медную миску; мы сделали гассё, все четверо, Тина тоже; в дверях, все четверо, вновь поклонились в сторону алтаря с маленькой золоченой статуей Будды и дымком ароматической палочки, вившимся перед нею; даже в кухне, чистой и вполне европейской, куда они провели нас, не сразу начали говорить. Я вспомнил, не мог не вспомнить, то великолепное молчание — громоподобное молчание Будды, — в котором мыл, и вытирал, и расставлял по полкам посуду, тарелки, чашки и

Алексей Макушинский

миски, пятнадцать лет тому назад, вместе с брюсовобородым дядькой, зеленокофточною Иреной. Светловолосый юноша сразу принялся резать лук и морковку, быстро-быстро, мелко-мелко ударяя широколезвенным ножом по деревянной доске; темноволосая девушка первым делом закурила сигарету, глядя в окно на неправдоподобный ландшафт, из кухни вновь открывшийся перед нами; курила жадно, долго, втягивая в себя щеки, выпуская дым шумной струйкой, с блаженным лицом наркоманки, измученной долгими часами безникотинного религиозного подвига; одна треть осталась от ее сигареты, когда к нам она обратилась, к нам повернулась; почти рыжими казались на свету ее волосы, на фоне сосен и склонов, окутанных облаками. Такие же черные, как будто подведенные от природы, глаза у нее обнаружили, как у той молодой матери в Лиссабоне; по-английски, впрочем, говорила она совсем плохо. Зато юноша оказался голландцем и по-английски говорил замечательно. И он узнал Виктора — наконец-то! Наконец-то и быть не может; он узнал Виктора. Он узнал, она не узнала. Здесь был такой человек, объявил девушкоподобный голландский юноша с совершенным, впрочем, равнодушием к тому, что такой человек здесь был, и к нашей радости (наконец-то...). Да, был, объявил юноша, на мгновение отрываясь от своей морковки, заглядывая в Тинин айпад; только он, юноша, не помнит точно, когда это было, в позапрошлом, что ли, году, на первом или втором их сессии, когда только-только они — он не сказал, кто *они* — этот дом перестроили, монастырь основали. А может быть, и на постройке (перестройке) дома работал такой человек, он не уверен; он сам тогда только коротко был здесь... После первой сигареты девушка закурила вторую; все, видно, не могла накуриться; вдруг быстро и дробно — так же дробно и быстро, как он резал свою морковку — стала говорить ему

что-то по-португальски, дыша дымом на нас на всех, на всю кухню. А все-таки здесь был такой человек, с полнейшим равнодушием, пустыми глазами скользнув по нашим лицам, объявил девушкоподобный юноша; проделал здесь целый сессин; может быть, и на постройке дома работал; а как звали этого человека, он, нет, не помнит; как-то его звали, конечно... Тогда вам надо связаться с Мафальдой, с таким же равнодушием и к нам, и ко всему остальному, докурив свою сигарету и принимаясь за резку цуккини, на очень плохом английском сообщила нам девушка. Правильно, сказал светловолосый, им надо связаться с Мафальдой. Кто это — Мафальда? Мафальда — это такая деловая женщина в Лиссабоне, а *business lady in Lisbon*; она должна знать; она вообще все знает; они запишут нам ее телефон. Оставив цуккини и потянувшись к третьей сигарете, но еще не закуривая, девушка (по примеру меланхолического доктора) куда-то ушла; возвратилась с квадратной бумажкой, на которой квадратным ученическим почерком записан был телефонный номер, даже два телефонных номера, один — домашний, другой, похоже, мобильный. Вот, сказала девушка. И после этого нам оставалось лишь удалиться. Они ни о чем не спросили нас: ни кто мы такие, ни почему ищем этого человека, ни хотим ли поесть овощей вместе с ними. Мы наелись сэндвичей, и овощей *ихних* нам было не нужно. А все-таки я поговорил бы с ними, расспросил бы их о монастыре, об их сангхе, вообще о том и о сем. Очень трудно говорить с людьми, для которых ты не существуешь, думал я, покуда шли мы обратно к машине, то есть не существуешь вообще, не существуешь даже в убогом качестве статиста и слушателя, которому можно выложить свои любимые мысли о жизни и о политике, перед которым можно покрасоваться, как существуешь ты для лю-

Алексей Макушинский

бого таксиста, для любого случайного попутчика в поезде... Темнело резко, быстро, как всегда темнеет на юге. Могли бы и предложить нам переночевать в монастыре, сказал я. Кто? Эти двое? Я тебя умоляю, ответила Тина, для этих двоих никого в мире не существует. А сами-то они существуют друг для друга? Ей показалось, что нет, что даже и этого нет... И нет, нет, нет, она не знала, что Виктор здесь бывал, что он здесь делал сессин, в Португалии, два года назад. А ведь два года назад они еще были вместе. Но нет, нет и нет, говорила Тина, не заводя мотор, положив локти на руль, он ни разу, ни единым словом не обмолвился ни о каком сессине в португальском горном монастыре. Он это, значит, скрывал от нее; зачем? Значит, все было *не так*, все было обман. Что еще он скрывал, чего еще не знала она?.. Уже в темноте мы ехали, в темноте непроглядной и страшной; от моего пробуждения ничего в очередной раз не осталось. Что же это за имя такое, Мафальда? А это самое португальское имя, какое может быть в Португалии. Португалистей некуда (*portugiesischer geht nicht*). Ухабы и ямы в свете фар появлялись внезапно; на ухабах взлетали мы и в ямы, соответственно, падали. Взлетало, падало во мне самом что-то; обрывалось и замирало; пару раз засыпал я; бежали, слепили, исчезали огни; налетал дождь; дворники скрипели отчаянно; ветер, налетавший вместе с дождем, старался сбросить нас со всех обрывов, во все овраги, какие встречались нам по пути; потом опять пошла автострада, сон глубокий и ровный; Тина, когда уже ночью доехали мы до португальской столицы, призналась мне, что пару раз мы с ней были на грозной грани аварии; у нее тоже, она призналась, веки падали и слипались глаза всю дорогу, как ни дергала она, как ни терла мочки ушей, вон они совсем уже красные; она думает, мы чудом доехали.

Мафальда

После этой поездки все изменилось; по крайней мере, по-пробовало измениться; небо поднялось и очистилось; духота прекратилась; порывы ветра тоже утихли; лиссабонские улицы распались на две стороны, на сторону солнечную, полыхающую белым блеском просохшей брусчатки, бело-синим блеском каменных и кафельных стен — и на другую, синезябкую сторону, куда еще не нужно было прятаться, но где уже приятнее было идти. Таинственная Мафальда сразу ответила на наш звонок; сразу все поняла; назначила нам встречу в кафе, под вечер, на одной из узких улиц, от собора уходящих вверх, к замку. В этом кафе четвертой стены опять не было. В незастекленной рамке на сей раз предложенной нам картины полз в гору желтый трамвайчик; вслед за ним шли туристы, клацавшие каблуками, скрипевшие резиновыми подошвами спортивных ботинок, переговаривавшиеся на всех мыслимых и даже всех немыслимых языках; потом опять полз трамвайчик. Вот, я подумал, одна из тех женщин, из-за которых сходят с ума, бросаются в реку (скажем Тежо), ломают семьи и жизни, которым сочиняют стихи, посвящают симфонии, которых делают героинями повестей, романов и фильмов, которых биографии пишут впоследствии, через сто лет и двести, историки литературы, или живописи, или музыки, смотря по принадлежности сломанных жизней, разбитых сердец. Лицо у нее было лунное, не кругло-лунное, как у глупой пушкинской Ольги, но овально-лунное, как у тех незабвенных мадонн, да и не-мадонн, которых имели обыкновение рисовать ранние нидерландцы, лучшие художники на земле, Рогир ван дер Вейден, Ван-Эйк; на этом лунном лице, продолжая ночную тему, в свой собственный мягкий мрак всматривались непроницаемо-черные, неискрающиеся глаза; густые, тоже черные, с легкой рыжинкой, от природы, видно,

Алексей Макушинский

чуть вьющиеся волосы уложены были вокруг лунного лика в сложную, вовсе не современную, прямо средневековую, я подумал, прическу. А в то же время это была деловая женщина, в банковской табели о рангах какая-нибудь Senior, если не Executive Vice President (я подумал), в явно дорогом костюме, вовсе не в джинсах, но в доколенной и черной юбке, показывавшей ее стройные ноги в черных чулках, сильные икры; сразу нас узнавшая (почему и как?); севшая за наш столик; улыбавшаяся очень доброжелательной, очень спокойной, очень загадочной улыбкой. Ей было все равно, на каком языке говорить, можно по-английски, можно и по-французски. По-немецки тоже можно, но лучше все-таки по-французски. Или по-английски. Или по-итальянски. Виктор? Она знает Виктора, ну еще бы. И здесь встречалась с ним, и в Японии, и на конференции в Сингапуре. На какой конференции в Сингапуре? Она только рукой махнула, на какой-то, мол, конференции, одной из многих, всех не упомнишь. Его же здесь видели, Виктора, три или четыре недели назад, здесь в Лиссабоне, мы знаем. Да, он был в Лиссабоне, она тоже знает, ей говорили, отвечала, по-прежнему улыбаясь, Мафальда, лунноликая, таинственная, прекрасная, улыбкой и глазами показывая, что еще много, много всего она знает. Она все вообще знает, но ничего не может сказать. Она понимает, что мы понимаем, что она все знает, а сказать все равно не может. Или не хочет. Или не хочет и не может, какая разница? Она играет свою роль хорошо, и мы играем свою роль хорошо. Давайте доиграем наши роли ко всеобщему удовольствию и мирно разойдемся в разные стороны. Но Тина отказывалась доигрывать свою роль. Скажите мне, tell me, только честно, Виктор сейчас в Лиссабоне? Виктор? — произнесла Мафальда, как если бы она вдруг вообще забыла, о ком идет речь, сосредоточившись на своей игре, своей роли. Виктор —

нет! Виктор не в Лиссабоне, отвечала она, опять всем своим видом показывая, что в Лиссабоне Виктор, где же еще ему быть? И она точно не знает, продолжала Тина настаивать, где Виктор сейчас, *où il est maintenant*? Да нет же, она не знает, успокоительным голосом, с самой лунной улыбкой отвечала Мафальда. Нет, откуда ей знать? Виктор — где-то, и она не знает где именно. Опять улыбка ее говорила, что все она знает, и мы знаем, что она знает, и она знает, что мы знаем, что она знает, но она не скажет нам ничего никогда, и хотя бы мы весь вечер просидели здесь, в этом бесстенном кафе, глядя на туристов и на трамваи, и пускай мы уже это поймем и с этим смирился, и тогда все будет отлично, допьем свой кофе, свое розовое вино (она заказала себе розовое вино), доиграем свои роли, разойдемся в разные стороны. Трудно признавать себя побежденным. Потому что это было поражение наше, и мы это с Тиной оба, конечно же, понимали. Лиссабонская сука, португальская гадина, плотоядно прошипела Тина, когда мы вышли на улицу, остались вдвоем... Обнаружилась балюстрада, перед балюстрадой площадка, откуда вновь во всей своей океанской безмерности открылась нам, за красными крышами, Тежо, в уже намечавшихся сумерках, вновь расчерченная беззвучными катерами, бесшумными пароходами. Он просто не хочет с нами встречаться, вот и все, шипела Тина, уверенная, подумал я, что нашла, наконец, соперницу, оказавшуюся не блондинкой, даже и не бляндинкой, оказавшуюся прекрасней, опасней, чем Тина когда-либо воображала себе, — просто он не хочет встречаться, вот и подослал нам лиссабонскую суку, португальскую гадину, чтобы уж никаких сомнений ни у кого ни в чем не осталось, а сам, небось, ждал ее за углом и еще, поди, подло посмеивался, шипела Тина, невидящими и невменяемыми глазами глядя на красные крыши и сизое, в сумерках, море. Никакого смысла не было

Алексей Макушинский

возражать ей; зато и вообразить нетрудно было то, что она, очевидно, воображала себе в эту минуту, сопоставляя даты и факты: как, значит, Виктор ее обманывал последние годы, как ездил в Португалию, как крутил роман с луннолицой красавицей; а почему, собственно, сразу не ушел от нее, зачем морочил ей голову? — на этот вопрос у нее ответа, наверное, не было, но я и не задавал его ей. Совсем не хотелось мне погружаться в ее воскрешую ревность, выдумывать ей новое прошлое, разыгрывать ретроспективный роман, который явно разворачивался у нее в голове, у меня на глазах. Могло быть так, я думал, а могло быть и по-другому. А могло быть вообще как-то по-третьему. И ничем не отличаются эти Тинины домыслы от моих собственных, в последние дни и ночи перед отъездом сюда, в Лиссабон. Мои, я думал, оригинальней, хотя и абсурдней. Мои во мне и продолжились. Хлестнул опять дождь; тут же стих; загоревшиеся огни заблестели на мокрых камнях. Глядя на эти огни, эту реку, этот новый узор кильватерных линий в сиреневых сумерках, подумал я, что Виктор исчез на самом деле, развоплотился, что это надо понимать не фигурально, что просто-напросто его больше нет. Он же всегда хотел вкусить уничтоженья, всегда хотел отдать свое я. Вот он его и отдал, вот и растворился в этих огнях, этих линиях... Что за глупые фантазии, говорил я себе, да и хотел ли он этого, знал ли сам, чего хочет? А кто из нас вообще это знает? Мы хотим сегодня одного, а завтра другого; все течет, все расплывается в нас самих. И, тем не менее, в этих лиссабонских сумерках, где все так было зыбко, все дрожало, дробилось (текло, расплывалось...), в этих сумерках южных и кратких, на один, тут же и промелькнувший, миг не такой уж абсурдной показалась мне эта абсурдная мысль. Просто он исчез, растворился, сошел на нет, думал я. Есть эти огни, корабли, эти крыши, этот Лиссабон, эти туристские голоса вокруг нас, а Виктора, думал я, Виктора просто нет.

Остановленный мир

Но еще мы надеялись и только на другой день, уже почти летний, облачно-солнечный, вдруг и вместе потеряли надежду. Мы поплыли на пароме на другой берег Тежо; мы, конечно, не спорили друг с другом, кому грести, как Хуэй-нэнь спорил когда-то с Хунь-женем, и вообще грести нам было не нужно; мы мирно сидели на деревянной скамейке, глядя на отступающий белый город, разворот реки, медленно менявшей очертания своих берегов. Когда паром пришвартовался в Касильяше, никто не бросился к выходу; большое португальское семейство, от нас наискось через проход, продолжало свою тихую (португальцы вообще говорят очень тихо), непонятную нам беседу; пожилая пара, в соседнем с ними отсеке, из провинции, может быть, приехавшая в столицу, так же тихо продолжала рассматривать отступивший от нас белый город, обсуждая, похоже, как называется вон та церковь, та башня; туристы, глядя на аборигенов, недоуменно замешкались, спрашивая себя, как и мы себя спрашивали, пора ли уже сходить, покуда не появился пожилой, тоже заспанный, в косо сидевшей на нем тельняшке и в стоптанных тапочках персонаж (капитан и матрос в одном, глиняно-загорелом, лице), появившись, заговорил — и довольно долго говорил что-то по-португальски, затем, поглядев на нас с Тиной, на разноцветных американцев, уже готовых занервничать, повторил на почти невразумительном, его собственного изобретения английском, что будет лучше, если мы все сойдем, потому что они сейчас поплывут обратно, и если мы не сойдем, то и мы поплывем вместе с ними; в общем, проваливайте отсюда, провозгласил персонаж; внимательно его выслушав, португальцы так же неторопливо, продолжая свою собственную беседу, направились к выходу, американцы устремились за ними, я же подумал, что мог бы остаться

Алексей Макушинский

в этой стране, этом городе навсегда, вопреки тропическим тяготам климата... Мы побродили сперва по гавани; потом долго шли вдоль грубо-бетонной стены, между этой стеной и водою, то серевшей, темневшей, то принимавшейся мерцать и искриться; покуда шли, все смотрели (а невозможно было от него оторваться) на белый город, от нас отступивший; город, в белизну которого были вкраплены зеленые пятна деревьев и красные пятна крыш, но который казался прежде всего и в первую очередь белым, потому что вообще городом не казался, а казался восстающим из вод видением, фата-морганой, в пустынном странствии прельщающей путника. Были бетонные пирсы, бетонные же быки, оставшиеся от пирсов былых; большие кубы с ржаво-металлическими частями, креплениями для цепей и канатов, стоявшие сами по себе, под водой поросшие водорослями; эти водоросли, не совсем зеленые, но тоже ржавые, густые и длинные, начинали колебаться быстрее, когда проходил мимо катер, проходил пароход; затем затихали, находили свой ритм, колыхались медленно и степенно, с крошечною задержкой в конце каждого волнового движения, как будто они раздумывали, стоит ли отклоняться обратно. В ресторане с солнечно-желтыми железными столиками и не менее железными креслами у самой воды, все с тем же видом на мост и на город, накормили нас вполне вкусной, впрочем, тоже чуть-чуть железистой рыбой, распластанной по тарелке, пойманной, может быть, среди вот этих водорослей, вот с этого пирса. На пирс и вышли мы, пообедав, побродив еще по окрестностям; спустились по скользким ступенькам; сели у самой воды, искрившейся и мерцавшей. Здесь почти было жарко; Тинина черная куртка, лежавшая на камнях, показалась мне полыхающей, когда я дотронулся до нее; ее руки тоже горели; горело, прямо на глазах у меня покрывалось загаром ее широкое, наконец, прояснив-

шеется, обращенное к миру лицо, ее полная шея, ее предплечья, еще более полные, которые тоже обратила она к миру и солнцу, закатав короткие рукава своей маечки. Белый паром, наш ли, другой ли, разворачивался у гавани, направляясь обратно в город; наперерез ему двигался огромный, великолепный, с красным корпусом и белою рубкою сухогруз, из эстуария входивший в горловину Тежо, устремлявшийся к океану (куда и я стремлюсь всю свою жизнь). Мы оба поняли, что Виктора уже не увидим. Когда-нибудь, наверно, увидим, но теперь и здесь — нет. Когда мы поняли это, сказали это друг другу, все вокруг нас остановилось. Замер сухогруз, остановился паром. Замогли голоса у нас за спиною, замогли чайки над Тежо, замогли волны Тежо, только что бившие, теперь не бившие в борта быков, в бетон пирса. Нам обоим показалось (мы после сверили свои ощущения), что мы долго были и медлили в этом застывшем кадре, в этой — кем сделанной? — фотографии, хотя это длилось, наверно, всего одно какое-нибудь, краткое — как щелчок пальцев, или как два щелчка, три щелчка пальцев, две и семь десятых секунды — мгновение. Оно длилось, однако; заканчиваться никак не хотело; и мир молчал, и был неподвижен — и затем вдруг заговорил, закричал вместе с чайками, залепетал вместе с волнами Тежо, загудел вместе с красным сухогрузом, вместе с белым паромом, заболтал туристскими голосами, португальскими голосами; мир, заговорив, загудев, куда-то тронулся, поплыл и поехал.

Словарь важнейших буддистских имен и понятий, встречающихся в тексте

Автор хотел бы предупредить дотошного, но, он не сомневается, благосклонного к нему читателя, что не слишком сильно заботился о транскрипции китайских и японских имен, выбирая из многих возможных ту, которая казалась ему наиболее благозвучной и более всего подходящей к ритму и фонетике его прозы.

Би Янь Лу, япон.: Гекиганроку, «Записи лазурной скалы», или «Скрижали лазурной скалы», наряду с Мумонканом (Бу Мэнь Гуань) — одно из двух самых знаменитых собраний коанов (X—XI вв.)

Бодхидхарма — основатель и Первый патриарх школы чань (дзен), вторая половина V — начало VI века; приплыл в Китай из Индии около 475 года (если верить преданию; а мы ведь хотим ему верить, не правда ли?); в китайских текстах часто называется «западным варваром»; изображается с густой, черной, истинно варварской бородою.

Бодхисаттва — в буддизме Махаяны почти-Будда, не уходящий в нирвану из сострадания к другим людям.

Випассана — медитация в Хинаяне (Тхераваде).

Бу Мэнь Гуань, см. **Мумонкан**

Гассё — традиционный поклон со сложенными у груди — ладонь к ладони — руками.

Дана — добровольное пожертвование.

Джалаладин Руми, 1207—1273, — великий персидский поэт-суфий. Читателя, который спросит, что он здесь делает, отсылаю

к тексту моего правдивого сочинения. Одно стихотворение Руми в переводе немецкого поэта-романтика Фридриха Рюккерта (Friedrich Rückert, 1788–1866) сыграло такую роль в моей и, очевидно, Викторовой жизни, что не могу не процитировать его целиком:

Wohl endet Tod des Lebens Not,
 Doch schauert Leben vor dem Tod.
 Das Leben sieht die dunkle Hand,
 Den hellen Kelch nicht, den sie bot.
 So schauert vor der Lieb' ein Herz,
 Als wie von Untergang bedroht.
 Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt
 Das Ich, der dunkele Despot.
 Du laß ihn sterben in der Nacht
 Und atme frei im Morgenrot.

Подстрочный перевод этого перевода мог бы выглядеть так: «Конечно, смерть завершает страдания жизни, / но жизнь страшится смерти. / Жизнь видит только темную руку, / не видит светлого кубка в этой руке. / Так и сердце страшится любви, / как если бы любовь грозила ему гибелью. / Потому что там, где пробуждается любовь, / умирает я, темный деспот. / Дай же умереть ему в ночи / и вздохни свободно на утренней заре».

Дза-дзен, или **дзадзен** — сидячий дзен, сидячая медитация. По мнению многих авторов, самое главное в дзене; обыкновенно начинается со счета дыхания (вдохов и выдохов или чаще только выдохов, от одного до десяти).

Дзен-до — помещение, в котором проходит дза-дзен; «зал для медитации».

Дзёсю, см. **Чжао-чжоу**

Доген Дзэндзи, 1200—1253, — ключевая фигура японского дзен-буддизма, автор книги «Сёбогендзо» («Сокровищница ока истинной дхармы»)

Алексей Макушинский

Докусан — дзенское собеседование ученика и учителя; разговор наедине; чаще всего происходит во время сессина

Дукха — обычно переводится как «страдание»; многие предлагают переводить как «беспокойная неудовлетворенность» или как «нетерпение», «непостоянство». Основное свойство сансары в противоположность нирване. Первая Благородная истина (см. Четыре благородные истины) гласит, что жизнь — это и есть дукха.

Дхарма — самое важное, самое неперебиваемое понятие в буддизме. Вселенский закон; истина; буддистское учение.

Ёка Дайси, 665—713, — автор «Сёдока», «Песни Просветления» (или «Пробуждения»), легендарный дзенский персонаж, всего один день проведенный в обществе Шестого патриарха.

Здесь-и-сейчас — место-мгновение нашей встречи с читателем; мы оба — вот! — в своем «сейчас», в своем «здесь».

Кен-сё — внезапное узрение-своей-собственной-сущности; постижение «природы Будды»; ср. сатори.

Коан — короткая история или короткий обмен вопросами и ответами (как правило, между учеником и учителем); логически неразрешимая загадка; парадокс, помогающий выйти за рамки рационального мышления. Знаменитые сборники коанов — Мумонкан (48 коанов) и Гекиганроку (100 коанов), с комментариями и комментариями к комментариям.

Линь-цзы, япон.: Риндзай (IX век) — один из знаменитых дзенских (чаньских) учителей; ему приписываются прославленные слова: «Встретишь Будду — убей его, встретишь патриарха — убей его». К нему же восходит школа Риндзай, одно из двух важнейших направлений в современном дзен-буддизме (наряду с Сото).

Махаяна, или «Большая колесница» — вариант буддизма, распространенный в Китае, Корее, Японии, на Тибете и так далее; более поздний по сравнению с Хинаяной. Дзен, в свою очередь, — разновидность буддизма Махаяны.

Мудра — ритуальное сложение или расположение рук; во время дза-дзена используется мудра дхьяны («медитации») — левая ладонь лежит на правой, кончики больших пальцев соприкасаются.

Мумонкан, кит.: Ву Мэнь Гуань, «Бездверная дверь» или «Застава без ворот» — собрание коанов, приписываемое некоему Мумону (XIII век). Виктор, насколько мне известно, особенно любил читать его в переводе и с комментариями Ямады-роси, третьего в ряду руководителей движения Санбо Киодан.

Нань-цюань, япон.: Нансен — учитель знаменитого Чжао-чжоу (Дзёсю).

Праджня — переведем как «мудрость» (все эти понятия на самом деле никакому переводу не поддаются...).

Праджня-парамита-хридая-сутра, она же «Сутра сердца» — наверное, самая знаменитая, самая важная и самая парадоксальная из сутр буддизма Махаяны; переворачивает все основные понятия первоначального буддизма, невероятным образом отменяя — или делая вид, что отменяет, — даже Четыре Благородные Истины («Нет страдания, причины страдания, уничтожения страдания и пути, ведущего к прекращению страданий...»).

Риндзай, см. **Линь-цзы**.

Роси — «старый учитель», (очень) уважительное обращение к дзенскому наставнику.

Самадхи — состояние глубокой медитации.

Саму — работа в дзенском монастыре; работающий, что бы он ни делал, не должен, по мере возможности, расставаться со своим коаном или хотя бы со счетом своих выдохом.

Санбо Киодан (Sanbo Kyodan) — движение в дзен-буддизме, объединяющее элементы школы Сото и школы Риндзай (например, дза-дзен лицом к стене, как в Сото, использование коанов, как в Риндзай...). Возникло в начале XX века, оказало огромное влияние

Алексей Макушинский

на развитие дзена на Западе. Основателем школы считается Дайун Согаку Харада-роси (1871–1961); его преемник Хакуун Ясутани-роси (1885–1973); вслед за ним Ямада Коун Дзенсин (1907–1989). Распространению Санбо Киодан на Западе способствовали, среди прочих, такие известные дзенские авторы, как Филип Капло (1912–2004) и Роберт Эйткен (1917–2010).

Сангха — буддистская община.

Сатори — внезапное просветление; ср. кен-сё.

Сёдока — поэма Ёко-Дайси (см.).

Сессин — сколько-то-дневный (например, недельный) период интенсивного дза-дзена, проходит в полном молчании, прерываемом только докусаном — беседой с учителем наедине; по-английски иногда обозначается более обыденным словом retreat.

Сэнь-цзянь, япон.: Сосан — Третий патриарх школы дзен (чань), автор первого дошедшего до нас дзенского текста, «Синь-дзин-мин» («Печать верующего ума», или «Слова доверия сердцу»).

Сото — одно из двух основных направлений дзен-буддизма. В отличие от школы Риндзай, в Сото сидят лицом к стене и не занимаются коанами.

Судзуки, Дайсэцу Тейтару, 1870—1966, — едва ли не самый знаменитый на Западе дзенский автор; своими бесчисленными сочинениями, как никто другой, поспособствовал распространению учения (неучения, антиучения...) в Америке и в Европе.

Судзуки, Сюнрю, 1904—1971 — «другой Судзуки», монах школы Сото; в 1958 году переехал в США; основал Дзенский центр в Сан-Франциско и монастырь в Тассахаре в калифорнийских горах. Автор книги «Сознание дзен — сознание начинающего» (основанной на его тей-сё, записанных учениками); есть русский перевод.

Сутра — священный буддистский текст.

Тей-сё — проповедь, поучение, часто представляет собой комментарий к какому-нибудь тексту или коану.

Трезвый тон комментатора автор решительно не в состоянии выдержать.

Тхеравада, не вдаваясь в подробности, то же, что Хинаяна.

Хинаяна, или «Малая колесница» — вариант буддизма, распространенный особенно в Таиланде, Бирме, Камбодже; «первоначальный буддизм».

Хуэй-кэ, по-японски: Эка — Второй патриарх школы чань (дзен), дхармический наследник Бодхидхармы и наставник, соответственно, Сэнь-цзяня, Третьего патриарха.

Хуэй-Нэнь, по-японски: Эно — Шестой патриарх дзен-буддизма (638—713), важнейший персонаж всей дзен-буддистской истории. О нем рассказывает и его проповеди передает «Алтарная сутра» (или «Сутра помоста Шестого патриарха», как еще ее называют).

Четыре Благородные Истины — основополагающие истины буддизма (переводы санскритских понятий как всегда очень сильно разнятся): 1. дукха — страдание, или беспокойная неудовлетворенность; 2. причина страдания — ненасытная жажда, стремление, желание; 3. избавление от страдания — нирвана; 4. способ избавления от страдания — «Восьмеричный путь» (правильное понимание, правильное намерение, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильное усердие, правильное внимание, правильная сосредоточенность). Осталось понять, что все это значит.

Чжао-чжоу, япон.: Дзёсю (по преданию с 778-го по 897-й) — один из самых знаменитых дзенских учителей, персонаж многих коанов, многих легенд; дхармический преемник Нань-цюаня (япон.: Нансена).

Шестой патриарх, см. Хуэй-Нэнь.

Я иллюзорно (или неиллюзорно...).

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, где больше всего говорится обо мне самом	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, где много говорится о Викторе, не меньше говорится о Тине	217
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, где говорится о разных вещах и людях, в том числе обо мне и о Тине, но больше всего говорится, пожалуй, о Викторе	452
Словарь важнейших буддистских имен и понятий, встречающихся в тексте	792

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

Алексей Макушинский
ОСТАНОВЛЕННЫЙ МИР

Издано в авторской редакции

Ответственный редактор *О. Лифинцева*

Младший редактор *М. Мамонтова*

Художественный редактор *А. Дурасов*

Технический редактор *Г. Романова*

Компьютерная верстка *Е. Мельникова*

Корректор *И. Гончарова*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 ұй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының

өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 20.02.2018. Формат 75x108^{1/32}.
Гарнитура «OfficinaSerif». Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,5.
Тираж экз. Заказ

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**
*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:

Москва. Адрес: 142701, Московская область, Ленинский р-н,
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1. Телефон: +7 (495) 411-50-74.

Нижний Новгород. Филиал в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

Санкт-Петербург. ООО «СЗКО». Адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: szver@szko.ru

Екатеринбург. Филиал в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ш. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).

Самара. Филиал в г. Самаре. Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».
Телефон: +7(846)207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru

Ростов-на-Дону. Филиал в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10.

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10. Режим работы: с 9:00 до 19:00.

Новосибирск. Филиал в г. Новосибирске. Адрес: 630015,
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 289-91-42.

Хабаровск. Филиал РДЦ Новосибирск в Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120.

Тюмень. Филиал в г. Тюмени. Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ПЦ Перестройка+).
Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98.

Краснодар. Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь. Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минск. Адрес: 220014,
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto».
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92. Режим работы: с 10:00 до 22:00.

Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».
Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99).

Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербовая, д. 17а.
Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: sales@forsukraine.com

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru.**
Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру. Тел.: +7 (495) 745-89-14.

